А. И. Полторак

Нюрнбергский эпилог

SHOUT
SHARE IT

Annotation

Автор книги Аркадий Иосифович Полторак — бывший секретарь советской делегации в Международном военном трибунале, судившем в Нюрнберге главных немецко-фашистских военных преступников. Он пишет о том, что в ходе этого процесса видел собственными глазами и слышал сам. Читатель узнает из книги, почему именно Нюрнберг стал резиденцией Международного трибунала, как была «сформирована» скамья подсудимых, историю захвата и водворения на эту скамью лиц, виновных в тягчайших преступлениях перед человечеством. Вместе с автором он побывает на улицах Нюрнберга, в здании Дворца юстиции, где происходил процесс, в зале, где в течение почти целого года заседал трибунал. Познакомится с судьями и обвинителями Международного трибунала, с «последней линией нацистской обороны» в лице германских адвокатов. Перед глазами читателя пройдут не только подсудимые — Геринг, Риббентроп, Кейтель, Иодль, Кальтенбруннер, Шахт, но и многочисленные свидетели, среди которых фельдмаршалы Браухич, Манштейн, Рундштедт и др.

- Аркадий Иосифович Полторак
  - Предисловие
  - I. Суд народов
    - Дорога в Нюрнберг
    - Среди руин
    - В судебном зале
    - «Весьма важные персоны»
    - «О'кэй, следуйте за нами»
    - Червь возвращается к червям
    - Последняя резиденция гитлеровского правительства
    - Черчилль вызывает восторг у подсудимых
    - Гневный голос миллионов
    - Нюрнбергская линия нацистской обороны
    - «Вы скажете, что я лишил вас сна»
    - О тех, кто подписал приговор
    - Неисправимые
  - II. Герман Геринг с близкого расстояния
    - Между Сциллой и Харибдой
    - Линия мраморных гробов
    - Политический старт
    - «Это дерьмо, а не политическое коммюнике»

- Ночь длинных ножей
- Почему поссорились адвокаты Геринга и Шахта?
- «Хрустальная ночь»
- «Миротворец»
- Рейхсмаршал меняет кожу
- «Посредственные люди не могут этого понять»
- Финал

○ III. Иоахим фон Риббентроп под судебным микроскопом
- Виноторговец приходит на Вильгельмштрассе
- Любезность времени
- Тень «гиганта»
- Дипломатия шантажа и угроз
- В поисках выхода
- Утопающий хватается за соломинку

○ IV. Вильгельм Кейтель и Альфред Иодль
- Полковник делает карьеру
- «Лакейтель» или Мольтке?
- Мастер военных провокаций
- Жребий брошен
- За завесой «Зеелеве»
- Шедевры Гиммлера и ложь Иодля
- Палач в роли гуманиста
- «Операция Густав»
- «Одиссей» XX века
- Иодль «весьма сожалеет»
- «Он обманул нас! Он оставил нас одних!»
- История подводит итог
- «Для чего я родился?»

○ V. Зловещая карьера венского адвоката
- Недоумения исчезают
- Инквизитор обещает «сказать всю правду»
- «Он не любил свое полицейское поприще»
- Неожиданные превращения доктора Кауфмана
- Тени Освенцима и Маутхаузена
- Гиммлер против Кальтенбруннера
- Кальтенбруннер посылает в нокаут Кальтенбруннера
- Последователь генерала Меласа
- Только в таком виде они безопасны

○ VI. Яльмар Шахт уходит от расплаты
- «Он обманывал мир, германию и меня лично»
- «Отдайте вашу должность Гитлеру»
- «Только послушайте, как он лжет!..»

        - Шахт и Геринг: кто победит в борьбе за власть?
        - Двойная игра
        - Снова отставка
        - Доктор Шахт перед выбором
        - Почему разошлись судьи?
    - VII. О тех, кто опозорил имя солдата
        - В списке — 131
        - Доктор Латерзнер ищет союзников
        - Что сказал бы в Нюрнберге адвокат Гитлера
        - Генштаб ищет спасения... У Лиги Наций
        - Удар наносит Паулюс
        - Еще о том, как врали «старейшие солдаты»
        - Генштаб раскалывается на отдельные кубики
    - VIII. У последней черты
        - Исповедь ханжей и лицемеров
        - Трое оправданы
        - Последнее заседание трибунала
        - Финал
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16

Аркадий Иосифович Полторак
Нюрнбергский эпилог

Предисловие

В ночь на 9 мая 1945 года в здании военно-инженерного училища в берлинском пригороде Карлхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Судьба второй мировой войны, самой кровавой и опустошительной во всей истории человечества, решилась задолго до этого. Уже отгремели уличные бои в Берлине и над зданием рейхстага развевалось красное знамя, Уже покончил самоубийством главарь фашистской клики Гитлер, поставивший перед немецкими фашистами задачу захвата мирового господства и некогда надменно заявивший: «Даже если мы не сможем это завоевание осуществить, мы вместе с собой разрушим полмира... 1918 год не повторится. Мы не капитулируем».

Подвиг советского народа развеял в прах злодейские замыслы гитлеровцев. Человеческая цивилизация была спасена ценой величайших усилий и жертв всех держав антигитлеровской коалиции, и в первую очередь Советского Союза. Гитлеру не удалось разрушить полмира, но в ходе развязанной им агрессивной войны гитлеровцами были совершены чудовищные злодеяния, равных которым еще не знало человечество.

Эти злодеяния планировались и исподволь хладнокровно готовились одновременно с разработкой планов очередных актов агрессии. Собираясь проглотить Чехословакию, гитлеровские генералы из верховного командования совместно с СС из гиммлеровской службы имперской безопасности обдумывали деятельность эйнзатцгруппы, задачей которой явилось не только уничтожение всех оппозиционных элементов, но и массовое истребление славянских народов этой страны для последующей полной «германизации» захваченных территорий. Готовя план агрессивного вторжения в Советский Союз, так называемый «план Барбаросса», гитлеровские палачи разрабатывали вместе с ним «распоряжение об особой подсудности в районе Барбаросса» — чудовищный документ, в котором зверства по отношению к мирному населению и военнопленным возводились в разряд государственной политики.

Задолго до начала агрессии против Советского Союза Гитлер говорил одному из своих приближенных Раушнингу: «Мы должны развить технику обезлюживания. Если вы спросите меня, что я понимаю под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц, и это то, что я намерен осуществить, это, грубо говоря, моя задача, Природа жестока, поэтому и мы можем быть жестокими... Я имею право устранить

миллионы низших рас, которые размножаются, как черви».

Во имя этой каннибальской программы и были созданы быстродействующие препараты для умерщвления людей, такие, как «Циклон-А» и «Циклон-Б», сконструированы такие машины смерти, как газенвагены, или «душегубки», агрегаты для дробления человеческих костей, аппаратура для производства из них химических удобрений, разработаны особые методы выделки для промышленных целей человеческой кожи. Во имя этого же создавались специальные фирмы, которые проектировали различные типы мощных кремационных печей для лагерей уничтожения.

Всякая агрессивная война, развязываемая империализмом, является тягчайшим преступлением против мира и человечества. Но в истории войн еще не было такой концентрации чудовищных преступлений и таких масштабов преступной деятельности, какие позволил себе гитлеризм во время второй мировой войны. А ведь по планам Гитлера и его сообщников окончание этой войны должно было явиться началом новых злодеяний в отношении покоренных народов.

За годы второй мировой войны в концлагерях и пунктах массового уничтожения людей при так называемых «специальных акциях» эйнзатцкоманд, в газовых камерах, путем злодейских экспериментов и другими изуверскими способами было умерщвлено не менее двенадцати миллионов человек. В ближайшие же послевоенные годы гитлеровцы планировали уничтожить еще тридцать миллионов славян. Эти злодейские расчеты облекались в форму приказов и инструкций.

Но, вопреки воле маньяков, вторая мировая война окончилась полным разгромом гитлеровской государственной и военной машины. Наступил час расплаты за совершенные злодеяния.

Международный военный трибунал не мог не быть создан, так как мировое общественное мнение никогда не примирилось бы с освобождением преступников от наказания. Еще в Декларации глав трех держав антигитлеровской коалиции, опубликованной в октябре 1943 года, виновники злодеяний, принимавшие непосредственное участие в зверствах, убийствах и казнях на оккупированных территориях, предупреждались о том, что «будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для того чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран». «Пусть те, кто еще не обагрил своих рук невинной кровью, — говорилось в той же Декларации, — учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзные державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их

обвинителей с тем, чтобы смогло совершиться правосудие». Вместе с тем Декларация констатировала, что в ней не затрагивается вопрос о главных немецких военных преступниках, действия которых не связаны с определенным географическим местом и которые будут наказаны совместным решением правительств-союзников.

Требование создать специальный Международный военный трибунал для суда над преступными руководителями нацистского режима содержалось в заявлении Советского правительства от 14 октября 1942 года «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы». Выражая волю всего прогрессивного человечества, Советское правительство заявило тогда, что оно «обязано рассматривать суровое наказание этих уже изобличенных главарей преступной гитлеровской шайки как неотложный долг перед бесчисленными вдовами и сиротами, родными и близкими тех невинных людей, которые зверски замучены и убиты по указаниям названных преступников. Советское правительство считает необходимым безотлагательное предание суду специального Международного трибунала и наказание по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии».

Тогда же, в октябре 1942 года, президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт, несомненно под воздействием широкой американской общественности, тоже поднял свой голос против нацистских заправил Германии. Он недвусмысленно высказался о том, что эта «клика лидеров и их жестоких сообщников должна быть названа по имени, арестована и судима в соответствии с уголовным законом».

Таким образом, учреждение Нюрнбергского Международного трибунала вполне отвечало и чаяниям народов о суровом наказании главных гитлеровских военных преступников, и официальным заявлениям правительств антигитлеровской коалиции, прозвучавшим на весь мир еще в ходе войны.

Форма судебного процесса, проведенного в строгом соответствии с общепринятыми процессуальными нормами правосудия, в том числе с предоставлением обвиняемым защиты, не только давала возможность тщательно и объективно исследовать доказательства виновности конкретных лиц, но и имела громадное значение для разоблачения всех гнусностей гитлеризма, порожденного германским монополистическим капиталом.

Боязнь справедливого возмездия заставила покончить самоубийством Гитлера, Гиммлера, Геббельса. Эта же боязнь привела к самоубийству уже в камере Нюрнбергской тюрьмы душителя германских профсоюзов Лея. Однако большинство наиболее активных соучастников Гитлера не ушло от ответа. Они предстали перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге, были судимы и подверглись справедливому наказанию.

Суду предавались:

Герман Вильгельм Геринг — рейхсмаршал, главнокомандующий военно-воздушными силами гитлеровской Германии, уполномоченный по четырехлетнему плану, ближайший помощник Гитлера с 1922 года, организатор и руководитель штурмовых отрядов (СА), один из организаторов поджога рейхстага и захвата власти нацистами;

Рудольф Гесс — заместитель Гитлера по фашистской партии, министр без портфеля, член тайного совета, член совета министров по обороне империи;

Иоахим фон Риббентроп — уполномоченный фашистской партии по вопросам внешней политики, затем посол в Англии и министр иностранных дел;

Роберт Лей — один из видных руководителей фашистской партии, главарь так называемого «трудового фронта»;

Вильгельм Кейтель — фельдмаршал, начальник штаба вооруженных сил Германии (ОКВ);

Эрнст Кальтенбруннер — обергруппенфюрер СС, начальник главного имперского управления безопасности (РСХА) и начальник полиции безопасности, ближайший помощник Гиммлера;

Альфред Розенберг — заместитель Гитлера по вопросам «духовной и идеологической» подготовки членов фашистской партии, имперский министр по делам оккупированных восточных территорий;

Ганс Франк — рейхслейтер фашистской партии по правовым вопросам и президент германской академии права, затем имперский министр юстиции, генерал-губернатор Польши;

Вильгельм Фрик — имперский министр внутренних дел, протектор Богемии и Моравии;

Юлиус Штрейхер — один из организаторов фашистской партии, гаулейтер Франконии (1925—1940 гг.), организатор еврейских погромов в Нюрнберге, издатель ежедневной антисемитской газеты «Дер Штюрмер», «идеолог» антисемитизма;

Вальтер Функ — заместитель имперского министра пропаганды, затем имперский министр экономики, президент

Рейхсбанка и генеральный уполномоченный по военной экономике, член совета министров по обороне империи и член центрального комитета по планированию;

Яльмар Шахт — основной советник Гитлера по вопросам экономики и финансов;

Густав Крупп фон Болен унд Гальбах — крупнейший промышленный магнат, директор и совладелец заводов Круппа, организатор перевооружения германской армии;

Карл Дениц — гросс-адмирал, командующий подводным флотом, затем главнокомандующий военно-морскими силами Германии и преемник Гитлера на посту главы государства;

Эрих Редер — гросс-адмирал, бывший главнокомандующий военно-морскими силами Германии (1935—1943 гг.), адмирал-инспектор военно-морского флота;

Бальдур фон Ширах — организатор и руководитель гитлеровской молодежной организации «Гитлерюгенд», гаулейтер фашистской партии и имперский наместник Вены;

Фриц Заукель — обергруппенфюрер СС, генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы;

Альфред Иодль — генерал-полковник, начальник штаба — оперативного руководства верховного командования вооруженных сил;

Франц фон Папен — крупнейший международный шпион и диверсант, руководитель немецкого шпионажа в США еще в период первой мировой войны, один из организаторов захвата власти гитлеровцами, был посланником в Вене и послом в Турции;

Зейсс-Инкварт — видный руководитель фашистской партии, имперский наместник Австрии, заместитель генерал-губернатора Польши, имперский уполномоченный по оккупированным Нидерландам;

Альберт Шпеер — близкий друг Гитлера, имперский министр вооружения и боеприпасов, один из руководителей центрального комитета по планированию;

Константин фон Нейрат — имперский министр без портфеля, председатель тайного совета министров и член имперского совета обороны, протектор Богемии и Моравии;

Ганс Фриче — ближайший сотрудник Геббельса, начальник отдела внутренней прессы министерства пропаганды, затем руководитель отдела радиовещания;

Мартин Борман — руководитель партийной канцелярии, секретарь и ближайший советник Гитлера[1].

Кроме того, учредившие Международный трибунал державы передали на его рассмотрение дела о преступных организациях:

«охранных отрядах» гитлеровской партии (СС); тайной полиции — гестапо (включая так называемую «службу безопасности»); руководящем составе гитлеровской партии; штурмовых отрядах (СА); имперском кабинете; генеральном штабе и верховном командовании гитлеровских вооруженных сил. Рассмотрение этих дел показало действие сложного и всеобъемлющего механизма, который использовался нацистами для осуществления их злодейских планов.

Характеризуя отличительные особенности Нюрнбергского процесса, главный обвинитель от СССР Р. А. Руденко указывал, что это первый случай, когда перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и сделавшие самое государство орудием своих чудовищных преступлений.

День официального окончания второй мировой войны от дня начала заседаний Международного трибунала отделяло немногим более шести месяцев. За это время были разработаны Устав и правила процедуры Международного военного суда, собраны и систематизированы основные доказательства обвинения, составлено обвинительное заключение, налажена и скоординирована деятельность довольно громоздкого аппарата, представившего четыре союзные державы.

Несмотря на относительную непродолжительность периода следствия, объем доказательств, представленных обвинением, оказался весьма велик. Трибунал рассмотрел более трех тысяч подлинных документов, допросил около двухсот свидетелей (кроме того, несколько сот свидетелей были допрошены по поручению трибунала особыми комиссиями) и принял триста тысяч письменных показаний.

Значительную часть доказательств составляли подлинные документы, захваченные союзными армиями в германских армейских штабах, в правительственных зданиях и в других местах. Некоторые из этих документов были обнаружены в соляных копях, в подземных тайниках, за ложными стенами.

В книге А. И. Полторака достоверно рассказывается об обстановке, в которой проходила работа Международного военного трибунала. Десятки юристов, которыми были представлены здесь СССР, США, Великобритания и Франция, в большинстве своем отличались высокой квалификацией. Но политические и правовые воззрения у них были резко различными. И тем не менее, за редким исключением, на всем протяжении процесса они работали дружно и были едины в своем стремлении установить истину, воссоздать полную и подлинную картину гитлеровских злодеяний, справедливо наказать виновников.

В немалой степени такому единству юристов держав антигитлеровской коалиции способствовал самый характер действий преступников, представших перед Международным военным судом, объем, неслыханная жестокость и бесчеловечный цинизм их преступлений. Верно сказал в своей вступительной речи главный обвинитель от США, ныне покойный, выдающийся американский юрист Р. Джексон:

«Наши доказательства будут ужасающими, и вы скажете, что я лишил вас сна. Но именно эти действия заставили содрогнуться весь мир и привели к тому, что каждый цивилизованный человек выступил против нацистской Германии. Германия стала одним обширным застенком. Вопли ее жертв были слышны на весь мир и приводили в содрогание все цивилизованное человечество. Я один из тех, кто в течение этой войны выслушивал подозрительно и скептически большинство рассказов о самых ужасных зверствах. Но доказательства, представленные здесь, будут столь же ошеломляющими, что я беру на себя смелость предугадать, что ни одно из сказанных мною слов не будет опровергнуто; подсудимые будут отрицать только свою личную ответственность или то, что они знали об этих преступлениях».

Предсказания Джексона оправдались. Если на первых заседаниях трибунала подсудимые еще пытались голословно отрицать свою виновность, то в дальнейшем, в ходе судебного разбирательства, они были буквально подавлены доказательствами. Опровергнуть эти в большинстве своем документальные доказательства или показания жертв и очевидцев преступлений было невозможно.

В своей книге А. И. Полторак — участник Нюрнбергского процесса с первого и до последнего его дня, непосредственно занимавшийся оформлением документации советской части Международного трибунала, — хорошо сумел передать атмосферу, господствовавшую тогда в зале суда и кулуарах, дал яркие и такие точные характеристики некоторым из подсудимых. А напомнить сейчас об этих преступниках не мешает. История их преступлений и позорного конца далеко выходит за пределы личных биографий.

Когда еще кровоточили раны, нанесенные миру гитлеровской агрессией, тот же главный обвинитель от США Р. Джексон, вступительную речь которого мы уже цитировали, говорил:

«Это судебное разбирательство приобретает значение потому, что эти заключенные представляют в своем лице зловещие силы, которые будут таиться в мире еще долго после того, как тела этих людей превратятся в прах. Эти люди — живые символы расовой ненависти, террора и насилия, надменности и жестокости,

порожденных властью. Это — символ жестокого национализма и милитаризма, интриг и провокаций, которые в течение одного поколения за другим повергали Европу в пучину войны, истребляя ее мужское население, уничтожая ее дома и ввергая ее в нищету. Они в такой мере приобщили себя к созданной ими философии и к руководимым ими силам, что проявление к ним милосердия будет означать победу и поощрение того зла, которое связано с их именами. Цивилизация не может позволить себе какой-либо компромисс с социальными силами, которые приобретут новую мощь, если мы поступим двусмысленно или нерешительно с людьми, в лице которых эти силы продолжают свое существование».

Принципы Нюрнбергского трибунала, одобренные и утвержденные как принципы международной уголовной юстиции Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, ныне кое-кто хотел бы предать забвению. Правительство ФРГ уже попыталось амнистировать поголовно всех нацистских преступников. По городам и весям Западной Германии до сих пор безнаказанно разгуливают десятки тысяч негодяев, виновных в совершении тягчайших злодеяний. Более того, многие из них занимают высокие посты в государственном аппарате, в бундесвере, в полиции, в органах суда и прокуратуры ФРГ.

Недавно перед студентами Нюрнбергского университета выступил бывший помощник главного обвинителя от США Роберт Кемпнер (фамилия его упоминается в книге А. И. Полторака) и справедливо заметил при этом, что в Германской Федеративной Республике не проводилось никаких расследований в отношении более чем семи тысяч должностных лиц из «имперского управления безопасности», того самого РСХА, преступный руководитель которого Э. Кальтенбруннер был повешен по приговору Международного трибунала. Не привлечены к ответственности и многие члены нацистских трибуналов, выносивших смертные приговоры участникам движения Сопротивления, антифашистам и другим противникам гитлеровского режима.

В памяти участников Нюрнбергского процесса навсегда останется допрос бывшего коменданта Освенцима оберштурмбанфюрера СС Гесса. Когда Гессу был задан вопрос: «Правда ли, что эсэсовские палачи бросали живых детей в пылающие печи крематориев?» — он немедленно подтвердил правильность этого. А дальше заявил: «Дети раннего возраста непременно уничтожались, так как слабость, присущая детскому возрасту, не позволяла им работать... Очень часто женщины прятали детей под свою одежду, но, конечно, когда мы их

находили, то отбирали детей и истребляли». Гесс признал, что за то время, когда он был комендантом лагеря (с мая 1940 по декабрь 1943 года), в газовых печах Освенцима было истреблено два миллиона пятьсот тысяч человек и, кроме того, еще пятьсот тысяч погибло от болезней и голода. Материалами же смешанной польско-советской государственной комиссии подтверждено, что всего в Освенциме умерщвлено более четырех миллионов человек.

В своем приговоре Международный трибунал констатировал, что нацистские «концентрационные лагеря превратились в места организованных систематических убийств», Эти убийства совершались с кощунственным глумлением над жертвами. Нередко живые люди становились объектом безжалостных экспериментов, включая «опыты по определению условий на больших высотах, когда жертвы помещались в камеры с пониженным давлением, опыты, целью которых служило определить, сколько времени человеческое существо может прожить в ледяной воде, опыты с отравленными пулями, опыты с заразными болезнями, опыты по стерилизации мужчин и женщин рентгеновскими лучами и путем применения других методов».

Мы посчитали необходимым воспроизвести здесь эти извлечения из приговора Нюрнбергского трибунала а связи с недавним заявлением генерального прокурора земли Гессен Фрица Бауера о том, что только его ведомство располагает списками пяти тысяч человек эсэсовской команды Освенцима, ни один из которых не наказан. К этим преступникам и десяткам тысяч других им подобным правительство ФРГ намеревалось применить обычные сроки давности уголовного преследования.

Подготовлявшаяся амнистия гитлеровским злодеям прикрывалась лицемерными заверениями, что федеральное правительство «исполнено решимости искупить нацистские преступления и восстановить попранное право». Но обман не удался. В намерении боннских властей мировая общественность усмотрела вызов ей. Ответная реакция была быстрой, решительной и единодушной. В протесте против кощунственного предложения распространить обычные сроки давности, предусмотренные статьей 67 Германского уголовного кодекса 1871 года, на злодеяния, совершенные гитлеровцами против всего мира и человечности, объединились все честные люди, независимо от их профессии и общественного положения, политических или религиозных убеждений. Под влиянием искреннего возмущения цинизмом боннских правоведов многие крупные буржуазные юристы выступили с заявлениями, в которых показали полную несостоятельность аргументации министра

юстиции ФРГ Бухера и его чиновников. Волна общественного негодования поднялась во всем мире, и эта грозная волна лишний раз показала, что совесть человечества никогда не примирится с попытками оправдать злодеяния гитлеризма.

Гнев мировой общественности вынудил бундестаг перенести применение сроков давности к нацистским преступникам на 1969 год. Но уже и сейчас те немногие судебные процессы, которые проводятся над ними в ФРГ, превращаются в издевательство над правосудием. Лживая «аргументация» нюрнбергской защиты стала теперь официальной доктриной западногерманских судов для оправдания непостижимо мягких приговоров в отношении гитлеровских убийц и палачей.

Идеологи реванша пытаются оклеветать Нюрнбергский процесс, предать забвению и поставить под сомнение сами гитлеровские зверства, представить приговор и всю деятельность Международного военного трибунала как расправу победителей над побежденными. Разумеется, это — напрасные попытки в отношении людей, хранящих в своей памяти события военных лет. Но очень важно, чтобы и те, кто родился во время войны или после нее, тоже знали правду о злодеяниях, совершенных гитлеровскими преступниками.

Приговор Нюрнбергского Международного военного трибунала был справедливым приговором. Трибунал осудил гитлеровскую агрессию и сурово наказал главных нацистских военных преступников. Он признал преступными основные организации, учреждения, созданные гитлеровцами для осуществления своих злодейских целей. Несомненной его ошибкой следует считать лишь отказ от признания преступной организацией генерального штаба и верховного командования гитлеровской Германии. Об этом достаточно убедительно говорилось в «особом мнении» советского судьи. Но и при наличии расхождения между судьями по такому отнюдь не маловажному вопросу Международный военный трибунал записал в своем приговоре:

«Они были ответственны в большей степени за несчастья и страдания, которые обрушились на миллионы мужчин, женщин и детей. Они опозорили почетную профессию воина. Без их военного руководства агрессивные стремления Гитлера и его нацистских сообщников были бы отвлеченными и бесплодными. Хотя они не составляли группу, подпадающую под определение Устава, они безусловно, представляли собой безжалостную военную касту. Современный германский милитаризм расцвел на короткое время при содействии своего последнего союзника — национал-социализма так же или еще лучше, чем в истории

прошлых поколений.

Многие из этих людей сделали насмешкой солдатскую клятву повиновения военным приказам. Когда это в интересах их защиты, они заявляют, что должны были повиноваться. Когда они сталкиваются с ужасными гитлеровскими преступлениями, которые, как это установлено, были общеизвестны для них, они заявляют, что не повиновались. Истина состоит в том, что они активно участвовали в совершении всех этих преступлений или были безмолвными и покорными свидетелями совершавшихся преступлений в более широких и более потрясающих масштабах, чем мир когда-либо имел несчастье знать».

Мы не можем не напомнить эти выводы Нюрнбергского трибунала сейчас, когда избегшие справедливого наказания Хойзингер, Шпейдель и многие им подобные, «опозорившие почетную профессию воина», занимают руководящие должности в бундесвере и НАТО.

Книга А. И. Полторака рассказывает о недавнем прошлом, Но этот яркий, образный и правдивый рассказ очевидца не только напоминает о событиях, уже ставших историей. Многие факты, о которых рассказывается в книге, позволяют правильно судить о событиях сегодняшнего дня, понять, какие зловещие силы направляют деятельность нынешних идеологов и практиков политики реванша, в какие пучины страданий готовы ввергнуть человечество поджигатели новой войны.

Гитлеризм был порождением германского монополистического капитала. Он пришел к власти, утвердился и смог совершить свои бесчисленные злодеяния в результате поддержки и непосредственной помощи международной империалистической реакции, Как и всякий фашизм, он был открытой террористической диктатурой наиболее реакционных империалистических сил. Германские промышленники и финансовые магнаты — круппы, феглеры, левенфельды, шредеры, шницлеры и иже с ними стояли за спиной эсэсовских бандитов. Эти некоронованные короли капитала не только ставили на службу гитлеровской агрессии весь экономический потенциал Германии. Они непосредственно соучаствовали в самых отвратительных преступлениях гитлеровцев, умерщвляя десятки тысяч людей во время злодейских опытов, доводя миллионы угнанных в рабство до полного физического изнурения и убивая их затем в газовых камерах, отравляющие вещества для которых поставлялись одним из могущественнейших монополистических объединений «ИГ Фарбениндустри».

В книге А. И. Полторака подробно рассказано о преступной деятельности Яльмара Шахта — эмиссара германского

монополистического капитала в гитлеровском правительстве, тесно связанного с крупнейшими международными монополиями. Известно, что Нюрнбергский Международный трибунал большинством голосов — три против одного (советского судьи) — вынес оправдательный приговор Шахту. Но тысячи и тысячи читателей, в руки которых попадет эта книга, не оправдают его. Они зримо представят себе роль Шахта в развитии нацистского заговора против мира и человечества.

А. И. Полторак разоблачает легенду об «оппозиционности» Шахта гитлеровскому режиму. В период краха гитлеризма, перед лицом неизбежности возмездия за совершенные злодеяния о своей «оппозиционности» гитлеризму стали заявлять многие из тех, кто породили его. Одни раньше, как Шахт и участники генеральского путча, другие непосредственно перед катастрофой, как Гиммлер и Геринг. Правда же заключается в том, что, пока детище германского монополистического капитала не заметалось в предсмертных агониях, Шахт, как доверенный представитель этих реакционных сил, верно служил и самому Гитлеру и его режиму. В свое время при награждении Шахта так называемым «орденом крови» — золотым значком нацистской партии — было выпущено официальное партийное издание, посвященное его заслугам, и там, отнюдь не без основания, утверждалось: «Он смог помогать ей (нацистской партии. — Л. С.) гораздо лучше, чем если бы был официальным членом партии». Неспроста Гитлер, узнав о том, что Шахт заигрывает с оппозиционерами, тот самый Гитлер, который так безжалостно расправился с оппозиционными генералами, сохранил ему жизнь.

Книга А. И. Полторака не может, конечно, заменить специальных исследований, посвященных деятельности Международного военного трибунала. Хочется надеяться, что читатель, ознакомившись с ней, обратится затем к стенограммам процесса, изданным в Советском Союзе значительным тиражом. Но в то же время нельзя не подчеркнуть здесь, что в этой книге содержится много того, о чем не говорится, да и не может быть сказано, в стенограммах процесса. Повторяем, автор сумел во всех деталях правдиво воссоздать обстановку, в которой готовился и проходил процесс.

Эта книга очень современна. Она призывает к бдительности в отношении поджигателей новой войны, показывает, что несут человечеству апологеты реванша, воссоздающие в сегодняшнем бундесвере разгромленный гитлеровский вермахт. А вместе с тем она напоминает о неизбежности возмездия для любого агрессора.

Судебный процесс над главными военными преступниками гитлеровской Германии навсегда останется грозным

предупреждением для темных сил милитаризма. Высокие и благородные принципы всей деятельности Нюрнбергского Международного военного трибунала и его справедливого приговора продолжают служить делу борьбы за мир и безопасность человечества.

Л.Н.Смирнов, председатель Верховного Суда РСФСР, бывший помощник главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе.

I. Суд народов

Дорога в Нюрнберг

Июль 1945 года. Дивизия, в которой я служил председателем трибунала, возвращается из-под Праги в родные места. На этот раз путь был легким — солдаты спешили домой.

Меня же ожидало другое. Из Москвы пришло указание немедленно прибыть в Главное управление военных трибуналов. А там объявили, что идет подготовка к созданию Международного военного трибунала для суда над главными преступниками второй мировой войны, процесс состоится в Нюрнберге и я командируюсь туда в составе советской делегации.

Поспешный выезд в дивизию. Сдача дел. Прощание с фронтовыми друзьями. И снова — в Москву.

Первая встреча с моим новым шефом — генерал-майором юстиции Ионой Тимофеевичем Никитченко. До сих пор я знал его как заместителя председателя Верховного суда СССР. Теперь он — член Международного трибунала. В лаконичной беседе с Никитченко выясняется мое будущее положение в Нюрнберге: мне предстоит ведать советским секретариатом.

Пока оформляются документы, работаю в Военной коллегии Верховного суда СССР. Оформление длится два месяца. Наконец вместе с военным прокурором Василием Самсоновым, тоже командируемым в Нюрнберг, я сажусь в самолет. Мы летели на процесс, который продлится около года и о котором так много будет написано и хорошего, и плохого, и правдивого, и лживого.

Скоро я услышу английского обвинителя Шоукросса, и он будет утверждать, что Нюрнбергский процесс «явится авторитетной и беспристрастной летописью, к которой будущие историки могут обращаться в поисках правды, а будущие политики в поисках предупреждений». Но когда закончится процесс, я прочту книгу его соотечественника публициста Монтгомери Бельджиона, где есть такие слова: «Если бы обыкновенный человек попал с луны в Нюрнберг, то он пришел бы к выводу, что там царит сплошная бессмыслица». В чем заключается эта «бессмыслица», разъяснит затем лорд Хенки. Он назовет Нюрнбергский процесс «опасным прецедентом для будущего» и поспешит заверить, «чем скорее мы покончим с этими процессами, тем будет лучше...»

Я услышу в зале суда исполненное глубокого смысла заявление главного французского обвинителя Шампетье де Риба:

— После предъявления документов, после того, как были заслушаны свидетели, после демонстраций кинофильмов, при просмотре которых даже сами подсудимые содрогнулись от

ужаса, никто в мире не сможет утверждать, что лагеря уничтожения, расстрелянные военнопленные, умерщвленные мирные жители, горы трупов, толпы людей, изуродованных душой и телом, газовые камеры и кремационные печи, — что все эти преступления существовали лишь в воображении антинемецки настроенных пропагандистов, *этого не сможет утверждать никто.*

А пройдет несколько лет, и другие французы с пеной у рта станут опровергать Шампетье де Риба. Я прочту книгу Мориса Бардеша, выливающего не один ушат грязи на Нюрнбергский процесс, пытающегося доказать, что «нельзя слепо, на веру принимать приговор, подписанный победителями...». Я узнаю из газет о поездке по городам и весям Западной Германии французского профессора Поля Рассиньи. Он будет читать лекции, посвященные шестнадцатой годовщине Нюрнбергского процесса, и убеждать немцев в том, что приговор Международного трибунала был вынесен на основе «фальшивых свидетельских показаний и коммунистической травли». Мне придется еще прочитать, что пишут теперь западногерманские реваншисты. У них свое мнение о газовых камерах, о кремационных печах, и, призывая германскую молодежь под черные знамена бундесвера, они представят Шампетье де Риба подлейшим фальсификатором истории и жуликом.

В первые же дни процесса главный американский обвинитель Роберт Джексон, требуя справедливого возмездия гитлеровской клике, скажет:

— Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся.

Но тотчас же после процесса рядовой американец, не успевший еще забыть этих слов Джексона, окажется поставленным в тупик цинично откровенным заявлением сенатора Тафта о том, что «Соединенные Штаты еще долго будут сожалеть о приведении в исполнение Нюрнбергского приговора».

В ночь на 16 октября 1946 года мне доведется быть в здании, где свершится последний акт процесса — гитлеровскую клику поведут на эшафот. Но затем именно этот день объявят в ФРГ «черным днем германской истории», и журнал «Национ Эйропа» прольет слезу по осужденным, напишет, что они «не нарушили ни одного из существующих где-либо законов».

Потом я прочитаю изданные в Америке и немедленно переведенные в Западной Германии мемуары Адольфа Розенберга. В них будет воспроизведено «политическое

завещание» этого духовного отца гитлеризма: «Как и другие великие идеи, знавшие победы и поражения, национал-социализм в один прекрасный день будет возрожден в новом поколении, которое создаст в новой форме империю для немцев... национал-социализм начнет произрастать из здоровых корней и превратится в крепкое дерево, которое даст свои плоды».

И мне придется убедиться в том, что такие тлетворные плоды действительно произрастут в ФРГ и в скором времени составят новую угрозу миру. Германские милитаристы захотят поскорее расправиться с Нюрнбергским процессом. Ведь это о них — Хойзингере, Каммхубере, Шпейделе, Ферче и многих других, им подобных, — в Нюрнбергском приговоре записано:

«Они были ответственны в большой степени за несчастья и страдания, которые обрушились на миллионы мужчин, женщин и детей. Они опозорили почетную профессию воина... Истина состоит в том, что они активно участвовали в совершении всех этих преступлений... в более широких и более потрясающих масштабах, чем мир когда-либо имел несчастье знать».

Такой приговор не мог, конечно, не вызвать раздражения у уцелевших гитлеровских генералов. И не удивительно, что они открывают теперь по нему массированный огонь из всех пропагандистских калибров.

Нюрнбергский процесс оказался таким явлением в истории международных отношений, которое на многие десятилетия вперед дало пищу уму и государственных деятелей, и историков, и юристов, и дипломатов.

Среди руин

Итак, из трибунала дивизионного я прибыл в трибунал международный. Было это 1 декабря 1945 года. Весь Нюрнберг, и в особенности его «Гранд-отель», где мы с Василием Самсоновым нашли первый приют, являли собой вавилонское столпотворение. Туда съехались люди всех стран мира, и, конечно, больше всего оказалось корреспондентов.

На следующее утро, пасмурное, по-настоящему осеннее, прежде чем идти во Дворец юстиции, мы решили побродить по городу. Впечатление гнетущее. Нюрнберг лежал в развалинах. Но и в этом его состоянии нетрудно было заметить черты типичного средневекового города. Сохранилась в целости крепостная каменная стена с массивными башнями. Уцелели некоторые дома с островерхими крышами. Очень запутана сеть кривых, узких, без плана построенных улиц.

Все это и многое другое свидетельствовало, что Нюрнберг имел до войны весьма своеобразный и неповторимый вид. Это был город-музей.

Мы идем вдоль реки Пегниц, которая делит его на две почти равные части. Над рекой повисли мосты, сделанные четыреста — пятьсот лет назад. Прямо перед нами среди груды камней и щебня высятся две стройные башни, легкие и ажурные. Это все, что осталось от знаменитой церкви Святого Лоренца.

А вот небольшая площадь на перекрестке двух улиц, и на ней фонтан «Колодезь добродетели». Красивая ограда. Прекрасная скульптура. Когда-то этот фонтан бил множеством струй, но теперь он будто умер, как и окружающие его руины.

Руинам, казалось, не будет конца. И мы задумались над тем, почему именно этот город фашизм сделал своим идеологическим центром. Что он нашел здесь родственного своей звериной идеологии? Почему только в Нюрнберге, начиная с двадцатых годов и вплоть до момента крушения, гитлеровская партия проводила свои съезды, напоминавшие скорее шабаш ведьм, чем собрание политических деятелей?

Свыше девятисот лет существует Нюрнберг. В XIV — XVI веках здесь била ключом творческая мысль немецкого народа, воплощаясь в замечательные произведения искусства, науки, техники. Тут жили и творили художник Дюрер, скульптор Крафт, поэт и композитор Ганс Сакс. Нюрнберг издавна снабжал всю Европу компасами и измерительными приборами. Наконец, часы, обыкновенные карманные часы, были впервые сделаны здесь Питером Хенлейном. Это не помешало гитлеровцам четыре

столетия спустя попытаться в том же самом городе остановить вечный бег времени и повернуть вспять колесо прогресса.

Но история Нюрнберга это не только и даже не столько история развития науки и культуры. В нем жили и действовали не одни лишь мастера, творцы и умельцы. В нем обитали и действовали еще и другие лица — хищные, властолюбивые, жестокие.

В течение столетий Нюрнберг служил символом захватнической политики «Священной Римской империи». С 1356 года, согласно «Золотой булле» Карла IV, каждый новый император свой первый имперский сейм должен был собирать непременно в Нюрнберге. Именно этот город очень любил и жаловал Фридрих I Барбаросса, всю жизнь бредивший мировым господством и бесславно погибший на подступах к Палестине во время третьего Крестового похода.

Гитлеровцы признавали три германские империи. Первой они считали «Священную Римскую империю». Второй ту, которую создал в 1871 году Бисмарк. Основателями третьей тысячелетней империи нацисты считали себя. И именно поэтому Нюрнберг стал партийной столицей нацистов...

Раздумывая и рассуждая о всех этих причудах истории, мы незаметно подошли к окраине города. И тут вдруг вспомнилась французская пословица; «когда говорят о волке, видят его хвост». Перед нами открылся вид на так называемое Партейленде — традиционное место фашистских съездов и парадов.

Огромный асфальтированный стадион с трибунами из серого камня. Грубо и тяжело попирая землю, господствуя над всем, высилась махина центральной трибуны, со множеством ступеней и скамей, с черными чашами на крыльях, где в дни фашистских сборищ горел огонь. Словно рассекая эту махину пополам, снизу вверх проходит широкая темно-синяя стрела, указывающая своим острием, где следует искать Гитлера. Отсюда он взирал на марширующие войска и штурмовые отряды. Отсюда под рев осатанелой толпы призывал их к разрушениям чужих очагов, к захватам чужих земель, к кровопролитиям.

В такие дни город содрогался от топота тысяч кованых сапог. А вечерами вспыхивал, как гигантский костер. Дым от факелов застилал небо. Колонны факельщиков с дикими возгласами и визгом проходили по улицам.

Теперь огромный стадион был пуст. Лишь на центральной трибуне стояло несколько дам в темных очках, очевидно американских туристок. Они по очереди влезали на место Гитлера и, щелкая фотоаппаратами, снимали друг друга...

На одной из улиц Нюрнберга — широкой и прямой

Фюртштрассе — остался почти невредимым целый квартал зданий, и среди них за безвкусной каменной оградой с овальными выемками, с большими двойными чугунными воротами — массивное четырехэтажное здание с пышным названием Дворец юстиции. Первый его этаж без окон представляет собой крытую галерею с овальными сводами, опирающуюся на короткие, круглые, тяжелые, как бы вросшие в землю колонны. Выше — два этажа, оформленных гладким фасадом. А на четвертом этаже — в нишах статуи каких-то деятелей германской империи. Над входом — четыре больших лепных щита с различными эмблемами.

Редкая полоска деревьев с внутренней стороны ограды отделяет здание от улицы. Если присмотреться внимательно, то и здесь видны следы войны. На многих колоннах выщерблен камень не то очередью крупнокалиберного пулемета, не то осколками снарядов. Пусты некоторые ниши в четвертом этаже, очевидно освобожденные от статуй внезапным ударом взрывной волны.

Рядом с Дворцом юстиции — соединенное с ним переходом другое административное здание. А со двора перпендикулярно внутреннему фасаду вплотную к Дворцу примыкает длинный четырехэтажный тюремный корпус. Тюрьма как тюрьма. Как все тюрьмы мира. Гладкие оштукатуренные стены и маленькие зарешеченные окна, налепленные рядами почти вплотную одно к другому.

Капризная военная судьба пощадила этот мрачный квартал будто специально для того, чтобы здесь могло свершиться самое справедливое в истории человечества правосудие. С ноября 1945 года во Дворце юстиции помещался Международный военный трибунал, разбиравший дело по обвинению главных немецких военных преступников. Здесь же, в тюрьме, они содержались под стражей в ожидании приговора.

...Мы проходим первую цепочку охраны. Это шуцманы, новые немецкие полицейские, одетые в темно-синюю форму. Увидев советских офицеров, они вытягиваются — руки по швам, носки врозь.

Затем нас встречают «МР» — американские военные полицейские. Предъявляем пропуска.

— О'кэй! — солдат широким жестом приглашает нас пройти.

Перед самым входом в здание — советские часовые. Здесь нас несколько задержала смена караула. Печатая шаг, прошли наши гвардейцы. Рослые, здоровые ребята с орденами и медалями на мундирах, с желтыми и красными нашивками, свидетельствующими о ранениях в боях.

Мы поднимаемся на второй этаж и оказываемся в помещении,

отведенном для советской делегации. Но нам, конечно, не терпелось скорее очутиться в зале суда, увидеть тех, кто столько лет терроризировал Европу и мир, тех, по чьей вине миллионы ни в чем не повинных людей сложили свою голову. Как часто во время войны приходилось слышать их имена, всегда сопровождаемые весьма нелестными эпитетами. Теперь к этим многочисленным и очень выразительным эпитетам прибавился последний, предусмотренный уголовными законами всех стран мира, — подсудимые.

В судебном зале

Наконец мы в зале, где заседает Международный военный трибунал. Первое, что бросается в глаза, — отсутствие дневного света: окна наглухо зашторены.

А мне почему-то хотелось, чтобы этот зал заливали веселые, солнечные лучи и через широкие окна, нарушая суровую размеренность судебной процедуры, сюда врывались бы многообразные звуки улицы. Пусть преступники чувствуют, что жизнь вопреки их стараниям не прекратилась, что она прекрасна.

Зал отделан темно-зеленым мрамором. На стенах барельефы — символы правосудия. Здесь неторопливо, тщательно, с почти патолого-анатомической точностью вскрывается и изучается политика целого государства и его правительства. Судьи и все присутствующие внимательно слушают прокуроров, свидетелей, подсудимых и их защитников. Каждые 25 минут меняются стенографистки (к концу дня должна быть готова полная стенограмма судебного заседания на четырех языках). Кропотливо трудятся фотографы и кинооператоры многих стран мира. Чтобы не нарушать в зале тишину и торжественность заседаний, съемки производятся через специально проделанные в стенах застекленные отверстия.

На возвышении — длинный стол для судей. За ним слева направо разместились генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко, подполковник юстиции А. Ф. Волчков, англичане лорд Биркетт и лорд Лоуренс, американцы Биддл и Паркер, французы Доннедье де Вабр и Робер Фалько. Ниже судейского стола, параллельно ему, расположился секретариат. Еще ниже — стенографистки.

Справа — большие столы сотрудников прокуратуры четырех держав, руководимых главными обвинителями: от СССР — государственным советником юстиции второго класса Р. А. Руденко, в то время занимавшим пост прокурора Украинской ССР; от США — Робертом Джексоном, членом Верховного суда; от Великобритании — Хартли Шоукроссом, генеральным прокурором Англии; от Франции — Франсуа де Ментоном, членом французского правительства. Позади обвинителей — места для представителей прессы.

Слева от входа — скамья подсудимых. Первый ряд ее занимают Герман Геринг, Иоахим фон Риббентроп, Рудольф Гесс, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Вальтер Функ, Яльмар Шахт. Во втором ряду — Карл Дениц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукель, Альфред Иодль, Франц фон

Папен, Артур Зейсс-Инкварт, Альберт Шпеер, Константин фон Нейрат, Ганс Фриче. Перед каждым судебным заседанием их доставляют сюда по одному. Под усиленным конвоем они следуют через новый подземный ход, соединяющий тюрьму с Дворцом юстиции, и поднимаются в пустой еще зал. Бесшумно открывается узкая дубовая дверь, и подсудимые, как злые духи, будто возникают прямо из стены. Некоторые здороваются друг с другом. Другие озлобленно, по-волчьи шмыгают на свои места, ни на кого не глядя.

Скамью подсудимых окружают солдаты американской военной полиции. Впереди нее на специально отведенных местах — одетые в мантии адвокаты.

На втором этаже зала — балкон для гостей...

В этой обстановке мне предстояло работать без малого год. Судебный процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Трибунал провел 218 судебных заседаний. Протоколы его насчитывают 16 тысяч страниц. Обвинители предъявили 2630 документов, защитники — 2700. Свидетелей было заслушано 240 и, кроме того, изучено 300 тысяч письменных показаний, данных под присягой.

Этот беспримерный судебный процесс поглотил 5 миллионов листов бумаги, весившей 200 тонн. В ходе его было израсходовано 27 тысяч метров звуковой кинопленки и 7 тысяч фотопластинок. Стенограмма каждого судебного заседания для обеспечения максимальной точности дублировалась звукозаписью и затем сверялась с ней.

В первый же день процесса в своем кратком вступительном слове о правовых основах деятельности Международного военного трибунала председательствующий заявил:

— Процесс, который должен теперь начаться, является единственным в своем роде в истории мировой юриспруденции, и он имеет величайшее общественное значение для миллионов людей на всем земном шаре. По этой причине на всяком, кто принимает в нем какое-либо участие, лежит огромная ответственность, и он должен честно и добросовестно выполнять свои обязанности без какого-либо попустительства, сообразно со священными принципами закона и справедливости.

Мы еще увидим, насколько вняли этому призыву некоторые участники процесса, как отнеслась к нему защита, как вели себя многочисленные и очень не одинаковые по своему положению и политическим взглядам свидетели. А пока мне хотелось бы задержать внимание читателя на скамье подсудимых.

Нацистские главари стараются держаться непринужденно. Они переговариваются между собой, пишут записки адвокатам,

делают довольно пространные записи для себя. Особенно усердствует Риббентроп. Он буквально завалил защитника своими «инструкциями» и, пожалуй, с самого начала процесса прямо в зале суда стал сочинять «мемуары», которые очень скоро после его казни были изданы на Западе. Казалось бы, зачем? Ни один еще из буржуазных государственных деятелей не получал возможности столь обстоятельно поведать миру о своей жизни и своих делах, как это довелось в Нюрнберге бывшим членам правительства гитлеровской Германии. Стенографический отчет процесса явился уникальным собранием правдивых биографий нацистских политиков. Но это противоречило их желаниям и намерениям. Нет, не такие «мемуары» хотелось им оставить для истории. И каждый старался по-своему. Одни сами взялись за перо. Другие попытались использовать в этих целях перо многочисленных агентов буржуазной прессы.

Уже в первые дни процесса я заметил, что с подсудимыми часто беседует молодой американский офицер с повязкой «ISO»[2]. То был судебный психиатр доктор Джильберт. В Нюрнберге этому человеку завидовали журналисты всего мира. Как все они, Джильберт мог слушать и наблюдать происходящее в зале суда. Как никто из них, он имел возможность без всяких ограничений в любое время общаться с подсудимыми и в зале суда, и в камерах тюрьмы, и публично, и наедине.

Доктор Джильберт хорошо владел немецким языком, который, как рассказывали, был для него родным. Это еще больше расширяло возможности. Он знал многое, чего не знали другие. Журналисты буквально охотились за ним, надеясь выудить что-нибудь сенсационное для прессы. Но Джильберт умел держать язык за зубами. Перед самым концом процесса он сообщил мне, что заканчивает обработку своих дневников и несколько западных издательств очень торопят его с этим. Ему очень хотелось, чтобы и советские издательства приобрели эту рукопись. Джильберт передал мне первую ее половину для ознакомления. А полностью его книгу «The Nuremberg diary»[3] я прочел позже. Она была издана в США и во многих европейских странах. По-своему это очень любопытный документ, особенно для участников процесса. Джильберт дополняет общую картину увиденного в Нюрнберге рядом ярких деталей, о которых подсудимые поведали ему в частных беседах. Это как бы ежедневный комментарий самих подсудимых ко всем сколько-нибудь значительным событиям процесса, в какой-то степени объясняющий их собственное поведение в суде. Джильберт оказался тонким наблюдателем.

Галерею для гостей всегда переполняли офицеры союзных

армий, преимущественно американской. Приезжали сюда и тогдашний военный министр США Паттерсон, и бывший военный министр Англии Хор-Белиша, и лорд-канцлер Англии Джоуит, и председатель английской комиссии по расследованию военных преступлений лорд Райт, и лорд Моэм — брат писателя Соммерсета Моэма, и известные публицисты Гарольд Никольсон, Уолтер Липпман, Джозеф Олсоп.

Как-то во время обеда у судей меня познакомили с одним толстяком, очень живым и экспансивным. То был Фиорелло Лагардиа, губернатор Нью-Йорка.

Не раз в зале суда появлялись весьма расфранченные дамы, каким-то образом получившие пропуска на длительный срок. Некоторые из них — жены подсудимых, другие — супруги крупных государственных деятелей западных стран. Однажды в перерыве между заседаниями я очутился рядом с двумя такими дамами. В тот день обвинитель предъявлял доказательства, касавшиеся немецко-фашистской агрессии против Австрии, но не успел закончить своих объяснений. Дамы были огорчены этим обстоятельством. Одна из них спросила другую, придет ли она на следующий день. Ответ был умилительным:

— Конечно приду, моя милая, ведь я так хочу узнать, чем же закончилась эта агрессия против Австрии.

Даме было под пятьдесят, но она, увы, как-то не успела вовремя узнать, каким это образом Австрия вдруг перестала существовать...

Говорили, что в Нюрнберг приезжала жена Рудольфа Гесса. Проживая во время процесса в американской зоне, она только и делала, что рассказывала всем о «великих достоинствах» своего мужа и своем намерении издать собственный дневник.

Под стать фрау Гесс была и жена Гиммлера. Эта тоже не пропускала ни одной возможности поговорить с иностранными корреспондентами и поведать им, что она «считает своего мужа великим немецким вождем».

В той же шеренге шествовала жена Квислинга, которая громогласно объявила, что ее муж «мученик, умерший за нордическую свободу».

Но оставим в стороне дам. Не они, в конечном счете, определяли лицо публики на галерее для гостей и в кулуарах Дворца юстиции. И там и здесь куда больше было «деловых» людей.

Вот ведут беседу два человека. Один, на вид лет пятидесяти, весьма респектабельный джентльмен небольшого роста — представитель какого-то издательства. Второй, в черной мантии — адвокат Альфреда Розенберга, высокий и массивный

Тома. Доктор Серватиус — адвокат Заукеля, наблюдая за собеседниками со стороны, понимающе качает головой. Несколько позже он жаловался, что вся защита подсудимых, и без того перегруженная по горло, почти ежедневно должна была вести переговоры с заполонившими Нюрнберг американскими и английскими издателями, решившими, что можно неплохо заработать на публикации мемуаров подсудимых. И результаты этих переговоров проявились незамедлительно: сразу же по окончании процесса в Америке были опубликованы мемуары Розенберга и Риббентропа, написанные в Нюрнбергской тюрьме.

Американцы не зря утверждают, что время — деньги. В ходе Нюрнбергского процесса мы не раз имели возможность убедиться, что некоторые из них пускались здесь во все тяжкие, лишь бы к концу каждого дня подсчитывать доходы от мелких спекуляций. Впрочем, не всегда мелких.

Однажды, когда мы с помощником главного обвинителя от СССР Львом Романовичем Шейниным направлялись в буфет, нас остановил американский полковник. Помнится, он работал в отделе хозяйственного обслуживания американской делегации. Полковник обратился ко мне с просьбой познакомить его с Шейниным, а затем стал расспрашивать Льва Романовича, действительно ли тот на несколько дней вылетает в Москву. Шейнин подтвердил.

— О, это прекрасно, генерал! — обрадовался американец. — У меня есть к вам деловое предложение. Это будет хороший бизнес.

— Какой? — насторожился Шейнин.

— Очень простой. Привезите из Москвы партию сибирских мехов. Поверьте, я их неплохо реализую. Улавливаете?

Я перевел Шейнину эту тираду, и от меня не ускользнуло, как он побагровел от ярости и изумления. Таким мне давно не приходилось видеть Льва Романовича.

— Не понимаю вас, полковник. Может быть, вы не знаете, что я юрист, а не меховщик.

— Я тоже юрист, — не сдавался американец. — Но скажите, пожалуйста, господин генерал, разве юристы самые глупые люди на свете?

— Вот что, давайте прекратим этот бессмысленный разговор, — зло бросил Лев Романович. — Меня удивляет, полковник, что вы посмели обратиться ко мне с такими спекулятивными предложениями.

— Почему спекулятивными, — недоумевал американец. — Это же нормальный бизнес. Я не понимаю, почему вы обиделись.

Он так горячо произнес эти слова и с таким искренним

удивлением посмотрел на Шейнина, что тот в конце концов расхохотался.

— Полковник, нам не понять друг друга.

Пробормотав слова извинения, американец отошел в сторону, но на следующий день, встретив меня, снова вернулся к старой теме. Только на этот раз пытался представить свой вчерашний разговор с Л. Р. Шейниным как шутку.

Другие американцы, помельче рангом, усиленно спекулировали часами. Очень часто они совершали вояж из Нюрнберга в Женеву и, возвращаясь обратно, обвешивались часами, как завзятые контрабандисты. От некоторых из них не было отбоя. Они ловили людей в коридорах, отводили в сторону и предлагали свой товар на выбор.

Мне рассказывали о весьма любопытном инциденте с советским писателем Борисом Полевым. Один энергичный продавец часов, молодой американский парень, как-то остановил его в коридоре и стал навязывать часы. Полевой показал американцу свои собственные и ответил, что других часов ему не нужно. Тогда американец опустил часы в стакан с водой, продержал их там несколько секунд и поднес к уху Полевого. Они тикали нормально. Но Полевой и после этого отказался приобрести их. Раздосадованный такой несговорчивостью, американец зажал часы в кулак и со всего размаха швырнул в мраморную колонну. Затем опять проделал привычную манипуляцию с опусканием их в стакан с водой и снова поднес к уху Полевого. Перед такой рекламой устоять уже было нельзя — Борис Полевой купил у этого парня часы, в которых совсем не нуждался.

Своеобразный колорит вносят своим появлением в коридорах Дворца юстиции пленные эсэсовцы. Использовали их для всякого рода подсобных работ: перетаскивания мебели, уборки помещения. Этих эсэсовцев каждое утро привозили сюда в крытой машине. Потом они как-то сразу исчезли. Это совпало с появлением в длинных коридорах Дворца юстиции дзотов, в которых постоянно дежурили американские солдаты, вооруженные пулеметами и автоматами. Были также установлены зенитные посты на крыше, и вся американская охрана приведена в боевую готовность.

При случае спрашиваю начальника охраны полковника Эндрюса, кто угрожает Международному трибуналу. Оказывается, пленные эсэсовцы. Они будто бы разбежались из лагеря, захватили оружие и идут на Нюрнберг. Относительно целей этого похода циркулировали различные слухи. Одни утверждали, что эсэсовцы решили силой освободить гитлеровских главарей.

Другие доказывали, что они собираются линчевать их за проигрыш войны. Вскоре, однако, выяснилось, что все эти слухи сильно преувеличены. Дзоты были убраны. Но корреспонденты буржуазных газет ликовали: им представилась счастливая возможность сообщить в свои газеты, журналы и агентства еще одну сенсацию из Нюрнберга.

Не забуду и еще одного эпизода. Однажды утром я вошел в зал суда вместе с Л. Р. Шейниным. До начала заседания осталось минут двадцать. Мы стояли недалеко от скамьи подсудимых и разговаривали. Ввели фон Папена, и я заметил, как он вдруг остановился, встретившись взглядом с моим собеседником. Лев Романович тоже всматривался в Папена с каким-то особым выражением. Когда этот зрительный поединок кончился и Папен сел на свое место, а мы с Львом Романовичем вышли в коридор, мне, естественно, захотелось узнать, чем обусловлен их взаимный повышенный интерес друг к другу.

— Ничего особенного, — усмехнулся Шейнин. — Просто мы старые знакомые.

И он рассказал мне, как в 1942 году был командирован советским правительством в Турцию в связи с делом о покушении на Папена. По этому делу без всяких оснований привлекались к суду советские граждане Павлов и Корнилов. Льву Романовичу предстояло возглавить их защиту. Но перед тем турецкое МИД устроило хитрую шутку: Л. Р. Шейнина пригласили вместе с нашим тогдашним послом в Анкаре С. А. Виноградовым на спортивный праздник и усадили их рядом с Папеном. Там-то и состоялось первое «знакомство» нацистского дипломата и разведчика с видным советским следователем и литератором. А теперь вот в Нюрнберге они встретились вновь, и Папен, конечно, узнал Шейнина.

В богатой контрастами картине Дворца юстиции особое место занимали переводчики. Теперь мы уже привыкли к тому, что во время международных встреч и конгрессов, где дискуссии ведутся на многих языках, ораторы не прерывают своих речей для перевода. Перевод осуществляется синхронно: с помощью радиоаппаратуры немцы и болгары, французы и арабы, англичане и итальянцы сразу слышат на доступных им языках любое высказывание. Но тогда, в Нюрнберге, такая система перевода была в новинку, особенно для наших советских переводчиков. С микрофоном они работали впервые, и можно себе представить, как все мы волновались, имея в виду, какое огромное значение придается в судебном разбирательстве буквально каждому слову. Однако волнения эти оказались напрасными. Наши ребята (я называю их так потому, что почти все переводчики были еще в

комсомольском возрасте) не ударили в грязь лицом.

Технически синхронный перевод был организован так. Рядом со скамьей подсудимых стояли четыре стеклянные кабины. В них размещались по три переводчика. Каждая такая группа переводила с трех языков на свой родной — четвертый. Соответственно переводческая часть аппарата советской делегации включала специалистов по английскому, французскому и немецкому языкам, а все они вместе переводили на русский. Говорит, например, один из защитников (разумеется, по-немецки) — микрофон в руках Жени Гофмана. Председательствующий неожиданно прерывает адвоката вопросом. Женя передает микрофон Тане Рузской. Вопрос лорда Лоуренса переведен. Теперь должен последовать ответ защитника, и микрофон снова возвращается к Гофману...

Но работа нашего «переводческого корпуса» не ограничивалась только этим. Стенограмму перевода надо было затем тщательно отредактировать, сличив ее с магнитозаписями, где русская речь чередовалась с английской, французской и немецкой. А кроме того, требовалось еще ежедневно переводить большое количество немецких, английских и французских документов, поступавших в советскую делегацию.

Да, дел оказалось уйма, и я благодарил судьбу за то, что наши переводчики были не только достаточно квалифицированными (большинство из них имело специальное языковое образование), но, что не менее важно, людьми молодыми и физически крепкими. Это и помогло им выдержать столь значительную нагрузку.

Сегодня, когда я пишу эти строки, мне очень хочется вспомнить добрым словом Нелли Топуридзе и Тамару Назарову, Сережу Дорофеева и Машу Соболеву, Лизу Стенину и Таню Ступникову, Валю Валицкую и Лену Войтову. В их добросовестном и квалифицированном труде — немалая доля успеха Нюрнбергского процесса. Им очень обязаны ныне многие советские историки и экономисты, философы и юристы, имеющие возможность пользоваться на родном языке богатыми архивами Нюрнбергского процесса.

Среди переводчиков у нас были и такие, чья деятельность выходила за рамки обычной работы с текстами и у микрофона. Скажем, Олег Трояновский и Энвер Мамедов номинально считались только переводчиками, и они действительно оказали большую помощь нашей делегации своим участием в переводах. Но у них имелся еще и опыт дипломатической работы, который тоже, конечно, не остался втуне.

Летом 1945 года, когда в Лондоне на четырехсторонней

конференции разрабатывалось соглашение о наказании военных преступников и Устав Международного военного трибунала, О. А. Трояновский впервые вступил в деловые контакты с И. Т. Никитченко и А. Н. Трайниным. Он был прикомандирован к ним в помощь из аппарата нашего лондонского посольства и сразу зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. В этом еще молодом тогда помощнике отличное знание иностранных языков счастливо сочеталось с эрудицией в области международных отношений, большой культурой, личным обаянием и исключительным тактом. Все это, вместе взятое, очень способствовало успешному решению сложных задач, стоявших перед советской делегацией. Иона Тимофеевич Никитченко рассказывал мне, как много полезных советов получал он в те дни от Олега Александровича Трояновского. Неудивительно, что впоследствии, оказавшись судьей в Международном трибунале, И. Т. Никитченко не пожалел трудов, чтобы добиться от МИД СССР распоряжения об откомандировании О. А. Трояновского в Нюрнберг. Здесь Олег сидел за судейским столом, обеспечивая контакт советских судей Международного трибунала с судьями других держав. Он же участвовал и во всех закрытых судебных заседаниях.

Э. Н. Мамедов прибыл на процесс из советского посольства в Риме и тоже, как говорится, очень пришелся ко двору. Советские судьи и обвинители высоко ценили его как переводчика, но в то же время привлекали к поручениям и совсем иного характера, требовавшим от исполнителя определенной политической зрелости. Я еще расскажу о таком интересном эпизоде процесса, как допрос германского фельдмаршала Паулюса, об обстоятельствах его прибытия в Нюрнберг. Здесь же упомяну только, что, прежде чем обеспечить выступление Паулюса в суде, следовало преодолеть ряд организационных трудностей. В немалой степени этому содействовал Энвер Мамедов.

Не могу не назвать здесь также Тамару Соловьеву и Инну Кулаковскую, Костю Цуринова и Таню Рузскую. После окончания Московского института истории, философии и литературы каждый из них по нескольку лег работал во Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей. И мы с гордостью сознавали, насколько выше они в своем развитии по сравнению с переводчиками других стран. Когда на окончательно выправленной стенограмме стояла подпись Кулаковской или Соловьевой, можно было надеяться, что будущий историк, изучающий Нюрнбергский архив, не найдет повода для претензии. Кроме того, обладая опытом общения с зарубежными деятелями культуры, эти наши товарищи постоянно помогали

работникам советской делегации находить общий язык со своими американскими, английскими и французскими коллегами.

Переводчиков у нас было гораздо меньше, чем у делегаций других стран. Работы же для них оказалось, пожалуй, даже больше, чем у наших партнеров по трибуналу. И здесь все мы имели возможность лишний раз на практике убедиться в том, что такое новое, советское, отношение к труду.

Князь Васильчиков, состоявший на службе у американцев, с недоумением спрашивал наших синхронных переводчиков:

— Слушайте, господа, зачем вы еще занимаетесь переводом документов? Вам ведь за это не платят.

Синхронные переводчики, тратившие очень много энергии на выполнение своих прямых обязанностей, действительно освобождались от всякого иного перевода. Однако Костя Цуринов и Тамара Соловьева, Инна Кулаковская и Таня Рузская не могли оставаться безразличными, когда их товарищи — «документалисты» Тамара Назарова или Лена Войтова — сгибались под тяжестью своей нагрузки.

Наше неписаное правило — товарищеская взаимопомощь — ярко проявлялась и в другом. Как я уже говорил, в кабинах переводчиков каждой страны всегда сидело по три человека. Речи судебных ораторов порой продолжались в течение часа и даже более того. В этих случаях переводчик с соответствующего языка работал с предельным напряжением, а остальные двое могли слушать, так сказать, вполуха, только чтобы не пропустить реплику на «своем» языке. Переводчики — американцы, англичане и французы в подобной ситуации обычно читали какую-нибудь занимательную книгу или просто отдыхали. Наши же ребята почти всегда все вместе слушали оратора и в полную меру своих возможностей помогали товарищу, ведущему перевод.

При синхронном переводе даже самый опытный переводчик непременно отстает от оратора. Переводя конец только что произнесенной фразы, он уже слушает и запоминает начало следующей. Если при этом в речи дается длинный перечень имен, названий, цифр, возникают дополнительные трудности. И вот здесь-то у наших переводчиков всегда приходили на выручку товарищи по смене. Они обычно записывали все цифры и названия на листе бумаги, лежавшем перед тем, кто вел перевод, и тот, дойдя до нужного места, читал эти записи, не напрягая излишне память. Это не только гарантировало от ошибок, но и обеспечивало полную связность перевода.

Справедливости ради не могу не заметить, что такая форма товарищеской взаимопомощи вскоре получила распространение и среди переводчиков других делегаций. Вот оно, пусть хоть

маленькое, но все же торжество нашей морали!

Работать в Нюрнберге в качестве переводчиков или даже архивариусов стремились многие советские историки, экономисты, международники, юристы. Хорошо помню письмо ныне покойной академика А. М. Панкратовой. Она рекомендовала в качестве переводчика своего ученика М. С. Восленского. Миша Восленский оказался прекрасным работником и замечательным товарищем. Он мечтал стать летописцем процесса. К сожалению, мечты эти почему-то не сбылись: прошло уже двадцать лет, а его книга о Нюрнберге остается еще не написанной. Зато Нюрнберг определил весь жизненный путь М. С. Восленского — он стал одним из наиболее известных советских историков-германистов. Теперь Михаил Сергеевич Восленский уже доктор исторических наук.

Другой наш переводчик — Костя Цуринов — большой знаток испанской литературы. В ходе Нюрнбергского процесса почти переквалифицировался в юриста. По моему представлению он был назначен секретарем советской делегации. Но в отличие от Михаила Сергеевича Восленского, Константин Валерьянович Цуринов в конечном счете не испытал такого влияния Нюрнберга на свою дальнейшую судьбу. Он остался верен филологии и является ныне одним из крупнейших специалистов по испанской литературе.

Когда мы проводили на мирную конференцию в Париж Олега Трояновского, его сменил за судейским столом Берри Купер. Это был переводчик особого рода. Случилось так, что английский язык стал для него родным. В переводе на английский ему не было равных в нашей делегации. Но с переводами на русский он чувствовал себя не очень уверенно и частенько прибегал к помощи товарищей. Зато и сам помогал друзьям всем, чем мог. Это был на редкость добрый и благожелательный человек, щедро наделенный от природы чувством юмора.

С теплым чувством я вспоминаю также Лену Дмитриеву и Нину Орлову. В течение всего процесса они работали с Р. А. Руденко и И. Т. Никитченко. Наши коллеги — обвинители и судьи других стран, — прощаясь с ними, от души благодарили этих тружениц за то, что было сделано каждой из них для установления хороших деловых отношений между руководителями делегаций.

Были среди переводчиков и такие, которые пришли в зал суда прямо из концлагерей. Они тоже относились к своей работе не только добросовестно, а просто самозабвенно. Для курьеза скажу, что один из них, обычно заикавшийся, сразу исцелялся от этого своего недуга, как только входил в переводческую кабину.

Правильный перевод в обстановке Нюрнбергского процесса выходил далеко за рамки чисто технической задачи. Это подчас приобретало характер большой политики. Вспоминается антисоветский выпад доктора Штамера, адвоката Геринга. Допрашивая одного из свидетелей, он весьма часто употреблял слово «безетцунг», говоря об освобождении Польши советскими войсками в 1944 году. Слово это имеет два значения: «оккупация» и «занятие». По всему духу вопросов адвоката советский переводчик Евгений Гофман понимал, какой смысл вкладывает тот в слово «безетцунг», и потому перевел его как «оккупация». Р. А. Руденко тут же заявляет протест. Западные судьи, которым их переводчики перевели это слово в его нейтральном звучании, не понимают, чего добивается главный советский обвинитель. Объявляется перерыв. Суд удаляется на совещание. Наш переводчик разъясняет суть дела. Суд возвращается в зал и объявляет о своем решении: в протоколе заседания слово «оккупация» должно быть заменено словом «освобождение». Доктор Штамер недовольно кривится, но возражать не смеет...

Не обходилось, впрочем, и без казусов. Мне вспоминается сейчас один забавный казус. Показания давал Геринг. Переводила их очень молоденькая переводчица. Она была старательной, язык знала хорошо и на первых порах все шло гладко. Но вот, как на грех, Геринг употребил выражение «политика троянского коня». Как только девушка услышала об этом неведомом ей коне, лицо ее стало скучным. Потом в глазах показался ужас. Она, увы, плохо знала древнюю историю. И вдруг все сидящие в зале суда услышали беспомощное бормотание:

— Какая-то лошадь? Какая-то лошадь?..

Смятение переводчицы продолжалось один миг, но этого было более чем достаточно, чтобы нарушить всю систему синхронного перевода. Геринг не подозревал, что переводчик споткнулся о троянского коня, и продолжал свои показания. Нить мысли была утеряна. Раздалась команда начальника смены переводчиков: «Stop proceeding!»[4] Напротив председательского места загорелась, как обычно в таких случаях, красная лампочка, и обескураженную переводчицу тут же сменила другая, лучше разбирающаяся в истории.

А вот еще аналогичный пример. Одна из переводчиц, не особенно искушенная в военно-морской терминологии, переводила показания свидетеля. И вдруг у нее получилось так, что далеко в открытом океане английский корабль обнаружил... мальчика. Когда его выловили и как следует отмыли, то на самом мальчике явственно проступила надпись, свидетельствующая, что он принадлежал потопленному немцами английскому кораблю...

Тут голос переводчицы стал звучать несколько неуверенно, но уяснить свою ошибку ей удалось лишь выйдя из кабины. Она перепутала близкие по звучанию английские слова «буй» и «бой» (мальчик).

Всякое случалось в переводческой практике!

В составе делегации США, Англии и Франции находилось на службе значительное количество русских эмигрантов. Были среди них и такие, которые упорно сохраняли к Советскому Союзу враждебное отношение. Но большинство все-таки явно симпатизировали нам. Многие из этих людей покинули родные места еще в детские годы. Находясь за границей, в массе своей они бедствовали. Помнилась война с Германией 1914—1918 годов, полная неудач для царской России. И вдруг четверть века спустя, когда германские милитаристы вновь оказались на русской земле, все обернулось по-иному — война закончилась блистательной победой русского оружия. Уже от одного этого у вчерашних белоэмигрантов не могло не заговорить чувство национальной гордости, и они, порой безотчетно, потянулись тогда к нам, советским людям.

Как-то раз, во время очередного заседания, один из секретарей советской делегации, майор Львов, сообщил мне, что в коридоре вот уже больше часа меня дожидается какой-то сотрудник английской делегации. Я спустился вниз и увидел пожилого человека, весьма небогато одетого. Лет ему было под шестьдесят.

— Чем могу быть полезен? — обратился я к нему по-английски.

— Господин майор, — ответил он по-русски, — позвольте мне говорить с вами на родном языке.

После этого незнакомец представился. За точность не ручаюсь, но, кажется, фамилия его была Строганов. Он эмигрировал из России после революции. До того был не то членом правления, не то просто чиновником РОПИТа. Я сразу не понял, что это такое. Строганов разъяснил — Российское общество пароходства и торговли. Потом рассказал мне, что родился, жил и служил до революции в Одессе.

Оказавшийся рядом со мной Аркадий Львов не удержался от восклицания:

— Так вы же с майором земляки!

Это была не самая удачная реплика. Строганов забросал меня вопросами. Чувствовалось, что он сохранил глубокое уважение к своей Родине, а к Одессе — нежную сентиментальную любовь. В глазах его появились слезы. Старого одессита интересовало все: велики ли в городе разрушения, цел ли Николаевский бульвар,

гостиница Лондонская, как Дюк? Ну и, конечно, осведомился о состоянии Оперного театра, в отношении которого одесские аборигены десятки лет спорили, первый ли он по красоте и изяществу в мире или только в Европе. Некоторые снисходительно соглашались с тем, что в Вене построили такой же театр, но, разумеется, скопировав с одесского. Это спор, начавшийся где-то в XIX веке, прошел через две революции и несколько войн, но острота его не уменьшилась.

Не скрою, мне приятно было поболтать со стариком. Они ведь очень занятные, эти одесские старики. Недаром о них с такой симпатией писали Куприн, Бабель, Ильф и Петров. Но времени у меня было в обрез, и я постарался переключить нашу беседу на деловой тон:

— Так чем же я все-таки обязан вашему вниманию, господин Строганов?

— Господин майор, я очень прошу вас представить меня его превосходительству генералу Никитченко.

Майор Львов чуть было не прыснул от такой торжественной формы обращения, но сдержал себя и тактично заметил:

— Господин Строганов, а ведь можно и без «превосходительства».

Старик улыбнулся, взглянул поочередно на нас обоих и не без лукавства отпарировал:

— А ведь я знаю, господа, что в России все это отменено. И сам считал, что это было сделано правильно. Но покорнейше прошу меня извинить: теперь самое время восстановить эти слова. После всего, что случилось, молодые люди, после таких побед русской армии я не могу обращаться к русскому генералу без приставки «ваше превосходительство».

Я обещал Строганову поговорить с Никитченко, хотя так и не мог понять, о чем он хочет говорить с весьма несловоохотливым Ионой Тимофеевичем. Старик был очень доволен и заверил, что впредь мы можем полагаться на него, он всегда готов помочь нам.

— И вообще, господа, — закончил он, — я ведь знаю местную нюрнбергскую эмиграцию. Можете к ней относиться с доверием. Люди настроены к вам очень дружески.

Скоро мы действительно убедились в этом. Многие из эмигрантов старались по мере сил быть полезными нам.

Помню, однажды мне пришлось вступить в спор с начальником отдела переводов генерального секретариата полковником Достером. Нами с некоторым опозданием был сдан в перевод с русского на английский язык текст предстоящей речи помощника главного советского обвинителя Л. Н. Смирнова. Одновременно подоспела к переводу речь другого советского

обвинителя — Л. Р. Шейнина. Полковник Достер отказался обеспечить своевременный перевод. Мы и сами понимали, что ставим переводчиков в тяжелое положение, но продолжали добиваться своего. Чтобы убедить нас в невозможности своевременно перевести обе речи, полковник Достер повел меня и Шейнина в русскую секцию бюро переводов, целиком состоявшую из эмигрантов. Каково же было удивление Достера, когда возглавлявшая эту секцию княгиня Татьяна Владимировна Трубецкая заявила ему:

— Милый полковник, вы, конечно, правы. Но на этот раз позвольте нам, русским, самим договориться с русскими.

Нас же она заверила, что работа будет выполнена в срок. И слово свое сдержала.

В памяти остались и некоторые другие встречи с эмигрантами.

Хочется сказать, в частности, о Льве Толстом — внучатом племяннике великого писателя. Как сейчас, вижу перед собой его худощавое смуглое лицо человека лет тридцати — тридцати трех. Работал он переводчиком во французской делегации и, возвратившись однажды из поездки в Париж, привез советским писателям, работавшим на процессе, сердечное приветствие от И. А. Бунина. Бунин прислал также свежий номер русского эмигрантского журнала, в котором был напечатан его рассказ «Чистый понедельник». Об этом рассказе много говорили и спорили. Но в одном соглашались все: от начала до конца его пронизывало чувство беспредельной тоски по Родине и нежнейшей любви к ней.

Не могу я забыть и того, как пришла к нам группа русских переводчиков из западных делегаций с просьбой показать им документальные фильмы о преступлениях нацистов на советской территории. Такой киносеанс был организован, и трудно описать, что на нем происходило. Плакали поголовно все — мужчины и женщины, молодые и старые. Волнение зрителей было непередаваемым. И тогда мне невольно вспомнились слова Дантона, брошенные в ответ на предложение эмигрировать из Франции, ибо гнев Робеспьера скоро настигнет и его:

— Нельзя унести Родину на каблуках своих сапог.

Да, действительно нельзя!

* * *

Каждый день процесса был по-своему богат впечатлениями. Не случайно в нюрнбергский Дворец юстиции стекалось тогда

такое количество писателей и публицистов. Нашу советскую прессу представляли Константин Федин, Леонид Леонов, Илья Эренбург, Всеволод Иванов, Всеволод Вишневский, Борис Полевой, Лев Шейнин, художники Кукрыниксы, Бор. Ефимов, Н. Жуков и др.

«Весьма важные персоны»

Давно замечено, что в разных странах внутреннее расположение тюрем — камеры, их оборудование — и даже режим дня имеют много общего. Это дало когда-то повод Илье Эренбургу остроумно заметить устами Хулио Хуренито, что палка, в чьих бы руках она ни оказалась, не перестанет быть палкой; ни мандолиной, ни японским веером она стать не может.

Нюрнбергская тюрьма не являлась исключением. Это многоэтажное здание нафаршировано камерами размером 10 на 13 футов. В каждой камере на высоте среднего человеческого роста — окно в тюремный двор. В дверях — другое окошко, постоянно открытое (через него передавалась подсудимому пища и осуществлялось наблюдение). В углу — туалет.

Весь мебельный «гарнитур» составляют койка, жесткое кресло и вправленный в пол стол. На столе разрешалось иметь карандаши, бумагу, семейные фотографии, табак и туалетные принадлежности. Все другое изымалось.

Когда подсудимый ложился на койку, его голова и руки должны были всегда оставаться на виду. Всякий, кто пытался нарушить это правило, вскоре чувствовал руку часового: его будили.

Ежедневно заключенных брил безопасной бритвой проверенный парикмахер из военнопленных. Бритье тоже проходило под наблюдением охраны.

Электропроводка и освещение были сделаны так, что свет в камеры подавался снаружи. Это исключало возможность самоубийства током. Очки выдавались только на определенное время и на ночь обязательно отбирались.

Один-два раза в неделю заключенные могли ожидать обыска. В таких случаях они становились в угол, а военная полиция перетряхивала буквально всю камеру. Еженедельно полагалась баня, но перед ней непременно нужно было пройти через специальное помещение для осмотра.

Я часто видел начальника тюрьмы полковника Эндрюса. Высокий, широкоплечий, представительный, в очках, придававших его строгому лицу еще большую официальность, он проявлял много забот о подсудимых, дабы каждый из них чувствовал себя настолько хорошо, чтобы не пропускать заседаний суда. Эндрюс производил впечатление настоящего служаки, понимавшего, что под его надзором находятся не обычные уголовники, а заключенные особого рода. Как-то он мне сказал, показывая на скамью подсудимых: «Уф». Я сразу не понял

его, и он разъяснил:

— Very important persons[5].

Эти «Vip» не однажды жаловались на него. Самое курьезное заключалось в том, что, даже сидя на скамье подсудимых, многие из них по-прежнему претенциозно рассматривали себя государственными деятелями. Их возмущали любые ограничения. Шахт, например, гневно жаловался на то, что ему не разрешают встречаться в тюрьме с такими джентльменами, как Папен и Нейрат (остальных он считал преступными каторжниками, которым давно место на галерах, и потому его даже устраивало, что видится с ними не очень часто).

Но больше всех и наиболее шумно выражал свои протесты Герман Геринг. В отношении его полковник Эндрюс проявлял особую заботу и предосторожность. А вот это-то «свободолюбивой» натуре Германа Геринга как раз и не нравилось.

На одном из заседаний генерального секретариата начальник тюрьмы давал объяснение по поводу очередной жалобы на него заключенных. Эндрюс пожаловался на Геринга:

— Понимаете, этот толстый Герман все-таки неблагодарная свинья. Я же его избавил от пагубной привычки целыми пригоршнями поедать наркотические таблетки. Ведь когда он прибыл ко мне, никак не хотел расставаться с чемоданом, наполненным наркотиками. Я отобрал. Он ругался, но вынужден был примириться. Я сделал из него человека и спас от верной и позорной для мужчины смерти...

В первые дни своего пребывания в тюрьме Геринг пытался убедить Эндрюса в том, что хотя среди подсудимых он действительно «первый человек», но это еще вовсе не значит, будто он самый опасный. Когда эта линия защиты ничего не дала, «толстый Герман» избрал другую, с его точки зрения, более весомую: как-никак процесс в Нюрнберге — исторический, и вряд ли, мол, чиновники вроде полковника Эндрюса захотят, чтобы их имя ассоциировалось потом с оскорблениями в отношении больших государственных деятелей, оказавшихся, увы, в беспомощном и безответном положении. Эндрюс рассказывал, что однажды Геринг, обращаясь к нему, воскликнул с явно напускным пафосом:

— Не забывайте, что вы имеете здесь дело с историческими фигурами. Правильно или неправильно мы поступали, но мы исторические личности, а вы никто!

Полковник Эндрюс держался иного мнения, а потому довольно легко сносил такие истерические вспышки своих клиентов. Эндрюса не столько обижало, сколько смешило то, что

бывший рейхсмаршал пугает его судьбой тюремщиков Наполеона.

Никто в Германии, даже среди ближайшего окружения Германа Геринга, не подозревал, что он питает интерес к истории и литературе. Мы еще увидим, как загружен был день этого «второго человека в империи». Но, видно, Геринг давно готовил себя к положению «первого человека», в связи с чем его очень волновала карьера Бонапарта. На изучение жизни и печального конца императора он находил время. Наполеона из него явно не вышло. Для Геринга не нашлось даже какого-нибудь экзотического острова, подобного тому, где доживал остаток дней своих «великий корсиканец». Это тоже оказалось лишь глупой мечтой. Геринга посадили в обычную уголовную тюрьму, в обычную одиночную камеру с парашей, под надзор не очень посвященной в историю американской стражи. Ему не оставалось ничего иного, как попытаться своими силами восполнить этот пробел в образовании американцев.

— Не забывайте, полковник, — поучал он Эндрюса, — о судьбе тюремщика Наполеона. Он позволял себе дурное обращение с пленником. Я хотел бы, чтобы вы знали, что ему пришлось потом написать в свое оправдание два тома воспоминаний.

Но Эндрюс очень хладнокровно выслушивал такие тирады...

Припоминается и еще одно заседание генерального секретариата, на котором в числе прочих вопросов рассматривалась очередная жалоба некоторых заключенных Нюрнбергской тюрьмы. На этот раз жаловались немецкие фельдмаршалы и генералы. Человек пятнадцать — двадцать. В их числе: Кейтель, Иодль, Рунштедт, Гудериан, Гальдер.

Главное, что их возмущало, это уборка камер. Каждое утро один из немецких военнопленных солдат передавал господам фельдмаршалам обыкновенную метлу, которой они самолично должны были подмести пол своей камеры.

Жалуясь на столь оскорбительное к ним отношение, германские фельдмаршалы и генералы обильно цитировали Женевскую конвенцию 1929 года о режиме для военнопленных. Они упорно не хотели считаться с тем, что являются уже не военнопленными, а военными преступниками, что режим их содержания определяется не Женевской конвенцией, а уголовным кодексом.

Полковник Эндрюс отозвался по поводу этой жалобы с присущей ему лаконичностью.

— Дьявол цитирует священное писание...

Каждый день подсудимые совершали прогулки в тюремном дворе. Во время прогулок им разрешалось разговаривать. Но не

все пользовались этим правом. Некоторые предпочитали держаться особняком. Многие открыто сторонились Штрейхера. Отношение к нему других обвиняемых с предельной ясностью выразил Функ:

— Я достаточно наказан уже тем, что вынужден сидеть рядом со Штрейхером на скамье подсудимых.

Довольно странные вещи происходили иногда в тюрьме. 26 декабря 1945 года американская администрация устроила для бывших национал-социалистских руководителей рождественское богослужение. Английское радио посвятило этому специальную передачу, в деталях сообщив своим слушателям, как все протекало.

Оказывается, еще накануне рождества из двух или трех тюремных камер было оборудовано нечто напоминающее церковь. Каждый подсудимый приходил туда со своим охранником. Разговаривать не разрешалось. Если охрана замечала, что кто-то не столько произносит слова молитвы, сколько болтает с другими подсудимыми, к «нарушителю» применялись соответствующие меры.

Какое отвратительное зрелище, какое фарисейство! Матерые преступники смиренно «беседуют с богом». Даже Фриче, опубликовавший впоследствии свои мемуары, пишет, что «слышать это было страшно».

Подсудимым без ограничения давали из тюремной библиотеки книги. Риббентроп читал мало, и преимущественно Жюля Верна. Он верил, что ему еще удастся выйти из этой тюрьмы: ведь в романах Жюля Верна бывали и более фантастические ситуации. Садист и развратник, один из «теоретиков» и практиков антисемитизма, Штрейхер увлекался немецкой поэзией. Бальдур фон Ширах, бывший руководитель гитлеровской молодежи, переводил на немецкий язык стихи Теннисона. Говорили, что у него неплохо получалось, и в тюрьме он, видимо, искренне пожалел, что не посвятил себя этому целиком. Франц фон Папен, бывший вице-канцлер, углубился в религиозную литературу; старый диверсант и политический авантюрист на склоне лет из своей тесной тюремной камеры простирал руки к богу. Бывший министр внутренних дел Фрик не читал ничего, он любил поесть. Вскоре ему уже не годились его пиджаки — так располнел. Позже Эндрюс рассказывал мне, что уже через пять минут после объявления Фрику смертного приговора он ел с большим аппетитом.

«О'кэй, следуйте за нами»

Если бы кто-нибудь задумал сличать фамилии обвиняемых, названные в обвинительном заключении, с табличками, висевшими на каждой тюремной камере, он без труда обнаружил бы, что в тюрьме недостает Роберта Лея. Как же это случилось?

Когда явно обнаружился близкий крах гитлеровского режима, Роберт Лей решил, что ему пока еще нет оснований отчаиваться. С тонувшего корабля бежали многие, сбежит и он. Все пытаются спастись, и ему это не заказано.

И Роберт Лей бежит в Баварские Альпы. Там, в горах, изменив фамилию, он терпеливо пережидал, пока союзникам не надоест его искать.

Но Лею не повезло. Командование 110-й американской парашютной дивизии получило о нем сигнал от местного населения. И 16 мая 1945 года солдаты этой дивизии двинулись в путь на поимку Лея.

Вот они уже в домике, затерянном в горах. В полутемной комнате на краю деревянной кровати сидит мужчина, заросший бородой. Он заметно испуган, весь дрожит.

— Вы доктор Лей?

— Ошибаетесь, — возразил бородач. — Я доктор Эрнст Достельмайер.

— О'кэй, следуйте за нами!..

Задержанный был доставлен в штаб дивизии в Берхтесгаден. Опять допрос, и опять упорное отрицание: он не Роберт Лей. Вот документы, устанавливающие, что он Эрнст Достельмайер. Не помогли даже доводы офицера из разведывательных органов США, много лет следившего за Леем и хорошо знавшего своего подопечного. Ответ был прежним:

— Вы заблуждаетесь.

— Ну хорошо, — сказал офицер и сделал знак солдатам.

Через минуту в комнату был введен старик немец, восьмидесятилетний Франц Шварц, бывший казначей национал-социалистской партии. Увидев задержанного, Шварц громко воскликнул:

— О! Доктор Лей?! Что вы тут делаете?

После того как его опознал и сын Шварца, Лей счел дальнейший фарс с переодеванием бесцельным.

— Вы выиграли, — с досадой бросил он американскому офицеру.

Так бывший руководитель германского трудового фронта был арестован, а затем водворен в Нюрнбергскую тюрьму и включен в

список подсудимых. Надо сказать, что в этом списке Роберт Лей занял свое место вполне заслуженно. Это он по указанию фюрера ликвидировал в Германии свободные профсоюзы, конфисковал их средства и собственность, организовал жестокое преследование профсоюзных лидеров. Под его руководством пресловутый германский трудовой фронт стал жестоким орудием эксплуатации немецких рабочих. Затем Роберт Лей — генерал войск СА, был поставлен во главе центральной инспекции по наблюдению за иностранными рабочими и на этом посту проявил себя самым безжалостным, самым бесчеловечным истязателем миллионов иностранных рабочих, насильственно угнанных в Германию.

Люди, близко знавшие Роберта Лея, уверяли, что только в тюрьме они увидели его трезвым. В своем пристрастии к алкоголю он был, конечно, далеко не одинок в придворной камарилье Гитлера. Никогда не упускавший случая подчеркнуть свое отвращение к соседям по скамье подсудимых, Шахт в одном из показаний заявил:

— Я должен сказать, что лишь одно сближало большинство партийных фюреров с древними германцами: они всегда пили кружку за кружкой.

Но Роберт Лей отдавался кружке с особым усердием и железной последовательностью. А поскольку в Нюрнбергской тюрьме кружки наполнялись отнюдь не спиртным, он сразу заскучал. И кто знает, может быть, именно это обстоятельство настроило его на философский лад. Он охотно откликнулся на просьбу тюремного врача доктора Келли высказать в письменной форме свои мысли о власти и перспективах Германии.

Не стоило бы, пожалуй, тратить время на то, чтобы воспроизводить здесь фрагменты из его политических пророчеств, если бы этот матерый нацист не нарисовал в них более или менее верную картину того, как сложились германо-американские отношения в последующие годы.

Да, рассуждал Лей, Советский Союз сумел разгромить Германию, но нельзя забывать, что это победа марксизма, а она опасна для Запада... И тут же начинается тривиальное запугивание «большевизмом», «азиатским наступлением» на Европу: «Запад всегда смотрел на Германию, как на дамбу против большевистского потока. Ныне эта дамба разрушена и немецкий народ не способен восстановить ее сам».

А кто же, по мысли Лея, может свершить такое? Ну конечно же «Америка должна восстановить эту дамбу, если сама хочет жить», а немецкий народ обязан предоставить американцам соответствующую помощь. «Для нас и для Америки, — вещает

Лей, — нет другого выбора».

Ратуя за германо-американский союз в будущем, он, конечно, понимает, что национал-социализм связан был в своей деятельности некоторыми крайностями, которых порядочное общество «не приемлет». И потому Лею хочется убедить американцев, что лично им эти крайности никогда не одобрялись. По мнению Лея, национал-социализм, для того чтобы он существовал дальше и стал американским союзником, нуждается только в некоторой демократической приправе. «Национал-социалистская идея, очищенная от антисемитизма и соединенная с разумной демократией, — пишет Лей, — это наиболее ценное, что может предоставить Германия общему делу».

А о каком же общем деле идет речь? Общем для Германии и США! Ну конечно же об антикоммунизме.

Лей готов на определенную трансформацию, на совершенствование системы национал-социализма, но в целом он считает, что германо-американский союз надо начинать «с Гитлера, *а не против* Гитлера». Он предостерегает американцев от возможной недооценки аппарата гитлеровской партии и всех тех, на ком держалась гитлеровская Германия:

«Наиболее уважаемые и активные граждане — это те люди, которые работали в качестве гаулейтеров, крейслейтеров и ортсгруппенлейтеров. Сегодня все они или почти все находятся в заключении. А они должны быть использованы для благородной цели — примирения с Америкой и превращения Германии в проамериканского союзника».

Вот какие мысли посещали Роберта Лея в одиночной камере старой Нюрнбергской тюрьмы. Очевидно, сам того не подозревая, он стал основоположником целей послевоенной американской политики в Германии, по-своему предвосхитил и Бизонию, и Тризонию, и НАТО, и новые карьеры Глобке, Хойзингера, Шпейделя, Ферча и многих, многих других. Судьба, однако, так распорядилась событиями, что доктору Лею не пришлось лично убедиться в полном совпадении своих взглядов со взглядами и политикой американских властей.

Чтобы уж совсем закончить здесь с рекомендациями Лея, упомяну лишь еще об одном совсем трогательном его совете американским властям. Говоря о необходимости освобождения из-под стражи всех нацистских руководителей, всех гитлеровских генералов и использовании их в новых условиях, но понимая, что это может вызвать взрыв общественного мнения, он резонно подчеркивал:

«Эта акция должна быть осуществлена в полной тайне. Я

думаю, что это вытекает из интересов американской внешней политики — для того, чтобы американские руки не были слишком рано видны».

Да, протрезвев наконец в тюрьме, бывший руководитель имперского трудового фронта высказал ряд пророческих мыслей насчет будущего развития американо-германских отношений. Трезвости у Лея не хватило лишь на то, чтобы предсказать собственную судьбу. Он, видимо, переоценил значение просьбы Келли — сформулировать письменно свои мысли о будущем. Где-то в глубине души у него шевельнулась надежда, что он еще пригодится — новые отношения между Америкой и Германией лучше строить с ним, чем без него. Не зря, пожалуй, вот уже несколько месяцев Лею не предъявляют никакого официального обвинения, и, кто знает, может быть, спустят дело на тормозах. Ведь было же нечто подобное с германскими руководителями после первой мировой войны. На всякий случай Роберт Лей обращается с личным письмом к Генри Форду, хорошо известному своими профашистскими настроениями, сообщает ему о своем опыте сооружения автомобильных заводов — «фольксваген» — и просит обеспечить место после того, как будет освобожден.

И вдруг все рухнуло. Как гром с ясного неба прозвучали для него слова обвинительного заключения. Этот документ вырывает Роберта Лея из мира сладких иллюзий и возвращает к жестокой действительности. Чем больше Лей вчитывается в неумолимые строки, тем меньше он верит в воздушные замки, которые без конца и без устали только недавно сооружала его фантазия. Он наконец постиг ту горькую истину, что и без доктора Лея американцы смогут провести намеченную им программу. Программа-то, без сомнения, хороша, да только сам ее автор слишком уж скомпрометирован. Эта битая карта никогда уже не будет пущена в ход в новой политической игре.

Перед Леем впервые во всей своей жуткой реальности представилась ожидающая его судьба. Нервы окончательно сдают, весь день он мерит шагами свою камеру. Его навещает доктор Джильберт и записывает в своем дневнике, что глаза у подсудимого «имеют безумное выражение».

Это было в ночь на 25 октября 1945 года. Через 25 суток должен был начаться исторический Нюрнбергский процесс, на котором Лею было уготовано его законное место.

Ночью происходит последний диалог между бывшим руководителем германского трудового фронта и часовым, охранявшим его камеру. Часовой спросил, почему он не спит. Лей близко подходит к «глазку», неподвижно смотрит в лицо

простому американскому парню и невнятно бормочет:

— Спать? Спать?.. Они не дают мне спать... Миллионы чужеземных рабочих... Боже мой! Миллионы евреев... Все убиты. Все истреблены! Убиты! Все убиты. Как я могу спать? Спать...

Может быть, в эту ночь доктору Лею стало вдруг жаль загубленных жизней? Нет, не об этом он думал. Палач боялся той неотвратимой ответственности, которая его ждет. Он жалел не тех, кого помогал мучить и уничтожать, а только себя. Все остальное было лишь психологическим фоном, на котором происходило разложение этого мелкого себялюбца, трусливого и низкого. Перед ним отчетливо вырисовывались веревочная петля и огромная толпа людей в лагерных халатах, которая вот-вот потащит его к помосту, к этой петле. Ему стало невыносимо страшно, настолько страшно, что он поспешил сам полезть в петлю...

Часовой, совершавший обход других камер, вновь заглянул к Лею и вдруг обнаружил, что его нет. Присмотрелся внимательнее и в одном из углов камеры, где установлен туалет, увидел согнувшуюся фигуру заключенного. Ну что ж, обычная картина.

Бегут минуты, а Лей все не меняет позу. Часовым овладевает беспокойство.

— Эй, доктор Лей! — кричит он в «глазок».

Ответа нет.

Через мгновение четверо американских военных вскакивают в камеру, и перед ними жалкое зрелище — имперский руководитель трудового фронта, согнувшись над стульчаком, висит в петле, сделанной из полос разорванного одеяла. Попытки привести его в чувство не удались. Врачи констатировали смерть.

Самоубийство Лея вызвало смятение среди тюремной стражи. Если до этого один часовой полагался на четыре камеры, то после самоубийства охрана появилась у каждой двери. Круглые сутки за всеми подсудимыми неотрывно велось наблюдение в «глазок». Это было очень утомительно, и караул приходилось часто менять.

Весть о бесславном конце Лея очень скоро проникла в камеры к остальным подсудимым. Первым на нее реагировал Геринг:

— Слава богу! — жестко сказал он. — Этот бы нас только осрамил.

А в разговоре с Джильбертом бывший рейхсмаршал развил свою мысль:

— Это хорошо, что он мертв. Я очень боялся за поведение его на суде. Лей всегда был таким рассеянным и выступал с какими-то фантастическими, напыщенными, выспренними речами. Думаю, что перед судом он устроил бы настоящий спектакль. В общем, я не очень удивлен. В нормальных условиях он спился бы

до смерти.

Такова эпитафия одному из руководителей «третьей империи», тем более ценная, что она исходила из уст нациста № 2.

Имперский руководитель трудового фронта не дожил до суда. «Фельдмаршал в битве против рабочего класса», как его охарактеризовал один из обвинителей на процессе, ответил на обвинение самоубийством. Очевидно, у него не было лучшего ответа.

Червь возвращается к червям

Не дожил до суда и Генрих Гиммлер, но имя его поминалось в ходе Нюрнбергского процесса почти ежедневно.

— Это Гиммлер отдал приказ...

— По этому вопросу имелась директива рейхсфюрера Генриха Гиммлера...

— Об этом мог бы дать показания только Гиммлер...

Такие и подобные им ссылки делались всеми подсудимыми, когда речь заходила о страшных преступлениях нацизма.

Много раз и судьям, и обвинителям приходилось сожалеть об ошибке, допущенной офицерами английских оккупационных властей, лишившей Международный трибунал возможности допросить имперского руководителя СС. Вряд ли стоит говорить о том, какой услугой была эта ошибка для того же Германа Геринга, который с такой циничной откровенностью выражал свое удовлетворение самоубийством Лея.

Правда, рейхсфюрер СС не отличался истеричностью Лея. Но ведь никто не поручился бы за то, что Генрих Гиммлер по-рыцарски мог взять на себя всю вину, щадя своих соседей по скамье подсудимых. Это никак не вязалось с его характером и привычками. Гораздо легче можно было представить нечто совершенно противоположное, если бы вдруг открылась дверь и солдаты ввели в зал Генриха Гиммлера. Но увы, появление его здесь совершенно исключалось.

* * *

Шли последние месяцы войны. Геббельс и Фриче все еще надрывно кричали в микрофоны, что Германия полна сил и недалек тот час, когда по приказу фюрера на чашу весов будет брошено новое секретное оружие, которое быстро решит исход тяжелой борьбы в пользу «фатерланда». Но и сами они, и, уж конечно, Генрих Гиммлер к тому времени ясно поняли, что карта «третьей империи» бита, что гитлеровский режим накануне жесточайшего поражения.

Главный имперский каратель все чаще стал задумываться о собственной судьбе. Он всегда слыл реалистом, а тут вдруг утратил всякое чувство реального, сочтя себя подходящей фигурой для официальных переговоров с союзниками. Нет, слишком много крови было на нем, слишком широкой известностью пользовалось имя палача и инквизитора, главаря

СС, организатора и повелителя лагерей уничтожения и газовых камер, чтобы даже на Западе его рассматривали как «высокую договаривающуюся сторону».

Однако Гиммлер упорно пытался игнорировать это. В течение нескольких месяцев, предшествовавших краху, он неоднократно встречается с шведским графом Бернадотом, видя в нем подходящего посредника для установления контакта с западными державами. Предлог: переговоры о судьбе датских и норвежских военнопленных.

«Когда Гиммлер внезапно предстал передо мною в роговых очках, в зеленом мундире эсэсовца, без всякой декорации, — вспоминал позднее Бернадот, — то он сразу произвел впечатление какого-то незначительного чиновника. Если бы я встретил его на улице, то определенно не обратил бы на него никакого внимания...»

Между тем перед Бернадотом стоял человек, которого боялась и люто ненавидела вся оккупированная Европа.

Гиммлера давно уже не волновали военнопленные, в особенности датские и норвежские. И вообще, разве они еще сохранились? Сегодня Гиммлер волновался преимущественно за судьбу самого Гиммлера. Несмотря на то что участь гитлеровской империи уже предрешена, он еще чувствует в своих руках власть и пытается через Бернадота установить связь с Эйзенхауэром, предложить американскому генералу капитуляцию гитлеровских войск на западе, с тем чтобы иметь возможность продолжать сопротивление на востоке.

В поисках спасения главный исполнитель чудовищного гитлеровского плана поголовного уничтожения целых народов мечется из стороны в сторону и в последние дни войны смиренно склоняет голову даже перед Хиллом Сторчем, стокгольмским представителем еврейского всемирного конгресса. В результате из Швеции в Берлин прилетает Норберт Мазур, чтобы вести переговоры об освобождении из концлагерей еще оставшихся в живых евреев.

Совещание между Гиммлером и Мазуром происходит 21 апреля 1945 года в кабинете шефа гестапо. Гиммлер пытается через Мазура уверить мир, что преступлений против евреев совершались помимо его воли. Сам он-де всегда был рад помочь им и готов даже сейчас идти на ужасно рискованные для него комбинации, лишь бы спасти этих несчастных. Тут же Мазуру предъявляется только что подписанное Гиммлером распоряжение об освобождении из лагеря Равенсбрюк тысячи еврейских женщин. Но Гиммлер просит, чтобы это не получило огласки в печати. В официальных документах речь будет идти о польских

женщинах.

Наконец, он показывает Мазуру и свою последнюю инструкцию. Она гласит:

«Приказ фюрера об уничтожении всех концлагерей со всеми находящимися в них людьми и лагерной стражей настоящим отменяется. При подходе армии противника должен быть выброшен белый флаг. Концлагеря эвакуации не подлежат. Впредь запрещается убивать евреев».

К тому времени было уже уничтожено шесть миллионов евреев. В лагерях их оставалось совсем немного. И вот тут-то чудовищный убийца решил перевоплотиться в ангела-хранителя.

Гиммлер сознает, что если об этих переговорах станет известно Гитлеру, то «обожаемый фюрер» даже в последние часы собственной жизни позаботится о голове «железного Генриха». И Гиммлер старается упрятать концы в воду. Вместе со своим подручным эсэсовцем Шелленбергом он планирует путч.

Гиммлер доверительно сообщает Шелленбергу о все усиливающейся болезни Гитлера, о все увеличивающейся его сутулости, вялом виде, дрожании рук. Этот разговор происходит в лесу (в другом месте могут подслушать!). Обсуждаются наиболее подходящие методы устранения Гитлера. Гиммлер говорит об аресте, а Шелленберг предлагает своему шефу отправиться к Гитлеру с разъяснениями всей безнадежности положения Германии и настойчиво рекомендовать ему уйти в отставку.

— Это исключено, — отвечает Гиммлер, — фюрер в припадке бешенства велит меня застрелить.

— Ну против этого можно принять соответствующие меры, — спокойно возражает Шелленберг. — Вы имеете в своем распоряжении достаточное количество высших офицеров СС, которые в крайнем случае могут осуществить арест. Наконец, если убеждение не поможет, то в это дело надо включить врачей...

Заодно обсуждается, что должен сделать Гиммлер, как только займет место Гитлера.

— Немедленно распустить национал-социалистскую партию и создать новую, — советует Шелленберг.

— А какое название вы дали бы ей, этой новой партии? — спрашивает Гиммлер.

— Партия национального единства, — отвечает матерый гестаповец...

Но Советская Армия путает Гиммлеру все карты. Каждый ее новый удар, каждый километр, приближающий ее к сердцу Берлина, делает намеченные планы все более эфемерными.

И все-таки он снова встречается с Бернадотом, опять просит графа устроить ему встречу с Эйзенхауэром. Гиммлер настолько

уверен в возможности такой встречи, что тут же, можно сказать, параллельно обсуждает с Вальтером Шелленбергом, как ему держаться с американским главнокомандующим:

— Должен ли я только поклониться, или надо подать ему руку?

Шелленберг, более трезво оценивающий обстановку, вместо ответа на вопрос, сам спрашивает своего шефа:

— А что вы станете делать, если ваше предложение будет отвергнуто?

— В этом случае я возьму на себя командование батальоном на Восточном фронте и паду в бою, — торжественно заявляет Гиммлер.

Конечно, рейхсфюрер лгал. Он и в мыслях не имел такого.

Главарь СС умел пускать пыль в глаза, ловчить, заметать следы. Однако, как он ни старался, Гитлер все же прознал о его переговорах с Бернадотом. Появись Гиммлер в то время в имперской канцелярии, и голова его покатилась бы с плеч. Но рейхсфюрер СС предпочитал держаться подальше от гитлеровской норы. Он курсировал между Любеком и Фленсбургом, все еще надеясь стать главой государства, хотя Адольф Гитлер уже заклеймил его в своем «завещании» как предателя.

30 апреля Дениц получил шифрованную радиограмму следующего содержания:

«Раскрыт новый заговор. По радиосообщениям противника Гиммлер через Швецию добивается капитуляции. Фюрер рассчитывает, что в отношении всех заговорщиков Вы будете действовать молниеносно и с несгибаемой твердостью. Борман».

Дениц был несколько смущен такой радиограммой. Что значило действовать «молниеносно и с несгибаемой твердостью» против Гиммлера, который все еще располагал полицейскими силами и организациями эсэсовцев? Адмирал вежливо попросил Гиммлера встретиться с ним. Эта встреча состоялась в одной из полицейских казарм в Любеке в присутствии всех начальников СС, которых удалось вызвать.

Как вспоминает Дениц, рейхсфюрер принял его не сразу. По-видимому, он уже чувствовал себя в положении главы правительства.

Адмирал спросил, соответствует ли действительности сообщение о том, что он, Генрих Гиммлер, пытался через графа Бернадота связаться с союзниками. Ответ последовал отрицательный, и оба собеседника расстались мирно.

Но на исходе того же дня, 30 апреля 1945 года, Дениц получает новую радиограмму:

«Вместо рейхсмаршала Геринга фюрер назначает отныне Вас, господин гросс-адмирал, своим преемником. Письменное полномочие выслано. С настоящего момента Вам надлежит принимать все меры, которые окажутся необходимыми в новой обстановке. Борман».

Теперь уже Дениц пригласил к себе Гиммлера. Не зная еще, как последний отреагирует на решение Гитлера, адмирал принял необходимые меры предосторожности. Была усилена охрана штаба вплоть до установки тяжелых орудий. Отряд телохранителей, составленный из команд подрывников, цепью окружил дом, в котором помещался сам Дениц.

Свидание состоялось в атмосфере взаимной подозрительности и недоверия. Беседа велась без свидетелей, но сам Дениц так записал о ней:

«Мы встретились с Гиммлером с глазу на глаз в моей комнате. На всякий случай я положил свой браунинг на письменный стол, с тем чтобы в любой момент им воспользоваться. Спрятал пистолет под бумаги. Затем дал Гиммлеру телеграмму, чтобы он прочел ее. Он побледнел и углубился в размышления».

Имперский палач, как видно, только в этот миг почувствовал, что положение его становится совсем безнадежным. Но тяжкие его размышления не затягиваются надолго. Гиммлер встает, поздравляет Дениц и, обращаясь к нему, говорит:

— Разрешите мне быть вторым лицом в государстве.

Новый фюрер решительно отвергает это предложение.

«Мы беседовали с ним около часа, — вспоминает Дениц. — Я объяснил ему причины, в силу которых мне хотелось образовать правительство как можно более аполитичное».

Конечно, Дениц, который еще на что-то надеялся, не нужен был такой кровавый союзник. Гестапо не та фирма, с которой можно было связывать себя в последние дни «третьей империи».

С этих пор Генриху Гиммлеру хотелось только одного: чтобы люди о нем забыли. Однако его усиленно ищут контрразведывательные органы союзных стран. Район, где скрывается Гиммлер с двумя своими адъютантами, надежно блокирован.

Рейхсфюрер СС сбрил усы, на левый глаз надел черную повязку, в кармане у него удостоверение тайной полевой полиции на имя Генриха Хицингера. Полицейский ум Гиммлера ищет спасения в дешевом фарсе с переодеванием.

То были шумные дни, когда по дорогам Германии двигались многоязычные толпы: здесь и немцы-беженцы, и освобожденные иностранные рабочие, и военнопленные. Пробираясь через

людской поток, 21 мая 1945 года Гиммлер и два его спутника оказались близ Бремерверде. И тут он нос в нос столкнулся с патрулем. По иронии судьбы патрульными оказались русские парни из военнопленных, добровольно вызвавшиеся помочь комендантской службе британской армии.

Бывший рейхсфюрер СС предъявляет свое удостоверение: новенький, безупречно подготовленный документ, такой, какого никто в толпе не имел. И эта полицейско-чиновничья предусмотрительность Гиммлера стала началом его конца. Патрули подозрительно покосились и на всякий случай задержали господина с черной повязкой на левом глазу.

Задержанный передается английским властям. Те эвакуируют его из лагеря в лагерь. Пока он все еще остается только подозрительным лицом. Однако через несколько дней британская контрразведка начинает догадываться, с кем имеет дело. Генрих Гиммлер и сам понимает, что долго ему не продержаться в роли Хицингера. Он принимает отчаянное решение и требует, чтобы его доставили к коменданту лагеря Тому Сильвестру.

Вот они один на один с комендантом. Хицингер, не торопясь, снимает черную повязку, надевает очки и четко глуховатым голосом представляется:

— Генрих Гиммлер.

Капитан Сильвестр несколько огорошен, но быстро овладевает собой:

— Отлично. Чего же вы хотите?

Гиммлер доволен тем впечатлением, которое произвело его признание. В нем снова теплится надежда.

— Я хотел бы поговорить с фельдмаршалом Монтгомери, — отвечает он.

Комендант обещает доложить кому следует. Однако вскоре рейхсфюрер СС убеждается, что никто не собирается вести с ним «переговоры», его ожидает лишь следователь.

Гиммлера тщательно обыскивают, раздевая догола. В кармане куртки находят ампулу с цианистым калием. Офицеров разведки это успокаивает. Они считают принятые ими меры предосторожности вполне достаточными для предотвращения возможного самоубийства разоблаченного преступника. Гиммлера направляют в камеру.

К вечеру из штаба Монтгомери в лагерь прибывает полковник Мэрфи. Он намерен лично допросить Гиммлера, но перед тем осведомляется:

— Был ли найден яд?

— Да, в кармане оказалась ампула. Она изъята.

Мэрфи выясняет, был ли тщательно осмотрен рот

арестованного. Вот это, оказывается, сделать не догадались. Полковник требует исправить упущение.

— Я думаю, — говорит он, — ампула в кармане была лишь для отвлечения внимания.

Гиммлера доставляют для повторного обыска. Предлагают открыть рот. Глаза рейхсфюрера СС превращаются в узкие щелочки. Быстро и энергично он сдавливает челюсти. Что-то явственно хрустнуло, и Гиммлер падает как пораженный молнией.

Вторая ампула с ядом оказалась мастерски вмонтированной позади зубов...

Таков был конец Генриха Гиммлера. Его захоронили где-то в лесу близ Люнебурга. Неизвестный английский солдат, бросив последнюю лопату земли на могилу первого палача «третьей империи», удовлетворенно сказал:

— Пусть червь возвращается к червям.

Опаленный огнями сражений английский ветеран никак не подозревал при этом, что пройдет не так уж много лет и в Западной Германии еще вспомнят «железного Генриха», попытаются обелить его. Для чего? С какой целью? Цель ясна: милитаристам и реваншистам очень импонируют вчерашние люди рейхсфюрера, потребовался опыт СС...

На Нюрнбергском процессе один из видных эсэсовцев — обергруппенфюрер Бах-Зелевский показал, что в 1941 году на совещании в Везельсбурге Гиммлером была поставлена задача: уничтожить в России тридцать миллионов человек. Речь шла, конечно, о мирном населении, ибо Гиммлер в данном случае толковал не о боевых действиях, а об уменьшении биологического потенциала славянских народов.

Такую установку Гиммлера помнил и Геринг. В своих показаниях он сообщил:

— Гиммлер произнес речь в том духе, что тридцать миллионов русских должны быть истреблены.

Советский обвинитель спросил Бах-Зелевского:

— Подтверждаете ли вы, что вся практическая деятельность немецких властей, немецких воинских соединений... была направлена на выполнение этой директивы — сократить число славян на тридцать миллионов человек?

Бах-Зелевский ответил утвердительно:

— Я считаю, что эти методы действительно привели бы к истреблению тридцати миллионов, если бы их продолжали применять и если бы ситуация не изменилась в результате событий.

А теперь давайте прочитаем, что пишет о Гиммлере Ганс

Фриче в своей книге «Меч на весах», вышедшей в Западной Германии. Оказывается, у Гиммлера и в мыслях не было уничтожать 30 миллионов советских граждан. Фриче рисует такую картину:

«Как-то вечером в начале 1941 года Гиммлер, собравшись вместе с Бах-Зелевским, Гейдрихом, Вольфом и другими в Везельсбурге, говорил о возможной войне с Россией. Подсчитывая наиболее вероятные потери России на полях сражений, от болезней, эпидемий и голода, Гиммлер пришел к выводу, что Россия потеряет 30 миллионов человек».

Все вывернуто наизнанку. Никаких директив об уменьшении биологического потенциала славянских народов Гиммлер не давал. Он лишь прикидывал, во что может обойтись России война с Германией.

Так задним числом делаются фальшивки!

Ганс Фриче, к сожалению, не одинок. Там же — в Западной Германии — бывший личный врач рейхсфюрера Феликс Керстен опубликовал не менее лживую книгу под претенциозным названием «Генрих Гиммлер без мундира». Читателям доверительно сообщается, что «железный Генрих», по существу, был либеральным человеком, отличался исключительной честностью, скромностью и добротой. За это его будто бы очень любили солдаты. Из своего скромного жалованья рейхсфюрер якобы оказывал им материальную помощь. С серьезным видом Керстен уверяет, что однажды, когда он привез Гиммлеру из Швеции часы стоимостью в 160 марок, могущественный министр «третьей империи» оказался не способным сразу расплатиться с ним. «Он дал мне лишь 50 марок, так как был конец месяца, и просил меня повременить с остатком суммы до получки».

Таковы сказки Керстена. А вот один факт.

Уже когда Гиммлер был мертв, под Берхтесгаденом обнаружился принадлежавший ему клад: 25935 английских фунтов, 8 миллионов французских франков, 3 миллиона марокканских франков, 1 миллион рейхсмарок, 1 миллион египетских фунтов, 2 миллиона аргентинских песо, полмиллиона японских иен и другая валюта.

Последняя резиденция гитлеровского правительства

В зале суда бывшее германское правительство размещалось на двух скамьях. Принцип размещения, в общем, соответствовал положению, которое каждый под судимый занимал в нацистской иерархии.

На первом месте в первом ряду — Герман Вильгельм Геринг. Вряд ли я узнал бы его, если бы встретил в гражданском костюме где-нибудь в коридорах Дворца юстиции. Ведь нам приходилось видеть больше карикатуры на Геринга, чем его портреты. С карикатур на нас смотрел тучный сатрап с заплывшим жиром лицом. А здесь, в зале суда, когда я вплотную подошел к скамье подсудимых, передо мной сидел человек весьма умеренной полноты. Лишь по тому, как на нем висел френч, можно было догадаться, что он сильно исхудал.

Тщетно было бы искать на лице или в повадках Геринга то, что итальянский криминалист Ломброзо называл чертами врожденного преступника. И, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу, скажу здесь сразу, что почти никто из нюрнбергских подсудимых не производил впечатления озверелого эсэсовца. Напротив, некоторых из них — например, руководителя «Гитлерюгенда» Бальдура фон Шираха — можно было принять за весьма респектабельных джентльменов.

Ничего зверски палаческого не проглядывало и в Геринге. Он широк в плечах. На энергичном лице — серые живые глаза, прямой нос, тонкие губы. Лишь мешки под глазами выдавали патологию. Полковник Эндрюс повел с ней борьбу, лишив Геринга наркотиков. Может быть, именно потому Геринг и выглядел к началу процесса более презентабельно, чем в былые времена. То, что не смогли сделать его многочисленные врачи, сделала нюрнбергская камера.

В Германии, пожалуй, всем была известна страсть рейхсмаршала чуть ли не ежедневно менять мундиры. Он сам придумывал их рисунки и покрой. Но на процессе Геринг все время появлялся в сапогах и брюках галифе с генеральскими лампасами. Прежде чем сесть, обязательно укутывался в армейское одеяло, которое приносил с собой. Видимо, ему было не очень уютно на обыкновенной деревянной скамье.

Если другие подсудимые сидели в одной, привычной для них позе, то Геринг очень часто менял положение, вел себя весьма экспансивно, поминутно поворачивался к соседям, что-то шептал

им. Но при всем том и он, и его соседи по скамье подсудимых в первые дни процесса держались с показным достоинством, совсем как на очередном партейтаге. Стоящих вокруг американских полицейских они, как видно, склонны были считать чем-то вроде своей охраны.

В гитлеровском государстве Геринг любил величать себя «человеком № 2» (первое место уступалось Адольфу Гитлеру). Здесь же его называют подсудимым № 1, и он старается держаться соответственно: благосклонно беседует с членами правительства германской империи, которых судьба загнала на скамью подсудимых, все время позирует, привлекая к себе внимание иностранных фотокорреспондентов. Внешне Геринг спокоен — пока ведь на процессе не произошло еще ничего такого, что могло бы вывести его из равновесия. Но это только внешне. Ему хорошо известно, что придет время, когда каждый из сидящих рядом с ним должен будет давать показания. И кто знает, как поведут себя эти люди — не захотят ли они спрятаться за его спиной, откупиться его именем и жизнью?

В первые дни процесса его явно задевали нелестные эпитеты прокуроров. Геринг часто вскакивал и вытягивал руку, требуя слова. Лишь после спокойных, но убедительных своей категоричностью разъяснений председательствующего он несколько утихомирился. Никто, разумеется, не лишал его возможности отвечать на предъявленные обвинения (мы еще увидим, сколько часов и дней слушал трибунал одного Геринга), однако ему сумели внушить, что здесь он не рейхсмаршал, а лишь подсудимый и вести себя должен соответственно, как ведут подсудимые во всех судах мира. Нетрудно было заметить, сколь тяжело переживалось это «вторым человеком империи». Совсем ведь недавно к нему самому приходили верховные судьи Германии получать «высочайшие» указания. Но, увы, все это в прошлом.

Когда-то грудь и заплывший живот Геринга, усеянные орденами, сравнивали с витриной ювелирного магазина. Теперь он сидит во френче без погон, без орденов и без радостных перспектив. Тем не менее стоит Герингу только заметить, что на него направлены объективы фотоаппаратов или кинокамер, и он сразу же начинает устраивать мимические сцены: вскидывает голову, пытаясь глядеть невозмутимо и надменно, делает театрально повелительные жесты охране.

Геринг сидит рядом с Рудольфом Гессом и чаще всего обращается к нему. Беседы эти носят характер монолога: Геринг что-то убежденно говорит, активно жестикулируя, а Гесс только обводит зал суда мутным взглядом.

Одет Гесс в серый костюм. Редкие черные волосы, на которых не заметна седина, зачесаны наверх. Скуластое лицо, большие торчащие уши. Под густыми черными бровями два глубоких провала. Оттуда, из глубины, тускло мерцают маленькие, ни на чем не задерживающиеся глазки. Иногда кажется, что они смотрят, но не видят. Что и говорить, совсем не «арийская» внешность у этого яростного адепта теории «избранной расы». Время от времени он корчится, как будто от страшной боли. Пошел слух, что у него рак желудка. Однако Гесс и поныне отбывает пожизненное заключение в тюрьме Шпандау.

В нацистском государстве Рудольф Гесс был заместителем Гитлера по руководству национал-социалистской партией. До 1941 года это один из наиболее могущественных министров. От него исходили важнейшие директивы всем партийным организациям.

В отличие от большинства подсудимых родился он не в Германии, а в египетском городе Александрии. До пятнадцати лет его учил домашний учитель, и лишь после этого Гесс был послан в Германию для завершений своего образования. Первая мировая война свела Гесса с Гитлером: они оказались в одном полку. К концу войны он уже летчик и вместе с Герингом отличается в бомбардировках мирных городов.

После поражения Германии Гесс вступает в национал-социалистскую партию и играет важную роль во время путча в ноябре 1923 года. Гитлер поручает ему захватить в качестве заложников нескольких руководителей Баварской республики. Когда путч провалился, Гесс бежит в Австрию, однако вскоре возвращается в Германию и подвергается аресту. Его помещают в тюрьму при форте Ландсберг, где оказался и Гитлер.

Здесь Гесс фактически служит Гитлеру секретарем: записывает под диктовку большую часть национал-социалистской библии «Майн кампф». Когда-то отец Гесса, мечтая сделать его коммерсантом, учил стенографии. Коммерсантом он не стал, но знание стенографии пригодилось. Впрочем, Гесс не только стенографировал «Майн кампф». Он делал большее — творчески участвовал в создании людоедской библии. Гесс был увлечен агрессивными теориями геополитики, которую внушал ему его учитель Гаусгофер, и постепенно все это перекочевало в гитлеровскую книгу.

На Нюрнбергском процессе каждого, пожалуй, интересовал вопрос о полете Гесса в Лондон перед самым нападением Германии на Советский Союз. Как известно, уже день спустя после этого полета канцелярия Гитлера сообщила, что Гесс совершил сей «бессмысленный акт», находясь в умственном

расстройстве. Но так ли это было в действительности?

И во время процесса, и значительно позже в литературе, особенно немецкой, широко была распространена версия, будто Гесс в течение многих лет болезненно переживал тот факт, что Гитлер объявил своим преемником не его, а Германа Геринга. Одновременно западноевропейские историки пытаются доказать, что Гесса якобы очень взволновало намерение Гитлера уже в 1941 году развязать войну против СССР. Он считал, что таким своим решением Гитлер нарушает основную заповедь его, Гесса, кумира — Гаусгофера: никогда не воевать на два фронта. И Гесс пришел к выводу, что настало время сделать нечто такое, что раз и навсегда отбросило бы назад Геринга и возвысило самого Гесса. Таким блестящим государственным шагом он считал заключение мира между Германией и Англией. Вот тогда-то Гитлер поймет, кто действительно достоин быть его преемником. И Гесс полетел в Лондон.

Здесь не место распространяться о подробностях его переговоров в Лондоне (я об этом писал уже в своей книге «От Мюнхена до Нюрнберга»). Скажу лишь, что опубликованные на Нюрнбергском процессе документы, излагающие ход переговоров с Гессом, не оставляют камня на камне от сложных логических построений жрецов буржуазной исторической науки. Совершенно неоспорим факт, что то, с чем Гесс прилетел в Лондон, полностью совпадало с тем, к чему стремилось и все правительство Гитлера в период, предшествовавший нападению на СССР: обеспечить нейтралитет Англии и тем самым обезопасить свой тыл с запада. Ничего, собственно, оригинального Гесс в Лондон не привез. А сделав Англии унизительные, по существу, предложения — признать будущее господство Германии в Европе — и обещая ей взамен лишь господство в странах Британской империи, он, конечно, и не мог ничего добиться. Не то было время, и не так-то просто оказалось заставить англичан вступить в союз с Гитлером.

Не выдержала проверки и версия самих гитлеровцев об умственном расстройстве Гесса. За нее поначалу очень цепко ухватилась защита. Было заявлено ходатайство о судебно-психиатрической экспертизе. Международный трибунал удовлетворил его. Гесса подвергла исследованию специальная комиссия, в составе которой оказались виднейшие психиатры мира: доктор Жан Деле — профессор психиатрии Парижского медицинского института, доктор Нолан С. Люис — профессор психиатрии Колумбийского университета, доктор Ю. Н. Камерон — профессор психиатрии университета в Мак-Джилле, а со стороны Советского Союза — профессор Е. К. Краснушкин, действительный член Академии медицинских наук Е. К. Сепп и

главный терапевт Министерства здравоохранения доктор А. П. Куршаков.

На основании осмотра и тщательного обследования комиссия пришла к заключению, что «в настоящее время Гесс не душевнобольной в прямом смысле этого слова. Потеря памяти не помешает ему понимать происходящее, но несколько затруднит его в руководстве своей защитой и помешает вспомнить некоторые детали из прошлого, которые могут послужить фактическими данными». Чтобы положение было совершенно ясным, эксперты рекомендовали провести нарко-анализ, но, как указывается в заключении комиссии, Гесс категорически отказался от такого анализа и не захотел подвергаться какому бы то ни было лечению для восстановления памяти.

На основании отчета английского психиатра доктора Риза, который наблюдал Гесса с первого дня его пребывания в Англии, можно судить, что после аварии самолета у Гесса не было никакого мозгового повреждения. Однако в тюрьме у него появилась мания преследования: он боялся, что его отравят или убьют, а затем объявят о самоубийстве и что все это сделают непременно англичане «под влиянием евреев». В то же время сам Гесс предпринял две попытки к самоубийству, но, как заключили специалисты-медики, попытки эти были истерическо-демонстративного характера.

В одном из отчетов психиатров есть такие строки:

«С точки зрения психической Гесс находится в твердой памяти, зная, что он в тюремном заключении в Нюрнберге и что он обвиняется как военный преступник. Он читал и, по его собственным словам, знаком с обвинениями, выдвинутыми против него. На вопросы отвечает быстро и правильно. Речь его связна, мысли точны и правильны и сопровождаются достаточным количеством эмоционально выразительных движений... Гесс обладает нормальными умственными способностями, и в некоторых отношениях они выше среднего... Потеря памяти у Гесса не является следствием заболевания мозга, а представляет собой истерическую амнезию, основанием которой явилось подсознательное стремление к самозащите. Такое поведение часто прекращается, когда истерическая личность сталкивается с неизбежной необходимостью вести себя правильно. Поэтому амнезия у Гесса может пройти, как только он предстанет перед судом».

Эксперты сошлись в мнении о том, что «Гесс проявляет истерическое поведение с признаками сознательно-намеренного симулятивного характера». Но полную ясность в возникший вопрос о психической полноценности этого обвиняемого

неожиданно внес... сам Гесс.

Когда закончилось рассмотрение судебно-психиатрических заключений, он медленно встал со своего места на скамье подсудимых, поднял глаза к потолку, облизнул губы, выждал, пока американские солдаты поставят рядом с ним микрофон, и вдруг объявил:

— С этого момента моя память находится в полном распоряжении суда. Основания, которые имелись для того, чтобы симулировать потерю памяти, были чисто тактического порядка. Вообще, действительно, моя способность сосредоточиться была несколько нарушена, однако моя способность следить за ведением дела, защищать себя, ставить вопросы свидетелям и самому отвечать на задаваемые мне вопросы не утрачена, и мое состояние не может отразиться на всех этих перечисленных явлениях...

На минуту в зале воцарилась полная тишина. Но едва Гесс опустился на свое место, моментально распахнулись двери и несколько ретивых журналистов сломя голову бросились к телефонам. Лорд Лоуренс прервал заседание.

На следующий день председательствующий в самом начале заседания сообщил:

— Суд тщательно рассмотрел заявление защитника и обвиняемого Гесса и имел возможность выслушать объяснение по этому поводу как защиты, так и обвиняемого. Суд также принял во внимание подробные медицинские отчеты и пришел к заключению, что нет никаких оснований проводить дальнейшее обследование обвиняемого. После того как обвиняемый Гесс сам дал объяснение суду, а также имея в виду собранные судом доказательства, суд приходит к выводу, что обвиняемый в настоящее время дееспособен. Ходатайство защитника поэтому отвергается, и процесс продолжается.

Так закончилась история с попыткой вывести из-под суда одного из ближайших подручных Гитлера.

Судьба была благосклонна к Гессу: четырехлетнее пребывание в Англии спасло ему жизнь. Суд, видимо, учел, что, находясь вне Германии, Гесс не мог принимать непосредственного участия в тягчайших преступлениях, совершенных за эти годы. Однако, бесспорно, прав был советский судья, считавший, что и за все содеянное до вылета в Англию Рудольф Гесс трижды заслужил смертную казнь...

Соседом Гесса слева являлся Иоахим фон Риббентроп. Это единственный из гитлеровских политиков, фотографии которого обошли все советские газеты. Он приезжал в Москву для заключения пакта о ненападении, который через год был так

вероломно нарушен. Я помнил портрет этого человека — он выглядел тогда импозантно. А теперь? В его внешности произошли весьма заметные перемены. Он не похудел, скорее, опустился. Как-то обмяк. Если Кейтель всегда был в тщательно отутюженном френче и до блеска начищенных сапогах, то Риббентроп нередко появлялся на процессе в довольно неряшливом виде.

Один из советских журналистов обратил однажды внимание на мятый костюм Риббентропа. И тогда известный советский художник-карикатурист Борис Ефимов, бросив быстрый взгляд в сторону бывшего министра иностранных дел, негромко, чуть растягивая слова, сказал:

— Ничего, отвисится.

Риббентроп сидит в позе некоего непонятого страдальца. В действительности для всех было ясно, что это мечущийся, смертельно перепуганный человечек, готовый на все, на любые унижения, лишь бы спасти свою жизнь.

По сравнению с ним сидящий рядом Вильгельм Кейтель выглядит просто браво, хотя и у того на лице нет признаков оптимизма. Кейтель вполне сохранил и внешность, и повадки, типичные для представителя прусской военщины. Прямой нос, точно очерченный подбородок, голубые глаза, подстриженные усики. Мускулы лица напряжены. Он чем-то напоминает эмблему гитлеровского орла. На нем обычный мундир с бархатным воротником, но без погон. На скамье подсудимых он появляется с неизменной папкой, наполненной бумагами, которые изучает во время заседаний. Время от времени подзывает своего адвоката доктора Нельте, видимо советуясь с ним.

Последний раз Кейтель был в полном параде с фельдмаршальским жезлом и моноклем в правом глазу 8 мая 1945 года. Он подписал тогда акт о капитуляции Германии. И как только на бумаге появилась его подпись, энергично и повелительно прозвучали слова:

— Германская делегация может удалиться.

И он удалился... в Нюрнберг.

А вот Эрнст Кальтенбруннер, заместитель Гиммлера. Из его кабинета шли директивы об уничтожении миллионов людей в подопечных ему лагерях смерти. Лошадиное лицо, испещренное шрамами — следами бретерской удали на студенческих дуэлях, — холодные черные глаза, длинный с горбинкой нос. Рот всегда полуоткрыт. Он смотрел в зал суда ненавидящим взглядом убийцы, пойманного с поличным на месте преступления.

И этот человек когда-то был юристом, венским адвокатом, членом корпорации, требовавшей уважения к закону и его

постоянного соблюдения!

В первые дни процесса Кальтенбруннер отсутствовал. Он заболел, и врачи усердно хлопотали вокруг него. Это был, пожалуй, самый «трудный» подсудимый. Уличенный сотнями бесспорных, лично им подписанных документов, не говоря уже о свидетелях, Кальтенбруннер, мобилизовав старый адвокатский опыт, делал все, чтобы запутать ясные вопросы, петлял, как зверь в лесу...

Сосед Кальтенбруннера — Альфред Розенберг. Абсолютно заурядная внешность. Ничего нордического, ничего от образцов «сверхчеловека», фигурирующих в его «философских» трактатах. Родился он не в Германии, а в Прибалтике. Молодость провел в России. Учился в институте, сначала в Петербурге, затем в Москве. Хорошо знал русский язык и часто использовал это для всякого рода провокаций. Конец войны застал его во Фленсбурге, где обосновалось последнее правительство «третьей империи». С горя напившись, он каким-то образом вывихнул себе ногу и оказался в госпитале. Оттуда его и извлекли, перед тем как доставить в Нюрнберг. Главный философ нацистской партии и имперский министр по восточным оккупированным территориям тоже предстал перед судом.

Дальше сидит Ганс Франк — «суперюрист» нацистской партии. Это он был адвокатом Адольфа Гитлера на судебном процессе в Мюнхене после провала путча 1923 года и затем все время неотступно следовал за фюрером как в период его борьбы за власть, так и после захвата власти. Во время войны Франк занимал пост генерал-губернатора оккупированной Польши. Но, оказавшись на скамье подсудимых, пожалуй, первым стал в позу разоблачителя Гитлера, нацизма и своих коллег. Франк буквально рыдал, слушая показания свидетелей и смотря на киноэкран, где обвинение демонстрировало документальные фильмы о фашистских зверствах. Было ли это проявлением лицемерия, отчаянной попыткой спасти свою жалкую жизнь, видимостью раскаяния, или, может быть, в психике Франка действительно произошел какой-то надлом? Не хочу спешить с ответом. К этому вопросу мы еще вернемся.

Бок о бок с Франком — Вильгельм Фрик, один из старейших деятелей нацистской партии, руководитель ее фракции в рейхстаге еще до захвата власти, потом министр внутренних дел и в последние годы имперский протектор Богемии и Моравии. Он уже не молод — ему за шестьдесят. Под его руководством разрабатывались варварские расовые законы, послужившие «юридической» базой для преследования и уничтожения целых народов. И первым помощником Фрика в этом деле был Глобке,

способности которого он неоднократно отмечал в аттестациях. Как видно, именно эти аттестации помогли Глобке после войны занять пост статс-секретаря в правительстве Аденауэра.

За Фриком сидел главный «теоретик» антисемитизма Юлиус Штрейхер, — пожалуй, самая омерзительная личность среди подсудимых. Он немало преуспел в отравлении сознания немецкого народа. Яд Штрейхера оказался настолько устойчивым и сильным, что и теперь время от времени дает себя чувствовать новыми расистскими инцидентами в Западной Германии.

Оказавшийся рядом с Штрейхером Вальтер Функ ужасно возмущался своим вынужденным соседством с «этим выродком», «злобствующим юдофобом». Маленький, толстенький Функ с огромной лысой головой и вечно заспанными глазами удава, бывший министр экономики и президент имперского банка, не хотел иметь «ничего общего с преступным фанатиком» Штрейхером. А Юлиус Штрейхер сардонически улыбался, когда обвинители стали потрошить «пуританина» Функа, напомнив ему, в частности, что в сейфах Рейхсбанка хранились золотые кольца и зубные коронки, снятые с жертв Освенцима и Майданека.

А вот Яльмар Шахт, человек, без которого не было бы ни Гитлера и Геринга, ни Гесса и Розенберга, ни Функа и Штрейхера. Это он, полномочный представитель германского монополистического капитала, щедро финансируя гитлеровскую партию и дело вооружения Германии, помог Гитлеру сесть в рейхсканцлерское седло и развязать вторую мировую войну.

Не менее красочен второй ряд скамьи подсудимых. Здесь сидят пираты, поправшие все морские законы и обычаи, гросс-адмиралы Дениц и Редер. Они бросили германский военно-морской флот под ноги Гитлеру, а затем пытались спасти тонувший нацистский корабль. Но корабль все же пошел ко дну, а Дениц и Редер — на скамью подсудимых.

Дениц, пожалуй, был фигурой более примечательной, чем Редер. Всю жизнь он прожил у Северного моря. Еще в 1910 году поступил в германский военно-морской флот и во время первой мировой войны попал в плен к англичанам. В лагере для военнопленных симулировал безумие: бродил, свесив голову, и жужжал, имитируя подводную лодку. Но английские психиатры быстро разоблачили его, а одиночное заключение моментально вылечило.

Будучи репатриированным в 1919 году, Дениц вновь поступил на службу в военно-морской флот, стал командиром флотилии эсминцев, затем командиром крейсера и, наконец, при Гитлере дослужился до поста командующего подводным флотом. Во время войны, снедаемый честолюбием и стремясь занять пост

главнокомандующего военно-морскими силами Германии, он стал подкапываться под Редера. Между Редером и Гитлером давно шел спор по поводу роли линкоров. Гитлер считал их устаревшим оружием, а Редер настаивал на обратном. Дениц делал вид, что поддерживает в этом споре Гитлера, хотя наедине с Редером не раз высказывал одобрение взглядам последнего на роль крупных кораблей.

В 1943 году Редер был смещен, и на место главнокомандующего военно-морским флотом получил назначение Дениц. Из ближайшего военного окружения Гитлера он наиболее рьяно ратовал за то, чтобы армия и флот были «пронизаны духом национал-социалистской идеологии». Открытая приверженность взглядам нацизма сыграла важнейшую роль в судьбе Деница. И не только в годы всемогущества Гитлера, но и в момент краха. Сходя в могилу, Гитлер нашел нужным назначить в качестве своего преемника именно Деница.

Любопытно, что до самой капитуляции Дениц не расставался с подаренным ему бюстом фюрера. Он убрал этот бюст, лишь когда Фленсбург был оккупирован союзниками.

Двадцать дней пробыл Дениц на посту главы германского государства. Развязка наступила 22 мая 1945 года. Гросс-адмиралу позвонили по телефону из межсоюзнической комиссии и предложили явиться туда вместе с Иодлем и Фридебургом. Когда адъютант доложил ему об этом вызове, новый «фюрер» встал, прошелся по кабинету и после нескольких секунд молчания распорядился:

— Приготовьте нужные вещи, день нашего ареста наступил.

До того дня на всех союзнических кораблях и в помещениях союзнических штабов Деница принимали с соответствующими воинскими почестями. А на этот раз его встретили лишь английский унтер-офицер и большое количество фоторепортеров.

После томительного пятисуточного ожидания появились наконец английский генерал Фукс, американский генерал Форд и советский представитель Трусков. Они-то и объявили Деницу, что получено распоряжение арестовать его и все возглавляемое им правительство.

На скамье подсудимых рядом с гросс-адмиралами отведено место Бальдуру фон Шираху, руководителю «Гитлерюгенда». Этот человек много лет был озабочен тем, как лучше отравить сознание германской молодежи, сделав из нее послушное орудие нацистского режима.

А кто это с большой лысиной и гитлеровскими усиками, так часто напоминающий суду о своем рабочем происхождении? Это Фриц Заукель. Даже в своем последнем слове он не преминул

заявить:

— Я происхожу из совершенно иной среды, чем люди, сидящие со мной вместе на скамье подсудимых. В душе и мыслях своих я остался моряком и рабочим. Я был горд и сейчас горд тем, что моя жена — дочь рабочего, который был социал-демократом и остался таковым.

Но то, что он забыл сказать — знал весь мир: этот моряк и рабочий «в душе и мыслях» на практике был самым свирепым работорговцем. Он являлся генеральным уполномоченным по набору рабочей силы, загнал миллион людей на германскую каторгу и сделал все, чтобы почти каждый вырабатывался там до смерти.

За Заукелем — Иодль, начальник штаба оперативного руководства ОКВ. Далее Франц фон Папен, матерый шпион-диверсант, а затем рейхсканцлер, хитрая лиса, принявшая обличие благочестивого католика. Это он в 1932 году открыл Гитлеру дорогу к власти.

По соседству с Папеном — Артур Зейсс-Инкварт, один из тех, кто помог Гитлеру осуществить аншлюс Австрии в 1938 году. Потом, во время войны, будучи уже гаулейтером, он топил в крови польский и голландский народы. 3 мая 1945 года, когда новый фюрер — Дениц вызвал к себе всех гражданских и военных руководителей из еще занятых германскими войсками областей Богемии, Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, прибыл во Фленсбург и Зейсс-Инкварт. Штормовая погода задерживает его там. Только 7 мая он пытается вернуться в Нидерланды, но по дороге его захватывают канадцы, и Зейсс-Инкварт достигает Голландии уже в качестве арестованного. Ему вспомнили все, в том числе и его коварную роль организатора пятой колонны в Австрии.

А вот и Шпеер. До войны и даже в начале ее о нем слышали очень немногие. Но к 1944 году по своему политическому весу он превзошел и Геринга, и Геббельса, и Риббентропа. Не говорю уж о других менее влиятельных нацистах.

Не случайно накануне краха гитлеровской Германии разведка союзников получила указание следить за Альбертом Шпеером в оба. И в мае 1945 года, когда во Фленсбург прибыла американская делегация, она прежде всего позаботилась о встрече с бывшим гитлеровским министром вооружений.

Шпеер сразу же заявил американцам:

— Я буду счастлив снабдить союзные державы всей необходимой информацией, которой располагаю.

Шпееру явно льстило, что из всего нового правительства Деница он был первым, к кому обратились представители США.

В день приезда американцев рейхсминистр пребывал еще в коричневой униформе. Но на следующее утро Шпеер обрядился уже в штатское и со своей мягкой улыбкой производил впечатление скорее молодого профессора, нежели матерого нациста. Он торопился доказать новым повелителям свое расположение, свою лояльность. И уж, конечно, старался представить себя только блестящим организатором и техником, а вовсе не политиком. То, что он оказался в составе нацистского правительства, не больше чем трагическое обстоятельство. Он — инженер, он — специалист и с одинаковым успехом мог бы применить свои таланты в любом другом правительстве.

Шпеер уверяет американцев, что он даже вел борьбу против политики Гитлера и что начал ее сразу же, как только у него раскрылись глаза на сущность фашизма. Он поливает грязью всех тех, с которыми совсем недавно сотрудничал. Кто такой Геринг? «Грабитель, нечестный человек, преступник». А Геббельс? «Это легкомысленный болван». «Риббентроп — клоун». «Гиммлер — чудовище». «Заукель — зверь». А все они вместе — «люди без чести и совести». К власти пришли «сравнительно бедными, а получив большие посты, стали грабить налево и направо, создавая себе состояния».

Шпеер ведет беседу так, будто сам он был тайным агентом американцев в правительстве Гитлера и только теперь получил наконец возможность сбросить маску, поделиться с друзьями своими мыслями и наблюдениями. С брезгливой миной на лице он рассказывает, что в последние месяцы войны, по мере того как кризис углублялся, многие гитлеровские министры ударились в пьянство. И даже вздыхает, вспоминая, как тяжко было ему иметь дело с этими спившимися людьми.

Но прошло несколько месяцев, и судьба опять свела его со старыми коллегами. Шпеер уселся вместе с «грабителем Герингом», «клоуном Риббентропом» и «зверем Заукелем» на одну скамью подсудимых.

Вот он дает суду показания. Родился в 1905 году. Основная профессия — архитектор. Дед и отец тоже были архитекторами. С Гитлером познакомился в 1934 году. Гитлер считал себя художником, меценатом искусства и на первых порах именно поэтому приблизил к себе молодого Шпеера, стал давать ему одно за другим задания по специальности. Шпеер разработал проект строительства новой имперской канцелярии и некоторых других зданий, потом занялся реконструкцией Берлина и Нюрнберга. Постепенно между ним и Гитлером начала складываться дружба.

— Если Гитлер вообще имел друзей, — заявил Шпеер на

процессе, — то я, без сомнения, был одним из них, и притом наиболее близким.

В 1938 году он получил от фюрера золотой партийный значок. В 1941 году Гитлер назначил его членом рейхстага. А 8 февраля 1942 года, когда доктор Тодт погиб при авиационной катастрофе, 36-летний Альберт Шпеер уверенно уселся в кресло министра вооружений.

И вот тут-то он развернулся! Шпеер строит подземные военные заводы и мощные лаборатории, торопит руководителей концерна «ИГ Фарбениндустри» с производством отравляющих веществ, готовит совершенно новое «тайное оружие».

В 1942 году происходят первые испытания немецких боевых ракет. Шпееру уже мерещились лежащие в развалинах города. И действительно, очень скоро на Лондон начали падать ФАУ-1 и ФАУ-2. Они обладали большой разрушительной силой. Но министру вооружений этого было мало. Он подгоняет ученых-атомщиков, все чаще и чаще наведывается в их лаборатории, старается сделать все, чтобы ускорить атомную развязку войны. Увы, дело это оказалось сложнее, чем он предполагал.

Шпеера спрашивают на процессе: как далеко зашла в Германии подготовка атомного оружия? И он отвечает:

— К сожалению, все лучшие силы, которые занимались изучением атомной энергии, оказались в Америке. Мы очень отстали в данном вопросе. Нам потребовалось бы еще один-два года, чтобы расщепить атом.

При этих словах по залу суда прошел приглушенный стон. Люди поеживались. Кто мог сомневаться в том, что, получи Гитлер от Шпеера атомные бомбы, они сразу обрушились бы на десятки городов, на всю Европу. Нацисты, не задумываясь, превратили бы весь мир в пустыню.

На Нюрнбергском процессе Шпееру пришлось сразиться с опытными обвинителями. Главным образом его допрашивал М. Ю. Рагинский.

С Марком Юрьевичем я познакомился только в Нюрнберге. Это был человек-машина, способный работать по 20 часов в сутки, воплощение высокой организованности.

Противники заняли свои места. Друг против друга сидят два человека. Обоим около сорока. Где-то в глубине души Шпеер надеялся, что в той сложной области, в которой он действовал, обвинитель до конца не разберется. Одно дело политика, другое — экономика, в особенности промышленность вооружения. В ее лабиринтах юристы легко могут заблудиться.

Но в первые же минуты допроса гитлеровский министр вооружений почувствовал, что его надежды рушатся. Он был

поражен специальными знаниями обвинителя. М. Ю. Рагинский потрошил Шпеера так, как будто сам являлся военным инженером. А секрет такой осведомленности юриста в чисто технических и экономических вопросах объяснялся просто: в годы войны, как раз в то время, когда будущий подсудимый Альберт Шпеер сменил профессию архитектора на должность министра вооружения, его будущий обвинитель Марк Рагинский стал уполномоченным Государственного Комитета Обороны в одной из важнейших отраслей военной промышленности СССР...

По мере того как обнажалось истинное лицо Шпеера, тот все больше и больше терял самообладание. Он стал бормотать что-то не очень внятное в том смысле, что «охотнее остался бы архитектором, чем министром вооружений». Но советский обвинитель не интересовался его карьерой архитектора и одно за другим предъявлял суду неопровержимые доказательства преступной деятельности Шпеера в качестве руководителя министерства вооружений. Попытка подсудимого предстать перед судом неким «беспартийным специалистом», и даже более того — «гуманным человеком» никак не удалась. Обвинитель оглашает подписанный Шпеером приказ о том, чтобы СС и полиция «спокойно принимали суровые меры и направляли лодырей в концлагеря». Шпеер знал, что «лодыри» — это иностранные рабочие, а концлагеря — это верная смерть.

Затем предъявляется новый документ — показания рабочих танковых заводов о каких-то стальных ящиках. Подсудимый спешит объяснить, что это ведь обычные шкафы для вещей, для спецодежды. Но обвинитель вновь обращается к показаниям свидетелей:

«Я, нижеподписавшийся Дамм, лично видел, как трое русских рабочих были заперты в ящик, причем двое из них в одно отделение... Двое русских должны были всю ночь под Новый год находиться в этом ящике, в то время как на них выливали ледяную воду».

Шпеер уже не может отрицать, что эти «шкафчики» не что иное, как камеры пыток. Он просит только верить ему, что всегда требовал хорошего обращения с иностранными рабочими, ибо понимал: от условий, в которых они находятся, зависит результат труда. Однако обвинитель и на этот раз нокаутирует его. Он цитирует статью Шпеера из газеты «Дас рейх» от 19 апреля 1942 года:

«Энергичнее применять самые суровые наказания за проступки: карать каторжными работами или смертной казнью. Война должна быть выиграна».

— Вы так писали? — спрашивает Рагинский.

И Шпеер, которому деваться уже некуда, признается:

— Да, писал.

Постепенно выясняются и связи министра вооружений с Гиммлером. Подсудимый тщетно пытается увернуться: помилуй бог, как можно заподозрить его в том, что он не знал, что такое гестапо? Знал, конечно знал, и потому не хотел иметь никаких дел с этим грязным учреждением. Однако советский обвинитель опять показывает Шпееру, сколь неуважительно его отношение к труду следователей. Рагинский напоминает Шпееру, что 4 января 1944 года у Гитлера состоялось совещание, на котором он, министр вооружений, потребовал, чтобы Заукель поставил ему в 1944 году «не менее 4 миллионов рабочих из оккупированных областей». Но не это еще было самым неприятным. Обвинитель тут же обращает внимание Шпеера: в протоколе совещания зафиксировано, что в осуществлении указанной программы «будет принимать участие Гиммлер». И это еще не все. Обвинитель предъявляет новый документ, свидетельствующий, что Шпеер договаривался с Гиммлером, сколько процентов от продукции, производимой при помощи угнанных в рабство иностранных рабочих, должны получать эсэсовцы.

Так шаг за шагом раскрывался истинный облик Шпеера и становилось совершенно очевидным, что под личиной внешней респектабельности, под маской технического специалиста скрывался оголтелый нацист, опасный военный преступник, жестокий работорговец, человек, готовый на любые злодеяния. Прав был Р. А. Руденко, заявивший в своей заключительной речи:

— Когда фашистские летчики бомбардировали мирные города и села, убивая женщин, стариков, детей, когда немецкие артиллеристы обстреливали из тяжелых орудий Ленинград, когда гитлеровские пираты топили госпитальные суда, когда «Фау» разрушали города Англии — это был результат деятельности Шпеера...

* * *

И еще двое — Нейрат и Ганс Фриче.

Первый до Риббентропа был министром иностранных дел. Прусский аристократ, дипломат старой школы, помогавший Гитлеру делать самые начальные шаги агрессивной внешней политики. Потом, поднаторев в нацистской идеологии, Нейрат занял пост рейхспротектора Чехии и Моравии.

Второй — заместитель Геббельса, возглавлявший радиопропаганду в гитлеровской Германии и все время

старавшийся возбудить в немецком народе ненависть к другим народам.

В Нюрнберге Гансу Фриче удалось довольно выразительно обрисовать обстановку последней встречи со своим шефом. Накануне самоубийства Геббельс собрал в салоне для просмотра фильмов ближайших подручных. В числе их оказался, конечно, и Фриче. Горели свечи, Геббельс был тщательно одет. Напоследок он произнес речь, в которой с бесподобным цинизмом отзывался о немецком народе и попытался свалить на него все беды нацистского режима.

— Немецкий народ, — шипел Геббельс, — нарушил свои обещания. На востоке он бежит. На западе встречает врага с белыми флагами. Что мог я сделать с народом, у которого мужчины не борются. Немецкий народ сам выбрал себе эту судьбу. Вспомните, господа, голосование в ноябре 1933 года по поводу выхода Германии из Лиги Наций. Тогда немецкий народ выбрал свой путь и пошел на этот риск, который закончился неудачей.

По свидетельству Фриче, в тусклом мерцании свечей, освещавших салон, Геббельс уже выглядел призраком. Он отлично понимал, что ждет его самого и тех, на кого все время опирался. Подручные ждали если не благодарности за верную службу, то хотя бы сочувствия, но их шеф злорадно бросает им:

— Вот вы работали со мной, а теперь вас всех перережут.

Геббельс с удовольствием наблюдал за тем, как от этих его слов бледнеют лица присутствующих. Потом молча направился к выходу. Однако у самой двери обернулся и патетически выкрикнул:

— Когда мы отступим, земля должна вздрогнуть!..

Это был последний «крик души» тягчайшего преступника, который вместе с Гитлером вверг немецкий народ и народы всей Европы в пучину невероятных страданий.

Фриче вспоминает, как после этого совещания он тщетно пробовал побудить Мартина Бормана к капитуляции Берлина. Тогда у него возникает мысль лично обратиться с письмом на имя командующего советскими войсками под Берлином. Письмо было написано и передано по назначению через линию фронта. Последовал вызов Фриче в штаб маршала Жукова. Он полагал, что советский маршал намерен лично беседовать с ним, но этого не случилось. 4 мая Ганса Фриче повели в подвал имперской канцелярии и предъявили для опознания труп Геббельса. Только и всего...

* * *

Итак, на скамье подсудимых в Нюрнберге уместилось целое правительство. По своим масштабам это был самый большой судебный процесс во всей истории человечества. В него надлежало включить события целых десятилетий, жизнь целого континента. Впервые закон настиг людей, которые, приобретя огромную власть, использовали ее самым преступным образом во вред человечеству.

Человечество пережило только за последние два века сотни захватнических войн. И с каждой новой войной преступления, ее сопровождавшие, становились все более тяжкими. Но, несмотря на это, не было еще случая, когда бы виновники агрессии привлекались к ответу.

Сколько захватнических войн было развязано в Европе Наполеоном. Сколько городов и сел превратил он в развалины. Венский конгресс 1815 года пытался наказать агрессора, а кончил тем, что подарил ему остров Эльбу.

Хорошо известна комедия, которую разыграла Антанта в 1918 году, на словах вознамерившаяся судить Вильгельма II, а на деле давшая ему возможность бежать в Голландию и прожить там в роскоши двадцать лет. Как раз до той поры, когда Гитлер разгромил Францию. Идеологи и политики империализма понимали, что значит установить на будущее прецедент для уголовной ответственности за агрессию. Политик должен смотреть вперед, а не назад. Вчера народы требовали судить Вильгельма II, а завтра они потребуют нового суда. Над кем? Никто этого не может сказать: ведь война — постоянный спутник империалистической политики.

Безнаказанность агрессоров во все прошлые времена, безусловно, поощряла нацистов к новым агрессиям. До поры до времени они со смехом встречали предупреждения стран антигитлеровской коалиции о неотвратимом возмездии. Гитлер был убежден, что навсегда сохранится в силе пессимистическое суждение Паскаля о человеческой справедливости в сфере международных отношений:

«Справедливость является предметом споров. Силу легко узнать, она неоспорима. Вот почему не смогли сделать так, чтобы справедливое было сильным, а сделали сильное справедливым».

Но Гитлер просчитался. В середине XX века безнаказанности агрессоров пришел конец. Нюрнберг стал как бы символом того, что народы решили справедливое сделать сильным. Для начала была изменена резиденция германского правительства: из пышных дворцов гитлеровские министры переселились на жесткую скамью подсудимых. Здесь уже было не до смеха. В первый же день процесса им дали почувствовать, что агрессия

признана тягчайшим международным преступлением, а в последний его день все человечество узнало, что в знак уважения к закону, выстраданному народами, Международный трибунал приговорил гитлеровских приспешников к повешению.

Это было недвусмысленным предупреждением: всякий, кто вновь попытается плести заговор против мира, сплетет петлю на собственную шею.

Ошибочно было бы думать, что соглашение между союзниками о суде и наказании главных нацистских военных преступников родилось легко и беспрепятственно. На пути к нему оказалось немало помех. Реакционеры Запада всячески старались сорвать судебный процесс. Попытки эти делались под различными предлогами. Отъявленные ханжи взывали к христианским чувствам всепрощения и облекали это в ту же форму, какую использовали в свое время французские легитимисты, требуя оставить жизнь Людовику XVI. «Он достаточно будет наказан, — уверяли эти фарисеи, — если останется жить среди свободной нации, для которой был вождем, а стал позором. Пусть он живет, вечно испытывая гнет стыда и раскаяния».

— Обречь его на долгую пытку жизни! — лицемерно кричали защитники короля-преступника.

И этот их клич подхватили некоторые из защитников Геринга, Риббентропа. Но такие были все же в меньшинстве. Чаще раздавались другие голоса:

— Расстрелять их, мерзавцев, без суда и следствия.

Иногда эти архирадикальные требования облекались во внешне убедительные формы. Так, издаваемая в Канаде газета «Оттава Морнинг Джорнел» писала, что суд над явными преступниками войны будет фальшью. Их вина бесспорна, и никакая самая способная и самая энергичная защита не могла бы привести таких аргументов, которые повлияли бы на вердикт или меру наказания. «Если мы хотим избежать упреков в лицемерии, нужно придумать какой-то другой способ для наказания этой категории преступников».

На расстреле без суда и следствия всех гитлеровских сообщников по развязыванию второй мировой войны особенно настаивала реакционная пресса. И конечно, чаще всего подлинная подоплека таких выступлений заключалась в том, чтобы не допустить публичного разоблачения империализма и не создать опасного прецедента на будущее. При этом реакция считала, что она ничего, собственно, не теряет: Геринг и Риббентроп, Гесс и Розенберг уже не пригодятся ей — это полные банкроты, политические трупы, выброшенные за борт истории. Судебный же

процесс над ними, открытый, публичный судебный процесс, мог обернуться совсем нежелательной стороной. Матерые реакционеры никак не желали, чтобы судьи копались в святая святых империалистической политики, выясняли причины войны.

Но одно дело желания, другое дело возможности. Середина двадцатого столетия с ее бурным развитием общественной жизни, политического сознания народов, колоссально возросшими силой и международным авторитетом Советского Союза ограничивала возможности апологетов империализма. Попытки реакции сорвать судебный процесс над главными военными преступниками провалились.

* * *

Когда я вернулся из Нюрнберга на Родину, меня многие спрашивали: как подсудимые относились к предъявленному обвинению? Я не мог тогда и не могу сейчас ответить односложно. Не могу потому, что вопрос о признании или непризнании своей вины подсудимые в конечном итоге превратили в вопрос тактический, а тактика защиты у каждого была своя. Общее же заключалось в том, что от имени обвиняемых защита оспаривала самый закон, на основании которого их судили, что дало основание одному из обвинителей остроумно заметить:

— Вор, который чувствует на своей шее веревку, не может придерживаться хорошего мнения о законе.

Сами же подсудимые на вопрос председательствующего о признании вины отвечали весьма стандартно:

— Не виновен.

Некоторые, впрочем, добавляли к этому еще несколько слов:

— В том смысле, как предъявлено мне обвинение, не виновен.

Лишь Рудольф Гесс попытался внести в свой ответ некоторое разнообразие:

— Признаю себя виновным перед богом.

Но существовал один документ, на полях которого главные военные преступники в неофициальной форме и менее лаконично выразили свое отношение к вопросу о виновности. Это экземпляр обвинительного заключения, принадлежавший доктору Джильберту. Доктор попросил своих пациентов написать на этом экземпляре их мнение о предъявленном каждому из них обвинении.

Все подсудимые, разумеется, понимали, что их беседы с

Джильбертом не останутся секретом. При помощи этих бесед они всегда пытались апеллировать к истории и создать о себе впечатление, противоположное тому, которое формировалось в зале суда под давлением неотразимых улик. Так было, конечно, и в данном случае. К тому же надо иметь в виду, что свое отношение к предъявленным им обвинениям они высказывали в первые дни процесса, когда еще не развернулись во всей убийственной убедительности доказательства их преступной деятельности и когда многие из них еще не потеряли надежды избегнуть изобличения.

Герман Геринг никак не хотел признать, что перед ним юридический документ, фиксирующий на основе общепринятых норм его чудовищные преступления против человечества. Он написал на обвинительном заключении, видимо, давно продуманную формулу: «Победители будут всегда судьями, а побежденные — обвиняемыми».

Иоахим фон Риббентроп решил пролить крокодилову слезу: «Обвинительное заключение направлено против невиновных людей». При этом, как отмечает доктор Джильберт в своем дневнике, он добавил устно:

— Мы все были тенью Гитлера.

Рудольф Гесс, который тогда еще симулировал амнезию (утрату памяти), отделался всего тремя словами: «Я не помню».

Эрнст Кальтенбруннер, один из самых зловещих сатрапов Гитлера, учинил на тексте обвинительного заключения следующую надпись: «Я не считаю себя виновным в каких-либо военных преступлениях. Я выполнил лишь свой долг, как руководитель разведывательного органа, и я отказываюсь заменить здесь Гиммлера».

Альфред Розенберг, главный теоретик нацизма и человекоистребления на Востоке, написал: «Я отвергаю обвинение в заговоре. Антисемитское движение было только мерой защиты».

Ганс Франк, гитлеровский министр юстиции, затем генерал-губернатор оккупированной Польши, избрал другую тактику. Его надпись гласит: «Я рассматриваю этот процесс как божьей воли мировой суд, которому предстоит рассмотреть и положить конец ужасной эре страданий под властью Гитлера».

Гитлеровский министр внутренних дел Вильгельм Фрик был более лаконичен: «Все обвинительное заключение основывается на фиктивном предположении о заговоре».

Фриц Заукель, имперский уполномоченный по набору рабочей силы на оккупированных территориях, хотел, чтобы ему поверили, что он только идеалист, стремившийся к социальной справедливости и, увы, слишком поздно прозревший. Он написал:

«Пропасть между идеалами социальной общности, которые я представлял себе и защищал как моряк и рабочий в прошлом, и ужасами концентрационных лагерей глубоко потрясла меня».

Франц фон Папен, бывший рейхсканцлер Германии, а впоследствии видный гитлеровский дипломат, хотел уверить современников и потомков, что только обвинительное заключение раскрыло перед ним мрачную историю «третьей империи», что оно ужаснуло его «безответственностью, с которой Германия была ввергнута в эту войну и мировую катастрофу, а также массой преступлений, совершенных некоторыми представителями немецкого народа».

Кейтель, бывший начальник штаба ОКБ (верховного командования германских вооруженных сил), пытался укрыться от возмездия ссылкой на воинскую дисциплину: «Для солдата приказ есть приказ».

А гросс-адмирал Дениц решил еще раз засвидетельствовать свою беспримерную наглость и осчастливил доктора Джильберта такой надписью: «Ничто в этом перечне обвинительного заключения меня не касается. Типичный американский юмор».

Но все это было в первые дни процесса. В дальнейшем же, по мере исследования в суде убийственных для подсудимых доказательств, их отношение к обвинению менялось. К концу процесса среди них не было ни одного, который отрицал бы доказанность обвинения в целом. Однако почти не оказалось и таких, кто признал бы свою личную ответственность за эти преступления. Я говорю «почти», ибо имелись два исключения.

Подсудимый Франк заявил на суде:

— Я прошу трибунал в результате судебного разбирательства решить вопрос о степени моей виновности, но я лично хотел бы заявить, что после всего, что я увидел на протяжении этих пяти месяцев процесса, благодаря чему я смог получить общее представление обо всех совершенных ужасах, у меня создалось чувство моей глубокой виновности...

Аналогичную позицию занял и Ширах, заявивший трибуналу:

— Вот в чем моя вина, за которую я отвечаю перед богом и перед германским народом: я воспитывал нашу молодежь для человека, которого на протяжении долгих и долгих лет считал вождем нашей страны, но который в действительности был убийцей, погубил миллионы людей... Каждый немец, который после Освенцима еще придерживается расовой политики, является виновным...

Ширах даже просил разрешить ему выступить по германскому радио с речью перед немецкой молодежью, чтобы «раскрыть ей глаза».

В кулуарах процесса такое поведение Франка и Ширaха, а потом и Шпеера кое-кто расценивал как «крик души», как хоть и запоздалое, но «чистосердечное раскаяние». Эта точка зрения нашла свое отражение даже в заключительной речи главного французского обвинителя Шампетье де Риба.

С еще большим успехом некоторые из подсудимых разыграли роль кающихся, когда вели частные беседы с доктором Джильбертом. Франк, например, в последние дни процесса разразился перед ним такой тирадой:

— Пройдут века, и народ спросит: боже мой, как могло все это случиться? Вы не можете назвать это просто преступлением — преступление слишком мягкое слово... Воровство — преступление. Убийство человека — преступление. А это? Это просто не укладывается в голове! Система массовых убийств. Две тысячи жертв в день. Золотые зубы и кольца — в имперский банк, волосы — для матрацев! Боже мой! И все это было приказано одним дьяволом, который появился в человеческом облике...

Франку вторил Шпеер:

— Я видел, как вся страна была в отчаянии и как убивали миллионы людей из-за этого маньяка...

Сохранились для потомства и доверительные высказывания перед Джильбертом Функа:

— Среди нас не найдется ни одного человека, который мог бы избежать моральной ответственности за все это. Я уже говорил вам, как меня мучили угрызения совести, когда я подписывал законы о передаче еврейской собственности в собственность немецкого государства... Все виновны!

А вот к какому выводу пришел Дениц, утверждавший в первые дни процесса, что обвинительное заключение является «типичным американским юмором»:

— Я негодовал, узнав, что меня привезут на процесс, потому что ничего не знал об этих зверствах. Но сейчас, когда я заслушал все показания, узнал о двурушничестве и всех грязных делах на Востоке, я удовлетворен тем, что здесь пытаются выяснить корень этих злодеяний.

В таком же духе высказался и Папен:

— Я охотно готов принять свой приговор как жертву на алтарь дела разоблачения гитлеровского режима перед немецким народом. Немецкий народ должен знать, как его предавали, и он должен также помочь стереть с лица земли последние остатки нацизма...

Все эти признания вспомнились мне в связи с оголтелой кампанией против Нюрнбергского процесса, которая ведется сегодня в Западной Германии с целью реабилитации нацистов,

находящихся на службе у Бонна. Ведь даже Франк и Ширах, Дениц и Папен не посмели подвергнуть сомнению достоверность собранных Международным военным трибуналом доказательств виновности нацизма в тягчайших преступлениях против человечества.

И все-таки нельзя согласиться с теми представителями трибунала от западных держав, которые пытались объяснить эти признания подсудимых следствием их психологического надлома и раскаяния. Один американец как-то даже упрекнул меня:

— Нет, майор, вы, русские, слишком прямолинейны и недоверчивы. Для вас, если это нацист, то уже этим все сказано, раз и навсегда.

Вместо ответа я предложил ему прочесть протокол допроса Франка в суде и показать хоть одно место, где он признает тяжкие преступления, совершенные им лично.

Был конец рабочего дня. Мы взяли стенограмму. В ней зафиксировано отношение Франка к документам, предъявленным советским обвинителем Л. Н. Смирновым. Документы — бесспорные. Это собственноручные кровавые резолюции подсудимого, выдержки из его речей и дневника.

В январе 1940 года на совещании в Варшаве Франк с циничной откровенностью заявил:

— Пятнадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года я получил задание принять на себя управление завоеванными восточными областями и чрезвычайный приказ беспощадно разорять эту область, как территорию войны и как трофейную страну. Сделать ее грудой развалин...

Через несколько лет он уже подводит итог этой своей деятельности. 2 августа 1943 года, выступая на приеме функционеров нацистской партии в Кракове, Франк утверждает:

— Мы начали здесь с трех с половиной миллионов евреев. Сейчас от них осталось лишь несколько человек. Все другие, скажем мы когда-нибудь, эмигрировали...

Но на суде он юлит, валит все это на Гиммлера и Кальтенбруннера. Франк признает только факты. Преступления действительно совершены. Они чудовищны и по характеру, и по масштабам. Однако Франк тщится доказать, что лично он не причастен к их совершению, хотя и испытывает «чувство глубокой виновности», поскольку был членом германского правительства.

Если поверить Франку, то все беды Германии, всех ее режимов, включая и гитлеровский, проистекают из характера немецкого народа.

— Вы знаете, — говорил он Джильберту, — варварство, видимо, характерная расовая черта немцев. Иначе как можно

объяснить, что Гиммлер заполучил в свое распоряжение столько людей для исполнения своих преступных приказов.

А в другом случае Франк попытался «углубить» эту свою мысль:

— Мы, немцы, мы все грабители. Не забывайте, что немецкая литература началась с «Разбойников» Шиллера. Вам никогда не приходило это в голову?..

К какой только чуши не прибегал Франк, стремясь переложить ответственность за преступления гитлеризма на весь немецкий народ.

— Вы знаете, доктор, — с серьезным видом уверял он Джильберта, — немецкий народ действительно женственен в своей массе. Мы, пожалуй, должны говорить не «дас фольк», а, скорее, «ди фольк». Он такой эмоциональный, такой непостоянный и так зависит от настроения и окружения, так поддается внушению, так преклоняется перед мужеством. Вот в этом, герр доктор, и заключается секрет гитлеровской власти. Гитлер встал, начал бить кулаками по столу и кричать: «Я мужчина, я мужчина, я мужчина...» Он так долго кричал о своей силе и решимости, что народ подчинился ему. Нельзя сказать, что Гитлер изнасиловал немецкий народ. Он соблазнил его...

Франк, конечно, был далек от того, чтобы объяснить то главное, что действительно обеспечило Гитлеру господство над немецким народом. Он не сказал, что нацистская партия пришла к власти не потому, что за нее голосовало большинство немецких избирателей, а в результате лишь порочного союза господ из Рура с нацистскими заговорщиками и прусскими милитаристами. Но об этом очень правильно заметил на процессе один из обвинителей:

— Если бы германский народ добровольно принял нацистскую программу, не понадобились бы штурмовые отряды, созданные в первый же день после прихода этой партии к власти, не понадобились бы концентрационные лагеря, гестапо, которые были организованы сразу же после того, как государственная власть перешла в руки нацистов...

К теме о национальных чертах германского народа не раз возвращался и Геринг. В беседе с тюремным врачом он пробовал даже острить по этому поводу:

— Если перед вами один немец, то это наверняка порядочный человек, два немца — это уже банда, а трое — обязательно вызовут войну.

Конечно, ни Геринг, ни Франк не склонны были признать, что нацистская пропаганда годами дурманила немецкий народ, отравляла его душу ядом ненависти к другим народам,

воспитывала в нем чванливое чувство «избранной расы», развязывала темные инстинкты, звала к легкой жизни «господ», на которых должны работать «низшие расы».

Было бы, однако, несправедливым умолчать здесь о том, что некоторые из подсудимых понимали всю несуразность позиции Франка и Геринга, всю неуклюжесть их попыток переложить личную ответственность за содеянные преступления на германский народ в целом. Вечером 26 января 1946 года Папен рассказывал Джильберту:

— Розенбергу случилось сегодня гулять вместе со мной во дворе. Обычно я не разговариваю с ним, потому что у нас нет ничего общего, но случилось так, что мы вышли в одно время. Мы стали говорить о вчерашнем выступлении французского обвинителя — о пытках и других зверствах. Розенберг вдруг невинно сказал мне: «Не понимаю, как немцы могли делать подобные вещи». И вы знаете, что я ему ответил? Я сказал, что хорошо могу это понять. И добавил: вы и ваша нацистская философия, ваши понятия морали просто разрушили все нормы нравственного поведения. Ничего нет удивительного в том, что результатом всего этого явилось подобное варварство.

Папен, конечно, не так глуп, чтобы отрицать или хотя бы замалчивать отвратительную роль, какую играли пропаганда и философия нацистов в моральной подготовке нацистских преступлений. Но тщетно было бы ожидать от него признания личной вины за это, исповеди о том, какие он сам приложил усилия для того, чтобы стали возможны в Германии и Гитлер, и Розенберг, и вся их человеконенавистническая философия.

Так же действовали и другие «признававшиеся» подсудимые.

Шпеер говорил о маньяке Гитлере. Он даже поведал суду, что к концу войны втайне готовил убийство фюрера, чем вызвал бурю лицемерного негодования у Геринга. Но у Шпеера не хватило духу признать, что именно он отдавал все свои силы и способности развитию военного производства, привлечению для этого в массовых масштабах миллионов рабов, угнанных из других стран.

Дениц возмущался «грязными делами на Востоке», но при этом не вспомнил на суде о своих личных приказах «топить без предупреждения» торговые суда и расстреливать несчастных моряков, плавающих в воде и пытающихся спастись. Он умолчал о том, как готовил кадры морских пиратов (среди них оказался и нынешний командующий западногерманским флотом адмирал Ценкер), требуя, чтобы каждый из них был «образцовым национал-социалистом». Характерно и другое: именно Дениц через десять лет после Нюрнберга, отбыв наказание, выпустит

книгу, обливающую грязью не гитлеровский режим, а тот самый Восток, о котором он «скорбел» на скамье подсудимых. И совсем не случайно боннские реваншисты изберут его впоследствии президентом германского союза моряков, готовящего новые грязные дела.

Функ проливал крокодиловы слезы по поводу конфискации еврейской собственности, но забыл сообщить суду (за него это сделали другие), что сам он получил из конфискованных ценностей полмиллиона марок в виде дотации от фюрера.

И еще в одном были едины подсудимые: в своем стремлении свалить с себя ответственность на покойников — Гитлера, Гиммлера, Гейдриха, Геббельса, Лея, Больше всего, конечно, на Гитлера. Даже Геринг, старавшийся казаться по отношению к Гитлеру лояльным, всякий раз, как только доходило до обвинений в собственный адрес, пытался поскорее спихнуть все на обожаемого фюрера.

Кейтель, как мы это еще увидим, сетовал на то, что Гитлер сам покончил с собой и оставил их одних перед судом. Он расценивал самоубийство Гитлера как проявление трусости. К этой теме часто возвращались и другие подсудимые.

Тогда Геринг попробовал объяснить своим «коллегам», почему фюрер поступил так и что, собственно, ускорило этот акт. Геринг рассказал, что было с Гитлером, когда ему показали однажды фотографию «осквернённого дуче». Фотография запечатлела мертвого Муссолини лежащим в канаве вместе со своей любовницей. Взглянув на эту карточку, Гитлер забегал взад и вперед, руки его дрожали. Он стал истерично кричать, что никогда не сдастся врагу и что ни один «злой немец» не получит возможности осквернить его тело.

Весьма симптоматично, что Гитлер заговорил при этом о «злых немцах». Фюрер боялся немецкого народа, боялся его гнева. С каждым днем, приближавшим неотвратимую катастрофу, он все отчетливее сознавал, что и немецкий народ предъявит ему свой счет за чудовищные преступления.

Если я сегодня вспомнил об этом и воспроизвожу здесь кое-что из того, что говорилось подсудимыми о Гитлере во время Нюрнбергского процесса, то причиной здесь является одно-единственное обстоятельство: в своей проповеди всепрощения нацизма западногерманские реваншисты дошли до реабилитации даже самого Гитлера. С каждым днем на книжный рынок поступают новые и новые панегирики в честь его. Среди авторов этой дурно пахнущей стряпни и казенные прусские историки, и вчерашние гитлеровские генералы, и личный шофер Гитлера Эрих Кемпка, и его личный секретарь Альберт Цоллер, и даже

камердинер Краузе. Полубогом выглядит Гитлер в этих книгах.

А в Англии вышла книга под названием «Стратегия Гитлера», в которой до небес превозносится его военный гений. С Наполеоном сравнивает Гитлера и западногерманский вице-адмирал Курт Асман.

А вот что пишет о вожаке нацистов довольно известный западногерманский историк Вальтер Герлиц: «Адольф Гитлер является личностью мирового масштаба. Он изменил карту мира больше, чем любой европейский правитель до него». Чем только не умиляется Герлиц! Его растрогали до слез и спартанский образ жизни Гитлера, который так контрастировал с пиршествами Геринга и других близких фюреру лиц, и то, что Гитлер «способствовал преодолению классовой борьбы», за что якобы его любили немецкие рабочие. Ну и, конечно, Герлиц снимает с Гитлера ответственность за поджог рейхстага, а равно и за многие преступления против германского народа.

Читая эти и подобные им панегирические высказывания о Гитлере, невольно припоминаешь слышанное о нем от подсудимых в Нюрнберге. А уж они-то лучше знали Адольфа Гитлера, чем те, кто пытается обелить его задним числом.

Ганс Франк, юрист по профессии, начавший свою карьеру с защиты Гитлера в суде после провала мюнхенского путча, тот Ганс Франк, который был министром юстиции в гитлеровском правительстве, а затем рьяно и жестоко проводил в жизнь гитлеровскую политику в оккупированной Польше, — этот самый Франк писал в камере Нюрнбергской тюрьмы:

«Кем был Адольф Гитлер? Государственным деятелем? Но ведь он лишил государство всех его существенных институтов, таких, как законные права граждан, конституция, основы администрации, и, наконец, подорвал империю при помощи войны.

Был ли он партийным деятелем? Но он систематически подрывал свою собственную программу, обесценивал ее идеи и сделал партию инструментом своей политики.

Он любил называть себя артистом, меценатом искусства, но он подавлял и мешал развитию подлинного искусства. Можно спрашивать без конца, но отвечать можно только «нет», потому что он постоянно разрушал то, что однажды создавал».

И, отмечая далее, что Гитлера часто называли гигантом, Франк уточняет: «Да, он был гигантом, но гигантом разрушительного происхождения».

Вновь и вновь возвращаясь к характеристике Гитлера и в официальных высказываниях на Нюрнбергском процессе, и в интимных беседах с доктором Джильбертом, Франк все время

подчеркивал: «Гитлер представлял дух дьявола на земле».

Франк признавал:

— Вначале я был в союзе с этим дьяволом. В последующие годы узнал, каким Гитлер был в действительности — бесчувственным, жестоким, безумным психопатом. Его так называемый очаровывающий взгляд был не чем иным, как взглядом психопата. Он руководствовался чистым примитивизмом, упрямым и необузданным самомнением...

Вряд ли кого-нибудь могла обмануть манера этой критики, стремление Франка и других подсудимых говорить о Гитлере так, как будто сами они люди посторонние, люди, имеющие право возмущаться Гитлером наравне с его искренними противниками. Но здесь суть не в этом. Здесь мне хочется сконцентрировать внимание читателя на том, что думали о Гитлере и как оценивали его те, кому довелось тесно общаться с ним на протяжении многих лет.

Франк был не единственным «критиком» Гитлера. Довольно красочно отзывался о своем недавнем кумире и бывший руководитель гитлеровской молодежи Бальдур фон Ширах. Он неоднократно заявлял, что Гитлер был «фанатиком и полуобразованным человеком», «бесчеловечным тираном». Главарь «Гитлерюгенда» даже предлагал союзным властям созвать в Бухенвальде всех лидеров германской молодежи и позволить ему лично выступить перед ними с разоблачением преступной натуры Гитлера. А когда обвинители цитировали в суде речь фюрера на секретном совещании 5 ноября 1937 года, речь, в которой Гитлер провозгласил программу завоевания мирового господства, тот же Ширах отозвался о ней, как о «концентрированном политическом сумасшествии». Франк же зловеще заметил тогда:

— Подождите только до тех пор, пока немецкий народ сам ознакомится с этим документом и увидит преступное дилетантство, с помощью которого фюрер решал его судьбу.

А Шахт? Этот о Гитлере говорит такое, что Геринг, еще и еще раз демонстрируя свое лицемерие, затыкал уши.

Один перед другим изощрялись подсудимые в подыскании своему вчерашнему кумиру самых нелестных эпитетов. Но при всем этом никто из них не заикнулся, что действия фюрера — это их собственные действия, что это они создали его, курили ему фимиам, наделяли эту преступно-неврастеническую личность неограниченной властью, сами разжигали в нем ненависть и вселяли в него чувство страха.

Такая весьма существенная деталь не могла, разумеется, ускользнуть от внимания обвинителей. Они не оспаривали, что на

Гитлера и Гиммлера падает огромная доля ответственности, однако вполне резонно указывали:

— Гитлер не унес всю вину с собой в могилу. Вся вина не окутана саваном Гиммлера.

* * *

Нетрудно представить, какой ужас охватил бы скамью подсудимых, если бы вдруг открылась дверь и в зал вошел Адольф Гитлер. Но, увы, он покончил с собой, исчез из мира таким же, как жил, — демагогом и лжецом, оставив в качестве официальной версии сообщение о том, что «погиб в бою».

Нетрудно вообразить, что произошло бы с подсудимыми, если бы перед ними встал Генрих Гиммлер с кипой досье под мышкой. Увы, и это было невозможно...

История знает немало политических судебных процессов. И эти процессы нередко являлись строгим экзаменом для определения духовных качеств политических деятелей, когда они оказывались в критической ситуации, часто перед лицом смерти. История с исключительной яркостью раскрыла тот несомненный факт, что поведение политических деятелей на таких процессах прямо зависело от характера и целей всей предшествующей деятельности этих людей. Глубокая идейность, преданность интересам народа, сознание исторической справедливости своей миссии рождали самоотверженность, принципиальность, бесстрашие и сплоченность перед лицом суда, который в таких случаях являлся лишь юридической маскировкой расправы со стороны врага.

Нюрнбергский процесс дал возможность всему миру познать подлинное лицо нацистских лидеров. Никто из них не решился открыто выступить в защиту подлого дела, которому они столько лет служили. Никто не посмел отрицать страшных преступлений, учиненных именем «третьей империи». В трибунале они вели себя, как типичные уголовные преступники, имеющие за плечами не одну судимость: схваченные с поличным, отрицали свое участие в содеянном, валили на мертвых и на соседей по скамье, делали все, чтобы спастись.

Говорят, что близость смерти облагораживает. Очевидно, не всех и не всегда. Эти шли к эшафоту, как жили: думая только о себе, ненавидя всех, даже тех, кто шагал с ними плечом к плечу в дни власти, в дни побед.

Вот их ввели первый раз в зал суда. Геринг садится, укутавшись в тюремное одеяло, локтем опирается на барьер и

закрывает рукой лицо. Какие мысли роятся в его голове? Может быть, он вспоминает, что однажды уже был в суде, и, собственно, не так уж давно, всего двенадцать лет назад. Но как все переменилось с тех пор. Тогда он являлся премьером прусского правительства, президентом рейхстага, а на скамье подсудимых сидел Георгий Димитров со своими товарищами-коммунистами, Это был процесс, где преступники обрядились в тогу обвинителей, а противостоял им политический деятель, воплощавший идею свободы, справедливости и человеческого достоинства.

Димитрову и его друзьям предъявляли нелепое обвинение в поджоге рейхстага. Он, Геринг, знает это лучше всех. Ведь рейхстаг был сожжен по его личному приказу. Этот поджог должен был послужить удобным предлогом для расправы с инакомыслящими и представить гитлеровцев в глазах мирового общественного мнения «защитниками западной цивилизации против большевистских экстремистов». Но в действительности Герингу в пору было защитить самого себя. А наступал посаженный на скамью подсудимых большой политический деятель Г. М. Димитров, который отлично понимал, что пожар рейхстага может стать (и действительно стал) мировым пожаром. Димитров защищал не столько себя, сколько общественные идеалы, ради которых жил.

— Я здесь не должник, а кредитор! — смело заявил он нацистскому суду 31 октября 1933 года.

А через месяц, 28 ноября, он же сказал:

— Мы находимся на политическом процессе. Поэтому должны быть до конца уяснены политическая подоплека и политический характер вопроса. Они хотели политического процесса, они получат политический процесс, но уж до конца: «Коль война, так по-военному!»

Вспомнив об этом, Герман Геринг мог бы сравнить теперешнее свое поведение и поведение своих коллег с поведением того, другого. И перед судом, и в ходе суда... Но, как видно, он избегал таких сравнений. В очень уж невыгодном свете предстал бы рейхсмаршал перед самим собой.

Нацистские лидеры понимали, что и без судебного процесса у них нет в перспективе ничего хорошего. Тем не менее они пуще смерти боялись открытого суда. Первый шаг их адвокатов состоял в том, чтобы не допустить процесса. Об этом же хлопотал и сам Герман Геринг. В беседах с американцами он горячо доказывал, что не нужно никакого суда, что США гораздо лучше достигнут желаемых результатов, договорившись с ним, Герингом. И сам он, и другие военные преступники явно страшились луча судебного

прожектора, который вскроет всю мерзость их жизни и политики.

В 1933 году в Лейпциге Герман Геринг, выступавший как свидетель против Димитрова, слышал кредо обвиняемого:

— Я защищаю свои идеи, свои коммунистические убеждения. Я защищаю смысл и содержание своей жизни.

А что мог сказать в Нюрнберге сам Геринг? Что могли защищать его сообщники? О каких идеях могла идти речь после Освенцима, Дахау, Треблинки, после миллионов убитых и замученных по их приказам людей, после того, как в сейфах имперского банка обнаружены золотые коронки с зубов растерзанных жертв? Кто из двадцати подсудимых в Нюрнберге осмелился бы встать и сказать, что он здесь «не должник, а кредитор»? Кто из них посмел бы открыто защищать национал-социализм? Разве подсудимые в Нюрнберге не пытались уверить трибунал, что они даже не читали розенберговского «Мифа XX столетия», а потому не могли разделять взглядов этого «сумасшедшего философа»? Ведь это же Геринг на вопрос советского обвинителя Р. А. Руденко, согласен ли он с расовой теорией, ответил:

— Я лично не считаю ее правильной.

А Роберт Лей, который с упорством маньяка и жестокостью варвара проводил расовую политику в Германии, писал в своем «Завещании»:

«Антисемитизмом мы нарушили основную заповедь... Антисемитизм исказил нашу перспективу. Конечно, трудно признаться в собственных ошибках, но все существование нашего народа стоит под вопросом, и мы, национал-социалисты, должны иметь силу отречься от антисемитизма. Мы должны объявить юношеству, что это была ошибка... Закоренелые антисемиты должны стать первыми борцами за новую идею. Они должны найти в себе силу побороть себя и должны указать путь своему народу».

Не в большей мере «защищал» в Нюрнберге расовую политику и Ширах. Разве не он просил дать ему микрофон и позволить прокричать на всю Германию, что фашизм яд для народа? Разве не Ширах, всю свою жизнь исповедовавший расовую религию, заявил на процессе, что «каждый немец, который после Освенцима еще придерживается расовой политики, является виновным»? И разве не Ганс Франк истерически клялся в Нюрнберге, что «пройдут тысячелетия, а позор Германии не изгладится из памяти народов»?

Георгий Димитров, отвергая обвинение, сказал:

— Коммунисты не поджигали рейхстага. Они не могли совершить это преступление, так как оно совершенно

противоречит их политическим принципам. Коммунисты — не поджигатели, не заговорщики, не авантюристы.

А кто из двадцати подсудимых нацистов мог нечто подобное сказать в Нюрнберге после того, как стали известны «план Отто», «план Грюн», «план Барбаросса»? После того, как гитлеровский генерал Каммхубер (тот самый, который стал впоследствии командующим военно-воздушными силами ФРГ) провокационно бомбил немецкий город Фрейбург, чтобы дать нацистам предлог для разрушения с воздуха мирных городов за пределами Германии? После немецкой провокации в Глейвице, явившейся кровавой увертюрой второй мировой войны? Никто конечно!

Разоблачив преступную нацистскую инсценировку с поджогом рейхстага, Димитров предъявил суду ряд требований: об оправдании невиновных, о привлечении к ответственности истинных виновников поджога и т. д. Председатель суда иронически заявил тогда:

— Эти ваши так называемые предложения суд при обсуждении приговора будет иметь в виду.

В ответ последовала быстрая и точная, как удар меча, реплика Димитрова:

— Наступит время, когда такие требования будут выполнены с процентами.

И вот это время наступило. В Нюрнберге — городе нацистских партейтагов и шабашей, собрался Суд народов. Банда уголовных преступников, с помощью политических отмычек вломившаяся на авансцену истории, попала туда, куда ей надлежало попасть. Настал час, когда долги надо было оплатить с процентами.

На Лейпцигском процессе Г. М. Димитров смело бросил в лицо нацистской клике:

— Фашизм лжет, убивает, подстрекает к войне и преследованиям людей... Вы стоите перед мировым судом! Вас судят все, и вы должны ответить за свои преступления.

И вот они почувствовали наконец тяжелую длань этого неотвратимого суда. Пришло время защищаться. Но как они защищались? Их защита являла собой картину полной безыдейности.

Геринг, например, утверждал, что он якобы приложил все усилия, чтобы не допустить войны с Польшей, и поэтому за спиной Риббентропа вел переговоры с англичанами через своего посредника шведского инженера Далеруса. Он даже показал, что его сосед по скамье подсудимых Риббентроп, неожиданно узнав о переговорах, готовил аварию самолета, на котором Далерус по заданию Геринга вылетал в Лондон.

Защитник Гесса утверждал, что миролюбие его клиента зашло так далеко, что он, рискуя жизнью, накануне нападения Германии на СССР сам полетел в Англию. Пройдет много лет, и шведские неонацисты, «поверив» в эту версию, представят Гесса к Нобелевской премии мира.

Да и Геринг поделился с трибуналом тем, что он тоже будто бы резко выступал против нападения на СССР в 1941 году. Но Шахт не замедлил опровергнуть его, заявив, что ушел в отставку, не считая возможным далее сотрудничать с этим человеком, решившим ввергнуть Германию в пучину большой войны.

Отставка! Все они старались убедить суд, что, понимая несправедливость политики Гитлера, неоднократно просили фюрера уволить их в отставку. Статс-секретарь Ламмерс подтвердил, что Розенберг просился в отставку. Франк требовал того же. Иодль вспомнил, а Кейтель засвидетельствовал, что он тоже просил об освобождении «от занимаемого поста» и назначении на должность командира горнострелковой дивизии. Похвастался Иодль и тем, что сумел заставить Геббельса отказаться от попытки открыто денонсировать Женевскую конвенцию. А Функ причитал, что, оставаясь в своем доме один на один с женой, он говорил ей, что «лучше было бы бросить все это дело, переехать в маленькую трехкомнатную квартирку и жить спокойно». Розенберг же усиленно требовал, чтобы нашли его докладную записку на имя Гитлера, где он решительно протестовал против зверств в отношении советских военнопленных.

На процессе все они самым бесстыдным образом интриговали друг против друга.

Я замечал, что подсудимые во время перерывов образовывали небольшие группки и состав этих групп почти никогда не менялся. Например, в группе Геринга нельзя было видеть Шахта, как никогда к группе Риббентропа не примыкал Нейрат. Не случалось и такого, чтобы Штрейхер беседовал с Герингом, а Шахт с Кальтенбруннером или Риббентропом.

Профессия юриста, положение судьи военного трибунала, а одно время и адвоката в московских судах не раз давали мне возможность наблюдать картину самых разных, подчас скандальных, разногласий на скамье подсудимых по групповым делам. До поры, до времени, будучи объединены единой целью и выгодой, единым атаманом, они подавляли в себе или атаман подавлял в них назревавшие конфликты. Когда же банда оказывалась изловленной и представала перед судом, то от былой «общности» и «верности» чаще всего не оставалось и следа.

В Нюрнберге было то же: преступное правительство

крупнейшей западноевропейской державы, заняв подобающее ему место на скамье подсудимых, сразу обнаружило нравы матерых уголовников.

В самом деле, почему на протяжении всего процесса не разговаривали между собой Герман Геринг и Юлиус Штрейхер? Разве их разделяли какие-то разногласия политического характера? Разве Штрейхеру не понравилось поведение Геринга в «ночь длинных ножей», когда по приказу «этой свиньи», как деликатно выразился Штрейхер, летели десятки голов непокорных? Отнюдь нет. Штрейхер был горд тогда «бесстрашием и решительностью» «толстого Германа». Но, может быть, в таком случае Герингу претила Штрейхерова «теория» антисемитизма? Напротив, Геринг имел все основания высоко оценить «теоретические заслуги» Штрейхера, положившего столько сил, чтобы обосновать необходимость «окончательного решения еврейского вопроса». Ведь Герман Геринг нажил десятки миллионов марок на так называемой «аризации» еврейской собственности, проще говоря, на ограблении евреев.

Но так уж случилось, что один из «идейных» вождей национал-социализма, и особенно антисемитизма, попал в пренеприятную историю. На него пожаловались Гитлеру. Пожаловались не евреи, против которых он уже в 1938 году устраивал погромы, а чистокровные белокурые арийцы. Оказывается, партейгеноссе Штрейхер имел пристрастие к малолетним арийским девочкам, растлевая их по мере своих сил и возможностей. Для проверки многочисленных заявлений по этому скандальному факту Гитлер назначил комиссию во главе с Герингом. Факт подтвердился, и вконец скомпрометированного гаулейтера пришлось сместить с его тюрингского поста. Тем более что это давало ему возможность полностью сосредоточиться на дальнейшей разработке антисемитизма. Гитлеровская Германия готовилась к войне, и «труды» Штрейхера были весьма кстати.

Но сам-то Штрейхер затаил с тех пор глубокую ненависть против «кокаиниста», а заодно и «откровенного грабителя» Геринга. Штрейхера душила злоба от одной мысли, что на него, ветерана нацистской партии, отважился поднять руку этот «выскочка и карьерист Геринг».

Вот, оказывается, почему, угодив вместе на скамью подсудимых, они даже не здоровались.

А что разделяло с Герингом Шахта? По какой причине они за все десять месяцев процесса не обмолвились ни единым словом? Ведь пока Шахт был у власти и в большом фаворе у Гитлера, отношения между ними казались более чем лояльными. Шахт

высоко ценил организаторские способности толстого Германа, во многих своих делах встречал с его стороны всяческую поддержку и сам искренне отдавал Герингу весь свой опыт финансового чародея международного класса. Но перед самой войной между «толстым Германом» и «финансовым чародеем» пробежала черная кошка. Властолюбивый и жадный, Геринг не захотел терпеть, чтобы кто-нибудь кроме него руководил экономикой страны. Он ценил Шахта. Оба они били в одну точку — скорее перевооружить Германию, скорее приблизить день, когда можно будет бросить полчища вермахта на соседние страны. Это их объединяло. Однако личное соперничество, взаимная зависть этих двух гитлеровских министров оказались настолько сильными, что привели к взрыву, отбросившему Шахта и возвысившему Германа Геринга.

Вот, оказывается, почему в ходе Нюрнбергского процесса я ни разу не видел их рядом, зато часто слышал о нелестных эпитетах, отпускавшихся одним в адрес другого.

На скамье подсудимых сидели матерые волки, и вели они себя по-волчьи.

Вспоминается одна сценка. Шеф гитлеровского гестапо Эрнст Кальтенбруннер перед началом процесса заболел и потому не присутствовал на первых заседаниях суда. Только 10 декабря 1945 года его привели на скамью подсудимых. Очевидно, пресса была заблаговременно уведомлена об этом. Кинооператоры и фотокорреспонденты приготовились снимать Кальтенбруннера. Внимание всех присутствовавших в зале суда сосредоточилось на скамье подсудимых. Кальтенбруннер широким жестом приветствовал своих друзей, но со скамьи подсудимых повеяло холодом, как будто морозный воздух ворвался через открытую дверь. Кальтенбруннер протянул руку Иодлю, который находился ближе всех к нему. Тот демонстративно отвернулся. Неожиданно и все другие подсудимые стали смотреть в противоположную сторону.

Охрана указала Кальтенбруннеру, что он должен сесть между Кейтелем и Розенбергом. Пока тот усаживался, Кейтель старался казаться очень занятым. Кальтенбруннер подал ему руку, но Кейтель уклонился от рукопожатия и завел ничего не значащий разговор с американским врачом.

Кальтенбруннер повернулся к Франку, но и этот не пожелал обменяться с ним приветствием. Франк уткнулся носом в книгу и заскрипел зубами.

Кальтенбруннер обращается к адмиралам Редеру и Деницу, однако и они не скрывают своего нежелания разговаривать с кровавым палачом. Проглотив обиду, некогда всесильный шеф

гестапо обращается к своему защитнику, протягивает и ему руку. Она, однако, опять повисает в воздухе. Защитник тоже воздерживается от рукопожатия, хотя разговаривает со своим клиентом очень вежливо.

Люди, наблюдавшие все это со стороны, еще не подозревали, что именно в тот момент зарождался новый миф, который получил затем исключительно широкое распространение, — миф о непричастности остальных подсудимых, и в особенности германского генералитета, к зверствам и насилиям, чинившимся гестаповцами во время второй мировой войны. Отворачиваясь от Кальтенбруннера, Кейтель и Иодль, Редер и Дениц хотели тем самым заявить, будто они никогда не имели и не хотят иметь ничего общего с кровавыми потехами гестапо и СС. Господа генералы и адмиралы как бы сказали судьям:

«Хотите верьте, хотите нет, но мы даже здороваться с этим гестаповцем не можем. Преступления, конечно, совершались и в Германии, и на оккупированных территориях, однако не германским генералитетом. Его репутация всегда была чище снега альпийских вершин».

Пройдет, правда, несколько месяцев, и тот же Кейтель, тот же Иодль, те же Дениц и Редер под давлением неопровержимых документов вынуждены будут до конца раскрыть фарисейский характер сцены, которую они разыграли 10 декабря 1945 года. Придет время, и сам Кальтенбруннер скажет многое такое, отчего придет в смятение вся скамья подсудимых. Он еще покажет, что не следует другим господам, оказавшимся на этой скамье, так уж стесняться знакомства и дружбы с ним, что, ей-ей, надо еще хорошенько взвесить на весах истории, кто более «грязная свинья» — он, Кальтенбруннер, или те, кто сидит рядом и за его спиной.

Впрочем, не будем забегать вперед. Каждый из подсудимых имел на процессе достаточно много времени и возможностей, чтобы раскрыть перед миром разбойничье нутро и фальшивую, с двойным дном, совесть. Грызня между ними возникала по разным поводам.

Вот дает показания Риббентроп. Всем уже очевидно, что нацистская внешняя политика обернулась для Германии катастрофой. Однако бывший министр иностранных дел пытается защищать ее. Фон Папен при этом довольно громко говорит соседям, что он ведь давал хорошие советы Риббентропу, но разве ему впрок. На это Риббентроп отвечает злобной репликой, адресованной Герингу:

— Его давно надо было убить.

Геринг согласно кивает головой и напоминает, что сам-то

«оппозиционер» Папен получил от Гитлера в качестве награды золотой значок нацистской партии. Папен спешит оправдаться, заявляет, будто Гитлер дал ему этот значок, чтобы замаскировать разногласия, Но Геринг только машет рукой и бормочет:

— Лгун, трус...

Затем яблоком раздора меж подсудимыми неожиданно становится «Миф XX столетия». Розенберг всегда так гордился своими философскими трактатами. И надо же было адвокату так нелепо повести себя, задать Ширахy вопрос: что он думает об этом произведении? Имперский руководитель «гитлеровской молодежи» под смех всего зала заявляет, что он никак не мог осилить сей трактат. После этой сцены Джильберт опросил каждого из подсудимых, и все они ответили, что не читали книги Розенберга. Лишь Штрейхер пожалел нацистского философа. Он отозвался о «Мифе XX столетия» как об очень глубокой работе, настолько глубокой, что лично для него она оказалась недоступной.

Но был на скамье подсудимых один человек, который значительно меньше других вмешивался в происходящие ссоры. Он не обвинял и не защищал своих коллег. Он старался быть нейтральным. Это никогда не принадлежавший к нацистской партийной элите шестидесятидевятилетний гросс-адмирал Редер — типичный представитель германского милитаризма.

Редер отдал все свои способности созданию пиратского германского флота, помог Гитлеру тайно вооружиться и подготовиться к большой морской войне. А когда она началась, то именно по приказам Редера моря и океаны превратились в арену разбоя. Лишь в 1943 году Гитлер поменял Редера на Деница, гросс-адмирал ушел в отставку, что не спасло его, однако, от скамьи подсудимых. И вот он восседает на ней, смирный, тихий...

Но что случилось? Почему так заволновались подсудимые? Геринг бросил на Редера сверкающий злобой взгляд. Дениц демонстративно отодвинулся от него. Кейтель, посмотрев в его сторону, осуждающе покачал головой...

Оказывается, в суде было объявлено, что на предварительном следствии в Москве Редер в письменном виде дал характеристики своим «коллегам».

Геринг, по свидетельству Редера, «оказал гибельное влияние на судьбу германской империи. Его характерными чертами было невероятное тщеславие, честолюбие, любовь пускать пыль в глаза, неверность, эгоистичность... Он особенно отличался своей жадностью, расточительностью, изнеженными манерами, не свойственными солдату».

О Денице, своем выученике, Редер тоже отзывался нелестно.

«Наши взаимоотношения, — писал он, — были довольно холодными, поскольку мне не нравилось его высокомерие и его зачастую бестактное поведение... Политические наклонности Деница поставили его в довольно затруднительное положение, как главнокомандующего военно-морскими силами. Его последняя речь, обращенная к гитлеровской молодежи, над которой смеялись во всех кругах, принесла ему кличку „гитлеровский мальчик Дениц“.

Не забыл «тихий» Редер и Кейтеля, «человека невероятно слабовольного, который именно благодаря этому качеству столь долго пребывал на высокой должности».

Адвокат Кейтеля приготовился было задать Редеру вопрос, но его клиент передал записку, в которой просил не делать этого. Ширах не скрывал своего удовлетворения тем, что еще раз попало «жирной свинье» Герингу.

Советский обвинитель хотел полностью зачитать в суде заявление Редера, но его защитник категорически возражал против этого. Пока шел спор, Иодль сказал своему адвокату:

— Пусть зачитывают.

Но Кейтель, метнув в Иодля злобный взгляд, требовал от своего защитника совсем иного. Указывая пальцем на советского обвинителя Покровского, он шипел:

— Остановите его!

Сложившаяся на скамье подсудимых ситуация позабавила Гесса, и он вдруг расхохотался.

Потом уже во время перерыва Иодль объяснил доктору Джильберту, почему у него не было возражений против зачтения заявления. «Он перечитал мне ту часть из заявления Редера, — вспоминает доктор Джильберт, — в который шла речь о нем, особо подчеркнув, что даже Редер признавал, что Иодль в противоположность Кейтелю был независим в отношениях с Гитлером и ему часто удавалось поступать по-своему».

Зато Дениц был менее доволен Редером и в вечерней беседе с Джильбертом уже в камере методично обливал его грязью, патетически восклицая:

— Я не выношу людей, которые ведут себя как флюгер — куда ветер дует. Почему, черт возьми, люди не могут быть честными?!

Но чего стоила «честность» самого Деница? Во время войны немецкая подводная лодка без всякого предупреждения потопила английское торговое судно «Атения». Дениц пожелал скрыть это разбойничье нападение на мирный корабль, и по его приказанию был совершен прямой подлог — из судового журнала подводной лодки одну страницу вырезали и заменили фальшивой.

В Нюрнберге Дениц вынужден был признаться в этом.

* * *

«Дружба, единство и сплоченность» обвиняемых, совсем недавно именовавших себя германским правительством, доходила до того, что, когда кто-нибудь из них хотел своими признаниями произвести впечатление «раскаявшегося», все остальные тут же старались изобличать его в ханжестве. Особенно не повезло в этом отношении Франку. Даже Шпеер и тот не отказал себе в удовольствии кольнуть его напоминанием, что после того, как дневник Франка оказался у обвинителей, ему уже ничего не оставалось, кроме как признать все и без того установленное.

— А по сути дела, — сказал Шпеер, обращаясь к своим соседям, — Франк еще более виновен, чем мы.

Но и самому Шпееру досталось, когда он вздумал вдруг бросить в зал «бомбу» — заявил, что после провала «генеральского заговора» лично готовил новое покушение на Гитлера. Шпееру очень хотелось создать впечатление, будто мысль об этом созревала у него постепенно, по мере того как он убеждался в преступной сущности своего высокого покровителя и друга. Такую тактику считал, по-видимому, наиболее верной и его адвокат доктор Флекснер. Во всяком случае, действовали они согласованно.

Вот Флекснер поднимается на трибуну и задает своему подзащитному вопрос:

— Господин Шпеер, свидетель Шталь в своем письменном показании заявил, что в середине февраля тысяча девятьсот сорок пятого года вы потребовали, чтобы он доставил вам новое отравляющее вещество для умерщвления Гитлера, Бормана и Геббельса. Почему у вас возникло такое намерение?

И Шпеер отвечает с видом человека, отдавшего много лет своей жизни борьбе с фашизмом:

— С моей точки зрения, другого выхода не было.

Затем он подробно рассказал о своем плане убийства Гитлера:

— После двадцатого июля[6] даже самым ближайшим сотрудникам нельзя было входить в убежище Гитлера без того, чтобы эсэсовцы не осмотрели их карманы и портфели. Я, как архитектор, точно знал устройство этого убежища. Там имелся вентилятор, подобный установленному здесь, в зале суда. Газ мог довольно легко попасть в убежище через вентиляционное

отверстие, которое выходило в сад имперской канцелярии... В середине февраля тысяча девятьсот сорок пятого года я попросил к себе своего сотрудника, руководителя комитета «Боеприпасы» Шталя, и открыто высказал ему свои намерения...

Осуществлению этих намерений помешали якобы какие-то «технические трудности», и тогда, как заявил Шпеер, у него возник другой план: похитить десять виднейших нацистских руководителей, включая Гитлера, и переправить их на самолете в Англию. Но и тут его подстерегала неудача — «участники заговора струсили».

Эти показания Шпеер а явились столь неожиданными для остальных подсудимых, что они в первый момент буквально открыли рты. Потом их охватило негодование. Особенно бурно реагировал Геринг. Он показывал пальцем на Шпеера, качал головой. Геринг хорошо помнил историю неудавшегося покушения на Гитлера в июле 1944 года и, конечно, не забыл, как Шпеер метал тогда громы и молнии в адрес заговорщиков, как выражал свой восторг по поводу того, что обожаемому фюреру удалось спастись.

Во время перерыва бывший рейхсмаршал злобно спросил бывшего министра вооружений, как тот осмелился прибегнуть к такой форме защиты? Последовала горячая дискуссия, закончившаяся тем, что Шпеер послал Геринга ко всем чертям. «Фюрер скамьи подсудимых» был страшно уязвлен такой резкостью и, как побитая собака, вернулся на свое место. А вечером в тюремной камере он жаловался врачу:

— Да, доктор, это был трудный день. Черт побери этого дурака Шпеера... Не представляю себе, как мог он так низко опуститься, чтобы давать эти гнуснейшие показания для спасения своей подлой шеи! Я чуть не умер со стыда...

Всячески понося Гитлера, Шпеер стремился в то же время не задевать своими показаниями соседей по скамье подсудимых. Но Геринга он задел самым неделикатным образом. Бывший министр вооружений сообщил суду, будто однажды в разговоре с ним Гитлер сказал, что «Геринг ведет себя подло, что он продажный человек и морфинист». Это был единственный случай, когда подобные слова произносились не со свидетельского пульта и не с трибуны обвинителя, а со скамьи подсудимых. К тому же Шпеер не только во всеуслышание воспроизвел, но и соответствующим образом проч комментировал отзыв Гитлера о своем «верном паладине»:

— Я был чрезвычайно потрясен... Мне казалось, что если уж главе государства все это давно известно, то нет ему извинения за то, что оставляет на посту такого человека и тем ставит в

зависимость от него судьбы многих людей.

Герингу, естественно, очень не нравились эти показания. Да и неизвестно было, остановится ли Шпеер на том, что уже сказал, или будет дальше раскрывать ящик Пандоры. Геринг попытался воздействовать на него, подослал к нему Шираха с призывом вести себя «более мужественно». Но Шпеер просил передать Герингу, что ему самому «следовало бы проявлять больше мужества во время войны и сознавать свою ответственность, а не одурманивать себя наркотиками...»

Показания Шпеера взбудоражили всю скамью подсудимых.

Розенберг твердил:

— Если попытка с покушением провалилась, ему следует молчать.

Шахт восторгался:

— Вот это защита!

— Его следует повесить! — сказал Функ.

Но, конечно, вешать Шпеера он хотел бы не за его преступления, а лишь за то, что бывший министр вооружений догадался создать себе такое алиби, тогда как сам Функ прошел через весь процесс, не додумавшись ни до чего хорошего.

Франк, тот самый истеричный Франк, который недавно проклинал Гитлера, теперь тоже изливал свою ненависть на Шпеера:

— Не забывайте, что Шпеер бахвалился, будто сумеет расчистить небо от самолетов противника.

Фон Папен, зоологически ненавидевший Геринга, использовал этот инцидент, чтобы еще раз бросить ком грязи в рейхсмаршала. Во время завтрака он заявил своим соседям по столу:

— Показания Шпеера прикончат этого толстяка.

Шахт и фон Нейрат согласились с Папеном:

— Геринг для немецкого народа конченый человек.

И действительно, Геринг не находил себе места. После завтрака он сказал Гессу и Деницу:

— Нам никогда не следовало бы доверять Шпееру.

Потом подошел к Розенбергу и Иодлю и стал развивать свою мысль о том, что Шпеер лгал, утверждая, будто у него не было возможности убить Гитлера из-за «технических трудностей». Его портфель никогда не обыскивался, и, если бы Шпеер действительно хотел, он мог бы покончить с Гитлером.

Так подсудимые почти единым фронтом напали на Шпеера, выражая либо зависть, либо откровенную ненависть к этому «раскаявшемуся» грешнику.

Перепалка между Шпеером и Герингом продолжалась даже

перед лицом суда. Шпеер старался убедить суд в том, что он хотя и с некоторым опозданием, но все же пытался внести свой вклад в борьбу с гитлеризмом. А Геринг открыто призывал не верить «этому гитлеровскому фавориту, этому отщепенцу». Отщепенцу потому, что Шпеер неожиданно пошел вразрез с той общей, как говорил Геринг, «солидарной линией», какой придерживалась большая часть подсудимых.

— Какая там солидарность? — отмахивался Шпеер и, показывая пальцем на своих вчерашних коллег, добавлял: — Все они должны были притворяться друзьями, даже если готовы убить друг друга. В этом отношении и я оказался таким же...

Я пишу эти строки, а запас фактов подобного рода отнюдь не иссякает. Их слишком много. Двести пятьдесят дней шел процесс, и каждый день давал бесчисленное множество подтверждений идейной опустошенности, злобности и коварства подсудимых. И теперь, когда западногерманские реваншисты бросают комья грязи в Международный трибунал, всячески стараются опорочить его справедливый приговор, тщатся доказать, что нюрнбергские подсудимые «не нарушили ни одного из существующих законов», мне очень хочется напомнить им слова того же Шпеера, произнесенные в том же Нюрнберге. Рассказывая, как «вожди германского народа поспешили бежать из Берлина, когда там стало слишком жарко», Шпеер добавил:

— Но никто из них не подумал защитить народ от этого безумия. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, я прихожу в ярость. Ни один из них не должен войти в историю как человек, заслуживающий малейшего уважения. Пусть вся эта проклятая нацистская система и все ее руководители, включая и меня, получат то бесчестие и позор, которых они заслуживают. Пусть народ забудет о них и начнет строить новую жизнь на разумной демократической основе.

Черчилль вызывает восторг у подсудимых

По мере того как громоздкая машина правосудия хотя и медленно, но верно приближалась к финишу, бывшие нацистские лидеры все больше убеждались, что избранная ими линия защиты дает нулевые результаты. Примирившись с бесплодностью своих попыток оспаривать Устав Международного трибунала, в частности его положение об ответственности за агрессию, некоторые из подсудимых, покопавшись в памяти, вдруг обнаружили, что агрессивная политика отнюдь не являлась их монополией. Вспомнили золотой XIX век (золотой потому, что тогда и в голову никому не приходило привлекать агрессора к уголовной ответственности) и стали примерять разбойничьи его войны к положениям Устава Международного трибунала.

Геринга заинтересовал захват Соединенными Штатами Калифорнии и Техаса. Он пришел к выводу, что «это была настоящая агрессивная война в целях территориальной экспансии».

Розенберг начал разговоры с доктором Джильбертом о тогдашней английской политике в Китае:

— Что вы можете сказать об открытой двери в Китай? Было ли высшим проявлением демократии навязывание китайцам войны лишь для того, чтобы потом отравить опиумом тридцать миллионов человек? Вы когда-нибудь видели опиумные притоны? Это гораздо хуже, чем концентрационные лагеря. Миллионы китайцев были духовно убиты для того, чтобы Англия могла открыть дверь для внешней торговли.

Риббентроп тоже поспешил включиться в дискуссию:

— Разве вы не слышали, как американцы устроили резню индейцам? Они ведь тоже были низшей расой. Вы знаете, кто первый создал концлагеря? Англичане. И вы знаете зачем? Затем, чтобы заставить буров сложить оружие.

Особенно старательно подбирались исторические аналогии с современной расовой политикой. Розенберг, охваченный мрачными предчувствиями, вдруг потерял авторское самолюбие и прямо заявил, что не может считать себя «творцом расовой теории». Через своего адвоката он стал буквально забрасывать судейский стол выписками из книг американских, английских и французских «теоретиков» расизма. Особенно полюбилась ему книга американского расиста Мэдисона Гранта «Конец великой расы». В ней оказалось много законов, принятых американским конгрессом, который в целях борьбы «природных американцев» за расовую чистоту ограничивал иммиграцию, сокращал

возможности приезда в США из Южной и Восточной Европы и, наоборот, расширял эти возможности для уроженцев европейского Севера и Запада.

Адвокат Розенберга усердно цитировал из книги Гранта как раз те абзацы, которые имели наибольшее сходство с творениями подзащитного, и таким образом старался доказать, что последний начинал свои исследования «не на голом месте».

Эту тактику очень скоро перенял и Ширах. В своих показаниях он тоже стал ссылаться на то, что наибольшее влияние на формирование в нем антисемитских чувств оказали книги американских расистов.

Но к чему все это? Никто ведь никогда не утверждал, что именно нацистская Германия впервые в истории начала вести агрессивные войны. Никто не спорил с Розенбергом о том, что и до него были мракобесы, разрабатывавшие расовую «теорию». Фашизм является лишь крайним, самым воинственным и человеконенавистническим выражением империализма. Он унаследовал весь предшествовавший ему опыт империалистической агрессивной политики и, конечно, привнес в него много нового, превратил войну в систему организованного бандитизма.

Беда заключалась в том, что во все предшествовавшие времена не было возможности противопоставить агрессорам организованную силу народных масс. Политическое сознание народов, степень их организации были недостаточными для того, чтобы схватить агрессора за руку и покарать его. В этом смысле подсудимые могли приводить многие сотни исторических примеров. Но ни один из них не являлся основанием для амнистии германским нацистам. В том-то и состояло великое значение Нюрнбергского процесса, что он наконец выбил из рук политиков агрессивных государств привычное оружие — ненаказуемость агрессии.

Для всех, в том числе и для подсудимых, было очевидным, что и Розенберга, и Шираха, и Штрейхера судили не только за их человеконенавистническую пропаганду, которая на языке уголовного права любого цивилизованного государства означает подстрекательство к совершению тягчайших преступлений. Гораздо опаснее было то, что варварские идеи нацизма были воплощены в кровавые дела, и как раз за эти дела судили гитлеровскую клику, в том числе Розенберга, Шираха и Штрейхера.

Нюрнбергский процесс проходил не в безвоздушном пространстве. За оградой Дворца юстиции бурлила жизнь, бушевали политические страсти, каждый день приносил в

судебный зал новости. Подсудимые жадно набрасывались на газеты, которые им передавали защитники. Нацистские лидеры особенно интересовались, нет ли сообщений о разногласиях между союзниками. Как голодной курице снится просо, так Герингу и Риббентропу хотелось прочесть о конфликтах между буржуазным Западом и Советским Союзом.

Однако в первые месяцы процесса ни европейская, ни американская пресса не доставляла большого удовольствия подсудимым. Скорее, наоборот. Газеты всего мира сообщали тогда, что в Норвегии казнен квислинговский министр внутренних дел, что бывший комендант лагеря Освенцим Хесс этапирован в Варшаву, где он должен предстать перед судом, что в столице Чехословакии готовится процесс над гитлеровским наместником Карлом Франком. Промелькнуло и такое совсем неприятное для подсудимых сообщение: президент США Трумэн получил предложение из Англии использовать осужденных военных преступников вместо подопытных животных во время атомных испытаний на Тихом океане...

Но по мере того как дни завершения войны все дальше уходили в прошлое, в западной, особенно американской, печати все чаще стали появляться высказывания о первых признаках напряжения в отношениях между Западом и Востоком. И чем чаще это случалось, тем оживленнее становилась скамья подсудимых. Во время перерывов подсудимые собирались группами, активно обсуждая новые мировые события. Тон их выступлений в ходе судебных заседаний становился развязнее, и всем своим видом они давали понять, что каждый из них гораздо лучше, чем западные обвинители, осознает очередные задачи империалистического мира.

И вот настало 12 марта 1946 года. Зайдя в это утро в зал суда еще до начала судебного заседания, я обнаружил весьма любопытную картину. Скамья подсудимых напоминала встревоженный улей. Даже Геринг покинул свое обычное место: с правого края первого ряда перешел в центр. Вокруг него собрались Риббентроп, Розенберг, Дениц, Франк, Заукель, Ширах. В другом конце совещались Шахт, Папен, Фриче, Зейсс-Инкварт, Нейрат. А между этими двумя группами, как всегда в подобных случаях, курсировал доктор Джильберт.

Независимо от «групповой» принадлежности все подсудимые без исключения излучали радость. На лицах некоторых появилась даже затаенная надежда.

Что же случилось?

Оказывается, американские газеты вышли в тот день с крупными заголовками: «Объединяйтесь, чтобы остановить

Россию!» А ниже следовал текст печально знаменитого фултонского выступления Черчилля. Видный политический деятель одной из союзных держав призвал западный мир к антисоветскому объединению, с нескрываемой злобой говорил о народно-демократических государствах. На стол большой политики был брошен обветшалый козырь антикоммунизма.

Ознакомившись с речью Черчилля, Геринг настолько осмелел, что сразу же заявил:

— Летом прошлого года я не надеялся увидеть осень, зиму и новую весну. Если я дотяну до следующей осени, я, наверное, увижу еще не одну осень, не одну зиму и не одно лето.

И, выдержав подобающую случаю паузу, с явным удовлетворением в голосе и сардонической улыбкой на лице добавил:

— Единственные союзники, которые все еще находятся в союзе, — это четыре обвинителя, да и они в союзе только против подсудимых.

Геринг потирал руки, смеялся охотнее и дольше, чем всегда, изливал свое чувство доктору Джильберту:

— Я вам говорил, что это вполне естественно. Так всегда было. Вы видите, я прав: опять старое равновесие сил. Это они (западные державы. — А. П.) получили за их попытку стравить нас с Востоком...

Воспользовавшись удобным моментом, Джильберт спросил Геринга, что думает он о мюнхенском пакте — не дала ли Англия уже тогда свое согласие на расширение границ Германии к востоку за счет России.

— Да, конечно, — ответил Геринг, как будто это была вполне очевидная вещь. — Затем они испугались, что Германия будет слишком сильной державой. А вот теперь их беспокоит Россия... Вы знаете, доктор, если бы я только мог встретиться с сэром Дэвидом Максуэллом Файфом[7] за стаканом виски и иметь с ним сердечный разговор, я уверен, что ему пришлось бы признать, что англичане всем своим сердцем желали, чтобы мы начали войну с Россией.

Далее Геринг высказался в том смысле, что англо-американцам давно следовало бы найти общий язык с гитлеровской Германией.

— Большинство наших лидеров, — заявил он, — были бы счастливы сотрудничать с ними...

Так же оживленно протекала дискуссия и в группе Папена. Прочитав за завтраком газету с отчетом о речи Черчилля, Папен сказал:

— Черт возьми, он очень откровенен!

— Возвращается к своей старой политике, — с удовлетворением констатировал Дениц.

— Вполне естественно, — подхватил Нейрат. — Черчилль приветствовал помощь России, когда он в ней нуждался. Но Англия была и остается Британской империей. Ему не следовало бы уступать так много русским в Тегеране и Касабланке.

— В Ялте, — поправил его Дениц. — Именно там он не должен был уступать так много России, поскольку стало вполне очевидно, что Германия все равно проиграет войну... Об этом я писал Эйзенхауэру, когда был еще на свободе...

Восторг гитлеровцев речью Черчилля был настолько сильным, что они не преминули заявить ходатайство о вызове его в Нюрнберг в качестве свидетеля. И Рудольф Гесс громогласно заявил Герингу:

— Вы еще будете фюрером Германии.

Но фултонское выступление Черчилля было не единственным приятным сюрпризом для нацистских лидеров. Вслед за тем пришло сообщение о помиловании американскими властями гитлеровского генерала Штудента. Потом разразился антисоветской речью американский главнокомандующий в Германии Мак-Нарни, вышла книга американского дипломата Буллита, в которой программа Черчилля получила дальнейшую конкретизацию.

Геринг быстро ориентировался в новой обстановке. В своих показаниях он стал вдруг подробно расписывать, как еще в 1940 году Англия и Франция готовили бомбардировку нефтяных районов Кавказа. Защита поспешила тут же подкрепить эти показания документальными доказательствами, захваченными немцами во Франции. Все делалось для того, чтобы создать трещину в отношениях между советскими и западными представителями в Международном трибунале. Такую трещину, в которую мог бы провалиться весь Нюрнбергский процесс.

Гневный голос миллионов

Итак, еще задолго до окончания Нюрнбергского процесса в международной обстановке начались серьезные осложнения. Но, удивительное дело, все это как-то мало отразилось на поведении представителей четырех держав в Международном трибунале.

Как бы хотелось подсудимым стать очевидцами какой-нибудь передряги между, скажем, Джексоном и Руденко. Увы! Такого удовольствия обвинители им не доставили.

Вглядываясь в прошлое, я должен сказать, что Нюрнбергский процесс в целом был ярким примером плодотворного и лояльного сотрудничества четырех держав. Это сотрудничество охватывало буквально все стороны деятельности советской, американской, английской и французской делегаций.

С первого же дня подсудимые и адвокаты вознамерились рассматривать Нюрнбергский процесс как спор между акционерными кампаниями, из которых одна потерпела крах, но все же считает, что во взаимных расчетах, вызванных прежними отношениями, должен действовать принцип смешанной ответственности. Именно поэтому время от времени они напоминали о той помощи, которую оказывали западные державы Гитлеру в осуществлении его внешней политики.

Конечно, такие заявления ставили обвинителей западных держав в неудобное положение. И вот здесь-то перед советской делегацией возникала дилемма — либо стать на путь критики мюнхенской политики Запада, затеять на этой основе полемику с представителями США, Англии и Франции и уйти далеко от тех целей, которые человечество поставило перед Нюрнбергским процессом (именно этого и добивались подсудимые), либо раз и навсегда сказать главным немецким военным преступникам: действуя здесь по мандату народов всего мира, мы судим вас за ваши преступления, которые не становятся менее тяжкими и опасными от того, что в западных странах нашлись люди или группы людей, на помощь которых вы опирались, развязывая войну.

Наши обвинители избрали второй путь, и на него же встали все остальные нюрнбергские обвинители.

Главным американским обвинителем на процессе был Роберт Джексон, который в то время занимал в США пост члена Верховного суда. К чести его будь сказано, он не отрицал, что правящие круги Америки проводили до войны не очень-то мудрую политику в германском вопросе. В своей вступительной речи Джексон заявил:

— Демократические элементы, пытавшиеся управлять Германией при помощи... механизма, созданного Веймарской республикой, не получили достаточной поддержки от демократических сил остальных стран, включая мою страну.

Далее он опять возвращается к этой мысли. Говоря о политике крупных империалистических держав в тридцатых годах, о проблемах предотвращения войны в связи с агрессивными акциями нацистской Германии, Джексон подчеркивал:

— Мы не можем сослаться ни на этику, ни на мудрость ни одной из стран, в том числе моей собственной, перед лицом этих проблем...

Пройдет несколько лет, и мы станем свидетелями того, что история повторяется. В определенной мере окажется под влиянием этой новой обстановки и сам Джексон. Тогда в Нюрнберге он, как опытный юрист и политический деятель, сделал, в общем, правильный вывод о роли и значении Нюрнбергского процесса. Его речи, его допросы свидетельствовали, что американский обвинитель настроен самым решительным образом, желая разоблачить гитлеровскую угрозу, которая вчера чуть было не преуспела в Европе, а завтра могла стать реальностью и на американском континенте.

Джексон отлично понимал, с какой надеждой смотрят на Нюрнбергский процесс народы всего мира, в том числе американский народ, и, конечно, как всякий буржуазный политический деятель, учитывал, что верный тон выступлений на таком процессе может способствовать усилению его популярности в американском общественном мнении. А это тоже важно, особенно когда пост члена Верховного суда не кажется пределом карьеры (ведь как раз во время Нюрнбергского процесса было объявлено о смерти председателя Верховного суда США Стоуна).

Но Джексон понимал и другое. Как-то еще в Лондоне, при подписании соглашения о Международном трибунале, в разговоре с советским представителем, будущим судьей на Нюрнбергском процессе генералом Никитченко, он сказал:

— Вы знаете, генерал, этого соглашения мне в Америке многие не простят.

Генерал Никитченко отлично понимал, о ком говорит Джексон Совершенно очевидно было, что речь идет об американской реакции, о тех кругах в США, которые с сожалением отнеслись к факту разгрома гитлеровской Германии и которые считали, что отныне в Европе не будет силы, способной держать в руках и в необходимых границах народные массы. Поэтому Никитченко дал Джексону совет:

— А вы, когда вернетесь в Америку, выступите по радио и объясните американскому народу все, что думаете по поводу предстоящего судебного процесса.

Позже, когда Джексон вернулся из Америки и вновь встретился с Никитченко, первыми его словами были:

— Знаете, генерал, я действительно выступил по радио, и все прошло великолепно...

В своих речах на Нюрнбергском процессе Роберт Джексон говорил не только о прошлом, гневно осуждая нацистские преступления, но и заглядывал в будущее, подчеркивая ту мысль, что никакие судебные процессы не обезопасят человечество, если в новых условиях будет проводиться старая политика в германском вопросе. И это не понравилось правящим кругам США. Это вызвало нападки на него в реакционной американской печати, становившейся все более агрессивной по мере того, как активизировалась послевоенная американская политика восстановления германского милитаризма.

На Нюрнбергском процессе Роберт Джексон настоятельно и в сильных выражениях требовал предать суду Круппа за соучастие в гитлеровской агрессии и военных преступлениях. Он прямо заявил:

— Интересы правосудия не будут соблюдены, если не принять во внимание интересы людей четырех поколений, чьи жизни были отняты оружием Круппа или же находились под его угрозой, а также интересы народов будущего, которые не могут чувствовать себя в безопасности, если Крупп и ему подобные не будут осуждены на таком процессе.

Но стоило измениться политической обстановке, стоило американским круппам выразить возмущение такой позицией, и Роберт Джексон сразу почувствовал, что под ним разверзается пропасть. Когда практически встал вопрос о международном судебном процессе над германскими промышленниками, в том числе и Круппом, тот же Джексон радикально изменил свою позицию. Он вдруг сделал заявление, диаметрально противоположное всем своим прошлым высказываниям: будто на Соединенных Штатах «не лежит ни морального, ни юридического обязательства проводить в дальнейшем процессы такого рода».

Так произошла обычная в буржуазном мире политическая метаморфоза, Но объективности ради мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что на Нюрнбергском процессе Джексон сделал немало для разоблачения германского фашизма и милитаризма. Благодаря этому у членов советской делегации остались о нем самые хорошие воспоминания.

Хочется сказать несколько слов и о заместителе Джексона

Томасе Додде. Он значительно уступал Джексону в политической эрудиции. Тем не менее его речи, его допросы буквально разили нацистов и их политику. Всему миру известна фотография, на которой изображен Томас Додд, предъявляющий суду вещественное доказательство — препарированную голову казненного поляка, которая являлась своего рода украшением на письменном столе начальника одного из нацистских лагерей смерти. Опытный нью-йоркский адвокат знал, что и как надо делать на процессе, чтобы завоевать популярность в американском народе. Прошло немного лет, и американские избиратели, памятуя речи Додда в Нюрнберге, избрали его в сенат. Но, став сенатором, Додд, уже не заботясь ни о чем, поплыл в фарватере послевоенной американской агрессивной политики, о сущности которой, даже не подозревая того, он так много и ярко говорил на Нюрнбергском процессе. Став председателем сенатской подкомиссии безопасности и обретя власть, Томас Додд стал вдруг поклоняться тому, что совсем недавно испепелял в своих речах. Тогда, в Нюрнберге, он убедительно доказывал, что антикоммунизм — это лишь прием маскировки агрессивной политики. А теперь, в США, оказался в числе наиболее злых проповедников антикоммунизма. Нападает на Сайруса Итона только за то, что тот решается на какие-то контакты с «русскими коммунистами». Выступает с манифестом, который, по его словам, должен впредь стать символом веры для всех вышедших «на смертельную борьбу против мирового коммунизма».

Таким был и таким стал заместитель главного американского обвинителя.

Но встречались среди американских обвинителей и совсем иные натуры. Наиболее яркая из них — Тельфорд Тэйлор. Его невзлюбили в США за то, что он умел правильно предвидеть будущее и слишком акцентировал внимание миллионов людей на опасности возрождения германского милитаризма. Выступая на процессе с обвинительной речью по делу германского генерального штаба, Тэйлор предъявил массу документальных и иных доказательств виновности этой организации в тягчайших преступлениях против мира и человечества. Очень убедительно прозвучали его слова:

— Центральной пружиной немецкого милитаризма в течение многих лет являлась группа профессиональных военных руководителей, которая стала известна всему миру как немецкий генеральный штаб. Именно поэтому разоблачение и дискредитация этой группы в результате объявления ее преступной являются значительно более важными, чем судьба

отдельных лиц, одетых в военную форму и сидящих на скамье подсудимых.

Глубоко правильная мысль! Тэйлор видел задачу в том, чтобы на многие годы обезвредить эту наиболее агрессивную организацию германского милитаризма. Однако Международный трибунал, вернее, его буржуазное большинство рассудило иначе. Требование о признании германского генерального штаба преступной организацией было отклонено.

Западная реакционная печать сразу откликнулась на это панегириками. А Тэйлору американские милитаристы ясно дали понять, что вооруженные силы США с легкостью обойдутся без такого генерала, как он, «Арми энд нэви джорнэл» обрушил на него, а заодно и на Джексона каскад самых нелестных эпитетов за то, что они посмели выступить с обвинением против «лиц почетной военной профессии», против генералов, которые лишь «выполняли свой долг».

Джексон тогда же решительно отмел все такого рода инсинуации.

— Военнослужащие, — заявил он, — находятся перед нами на скамье подсудимых не потому, что они служили своей стране, а потому, что они правили ею вместе с другими подсудимыми и привели ее к войне. Они находятся здесь не потому, что проиграли войну, а потому, что начали ее. Политики могли считать их солдатами, но солдаты знают, что они были политиками.

Тем не менее американская военщина осталась при своем мнении и угрозы в отношении Тэйлора привела в исполнение. Его уволили из армии, сделали мишенью для самых резких и беспощадных нападок. Ему пришили ярлык «красного».

Несколько лет спустя после окончания Нюрнбергского процесса я читал статьи и книги Тельфорда Тэйлора. Местами он отдал дань «холодной войне», однако в целом его литературная деятельность определялась разоблачением германского милитаризма.

Запомнился мне и Роберт Кемпнер — помощник главного обвинителя от США. В Нюрнберге он провел большую и полезную работу. Но здесь я вспоминаю его еще и потому, что после окончания процесса, проживая главным образом в ФРГ, Кемпнер продолжает разоблачение нацистских преступников. Не случайно нацистский генерал-полковник в отставке Альфред Келлер (тот самый, что командовал гитлеровской авиацией под Ленинградом), отражая настроения боннских реваншистов, выступил недавно с призывом судить Кемпнера и опубликовал в неонацистской газете «Дейче национал-цейтунг унд

зольдатенцейтунг» «Обвинительный акт по делу бывшего помощника американского обвинителя на Нюрнбергском процессе». В этом, с позволения сказать, документе утверждается, что Кемпнер «повинен в соучастии в убийстве, в особенности при вынесении приговора генерал-полковнику Иодлю».

Для боннских реваншистов Роберт Кемпнер — это олицетворение Нюрнберга. Потому он так и ненавистен им.

* * *

Главным обвинителем от Великобритании был сэр Хартли Шоукросс. Ему исполнилось тогда сорок два или сорок три года. В только что пришедшем к власти лейбористском правительстве он занимал пост генерального прокурора и являлся членом палаты общин.

Назначение Шоукросса в Нюрнберг, по существу, совпало с самым началом его деятельности в качестве генерального прокурора Великобритании. Видимо, поэтому он ненадолго отлучался с родины и находился на процессе очень незначительное время. Но во всяком случае, Шоукросс произнес в Нюрнберге вступительную и заключительную речи.

Фактически же английскую делегацию возглавлял заместитель главного обвинителя сэр Дэвид Максуэлл Файф, предшественник Шоукросса на посту генерального прокурора. Дело в том, что состав английской делегации формировался еще консервативным правительством Черчилля и именно Файф был назначен тогда главным обвинителем на Нюрнбергском процессе. Но поскольку еще до начала процесса консервативное правительство уступило место правительству лейбористскому, Файф соответственно уступил свое место Шоукроссу, согласившись остаться его заместителем.

Это был коренастый темноволосый человек с большой лысиной, красивыми глазами и выразительным лицом, типичный представитель английской юридической школы, большой мастер допроса. Он стал на процессе одной из ключевых фигур обвинения. Подсудимым и многим из свидетелей очень часто доставалось от него при малейших попытках уходить от очевидных фактов. В кулуарах Дворца юстиции справедливо говорили, что у Файфа бульдожья хватка.

К чести сэра Дэвида Максуэлла Файфа надо сказать, что накалявшаяся с каждым днем международная политическая атмосфера не повлияла на него. С первого до последнего дня процесса Файф проявлял полное и глубокое понимание

важнейшей задачи — сохранения единства в рядах обвинителей с целью разоблачения, осуждения и наказания нацистских агрессоров.

* * *

Советский Союз послал в Нюрнберг в качестве главного обвинителя Романа Андреевича Руденко. Он, можно сказать, прошел до этого все ступени прокурорской лестницы, обладал огромным опытом, большим политическим кругозором и занимал в то время пост прокурора Украины.

Когда я впервые увидел Романа Андреевича в Нюрнберге, ему не было еще и сорока лет. Половину из них он состоял в Коммунистической партии.

Положение его на процессе было и легче, и сложнее, чем у обвинителей западных держав. В своей вступительной речи Р. А. Руденко подчеркнул:

— Господа судьи, я выступаю здесь как представитель Союза Советских Социалистических Республик, принявшего на себя основную тяжесть ударов фашистских захватчиков и внесшего огромный вклад в дело разгрома гитлеровской Германии и ее сателлитов.

Уже этим одним определялось многое. Никакая другая страна не пострадала от гитлеровской агрессии так, как пострадал Советский Союз и никто другой не приложил столько поистине героических усилий для того, чтобы спасти мир от фашистской чумы.

Роману Андреевичу не приходилось делать оговорок, к которым время от времени вынужден был прибегать американский главный обвинитель. Еще до начала суда Джексон многозначительно заметил:

— Я думаю, что если, организуя процесс, мы начнем входить в обсуждение вопроса о политических и экономических причинах этой войны, то этот процесс может причинить определенный вред как Европе, так и Америке.

Советский обвинитель был свободен от таких опасений. Наше обвинение против нацистской клики опиралось не только на гранитный фундамент строго отобранных и юридически безупречных доказательств, но и на высокий моральный авторитет внешней политики Советского государства, неизменно выступавшего против фашизма, против опасности развязывания гитлеровским государством агрессивной войны. На пути советского прокурора не имелось тех подводных камней, которые

могли быть использованы подсудимыми в попытках морально опорочить государство, от имени которого он выступал.

Все это, несомненно, облегчило позицию и деятельность Р. А. Руденко и его советских коллег. Но в то же время нельзя было не сознавать и особых трудностей, которые возникали перед советскими обвинителями.

В Нюрнберге происходил Суд народов, и в представителях Советского государства человечество видело наибольшую гарантию того, что реакции не удастся свернуть процесс с правильного пути. На имя Р. А. Руденко посыпалось большое количество писем из всех стран мира с призывом самым решительным образом осуществить многолетнюю мечту человечества — покарать гитлеровских агрессоров. Ему писали об этом и немцы, которые уже тогда, в 1946 году, стали замечать первые признаки восстановления германского милитаризма в западной части Германии. Вот, например, письмо Шульте из Фрейфельда-на-Рейне. Восхищаясь речью советского обвинителя, Шульте с тревогой сообщал о том, что нацистские преступники вновь выползают из своих нор и западные оккупационные власти поддерживают их:

«...Даже самые большие пропагандисты не потеряли работы, нет, г-н генерал-лейтенант... Сейчас они уже снова говорят о войне с Россией и видят выгоду в этом для себя».

А вот письмо из Америки. Отправитель — «Общество для предупреждения третьей мировой войны». Этим письмом до сведения Р. А. Руденко доводилось, что, по данным печати, американские власти освободили из-под стражи виднейшего национал-социалистского идеолога Карла Гаусгофера, и тут же выражалась надежда, что именно советский прокурор примет меры, чтобы Гаусгофер был вновь арестован и включен в список главных военных преступников.

Да, большие, исторически ответственные задачи пали на плечи советского обвинителя. И эти задачи, в сущности своей антифашистские, антиимпериалистические, ему надо было решать, находясь в одной упряжке с буржуазными юристами, представлявшими в Нюрнберге крупнейшие империалистические державы.

Совсем недавно я еще и еще раз просмотрел протоколы комитета обвинителей на процессе и с чувством глубокого внутреннего удовлетворения подумал о той политической остроте и вместе с тем гибкости, проявленной советскими обвинителями, чтобы обеспечить не изолированную, а до деталей согласованную деятельность этого комитета. К сожалению, судьи Международного трибунала, постановив в целом справедливый

приговор, все же не сумели избежать некоторых разногласий, отмеченных в особом мнении советского судьи. Обвинители же сохранили единство до конца, в том числе и по тем вопросам, в которых разошлись судьи. И среди других причин, обусловивших это, одна, несомненно, заключалась в большом такте главного советского обвинителя.

Р. А. Руденко как-то удивительно удавалось культивировать в комитете обвинителей дух союзничества. Высококвалифицированный и политически острый юрист, человек, от природы щедро наделенный чувством юмора, очень живой собеседник, умеющий понимать и ценить тонкую шутку, он импонировал всем своим партнерам, и они преисполнились к нему чувством глубокого уважения, искренней симпатии. Это, конечно, очень облегчало совместную работу.

У каждого прокурора в Нюрнберге был свой стиль допроса. Стиль Руденко отличался наступательностью, и, выражаясь спортивным языком, нокаут у него всегда превалировал над нокдауном.

Геринг и его коллеги по скамье с самого начала прибегли к весьма примитивному приему, для того чтобы посеять рознь между обвинителями четырех держав. Держась в рамках судебного приличия в отношениях с западными обвинителями, они сразу же пытались подвергнуть обструкции советского прокурора. Как только Руденко начал свою вступительную речь, Геринг и Гесс демонстративно сняли наушники. Но продолжалось это недолго. Стоило только Руденко назвать имя Геринга, как у рейхсмаршала сдали нервы, он быстренько опять надел наушники и через две-три минуты уже стал что-то записывать. А когда советский обвинитель закончил допрос Риббентропа, Геринг с жалостью посмотрел на бывшего германского министра иностранных дел и лаконично подвел итог:

— С Риббентропом покончено. Он теперь морально сломлен.

С не меньшим основанием Риббентроп мог сказать то же самое и в отношении Германа Геринга, когда тот возвращался на свое место после допроса, проведенного советским обвинителем. В Нюрнберге в то время распространился нелепый слух, будто Руденко, возмущенный в ходе допроса наглостью Геринга, выхватил пистолет и застрелил нациста № 2. 10 апреля 1946 года об этом сообщила даже американская газета «Старз энд страйпс». Такая дичайшая газетная утка многих из нас буквально ошеломила. Но меня тотчас же успокоил один американский журналист:

— Собственно, чего вы так возмущаетесь, майор? Какая разница, как было покончено с Герингом? Как будто ему легче

пришлось от пулеметной очереди убийственных вопросов вашего обвинителя...

На следующий день, однако, падкая на сенсацию газета решила спустить свою выдумку на тормозах. Появилось сообщение о том, что не Руденко, а председатель Международного трибунала лорд Лоуренс выхватил будто бы из-под своей черной мантии пистолет и выстрелил в Геринга. Затем и эта версия была заменена новой: никто, оказывается, пистолета не выхватывал, а просто рейхсмаршала хватил «мозговой удар». Этого тоже не случилось, но теоретически такая выдумка была все-таки ближе к истине.

Все месяцы процесса меня просто поражала исключительная выдержка нашего обвинителя. Она не изменила ему даже во время допроса Розенберга, который через каждые несколько минут жаловался на неточность переводов. Он неплохо знал русский язык, и это давало ему дополнительные «шансы» для подобных придирок. Нетрудно, однако, было заметить, что такие заявления Розенберг делал как раз тогда, когда Р. А. Руденко задавал ему очередной неприятный вопрос. Прервать заседание жалобой на неправильный перевод было гораздо легче, чем ответить по существу. По крайней мере, выигрывалось время на обдумывание ответов.

Память моя хорошо сохранила также один по-своему драматический эпизод, связанный с допросом свидетеля Паулюса. Паулюс был тем человеком, который досконально знал все, что касалось подготовки гитлеровской агрессии против СССР. Как-никак, будучи заместителем начальника германского генерального штаба, он лично участвовал в разработке «плана Барбаросса». Не удивительно поэтому, что защитники гурьбой бросились с протестом к суду, когда советский обвинитель пытался огласить показания, данные Паулюсом в Москве. Защита требовала доставки этого свидетеля в Нюрнберг и почему-то была уверена, что Р. А. Руденко не отважится на такой шаг. В кулуарах адвокаты хихикали: одно, мол, дело давать показания в Москве и совсем другое здесь — в Нюрнберге, где Паулюс окажется лицом к лицу со своими бывшими начальниками и друзьями. Но когда щепетильный к протестам и просьбам защиты председатель трибунала Лоуренс осведомился, «как смотрит генерал Руденко на ходатайство адвоката», то случилось совершенно неожиданное. Советский главный обвинитель и уговаривать себя не дал — сразу согласился. Лишь люди посвященные могли заметить что-то сардоническое в его взгляде. И когда ничего не подозревавший Лоуренс спросил, сколько примерно времени потребуется для доставки свидетеля, Р. А. Руденко спокойно, я бы

даже сказал непривычно медленно и как-то даже безразлично, ответствовал:

— Я думаю, ваша честь, минут пять, не более. Фельдмаршал Паулюс находится в апартаментах советской делегации в Нюрнберге.

Читатель уже догадался, что советский главный обвинитель, заранее предвидя обструкцию защиты, заблаговременно (но без излишней огласки) принял меры к доставке Паулюса в Нюрнберг. Это был удар подобно внезапно разорвавшейся бомбе. Защитники поторопились ретироваться, отказаться от своего ходатайства, но рассерженный Лоуренс потребовал немедленно доставить Паулюса в суд.

Допрос Паулюса, мастерски проведенный Р. А. Руденко, окончательно сразил попытки защиты представить нападение на СССР как оборонительную войну, а заодно и вскрыл перед лицом мировой прессы, присутствовавшей на процессе, негодные приемы нюрнбергских защитников.

Как я уже упоминал, защита и подсудимые все время стремились сыграть на том, что гитлеровская Германия не могла бы достичь многих своих успехов, если бы не помощь определенных кругов на Западе. Именно для этой цели заявлялись многочисленные ходатайства о вызове в суд в качестве свидетелей защиты таких политических деятелей, как Даладье, Поль Бонкур, лорд и леди Астор, Ванситарт, Лондондерри. Признаться, иногда хотелось, чтобы такие свидетели появились во Дворце юстиции: их показания могли бы пролить дополнительный свет на мюнхенскую политику, сыгравшую столь роковую роль в укреплении нацистского движения и развязывании второй мировой войны. Но советский обвинитель неизменно протестовал против этого, решительно пресекая любые попытки «отвлечь внимание трибунала от выяснения личной вины подсудимых и сделать объектом исследования действия государств, создавших трибунал».

Не ускользнул от советского обвинителя и другой тактический прием подсудимых и их защиты — затягивание процесса до греческих календ. Если бы дать волю, скажем, Розенбергу, он стал бы часами цитировать многочисленные труды американских и западноевропейских расистов. Но это не удалось сделать ни самому Розенбергу, ни его адвокату Тома. Едва последний вознамерился втянуть трибунал в такую дискуссию, Руденко сделал энергичное заявление:

— Обвинение предъявило подсудимым конкретно совершенные ими преступления: агрессивные войны, чудовищные злодеяния... Я полагаю, что трибунал совершенно не намерен

слушать лекции по вопросам национал-социализма, расовой теории и прочего.

И трибунал согласился с Р. А. Руденко.

Никогда не забуду, как слушал судебный зал заключительную речь главного советского обвинителя. На следующий день — это было 30 июля 1946 года — американская печать сообщала:

«Подсудимые сидели на своей скамье бледные и напряженные, слушая, как представитель их злейшего врага обличает их такими суровыми словами, которые впервые произносились обвинением».

Нюрнбергская линия нацистской обороны

На Нюрнбергском процессе каждый подсудимый мог быть представлен адвокатом по собственному выбору. Каждого спросили, какого конкретно защитника он хотел бы иметь.

Легко спросить, а попробуйте-ка ответить на этот вопрос. Бывших правителей Германии мало интересовала адвокатская корпорация: они хорошо знали ей цену в условиях режима беззакония и произвола. Впрочем, Геринг мог вспомнить нескольких немецких адвокатов, известных ему по Лейпцигскому процессу. Тех самых, от которых так энергично и настойчива отказывался Димитров по принципу «боже, избавь меня от друзей, а от врагов я сам избавлюсь». Нет, нет, в Нюрнберге такие защитники Герингу были не нужны.

Возникли затруднения и иного порядка. Многие германские адвокаты, когда к ним обратились с предложением принять на себя защиту главных военных преступников, вежливо, но решительно отказались от этой «чести». Других же, которые сами предложили свои услуги трибуналу, пришлось отвести — они оказались лично замешанными в нацистских преступлениях.

И все-таки проблема защиты была успешно разрешена. Каждый подсудимый имел своего адвоката, а тот еще и помощника. Как справедливо заметил один из обвинителей, такую счастливую возможность подсудимые, будучи у власти, редко предоставляли даже своим соотечественникам.

Но в то же время Международный трибунал решительно отверг попытки германских милитаристов «подкрепить» адвокатов «собственными силами». Такая участь постигла, в частности, весьма своеобразное ходатайство генерала пехоты гитлеровской армии Граммера о допущении на судебные заседания представителей немецкого генералитета в качестве наблюдателей и «для выражения своего сочувствия подсудимым из состава ОКВ». Судебный процесс в Нюрнберге имел совсем иную задачу, чем та, которую представлял себе Граммер...

В составе защиты оказались весьма колоритные фигуры. Прошлое многих из них связано с университетскими кафедрами.

Вот массивный, но не утерявший подвижности доктор Экснер. Ему было уже, видимо, около семидесяти. Длительное время он занимал должность профессора уголовного права в Лейпциге, Мюнхене, Тюбингене. Свой многолетний юридический опыт Экснер решил использовать для защиты генерала Иодля, одного из ближайших военных советников Гитлера.

А профессор Герман Яррайс свои знания в области

международного и конституционного права отдал защите гитлеровского правительства. Ему выпала сомнительная честь произнести в суде речь по «общеправовым вопросам», в которой делалась попытка подложить юридическую мину под весь процесс.

Здесь же был и доктор Рудольф Дикс — один из столпов адвокатуры «третьего рейха». Он имел огромную юридическую практику и некоторое время при Гитлере даже возглавлял ассоциацию германских адвокатов. Но когда разразилась вторая мировая война, Дикс сменил адвокатскую мантию на мундир чиновника нацистской оккупационной администрации в Словакии, а затем в Польше. В Нюрнберг он прибыл в качестве защитника подсудимого Шахта.

Адвокат Деница доктор Кранцбюллер более десяти лет занимал должность судьи в германском военно-морском флоте. Этот отлично знал законы и обычаи морской войны и, конечно, оказывал своему клиенту весьма квалифицированную помощь.

Защитник Геринга доктор Отто Штамер принадлежал, скорее, к числу цивилистов, чем криминалистов. Вся его деятельность в прошлом была связана с ведением крупнейших международных патентных процессов. Но и он, несомненно, являлся весьма опытным буржуазным адвокатом.

Я привожу выдержки из «послужных списков» некоторых представителей защиты лишь затем, чтобы читатель мог отчетливее представить себе соотношение юридических сил на Нюрнбергском процессе и обусловленную этим остроту поединков между адвокатами и обвинителями. И все-таки самому мне, глядя на мощную когорту нацистской защиты, невольно думалось, что ни один адвокат в мире не стал бы завидовать своим нюрнбергским коллегам. В адвокатской практике бытует такое понятие — «безнадежное дело», когда ввиду полной доказанности предъявленного обвинения защитнику остается лишь взывать к так называемым смягчающим вину обстоятельствам. Но нюрнбергский корпус защиты, включавший в себя наряду с высококвалифицированными адвокатами еще и людей с профессорскими званиями (они носили университетские фиолетовые мантии), отлично сознавал, что и этот аргумент, увы, не обещает большого успеха. Адвокатам с самого начала было ясно, что совестью человечества их подзащитные давно уже осуждены.

Да и в уголовном плане виновность сатрапов Гитлера не вызывала никаких сомнений. С первых дней процесса защита убедилась, какую огромную работу проделал аппарат союзных обвинителей, представив бесчисленное количество подлинных

документов из захваченных германских архивов.

Тем не менее «последняя линия нацистской обороны», как остроумно окрестили нюрнбергскую защиту советские карикатуристы Кукрыниксы, действовала очень решительно. Идейным ее руководителем стал адвокат Геринга доктор Штамер.

Сразу же после того, как председательствующий открыл первое заседание Международного трибунала и сделал краткое заявление об историческом значении процесса, доктор Штамер поднялся на трибуну, держа в руках несколько листов бумаги. Вся защита, все подсудимые, уже проинформированные о том, что он скажет, с величайшим вниманием и надеждой взирали на старейшину нюрнбергских адвокатов.

Доктор Штамер начал издалека. Он говорил об ужасах мировых конфликтов (конечно избегая упоминать о том, кто же развязал эти конфликты), о пострадавших нациях. И решительным тоном заключил, что пора-де, давно пора установить наказуемость агрессии.

— Человечество добьется, — воскликнул он с пафосом, — что в будущем эта идея не будет только требованием, а станет международным законом! — Но тут же с наигранной скорбью в голосе, как бы сетуя на довоенных политиков и юристов, обращаясь к судьям, продолжал: — К сожалению, многочисленные благие пожелания установить наказуемость агрессии остались пока еще гласом вопиющего в пустыне.

Адвокат обрушился на печальной памяти Лигу Наций, которая во всех случаях, когда к ней обращались по поводу агрессии того или иного государства, обнаруживала полную неспособность воздействовать на агрессора. Штамер считал это не случайным. Все дело, оказывается, в том, что нет до сих пор такого международного документа, который провозгласил бы агрессию международным преступлением. Но если бы даже и существовал закон, осуждающий агрессию, то и в этом случае, по мнению Штамера, можно было бы говорить об ответственности государства, а не отдельных физических лиц, являющихся лишь агентами этого государства, действующими от его имени.

Наконец, адвокат почтительно напомнил, что трибунал состоит из судей стран-победительниц, и этим якобы исключается их беспристрастность. Меморандум зашиты заканчивался следующими словами:

— Трибунал должен собрать мнения признанных во всем мире авторитетов в вопросах международного права относительно законности этого процесса.

Среди многочисленных зарубежных корреспондентов были и такие, которые в душе сожалели о происходящем в зашторенном

зале суда. «Опасный, очень опасный прецедент», — говорили они о процессе. Война не является монополией только Гитлера. И кто знает, кого захотят посадить на эту жесткую нюрнбергскую скамью после следующей войны.

Вот на такого рода представителей буржуазной прессы меморандум защиты произвел большое впечатление. Как-никак в этих трудных условиях адвокаты все же нашли аргумент, под корень подсекающий всю правовую основу процесса.

Расчет был на то, что никто не станет рыться в памяти, никому и в голову не придет вспомнить другие исторические судебные процессы. Ну, скажем, процесс Людовика XVI. Ведь именно там защитники утверждали, что особа короля неприкосновенна и что нет такого закона, который позволял бы привлечь его к суду:

— Закон нем по отношению к преступнику, несмотря на всю чудовищность его преступлений. Людовик шестнадцатый может пасть только под мечом закона. Закон безмолвствует, а следовательно, мы не имеем права его судить...

Однако революционная Франция не посчиталась с этими жалкими юридическими потугами защитников преступного монарха. Один из членов Конвента, выражая волю всей французской нации, нашел правильные и яркие слова для ответа защитникам короля:

— Когда-нибудь люди, столь же далекие от наших предрассудков, как мы от предрассудков вандалов, изумятся варварству того века, когда суд над тираном был каким-то священнодействием... Они удивятся тому, что в восемнадцатом веке проявлялось больше отсталости, чем во времена Цезаря. Тогда тиран был умерщвлен в полном присутствии сената, без всяких других формальностей, кроме двадцати двух ударов кинжала, без всякого другого закона, кроме свободы Рима.

И вот через сто пятьдесят лет после того, как прозвучали эти слова, вдребезги разбитая аргументация защитников преступного короля вновь была пущена в оборот. Адвокатура выдвинула тезис: даже если, мол, признать, что суд над главными преступниками второй мировой войны может состояться, то элементарная справедливость требует, чтобы судьями были люди нейтральные, а не представители стран одной из воевавших коалиций. А много ли осталось подлинно нейтральных государств при том огромном размахе агрессивных действий, которые проводились под руководством гитлеровской клики, оказавшейся на скамье подсудимых?

Уже после возвращения из Нюрнберга я перечитывал отчет о судебном процессе Людовика XVI и натолкнулся на весьма

любопытную аналогию. Там, оказывается, тоже велись разговоры о том, что монарха может судить лишь незаинтересованный суд. На это последовала полная сарказма отповедь члена национального Конвента Амара:

— Вас спрашивают, кто будут судьи? Вам говорят, что все вы — заинтересованная сторона. Но разве французский народ не заинтересованная сторона, если на него падали удары тирана? К кому же обратиться за правосудием?

— К собранию королей! — бросил ироническую реплику другой член Конвента — Лежандр.

Так же решительно были отвергнуты явно несостоятельные домогательства защиты и на Нюрнбергском процессе. Представитель обвинения уже на второй день судебного разбирательства подчеркнул, что Международный военный трибунал действует не только от имени четырех держав, представленных в нем, но и от имени пятнадцати других стран, присоединившихся к соглашению и Уставу трибунала в целях «использования международного права для того, чтобы противодействовать величайшей угрозе нашего времени — агрессивной войне». Главный американский обвинитель Джексон добавил к этому:

— Здравый смысл человечества требует, чтобы закон не ограничивался наказанием мелких людей за совершенные ими незначительные преступления. Закон также должен настичь людей, которые приобретают огромную власть и используют ее преднамеренно и совместно для того, чтобы привести в действие зло, которое не щадит ни один домашний очаг в мире.

Очень аргументированной была речь Романа Андреевича Руденко. Он не оставил камня на камне от утверждения защиты, будто нет на свете такого международного закона, который рассматривает агрессивную войну как преступление. Главный советский обвинитель сослался на резолюции Лиги Наций, на подписанный еще в 1928 году многосторонний пакт Бриана-Келлога, в котором прямо сказано: «Высокие договаривающиеся стороны торжественно заявляют от имени своих народов, что они осуждают обращение к войне для урегулирования международных споров и отказываются от таковой в своих взаимных отношениях в качестве орудия национальной политики».

Так была обезврежена первая и главная диверсия нюрнбергской защиты. Нокаут процессу не состоялся.

Но адвокаты заготовили запасные ходы. Как юрист, я должен признать, что они защищали своих клиентов с «душой», использовали любые возможности. И делалось это с точки зрения

стандартов буржуазной адвокатской морали весьма квалифицированно.

В здании Дворца юстиции имелся газетный киоск, где можно было приобрести любые иностранные газеты. Я не раз наблюдал, что наиболее активными покупателями были здесь немецкие защитники. Они зорко всматривались в политический горизонт, радовались появлению любой тучки в отношениях между Востоком и Западом и без труда уверовали в то, что время будет работать на пользу подсудимых. Именно потому одной из главных линий своей стратегии защита избрала максимальную затяжку процесса. Достижение этой цели осуществлялось различными методами.

Началось с многочисленных ходатайств о назначении перерывов в заседаниях трибунала. Все тот же доктор Штамер от имени всей защиты попросил объявить рождественские каникулы сроком на три недели. Просьба была удовлетворена, хотя срок каникул сократили до десяти дней. Но ровно через четыре дня после возобновления работы трибунала, 5 января 1946 года, вдруг поднимается доктор Меркель (защитник гестапо) и вновь ходатайствует об... отсрочке процесса.

Эта попытка успеха не имела. Тогда адвокаты прибегли к новому приему: начали настаивать на вызове в суд десятков и сотен свидетелей, либо вообще не имевших отношения к делу, либо имевших к нему весьма и весьма сомнительное касательство.

Затем последовал уже известный читателям «маневр Розенберга», имевший целью втянуть всех активных участников процесса в длительную дискуссию по «теории» расизма. Защита потащила в судебный зал десятки фолиантов американских, английских, французских расистов, а заодно и труды своих подзащитных.

Кое-кто из обвинителей усмотрел в этом злонамеренную пропаганду фашистской идеологии на антифашистском процессе. Но лично я не очень-то уверен, что защитники (за исключением, может быть, некоторых) сознательно выступали в роли проповедников нацизма. В данном случае прав был, пожалуй, адвокат Дикс, заявивший на суде:

— Ни одному защитнику, независимо от его мировоззрения и политических взглядов в прошлом, не может прийти на ум использовать зал суда для проведения идеологической пропаганды за погребенную, я подчеркиваю — уже погребенную, «третью империю». С нашей стороны это было бы не только несправедливостью, но и несказанной глупостью.

Да, большинство адвокатов, конечно, понимало, что 1945 год

это не 1939 и что зал заседаний Международного трибунала это не гитлеровский рейхстаг. Недурно разбирались они и в подлинной ценности «теоретических» изысканий своих подзащитных. В этой связи мне невольно приходит на память весьма курьезный эпизод.

Доктор Тома стоит на трибуне и, обращаясь к суду, предъявляет один за другим документы в защиту Альфреда Розенберга. Перед адвокатом микрофон. Рядом с микрофоном специальное устройство, которое позволяет оратору на время отключаться от зала. К этому устройству адвокаты прибегают всякий раз, когда хотят сказать что-либо своему ассистенту, сидящему за столом рядом с трибуной. Ассистент доктора Тома внимательно слушал патрона и услужливо подавал ему соответствующие документы. Но вот он то ли ослышался, то ли сам Тома оговорился, и в руках адвоката оказалась книга Розенберга «Миф XX столетия». Тома механически хотел передать ее судьям, однако в самый последний момент обнаружил оплошность. Побагровев до ушей, адвокат сверкнул гневным взглядом в сторону своего ассистента, и вдруг по всему залу, во всех наушниках явственно прозвучало:

— Болван, зачем вы мне суете это дерьмо?

Тома забыл, оказывается, выключить микрофонное устройство.

Все присутствовавшие на этом заседании разразились хохотом, настолько дружным и мощным, что даже лорд Лоуренс, неизменно подчеркивавший, что «смех в зале причиняет моральный ущерб достоинству трибунала», ничего не мог сделать. Старый опытный судья сумел сдержать лишь самого себя, да и то ненадолго. Во время перерыва он тоже хохотал так, что стены дрожали. Хохотали и подсудимые. Один лишь Розенберг был мрачнее тучи, метал громы и молнии в адрес своего незадачливого адвоката.

* * *

В громадном большинстве случаев защита, по существу лишенная возможности прибегнуть к сколько-нибудь оправданным методам оспаривания показаний свидетелей обвинения, избрала другой, с ее точки зрения, более верный путь — она старалась опорочить самую личность свидетеля и таким образом бросить тень на его показания.

Вот идет допрос свидетеля фон Паулюса. Опровергнуть его разоблачительные показания нет никакой возможности. Тогда

адвокат задает вопрос:

— Продолжает ли свидетель читать лекции в Московской академии Фрунзе?

Смысл вопроса ясен: как можно верить «вероотступнику», который дошел до того, что читает лекции своим врагам. Но на эту провокацию защиты очень остроумно отреагировал английский обвинитель Файф.

— Странное дело! — заметил он. — Видимо, адвокат так и не разобрался, кто же кого победил в этой войне. Насколько можно судить, русская армия разгромила германскую армию. Так не будет ли более резонным немецким генералам слушать лекции русских генералов, а не наоборот?

А вот другой типичный пример.

Идет допрос заместителя начальника германской военной разведки генерала Лахузена. Он монотонно рассказывает о страшных преступлениях нацистского режима. Адвокат Заутер ставит ему вопрос:

— Вы рассказывали здесь об убийствах, которые поручалось совершить вам, или вашему отделу, или другим офицерам. Но сообщали ли вы об этом полицейским органам? Ведь попустительство в этом отношении карается по германскому закону тюремным заключением, а в особых случаях — смертью.

Расчет и здесь очевиден — свидетель смешается, начнет изменять свои показания. Но свидетель, который, очевидно, лучше адвоката разобрался в ситуации 1945 года, неожиданно парирует:

— Я должен был бы слишком много делать таких сообщений. Ведь совершено более ста тысяч убийств, о которых я знал.

Тем же способом защита пыталась нокаутировать и бывшего унтер-офицера из лагеря Маутхаузен Хельригеля. Адвокат Штейнбауэр спрашивает его:

— Господин свидетель, вы только что говорили о том, как сбрасывали людей с обрыва в каменоломне, то есть описали нам происшествие, которое, с точки зрения каждого цивилизованного человека, может быть определено только лишь как убийство.

Хельригель утвердительно кивает головой. Адвокат насупливает брови, и в голосе его звучит металл:

— А вы доложили об этих случаях своему начальству?

Но Хельригель, оказывается, тоже не настолько прост, чтобы растеряться от такого вопроса.

— Видите ли, — отвечает он, — эти случаи имели место очень часто, и поэтому можно со стопроцентной уверенностью сказать, что все начальство о них знало.

Такое поведение защиты имело лишь один результат:

вызывало глубочайшее возмущение общественного мнения, в том числе и в самой Германии.

Терпимость судей, их стремление избежать упреков потомства в каких бы то ни было ограничениях защиты переходили, на мой взгляд, всякие границы. Впрочем, может быть, именно в этом заключалась судейская мудрость — исключить навсегда всякие возможности подвергнуть сомнению объективность ведения судебного разбирательства на таком историческом процессе, как Нюрнбергский.

Вспоминается любопытнейший в этом смысле случай, имевший место на одном закрытом заседании трибунала. Судя по записям, которые у меня сохранились, это было вечером 17 декабря 1945 года. Судьи вызвали для объяснений доктора Маркса, защищавшего подсудимого Штрейхера. Объяснения эти носили совершенно необычный характер. Не адвокат выражал свое недовольство тем, что судьи отказали ему в удовлетворении какого-то ходатайства, а, наоборот, судьи урезонивали адвоката в том, чтобы он поддержал просьбу своего подзащитного о вызове некоторых свидетелей, в частности его жены фрау Штрейхер.

Доктор Маркс ожидал, кажется, чего угодно, но только не этого. Ознакомившись с жалобой, поступившей от подзащитного в генеральный секретариат трибунала, этот бывалый адвокат не сразу уразумел, чего же, собственно, добиваются от него на данном заседании.

— Господа судьи, — не совсем уверенно начал он, — если я правильно понял, то речь здесь идет о том, нужны ли свидетели по делу Штрейхера? А если да, то почему я не желаю подписать ходатайства Штрейхера? Дело в том, что господин Штрейхер просил вызвать свидетелей, которые уже были опрошены мной лично, и я имею некоторое сомнение насчет целесообразности их вызова в суд, по крайней мере с точки зрения защиты.

— А вы сообщили об этом Штрейхеру? — интересуется лорд Лоуренс.

Адвокат отвечает утвердительно, но добавляет, что Штрейхер по-прежнему настаивает на вызове этих свидетелей. Дальше диалог между судьей и представителем защиты принимает такое направление.

Лорд Лоуренс. Некоторые члены Международного трибунала полагают, что, по крайней мере, один или двое из списка свидетелей могли бы быть вызваны и их показания, судя по заявлению Штрейхера, могут относиться к делу. Вот почему Международный трибунал хочет выслушать ваши доводы.

Адвокат. Я вижу, что здесь может возникнуть недоразумение, могут меня неправильно понять как адвоката. Во всяком случае, я

с большим вниманием слушаю эту рекомендацию трибунала и хотел бы еще раз проверить, насколько будут полезны показания этих свидетелей для моего подзащитного.

Лорд Лоуренс. Вы, видимо, понимаете, господин адвокат, что Международный трибунал не желал бы брать на себя функции защиты. Поэтому мы предоставляем вам возможность самостоятельно пересмотреть данный вопрос.

Этот разговор, воспроизведенный здесь по моей записной книжке, достаточно ясно показывает, насколько щепетилен был трибунал, когда так или иначе вопрос касался законного права подсудимых на защиту. Адвокаты быстро оценили это и явно пытались злоупотреблять терпимостью судей.

В ряде случаев защита, не очень полагаясь на поведение своих свидетелей перед лицом трибунала, стала снабжать их заблаговременно подготовленными текстами. Именно так случилось при вызове на допрос в качестве свидетеля бывшего статс-секретаря германского министерства иностранных дел Штеенграхта. Сидя за свидетельским пультом и отвечая на вопросы адвоката, он совершенно беспардонно пользовался шпаргалкой. Тогда даже лорд Лоуренс утратил свое обычное хладнокровие и в несколько раздраженном тоне обратился к защитнику Риббентропа:

— Доктор Хорн, согласно решению трибунала свидетели могут освежать свою память, пользуясь заметками, но трибуналу кажется, что этот свидетель читает почти каждое слово... Он фактически произносит речь, которую написали заранее. Если это будет продолжаться, то трибуналу придется подумать, не следует ли изменить установившийся на данном процессе порядок и придерживаться обычного правила, запрещающего свидетелям пользоваться какими-либо заметками, за исключением тех, которые делаются в данный момент...

А в другой раз мне пришлось быть очевидцем довольно резкой перепалки между председателем трибунала и американским обвинителем Доддом, с одной стороны, и адвокатом Диксом — с другой. Этот адвокат, обращаясь к свидетелям с вопросами по содержанию того или иного документа, стал все чаще и чаще тут же оглашать либо весь документ, либо какую-то наиболее существенную часть его. Таким образом, свидетелю уже не приходилось догадываться, какого ответа ждет от него адвокат. В конце концов председатель суда вынужден был прервать Дикса и напомнить ему, что защите не полагается в ходе допроса подсказывать свидетелям желательные ответы, ссылаясь на определенный абзац того или иного документа.

Однако и после этого подсказки продолжались. Адвокаты все время прибегали к откровенно наводящим вопросам. Например, защитник фон Папена Кубушек пытался однажды вести допрос свидетеля Штеенграхта в такой манере:

— Помните ли вы, господин свидетель, что фон Папен занял пост посла в Турции в апреле тысяча девятьсот тридцать девятого года после предварительного двухкратного отказа, в тот день, когда Албания была взята Италией и тем самым на юго-востоке появилась реальная угроза войны?

Нужно ли объяснять, что свидетель в данном случае получил от адвоката совершенно точные указания, на какие моменты следует сделать упор: во-первых, подчеркнуть, что Папен дважды отказывался быть послом Гитлера в Турции и этим якобы показал свое нежелание сотрудничать с нацистским правительством; во-вторых, непременно отметить, что Папен принял предложенный ему пост только потому, что в этот период на юго-востоке сложилась реальная угроза войны, которую подсудимый надеялся предотвратить своей деятельностью в Турции.

А вот адвокат генерального штаба Латерзнер настойчиво проводил линию, будто военные не являются политиками, в политику не вмешиваются и не имеют на это права; их дело выполнять приказ, не задумываясь над его политическим содержанием. В рамках этой схемы он стремился удержать и свидетельские показания. Скажем, при допросе в суде начальника имперской канцелярии Ламмерса этот адвокат домогался:

— Известно ли рам, свидетель, что Гитлер не разрешал своим военным руководителям оказывать какое-либо влияние на его решения в политических вопросах?.. Известны ли вам высказывания Гитлера, в которых он настаивал, что генералы не могут судить о политических делах?

Ламмерс тотчас же понял, чего от него хотят, и произнес по этому поводу целую речь.

Понимали ли адвокаты, в какое положение они ставят себя перед лицом возмущенного общественного мнения?

Видимо, понимали.

Уже к концу процесса генеральный секретарь трибунала передал мне одно весьма примечательное с этой точки зрения ходатайство. Защита просила выдать каждому адвокату охранную грамоту, то есть твердо гарантировать защиту его личных прав со стороны закона.

Но это беспокойство адвокатов за свою судьбу оказалось совершенно напрасным. В атмосфере реваншистского угара, охватившего вскоре Западную Германию, нюрнбергские адвокаты не только не испытали нужды в охранных грамотах, но, более

того, вскоре почувствовали, что именно благодаря той миссии, которую они выполняли на Нюрнбергском процессе, их дивиденды (и финансовые, и политические!) неизмеримо возросли.

Я уже обращал внимание читателей на то, что подсудимые говорили на суде правду в двух случаях: либо когда их припирали к стенке исчерпывающими и убийственными по своей силе доказательствами, либо, что бывало чаще, когда они давали характеристики друг другу. В какой-то мере это было типично и для защиты.

Вспоминается допрос свидетеля Зеверинга. Еще в юношеские годы я знал эту фамилию. Зеверинг был одним из видных германских соглашателей и немало сделал для того, чтобы не допустить создания единого фронта коммунистов и социал-демократов перед лицом назревавшей фашистской опасности. На Нюрнбергском процессе эта весьма одиозная фигура с большим знанием дела и неожиданной для ее возраста экспансией стала гвоздить Геринга и Гесса. Все, что говорил о них Зеверинг, было точно, веско и глубоко обличительно. Не пощадил он и Шахта.

— Шахт предал дело демократии, — сказал Зеверинг и обрисовал этого подсудимого как одного из активных пособников Гитлера, человека, сделавшего все возможное, чтобы открыть дорогу фашизму в Германии.

Тогда адвокат Шахта доктор Дикс, не решаясь прямо опровергнуть этого опасного свидетеля, сам наносит неотразимый удар по Зеверингу:

— Несмотря на все мое уважение к Зеверингу, я, к своему глубокому сожалению, вынужден именно ему отказать в умении правильно оценивать государственных деятелей... Зеверинг и его политические друзья несут несравнимо большую ответственность, чем Шахт, за переход власти в руки Гитлера. Они несут ответственность перед историей, потому что проявили нерешительность и в конечном счете политическую безыдейность. Эта ответственность возрастает в связи с тем, что свидетель уже тогда понял — переход власти в руки Гитлера означает войну. Если верить ему, что он действительно обладает такой правильной политической интуицией, его пассивность в то время и позже, пассивность его политических друзей еще больше увеличивают их ответственность... Наши немецкие рабочие, право же, не трусливее, чем голландские. Мы очень рады были слышать здесь от одного свидетеля о мужестве голландских рабочих, которые осмеливались бастовать под дулами солдат армии вторжения. Зеверинг и его политические друзья, игравшие большую роль в жизни рабочего класса Германии, не должны

были бы допустить роспуска профсоюзов в тысяча девятьсот тридцать пятом году... Гитлеровский режим не был еще настолько силен, чтобы не бояться истины, заключающейся в словах поэта, адресованных рабочим: «Все колеса остановятся, если этого захочет твоя сильная рука». Тогдашнее национал-социалистское правительство точно понимало это и не без основания опасалось... Но и сильная рука, о которой я только что говорил, нуждается в руководстве, в котором рабочему классу было отказано. Его должны были взять на себя такие люди, как Зеверинг...

С большим интересом слушал весь зал этот словесный поединок между Диксом и Зеверингом. В конечном счете оба они были правы — и Зеверинг, дававший уничтожающие характеристики Герингу, Гессу, Шахту, и доктор Дикс, изобличавший бывшего лидера германской социал-демократии, предавшей интересы немецкого рабочего класса. В тот момент многие, наверное, еще раз подумали, сколь же велико значение Нюрнбергского процесса для создания правдивой истории нашего времени.

Наряду со старыми зубрами германской адвокатуры нюрнбергская защита включала в себя и небольшую группу молодых, которых сегодня я назвал бы «бешеными». Эти уж совсем не брезгали никакими средствами.

Типичным их представителем был доктор Зейдль, человечек маленького роста, щуплый, с длинным, совсем не арийским носом и глубоко сидящими злыми глазами. Геринг величал его «мышонком» и довольно часто использовал для выполнения таких поручений, которые не рисковал давать солидным адвокатам типа Штамера или Дикса.

Зейдль всем своим поведением жаждал скандальной известности и постоянно вертелся возле Геринга, хотя должен был защищать Гесса и Франка. Он ревностно исполнял все инструкции этого старого мастера провокаций и уголовных плутней. Всегда можно было совершенно точно предугадать, что после очередного перешептывания с Герингом Зейдль сделает какое-то новое «сенсационное» заявление.

Вот он идет к трибуне и предъявляет очередную фальшивку с целью скомпрометировать советскую внешнюю политику. Его спрашивают, где добыто это. И Зейдль, нагло глядя в глаза американскому судье Биддлу, отвечает:

— В кругах американской делегации.

Его не очень смущает, что наспех сработанная провокация тут же разоблачается. Он уже готовит новую и очень горд собой. Этот гаденький тип, всю свою жизнь имевший дело лишь с мелкими

жуликами да средней руки аферистами, далеко не сразу освоился со своими новыми подзащитными. Когда он говорил с ними, у него всегда как-то инстинктивно вытягивались руки по швам.

В любой стране судья не потерпел бы такого поведения адвоката. Но Зейдль, видимо, лучше других почувствовал спасительную для себя щепетильность судей. Особенно председателя Международного трибунала.

И пожалуй, я не ошибусь, если скажу здесь, что поведение этого адвоката и терпимость к нему нюрнбергских судей служит лучшей иллюстрацией лживости распространяемых ныне в Западной Германии сказок, будто немецкая защита на Нюрнбергском процессе ограничивалась в правах. Кстати уж, сошлюсь здесь и на некоторые красноречивые цифры: обвинители вызвали в суд 37 свидетелей, а защита — 102, на предъявление доказательств обвинения в ходе Нюрнбергского процесса израсходовано 74 дня, а защита заняла 133 дня.

Всем своим поведением защитники стремились показать, что Нюрнбергский процесс это не тот случай, когда гонорар имеет для них решающее значение. Они не раз высказывались в том смысле, что считают честью для себя выступать на таком историческом процессе и полагали бы постыдным вести длительные переговоры о ставках гонорара.

Но уже в первые дни генеральный секретариат почувствовал всю фальшь такой позиции. Доктор Дикс, например, похвалявшийся, что для него защита Шахта это вопрос принципа, не замедлил уехать из Нюрнберга, как только ему отказали в десятитысячном гонораре, и вернулся во Дворец юстиции, только достигнув компромисса. Другие защитники требовали согласия трибунала на временные их отлучки из зала суда для участия в других судебных процессах в различных городах страны. А защитник СС доктор Бабель, посчитав назначенный ему гонорар недостаточным, сам начал собирать деньги с эсэсовцев и был явно огорчен, когда трибунал пресек эту его коммерческую деятельность.

Мне никогда до этого не приходилось присутствовать на судебных процессах с участием буржуазных адвокатов. Но я много читал речей таких адвокатов, как русских дореволюционных, так и западных. И должен признаться, что они порой производили на меня большое впечатление. Это были действительно шедевры судебного ораторского искусства.

В Нюрнберге же мне не довелось услышать ничего подобного. Даже многоопытные буржуазные адвокаты понимали неодолимость мощного наступления страшных фактов, порожденных нацистским режимом. Перед лицом этих фактов

оказались бессильными и высокий профессионализм, и изощренность приемов, и экскурсы в область психологической защиты, этого последнего убежища адвокатуры, когда спор о фактах бесполезен.

Спору нет, отдельные речи адвокатов могли произвести внешнее впечатление. Я бы, например, выделил речь защитника Шахта доктора Дикса, который очень ловко использовал все нюансы шахтовской карьеры. Были и некоторые другие исключения. Но в целом речи нюрнбергских защитников вряд ли будут когда-нибудь признаны образцами судейского красноречия.

Защитники приложили максимум усилий, чтобы доказать, будто захват Австрии был произведен с согласия самой Австрии, и более того, австрийский народ якобы с восторгом принял аншлюс. Адвокат Штейнбауэр решил дополнить это еще одним аргументом: Гитлер сам был австрийцем, и Австрия являлась для него любимой родиной.

— Восточнее Берхтесгадена, — живописал адвокат, — на высоте тысячи метров, на склоне горы, среди лугов и лесов, у северного подножья Высокого Гелля расположен Оберзальцберг, с его разбросанными домиками и замечательным видом... Здесь, а не на Рейне, не в Тевтобургском лесу и не на берегу Северного моря, Адольф Гитлер устроил себе дом, куда он приезжал, когда хотел отдохнуть от работы в имперской канцелярии. Погруженный в свои мысли, Адольф Гитлер стоит у широкого окна своей виллы, и его взор скользит по полям, долинам и покрытым снегом горам, которые загораются пурпурно-красным светом в лучах заходящего солнца. Страна, охраняющая эти горы, — Австрия!..

Адвокат, как видим, не пожалел красок. Но каков результат? Он сам почувствовал, сколь шатки его доводы, а потому заключил свою речь призывом:

— Не судите с гневом, а лучше поищите эдельвейс, который растет под терновником!

У нюрнбергских адвокатов было свое понятие эдельвейса. Они и в Нюрнберге внушали мысль о том, что судебные процессы над военными преступниками не нужны цивилизованным государствам. Один из адвокатов прямо заявил, имея в виду суды над виновниками первой мировой войны, проведенные в Лейпциге в 1921 году и закончившиеся, в сущности, оправданием всех тяжких военных преступников:

— Эти процессы требовались, скорее, разъяренной публике, нежели государственным деятелям. Если бы общественное мнение в тысяча девятьсот девятнадцатом году пошло своими путями, то процессы могли бы являть собой жестокие

представления, которых стыдились бы будущие поколения. Но благодаря государственным деятелям и юристам вопль о мести был превращен в подлинную демонстрацию величия права и силы закона. Да будет приговор этого трибунала аналогичным образом представлен суду истории!

Вот каких «эдельвейсов» искали нюрнбергские адвокаты. Они готовы были бы аплодировать, если бы Нюрнбергский процесс закончился такой же демонстрацией «величия права», как процессы 1921 года в Лейпциге. Но нюрнбергские судьи отказали им в таком удовольствии. Они не нашли эдельвейсов ни под тремблинским, ни под освенцимским терновниками.

* * *

Всякий, кто внимательно читал в те дни реакционную западную прессу и столь же внимательно слушал на Нюрнбергском процессе все заявления защиты, не мог не заметить поразительного единства взглядов и тесного взаимодействия между адвокатами в мантиях и защитниками агрессии, подвизавшимися на газетных полосах, на страницах журналов.

Адвокаты в мантиях протестуют против привлечения к ответственности за агрессию физических лиц. И в поддержку им тотчас же выступает американский журнал «Атлантик».

Адвокаты в мантиях оспаривают те или иные доказательства обвинения. И на помощь им немедленно спешит американский журнал «Нэйшн». Журнал идет даже гораздо дальше, заявляя, что процесс в целом бездоказателен и что «обвинительное заключение не соответствует ни принципам права вообще, ни принципам международного и уголовного права в частности».

С большим удовлетворением прочитали нюрнбергские защитники и журнал «Форчун», который в самые острые дни дискуссии о праве трибунала судить гитлеровскую клику писал: «В отношении главных преступников Московская декларация воздержалась от упоминания о суде над ними. Она лишь говорила о решении правительств». И чтобы уж не было сомнений, о чем идет речь, журнал напоминал судьбу Наполеона, наказанного лишь ссылкой на пустынный остров, после чего кровавый завоеватель «был уже безвреден». Мораль отсюда напрашивалась сама собой: вместо всей этой «судебной канители» лучше бы облюбовать на земном шаре еще какой-нибудь экзотический островок и переселить туда Геринга, Гесса, Риббентропа...

Так сомкнулись в один ряд две линии защиты гитлеризма: защита официальная в лице адвокатов и защита неофициальная, широко представленная в многочисленных реакционных газетах и журналах Запада.

Это были те самые органы печати, которые очень скоро открыто стали призывать к восстановлению германского милитаризма, с тем чтобы опять повернуть его против СССР.

«Вы скажете, что я лишил вас сна»

Как советский юрист, я привык, что еще до того, как суд приступает к рассмотрению любого дела, на судейском столе уже находятся все необходимые материалы, сброшюрованные в один или несколько томов. Следственные органы, закончив расследование, систематизируют все собранные доказательства, устанавливающие виновность подсудимого, и заблаговременно представляют их суду.

Совершенно иным оказался порядок в Международном военном трибунале. Там была принята англо-американская система: суд приступает к рассмотрению дела... без самого дела. Судейский стол чист, и обе стороны — обвинение и защита — уже в ходе процесса представляют собранные доказательства.

Тем не менее даже с позиции догматически мыслящего юриста Международный трибунал самым строжайшим образом подошел к отбору и оценке доказательств виновности каждого подсудимого. Как это ни парадоксально звучит, но и в отношении этих людей суд применил известный юридический принцип: никто не признается виновным, пока иное не будет доказано судом.

Вряд ли надо убеждать читателя, сколь сложной, я бы сказал грандиозной, была задача сбора и отбора доказательств виновности целого правительства крупнейшей европейской державы, нацистской партии и ее руководителей, которые в течение тринадцати лет готовили захват власти в Германии, затем шесть лет вооружали и готовили страну к агрессии, а потом еще шесть лет вели непрерывные войны, сопровождавшиеся тягчайшими военными преступлениями. Однако Международный трибунал сумел проделать эту работу с величайшей тщательностью.

Нюрнбергский процесс часто называют процессом документов. И это верно. Хотя Международный трибунал отдавал должное и свидетельским показаниям, и показаниям самих подсудимых, и всякого рода вещественным доказательствам, тем не менее по удельному весу и значимости важнейшими и определяющими являлись документальные доказательства. Ведь на последнем этапе войны в руки союзников как на Востоке, так и на Западе попали важнейшие архивы гитлеровской Германии. Во Фленсбурге был захвачен архив германского генерального штаба со всей оперативной документацией, раскрывающей подготовку и развязывание агрессивных войн. В Марбурге взяли архив Риббентропа. В потайном хранилище одного из замков в Баварии

удалось найти архив Розенберга.

Воротилы третьего рейха подробнейшим образом фиксировали на бумаге все свои действия. У Гитлера и его министров не было, по-видимому, ни одного такого заседания, после которого не осталось бы стенограммы либо подробной записи.

Геринг и Кальтенбруннер, Розенберг и Ширах приказывали убивать людей, грабить, сжигать и притом заботились, чтобы все эти их приказы, изречения, похвалы и порицания обязательно заносились не только на бумагу, но и на кинопленку, Ничто не должно пропасть для потомства!

— Откройте огонь, и вы объедините нацию, — повторяя чужие слова, высокопарно говорил Риббентроп японскому послу Осима, призывая к нападению на СССР. И Риббентропу хотелось, чтобы этот его «исторический» призыв не был забыт. Он попал в запись беседы.

Ганс Франк содержал при своей персоне специального стенографа, который должен был буквально ходить по пятам за господином генерал-губернатором и фиксировать каждое его слово, каждое действие. К концу войны записи составили десятки томов в солидных кожаных переплетах. Бог свидетель, тогда Франк меньше всего думал, что это собрание его сочинений будет фигурировать как вещественное доказательство в Международном трибунале. Но в первый же день процесса он с огорчением вспомнил о своем дневнике, услышав слова обвинителя, обращенные к суду:

— Мы не потребуем здесь, чтобы вы осудили этих людей лишь на основании показаний их врагов. В обвинительном заключении нет ни одного раздела, который не мог бы быть доказан книгами и документами.

В СССР, как известно, еще во время войны была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников Существовали аналогичные комиссии и во многих других странах, подвергшихся гитлеровской агрессии Таким образом, перед началом процесса в Нюрнберге скопилось огромное количество разоблачительных материалов. В составе советской делегации изучением их занималась специальная следственная группа во главе с государственным советником юстиции третьего ранга Г. Н. Александровым.

Надо было отобрать самые существенные, самые яркие по своей доказательственной силе документы, произвести допрос ряда подсудимых. И Георгий Николаевич Александров вместе со своим многоопытным заместителем С. Я. Розенблитом трудились

в поте лица. Уже в первые дни пребывания в Нюрнберге их деятельность увенчалась большим успехом — был обнаружен во всех деталях гитлеровский план агрессивной войны против СССР, так называемый «план Барбаросса».

Многими интересными материалами располагали делегации Франции, Англии и в особенности Америки. Требовалось в возможных пределах изучить и эту документацию, отобрав из нее то, что могло пригодиться советским обвинителям, поддерживать постоянные контакты с американскими, английскими и французскими следователями, которые также производили допросы подсудимых и свидетелей Всю полезную координацию с нашими коллегами в этой области обеспечивали Николай Андреевич Орлов и Сергей Каспарович Пирадов. Длительный опыт прокурорской работы, природный такт и хорошее знание иностранных языков позволили им с успехом выполнить свою нелегкую миссию.

В ходе процесса количество документов должно было непрерывно возрастать: ведь каждый из обвинителей четырех держав, предъявляя суду то или иное доказательство, тут же передавал копии соответствующих материалов всем другим делегациям. Кроме того, к нам продолжали поступать новые и новые материалы из Советского Союза и иных стран. Каждый из них мог потребоваться в любой момент. Эффективное судебное разбирательство на таком процессе, как Нюрнбергский, было невозможно без четко налаженной документальной службы, научной систематизации многочисленных доказательств процесса Придавая большое значение этому делу, советский главный обвинитель Р. А. Руденко назначил руководителем документальной части профессора Д. С. Карева, достойной помощницей которого на протяжении всего процесса являлась Татьяна Александровна Илерицкая.

Такая же документальная часть была организована и в аппарате советских судей в Международном трибунале. Здесь систематизацией доказательств занимались майор юстиции А. С. Львов и Г. Д. Бобкова-Басова.

По мере того как приближался заключительный этап суда, все более и более выявлялась необходимость в обобщении доказательств, предъявленных Международному трибуналу. Необходимо было составить многочисленные справки, меморандумы, таблицы. Одним словом, оказать всю возможную помощь советским представителям в трибунале в период обсуждения итогов процесса и подготовки приговора. На первых порах нам явно не хватало человека, который квалифицированно занялся бы этим. И тогда из Москвы был вызван Александр

Ефремович Лунев Еще до войны он закончил адъюнктуру Военно-юридической академии и в 1945 году являлся уже преподавателем той же академии. С помощью майора Львова ему удалось за короткий срок проделать значительную работу по обобщению судебных материалов: на стол советских судей в нужное время легли многочисленные досье по отдельным группам преступлений и по каждому из подсудимых.

* * *

Повторяю, в основном и главном Нюрнбергский процесс был процессом документов. Превалирующее значение на нем имели доказательства письменные. Но наряду с документами здесь в полной мере использовались и все другие средства установления виновности подсудимых, в том числе свидетельские показания. Круг свидетелей был исключительно разнообразен. За свидетельским пультом можно было увидеть и нацистского министра Ламмерса, и личного шофера Гитлера Кемпка, и фельдмаршала Кессельринга, и австрийского министра иностранных дел Гвидо Шмидта, и крупного чиновника гестапо Гизевиуса, и одну из жертв гестаповского террора Шмаглевскую, и крупных деятелей культуры (таких, скажем, как советский академик И. А. Орбели), и служителей культа.

Свидетели, как обычно, делились на две категории: вызванных обвинением и вызванных защитой. В конечном же итоге получилось так, что по характеру показаний они мало отличались друг от друга.

Как мы уже видели, Кейтель и Иодль всячески поддерживали версию о том, что армия третьего рейха была воспитана на «благородных традициях прусского воинства», а все зверства — дело рук эсэсовцев. В связи с этим на процессе разыгрались форменные баталии между свидетелями из армейских генералов и армейских эсэсовцев. Об этом приходится вспоминать еще и потому, что выдвинутая тогда Кейтелем версия стала теперь официальной линией боннской пропаганды, которая стремится обелить многочисленных представителей гитлеровского генералитета, поставленных Бонном во главе бундесвера.

Вот у свидетельского пульта появляется бывший фельдмаршал Манштейн. Председательствующий приводит его к присяге. Один из главарей вермахта клянется богом «говорить правду, только правду и ничего, кроме правды». Но, произнеся эти сакраментальные слова, фельдмаршал тут же пустился в самую низкопробную ложь. Стал отрицать, что в армии, которой

он командовал, существовала специальная оперативная группа для массового уничтожения людей, однако немедленно был уличен показаниями другого свидетеля — видного эсэсовца Олендорфа, возглавлявшего эту группу. Оказывается, Манштейн лично давал ему указания о массовом уничтожении советского гражданского населения, и по его же (Манштейна) распоряжению тысячи пар часов, снимавшихся с жертв, раздавались в качестве подарков армейским офицерам. Остальные ценные вещи (золотые зубные протезы, кольца, браслеты), принадлежавшие уничтоженным, подлежали строгому учету и затем направлялись в Берлин, в имперский банк.

Через много лет после этого допроса мне случилось присутствовать на пресс-конференции в Москве в связи с судебным процессом в Кобленце против группы видных эсэсовцев, совершавших тягчайшие преступления на территории Белоруссии. С гневной речью перед собравшимися выступил мой старый друг по Нюрнбергскому процессу Василий Самсонов. Правительство ФРГ отказало ему в праве представлять на процессе в Кобленце потерпевшую сторону — белорусский народ. Отказали в этом боннские власти и Георгию Николаевичу Александрову, бывшему начальнику следственной части советской делегации в Нюрнберге. Подлинные мотивы этого станут более чем очевидными, если привести здесь лишь один пример из тех доказательств, которые советские юристы собирались передать суду в Кобленце. В период нацистской оккупации с 1942 по 1944 год финансовым отделом ведомства имперского комиссара Лозе в Риге руководил Виалон. 25 сентября 1942 года Виалон подписал директиву генеральным комиссарам Риги, Таллина, Каунаса и Минска о порядке использования различных вещей «из поступившего еврейского имущества», то есть как раз того, которое оставалось после массовых расстрелов. Пуще всего Виалон беспокоился об отобранных у жертв золотых вещах, о выломанных челюстях с золотыми коронками. Поэтому в своей секретной директиве он требовал:

«...Все золотые и серебряные вещи точно подсчитывать, описывать и пересылать в мое распоряжение... Копии описей представлять мне».

Ныне Фридрих Виалон занимает пост статс-секретаря боннского министерства по вопросам экономического сотрудничества. Как же не поставить препоны допуску в Кобленц советских юристов, располагающих такими материалами против Виалона?..

Но вернемся в Нюрнберг.

Перед лицом Международного трибунала выступает в качестве свидетеля бывший комендант лагеря Освенцим Рудольф Гесс. Когда его спрашивают, сколько людей было уничтожено в Освенциме, он с хладнокровием, вызывающим у всех присутствующих нервную дрожь, отвечает:

— Два с половиной миллиона человек.

Он даже делает тут же точные вычисления, сколько пропускала ежедневно каждая печь крематория. Подсудимые между собой называли потом день допроса Гесса «самым черным днем процесса».

— Этого люди не забудут тысячу лет, — со страхом в голосе заметил Франк.

Но особые основания считать этот день «черным» имел Альфред Розенберг, ревностно проводивший гитлеровскую политику на Востоке. Он жаловался:

— Обвинители подстроили мне грязный трюк, допросив Гесса как раз перед тем, как начать мой допрос. Это поставит меня в очень трудное положение...

А вот вызывают свидетеля Лахузена, и два дюжих американских солдата вводят лысого человека, одетого в военную форму без погон. На скамье подсудимых опять замешательство. Канариса, начальника германской разведки, Гитлер повесил за участие в июльском заговоре 1944 года. Но его заместитель Лахузен остался жив, и подсудимым это не сулило ничего хорошего. Лица Геринга и Кейтеля сразу налились кровью. А когда Лахузен спокойно, со ссылками на документы стал рассказывать об участии Геринга, Кейтеля и Иодля в бомбардировке Варшавы, уничтожении польской интеллигенции, провокации в Глейвице, бывший рейхсмаршал совсем потерял самообладание.

— Изменник! — зашипел он. — Это один из тех, о ком мы забыли двадцатого июля. Гитлер был прав: наша разведка оказалась гнездом изменников. Ничего нет удивительного в том, что мы проиграли войну. Наша собственная разведка запродалась врагу.

Позднее Лахузен, когда ему передали эту тираду Геринга, тоже разгневался:

— После того как убиты миллионы людей, они еще говорят о чести!..

Было время, когда ни Геринг к Лахузену и к его шефу Канарису, ни они к Герингу не имели никаких претензий. Но после того как Лахузен вовремя бросил тонущий корабль, а Герингу сделать этого не удалось, они стали смертельными врагами. Геринг пытается представить дело таким образом, будто

поражение Германии объясняется, прежде всего, предательством разведки, хотя он, конечно, хорошо знал, что в основе этого лежали гораздо более важные причины. Но как-то удобнее было свалить все на Канариса, на Лахузена. Герман Геринг вообще предпочитал сваливать на других, как только речь заходила о серьезных обвинениях в его адрес.

Пожалуй, лишь Риббентроп не понял смысла поведения Лахузена и, надеясь на более лояльное отношение к себе, передал ему через своего адвоката несколько вопросов. Но адвокат оказался дальновиднее и решительно воспротивился этому:

— Не надо задавать так много вопросов. Вы ведь видите, что они превращаются в бумеранг...

А в общем, странно было наблюдать возмущение подсудимых поведением таких свидетелей, как Лахузен, которые еще совсем недавно распинались в «верности и вечной преданности» руководителям «третьей империи». Как будто сами главари гитлеровской Германии, оказавшись перед лицом суда, проявили большую «идейность» и «порядочность» в отношениях между собой.

Одной из наиболее колоритных фигур среди свидетелей был, несомненно, генерал войск СС Бах-Зелевский. Этого свидетеля защита пыталась использовать для доказательства того, что все преступления во время войны совершались гестапо и СС, а германский генералитет, германское командование здесь ни при чем, никакой связи между вермахтом и СС не существовало.

Бах-Зелевский рассказал суду о тех преступных методах, которые применялись для уничтожения захватываемых в плен партизан, а заодно (под предлогом борьбы с партизанами) и для жестоких расправ над мирным населением. Он подтвердил, что «для борьбы с партизанами» формировались специальные подразделения из уголовных преступников. А когда его спросили об осведомленности в этих преступлениях командования вермахта, спокойно ответил:

— Методы были общеизвестные, так что военное командование тоже должно было знать об этом.

Во время перерыва Геринг неистовствовал. Скамья подсудимых еле сдерживала его.

— Это грязная, вероломная свинья! Он ведь самый кровавый убийца, продающий свою душу, чтобы спасти свою вонючую шею.

Так отреагировал на признания Бах-Зелевского «подсудимый № 1».

Побагровел от ярости и Иодль, которого показания Бах-Зелевского тоже задели за живое.

— Спросите его, знает ли он, что Гитлер представлял его нам

как образцового борца с партизанами, — выпалил генерал своему адвокату. — Спросите эту грязную свинью.

И «грязную свинью» спросили. Сделал это адвокат Геринга Штамер. Собственно, особого смысла в том не было, ибо Бах-Зелевский понимал всю тщетность попыток укрыться от ответственности и не отрицал собственного участия во всем. Но так или иначе, вопрос был задан.

Штамер. Известно ли вам, что Гитлер и Гиммлер особенно хвалили вас за жестокость мероприятий, которые вы проводили в отношении партизан и за которые вас и наградили?

Бах-Зелевский. Все мои награды, начиная от пряжки к железному кресту, я получил за действия на фронте *от военного командования.*

Уж меньше всего такой ответ нужен был защите. Но что интересно: как вопрос, так и ответ заключали в себе правду.

Когда Бах-Зелевский закончил свои показания и, покидая зал, проходил мимо Геринга, последний крикнул ему так, что услышали все:

— Швайнехунд!

Кровь бросилась в лицо Бах-Зелевскому, но он никак не ответил Герингу. Бранное слово не было повторено переводчиками, большинство присутствовавших в зале и без перевода понимали, что такое «швайнехунд».

После этого инцидента свидетелей никогда больше не водили мимо скамьи подсудимых. Их стали проводить через дверь, которой обычно пользовались переводчики. А Герингу полковник Эндрюс прочел нотацию и в наказание лишил его на неделю табака.

Однако Геринг оказался недалек от истины, применив к Бах-Зелевскому эпитет «швайнехунд». Этот эсэсовец действительно был кровавой собакой Гитлера. Тем не менее, оказавшись в американской зоне оккупации, он с легкостью сумел избежать ответственности за свои преступления во время войны. Лишь по прошествии пятнадцати лет его арестовали и судили там же, в Нюрнберге. Но не за убийство сотен тысяч славян и евреев, а за то, что в «ночь длинных ножей» (при подавлении путча Рема) он расстрелял восточнопрусского помещика фон Хоберга, который сам был эсэсовцем, но в отношении которого имелись подозрения в связях со старыми рейхсверовскими генералами. Бах-Зелевский не мог особенно обижаться на западногерманскую юстицию: его осудили всего на четыре года лишения свободы.

* * *

В один из июльских дней 1946 года, освободившись от текущих дел, я поднялся в зал суда и застал там выступление адвоката Бергольда. Первая долетевшая до меня фраза прозвучала несколько странно:

— Нюрнбержцы не повесят никого, кого они прежде не поймали.

Лишь через две-три минуты я догадался, что адвокат воспользовался средневековой поговоркой в интересах своего подзащитного Бормана.

Мартин Борман в течение многих лет был начальником штаба у Рудольфа Гесса, а после его отлета в Англию в мае 1941 года сам стал заместителем Гитлера по руководству национал-социалистской партией. В последние дни войны Борман исчез, и его судили заочно. Были все основания полагать, что он остался жив. Да и теперь еще время от времени в печати появляются заявления различных лиц, будто бы встречавших Бормана то в одном, то в другом конце земного шара, но преимущественно в Южной Америке.

Советский журналист Лев Безыменский обобщил эти многочисленные заявления и составил более или менее правдоподобную картину исчезновения и последующих скитаний Мартина Бормана. Бежав из охваченного боями Берлина, он через некоторое время оказался в Австрии, затем перекочевал в Данию. Оттуда следы Бормана ведут в Италию, где его приняла в свои объятия католическая церковь. С ее помощью Борман перебрался в Испанию, а в последующем прочно обосновался в обетованной для беглых нацистов земле — одной из стран Южной Америки.

Но иногда западная печать публикует «сенсационные» обобщения и совсем иного характера. Однажды, например, некий Ярослав Дедик утверждал, что лично присутствовал при захоронении трупа Бормана в Берлине. В мае 1945 года Дедика пригласили в Берлин, и тут произошел конфуз. Он ничем не мог доказать, что закапывал труп именно Бормана. А самое главное — в том месте, на которое указал Дедик, вообще не удалось обнаружить никакого трупа. Подобных «свидетелей» в последнее время появилось немало, и это невольно наводит на мысль о том, что до сих пор кто-то очень заинтересован, чтобы Борман считался мертвым.

Попытки засвидетельствовать смерть начальника партийной канцелярии и тем предотвратить дальнейшие его поиски усиленно предпринимались еще в дни Нюрнбергского процесса. По требованию защиты был допрошен тогда Эрих Кемпка — начальник гаража имперской канцелярии и личный шофер Гитлера. Он являлся одним из немногих, кому якобы довелось

близко наблюдать Бормана в момент его таинственного исчезновения.

Этого свидетеля первым допрашивал адвокат Бергольд, и Кемпка дал следующее показание:

— Последний раз я видел рейхслейтера Мартина Бормана в ночь с первого на второе мая тысяча девятьсот сорок пятого года у вокзала на Фридрихштрассе. Борман спросил меня, какова общая обстановка в районе вокзала и можно ли там пробиться. Я сказал, что это почти невозможно, так как там идут очень сильные бои. Затем он спросил меня, можно ли пробиться с помощью танков. Я ответил, что все зависит от того, как будет организована эта попытка... После этого действительно прибыло несколько танков и бронеавтомобилей. Вокруг них образовалось несколько групп... Вдруг головной танк, рядом с которым шел Мартин Борман, получил прямое попадание. Я предполагаю, что из какого-то окна стреляли противотанковыми снарядами. Танк подорвался. По-моему, на той стороне, по которой шел Мартин Борман, возникло пламя. Я сам был взрывом отброшен в сторону и потерял сознание. Когда вновь пришел в себя, не мог ничего видеть, так как меня ослепило пламя...

Адвоката Бергольда это показание устраивало лишь отчасти. Всячески стремясь получить подтверждение, что Борман погиб при взрыве, он задает Эриху Кемпка наводящий вопрос:

— Свидетель, вы видели при этих обстоятельствах, как Мартин Борман упал, когда возникло пламя?

И свидетель начинает «прозревать»:

— Да, я заметил одно движение Мартина Бормана, Он, по-моему, падал, его относило взрывом.

Адвокат усиливает давление:

— Этот взрыв был таким сильным, что, по вашим наблюдениям, Мартин Борман погиб от него?

Кемпка обнаруживает полное понимание поставленной перед ним задачи и отвечает уже более категорично:

— Да, я определенно полагаю, что из-за силы этого взрыва он лишился жизни...

Судьи Международного трибунала редко сами допрашивали свидетелей, предоставляя это почти всецело обвинению и защите. Однако на сей раз в допрос включился сам председатель Международного трибунала.

Председатель. Как далеко вы находились от Бормана?

Кемпка. Примерно в трех метрах.

Председатель. Затем снаряд попал в танк?

Кемпка. Нет, мне кажется, что не снаряд, а панцерфауст, выброшенный из окна, попал в танк.

Председатель. Затем вы видели вспышку и потеряли сознание?

Кемпка. Затем внезапно я увидел пламя и через долю секунды заметил, как рейхслейтер Борман и статс-секретарь Науман были отброшены от танка. Я сам в тот момент также был отброшен в сторону и потерял сознание. Когда пришел в себя, я не мог ничего видеть. Стал пробираться ползком и полз до тех пор, пока не натолкнулся головой на противотанковое заграждение...

По мере того как Кемпку стал допрашивать другой судья — американец Фрэнсис Биддл, — его показания приобретали все более и более неопределенный характер.

Биддл. На каком расстоянии вы находились от танка, когда он взорвался?

Кемпка. Я считаю, что на расстоянии трех-четырех метров.

Виддл. А на каком расстоянии от этого танка находился Борман во время взрыва?

Кемпка. Я предполагаю, что он держался одной рукой за танк.

Биддл. Вы говорите «я предполагаю». Скажите, вы действительно видели его или нет?

И тут Кемпка окончательно путается в собственных показаниях. От него вдруг следует такой ответ:

— Я Бормана не видел непосредственно у танка. Чтобы успеть за танком, я также держался за него.

Здесь уж все почувствовали, что дела у этого свидетеля совсем плохи: в одном случае он заявляет, что сам находился на расстоянии трех-четырех метров от танка, а в другом показывает, что держался за него; в одном случае утверждает, что Борман тоже держался одной рукой за танк, а во втором говорит, что вообще не видел его непосредственно у танка. Если к этому прибавить, что все описанное, как сообщил свидетель, происходило между двумя и тремя часами ночи, в кромешной тьме, то нетрудно себе представить, насколько богата у Эриха Кемпка фантазия. Любопытно, что человек, который держался за танк, не получил ни малейшего ранения при его взрыве. Зато был «совершенно уверен», что Борман при этом погиб.

На всех, кто присутствовал при допросе Эриха Кемпка, он произвел впечатление жалкого враля. Свидетель не столько помог адвокату Бергольду, сколько дезавуировал всю его аргументацию в защиту версии о смерти рейхслейтера. Несмотря на все потуги защиты, Международный трибунал заочно приговорил Мартина Бормана к смертной казни через повешение.

Кстати замечу, что в ходе Нюрнбергского процесса кое-кто утверждал, что и Эйхман мертв. Но прошло пятнадцать лет, и он «воскрес из мертвых», после чего был судим и повешен.

* * *

Идет допрос свидетельницы Мари Клод Вайан-Кутюрье. Имя ее было хорошо известно — в течение многих лет она вела во Франции самоотверженную борьбу с фашизмом. А когда нацистские войска оккупировали Францию, Мари Клод была арестована, посажена в Освенцим и прошла там весь круг Дантова ада»

На вопросы обвинителя свидетельница отвечает, что она депутат Учредительного собрания, награждена орденом Почетного Легиона. Арестована 9 февраля 1942 г. полицией Петэна. В руки гитлеровских властей передана шесть недель спустя. В тюрьме Сантэ по соседству с ней оказалась камера философа Жоржа Политцера и известного физика Жака Соломона. Путем перестукивания Жорж Политцер сообщил, что нацисты под пытками заставили его писать теоретические брошюры в защиту национал-социализма, а когда он категорически отказался выполнить это гнусное требование, пригрозили включением в первую же группу заложников, которая будет расстреляна...

Мари Клод продолжает свой страшный рассказ:

— В Освенцим меня отправили двадцать третьего января тысяча девятьсот сорок третьего года. Я входила в партию из двухсот тридцати француженок. Среди нас оказалась Даниэль Казанова, которая погибла в Освенциме.

Вслед за тем она называет имя еще одной несчастной — Аннет Эпо.

— Никогда в жизни я не забуду ее! — восклицает Мари Клод. — Аннет посадили в грузовик, чтобы отправить в газовую камеру. Она бережно поддерживала при этом старуху Кулин Поршэ и, когда грузовик тронулся, закричала нам: «Если вы возвратитесь во Францию, вспомните о моем маленьком мальчике!» Потом все начали петь «Марсельезу».

С чувством трудно скрываемого волнения свидетельница рассказывает о коварных методах обмана, к которым прибегали нацисты для того, чтобы избежать «нежелательных инцидентов» при массовом уничтожении людей:

— Прибывающие эшелоны встречал оркестр из молодых красивых заключенных, одетых в белые блузки и синие матросские юбки. Оркестрантки играли арии из оперетты «Веселая вдова» и баркароллу из «Сказок Гофмана». Прибывшим говорили, что это трудовой лагерь, и затем тех, кто был отобран для отравления газом, то есть стариков, детей и матерей, направляли в здание из красного кирпича...

Когда Мари Клод давала свои показания, в судебном зале было настолько тихо, что ухо легко улавливало, как скрипят перья стенографисток. Все взоры были устремлены в сторону свидетельницы. А она раскрывала и раскрывала страницы жуткой трагедии:

— Была в лагере девушка по имени Мари. Из девяти членов ее семьи она оставалась в живых одна: мать, все братья и сестры были уже отравлены газом. А Мари заставили раздевать новые партии обреченных перед отправкой в газовую камеру. Когда они входили в это помещение, внешне напоминавшее душевую, туда через отверстие в потолке вбрасывались капсюли с газом. При этом один из эсэсовцев наблюдал через «глазок» за тем, что происходит внутри. Спустя пять-шесть минут он подавал знак, люди в противогазах (тоже заключенные) открывали двери, проникали в помещение и вытаскивали оттуда мертвые тела, обычно крепко сцепившиеся друг с другом в предсмертных мучениях, и стоило большого труда их разъединить. Затем приходила другая команда, которая срывала у мертвых золотые коронки с зубов и снимала искусственные челюсти. Поиски золота продолжались даже после того, как тела превращались в пепел — его тщательно просеивали.

Поведала Мари Клод и еще об одной чудовищной провокации. Когда в Освенцим прибывали евреи из Салоник, им выдавали почтовые открытки и готовый текст, который они должны были переписать собственноручно: «Мы хорошо устроились, у нас есть работа, с нами хорошо обращаются и хорошо кормят. Ждем вашего приезда». Каждый должен был послать такую открытку своим родным. А внизу на ней уже заранее был проставлен адрес отправителя — Вальдзее (хотя в действительности такого пункта не существовало).

— Я не знаю, — заявила Мари Клод, — применялся ли этот метод в других местах, но в Греции (как и в Словакии) целые семьи приходили в бюро по вербовке, изъявляя желание присоединиться к своим родным. Помню профессора-филолога из Салоник, который с ужасом узнал о добровольном приезде в Освенцимский лагерь родного отца...

Уже говорилось, что многие из подсудимых и их защита всячески пытались доказать на процессе, будто Освенцим, Майданек и другие им подобные фабрики смерти — это, мол, епархия Гиммлера, к которой вермахт не имел ни малейшего отношения. Но Мари Клод своими показаниями нанесла сокрушительный удар по такой легенде. Она сообщила, что охрану лагеря Освенцим наряду с эсэсовцами несли армейские солдаты и офицеры.

Эта свидетельница доставила много огорчений и хлопот адвокатуре. Стремясь подорвать значение ее показаний, адвокат Нельте заявил:

— Мне понятна ненависть этих так тяжело пострадавших людей. Страдания, пережитые ими, были настолько велики, что от них нельзя ожидать объективности.

Что можно сказать по поводу такой адвокатской сентенции? В гитлеровских концентрационных лагерях были только две категории людей: преступники и потерпевшие, убийцы и убиваемые, палачи и истязаемые. Как говорится, третьего не дано. Эсэсовские палачи не рассылали пригласительных билетов на свои кровавые оргии. Кого же в таком случае можно было привлечь на суд в качестве свидетеля? Кому по адвокатской логике можно было верить? Чьи свидетельства суд мог принимать во внимание и признавать объективными? Убийц и палачей или их жертв, чудом спасшихся от смерти?

Ринулся в атаку и доктор Маркс. Этот решил сразу показать «некомпетентность» Мари Клод Вайан-Кутюрье в вопросах, по которым она давала показания.

— Как можно объяснить тот факт, что у вас оказались статистические сведения, например, о прибытии из Венгрии семисот тысяч евреев?

Мари Клод тут же удовлетворяет любопытство адвоката: она сумела добыть эти сведения, работая в канцелярии лагеря. Адвокат пытается сбить ее:

— Утверждают, что из Венгрии прибыло только триста пятьдесят тысяч евреев. Это по данным чиновника гестапо Эйхмана.

На это следует полный сарказма ответ:

— Я не желаю спорить с гестапо. У меня есть веские основания считать, что заявления гестапо не всегда бывают точны.

С трудом выбравшись из освенцимской темы, адвокат Маркс переключается на другую, с его точки зрения, менее опасную:

— Еще один вопрос к вам, госпожа свидетельница. До тысяча девятьсот сорок второго года вы могли наблюдать поведение немецких солдат в Париже. Разве немецкие солдаты вели себя там непристойно и разве они не платили за все то, что отбирали?

И опять ответ Мари Клод сражает его:

— Я не знаю, платили ли они за то, что отбирали. А что касается достойного обращения, то слишком много моих друзей и близких было убито или истреблено, чтобы мое мнение по этому вопросу не отличалось от вашего.

Вконец обескураженный адвокат пускает в ход последнее

средство, чтобы скомпрометировать Мари Клод:

— Скажите, свидетельница, если там, в Освенциме, было так уж плохо, то почему вы выжили, почему не умерли?

И дальше в том же духе:

— Почему вы так хорошо выглядите? Почему вы не в больнице?

Эти омерзительные приемы защиты вызвали резонанс далеко за пределами нюрнбергского Дворца юстиции. Газета «Берлинер Цейтунг» опубликовала статью, которая заканчивалась следующими словами:

«Нельзя, конечно, запретить человеку выражать свои симпатии. Вопрос только в том, что можно об этом человеке затем думать... Человек, который не считает нужным молчать, услышав об ужасающих страданиях жертв гитлеризма, а, наоборот, пытается обратить их в пользу садистов-убийц, должен быть навсегда исключен из общества порядочных людей».

А через несколько дней на закрытом заседании трибунала председательствующий вдруг объявил о поступлении от доктора Маркса жалобы. Адвокат выражал возмущение тем, что берлинская газета нанесла ему оскорбление.

Лично мне казалось, что трибунал в этом случае мог принять одно-единственное решение: указать адвокату на бестактность его поведения. Но случилось нечто иное. Совершенно неожиданно американский судья Паркер произнес гневную филиппику в адрес газеты.

Я знал Паркера в течение многих месяцев совместной работы на процессе. Это был довольно уравновешенный человек. А тут судью как будто подменили. Он стучал кулаком по столу и даже обронил такую фразу:

— Если бы это было в моем штате, я бы такого редактора загнал за решетку. Как может он оскорблять адвоката!

Мое служебное положение не позволяло вступать в дискуссию с судьями. А так хотелось тогда напомнить Паркеру, что не кто иной, как он, когда возникал вопрос об ответственности подсудимого Фриче за пропаганду агрессии, столь же категорично заявлял:

— Как можно судить человека за пропаганду?.. Не забывайте, что за этим понятием скрывается свобода печати, свобода слова, святая свобода, предусмотренная американской конституцией.

Трудно было понять, почему в одном случае печатная пропаганда — это охраняемая конституцией свобода, а в другом — выражение в той же печати общественного мнения является действием, за которое редактора следует упрятать в тюрьму.

И такое случалось в Нюрнберге.

* * *

Показания дает другая узница Освенцима — Северина Шмаглевская. У многих в глазах появляются слезы, когда она начинает рассказывать, как отбирали детей у матерей и как эти беззащитные существа сжигались затем во всепожирающих печах лагеря. Непередаваемой скорбью и гневом звучат ее последние слова:

— От имени всех женщин Европы мне хотелось бы сейчас спросить немецких матерей: где наши дети?

Смотрю в сторону защиты и подсудимых. Некоторые из адвокатов уткнулись взором в пол, другие кусают губы. Многие из подсудимых опустили головы. Функ вдруг повернулся спиной к Штрейхеру, как будто хотел сказать: после всего услышанного здесь я не могу даже видеть этого расистского изувера. Франк покраснел. Розенберг заерзал на месте. Геринг, как обычно, снял наушники, что должно было означать: пусть слушает тот, кому это в упрек.

Во время перерыва на завтрак адвокат Кранцбюллер спросил своего подзащитного:

— Никто ничего не знал об этих вещах?

Дениц только пожал плечами. За него ответил Геринг:

— Конечно нет. Вы ведь понимаете, что даже в батальоне командир не знает ничего, что происходит на линии. Чем выше вы стоите, тем меньше знаете, что происходит внизу.

Это была очередная жалкая попытка человека, создавшего в Германии концлагеря, являвшегося организатором гестапо, уйти от ответственности. Как глубоко прав оказался один из представителей обвинения, заявивший еще в первый день процесса:

— Доказательства, представленные здесь, будут столь ошеломляющими, что ни одно из них не может быть опровергнуто. Подсудимые станут отрицать только свою личную ответственность или то, что они знали об этих преступлениях...

Большой вклад в разоблачение гитлеровских военных преступников внесли советские свидетели. Они раскрыли факты чудовищных преступлений гитлеровцев на территории нашей страны.

Вот к свидетельскому пульту подходит очень импозантный пожилой человек с величественной черной с проседью бородой. В ответ на вопросы о его ученом звании он отвечает, что является

действительным членом Академии наук СССР, действительным членом Академии архитектуры СССР, действительным членом и президентом Армянской академии наук, почетным членом Иранской академии наук, членом Общества антикваров в Лондоне, членом-консультантом американского Института археологии и искусства. То был выдающийся советский ученый Иосиф Абгарович Орбели. Только он собрался начать свои показания о варварских разрушениях памятников культуры и искусства в Ленинграде, как к микрофону подошел защитник Серватиус:

— Я прошу господина председателя не заслушивать свидетеля Орбели, потому что Ленинград никогда не был оккупирован немецкими войсками.

Этот странный довод, как бы одним ударом исключавший возможность предъявления нацистам обвинений в преступлениях, совершенных на неоккупированных территориях, был отвергнут судом, и академик Орбели приступил к даче показаний. С болью в душе он поведал трибуналу об обстреле немецкой артиллерией Эрмитажа, страшных разрушениях ценнейших памятников зодчества в Петергофе.

Адвокат генерального штаба Латернзер, обращаясь к академику И. А. Орбели, спрашивает:

— Не известно ли свидетелю, какие военные объекты находятся рядом с Эрмитажем?

Орбели спокойно отвечает, что рядом с Эрмитажем никаких военных объектов не было И, упреждая новые вопросы, тут же уточняет: если адвокат имеет в виду здание штаба, расположенное на Дворцовой площади, то оно почти не пострадало от артналетов, тогда как в Эрмитаж каждый день попадали снаряды.

Адвокат не унимается:

— Знаете ли вы что-нибудь о располагавшихся вблизи этих зданий артиллерийских батареях?

И Орбели отвечает:

— На всей площади около Эрмитажа и Зимнего дворца не было ни одной артиллерийской батареи, потому что с самого начала принимались меры к тому, чтобы не допустить излишних сотрясений вблизи зданий, где находятся такие музейные ценности.

Посрамленный Латернзер уходит на свое место. На выручку ему спешит Серватиус.

С этим адвокатом мне не раз приходилось беседовать, и всегда меня несколько удивляло, что он совершенно свободно, почти без всякого акцента говорит по-русски. Как-то я не

удержался и спросил, где ему удалось так хорошо изучить русский язык. Но он уклонился от ответа, пробормотал что-то невнятное насчет детского воспитания, домашних учителей и поспешно удалился.

Теперь Серватиус подошел к трибуне и, что называется, с ходу атаковал академика Орбели:

— Ведь вам известно, свидетель, что рядом с Эрмитажем имеется мост? Разве это не военный объект?

Адвокат, конечно, имел в виду Дворцовый мост. Поставив свой вопрос, он сделал короткую, заранее рассчитанную паузу и надменно закончил:

— Имеете ли вы, господин свидетель, какие-нибудь артиллерийские познания, чтобы сделать вывод, будто целью немецких обстрелов был дворец, а не мост?

Однако Серватиусу повезло не больше, чем его коллеге Латернзеру. Правда была на стороне свидетеля, и академик Орбели ответил очень резонно:

— Я никогда не был артиллеристом, но предполагаю, что, если немецкая артиллерия обстреливает мост, она не может всадить в него один снаряд, а во дворец, находящийся в стороне, — тридцать снарядов. В этих пределах я — артиллерист.

* * *

Система доказательств, использованных на процессе, таила в себе немало сюрпризов для подсудимых.

Вот берет слово помощник главного советского обвинителя Л. Н. Смирнов и предъявляет показания Зигмунда Мазура, препаратора анатомического института в Данциге. Этот свидетель показывает, как из человеческого жира нацисты производили мыло. Одновременно суду предъявляется утвержденная соответствующими инстанциями рецептура: «после остывания готовое мыло выливать в формы».

Подсудимые стараются не смотреть на обвинителя. Их внимание приковано к какому-то предмету, выставленному на стол. Предмет накрыт бедой материей, и они, конечно, угадывали, что это очередной страшный сюрприз.

Прокурор недолго томил подсудимых. Сдернув белое покрывало, он предъявил суду так называемые «кюветы», или, проще говоря, формы, в которые вливалось жидкое еще мыло. А вот и само мыло. В руках обвинителя с виду обыкновенные куски мыла, но кто знает, сколько было загублено человеческих жизней для того, чтобы немецкие парфюмерные фирмы могли получить

этот «товар»!

Затем в руках обвинителя появляется нечто вроде куска кожи. Да, это кожа, и, если к ней присмотреться, не выделанная еще кожа. Но содрана она не с животного, а с человеческой спины.

Когда Л. Н. Смирнов произнес эти слова, по залу прошел приглушенный стон. Многие передернулись, как будто ощутили прикосновение нацистского палача к своему телу.

У стены на столах тоже стоят какие-то предметы, прикрытые простынями. По указанию обвинителя простыни убирают, и перед глазами всех присутствующих появляются куски уже выделанной человеческой кожи, посаженные на распялки. На каждом из них следы красивой татуировки. Люди, которые имели несчастье в молодые годы легкомысленно разузорить себя, оказавшись в руках нацистов, сразу обрекались на страшные муки и надругательства. Татуированных непременно убивали, а из их кожи делали абажуры и различную галантерею.

Тут же под стеклянным колпаком — высушенная голова человека величиной с кулак. На ней сохранились волосы, а на шее следы веревки.

Мороз пробегал по телу. Чья это кожа? Кому принадлежала эта голова? Может быть, это русский, а может быть, поляк или француз. Точно известно только то, что голова этого несчастного на специальной подставке как сувенир стояла на письменном столе начальника концлагеря Освенцим.

Еще до приезда в Нюрнберг Лев Николаевич имел опыт допроса и обвинения нацистских преступников. Человек большой культуры, высокообразованный юрист и один из наиболее талантливых наших судебных ораторов, он блестяще провел процесс над десятью немецко-фашистскими палачами в Смоленске. Там он выступал в качестве главного обвинителя и по ходу дела хорошо изучил самые разнообразные методы преступлений гитлеровцев против гражданского населения, приемы их маскировки. Именно поэтому в Нюрнберге ему и было поручено предъявление трибуналу доказательств виновности нацистской клики в преступлениях против человечности.

Выбор оказался очень удачным. Речи Л. Н. Смирнова на Нюрнбергском процессе поражали не столько пафосом чувств, сколько силой логики, убедительностью и, я бы сказал, своей научностью, весьма интересными и ценными для юристов и историков обобщениями. Вот он анализирует многочисленные акты зверств.

— Единство злой воли, — говорит советский обвинитель, — проявлялось в единстве приемов исполнителей злодеяний, однотипности техники умерщвления людей... Одно и то же

устройство газовых камер, массовые штамповки круглых банок с отравляющим веществом «циклоном А» или «циклоном Б», построенные по одним и тем же типовым проектам печи крематориев, одинаковые планировки лагерей уничтожения, стандартная конструкция чудовищных машин смерти, которые немцы называли газвагенами, а наши люди душегубками, техническая разработка конструкций передвижных машин для размалывания человеческих костей — все это указывало на единую злую волю, объединяющую отдельных убийц и палачей... Вы увидите, господа судьи, что места захоронения немецких жертв вскрывались советскими судебными медиками на севере и на юге страны, могилы были отделены одна от другой тысячами километров, и очевидно... злодеяния совершались различными физическими лицами. Но одинаковыми были приемы совершения преступлений. Одинаково локализировались ранения. Одинаково подготавливались маскируемые под противотанковые рвы или траншеи гигантские ямы-могилы...

Лев Николаевич не раз возвращается к этому вопросу, раскрывая то главное, что содействовало созданию в Германии огромного слоя палачей. Советский обвинитель говорит о государственно организованном характере преступлений, о роли многолетнего расистского воспитания, о привитии гитлеровцам чувства материальной заинтересованности в войне, о специальных приказах Гитлера, запрещающих привлекать нацистов к ответственности за преступления, одним словом, о всем том, что помогло нацистской партии воспитать многие десятки тысяч исполнителей сатанинского плана массового уничтожения людей.

Недоуменные взгляды Геринга, Розенберга, Шираха, Штрейхера как бы вопрошают: «Позвольте, а мы-то тут при чем?» Эта их «святая наивность» никого, однако, не могла обмануть. Именно они, Геринг и Розенберг, Штрейхер и Ширах, в течение многих лет развращали немецкий народ, внушали ему, что «совесть — химера», от которой истый германец должен освобождаться, что, кроме немцев, нет в мире людей, достойных существования. Страшной иллюстрацией плодов такого развращения народа как раз и явились выставленные в зале суда вещественные доказательства.

Нацисты сами завели точный бухгалтерский учет своим преступлениям. Ни одно убийство не должно было остаться неучтенным. В концлагерях велись гроссбухи, где в алфавитном порядке отмечалось «прибытие» и «убытие» заключенных. Обвинитель предъявляет одну такую книгу. Она настолько массивна, что Л. Н. Смирнов с трудом передает ее на судейский

стол.

Во время перерыва я сам заглянул в нее. У всех погибших каллиграфическим почерком указана одна причина смерти — «сердечное заболевание». В лагере они не задерживались. Смерть вскоре настигала их. И погибали они тоже в алфавитном порядке.

Никто даже из самых ярых противников гитлеровского режима не мог представить себе картину деловой сдачи в германский банк тысяч колец, серег, часов, брошей, снятых с убитых и истерзанных в концлагерях людей, золотых пломб, выдранных из их зубов. За всю многовековую историю человечества никогда еще ни одно государство не обвинялось в подобных преступлениях. Лишь на Нюрнбергском процессе все это раскрылось в страшной своей наготе и было подтверждено свидетельскими показаниями.

Точно так же, как Смоленск был для Л. Н. Смирнова этапом на пути в Нюрнберг, сам Нюрнбергский процесс, где он так мастерски изобличал кровавые злодеяния немецко-фашистских завоевателей, открыл перед ним новые дороги. Из Нюрнберга Лев Николаевич был командирован в Токио на судебный процесс главных японских военных преступников. А еще через несколько лет выступал в качестве главного обвинителя на Хабаровском процессе по делу опять-таки японских военных преступников, обвинявшихся в подготовке и применении бактериологического оружия.

Но вернемся в Нюрнберг. Много сюрпризов для подсудимых заключал в себе и сосредоточенный там огромный фотофонд. Гитлеровцы любили позировать перед объективами фото — и киноаппаратов, совершенно не подозревая, что в конечном счете это обернется против них.

Кальтенбруннер, например, отрицает, что он когда-либо бывал в лагере Маутхаузен и тем более присутствовал при массовой загрузке печей трупами. Но как на грех, сохранились фотографии: шеф гестапо с важным видом наблюдает за работой печей. Таких фотографий сотни. Но подсудимый не торопится узнать на них собственную персону. Для него «не ясно изображение». И тогда обличающие Кальтенбруннера фотодокументы передаются в комнату 158.

Там сидит плотный пожилой немец среднего роста в клетчатом пиджаке. Это Генрих Гофман. До 1938 года он никому не был известен. Зарабатывал «на хлеб» фотографированием обнаженных танцовщиц. Потом переключился на издание порнографических открыток. Натуру для своих съемок Гофман подбирал во второразрядных кабачках, и одна из многочисленных натурщиц ему понравилась, стала помощницей. То была Ева

Браун, которой судьба судила впоследствии завоевать внимание и благосклонность Гитлера. Гофман не очень кручинился, когда Ева сменила его на фюрера, тем более что сделка, заключенная по этому поводу, была весьма выгодной: он обязался уничтожить все негативы, запечатлевшие обнаженную Еву Браун, и взамен приобретал монопольное право фотографировать Гитлера. Генрих Гофман быстро переключился с порнографии на гитлерографию и через самое короткое время сделал в «третьей империи» блистательную карьеру. Он основал большое издательство, оборот которого составил за двенадцать лет 58 миллионов марок. Гитлер присвоил своему лейбфотографу профессорское звание и даже наградил золотым значком нацистской партии.

Так до поры до времени развивалась карьера придворного фотографа. Но ничто не вечно под луной, а тем более под нацистским скипетром. В 1945 году уже состарившийся Гофман рад был и тому, что его «используют по специальности» в качестве эксперта фотодокументов. В зал суда этого эксперта не пускают. Только раза два по утрам до начала судебного заседания я видел его там затаившимся в углу. Блуждающим взглядом он обводил своих бывших клиентов, оказавшихся на скамье подсудимых.

Гофман был не единственным человеком, передавшим трибуналу многочисленные фотографии разоблачительного характера. Случалось и так, что сами заключенные концлагерей, чудом спасшиеся, привозили в Нюрнберг фотоулики.

У свидетельского пульта Франсуа Буа, молодой высокого роста француз, вызволенный из Маутхаузена. Будучи фотографом по профессии, он использовался администрацией этого концлагеря на работе в отделе по установлению личности заключенных. Это позволило Буа положить на стол суда целую пачку фотографий о Маутхаузене, либо сделанных им самим, либо переданных ему эсэсовцами в виде негативов для проявления и отпечатания.

Вот одна из этих страшных фотографии. На ней изображен так называемый «маскарад», Буа поясняет:

— Он устроен «в честь» одного сбежавшего австрийца. Беглец, работая столяром в лагерном гараже, смастерил такой ящик, в котором можно было спрятать человека, и в этой таре с помощью товарищей попытался вырваться из лагеря. Но его поймали, приговорили к казни и провели на виселицу перед строем из десяти тысяч заключенных под музыку оркестра цыган. На снимке вы видите этого несчастного уже качающимся в петле, а оркестр все еще играет польку «Бейер Барель».

На другой фотографии — человек, повешенный на дереве.

Буа комментирует:

— Это еврей, я не знаю, из какой он страны. Его посадили в бочку с водой и держали там до изнеможения. Потом избили до полусмерти и дали десять минут на то, чтобы он сам казнил себя. Несчастный повесился, употребив для этого собственный пояс (он понимал, что его ждет в противном случае). А снимок этот сделан обершарфюрером Паулем Рикке.

Дальше Буа предъявляет фотографию, на которой запечатлен визит в лагерь Маутхаузен нацистского министра вооружений Шпеера. Министр в прекрасном расположении духа. С самодовольной улыбкой он пожимает руку начальнику лагеря оберштурмбанфюреру Цирайсу.

Советский обвинитель Руденко обращается к свидетелю с вопросом, что ему известно об истреблении в Маутхаузене советских военнопленных. Буа в затруднении:

— Я знаю так много, что мне не хватило бы месяца, чтобы рассказать об этом.

Франсуа Буа с волнением передает суду новую фотографию. Судьи рассматривают ее и затем предлагают ознакомиться с ней защите и подсудимым. Я вижу, как вытягиваются шеи Геринга и Кейтеля, как через их головы смотрят на фотографии Иодль и Дениц.

Во время перерыва я тоже взглянул на эту фотографию. На снегу донага раздетые и босые стоят, словно выстроенные на поверку, тридцать советских солдат. Они ужасно худы, ребра выпирают так, будто и кожи нет. Из темных глазниц с трагическим выражением смотрят глаза. Но в этих глазах еще горит огонь, еще есть непоколебимая решимость. Жить им осталось недолго, однако ни один из них не потерял присутствия духа, не обнаружил покорности, униженности.

* * *

29 ноября 1945 года подсудимые, которых, как обычно, доставили утром в судебный, зал, обратили внимание, что на одной из стен установлен белый экран. Предстояла демонстрация серии документальных фильмов, отснятых в свое время официальными нацистскими кинохроникерами.

Зал погружается во тьму, но лица подсудимых на виду: они подсвечиваются снизу специальным устройством. Первые кинокадры не вызывают беспокойства. На экране годы борьбы нацистов за власть, создание вермахта, воздушный парад Люфтваффе. Геринг улыбается. Он видит себя в качестве

командующего нацистской авиацией.

Потом промелькнули парады сухопутных сил, новые огромные заводы вооружения и их крестный Яльмар Шахт. Это он щедро отпускал миллиарды марок на их строительство.

Геринг подталкивает Гесса, который безучастно смотрит то в пол, то в потолок. Гесс лишь на мгновение обращается к экрану, который переносит его на очередное фашистское сборище в рейхстаг. Он видит там самого себя приводящим банду «парламентариев» к присяге на верность фюреру.

Геринг довольно громко говорит своим соседям, что «фильм вдохновляющий». Настолько вдохновляющий, что под его влиянием «даже сам обвинитель Джексон, вероятно, захотел бы вступить в нацистскую партию».

Но вот настроение на скамье подсудимых резко меняется. На экране новый документальный фильм — «Концентрационные лагеря».

Когда вспоминаешь теперь реакцию на него главарей гитлеровской клики, невольно обращаешься мысленным взором к тому, что происходит сейчас в Западной Германии. Новому поколению немцев старые милитаристы стремятся ныне внушить, что все нападки на них и даже сам Нюрнбергский процесс — не что иное, как «ложь и софистика», «подлейшая фальсификация истории». Но пусть они попробуют ознакомить это новое поколение немцев с теми самыми хроникальными фильмами, которые показывались в Нюрнберге Герингу и Кейтелю, Иодлю и Деницу!

Гестаповская кинохроника не предназначалась, конечно, для широкой публики. Кадры, отснятые в концлагере Освенцим, леденят кровь. Нескончаемой вереницей проходят перед зрителем десятки тысяч несчастных, ожидающих смерти. Их избивают, травят собаками. А вот и конец их страдальческого пути — знаменитые печи-крематории. Перед входом в крематорий — горы обуви, детские вещи.

А это что такое? Целый склад тюков. Это волосы, срезанные у жертв перед казнью. На тюках надписи: «Волос мужской», «Волос женский».

Поглядываю на скамью подсудимых. Подсвеченные их лица выглядят какими-то жуткими призрачными масками.

А на экране опять горы ботинок, горы трупов и... оркестр, составленный из лучших музыкантов Европы. Он исполняет «танго смерти», заглушая стоны несчастных. Потом гитлеровцы уничтожили и самих оркестрантов, стоны которых уже не заглушал никто...

Шахт старается не смотреть на экран. Он отворачивается в

сторону гостевой галереи. Какое ему, финансисту и коммерсанту, дело до всех этих преступлений? Но его величайшее ханжество никого не может обмануть. Не будь главного казначея войны, не было бы и печей Освенцима.

Нейрат опустил голову. Функ, который хранил в подвалах Рейхсбанка снятые с жертв золотые вещи и вырванные из ртов тысяч замученных людей золотые коронки и мосты, закрыл глаза и сам похож на мертвеца. Работорговец Заукель вытирает пот со лба. Франк всхлипывает. Шпеер подавлен и тоже всхлипывает. Геринг двумя руками опирается о скамью, смотрит преимущественно в сторону. Розенберг нервно покачивается, оглядывается, хочет видеть, как ведут себя остальные. Один из защитников произносит: «Боже мой, какой ужас!»

Освенцимские кинокадры сменяются кадрами из Бухенвальда. Снова всепожирающие печи и абажур из татуированной человеческой кожи.

Когда на экране появляются тюки волос и диктор объявляет, что это «сырье» использовалось для производства специальных чулок для команд подводных лодок, Дениц отворачивается, что-то шепчет Редеру.

А вот и Дахау. 17 тысяч мертвецов... Функ теперь плачет безудержно. Франк кусает ногти.

Потом на экране появляется Иосиф Крамер — палач Бельзенского концлагеря. В яму сбрасываются женские тела. И Франк совсем теряет самообладание. Он кричит задыхающимся голосом:

— Грязная свинья!

По окончании этого фильма доктор Джильберт услышал реплику Штрейхера:

— Может быть, в последние дни нечто подобное действительно происходило.

Ему отвечает Фриче:

— Миллионы в последние дни? Нет!..

Когда все эти неопровержимые данные о виновности нацистской партии и ее главарей исследовались трибуналом, мне невольно вспомнились слова одного из обвинителей: «Наши доказательства будут ужасающими, и вы скажете, что я лишил вас сна».

Вечером Джильберт направился в камеры. Зашел к Фриче. Тот глядел на него отсутствующим взглядом и еле выговаривал:

— Никто на земле и на небе не сумеет снять этого позора с моей страны. Ни в грядущих поколениях, ни в течение столетий.

Но пройдет всего шесть лет, и, оказавшись на свободе, в атмосфере нового милитаристского угара, охватившего Западную

Германию, он напишет книгу, в которой будет начисто все отрицать...

От Фриче Джильберт проследовал к Франку. Едва доктор завел речь о просмотренном фильме, Франк заплакал и запричитал:

— Подумать только, что мы жили, как короли, и верили в этого зверя!.. Не позвольте никому убеждать вас в том, что мы ничего не знали. Все знали, все понимали, постоянно чувствовали что-то ужасное в нашей системе... Вы еще слишком хорошо обращаетесь с нами, — продолжал он, показывая на еду, стоявшую на столе. — Ваши военнопленные и наш собственный народ умирали от голода в концлагерях... Бог мой, спаси наши души!.. Да, доктор, то, что я говорю вам, истинная правда. Этого суда хотел сам господь...

Франк видел Треблинку, Майданек и Освенцим не только на экране. Он самолично наносил туда визиты. И тогда не плакал и не ударялся в истерику. А теперь вот, увидев документальный фильм и явственно почувствовав прикосновение веревки к собственной шее, вдруг разрыдался. Над чем? Конечно же только над своей судьбой.

...Джильберт у Папена. Доктор интересуется, почему этот старый диверсант, человек, открывший Гитлеру дорогу к власти, демонстративно отвернулся от экрана? Ответ предельно лаконичен:

— Я не хотел видеть позор Германии.

Шахт жалуется Джильберту:

— Неслыханно, что меня заставляют сидеть с этими преступниками на одной скамье!

Но мы еще убедимся, что ничего неслыханного в этом не было.

И может быть, ошибка состояла в том, что Шахта посадили далеко от Геринга.

...Камера Заукеля. Он дрожит всем телом и уверяет Джильберта:

— Я бы задушил себя собственными руками, если бы творил хоть малейшее из того, что нам показали. Это позор! Это позор для нас, наших детей, наших внуков!

Кейтеля Джильберт застает за едой. Он не вступает в разговор до тех пор, пока доктор сам не заговаривает относительно фильма. Положив на стол ложку, фельдмаршал германской армии роняет всего несколько слов:

— Это ужасно! Когда я смотрю подобные вещи, стыжусь, что я немец.

Геринг ушел от обсуждения этой темы.

Фриче оказался словоохотливее:

— Да, доктор, это была последняя капля. Я смотрел на экран, и у меня было чувство все возрастающей кучи грязи, в которую я погружаюсь и постепенно задыхаюсь.

Джильберт заметил Фриче, что Геринг гораздо спокойнее и, как видно, проще относится ко всему этому. Тогда Фриче стал проклинать Геринга, этого «толстокожего носорога, который позорит немецкий народ».

Для чего я воспроизвожу здесь все это? Разве не ясно, что и слезы, и причитания, и велеречивые восклицания подсудимых — сплошное лицемерие. Но не в том суть. Суть в другом: никто из тех, кто держал ответ перед лицом Международного трибунала, даже в неофициальных беседах наедине с доктором Джильбертом не решался отрицать содеянных нацистами преступлений, а лишь стремился выгородить самого себя, представиться сторонним наблюдателем. Какой же мерзостью является современная западногерманская пропаганда, стремящаяся реабилитировать нацизм!

На Нюрнбергском процессе Геринг и Риббентроп, Кейтель и Иодль боялись самого слова «киноэкран». Он не сулил им приятных минут. Но никому из них и в голову не приходило подвергать сомнению то, что запечатлено хроникерами-документалистами на десятках тысяч метров кинопленки.

Почему же в таком случае правительство Бонна заявляет теперь официальные дипломатические протесты правительствам других стран, где прогрессивные режиссеры попытались средствами художественного кинематографа довести до миллионов людей лишь малую толику того, что демонстрировалось в Нюрнберге? Почему их так тревожит кинопересказ давно разоблаченных преступлений Гитлера и Гиммлера, Геринга и Кальтенбруннера? Исчерпывающий, мне кажется, ответ дал на эти вопросы известный итальянский кинорежиссер Витторио де Сика, объясняя причины развернувшейся в Бонне кампании травли против антифашистского фильма «Затворники из Альтоны»:

— Западная Германия и сейчас заражена фашизмом.

И уж коль скоро зашла речь о кино, я никак не могу не вспомнить здесь добрым словом выдающегося советского кинодокументалиста Романа Кармена, его боевых товарищей Бориса Макасеева, Виктора Штатланда, Сергея Семенова, Виктора Котова и совместно созданный ими фильм «Суд народов». Перефразируя одного из обвинителей, можно смело сказать, что к этому фильму историки могут обращаться в поисках правды, а политики — в поисках предупреждения.

Если бы суду в Нюрнберге потребовались новые доказательства виновности гитлеровской клики, их мог бы доставить Роман Кармен. Этот человек видел так много и так хорошо, обладал такой коллекцией зафиксированных на пленку отвратительных преступлений германского фашизма, что стал бы, пожалуй, одним из главных свидетелей обвинения.

Увы, он прибыл в Нюрнберг не как свидетель, а как солдат, который считал, что его путь по пыльным и кровавым дорогам войны еще не завершен и что здесь, в Нюрнберге, он должен создать кинематографический эпилог войны, эпилог возмездия нацизму. Еще в комсомольские годы я видел боевые киноотчеты Кармена с фронтов героической Испании. А во время Великой Отечественной войны перед объективом его камеры поочередно прошли и страшные, но героические картины ленинградской блокады, и начало великого перелома в ходе нашей смертельной схватки с фашизмом — битве на Волге, и последующее неудержимое наступление победоносной Советской Армии. Были тут и радостные лица освобожденных людей, были и варварства Освенцима, Майданека, Треблинки. Все видел и запечатлел для истории советский режиссер. Запечатлел хорошо, выразительно, а главное — достоверно.

В отличие от многих своих зарубежных коллег здесь, в Нюрнберге, Роман Кармен никогда не гонялся за дешевой сенсацией. Как всякий большой художник, он явно предпочитал этому кропотливый отбор материала для своего будущего фильма.

Вот он наблюдает за Риббентропом. Кармен видел его во времена «славы и величия», а теперь ему нужен Риббентроп с таким жестом, который сразу раскрывал бы, чего ждет от судьбы этот некогда самодовольный субъект. И Кармен, набравшись терпения, ждет, как охотник в засаде. Вот Риббентроп левой рукой пытается расстегнуть ворот рубашки, ему душно. И камера сработала. Жест очень символичен.

Так кадр за кадром Кармен и его друзья создали настоящий исторический документальный фильм, потрясающий по силе своего воздействия на зрителя. Он и двадцать лет спустя после Нюрнберга по-прежнему находится на передовой линии борьбы за мир. Справедливость требует отметить, что успеху этого фильма в большой степени способствовали сопровождающие его гневные слова писателя-солдата Бориса Горбатова.

А из фотокорреспондентов мне особенно запомнился Евгений Холдей. Он с честью завоевал почетное право быть одним из фотолетописцев этого исторического процесса. С камерой и автоматом Женя прошел нелегкий путь от Москвы до Берлина. С

десантниками высаживался на Малую землю в районе Керчи. В числе последних оставил осажденный Севастополь, а затем одним из первых вступил в освобожденный город-герой. С передовыми частями проследовал через Софию, Будапешт, Белград. Наконец, на первой полосе «Правды» появился его снимок, запечатлевший водружение Знамени нашей победы над рейхстагом. Снимал Женя и подписание акта о капитуляции фашистской Германии в Потсдаме. Фотографический же отчет о Суде Народов явился как бы логическим завершением его честного солдатского пути.

О тех, кто подписал приговор

Когда вы входили в зал суда, то первое, что бросалось в глаза, это стол, за которым сидели восемь судей. Каждая из четырех стран — СССР, США, Великобритания и Франция — была представлена двумя судьями, один из которых являлся членом Международного трибунала, другой — его заместителем. Это разделение не имело сколько-нибудь существенного значения. Приговор, например, подписан всеми: и членами суда, и их заместителями. Да и в ходе процесса те и другие на равных основаниях участвовали в обсуждении важнейших вопросов.

Председателем Международного трибунала был избран член Верховного суда Великобритании лорд Джеффри Лоуренс. Рассказывали, что в Нюрнберг он попал в силу сложившейся традиции: время от времени всем членам Верховного суда Великобритании приходится выезжать в заморские командировки.

Не знаю, кто мог бы поехать вместо него, но почему-то убежден, что среди британских судей едва ли можно было подобрать кандидатуру более подходящую для председателя Международного трибунала. Лоуренс оказался на высоте своих задач. Он вел процесс с большим знанием дела и достоинством.

Это был человек небольшого роста, лет около шестидесяти, полный, с лысой головой и в очках, постоянно сползающих на нос. По его лицу часто пробегала улыбка: сэр Джеффри Лоуренс обладал хорошим чувством юмора.

Он крепко держал в своих руках бразды судебного следствия, но делал это очень деликатно, внешне спокойно, никогда не повышал голоса. Казалось, что вывести Лоуренса из состояния равновесия просто невозможно. Тем не менее он сразу поставил себя так, что даже самым недисциплинированным, самым развязным подсудимым и адвокатам приходилось безоговорочно выполнять все его распоряжения. Сама природа щедро наделила этого человека данными, необходимыми для судьи.

— Мы не должны ни на минуту забывать, что по протоколам судебного процесса, по которым сегодня мы судим этих людей, история будет завтра судить нас самих. Мы должны добиваться такой беспристрастности и целостности, такого умственного восприятия, чтобы этот судебный процесс явился для будущих поколений примером практического осуществления надежд человечества на справедливость.

Эти слова, сказанные в Нюрнберге одним из обвинителей, безусловно, выражали судейское кредо и лорда Лоуренса.

Я наблюдал его близко не только в зале суда, но, что гораздо важнее, и в закрытых, так называемых организационных, заседаниях трибунала. Там рассматривались многочисленные ходатайства подсудимых и их защиты о вызове тех или иных свидетелей, об истребовании документов или других доказательств. И нужно прямо сказать, что Лоуренс, а вместе с ним и другие судьи в высшей степени объективно, с большой терпимостью относились к таким ходатайствам. Каждый судья понимал, что проблема беспристрастности и всесторонней проверки доказательств на таком беспрецедентном процессе в течение многих лет будет волновать историков и юристов, философов и политиков.

Но наряду с беспристрастностью и терпимостью от председателя трибунала, несомненно, требовалось еще и умение руководить ходом судебных заседаний. Зал был полон не только непосредственными участниками процесса, но и такой зачастую трудно управляемой публикой, как журналисты. Их бурная реакция на те или иные реплики сторон нередко грозила нарушить нормальный ход судебного заседания или то, что судьи называют торжественностью и достоинством судоговорения. В этих случаях лорд Лоуренс неизменно был на высоте положения, хотя и не пользовался для наведения порядка никакими атрибутами председательской власти. В его руках не было ни традиционного звонка, ни столь же традиционного молоточка.

Кстати, о молотке. В первые дни процесса этот инструмент лежал на столе возле председательского кресла. Привез его с собой американский судья Фрэнсис Биддл. Молоток этот, как рассказывали, был в определенном смысле историческим: его использовали на выборах Франклина Рузвельта губернатором штата Нью-Йорк. Рузвельт долго хранил этот дорогой ему сувенир, но потом подарил Биддлу. Последний где-то в глубине души таил надежду, что его могут избрать председателем Международного трибунала и захватил молоток с собой, Когда же оказалось, что председательствовать будет лорд Лоуренс, американец сделал красивый жест и преподнес ему эту историческую реликвию (надо полагать, на время процесса). Случилось это перед открытием первого судебного заседания — 20 ноября 1945 года. Но, увы, председательский молоток просуществовал всего два дня. Узнав историю этого инструмента, его «увели» журналисты, скорей всего, американские. Биддл длительное время был безутешен, но Лоуренс пережил происшедшее без заметного волнения.

Как председательствующий, сэр Джеффри Лоуренс особенной активности в ходе судебных заседаний не проявлял. Он резонно

считал, что для этого у него будет достаточно возможностей на другой стадии судебного разбирательства, когда в совещательной комнате придется решать судьбу подсудимых.

Про Лоуренса нельзя было сказать, что в нем превалирует политик над юристом. Пожалуй, напротив, он производил впечатление юриста-догматика, человека, который превыше всего ставит точное следование установленной норме закона. Лоуренс строжайше следил за тем, чтобы во всех деталях соблюдались Устав и регламент трибунала. Его нисколько не смущало то, что иные газеты подвергали судей критике за медлительность в рассмотрении столь бесспорного дела.

Помню, в одной из газет появилась карикатура. За судейским столом сидит лорд Лоуренс. Он уже оброс длиннейшей бородой, стелящейся через стол и весь зал к выходу. На скамье подсудимых нет ни одного человека. Лорд Лоуренс ударяет молотком и объявляет:

— Процесс закончен. Последний подсудимый умер по старости лет.

Когда мы показали Лоуренсу эту карикатуру, он только улыбнулся, оценив остроумие художника. В его манере ведения процесса ничего, однако, не изменилось.

Любой юрист знает, что еще до вынесения приговора иной судья, сам того не желая, дает сторонам и аудитории веские основания для установления его позиции по делу. Это случается обычно, когда судья слишком часто задает вопросы и позволяет сторонам или даже подсудимым вовлечь себя в спор. Ситуация, в которой задается вопрос, его формулировка, объем выяснения, даже тональность вопрошающего — все это нередко дает возможность проникнуть в судейскую тайну прежде, чем она раскрывается в приговоре.

Не таков был Джеффри Лоуренс. Вопросами он отнюдь не злоупотреблял, и по ним решительно ни о чем нельзя было догадаться. Во всех случаях он оставался безукоризненно вежливым, иногда чуть ироничным, но всегда уравновешенным. Лоуренс умел вовремя сделать замечание обвинителю, адвокату, подсудимому, и каждый раз оно отличалось тем большей деликатностью, чем больше было проявлено неуважения к установленному судом порядку.

Однажды Лоуренс очень мягко указал адвокату Зимерсу на то, что он без нужды задает своему подзащитному вопросы по обстоятельствам, уже хорошо известным трибуналу. Защитник обещал учесть это, но продолжал гнуть свою линию. Председательствующий проявил свойственную ему терпимость. Лишь в тот момент, когда Зимерс, обращаясь к Редеру, сказал:

«Перехожу к последнему вопросу» — у Лоуренса сразу сползли на кончик носа очки, что всегда предвещало злую реплику. И она действительно последовала:

— Не кажется ли вам, доктор Зимерс, что это уже шестой последний вопрос, который вы задаете?

Весь образ жизни председателя трибунала в Нюрнберге отличался удивительной размеренностью. Вечерами, как раз в тот час, когда советские судьи Никитченко и Волчков садились за изучение материалов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании, Лоуренс выходил со своей супругой в парк на прогулку. Он ужасно не любил, когда в неслужебное время кто-нибудь пытался навязать ему беседу, касающуюся процесса. Поэтому в тех редких случаях, когда я встречал его на прогулке, он чаще всего начинал рассказывать, и очень увлекательно, о своей конюшне скаковых лошадей. Он отлично знал каждую свою питомицу и, видимо, вообще понимал в этом деле. Лев Романович Шейнин, проведав о слабости Джеффри Лоуренса, обычно сам заводил с ним разговор о лошадях, чем ставил меня, как переводчика, в очень неловкое положение из-за незнания этой «тематики» ни на русском, ни тем более на английском языке.

* * *

В отличие от Лоуренса заместитель английского судьи сэр Норман Биркетт был высок ростом, осанист и несколько экспансивен. Живой и веселый нрав его импонировал многим.

У Биркетта не было, казалось, ничего от привычного образа чопорного англичанина. Лицо подвижное, часто меняющее свое выражение. Каштановые волосы постоянно спадают на лоб. Длинный крючковатый нос. Очень умные и живые карие глаза. Всегда он в высшей степени приветлив, общителен и остроумен. В нем много и от хорошего юриста, и от образованного политика.

Норман Биркетт оставил большую и прибыльную практику одного из ведущих адвокатов Англии и стал судьей. Из всех судей он, пожалуй, лучше всех владел пером. И в тех случаях, когда трибуналу необходимо было побыстрее составить тот или иной документ, проект его чаще всего писал Биркетт. Делал он это удивительно легко, с профессиональным блеском. Написанное им отличалось краткостью и выразительностью.

* * *

Совсем другого типа был американский судья Фрэнсис Биддл. Единственным из внешних признаков, сближавших его с Биркеттом, являлся только высокий рост. Черты лица он имел правильные, но мелкие. Коротко подстриженные усики в сочетании с большой лысиной придавали ему несколько фатоватый вид.

В правительстве Рузвельта Биддл занимал пост министра юстиции. Это уже был скорее политический деятель, чем юрист. Его сущность определялась большим опытом политической борьбы, которая время от времени то выдвигала, то устраняла его с политической сцены США. Он не являлся таким приверженцем юридической догмы, как Лоуренс, и в ходе процесса вел себя очень активно, часто задавал вопросы подсудимым и свидетелям.

Политические взгляды Биддла ни у кого, кажется, не оставляли сомнений. Это типичный американский буржуа, весьма далекий от либерализма. Он, конечно, питал искреннее отвращение к преступлениям нацистов, Но вряд ли можно было заподозрить Фрэнсиса Биддла во внутреннем одобрении всех положений Устава Международного трибунала. Многие приемы империалистической внешней политики были слишком привычными для него, чтобы считать их недопустимыми, а тем более преступными. И хотя, как судья, до приговора он мог не высказывать и действительно не высказывал своего личного политического и юридического кредо, подсудимые по отдельным его репликам, вопросам, замечаниям, по отношению к некоторым их ходатайствам узрели нечто такое, что позволяло считать его не самым страшным из судей. Папен, например, в своих мемуарах отметил: «В мистере Биддле и его заместителе Паркере мы видели лучшую гарантию справедливого приговора». А Дениц как-то раз сказал об американском судье:

— Видно, он хочет выслушать и другую сторону. Я желал бы встретиться с ним после процесса.

Вспоминается, как на закрытом заседании, где в предварительном порядке рассматривался вопрос о виновности Фриче, и Биддл, и Паркер выражали искреннее сомнение, стоит ли его вообще судить. Ведь речь шла о пропаганде войны — вещи столь обычной в условиях империалистической Америки. И разве даже такая пропаганда не есть выражение священного права свободы слова? Помню, как Джон Паркер во время обмена мнениями прямо сказал:

— Такие Фриче имеются в каждом государстве, чего же их судить?

Забегая несколько вперед, замечу здесь, что в конечном счете большинством голосов западных судей при особом мнении

советского судьи Фриче был оправдан.

Но при всем том и Биддл, и Паркер искренне возмущались зверствами гитлеровцев на оккупированных территориях, отвратительными, преступными извращениями нацистов. Здесь уже у них не было никаких сомнений в том, что подобные действия наказуемы.

* * *

Рядом с американским судьей сидел судья французский — Доннедье де Вабр, человек лет шестидесяти, с редкими волосами, могучими усами моржа и в темных роговых очках.

В ход процесса де Вабр никогда не вмешивался. Я не помню, чтобы он хоть один раз задал вопрос подсудимому или свидетелю. За столом трибунала французский судья только писал, писал и писал. Писал с утра и до конца судебного заседания. Писал недели и месяцы напролет. Его записи могли бы, очевидно, составить толстейшие фолианты. Еще до войны де Вабр выпустил немало книг по международному уголовному праву. Они никогда не отличались демократичностью взглядов. Да и сам их автор, которого мне довелось наблюдать в течение года и многократно слушать его выступления на закрытых заседаниях трибунала, не производил впечатления убежденного демократа.

Наиболее ясно раскрылся де Вабр, когда рассматривался вопрос об ответственности гитлеровцев за преступления против партизан. Он никак не мог взять в толк, что тут, собственно, ставится в вину гитлеровцам.

— Международное право, — рассуждал он, — в качестве бойцов считает лишь людей в армейской форме. А если население берется за оружие, то это уже бандитизм. Таких субъектов противник вправе рассматривать как инсургентов и расстреливать без суда и следствия.

Подобные взгляды судьи, представлявшего страну, в которой в течение многих лет народ участвовал в движении Сопротивления, вызывали удивление, досаду и возмущение. Но в том-то и величие Нюрнбергского процесса, что даже столь реакционные выступления отдельных судей не могли существенно повлиять на его конечный результат. В целом трибунал правильно понимал свою роль и свои задачи. Для него было очевидно, что Нюрнбергский процесс не обычен по всей своей сути. Это — Суд народов. Суд, за которым следит все человечество. Суд, на котором обвинения предъявляются от

имени миллионов людей.

Конечно, важно было, чтобы судьи в таком трибунале являлись людьми демократического мышления, вполне объективными и честными. Но ведь каждое правительство, направляя в Международный трибунал своего представителя, было суверенно. Никто не мог подсказывать ему, кого следует назначить в Нюрнберг. Тогдашний глава правительства Франции генерал де Голль в течение всей войны отрицательно относился к народному движению Сопротивления, и не удивительно поэтому, что он послал в нюрнбергский Дворец юстиции профессора Доннедье де Вабра, человека, можно прямо сказать, реакционных взглядов.

Но ничто не проходит даром. Престиж международного правосудия от такого назначения отнюдь не выиграл. Мне вспоминается один весьма неприятный эпизод, связанный с именем профессора де Вабра.

В числе подсудимых был, как известно, Ганс Франк. Пост министра юстиции, а затем генерал-губернатора оккупированной Польши он совмещал с постом президента германской академии права. Обвинители, раскрывая преступную деятельность Франка, не забыли упомянуть, что эта академия являлась рассадником реакционных юридических взглядов, что она пыталась теоретически оправдать гитлеровский террор. Между тем защитник Франка доктор Зейдль употребил немало усилий, чтобы доказать обратное, представить дело так, будто возглавляемая его подзащитным академия вовсе не была центром юридического мракобесия, а, напротив, виднейшие европейские юристы, в том числе французские, всегда якобы с большим уважением отзывались о ней и даже считали за честь участвовать в ее деятельности. Дотошный адвокат докопался, что в числе многих почетных гостей академии из других стран был и Доннедье де Вабр. Больше того, защитнику Франка стало известно, что этот «высокий гость» на одном из заседаний академии заявил: «Современное превосходство тоталитарного режима происходит от его решимости, от его молодой силы, способной отвечать новым потребностям, когда они возникают».

Я уже не помню сейчас, удалось ли доктору Зейдлю огласить приготовленный им документ. Кажется, нет. Но слух о нем распространился довольно широко, и французскому судье пришлось безмолвно проглотить эту горькую пилюлю.

При всем том я не могу сказать, что де Вабр по любому поводу чинил препятствия выполнению основной задачи трибунала. Он был достаточно умен, чтобы понимать, что времена германской академии права прошли и что теперь нужны

другие речи.

Совсем иные воспоминания остались у меня о Робере Фалько — заместителе де Вабра. Это был очень симпатичный, очень лояльный человек, с истинно французским характером. Он участвовал в первой мировой войне, имел награду за храбрость, а в середине сороковых годов являлся членом Высшего кассационного суда Франции. Благо, что он, а не де Вабр представлял свою страну на лондонских переговорах по выработке Устава Международного трибунала. Не скрою, мне очень приятно было летом 1965 года вместе с моими друзьями по Нюрнбергскому процессу Ниной Владимировной Орловой и Александром Ефремовичем Луневым встретить в Москве госпожу Фалько и добрым теплым словом вспомнить ныне уже покойного судью.

А что можно сказать о члене Международного трибунала от СССР генерал-майоре юстиции Ионе Тимофеевиче Никитченко?

Тогда ему было пятьдесят лет. За спиной он имел огромный опыт юридической работы. Еще в период гражданской войны И. Т. Никитченко был председателем военного трибунала и с тех пор уже не покидал юридического поприща.

Человек больших знаний, исключительного такта и выдержки, он сразу же сумел установить хороший деловой контакт со своими иностранными коллегами. Еще до прибытия в Нюрнберг летом 1945 года Иона Тимофеевич возглавлял нашу делегацию на конференции четырех держав (СССР, США, Англия и Франция) в Лондоне, где вырабатывались Соглашение о суде над главными военными преступниками и Устав Международного военного трибунала. А осенью того же года, когда трибунал уже был сформирован, И. Т. Никитченко председательствовал на его берлинской сессии, рассматривавшей в подготовительном порядке ряд организационных и юридических вопросов.

Я не знал Иону Тимофеевича до Нюрнбергского процесса. Там узнал его хорошо. И когда приступил к работе над этой книгой, мне очень хотелось набросать в ней его портрет. Однако, перечитав «Мятеж» Д. Фурманова, сразу понял, что задача уже решена.

Позвольте, могут возразить мне, Фурманов писал о нем больше сорока лет назад, такой срок более чем достаточен для того, чтобы человеческий характер подвергся изменениям. Оказывается, не всегда. Сопоставив образ, созданный Д. А. Фурмановым, с живым Ионой Тимофеевичем в Нюрнберге, я пришел к выводу: в основных своих чертах этот человек остался прежним. Видимо, такой устойчивостью обладают лишь очень цельные натуры.

С тринадцати лет И. Т. Никитченко работал на шахтах в Донбассе и примкнул там к революционному движению. В 1914 году он вступил в партию большевиков, в 1917 году принимал активное участие в создании Красной гвардии в Новочеркасске, а 1918-й застал его уже на восточном фронте. Там он и повстречался с Д. А. Фурмановым, который острым глазом писателя подметил в нем очень типические черты.

«У Никитченко под стеклышками, словно огоньки далекой деревушки, ровным, немигающим светом лучатся покойные круглые зрачки... Никитченко может часами почти недвижимо оставаться на месте и думать, обдумывать или спокойно и тихо говорить, спокойно и многоуспешно, отлично делать какое-нибудь дело... Глядишь на него, и представляется: попадет он в плен какому-нибудь белому офицерскому батальону, станут сукины сыны его четвертовать, станут шкуру сдирать, а он посмотрит кротко и молвит:

— Осторожнее... потише... можно и без драки шкуру снять...»

Да, лучше, выразительнее, точнее не обрисовать характер Ионы Тимофеевича Никитченко. Еще и еще раз я вчитываюсь в слова Д. А. Фурманова и думаю: это как раз тот самый Никитченко, которого я видел в Нюрнберге.

Могу смело заявить, что среди нюрнбергских судей И. Т. Никитченко пользовался большим уважением. Люди умные и наблюдательные, судьи западных стран очень скоро определили, что Иона Тимофеевич обладает тем высшим благом, которое делает человека личностью. И это, конечно, влияло на установление творческого сотрудничества.

Иона Тимофеевич был согласен с Джеффри Лоуренсом в том, что Нюрнбергский процесс должен проходить в условиях максимальной объективности и беспристрастности. В этом отношении Никитченко всегда поддерживал председателя Международного трибунала. Тем не менее и самого И. Т. Никитченко, и его заместителя А. Ф. Волчкова в кулуарах называли «судьями жесткого курса». Они, безусловно, стояли на стороне Лоуренса, когда тот обеспечивал объективность и беспристрастность при рассмотрении обвинений, предъявленных подсудимым. Но как только Никитченко замечал, что подсудимые или их адвокаты переходят к тактике искусственного затягивания процесса, он решительно высказывался против и при этом в высшей степени корректно напоминал другим судьям, что статья первая Устава Международного трибунала требует не только *справедливого*, но *и быстрого* суда и наказания главных военных преступников.

Никитченко активно участвовал в процессе. Обладая

огромным судейским опытом, он моментально улавливал малейшие попытки защиты задавать свидетелям так называемые наводящие вопросы. И в этих случаях тоже действовал весьма энергично, решительно пресекал всякие попытки извратить правду.

Я уже говорил, что различия в идеологии создавали определенные трудности в установлении сотрудничества между нашими судьями и судьями буржуазных стран. Время от времени между ними возникали споры при оценке тех или иных фактов. Но заслуга советских судей, несомненно, состояла в том, что в отношениях с западными коллегами они всегда старались делать акцент на то, что объединяет судейскую коллегию, а не разъединяет ее. Объединял же всех судей Устав Международного трибунала.

И. Т. Никитченко и А. Ф. Волчков не искали компромиссов лишь при решении действительно принципиальных вопросов. Тут их «жесткий курс» проявлялся в полной мере. Так было, например, при решении судьбы Фриче, когда западные судьи, по существу, отказались признать пропаганду агрессии преступлением. Так случилось и при рассмотрении вопроса об ответственности Шахта, когда перед судом встала глубоко принципиальная проблема ответственности за финансирование агрессивной гитлеровской программы вооружения. В подобных случаях советские судьи не останавливались даже перед тем, чтобы официально и открыто разойтись с буржуазным большинством трибунала. Это нашло свое яркое выражение в особом мнении советских судей при вынесении трибуналом приговора.

* * *

Заместителя члена Международного трибунала от СССР подполковника Александра Федоровича Волчкова я знал еще до войны — мы вместе работали в Наркомате иностранных дел. В течение многих лет Александр Федорович служил в органах прокуратуры, затем в нашем посольстве в Лондоне. Специально занимаясь вопросами международного права, он уже в предвоенные годы был доцентом, а во время войны, как и я, оказался в числе практических работников военной юстиции.

Хорошие знания международного права и английского языка, а также опыт зарубежной дипломатической работы, видимо, послужили определяющими мотивами при отборе кандидатуры Александра Федоровича на высокий пост заместителя советского

судьи в Международном трибунале.

За судейским столом в Нюрнберге наших представителей легко было отличить от судей западных держав: и Никитченко, и Волчков сидели в своей военной форме. Долго, но безуспешно другие члены трибунала убеждали их облачиться в черные судейские мантии. Иона Тимофеевич и Александр Федорович твердо были убеждены, что военная форма больше к лицу судьям Международного *военного* трибунала.

* * *

В течение целого года сотрудничали судьи, различные по своему воспитанию и мировоззрению, представлявшие полярно противоположные системы права. И тем не менее в решении важнейших вопросов они нашли общий язык. Достигнуто это благодаря тому, что перед Нюрнбергским трибуналом стояли общедемократические задачи — задачи борьбы с агрессией, с войной, которая угрожает всему человечеству. Все народы были заинтересованы в том, чтобы не только наказать германских агрессоров, но и создать препятствия для возрождения германского милитаризма.

Нюрнбергский процесс явился одним из серьезных свидетельств возможности широкого сотрудничества стран с различным социальным строем для достижения общедемократических целей, в том числе главной из них — борьбы за прочный мир.

Хорошо судье или прокурору в обычном судебном процессе, когда он должен руководствоваться детально разработанными уголовными и уголовно-процессуальными кодексами своей страны, четко определяющими ответственность подсудимого и порядок судопроизводства. Неизмеримо сложнее обстояло дело в Нюрнберге. Читатель уже видел, к каким только приемам юридического крючкотворства не прибегали адвокаты и подсудимые, используя несовершенства международного закона в борьбе с агрессией. В составе защиты, как уже говорилось, преобладали крупные специалисты не только уголовного, но и международного права, люди с профессорскими званиями, ученые зубры, в течение многих лет тренированные в искусстве оправдывать ставшую уже традиционной германскую практику грубейшего произвола в отношениях с другими странами и народами.

И судьи нюрнбергские, и обвинители были исключительно опытными юристами-криминалистами. Но этого оказалось

недостаточно. Здесь требовалось постоянно быть в готовности дать научно обоснованную отповедь попыткам защиты вывести страшных преступников из-под карающей десницы правосудия.

Устав трибунала не представлял собой в этом отношении панацеи. Он лишь в основном и главном кодифицировал принцип ответственности за нарушение международного права. Кроме него необходимо было пользоваться бесчисленным количеством различных международных конвенций, международных обычаев, судебными прецедентами. И тут на помощь пришли крупнейшие ученые-правоведы.

В составе нашей делегации на Нюрнбергском процессе многотрудную роль научного консультанта выполнял член-корреспондент Академии наук СССР профессор А. Н. Трайнин. Несмотря на значительное различие в возрасте и положении, мы как-то очень подружились с ним. Много позднее я понял, что этой дружбой и добрым ко мне расположением ученого с мировым именем всецело обязан характеру Арона Наумовича Трайнина. Этот среднего роста человек, с подвижным лицом и живыми, умными, я бы сказал, несколько лукавыми глазами, удивительно тепло относился к людям. У него было бесчисленное количество учеников, которых он до конца жизни щедро одарял своими советами и глубочайшими познаниями.

Долгие годы связывали А. Н. Трайнина с Московским университетом. Там он в свое время блестяще закончил юридический факультет. Там, будучи еще студентом, пристрастился к научной работе. Там примкнул к студенческому революционному движению и уже в юности дважды познал, что такое тюрьма. Но из тюрьмы он опять возвратился в МГУ и в стенах этого всемирно известного учебного заведения продолжал трудиться до конца дней своих, в общей сложности более 50 лет.

Еще задолго до возникновения второй мировой войны А. Н. Трайнин всецело посвятил свой недюжинный талант ученого разработке проблемы использования международного права в борьбе с агрессией и преступлениями против человечества. Его фундаментальные труды «Уголовная интервенция», «Защита мира и уголовный закон» были широко известны не только в СССР, но и за границей. А во время войны, в 1944 году, он опубликовал свой новый труд «Уголовная ответственность гитлеровцев».

Эта книга, как, впрочем, и вся деятельность А. Н. Трайнина по теоретическому обоснованию наказания агрессоров, вызвала впоследствии дикую злобу реакционеров на всем земном шаре. Главный редактор «Американского журнала международного права» упрекнул ученого даже в том, что благодаря его злонамеренной позиции восторжествовала «марксистская

идеология» в Нюрнберге.

Однако было бы несправедливо приписывать это «открытие» американцам. Редактор американского журнала лишь повторил то, что говорилось еще в 1948 году западногерманским адвокатом профессором Воллом в том же Нюрнберге, когда там судили руководителей крупнейшей монополии «ИГ Фарбениндустри». Монополистам предъявляется обвинение в агрессии, в тягчайших военных преступлениях. Защита сделала вид, что она потрясена нелепостью этих обвинений: с каких это пор частные лица, коммерсанты, которые к политике никогда не имели никакого отношения, должны нести ответственность за войну? И вот тогда-то выступил господин Волл и сразу же обрушился на А. Н. Трайнина. Адвокат напомнил суду, что именно этот советский профессор в течение многих лет теоретически обосновывал положение о наказуемости агрессии и именно зловредная книга «Об уголовной ответственности гитлеровцев» «неожиданно оказала большое влияние в Лондоне, когда вырабатывался Устав Нюрнбергского трибунала». Волл сослался на доклад Джексона американскому президенту от 6 июня 1945 года, в котором якобы использовались «те же мысли, что имелись в книге Трайнина». Волл гневно «обличал» советского профессора в «подрыве старых и уважаемых традиций цивилизованного мира», под которыми понималась, конечно, безнаказанность агрессии.

Такие яростные атаки реакционеров против советского ученого имели под собой определенную почву. А. Н. Трайнин действительно впервые научно разработал стройную систему юридических норм ответственности гитлеровских военных преступников. А год спустя автор книги «Уголовная ответственность гитлеровцев» едет вместе с И. Т. Никитченко в Лондон на четырехстороннюю конференцию и представляет там на рассмотрение проект Устава Международного военного трибунала.

Устав трибунала был утвержден, но предстояла еще ожесточенная борьба между сторонниками мира и защитниками агрессии на самом Нюрнбергском процессе. И советский ученый направляется туда в качестве консультанта. Он уже не молод годами, но молод душой. Он испытывает гордость за свою страну, за нашу героическую армию, которая, разгромив гитлеровские полчища, сделала возможным Нюрнберг. А я, часто встречаясь в те дни с Трайниным, испытывал гордость еще и за него, за всю советскую юридическую науку.

Мне было очень приятно присутствовать на одном из заключительных заседаний Международного трибунала, когда все судьи единодушно решили объявить благодарность члену-

корреспонденту Академии наук СССР, профессору Института права А. Н. Трайнину за его плодотворную помощь.

Неисправимые

На скамье подсудимых в Нюрнберге находилось двадцать человек. Каждый из них принес неисчислимые бедствия миллионам людей. Трудно представить себе гитлеровскую клику без Геринга, так много сделавшего для захвата и упрочения власти нацистов в Германии, без Риббентропа, столько лет олицетворявшего коварную и преступную внешнюю политику фашизма, без Кейтеля и Иодля, вместе с Бломбергом бросившими под ноги нацизма германский рейхсвер, без Кальтенбруннера, осуществлявшего гестаповский террор в стране, без Шахта, обеспечившего поддержку нацистского режима германскими монополиями и экономическую подготовку гитлеровской агрессии... Короче говоря, любой из подсудимых играл настолько важную роль в заговоре против человечества, что трудно представить себе этот заговор без кого-либо из них.

Стоит ли о них писать? Следует ли их вспоминать? Какой интерес это может представлять через двадцать лет после того, как они ушли в небытие?

Думаю, что стоит. Убежден, что следует.

Господство фашизма в Германии, а потом и в некоторых других странах, покоренных им, — это мрачная эпоха, но все же эпоха в мировой истории. Ее так просто карандашом не зачеркнешь и из памяти не выбросишь. Молодое поколение, выросшее уже после второй мировой войны, должно знать, что пережило человечество из-за фашизма, извлечь отсюда исторический урок и не позволить новым врагам мира повторить гитлеровский кровавый эксперимент.

Воспоминания о прошлом помогают понять опасные для дела мира события, происходящие в Западной Германии сегодня, дают возможность лучше уяснить, почему там так стараются сейчас не только реабилитировать нацизм в целом, но и «отдать честь» самому Гитлеру, Герингу, Кейтелю, Гессу.

Истоки этой кампании реабилитации нацистских бонз восходят еще к временам Нюрнберга. Еще там выступавшие в качестве свидетелей нацисты стремились приписать своим фюрерам самые фантастические черты «рыцарей без страха и упрека». Помнится, как генерал Боденшатц на полном серьезе пытался убедить судей, что «Геринг ни от чего не был так далек, как от мысли о войне». Ободренный благодарным взглядом Геринга, он распалился до крайности и настойчиво просил поверить в то, что Геринг являлся «благодетелем всех нуждающихся» и в особенности «заботился о рабочих». Развивая в

тех же напыщенных выражениях панегирик Герингу, бывший статс-секретарь Кернер торжественно сообщил трибуналу, что рассматривает «рейхсмаршала Геринга как последнего крупного деятеля периода Ренессанса», «последнего великого человека эпохи Возрождения». Такие же панегирические отзывы делались и в отношении других подсудимых.

Кончился процесс. Прошли годы. Появился Бонн. Возродился бундесвер. Битые гитлеровские генералы Хойзингер и Шпейдель, залезшие поглубже в щель в майские дни 1945 года, теперь бравируют своим «восточным опытом» и поучают уже Пентагон. По улицам западногерманских городов шествуют с факелами бывшие эсэсовцы, а на стенах домов время от времени появляется свастика. Все это было уже однажды и в Мюнхене, и в Нюрнберге.

Ганса Фриче в Германии знали как правую руку Геббельса. На Нюрнбергском процессе он прикидывался овечкой, возмущался отвратительными преступлениями нацистского режима. Геринга не называл иначе, как «смердящим куском жирного мяса». Вопреки особому мнению советского судьи Фриче был оправдан. И вот теперь он опять взялся за старое ремесло: написал книгу, в которой с тем же усердием, что и при Гитлере, стал славословить Геринга. Фриче уверяет, будто в те дни, когда Герман Геринг давал свои показания Международному трибуналу, перед всеми слышавшими его «вырисовывался образ кристально чистого и энергичного человека, который был одновременно и храбрым солдатом, и сознающим свою ответственность государственным деятелем».

А некто Фриц Тобиас в 1959 году представил в Бонне новые «доказательства» того, что ни Геринг, ни другие нацисты не поджигали рейхстаг. Опубликовав эту сенсацию, журнал «Шпигель» торжествующе каркнул: «Одной из легенд века нанесен смертельный удар».

Этой же темой заинтересовалась и британская радиовещательная корпорация (Би-Би-Си). Поджогу рейхстага она посвятила специальную передачу для школ уже в 1963 году. Би-Би-Си втолковывает школьным учителям, что это-де Георгию Димитрову пришла в голову «ловкая идея» приписать поджог нацистам, и затем-де, мол, коммунисты сфабриковали множество доказательств в подтверждение этой выдумки.

А вот сенсационное свидетельство американца Келли, автора книги «Двадцать две камеры». Келли часто виделся в Нюрнберге с Герингом и другими подсудимыми. Ему хорошо знакомы материалы процесса. И он решил доверительно сообщить своим американским читателям, что, по его мнению, Геринг «был человеком больших идей, огромных предначертаний». Оценивая

результаты процесса и влияние последнего на репутацию Геринга, Келли кощунственно утверждает: «Нет сомнения в том, что Герман Геринг восстановил себя в сердцах своего народа. Нюрнбергский процесс только усилил его позиции».

Не обойден вниманием Альфред Розенберг. Он сам написал свои мемуары, сидя в Нюрнбергской тюрьме. Теперь они изданы и снабжены предисловием, где подчеркивается, что это — «великий идеалист», который «умер, глубоко и искренне веря в национал-социализм».

Еще один «великий идеалист» обнаружен в лице Рудольфа Гесса. Оказывается, он ни о чем так не заботился, как об утверждении мира на земле. Дело дошло до того, что шведские реакционеры выдвинули его на соискание Нобелевской премии мира. А английская газета «Сэнди экспресс» надрывно закричала: «Освободите его!»

Герингом, Гессом и Розенбергом далеко не исчерпывается круг лиц, по коим проливают слезу уцелевшие нацисты. И слеза эта особенная. Те, кто защищают сегодня «поруганную честь» Геринга и Гесса, Розенберга и Деница, в сущности, думают о себе. Реабилитируя главарей нацизма, они тем самым реабилитируют себя.

Бывший гросс-адмирал Карл Дениц, отбыв наказание по приговору Нюрнбергского трибунала, сам колесит ныне вдоль и поперек Западной Германии и читает лекции. О чем? О том, как он создал в нацистской Германии свирепую «волчью стаю» подводников и разбойничал на морских просторах. Милитаристская печать Бонна всячески рекламирует эти лекции и превозносит самого лектора, а правительство ФРГ платит пирату большую пенсию.

Так насилуется история, фальсифицируется правда о тех, кто вверг человечество в мировую войну и лично повинен в убийствах многих миллионов людей. Создавая мифы о нацистском режиме и нацистских главарях, фальсификаторы истории старательно обходят Нюрнбергский процесс, как опасные пороги на бурных потоках.

Подлинная история второй мировой войны, вопрос об ответственности за это преступление перед человечеством — одна из наиболее острых проблем в идеологической борьбе между сторонниками мира и его противниками. Идеологи империализма отлично понимают, что для развязывания новой войны нужно иметь не только атомные бомбы и ракеты, но и морально подготовленный народ.

В памятные тридцатые годы Гитлер и его подручные делали все, чтобы при помощи искусных пропагандистских приемов

обмануть немцев, представить им каждый новый агрессивный шаг Берлина как насущную необходимость, вызванную опасной для Германии политикой тех государств, против которых готовилась нацистская агрессия. Гитлеровская пропаганда особый акцент делала, конечно, на Советском Союзе, стремясь представить мирную советскую внешнюю политику как политику захватническую, агрессивную и таким образом оправдать в глазах немецкого народа разбойничье нападение на СССР. То же делается боннскими неонацистами и теперь. Иозеф Штраус прямо заявил, что вина за нападение нацистов на СССР целиком лежит на самом Советском Союзе, а Конрад Аденауэр поспешил разъяснить, что ни одна страна в мире не вела на протяжении последних десятилетий столько войн, сколько СССР.

Восстановить сегодня в памяти современников материалы Нюрнбергского процесса, вспомнить вынужденные, но весьма колоритные признания, сделанные на скамье подсудимых самими главарями «третьей империи», — значит содействовать созданию подлинной истории второй мировой войны, содействовать разоблачению неонацистских мистификаторов.

Многим сегодняшним политическим деятелям Запада только кажется, что они являются авторами тех или иных политических приемов, маневров или комбинаций. В действительности они самым бесстыдным образом повторяют зады политики Геринга, Риббентропа и иже с ними. Разве антикоммунизм, ставший ныне орудием политики Бонна, чем-то отличается от антикоммунизма Гитлера и Геринга? «Равенство в вооружениях!» — кричат сейчас в Бонне, зарясь на ядерное оружие. А разве о чем ином кричали гитлеровские министры Геринг, Шахт и другие? «Свободные выборы!» — надрываются боннские реваншисты. И это не ново. Каждый раз, когда я слышу такие истошные вопли, невольно вспоминается, как любили драть глотки о «свободных выборах» гитлеровцы.

Есть, пожалуй, и еще одно соображение, которое должно бы придать интерес воспоминаниям о Нюрнбергских подсудимых. Марксистская историография знает немало блестящих по своей разоблачительной силе политических портретов империалистических деятелей. Нюрнбергский процесс представляет хорошие возможности для того, чтобы обогатить эту галерею. Даже самые беглые зарисовки нюрнбергских подсудимых должны по идее дополнить рядом ярких деталей типический портрет современного империалистического политика.

Размеры книги не позволяют мне подробно остановиться на всех подсудимых. Я избрал лишь некоторых: Геринга,

Риббентропа, Кейтеля, Иодля, Кальтенбруннера, Шахта. Вряд ли требуется объяснять, что именно эти фигуры являлись ключевыми в гитлеровском правительстве и соответственно на нюрнбергской скамье подсудимых.

Не задаваясь целью писать их биографии, я ограничиваю рамки своего рассказа лишь тем, что видел сам и слышал на Нюрнбергском процессе.

II. Герман Геринг с близкого расстояния

Между Сциллой и Харибдой

Десять дней продолжался допрос Германа Геринга.

Десять дней внимание всего мира было приковано к его показаниям.

Восстанавливая в памяти огромный материал, устный и письменный, прошедший перед судом за те десять дней, и сопоставляя его со всем виденным и слышанным на Нюрнбергском процессе во все остальное время, я могу смело сказать: ни один из подсудимых, кроме Геринга, не являл собою такого невероятного, разительного совмещения черт современного империалистического политика — ложной сентиментальной чувствительности и садистской жестокости, внешней респектабельности и полной душевной опустошенности, фанатичной, казалось бы, одержимости идеей и циничной предельно полной безыдейности.

Историки утверждают, что Наполеон, потерпев поражение на полях России, искал смерти. Он понимал, что счастливая звезда его уже на закате, но не помышлял о самоубийстве — это было противно его натуре, Наполеон предпочитал смерть на поле сражения.

Ничего подобного не приходило на ум правителям гитлеровской Германии. Политические карьеристы и авантюристы, рука которых не колебалась, когда надо было отправить на освенцимский эшафот миллионы жертв, алчные стяжатели и мародеры, наживавшиеся на массовых убийствах, почуяв неизбежность катастрофы, отнюдь не искали смерти на полях сражений. Умирать за возлюбленное отечество, за великий немецкий фатерланд, за гениальные идеи «божественного» фюрера нацистские главари посылали других. Гнали уже на верную гибель шестнадцатилетних юнцов и шестидесятилетних стариков, женщин и больных. Гнали кого угодно, лишь бы самим выиграть еще день-два и, может быть, в последнюю минуту юркнуть в какую ни на есть лазейку, уйти, спрятаться, притаиться, выжить.

В течение почти года я смотрел на скамью подсудимых и никак не мог привыкнуть к мысли, что на ней плечом к плечу сидит почти все гитлеровское правительство, весь правительственный кабинет. Как же это случилось, что фашистским главарям не удалось скрыться, воспользоваться гостеприимством многих своих друзей за рубежом?

Меньше всего приходила на ум ассоциация с гибнущим кораблем, капитан которого стоит на мостике до конца и либо не

покидает корабль вообще, либо покидает его последним. Нет, не капитаны гибнущих кораблей, пусть даже разбойничьих, были перед нами. Заправилы фашистского рейха напоминали, скорее, корабельных крыс, всласть поживившихся в темных трюмах, пока дули попутные ветры, и пустившихся наутек, врассыпную, когда фашистское судно стало погружаться в бездонную пучину.

Но вернемся к фактам. Постараемся восстановить картину последних дней «третьей империи».

* * *

20 апреля 1945 года. Бункер имперской канцелярии. Гитлер встречает пятьдесят шестую годовщину своего рождения. Его поздравляют ближайшие подручные: Геринг, Гиммлер, Геббельс, Борман, Риббентроп, Шпеер, Дениц, Кейтель и Иодль. А через несколько часов эти преданные поздравители тайком от юбиляра и друг от друга спешат покинуть обреченный Берлин.

Герман Геринг — «верный паладин» Гитлера, как он любил называть себя в недавние лучшие времена, — избрал для себя Берхтесгаден. Ему так необходимы были тишина, спокойствие, возможность собраться с мыслями.

Он понимал, что игра подходила к концу. Вернее, не подходила, а стремительно, катастрофически, с бешено нарастающей скоростью мчалась к финишу — к той страшной черте, за которой уже не было ничего: ни фюрера, ни партии, ни великой Германии, ни самой жизни. Да, даже сама жизнь его была под вопросом. И если он, Герман Геринг, хотя и с трудом, с болью, мог еще принять потерю фюрера, великой Германии, потерю личной славы, богатства, могущества, то примириться с последней из этих тягчайших потерь — потерей жизни — он был не в состоянии. Спастись!.. Спастись любой ценой, любым способом!.. Эта мысль гнала его из Берлина почти так же, как поднимает и гонит зверя из берлоги животный инстинкт, безошибочно подсказывающий приближение опасности.

И Геринг бежал...

Едва приехав в Берхтесгаден, он заперся в кабинете и запретил беспокоить себя. Ему необходимо было остаться наконец одному, чтобы сосредоточиться на единственно важной в данный момент задаче: как, какими путями, какими мерами, каким способом сохранить себе жизнь...

Геринг не спал уже больше двух суток. План был продуман в деталях. Это был план спасения жизни не только Германа Геринга — речь шла о спасении жизни рейхсмаршала Геринга...

Как в кроссворде правильно проставленная буква дает решение по многим направлениям, так и намеченные им меры должны были улучшить положение почти по всем линиям. Став на основании закона от 29 июня 1941 года официальным преемником фюрера, он, Герман Геринг, может вполне официально вступить в переговоры о сепаратном мире с представителями западных союзных держав, в первую очередь с Эйзенхауэром.

В случае удачи (а Геринг верил в нее) это высвободит немецкие войска, занятые на западном фронте, и они будут брошены в решающую схватку с русскими, чтобы остановить катастрофическое продвижение последних. Рейхсмаршал помышлял даже о большем, неизмеримо большем: он надеялся на прямой союз с вчерашними врагами — Америкой и Англией, рассчитывал вместе с ними начать антикоммунистический поход против Советской России.

В сотый раз внушал себе Геринг, что только вступление в силу закона от 29 июня является той единственной волшебной нитью, которая позволит полностью размотать зловещий клубок проигранной войны. Одним этим актом, и только им можно было еще, по мнению Геринга, спасти собственную жизнь и даже нацистский режим, пусть несколько реформированный. Более того, при этом сбывалась наконец заветная мечта, главная цель его жизни: со второй роли он перейдет на первую, станет главой немецкого государства!

Все было так... Как будто так... Но тем не менее Геринг медлил. Медлил, хотя и понимал со всей отчетливостью, что промедление сейчас действительно смерти подобно. И не только потому, что кольцо русского окружения сжималось все больше и больше (каждый час мог быть последним для Берлина), но и потому, что другие приближенные Гитлера — Гиммлер, Борман, Дениц — могли в любую минуту опередить его, Геринга, в сговоре с союзниками. И тогда он останется ни с чем, а возможно, даже окажется козлом отпущения.

Однако Геринг был не в силах заставить себя перейти к действию. Страх, тяжкий страх перед Гитлером, перед нравами фашистского логова (кому, как не Герингу, знать эти нравы!), безмерный и неодолимый страх сковывал его волю.

Перелом наступил лишь утром, 23 апреля, когда в Берхтесгаден приехал из Берлина генерал Коллер, только накануне покинувший имперскую канцелярию. Сведения, привезенные им, сводились к следующему: Гитлер, потеряв последнюю надежду после провала предполагавшегося «наступления» Штейнера, заявил, что ему не остается ничего

более, как покончить жизнь самоубийством, и впал в состояние полной прострации.

«Верный паладин» сразу воспрял духом. В расчете на то, что «возлюбленного фюрера» уже нет в живых, да и во всяком ином случае выбраться из Берлина и нагрянуть в Берхтесгаден он никак не сможет, Геринг бросил все свои колебания и начал действовать. В имперскую канцелярию полетела следующая радиограмма:

«Мой фюрер, вы согласны с тем, что после вашего решения остаться в Берлине и защищать его, я возьму на себя на основе закона от 29 июня 1941 года все ведение дел империи внутри и вне. Если до 22 часов я не получу ответа, буду считать, что вы лишены свободы действий, и действовать по своему усмотрению».

Одновременно отдается распоряжение приготовить к утру самолет. Преемник Гитлера собирался незамедлительно вылететь в ставку американцев для переговоров с Эйзенхауэром. В успехе этих переговоров он уже не сомневался. Как свидетельствует генерал Коллер, за обедом в тот день Геринг сиял, «снова и снова подчеркивал, что с американцами и англичанами он может очень хорошо сработаться».

Однако радужным планам новоявленного фюрера не суждено было осуществиться. В ту же ночь по личному приказу, Гитлера Геринг и Коллер были арестованы.

* * *

Информируя Геринга о полной прострации Гитлера, генерал Коллер ничего не преувеличивал. Впоследствии это было подтверждено и другим генералом — Вейдлингом. Он так описывает свои впечатления от последней встречи с Гитлером: «Передо мной сидела развалина. Голова у него болталась, руки дрожали, голос был невнятный и дрожащий».

Но радиограмма Геринга, преподнесенная ему самим Борманом, моментально вывела этого полумертвеца из состояния отрешенности. Его охватило бешенство.

Гитлер и Геринг вели борьбу за власть, которой уже не располагали и не могли располагать ни тот, ни другой. Много лет назад они заглянули в лицо этого самого загадочного сфинкса — и с тех пор никто из них не в состоянии был отвести от него глаз. Они с наслаждением испытывали хмельное действие неограниченной власти — власти покорять себе всех и все, власти нападать на другие страны, власти сжигать людей на тремблинских и бухенвальдских кострах инквизиции. Они

привыкли играть роль судьбы для миллионов людей. И даже в те весенние дни 1945 года каждый из них стремился к удержанию или захвату этой власти.

Гитлер, который вместе со своим нацистским государством уже обеими ногами стоял в могиле, издает приказ, объявляющий Геринга изменником. На этом основании 23 апреля Геринг подвергается аресту. Арест был осуществлен частями СС, дислоцировавшимися в Бергофе.

«Верный паладин» слишком хорошо знал своего фюрера, чтобы спокойно ожидать дальнейшего развития событий. Он отнюдь не сомневался, что и в последние дни «третьей империи» не трудно будет найти двух-трех фанатичных эсэсовцев, которые с готовностью расстреляют его как изменника. Герман Геринг принимает меры. Он обращается за помощью к офицерам люфтваффе[8], и те освобождают его. Однако и после этого опасность расправы со стороны эсэсовцев не миновала. Полное избавление от нее Геринг видит лишь в американском плену.

Утром 9 мая 1945 года в штабе 36-й дивизии 7-й американской армии были несказанно удивлены визитом немецкого полковника Бернда фон Браухича. Он явился для ведения переговоров по поручению рейхсмаршала. Через него Герман Геринг оповещал вчерашних противников, что для себя лично он считает войну законченной и готов отдаться на милость победителей.

И вот уже командир 36-й американской дивизии мирно беседует с сановным «пленником». Геринг торопится выложить ему свое кредо, решительно отмежевывается от Гитлера и его своры. Он, Геринг, давно-де старался направить Германию по правильному пути, но ему мешали «узколобость фюрера», «эксцентричность Гесса», «подлость Риббентропа». Случай был слишком удобным, чтобы не напомнить американцам переданные ему как-то слова Черчилля: «Зачем нам все присылают этого Риббентропа, а не такого хорошего малого, как Геринг?..»

По просьбе Геринга к нему доставляют его семью, всю челядь и багаж на семнадцати грузовиках. Рейхсмаршал с удовольствием осматривает предоставленное ему помещение. Со стороны все это походило на прибытие в фешенебельный отель туриста-миллионера. Однако очень скоро ветреница-фортуна опять изменила Герингу: из роскошного особняка он угодил в тюрьму.

* * *

В длинном коридоре Нюрнбергской тюрьмы длинный ряд

тяжелых, одинаково прочных дверей. Он кажется бесконечным.

На каждой двери — «глазок». Над каждой дверью — «визитная карточка» кого-либо из бывших членов бывшего правительства нацистской Германии.

В камеру № 1 «вселили» Германа Вильгельма Геринга. В его распоряжении пять квадратных метров площади, стол, стул, койка, туалет. Этим, собственно, и ограничено все жизненное пространство бывшего рейхсмаршала «третьей империи».

Триста шестьдесят нескончаемо долгих дней и еще более долгих ночей провел здесь Герман Геринг в ожидании приговора международного суда. На неуютном жестком ложе тяжело ворочалось грузное тело в тщетных попытках забыться. В воспаленном мозгу еще и еще раз всплывали картины прошлого: «хрустальная ночь» и пламя рейхстага, «ночь длинных ножей» и пепел Освенцима, плененная Европа и сталинградский «котел». Вспоминались миллионы угнанных в неволю рабов, десятки миллионов убитых, расстрелянных, заживо сожженных, сотни миллионов военных прибылей.

А сквозь «глазок» в двери за мечущимся в бессоннице бывшим рейхсмаршалом зорко наблюдал дежурный охраны. Четыре державы стерегли военного преступника Германа Геринга.

Ровно в восемь тяжелая дверь распахивалась, и та же охрана конвоировала его по гулким коридорам тюрьмы в зал заседаний, чтобы посадить на пожизненно закрепленное за ним место — первое место в первом ряду главных военных преступников.

Линия мраморных гробов

За несколько месяцев, предшествовавших началу процесса в Нюрнберге, каждый подсудимый, несомненно, сумел подготовить свою позицию, разработать свою линию поведения в связи с обвинениями, характер которых вряд ли был большой тайной для кого-либо из них.

Разработал такую линию и Герман Геринг. Даже не одну, а две линии.

Первая предназначалась для себя. Внешне скрытый смысл ее заключался в том, чтобы использовать любую возможность избавиться от наиболее тяжких обвинений.

Вторая — для публики. Суть этой линии со всем лаконизмом выразил адвокат Геринга: «Рейхсмаршал защищает не свою голову, а свое лицо». Подсудимый № 1 стремился создать впечатление, что он примирился со смертью — единственным наказанием, которое трибунал изберет для него.

— Этот смертный приговор для меня ничего не значит, — уверял Геринг доктора Джильберта, — для меня гораздо важнее моя репутация в истории.

Конечно, все это было не больше чем бравадой. Мы еще не раз увидим, как Геринг пускался во все тяжкие, лишь бы как-то продлить свою жизнь. Однако он старательно разыгрывал роль обреченного и убеждал других подсудимых, что их тоже ждет неминуемая смерть. А коль скоро спасения нет, остается лишь вести себя так, чтобы потомство по-настоящему оценило стойкость и мужество бывших руководителей великой Германии.

Вот Геринг гуляет с Франком в тюремном дворе и всячески убеждает его примириться с тем, что жизнь кончена, и надо лишь с достоинством умереть смертью мученика. Как завзятый проповедник, Геринг обещает Франку загробную славу:

— Немецкий народ подымется, Ганс. Пусть это будет даже через пятьдесят лет, но он признает нас героями и перенесет наши полуистлевшие кости в мраморных гробах в национальный храм.

Франк, однако, не очень верил в такую перспективу. Он заметил Герингу, что через пятьдесят лет не только костей, но и вообще никаких следов от их пребывания на земле не останется. Так что гробы мраморные не понадобятся.

В ответ Геринг цинично сослался на легенду об Иисусе Христе. Его распяли на одном кресте, а потом появились миллионы крестов. И каждому люди поклоняются, каждый целуют. Целуют так, как будто именно на нем испустил свой

последний вздох Христос.

— Вот так будет и с нашими костями, — упрямо твердил Геринг. — Найдут чьи-нибудь кости, выдадут за наши, поместят в мраморные гробы, и потекут миллионы паломников, чтобы приложиться к мощам великомучеников...

Такого же рода беседы Геринг вел время от времени и с некоторыми другими подсудимыми. Главным образом с теми, кто, по его мнению, обнаруживал тенденцию к «чистосердечному раскаянию».

Избрав малопривлекательную роль «фюрера» скамьи подсудимых, Геринг постоянно оказывал давление на своих соседей, требовал, чтобы они ни в чем не признавались. И конечно, руководствовался при этом не только стремлением саботировать процесс. Гораздо больше его волновало другое. Геринг хорошо знал своих коллег по правительству и заранее предвидел, что если они начнут «признаваться», то уж непременно будут сваливать на него наиболее тяжкие обвинения.

Как бы подсознательно тут действовала и другая пружина. Тщеславному и дешевому позеру Герингу, сознававшему, что за процессом следит вся мировая печать, хотелось во что бы то ни стало произвести впечатление, будто он, несмотря ни на что, сохранил «веру в идею», именно на нем лежит главная ответственность за поведение других подсудимых. Геринг напоминал иногда дрессировщика с хлыстом внутри железного вольера, время от времени загоняющего зверя на тумбу.

Уже в первый день допроса он похвалялся перед Джильбертом:

— Не забывайте, что против меня здесь выступают самые лучшие юридические силы Англии, Америки, России, Франции со всем их юридическим аппаратом...

И конечно же, Геринг не мог скрыть своего удовлетворения, когда трибунал вынес решение, что по всем вопросам истории и программы нацистской партии показания может давать только он: представлялся случай еще раз дать понять другим подсудимым, что ему здесь отводится первая роль. После этого хлыст дрессировщика заработал с еще большей бесцеремонностью.

Вот Шпеер неожиданно сообщил суду о своих приготовлениях к покушению на Гитлера. Во время перерыва Геринг набрасывается на него с упреком:

— Вы не сообщили мне, что собираетесь говорить об этом.

А Шпеер и не думал согласовывать методы спасения своей шкуры с Герингом. Вечером он сказал с видимым возмущением:

— Геринг думал, что... может устроить спектакль и заставить

нас вытянуться в струнку, аплодировать ему, кричать «браво»...

Не уберегся от хлыста дрессировщика и Кейтель. На допросе по поводу казни пятидесяти пленных английских летчиков он вынужден был под давлением неопровержимых доказательств признать этот факт. Но стоило только бывшему фельдмаршалу вернуться после этого на скамью подсудимых, как бывший рейхсмаршал стал строго выговаривать ему:

— Зачем без нужды признавать себя виновным?

Геринг упивался славой в годы нахождения у власти. Эта страсть не оставила его и на скамье подсудимых. Гипертрофированное самомнение не давало ему покоя ни днем ни ночью и часто оборачивалось самой смешной своей стороной.

Когда Джексон произносил обвинительную речь, все заметили, что Герман Геринг очень усердно ведет какие-то записи. Потом доктор Джильберт рассказал мне, что бывший рейхсмаршал скрупулезно подсчитывал, сколько раз назывались в этой речи имена каждого из подсудимых, и, к своему великому удовлетворению, установил, что его имя было упомянуто сорок два раза, то есть значительно больше всех других.

Джильберт заметил Герингу, что если бы на скамье подсудимых сидел и Гиммлер, то он, видимо, еще больше популяризировал бы имя рейхсмаршала. Геринг сразу почувствовал подвох в этом замечании и поспешил объявить доктору, что отношения между ним и Гиммлером характеризовались политическим соперничеством:

— Я всегда считал, что первые сорок восемь часов после смерти Гитлера были бы для меня самыми опасными, потому что Гиммлер непременно попытался бы убрать меня с дороги. Придумал бы «несчастный случай в автомашине», или «сердечный приступ из-за смерти дорогого фюрера», или что-нибудь еще в этом роде... Но здесь, на скамье подсудимых, — с улыбкой продолжал Геринг, — он был бы, пожалуй, рад уступить мне первое место.

Что и говорить, Герман Геринг хорошо знал Генриха Гиммлера, хорошо понимал, что рейхсфюрер СС всегда счел бы для себя праздником тот день, когда можно будет принести венок на похороны рейхсмаршала. Впрочем, Геринг и сам мог дать Гиммлеру сто очков вперед по части «автомобильных катастроф» или «сердечных приступов», когда дело касалось его политических соперников.

Еще на заре нацистского режима, в августе 1933 года, Герман Геринг вызвал к себе виднейшего криминалиста прусской полиции Небе и дал ему задание «организовать» автомобильную катастрофу для Грегора Штрассера. Потом он великодушно

уступил и согласился, если потребуется, заменить автомобильную катастрофу «несчастным случаем на охоте».

Так что трудно сказать, кто у кого научился: Геринг у Гиммлера или Гиммлер у Геринга.

Политический старт

И своей биографией, и всем ходом своей карьеры Герман Геринг резко отличался от других подсудимых: и от той незначительной их части, которая почитала себя аристократией среди нацистской черни, и от той, которая рассматривала себя идеологической и политической основой режима. Всем своим прошлым Геринг как бы напоминал аристократам типа Нейрата и Папена, что происходят они из одной и той же среды. А всей своей практической деятельностью Геринг как бы говорил, что он человек дела, человек действия, в отличие от «чистых демагогов» типа Розенберга и Штрейхера.

Родился Герман Геринг в 1893 году в Баварии. Отец его был губернатором в Юго-Западной Африке, поддерживал тесные связи со многими английскими государственными деятелями, в особенности с Сессилем-Родом и Чемберленом-старшим, симпатизировал Бисмарку. Добрую половину своей юности будущий рейхсмаршал провел в Австрии.

— Расскажите коротко трибуналу вашу биографию до начала первой мировой войны и во время ее, — обратился к Герингу его адвокат Штамер.

И Геринг начал:

— Обычное воспитание — сначала домашний учитель, затем кадетский корпус, потом действительная служба в армии в качестве офицера... К началу первой мировой войны я был лейтенантом в пехотном полку... С октября тысяча девятьсот четырнадцатого года стал летчиком, сначала на самолете-разведчике, затем недолго на бомбардировщике. К осени тысяча девятьсот пятнадцатого года я — летчик-истребитель. Был тяжело ранен в воздушном бою. По выздоровлении стал командовать отрядом истребителей, а затем, после того как разбился Рихтхофен, был назначен командиром известной в то время эскадрильи Рихтхофена...

В те далекие годы жирная физиономия Германа Геринга, казавшаяся немецким мещанам идеалом красоты и мужества, не сходила со страниц иллюстрированных журналов. И нетрудно было заметить, наблюдая Геринга в зале Нюрнбергского суда, с каким самодовольством сам он вспоминает о том времени, когда только что начиналась длинная и кровавая карьера будущего рейхсмаршала.

Сообщая о своих наградах, Герман Геринг предпочел умолчать, за что они получены. Он опустил такие детали, как разрушение его эскадрильей мирных городов. И уж совсем не

кстати показалось Герингу напоминать судьям в Нюрнберге, что имя его еще в 1918 году было занесено в списки военных преступников...

Поражение Германии в первой мировой войне ничему не научило германских милитаристов. Очень скоро они опять начинают бряцать оружием, готовят создание рейхсвера. Многие друзья Германа Геринга вступают в новую армию. Геринг отказывается. Идейные соображения? И да, и нет.

— Я отклонил предложение вступить в рейхсвер, так как с самого начала находился в оппозиции к республике, которая была создана революцией. Я не мог бы сочетать это со своими принципами.

Как видно, чувство глубокого почитания внутренней политики Бисмарка с большой силой передалось от отца к сыну. Герман Геринг расстается с постылой ему республикой и уезжает за границу. Уезжает якобы затем, «чтобы там создать себе положение», а точнее говоря, скрывается там от ответственности за свои военные преступления.

Он странствует по Скандинавии. В Швеции служит гражданским летчиком. Но как только в Германии явно запахло жареным, возвращается туда.

В октябре или ноябре 1922 года ему пришлось присутствовать в Мюнхене на митинге протеста против выдачи Антанте германских «военных руководителей». Геринг не склонен называть вещи своими именами, ибо иначе он должен был бы сказать «военных преступников». И уж совсем скромничает подсудимый № 1, когда заявляет суду, что попал на тот митинг «как зритель, не имея к нему никакого отношения». Он знал, конечно, что и его имя красовалось в списке лиц, подлежащих выдаче Антанте.

Там, на этом митинге, Герман Геринг впервые услышал имя Гитлера: кто-то потребовал, чтобы Гитлер выступил! И Геринг был в восторге от того, что его будущий кумир отказывается выступать «в кругу этих ручных бюргерских пиратов». Гитлер считал бессмысленным «посылать протесты, которые не имели никакого веса».

Геринг быстро разобрался, о каком весе шла речь. Словесным протестам вскормленный Людендорфом Гитлер явно предпочитал новую германскую армию, восстановленный прусский милитаризм.

— Это мнение буквально совпадало с моим, — показывает бывший рейхсмаршал перед лицом Международного трибунала. — Таковы были и мои задушевные мысли... После этого я пошел в партийную организацию НСДАП...

Он пошел к Гитлеру, уже хорошо осведомленный, что слово «социализм» в названии партии ровным счетом ничего не значит. Для бравого офицера кайзеровской армии там сразу же нашлась подходящая работа. Ему доверили создание национал-социалистских вооруженных отрядов, этой преторианской гвардии Гитлера.

Именно к Герингу питали наибольшее доверие германские промышленники, имея в виду его прошлое. Через него и поступали от них средства на содержание этой гвардии. Постепенно он становится важнейшим посредником между рейхсвером и монополистами, с одной стороны, и гитлеровской партией — с другой.

Геринг подробно рассказывает суду об этом этапе своей карьеры. Рассказывает с таким внешним спокойствием и даже трудно скрываемой гордостью, как будто выступает перед нацистской аудиторией.

— Так дело очень скоро дошло до событий девятого ноября тысяча девятьсот двадцать третьего года[9], — подводит он итог. — Дальнейшее общеизвестно: меня тяжело ранили у памятника погибшим национал-социалистам в Мюнхене. Этим я заканчиваю первую главу своего повествования.

Доктор Штамер явно доволен своим подзащитным: «Великий человек защищается по-великому». Он дает ему «перевести дух» и предлагает следующий вопрос:

— Когда же вы опять установили связь с Гитлером после ранения?

И Герман Геринг приступает ко «второй главе».

После неудачи мюнхенского путча он предпочел снова бежать за границу. Там узнал, что Гитлер и некоторые другие активные участники путча арестованы и преданы суду. Сам он в суд, конечно, не является и ведет широкий образ жизни сначала в Инсбруке, затем в Италии, без стеснения пользуясь средствами своей жены.

В Германию Геринг возвращается вновь лишь в 1927 году и с еще большим рвением борется за укрепление нацистской партии. Гитлер высоко ценит его тесные связи с финансовыми и военными кругами. Однако руководство партийными вооруженными отрядами поручает не ему, а Эрнсту Рему. Это вызывает у Геринга некоторое недовольство и в то же время как бы подстегивает его. Герман Геринг блестяще проводит ряд комбинаций и за короткое время настолько укрепляет свои позиции, что становится одной из ведущих фигур фашистского движения. Симпатии крупнейших магнатов Германии по-прежнему на его стороне. Круппу и Тиссену, Флику и Клекнеру

очень импонирует то, что он свободен от псевдосоциалистической фразеологии, характерной для других деятелей нацистской партии. Она нужна, эта фразеология, но тем не менее раздражает сильных мира сего.

Всем своим поведением Геринг стремится упрочить за собой репутацию человека волевых и активных установок. Он с отвращением относится ко всякого рода парламентаризму. Его идеал — полное единовластие, фашистская диктатура. Он не хочет делить власть даже с так называемым националистическим лагерем Папена и Гугенберга.

И здесь, конечно, не только «идейные» соображения. Герман Геринг самый большой эгоцентрист в нацистской партии. Он фантастически тщеславен, себялюбив и хорошо понимает, что если национал-социалисты придут к власти в коалиции с другими реакционными буржуазными партиями, то монополистическая верхушка станет опираться не только на него, как главного выразителя своих интересов. В других партиях могут обнаружиться более талантливые ее адвокаты.

Иное дело, если национал-социалистская партия станет монопольно правящей партией. В рамках созданной этой партией государственной машины Геринг, несомненно, окажется ключевой фигурой, возьмет в свои руки весь правительственный и полицейский аппарат. Вот тогда-то, и только тогда он будет для рурских властителей самым приемлемым, истинно своим человеком.

Герман Геринг внушает значительной массе больших и малых партийных чиновников, офицерам рейхсвера и деклассированным слоям интеллигенции, что лишь при единовластии фашистской партии они смогут рассчитывать на теплые местечки. С другой стороны, он обольщает буржуазию созданием мощного полицейского кулака, единственно способного в этом беспокойном мире защитить ее интересы.

Пруссак по воспитанию и по натуре, бонапартист по характеру, Геринг соответственно обставляет свою архибуржуазную берлинскую квартиру. На одной из стен его кабинета укрепляется огромный меч германского средневекового палача, что должно символизировать методы, с помощью которых Геринг намеревается вести борьбу за власть. На письменном столе вместо электрических ламп стоят огромные канделябры с зажженными свечами. При их трепетном мерцании Геринг кажется сам себе средневековым патрицием.

Весь кабинет увешан портретами гогенцоллернов, кайзера и кронпринца. Рядом с ними Бенито Муссолини. Но напротив своего рабочего кресла Геринг отвел место для Наполеона

Бонапарта. По ночам, при свете свечей, он пристально смотрит в глаза этого крупнейшего политического карьериста прошлого века, как бы советуясь с ним. Геринг явно мечтает о карьере «великого корсиканца» и уж, конечно, из всех нацистских бонз считает только себя имеющим основание и право на такую мечту...

Этот кабинет все чаще и чаще посещают напуганные ростом революционного движения германские банкиры и промышленники. И Геринг говорит с ними языком, свободным от псевдосоциалистической демагогии нацизма. Пусть Адольф Гитлер и Альфред Розенберг выступают с трескучими речами. Гитлер как-то назвал себя «национальным барабанщиком». Пожалуйста! Пускай роль политических демагогов будет за ними. Ему, Герингу, ни к чему эта псевдоромантика, этот мещанский социализм.

Приближаются решающие дни борьбы за власть. 28 января 1932 года в замке Ландсберг, принадлежащем монополисту Тиссену, происходило секретное совещание: три директора Стального треста (Тиссен, Пенсген и Феглер) встретились с тремя китами национал-социализма — Гитлером, Герингом и Ремом. Но впереди еще год больших политических битв. В августе на выборах в рейхстаг нацисты собрали 37 процентов всех поданных голосов. Это была вершина успеха, которого они когда-либо достигали в избирательной борьбе. Но в последующие месяцы нацистская партия резко скомпрометировала себя связями с крупными монополиями, была разоблачена левыми партиями и вследствие этого 6 ноября потеряла два миллиона голосов.

На процессе в Нюрнберге Геринг вынужден был признать, что именно в то время особенно усилились позиции германской коммунистической партии:

— За нее было подано свыше шести миллионов голосов, а ее соединения «Рот Фронт» являлись весьма революционно настроенным орудием захвата власти.

Гитлер понимал, что, если не принять самые экстраординарные меры, депрессия нацизма может привести к полному его поражению. Многие из подручных фюрера явно растерялись. Только Геринг в эти дни продолжал энергично действовать, и в результате его переговоров с магнатами промышленности 19 ноября 1932 года шредер, Крупп и другие монополисты обратились с письмом к президенту Гинденбургу, категорически требуя назначить Гитлера рейхсканцлером.

Наступает февраль 1933 года. В доме Германа Геринга опять собираются представители крупнейших монополий. Гитлеру нужны деньги, чтобы успешно провести подготовку к выборам,

назначенным на 5 марта. Геринг хорошо знал, что может произвести наибольшее впечатление на собравшихся.

— Господа, — сказал он, — жертвы, которые требуются от промышленности, гораздо легче будет перенести, если промышленники смогут быть уверены в том, что эти выборы будут последними на протяжении следующих десяти лет и, может быть, даже на протяжении следующих ста лет.

«Господа» не заставили себя упрашивать. За несколько минут было собрано три миллиона марок.

День 5 марта 1933 года стал черным днем Европы. В Германии к власти пришел фашизм.

Геринг сосредоточивает в своих руках важнейшие посты: становится президентом рейхстага, имперским министром воздушного флота и прусским министром внутренних дел. Не без гордости он сам провозглашает себя «человеком № 2», хотя в душе лелеет мечту стать первым номером. И Геринг действительно стал им, но только когда оказался уже в Нюрнберге и явно ощутил на шее веревку.

Существо непомерного, патологического тщеславия, он даже в те трагические для него дни не мог скрыть своего удовлетворения, когда обвинитель Джексон, обращаясь к нему, сказал:

— Возможно, вы осознаете, что вы единственный оставшийся в живых, кто может полностью рассказать нам о действительных целях нацистской партии и о работе руководства внутри партии?

— Да, я это ясно осознаю, — самодовольно отозвался Геринг.

А дальше между обвинителем и подсудимым № 1 произошел такой диалог:

Джексон. Вы с самого начала намеревались свергнуть и затем действительно свергли Веймарскую республику?

Геринг. Что касается меня лично, то это было моим твердым решением.

Джексон. А придя к власти, вы немедленно уничтожили парламентарное правительство в Германии?

Геринг. Оно нам больше не нужно было.

Герману Герингу не нужно было и многое другое.

Он с легкостью обошелся бы без Гинденбурга. Если бы не рейхсвер, Геринг не постеснялся арестовать престарелого президента.

Ему претили жалкие представители национального лагеря — все эти папены, шлейхеры, гугенберги. Геринга долго тошнило от «честного слова» Гитлера, данного Гинденбургу в том, что он, фюрер, никогда не расстанется с ними.

Но конечно, прежде всего надо было разделаться с

коммунистами. Требовался сильный удар, способный уничтожить всех, кто оказался на пути установления полного единовластия нацизма. Изощренный в провокациях мозг Германа Геринга работает в этом направлении денно и нощно, Геринг завидовал своему кумиру Бонапарту: у того на службе находился гениальный полицейский ум Жозефа Фуше, а тут требовалось придумывать все самому.

«Это дерьмо, а не политическое коммюнике»

И Герман Геринг придумал. Придумал нечто такое, что заставило его дважды давать объяснения на судебных процессах: один раз в качестве свидетеля в Лейпциге, другой — в качестве обвиняемого в Нюрнберге.

Читателю уже хорошо известен этот зловещий эпизод мировой истории. В ночь на 27 февраля 1933 года, озаренный пламенем пожара, Геринг стоял вместе с Гитлером на балконе и наблюдал, как горит рейхстаг, символ Веймарской республики. Красные языки пламени бросали свое отражение в темное небо Берлина.

В Нюрнберге Германа Геринга попросили вспомнить некоторые детали того странного пожара.

Может встать вопрос, нужно ли было заниматься этим делом международному суду, если даже на Лейпцигском процессе Димитров и его друзья коммунисты были оправданы? Да, они были оправданы, но кто же все-таки поджег рейхстаг? Лейпцигский суд ответил: Ван дер Люббе. В своем приговоре он был далек от того, чтобы бросить тень на нацистских заправил. Нашел Фауста, и достаточно. А кто же все-таки Мефистофель?

Как мы уже знаем, много лет спустя после второй мировой войны западногерманский журнал «Шпигель» сообщит, будто на основании новейших изысканий стало ясно, что Герман Геринг здесь ни при чем. Неужто так-таки и «ни при чем»?

Американский обвинитель Джексон допрашивает Геринга:

— Вы и фюрер встретились во время пожара, не так ли?

— Да.

— И здесь же на месте решили арестовать всех коммунистов, которые значились в составленных заранее списках?

Геринг юлит. Он еще не знает, какими лично против него доказательствами располагает обвинение.

— Мне не имело никакого смысла поджигать рейхстаг... Впрочем, я не сожалел, что это здание было сожжено, так как с художественной точки зрения оно не представляло ценности...

И дальше, обнаруживая уже откровенный политический цинизм, он заявляет:

— Но я очень сожалею, что вынужден был искать новый зал для заседаний рейхстага. И так как не нашел ничего другого, я должен был использовать здание королевской оперы. Между тем мне всегда казалось, что опера значительно важнее, чем рейхстаг.

Геринг полагал, что он легко обойдется подобного рода циническими сентенциями: ведь прошло много лет, и не только от рейхстага, но и от самого Берлина почти ничего не осталось. И тем не менее кое-что все-таки сохранилось. «Кое-что» вполне достаточное, чтобы уличить Геринга!

Обвинитель спрашивает Геринга: известны ли ему Карл Эрнст, Хельдорф и Хейнес? Геринг признает, что это его люди из штурмовых отрядов. Тогда Джексон ссылается на заявление Карла Эрнста о том, что они все трое поджигали рейхстаг по заданию Геринга.

За этим первым ударом следует другой: обвинитель предъявляет показания бывшего начальника нацистского генерального штаба генерала Гальдера, который утверждает, что в день рождения Гитлера в присутствии всех гостей Геринг рассказывал, как он организовал поджог рейхстага.

Потом следует допрос Гизевиуса — видного гестаповского чиновника. Уж он-то знал подробности. Гизевиус показывает:

— Десять благонадежных штурмовиков были подготовлены для производства поджога. Геринга после этого проинформировали о всех деталях плана, так что он в тот вечер «случайно» не выступал с предвыборной речью, а до очень позднего времени сидел за своим столом в министерстве внутренних дел в Берлине... По указанию Геринга с самого начала было решено все свалить на головы коммунистов...

Попутно выясняется бесславный конец одного из исполнителей провокации — Реля. Он совершил какое-то уголовное преступление, был исключен из СА и лишен вознаграждения за то, что лично поливал стены рейхстага горючей жидкостью. Разгневанный этим, провокатор решил в отместку обратиться с соответствующим заявлением к имперскому суду в Лейпциге, рассматривавшему дело Димитрова. Рель был настолько неосторожен, что поделился своими намерениями со следователем уголовной полиции. Донесение об этом немедленно легло на стол Геринга, после чего поджигатель прожил только сутки.

Поплатился за свой длинный язык и обербрандмейстер Берлина Вальтер Гемп. При расследовании причин пожара он так некстати узнал и разболтал другим, что в злополучную ночь на 27 февраля 1933 года по личному приказанию Геринга помещение рейхстага было оставлено без обычной охраны и все служащие в обязательном порядке покинули его до 20 часов. Об этой болтовне Гемпа гестапо сразу же доложило Герингу, а тот в подобных случаях не признавал полумер. У обербрандмейстера моментально обнаружились какие-то «служебные нарушения».

Под этим предлогом его затолкали в тюремную камеру и вскоре нашли там мертвым.

Но вернемся к ночи на 27 февраля 1933 года. Итак, Геринг, засидевшийся в министерстве внутренних дел, увидел из окна своего кабинета пламя над рейхстагом.

— Это начало коммунистического восстания! — восклицает он.

Каков провидец?!

Шеф гестапо Дилс, которому были адресованы эти слова, вспоминает, что лицо Геринга пылало от возбуждения. Геринг кричал. Казалось, он совсем терял самообладание.

Мартин Зоммерфельд — пресс-референт Геринга — получает приказание тут же на месте пожара дать официальное сообщение для газет. В тексте, подготовленном Зоммерфельдом, примерно двадцать строк. Сообщение включало в себя данные о самом факте пожара, работах пожарных и первых полицейских расследованиях. Герингу дают этот текст на утверждение.

— Дерьмо, — рычит Геринг. — Это полицейское сообщение, а не политическое коммюнике.

Зоммерфельд указывал, в частности, что вес обнаруженного горючего определен в один центнер.

— Чепуха! — возмущается Геринг. — Десять, сто центнеров!

Красным карандашом он пишет на листе бумаги толстую сотню. Затем зовет свою секретаршу и сам диктует ей новый текст сообщения:

«Этот поджог — самый чудовищный, террористический акт большевизма в Германии. После этого должны были быть подожжены все правительственные здания, замки, музеи и другие жизненно необходимые помещения. Рейхсминистр Геринг предпринял самые чрезвычайные мероприятия против этой ужасной опасности».

Под «чрезвычайными мероприятиями» следовало понимать развертывание накануне выборов самого разнузданного террора против коммунистической партии и других демократических организаций, сопротивлявшихся установлению в стране фашистского режима.

С тех пор прошло двенадцать лет. Геринг в одной из комнат нюрнбергского Дворца юстиции. Против него сидит представитель обвинения доктор Кемпнер. Идет очередной допрос.

Следователь. Как вы могли без производства расследования сказать вашему пресс-агенту спустя час после начала пожара в рейхстаге, что это сделали коммунисты?

Геринг. Разве офицер, занимающийся вопросами печати,

сказал, что я это говорил?

Следователь. Да, он сказал, что вы это говорили.

Геринг. Возможно... Когда я пришел в рейхстаг, фюрер и его свита были там... Я тогда сомневался, но они считали, что поджог произведен коммунистами.

Следователь. Но ведь вы являлись в известном смысле высшим правительственным чиновником... Не было ли слишком преждевременным заявлять без расследования, что рейхстаг подожгли коммунисты?

Геринг. Да, это возможно. Но так хотел фюрер.

Конечно, фюрер так хотел. Но так хотели и Геринг и Геббельс, авторы и режиссеры этой чудовищной провокации.

Уже во время процесса адвокат доктор Штамер сообщил своему подзащитному, что разыскан важный для него свидетель — единственный сохранившийся из лиц, участвовавших в тушении подожженного рейхстага. Но Геринг вовсе не обрадовался этому сообщению. Наоборот, он даже как-то обмяк сразу и просил Штамера быть осторожнее в выборе свидетелей, не слишком полагаться на их показания, когда дело касается поджога рейхстага.

— В конце концов, если СА действительно подожгли рейхстаг, то отсюда вовсе не следует, что я что-нибудь знал об этом...

Вот ведь как заговорил сам Геринг через двенадцать лет после позорного лейпцигского судилища!

Ночь длинных ножей

За поджогом рейхстага последовала длинная полоса ужасных преступлений нацистов против свободы и достоинства немецкого народа, а затем и других народов Европы. И одним из самых злых демонов этой кровавой драмы был Герман Геринг, человек действительно неуемной энергии и недюжинных организаторских способностей.

Геринг создает гестапо, широко используя его как орудие расправы с политическими противниками. Пытки в темных подвалах и расстрелы без суда становятся обычным методом борьбы с оппозицией. В стране вводится так называемое превентивное заключение — появляются концентрационные лагеря.

Уже 28 февраля 1933 года, на следующий день после пожара в рейхстаге, Геринг выступает на заседании нацистского правительства с предложением об издании чрезвычайного закона против коммунистов. Предложение это было принято. Правительство Гитлера единым махом присвоило себе законодательные права. Оно отменяет действие конституционных гарантий свободы личности, свободы выражать свое мнение, свободы печати. Запрещаются все коммунистические газеты. Рейхстаг превращается в бесправную говорильню, нацистский балаган.

Нанося главный удар по коммунистической партии, Геринг не забывает и социал-демократов. «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Социал-демократическая партия, которая подобно лестнице помогла Гитлеру и Герингу подняться к власти, теперь отбрасывается в сторону. Герман Геринг неспроста смеялся, читая в «Форвертсе»[10] от 31 января 1933 года, что социал-демократия «с глубоким удовлетворением» приветствует заявление министра Фрика, будто нацисты стоят «на почве легальности». Менее чем через месяц он сам популярно объяснил социал-демократам, что «на почве легальности» их партия объявляется распущенной. А через двенадцать лет на Нюрнбергском процессе подсудимый № 1 показывал:

— Одну часть функционеров СДПГ составляли радикалы, другая часть была настроена менее радикально. Радикалов я тотчас взял под стражу, в то время как многие социал-демократические министры, обер-президенты и высшие чиновники, совершенно спокойно распрощавшись со службой, получали свои пенсии и ничего против нас не предпринимали.

Геринг строго руководствовался двумя главными

установками: во внешней политике — агрессия (прежде всего против Советского Союза), во внутренней политике — полный разгром демократии. И он искренне считал, что успешное решение этих двух генеральных задач непосредственно зависит от того, насколько успешно будет развиваться его собственная карьера. Созданный им мощный полицейский аппарат следил за деятельностью всех и вся.

Герингу становится известным, что с Гитлером время от времени встречается национал-социалист Грегор Штрассер. Сегодня Штрассер вне правительства, но кто знает, не захочет ли фюрер сделать ставку на Штрассера в новой правительственной комбинации?

С еще большей тревогой наблюдает «железный Герман» за Эрнстом Ремом — руководителем многочисленных отрядов СА. Эти отряды, именовавшиеся «сильной рукой партии», затевали в свое время стычки в пивных и использовались для уличных боев против политических противников. К 1933 году в СА насчитывали шестьсот тысяч отъявленных головорезов. После прихода Гитлера к власти численность отрядов СА умножилась до трех миллионов. Туда хлынули разорившиеся лавочники, мелкие служащие, оказавшиеся без работы. Эта публика с нетерпением ожидала, что фашистское правительство улучшит их положение. Но очень скоро вскрылась демагогичность нацистской пропаганды. Многие из членов этих отрядов заметно отрезвели, когда их массами стали загонять на принудительные работы. Среди них пошли разговоры о необходимости «новой революции». Эрнст Рем принимал меры к подавлению этого брожения в отрядах СА, но в то же время он пытался использовать недовольство штурмовиков в своих личных целях. У Рема возникает мысль о превращении отрядов СА в регулярные войска, о слиянии их с рейхсвером. Он мечтает стать во главе германских вооруженных сил и таким образом потеснить Геринга на второй план.

Однако Геринг упреждает своего давнишнего соперника. Никто лучше его не знал, чем можно намертво привязать к себе Гитлера, лишить фюрера остатков здравомыслия. Геринг подсовывает Гитлеру десятки полицейских донесений о «зреющем заговоре, во главе которого стоит сам Рем». В одном из них сообщалось, в частности, что командир штурмовиков Силезии стрелял в портрет фюрера и сулил при этом поступить так же с живым Гитлером, если тот «предаст революцию и свои штурмовые отряды». Одновременно Геринг ловко использует и другое обстоятельство — недовольство генералитета существованием наряду с регулярной армией каких-то самостийных вооруженных отрядов численностью до трех

миллионов человек.

Он отлично понимал, что коль скоро Гитлер сделал ставку на союз с крупной буржуазией, на союз с рейхсвером, его уже нетрудно будет убедить в необходимости разделаться с руководством штурмовыми отрядами. Стычки в пивных — пройденный этап. Теперь у фюрера имелась опора более надежная, чем штурмовики.

И вот цель наконец достигнута. Гитлер принимает решение о ликвидации «ужасного заговора» СА.

Главные роли распределяются так: сам фюрер вместе с Розенбергом едет в Мюнхен, где находится Рем, а Геринг «берет на себя Берлин».

«Железный Герман» стреляет без промаха, не забывая, кстати, и тех, кто участвовал в поджоге рейхстага (на кой черт оставлять нежелательных свидетелей!). Именно в эту ночь были убиты Хейнес, Эрнст и другие непосредственные исполнители провокации, предпринятой в ночь на 27 февраля 1933 года.

А пока Геринг расправлялся с «заговорщиками» в Берлине, Гитлер убирал его соперника в Мюнхене. Рем был схвачен, доставлен в тюрьму и расстрелян там эсэсовцами.

В «ночь длинных ножей» не погиб ни один руководитель СА, который не заслужил бы смертного приговора на судебном процессе. Но, устраивая эту кровавую бойню, Геринг меньше всего руководствовался идеями справедливого наказания.

Брожение в отрядах СА явилось признаком назревавшего кризиса в отношениях между нацистским правительством и стоявшими за его спиной монополистами и генералитетом, с одной стороны, и массами мелкой буржуазии — с другой. Этот кризис надо было ликвидировать, а заодно рассчитаться и с Ремом. Потому-то Герман Геринг стал такой решающей фигурой в проведении «операции расставания». Устранение своего политического соперника и дальнейшее укрепление союза с монополиями и милитаристской верхушкой он считал делом первостепенной важности. Ради этого можно было прикончить несколько сот своих вчерашних друзей и сообщников. Игра стоила свеч.

Почему поссорились адвокаты Геринга и Шахта?

Геринга явно не удовлетворял пост командующего военно-воздушными силами Германии. Втайне он, как и Рем, давно лелеял мечту стать верховным главнокомандующим. Но коль скоро такая возможность не представлялась, ему хотелось на худой конец иметь в руководстве вермахтом более податливых генералов.

Интриган до мозга костей, Геринг не прочь был перетряхнуть руководящий состав военного министерства и генерального штаба. Но здесь, конечно, не устроишь «ночь длинных ножей». За три-четыре года, прошедших после той ночи, генералы эти показали, что без них и думать нечего о реализации нацистских внешнеполитических программ. И вот провокаторский талант Германа Геринга засверкал новыми гранями.

Нежданно-негаданно вдруг разодрались его защитник доктор Штимер и защитник Шахта доктор Дикс. Это был, пожалуй, один из немногих случаев публичной ссоры адвокатов на Нюрнбергском процессе.

Что же случилось?

В судебном зале шел допрос свидетеля Гизевиуса, человека с весьма колоритной биографией. В прошлом видный чиновник гестапо, он еще до войны и более активно в ходе ее примкнул к заговору против Гитлера.

Гизевиуса допрашивали долго. И когда, казалось, дело близилось уже к концу, он вдруг попросил разрешения отклониться от рассматриваемой темы и сообщить об инциденте, происшедшем в его присутствии в комнате защиты. Как только свидетель произнес эти слова, защитник Геринга доктор Штамер с непривычной для него быстротой появился у трибуны, не слишком тактично отстранил от микрофона своего коллегу доктора Дикса и весьма экспансивно стал протестовать.

Зал притих. Геринг нервно заерзал на своем месте, исподлобья бросил злобный взгляд на Шахта. Разве тот упустит случай подставить ему ножку?

А свидетель тем временем уже начал давать показания о том, что, строго говоря, не очень-то интересовало суд. Оказывается, до начала судебного заседания доктор Штамер подошел в адвокатской комнате к доктору Диксу, прервал его разговор с Гизевиусом и объявил, что Герингу безразлично, будет или не будет Гизевиус предъявлять какие-либо обвинения ему самому.

Геринг озабочен другим: совсем недавно в Нюрнбергской тюрьме умер бывший германский военный министр Бломберг и из уважения к памяти старого солдата очень не хотелось бы, чтобы перед общественным мнением раскрылась одна весьма неприятная страница его жизни. Геринг верит в порядочность Шахта и его адвоката, надеется, что они не будут использовать в этих целях свидетеля Гизевиуса. А в противном случае...

Что должно было произойти в противном случае, уточняет доктор Дикс. Он воспроизводит следующие слова Штамера, адресованные ему:

— Слушайте, коллега, Геринг считает, что Гизевиус может нападать на него сколько угодно. Но если он будет нападать на умершего Бломберга, то Геринг выложит все о Шахте. Он знает о нем многое такое, что было бы Шахту неприятно услышать в суде...

Конечно, Геринг меньше всего был озабочен репутацией Бломберга. Ему просто не хотелось еще раз предстать перед судом и историей в роли грязного провокатора. Очень уж она дурно пахла, эта история с покойным фельдмаршалом, искусно подстроенная Герингом, чтобы освободить кресло военного министра.

На старости лет Бломберг решил жениться на некоей молодой соблазнительнице Эрике Грун. Но как на грех, когда все уже было решено, ему стало известно о весьма нелестной репутации этой дамы. Как быть? Фельдмаршал решил посоветоваться с Герингом. А Герман Геринг давно уже организовал слежку за теми, кого хотел свалить. Он хорошо знал, что Эрика Грун была зарегистрирована в семи крупных германских городах как особа легкого поведения.

Однако, когда Бломберг явился за советом — удобно ли ему вступать в брак «с дамой низкого происхождения», — Геринг всячески постарался рассеять сомнения старика. Уверившись в «добрых чувствах» рейхсмаршала, Бломберг через некоторое время нанес ему новый визит и пожаловался, что к его даме сердца пристает ее старый любовник. Геринг и на этот раз не отказал Бломбергу в «дружеской» помощи. По указанию рейхсмаршала незадачливого донжуана вызвали куда следует, сделали внушение, дали денег и выслали из Германии.

Затем последовала пышная свадьба Бломберга. Конечно с участием Геринга. А тот явился не один: он осчастливил новобрачных приглашением на их семейное торжество самого фюрера.

Но уже на следующий день Геринг «вдруг узнает всю правду» и с «возмущением» сообщает о ней Гитлеру. Заодно рейхсмаршал

позаботился и о том, чтобы тщательно подготовленный им скандал получил широкую огласку в Берлине.

И Бломберг сразу получил отставку.

В дальнейшем, однако, события начинают развиваться совсем не в том направлении, о каком помышлял Геринг. У Гитлера зреет мысль назначить вместо Бломберга генерала Фрича, в то время командовавшего сухопутными силами.

Геринга эта кандидатура никак не устраивала. Фрич — человек с сильным характером, с самостоятельными взглядами, хорошо усвоил национал-социалистскую идеологию. Он почитал Гитлера и в день его рождения в 1936 году писал юбиляру:

«Я и сухопутные силы следуем за Вами в гордой уверенности и в священном доверии по пути, которым Вы идете первым во имя будущего Германии».

А вот к Герингу генерал относился совсем иначе: без должного почтения и даже с трудноскрываемым скептицизмом. Зачем же допускать такого на место только что свергнутого Бломберга?

Снова пришлось рейхсмаршалу плести сеть интриг.

В те годы полиция усилила борьбу с гомосексуалистами. И тут как раз в руки гестапо попало заявление одного каторжника о самом неблаговидном поведении некоего господина, не то Фриша, не то Фрича. Каторжник точно не мог вспомнить фамилии.

Тотчас же по приказанию Геринга этого каторжника доставили во дворец Каринхалл. Рейхсмаршал лично допросил его и пригрозил смертью, если тот не подтвердит, что речь идет именно о генерал-полковнике Фриче. После такого допроса с пристрастием заявление было передано Гитлеру и сам заявитель препровожден в имперскую канцелярию.

Затем, как показал Гизевиус, туда же вызвали и Фрича. Генерал с негодованием отвергал, оспаривал все, что ему инкриминировалось. В присутствии Геринга он дал Гитлеру честное слово в том, что все эти обвинения ложны. Тогда Гитлер подошел к двери, открыл ее, и через порог шагнул тот самый каторжник.

— Это он! — подтвердил вошедший, указывая на генерал-полковника.

Фрич онемел. Он мог просить лишь об одном: произвести тщательное судебное следствие. Однако Гитлер отказал ему в этом и потребовал немедленной отставки.

Нарисовав эту довольно яркую картину, Гизевиус добавил, что гестапо задолго до очной ставки Фрича с каторжником расследовало заявление последнего. Оказалось, что тот имел в

виду некоего ротмистра Фрича. Тем не менее Геринг повернул все в нужную ему сторону, и 28 января 1938 года с его пути полетел прочь еще один неугодный.

Шахт был очень доволен этими свидетельскими показаниями. Зайдя вечером в его камеру, доктор Джильберт услышал:

— Вот видите! Это ли не конец легенде о Геринге? Я счастлив! После стольких лет, в течение которых этот преступник управлял страной и терроризировал порядочных немцев, он наконец раскрыт как настоящий гангстер. Маска сорвана...

Пройдет, однако, всего несколько недель, и на процессе начнут медленно, но верно срывать маску с самого Шахта.

«Хрустальная ночь»

«Хрустальной» была названа ночь на 10 ноября 1938 года. В этом названии таится отнюдь не память благодарных влюбленных за особую прозрачность воздуха или блеск лунных дорожек на зеркальной глади немецких водоемов. Немецкий народ окрестил эту ночь «хрустальной» совсем по другой причине: тысячи зеркальных витрин, десятки тысяч квадратных метров драгоценного хрустального стекла, составлявшего гордость и славу бельгийской промышленности, со звоном и треском разлетелись тогда осколками, рассыпались вдребезги под яростными ударами фашистских варваров. В ту ночь по всей Германии произошли погромы еврейских магазинов.

К утру груды битого хрусталя засыпали торговые улицы больших и малых городов Германии. Полугодовая продукция всех стекольных заводов Бельгии — терпеливый и искусный труд стекольщиков целой страны, отлитый в прекрасные пластины, — лежала никчемным мусором на чистеньких и аккуратных улицах.

То была не просто случайная вылазка подвыпивших дебоширов, как это могло показаться в каждом отдельном случае. Не являлось это и стихийным проявлением народного гнева против евреев в ответ на убийство советника германского посольства в Париже юным евреем Гриншпаном, как то пыталась изобразить лживая пропаганда Геббельса. Зловещая ноябрьская ночь, названная «хрустальной», представляла собой одно из звеньев в подробной, до деталей разработанной фашистами «теории» и практике поджигания расовой ненависти. Фашизм впервые в истории человечества осмелился поставить перед собой и провозгласить как государственную задачу уничтожение целого народа.

Народ, чья многовековая культура вошла неотъемлемым вкладом в общую сокровищницу всей человеческой культуры, в том числе и немецкой, — этот народ был поставлен нацистами вне закона и подлежал физическому истреблению. Поголовному физическому истреблению! По всей Германии прокатилась волна погромов. Пылали дома и синагоги, грабилось еврейское имущество, бессмысленно разрушалось и уничтожалось все, что не могло быть унесено с собой, подвергались насилию и издевательствам тысячи людей.

Под шум и грохот этих бесчинств появились на свет так называемые «нюрнбергские расовые законы». Преследование евреев с той поры приняло в фашистской Германии вполне официальный характер.

Как же ко всему этому относился рейхсмаршал Геринг?

Я уже писал, что на такого рода вопрос, поставленный Р. А. Руденко, он ответил, будто у него всегда было только отрицательное отношение к расовой теории вообще. А в своих беседах с другими подсудимыми Геринг, фиглярничая, стал даже восхвалять евреев, находить в них такие качества, которых, по его мнению, был лишен немецкий народ. Читая газетные сообщения о кровавых столкновениях в Палестине между евреями и английскими колонизаторами, «железный Герман» высказал совсем удивительную мысль: если бы, мол, случилось невероятное и его освободили, он «счел бы за честь» присоединиться к евреям и вместе с ними бороться против англичан.

В этой совсем анекдотической, на первый взгляд, детали очень ярко проявился характер беспринципного политикана и отъявленного авантюриста. Но если отбросить скоморошный грим, которым Геринг так усердно разукрашивал себя в Нюрнберге, то перед нами предстанет человек, очень хорошо разбиравшийся, зачем и почему надо было в первые же дни прихода нацистов к власти использовать старого как мир конька — антисемитизм.

Циничный до мозга костей, он сам пытался объяснять своим «коллегам» по Нюрнбергскому процессу, что с антисемитской политикой, антисемитскими чувствами меньше всего связаны какие-то мифические национальные и расовые особенности евреев. Ведь во многие тирольские деревушки никогда не ступала нога еврея, а антисемитизм зачастую был распространен там гораздо больше, чем в других местах.

Тут действительно не возразишь даже Герингу. Разрабатывая и осуществляя на практике расовую теорию, в частности антисемитскую политику, нацистские заправилы руководствовались отнюдь не эмоциями. Прожженные политические шулеры, они хорошо понимали, более того, твердо знали, что в стране с расстроенной экономикой необходимо найти какую-то отдушину, какого-то козла отпущения, чтобы дать выход растущим в народе чувствам недовольства.

В обветшалой колоде испытанных приемов для переключения внимания масс при самых разнообразных политических или экономических трудностях обанкротившихся правительств антисемитизм издавна был козырным тузом. И нацисты, оказавшиеся не в состоянии предложить немецкому народу какую-либо здоровую экономическую программу, решили «делать свою игру», поставив именно на эту испытанную карту. Евреи были объявлены виновниками всех неурядиц и бедствий, а

антисемитизм провозглашен как лучшее средство разумного и универсального разрешения всех затруднений, как истинно волшебная панацея от любых бедствий в настоящем и будущем новой, нацистской Германии.

А дальше все шло уже по чисто психологическим законам. Участники первых еврейских погромов все больше и больше входили во вкус прибыльного и ненаказуемого разбоя. У насильников все сильнее распалялась ненависть к своим жертвам. И каждый из них пытался убедить себя, что его ненависть вполне оправдана, что активные ее проявления естественны и справедливы.

Герман Геринг не раз слышал и от Розенберга, и от Геббельса (не раз говаривал это и главный «теоретик» антисемитского разбоя Штрейхер), что, если преследуешь еврея, непременно надо убедить себя, что он плох и заслуживает того, чтобы его ненавидели. Геринг и сам был достаточно знаком с психологией, чтобы понять это. Больше того, для него было ясно, что если человеку, запятнавшему свою совесть насилиями, а порой и кровью ни в чем не повинных евреев, не удастся убедить себя в справедливости своих жестокостей, то он озлобится еще сильнее и перенесет эту злобу опять-таки на тех, кто беззащитен.

Кому-кому, а уж Герингу-то хорошо было известно, что не ненависть немецкого населения к евреям повлекла за собой погромы, а, наоборот, еврейские погромы, организованные нацистами, породили у многих немцев ненависть против евреев. В течение многих лет он и его сообщники старались навязать, искусственно привить немецкому народу расовую теорию, разбудить в определенных слоях общества самые низменные инстинкты. И в 1938 году Геринг, Геббельс, Штрейхер, Розенберг с удовлетворением могли констатировать, что «дело сделано». Пока внутри своей страны. Пока лишь в отношении евреев. Но завтра расизм можно будет направить против русских и поляков, украинцев и чехов, французов и сербов.

На суде, однако, и сам Геринг и его защитник сделали попытку создать иллюзию, будто события «хрустальной ночи» вызвали у бывшего рейхсмаршала чувство возмущения. Можно ли было поверить в такую чушь?

Самое неожиданное заключалось в том, что обвинитель поверил. Он даже решил подкрепить эту версию документами. Недаром ведь следователи рылись в архивах министерства авиации, которое возглавлял Геринг. Рылись и нашли. Нашли протокол совещания, которое Геринг проводил сразу же после «хрустальной ночи».

Состав участников этого совещания казался довольно

странным. То, что здесь оказался Гейдрих, было понятно: как-никак гестапо являлось одним из организаторов погромов. Фрик — тот министр внутренних дел, старейший нацист и исполнитель многих акций расистского характера. О Геббельсе и говорить нечего: где погром, там и он. Но при чем здесь Функ? Зачем тут респектабельный Шверин фон Крозиг — министр финансов?

Даже Геббельс не понимал, почему он и шеф гестапо Гейдрих сидят на совещании рядом с Крозигом. Да и Крозиг пока еще не привык совещаться с такими «коллегами», как Гейдрих.

Всеобщее недоумение могло быть устранено только устроителем совещания Германом Герингом. И он действительно очень скоро рассеял его.

Если на первый, поверхностный взгляд Герман Геринг прежде всего демагог, фразер и фанфарон, то это лишь одна чисто внешняя сторона одиозной нацистской фигуры. По сути же своей он не только и даже не столько высокопарный болтун, сколько человек активного действия, неизменно основанного на расчете даже в самых, казалось, фантастических прожектах.

И в тот раз высокие участники совещания имели возможность еще раз убедиться в этом.

Геринг начинает свое выступление очень категорично:

— Еврейский вопрос должен быть решен...

Это высказывание рейхсмаршала было принято участниками совещания как должное. Но затем последовало совершенно неожиданное: Геринг заявил, что он не проявляет такого восторга в связи с еврейскими погромами, какой со всей откровенностью выражают Геббельс или Штрейхер.

— С меня довольно этих погромов! — восклицает он. — В конечном итоге они приносят вред не столько евреям, сколько нам...

Нетрудно себе представить, как вытянулись при этом лица Гейдриха и Фрика, Геббельса и Функа. С каких это пор еврейские погромы стали вдруг вредными и даже более того, полезными самим евреям?

Геринг спешит прояснить свою мысль. Господа участники совещания не так ведь глупы, чтобы заподозрить его в сожалении по поводу убийства нескольких десятков евреев. Суть дела в другом: энтузиазм погромщиков повлек за собой уничтожение десятков тысяч зеркальных стекол.

«Ну и что? — спрашивают недоуменные взгляды Гейдриха и Геббельса. — Неужто для этакого открытия собрал их Геринг?»

А Геринг между тем продолжает втолковывать им, что знаменитые зеркальные стекла — импортный товар, за который

плачено валютой.

И опять участники совещания смотрят на него с недоумением: ведь эту валюту платил не Шверин фон Крозиг, не германская казна. Но тут руководитель совещания вдруг объявляет, что евреи застраховали свои магазины и теперь получат от «арийских» страховых компаний полное возмещение убытков.

— Это безумие! — возбужденно выпаливает Геринг. — Поджигать и уничтожать еврейские магазины, чтобы потом немецкие страховые общества покрывали убытки...

Геринг глубоко потрясен и возмущен тем, что при погромах только из магазина Марграфа толпа разворовала ценностей на 1,7 миллиона марок.

На лицах участников совещания новый немой вопрос: «Что же теперь делать?»

И Геринг не томит их ответом. Надо покончить с мелким кустарничеством. Грабить так грабить! Грабить таким образом, чтобы и казна пополнилась, и собственный карман Германа Геринга припух. Да и самый грабеж должен выглядеть респектабельно. Зачем это битье зеркальных стекол? На то Герман Геринг и боролся рядом с Гитлером за власть, чтобы, захватив ее, использовать государственный аппарат во всем многообразии его возможностей. Он предлагает «аризацию» еврейской собственности. Что это означает? Извольте.

— Еврей, — популярно объясняет Геринг участникам совещания, — отныне исключается из хозяйства и уступает свои хозяйственные ценности государству. За это он получает возмещение, которое заносится в долговую книгу и сводится к определенному проценту. Этим он должен жить...

Не сомневаюсь, что в эту минуту министр экономики Функ многозначительно переглянулся с министром финансов Крозигом: поистине, как все гениальное просто, как легко без всяких усилий можно пополнять казну!

По ходу дела выясняется, что многие собственники магазинов застраховали свои товары и оборудование не в германских, а в иностранных страховых обществах. Геббельс явно раздражен этим: значит, некоторые владельцы разгромленных магазинов все же могут возместить свой убыток? Но Геринг успокаивает и его, и других участников совещания:

— Господа, пусть евреи получат страховку, Мы ее конфискуем.

Он заливается при этом смехом и выкладывает перед своими собеседниками новый сюрприз:

— Еще один вопрос, господа! Как вы посмотрите, если я

сегодня объявлю, что на евреев налагается штраф или контрибуция в один миллиард марок?.. За беспримерное преступление и так далее и тому подобное...

«Господа», конечно, посмотрели на это весьма благосклонно, и Герман Геринг тут же провел свои идеи в жизнь. Начался повальный грабеж, но грабеж «законный», на основании «декрета». По закону Геринг и сам больше всех нажился на «аризации» еврейской собственности.

Непоправимой его ошибкой являлось лишь то, что с совещания, на котором он столь широко раскрыл свой сверкающий талант грабителя, не были удалены стенографистки. В Нюрнберге за это пришлось расплачиваться.

Стенограмма попала в руки обвинителя, и тот любезно предложил Герингу ознакомиться с ней.

Герман Геринг скрежещет зубами, намеренно долго читает ее. Он ищет выхода, но не находит. В конце концов ему не остается ничего, кроме как признать достоверность стенограммы. От каких бы то ни было комментариев по ней подсудимый отказался.

«Миротворец»

10 марта 1946 года жандармы ввели в зал суда плотного человека лет пятидесяти, в военной форме, но без погон. То был фельдмаршал Герхардт Мильх, правая рука Германа Геринга.

По идее защиты ему надлежало раскрыть перед судом, каким «миротворцем» являлся Геринг. Выбор свидетеля, казалось, был правильным. Мильх дружил с Герингом еще со времен первой мировой войны. Геринг взял его к себе на службу и энергично защитил, когда эсэсовцы заинтересовались вдруг национальным происхождением фельдмаршала. Выяснилось, что у Мильха не то бабушка, не то дедушка были евреями. Последовало требование убрать его из штаба ВВС. Но Геринг громогласно заявил тогда:

— В своем штабе я сам решаю вопрос, кто у меня еврей, а кто не еврей...

Итак, Мильх рассказывает суду о миролюбии Геринга. Возникает вопрос о нападении на Советский Союз.

— Ну, это была, конечно, превентивная война, — говорит Мильх. — Красная Армия с часу на час должна была напасть на Германию, и поэтому у Гитлера не оставалось иного выхода, как нанести превентивный удар. Но даже и такой войны Геринг не желал.

Советский обвинитель Р. А. Руденко с иронией замечает, что война против государства, которое само хочет напасть, является оборонительной.

— Геринг отрицательно относился и к такой войне, — откликается на эту реплику Мильх.

— К оборонительной войне? — уточняет обвинитель.

— Он лично отрицательно относится ко всякого рода войнам, — не моргнув глазом, отвечает Мильх.

Зал ответил на это заявление Мильха взрывом смеха, а Геринг бросил злой взгляд на своего явно перестаравшегося друга.

Герман Геринг куда лучше других знал, сколь велика была его роль в планировании и осуществлении гитлеровской программы агрессии. И не было бы предела его возмущению, если бы кто-нибудь посмел, например, летом 1941 года сказать нечто подобное тому, что выдавил из себя Мильх в Нюрнберге. Сколь это ни звучало угрожающе, в душе он, по-видимому, давно согласился с той частью приговора Международного трибунала, где писалось: «Не может оставаться никакого сомнения в том, что Геринг был движущей силой агрессивной войны, уступая в этом только Гитлеру».

...Апрель 1936 года. Геринг назначается на пост руководителя по координации производства сырьевых материалов и контролю за расходованием иностранной валюты. Этот пост дает ему возможность форсировать решение проблем, связанных с военной мобилизацией.

В том же 1936 году и именно здесь, в Нюрнберге, очередной съезд нацистской партии принимает рассчитанную на четыре года программу экономической подготовки к вооруженному нападению Германии на другие страны. «Железный Герман» назначается чрезвычайным уполномоченным по выполнению этой программы и сам формулирует основную свою задачу: «В течение четырех лет перевести всю экономику в состояние боевой готовности к войне».

В качестве чрезвычайного уполномоченного он выступает в июле на совещании крупнейших германских авиационных промышленников с призывом к увеличению производства самолетов. Геринг знает их затаенные мечты и пускает в ход достаточно веский аргумент:

— Если Германия выиграет войну, она будет величайшей державой, господствующей на мировом рынке, станет богатой страной. Надо рисковать, чтобы добиться этой цели.

Он легко рисковал судьбами миллионов немцев и других народов Европы, играя зачастую решающую роль в осуществлении внешнеполитических акций гитлеровской Германии. Его не очень устраивала дипломатическая служба «третьей империи». Министр иностранных дел Нейрат не нравился ему своей консервативностью, кажущейся медлительностью и нерешительностью. Нейрата сменяли на Риббентропа. Это сделал Гитлер. Геринг же расценивал такую замену как глубоко ошибочный шаг. Риббентропа он считал абсолютно не подготовленным для решения дипломатических задач, человеком не умным, тупым.

Дипломатической деятельностью в нацистской Германии занимались и Риббентроп, и Геринг, и Шахт, и Розенберг, и Редер, и многие другие. Но у Германа Геринга был свой, особый «дипломатический почерк». Наряду с авантюризмом, вообще присущим гитлеровской внешней политике, его «почерк» отличался особой дерзостью и крайне выраженным политическим цинизмом.

* * *

...Март 1938 года. Захват Австрии.

В этой операции участвуют и фон Папен — германский посол в Вене, и Кейтель с Иодлем, олицетворявшие одним своим присутствием на переговорах с австрийским канцлером решимость вермахта осуществить аншлюс, и Риббентроп, обеспечивавший благоприятную позицию на Темзе, и австрийские национал-социалисты во главе с Зейсс-Инквартом. Однако центральной фигурой тут был Герман Геринг.

Пожалуй, никогда в жизни он не говорил так много и так долго по телефону, как в те «решающие дни». Все оперативное руководство аншлюсом рейхсмаршал сосредоточил в своих руках и пользовался в этих целях почти исключительно телефонной связью.

По телефону ему доносят, что канцлер Шушнинг под давлением народных масс назначил плебисцит: быть или не быть Австрии независимой? Геринг усматривает в этом большую опасность и срочно принимает соответствующие меры. В результате Шушнинг капитулирует: 11 марта в два часа дня плебисцит отменяется.

Через час и пять минут после этого Геринг связывается с вожаком австрийских национал-социалистов Зейсс-Инквартом и сообщает ему:

— Шушнинг не пользуется доверием нашего правительства...

Затем от него же, от Геринга, следует ультимативное требование к австрийскому президенту: немедленно назначить канцлером Зейсс-Инкварта.

И вот суду в Нюрнберге представляются официальные записи всех этих телефонных переговоров. Ведь рейхсмаршал сам когда-то ввел в Германии тайное подслушивание на телефонных линиях. Теперь это обернулось против него. Геринг буквально зеленел от ярости, когда перед судом одна за другой стали воспроизводиться его директивы, отданные тогда по телефону.

Из Вены сообщают, что австрийский президент Миклас в чем-то заупрямился. Геринг взбешен этим. Он кричит своим агентам в телефонную трубку:

— Ну что же? Тогда Зейсс-Инкварт должен его выгнать...

Заодно Герман Геринг диктует по телефону состав нового австрийского правительства, не забывая включить туда некоторых своих родственников, и на всякий случай напоминает, что каждый австриец, который окажет сопротивление, будет предан суду войск вторжения.

Поздно вечером 11 марта на столе у Геринга опять зазвонил телефон. Главный нацистский агент в Австрии Кепплер с восторгом уведомляет Геринга:

— Сейчас мы представляем правительство.

— Да, да, вы — правительство, — подтверждает Геринг. — Слушайте внимательно. Следующая телеграмма должна быть послана сюда Зейсс-Инквартом. Запишите. Диктую: «Временное австрийское правительство, которое после отставки правительства Шушнинга считает своей задачей установление мира и порядка в Австрии, направляет германскому правительству безотлагательную просьбу о поддержке его в этой задаче. С этой целью оно просит германское правительство прислать как можно скорее германские войска».

И на следующий день «по просьбе самого австрийского правительства» германские войска вошли в Австрию.

* * *

Австрийские события не на шутку встревожили чехословацкого посла в Берлине. Но, встретившись с ним на приеме, Геринг с обворожительной улыбкой заявил, что Чехословакии беспокоиться нечего, никаких враждебных намерений Германия к ней не питает и «ни один германский солдат даже не приблизится к чешской границе». Для пущей убедительности Геринг добавил:

— Даю вам мое честное слово!

Но именно в эти дни главнокомандующий военно-воздушными силами Германии уже готовил удар по Чехословакии.

Много лет спустя обвинители и судьи Международного трибунала напомнили Герингу о его вероломстве. Но он не только не смутился этим, а даже возмутился: «Какое элементарное непонимание основ внешней политики!» Ну дал он «честное слово». Но и что же?

Беседуя с доктором Джильбертом в тюремной камере, Геринг философствовал:

— Конечно, можно полагаться на «честное слово», когда вы обещаете доставить товары. Но когда дело касается интересов страны, нельзя говорить ни о какой морали.

Циничным смехом отвечает Геринг на замечание своего собеседника о существовании германо-чехословацкого договора о ненападении, подписанного в 1933 году. Только ребенку не ясно, что и этот договор, и личные заверения Геринга потребовались лишь для того, чтобы Чехословакия не проводила заблаговременной мобилизации. Кто-кто, а он-то, Геринг, хорошо знал, что план войны против Чехословакии существовал в Германии с 24 июня 1937 года.

Весьма исполнительный военный адъютант Гитлера полковник Шмундт тщательно подшивал в одну папку все документы касательно подготовки к осуществлению этого плана. Позднее она была спрятана в погребе близ Берхтесгадена, но какими-то судьбами все же попала в руки Международного трибунала. И вот Геринг со злобой следит за тем, как обвинители потрошат эту папку, изобличая его все в новых и новых провокациях против чехословацкого народа.

Геринг и здесь делал главную ставку на пятую колонну — чехословацких национал-социалистов. До поры, до времени он устраивал им смотры в Германии под вывеской хоровых фестивалей, гимнастических выступлений, а заодно обучал обращению с оружием, осуществлению диверсий и провокаций.

Герман Геринг любил «инциденты». Он был уверен, что «инцидент» нужен и для «Чехословацкой операции». Несложный, но вполне подходящий для данного случая «инцидент» был им намечен в таком виде и последовательности: убить германского посла в Праге, обвинить в этом чехов, а затем под видом «акта возмездия» разбомбить Прагу с воздуха.

Но германскому послу Эйзенлору неожиданно повезло — случился другой «инцидент». Произошел он в Мюнхене с участием английского премьера Чемберлена и французского премьера Даладье. Они очень спокойно преподнесли Чехословакию в жертву гитлеровской Германии, якобы заботясь о спасении мира в Европе. В действительности же и Чемберлен, и Даладье, сами того не зная, спасли одного лишь Эйзенлора, а мир поставили на грань большой войны.

Через двадцать лет английская «Санди Экспресс» сочла нужным отметить эту «заслугу» Чемберлена. В газете появилась статья под поразительным заголовком: «Должны ли мы все еще стыдиться Мюнхена?» И ответ газеты был таков: «Чемберлен войдет в историю как мученик, подставивший свою голову под стрелы оскорблений и презрения для того, чтобы цивилизованные народы мира имели время обрести боевой дух и мужество».

Однако у Германа Геринга остались совсем другие впечатления о его англо-французских коллегах по Мюнхену.

В одну из декабрьских ночей 1945 года, когда в Международном трибунале были объявлены рождественские каникулы, он долго беседовал на эту тему с доктором Джильбертом.

Геринг предоставил гостю единственный в камере стул, а сам устроился на арестантской койке и как бы размышлял вслух о причинах поражения Германии. Основную ошибку он видел в том, что Гитлер в 1940 году не заключил мира с Англией и

Францией, чтобы всеми силами обрушиться на Советский Союз, Мюнхенский сговор, с его точки зрения, давал все основания надеяться на благоприятный исход новой выгодной сделки. Уж он-то знал подлинную цену газетной шумихи о «мужестве» Чемберлена и Даладье на переговорах в Мюнхене.

— В действительности, — повествовал Геринг, — все это произошло довольно просто. Ни Чемберлен, ни Даладье в конечном итоге не были заинтересованы в том, чтобы жертвовать или рисковать чем-либо для спасения Чехословакии. Это было ясно для меня как день. Судьба ее решилась в основном в течение трех часов. Затем еще три часа ушли на спор по поводу слова «гарантия».

Особенно запомнилась Герингу поза Даладье.

— Он сидел вот так, — Геринг вытянул ноги, откинулся назад, с лицом без всякого выражения. — Время от времени Даладье одобрял то, что говорил Гитлер. Никакого возражения против чего бы то ни было! Я был просто поражен, как легко все удалось Гитлеру... Когда он потребовал, чтобы некоторые военные заводы Чехословакии, находящиеся за границами Судетской области, были бы переведены на Судетскую территорию, как только она нам отойдет, я ожидал взрыва, но не последовало и писка. Мы получили все, что хотели. Получили вот так! — Геринг щелкнул пальцами. — Они даже не настаивали на том, чтобы проконсультировать чехов, хотя бы для формы. В конце заседания посол Франции в Чехословакии сказал: «Хорошо, теперь мне предстоит передать приговор осужденным». Вот и все... Долгий спор по поводу слова «гарантия» был решен тем, что Гитлеру предоставили право гарантировать остальную часть Чехословакии. Все прекрасно понимали, что это значит...

Позорная Мюнхенская конференция закончилась в 2 часа 30 минут ночи 30 сентября 1938 года. Чемберлен и Даладье уселись в свои автомашины и направились в отель. Геринг запомнил, как, провожая их взглядом, Гитлер с брезгливостью бросил:

— Ужасно, какие это ничтожества!

Но дело было сделано: Судетская область отошла к гитлеровской Германии. Началась цепная реакция, рассчитанная на полную ликвидацию Чехословакии.

Порывшись в захваченных архивах германского МИДа, нюрнбергские следователи нашли любопытный документ: запись беседы Геринга с руководителями словацких сепаратистов Дурканским и Махом. Рейхсмаршал вдруг воспылал любовью к словакам и на этот раз всерьез дает «честное слово». В чем? Да в том, что Германия поможет Словакии добиться «независимости». А словацкие сепаратисты, проливая слезы умиления, в свою

очередь обещают Герингу, что «еврейскую проблему» они будут решать «таким же образом, как в Германии» и незамедлительно запретят коммунистическую партию. Герман Геринг зорко смотрит вперед. В ходе этой беседы он как бы вскользь замечает, что авиационные базы в Словакии имеют большое значение для германских военно-воздушных сил на случай войны «против Востока».

Затем наступает решающий этап. 14 марта 1939 года в Берлин вызываются смертельно напуганные и капитулянтски настроенные президент Чехословакии Гаха и министр иностранных дел Хвалковский. Здесь им сообщают, что «германская армия сегодня уже начала свое наступление». Гитлер добавляет при этом, что ему «почти стыдно сказать, но против каждого чешского батальона стоит немецкая дивизия». Геринг угрожает еще более откровенно: в случае промедления с капитуляцией военно-воздушный флот Германии «превратит Прагу в руины в течение двух часов».

И Гаха сдался. В 4 часа 30 минут Чехословакия перестала существовать.

* * *

За Чехословакией наступил черед Польши. 15 апреля 1939 года Геринг встречается с Муссолини и Чиано и с удовлетворением говорит:

— Теперь Германия сможет напасть на эту страну с обоих флангов, расстояние между которыми наши самолеты способны покрыть за двадцать пять минут.

И в том же году 1 сентября вторжение немецко-фашистских войск на многострадальную польскую землю стало фактом. Это было началом второй мировой войны. За Польшей последовали Норвегия, Голландия, Бельгия, Люксембург, Франция, Греция, Югославия. А 22 июня 1941 года загремели пушки и на территории Советского Союза.

В общих чертах теперь, пожалуй, уже всем известны усилия Геринга в подготовке и развязывании этих агрессивных действий нацистской Германии против соседних государств. И тем не менее хочется остановиться на двух исторических эпизодах, которые и на Нюрнбергском процессе и в послевоенной западногерманской историографии использовались реакцией в целях реабилитации Геринга. Существует версия, будто в 1939 году Герман Геринг пытался предотвратить войну с Польшей, а в 1941 году был единственным членом германского правительства,

выступившим против нападения на СССР.

Чтобы доказать «миролюбие» Геринга, его адвокат доктор Штамер ходатайствовал о вызове в Международный трибунал в качестве свидетеля Биргера Далеруса.

Биргер Далерус — шведский капиталист, близкий родственник жены Геринга — имел тесные связи с влиятельными кругами Лондона. Вот эти-то связи и попытался использовать Геринг, чтобы заполучить Польшу по мюнхенскому рецепту.

В июле — августе 1939 года Биргер Далерус становится посредником между Берлином и Лондоном. 7 августа он устраивает встречу Геринга с крупными английскими промышленниками. Происходит длинная беседа, и, как показал Далерус в Нюрнберге, участники ее «в конце концов перешли к вопросу о Мюнхене и о событиях в Мюнхене». Согласились на том, что надо созвать новую конференцию государственных мужей Великобритании, Франции, Италии и Германии.

После встречи Геринга с «английскими деловыми людьми» вояжи Далеруса из Берлина в Лондон и из Лондона в Берлин заметно участились. Начался долгий и затяжной торг. Меньше всего, видимо, речь шла о самой Польше. То, что эта страна должна стать жертвой немецко-фашистской агрессии, не вызывало никаких сомнений ни у кого из участников тайных переговоров. Гвоздь вопроса был в другом: Англия хотела получить твердую гарантию, что германские войска, захватив Польшу, не остановятся перед советскими границами.

И вот тут-то возникли непреодолимые затруднения. С одной стороны, сговору мешали сильно выросшие аппетиты гитлеровской Германии не только в отношении Востока, но и в отношении Запада. С другой — колебания Англии; она уже не раз убеждалась в коварстве нацистской дипломатии, в том, что никакие соглашения не удерживают Германию от новых и новых посягательств на интересы западных держав. «Тайная» дипломатия Геринга на сей раз ни к чему не привела.

Впрочем, он и сам не очень-то был уверен в ее успехе. Во всяком случае, Геринг ни на один час не приостанавливал и не ослаблял своих усилий в подготовке нападения на Польшу.

22 августа 1939 года происходит важнейшее совещание у Гитлера. Собраны все командующие. Геринг сидит рядом с фюрером. Уточняются последние детали плана нападения на Польшу. Гитлер кончает свое выступление словами:

— Итак, вперед на врага! Встречу отпразднуем в Варшаве.

Один из участников этого совещания записал тогда: «Речь встречена с энтузиазмом. Геринг вскакивает на стол. Он пляшет, как дикарь. Лишь немногие молчат».

В первый же день вторжения немецко-фашистских завоевателей в Польшу армады их бомбардировщиков по приказу Геринга совершают варварский налет на Варшаву. Город — в огне. Рушатся целые кварталы, погребая под собой ни в чем не повинных людей.

В той же манере блицкрига протекают и все кампании 1940 года: против Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции, Югославии, Греции. Геринг отличается при этом новыми варварскими бомбардировками Роттердама, Белграда и многих других городов.

Наконец, 22 июня 1941 года гитлеровская Германия совершает агрессию против Советского Союза. Самым скрупулезным образом Международный трибунал исследует доказательства виновности в этом каждого из подсудимых. И тут опять раздается голос доктора Штамера:

— Геринг не хотел этой войны. Сомневаться в том, что Геринг желал мира, несправедливо...

Адвокат обращается к своему подзащитному:

— Какова была тогда ваша позиция по вопросу о наступлении на Россию?

И Геринг ответствует:

— Я сам вначале был застигнут врасплох и попросил фюрера разрешить мне высказать свое мнение через несколько часов. Для меня все это было совершенно неожиданным. Затем, вечером, я сказал фюреру следующее: настоятельно и убедительно прошу в ближайшее время не начинать войну с Россией.

Что же такое случилось с Герингом? Неужели, оглянувшись на пройденный путь и убедившись, сколь много на совести его тяжких грехов, матерый нацистский волк решил остановиться?.. Ничуть не бывало. Разгром первого в мире Советского государства был сладчайшей мечтой нациста № 2. И тем не менее, когда вопрос о нападении на Страну Советов вышел из области крикливой пропаганды и встал во всей своей реальности, у Геринга, возможно, хватило трезвости, чтобы представить себе различные варианты окончания такой войны. Герман Геринг достиг большого положения, огромного богатства, славы — словом, всего того, о чем только могла мечтать его карьеристская душа. А что, если в один не очень прекрасный день все это рухнет?

И Геринг начал сомневаться.

Защита пытается представить эти сомнения как решительное возражение против нападения на СССР. Но тщетно! Обвинение располагает многими объективными доказательствами виновности Геринга в агрессии против СССР. И вдобавок сам же

Геринг наносит себе удар, заявляя, что он высказал Гитлеру свое сомнение в отношении войны с СССР «не потому, что... имел в виду соображения международного права или другие соображения, а потому, что... исходил исключительно из политической и военной обстановки».

Геринг уверяет, что он сказал тогда Гитлеру:

— Мы в настоящее время ведем борьбу с одной из самых больших мировых держав — Британской империей... Я абсолютно убежден в том, что рано или поздно вторая большая мировая держава — Соединенные Штаты — выступит против нас... В этом случае мы будем воевать с двумя самыми крупными мировыми державами. А в результате конфликта, который может сейчас возникнуть с Россией, к ним присоединится еще и третья большая мировая держава... Мы останемся фактически одинокими перед лицом всего мира.

И что же? Разве, приводя все эти аргументы, Геринг имел в виду убедить Гитлера отказаться от мысли о нападении на СССР? Нет, конечно.

Вот его собственное резюме:

— Таковы соображения, выдвигавшиеся мною в пользу отсрочки наступления.

В германских правительственных архивах не нашлось ни единого документа, который мог бы подтвердить эти показания Геринга. Но они и не опровергались никем из подсудимых или свидетелей, и трибунал в своем приговоре с полным основанием записал, что, даже если Геринг и «возражал против планов Гитлера в отношении Советского Союза, совершенно ясно, что он делал это только по стратегическим соображениям, и, когда Гитлер решил этот вопрос, он последовал за ним без колебаний».

Геринг не был бы Герингом, не был бы величайшим и беспринципнейшим карьеристом, если бы не поступил именно так. Словом, никаким миролюбием, никакими соображениями по поводу того, что между Германией и СССР существовал договор о ненападении, здесь и не пахло. Герингом руководило лишь одно — внезапно возникшее опасение за свою судьбу, быстро, однако, рассеянное.

Меня могут спросить: зачем я вспомнил об этом? Только затем, чтобы еще раз подчеркнуть лживость и лицемерие Германа Геринга? Нет, не только.

Так уж случилось, что и защита, и сам Геринг, увлекшись своей версией, не заметили ни волнения на лицах Кейтеля, Иодля, Риббентропа, ни иронической улыбки главного советского обвинителя Р. А. Руденко. Ведь основная-то защитительная позиция всех подсудимых заключалась в полном отрицании

агрессии против СССР. Никакой, мол, агрессии не было, а была лишь оборонительная превентивная война. Подсудимые и их адвокаты потратили немало усилий на то, чтобы доказать, будто Советский Союз готовился напасть на Германию и Гитлер, открыв 22 июня военные действия, только «предупредил русский удар».

И вдруг такой сюрприз со стороны Геринга. Его позиция немало способствовала разоблачению их клеветнических измышлений. В самом деле, если Советский Союз готовился к нападению на Германию и если это нападение было уже неотвратимо, ожидалось «с часу на час», как же мог Геринг в таких «чрезвычайно опасных обстоятельствах» говорить с фюрером о необходимости отложить нападение на СССР, и притом на неопределенное время?

* * *

Читатель уже знает, что во время речи Р. А. Руденко Геринг демонстративно снял наушники. Он хотел этим показать, что вступительную часть русского обвинения не стоит и слушать. Соседям же своим объявил, что предвкушает тот момент, когда ему представится возможность сразиться с Руденко. Как-никак, а русские имеют основание сосредоточить огонь именно на нем, Геринге. Кто же еще из сидящих на скамье подсудимых был более ярым антикоммунистом? Присутствовавший во время этого разговора доктор Джильберт заметил:

— Я думаю, что Розенберг не уступит вам в этом отношении.

Геринг не согласился. Что Розенберг? Идеолог, философ, все что угодно, но не человек действия, каким всю жизнь был он, Геринг. И именно потому, что он выражал свою оппозицию коммунизму на деле, а не только на словах, русские ему этого не простят. Он стал вспоминать, как преследовал коммунистов с первого же дня прихода к власти:

— Будучи начальником полиции Пруссии, я арестовал тысячи коммунистов. Я создал концентрационные лагеря прежде всего для того, чтобы держать там коммунистов.

Злобно рассмеявшись, как мальчишка, который забил гвоздь в стул преподавателя, Геринг стал распространяться о своих «подвигах» в период гражданской войны в Испании. Испанские патриоты обливались кровью. Рядом с ними до последнего патрона дрались лучшие сыны других народов — русские, французы, поляки, венгры, американцы, немцы. Оружия не хватало. И он, Геринг, пытался воспрепятствовать усилиям друзей республиканской Испании доставить туда оружие.

— Они заплатили за отправку оружия в Испанию, которое должно было идти через нейтральную страну, но у меня были свои люди среди членов команды, которые нагружали пароход. И я направил вместо оружия кирпичи. Только сверху покрыл их снаряжением. Ха-ха! Они никогда не простят мне это!

Действительно, народы Европы многое не забыли и не простили Герингу. Но у советского народа оказался самый большой счет к нему. Герингу пришлось пережить немало крайне неприятных часов, когда его стал допрашивать советский обвинитель Руденко. Кирпичи, которыми был нагружен некогда пароход, отправлявшийся в многострадальную Испанию, превратились в ужасающие бумеранги. Руденко твердой рукой сорвал с Геринга тогу государственного деятеля, в которую тот все еще рядился. Советский обвинитель обнажил самые отвратительные стороны его деятельности и характера.

Вот уже позади все, что касалось подготовки нападения на СССР, и Р. А. Руденко объявляет о своем намерении разобраться в целях, которые преследовали гитлеровцы, нападая на СССР. Геринг спокоен — он ведь был против такого нападения. Но советский обвинитель задает ему вопрос:

— Признаете ли вы, что целями войны против Советского Союза был захват советских территорий до Урала, присоединение к империи Прибалтики, Крыма, Кавказа, Волжских районов, подчинение Германии Украины, Белоруссии? Признаете вы это?

— Я этого ни в какой мере не признаю, — твердо отвечает Геринг.

Но вдруг он меняется в лице: Руденко объявляет, что будет предъявлен протокол заседания в ставке Гитлера от 16 июля 1941 года. Протокол составлен лично одним из участников заседания Мартином Борманом. Руденко осведомляется, не вызывает ли этот документ каких-либо сомнений у Геринга?

Бросив злобный взгляд на обвинителя, Геринг сквозь зубы подтверждает подлинность протокола.

Из протокола явствует, что в совещании участвовали: Гитлер, Геринг, Розенберг, Кейтель, Борман, имперский министр Ламмерс. Первым обсуждался вопрос, кто должен выиграть в войне с Советским Союзом? Какая-то вишийская газета заявила в тот момент, что война против Советского Союза — это война для всей Европы. И в протоколе зафиксирована гневная отповедь Гитлера: «Очевидно, вишийская газета хочет подобными намеками добиться того, чтобы из этой войны извлекали пользу не только немцы, но и все европейские государства». Гнев фюрера разделяют, конечно, и остальные участники совещания. Одно дело — пропагандистские трюки Геббельса, его истошные вопли о

том, что война против СССР есть война всей Европы против «русского большевизма». И совсем другое дело — кто получит монопольное право грабить страну, притом «грабить эффективно», как выразился позднее Герман Геринг.

Р. А. Руденко обрушивает на Геринга целый каскад нокаутирующих вопросов. Он просит подсудимого следить за текстом протокола, а сам начинает цитировать этот документ:

«Крым должен быть освобожден от всех чужаков и населен немцами. Точно так же австрийская Галиция должна стать областью Германской империи».

Руденко. Вы находите это место?

Геринг. Да.

Руденко (приводит новую выдержку из протокола). «Фюрер подчеркивает, что вся Прибалтика должна стать областью империи».

Подсудимый № 1 опять вынужден подтвердить: была и такая цель.

Цитаты одна за другой, как розги, опускаются на рыхлое тело Геринга.

«...Волжские районы должны стать областью империи точно так же, как и Бакинская область должна стать немецкой концессией, военной колонией».

Геринг уже почти беспомощно кивает головой.

Финны хотят получить Восточную Карелию. Дудки! При всей своей привязанности к маршалу Маннергейму участники совещания решают оставить Кольский полуостров за Германией — там много никеля.

Финны хотят Ленинградскую область? Ну что ж, этим придется поступиться. Тут же принимается решение: «Сровнять Ленинград с землей с тем, чтобы затем отдать его финнам».

Геринг подтверждает и это. Но потом вдруг он как бы срывается с цепи и весь багровый от прилившей к лицу крови восклицает:

— Это же безумие говорить о таких вещах спустя несколько дней после начала войны! О таких вещах, которые излагает здесь Борман, вообще нельзя говорить, так как еще неизвестно, каков исход войны, каковы перспективы... Я, как старый охотник, всегда действовал по тому принципу; шкуру медведя следует делить только после того, как медведь застрелен.

Что и говорить, принцип верный, но Геринг, по-видимому, вполне оценил его лишь в одиночной камере старой Нюрнбергской тюрьмы.

А Руденко тем временем продолжает цитировать злополучный протокол:

«Мы должны действовать так, как будто осуществляем некий мандат. Однако для нас самих должно быть ясно, что из этих областей мы никогда не уйдем».

«Железный принцип на веки веков: никому, кроме немца, не должно быть дозволено носить оружие».

Да, не мешало бы Герингу пораньше вспомнить добрый охотничий принцип дележа шкуры медведя. Если бы он действительно всегда руководствовался этим принципом, то уж, конечно, не стал бы спорить тогда о кандидатурах гаулейтеров для оккупированных советских областей.

Руденко напоминает Герингу, как тот сцепился на совещании с Розенбергом. Розенберг требовал назначить губернатором Прибалтики Лозе, а Геринг — Коха. Розенберг всячески стремится протащить на пост гаулейтера своего человека фон Петерсдорфа. Но Геринг немедленно дает отвод и этой кандидатуре: «Фон Петерсдорф, без сомнения, психопат».

Москву «отдают» какому-то Каше. Тут Геринг не возражает. Зато Герингу удается уговорить остальных участников совещания, чтобы Кольский полуостров непременно был отдан для эксплуатации Тербовену.

Так действовал «старый охотник» Герман Геринг, обнаруживая оскал матерого колонизатора и очень расчетливого грабителя, заинтересованного больше всего в личной наживе.

Рейхсмаршал меняет кожу

Ганс Франк однажды восхитился:

— Черт возьми, мне нравится, как ведет себя Геринг. Если бы он всегда был таким. Я сказал ему сегодня в шутку: жаль, Герман, что тебя не посадили на годок в тюрьму несколько лет тому назад...

Эти слова были произнесены 16 марта 1946 года, как раз в тот день, когда Геринг перед лицом Международного трибунала давал ответы на вопросы своего адвоката. Подсудимых радовало, что он называет себя вторым человеком в империи и тем самым как бы выражает готовность лично нести большую часть ответственности за содеянные нацистами преступления.

— Кто такой этот Фриче? Я такого вообще не знал, — сказал как-то Геринг, взглянув на левый фланг скамьи подсудимых. — А зачем здесь этот маленький Функ? Какое он имеет отношение к вопросам экономической подготовки к войне?..

Даже во время предъявления Функу материалов обвинения, когда возник какой-то незначительный вопрос по валютным ограничениям, Герман Геринг написал записку адвокату бывшего министра экономики: «За это я отвечаю. Так и можете заявить».

Но все это было только игрой, дешевым позерством, к которому всегда склонялся Герман Геринг. Он почти признавал свою вину, когда речь шла о незначительных обвинениях. Однако у него хватило «благоразумия» уступить пальму первенства другим, когда дело касалось преступлений, ужаснувших все человечество.

Геринг хорошо понимал: можно кое-что признать в отношении аншлюса Австрии, можно поспорить, кто раньше хотел напасть на Норвегию — Германия или Англия, можно попытаться пустить пыль в глаза по поводу своих усилий спасти мир в 1939 году при помощи Биргера Далеруса, но ни в коем случае нельзя брать на себя ответственность за Освенцим и Майданек, за убийства военнопленных, расстрелы заложников, чудовищное ограбление живых и мертвых на оккупированных территориях!

Если графически изобразить линию поведения Геринга, когда его допрашивали, то получились бы сплошные курбеты, невероятные зигзаги и петли, словом, все напоминало бы повадки хищного зверя, пытающегося уйти от преследователей.

Еще не потеряв самообладания, Геринг стремится дать «теоретическое» обоснование гитлеровским злодеяниям. Он заявляет на процессе:

— Впервые я бегло ознакомился с Гаагской конвенцией непосредственно перед конфликтом с Польшей и очень сожалел, что не изучил ее гораздо раньше. Тогда бы я сказал фюреру, что в соответствии с этой конвенцией ни при каких обстоятельствах нельзя вести современной войны, что вследствие усовершенствования техники ведения войны мы, безусловно, вступим в конфликт с правилами, установленными в тысяча девятьсот шестом или тысяча девятьсот седьмом годах...

Мысль несложная — военная техника настолько прогрессировала, что теперь уже нельзя избежать напрасных потерь гражданского населения. Но обвинители резонно задают вопрос: в какую зависимость от прогресса военной техники можно поставить массовые расстрелы военнопленных, больных и раненых? Защита тотчас же пытается внести «корректив» в объяснения Геринга, и моментально возникает новая схема: гитлеровская армия начинала войну по-рыцарски и, только встретившись с жестокостями противника, вынуждена была прибегнуть к ответной мере. Однако, как на грех, обвинители располагают доказательствами, что основные человеконенавистнические приказы появились на свет задолго до начала войны. Какие уж там «ответные меры», если Гитлер и его сатрапы требовали преступных действий от солдат и офицеров вермахта до того, как грянул первый выстрел!

Геринг начинает понимать, что все его «схемы» летят к черту. Р. А. Руденко один за другим предъявляет Герингу убийственные документы, и тот, забыв о браваде («Я один за все отвечаю!»), уже открещивается от каждого из них поочередно.

— Если бы мне докладывали каждый приказ и каждую директиву... я бы потонул в этом море бумаг, — беспомощно лепечет обанкротившийся позер. — Мне докладывали только по самым важным вопросам.

В числе этих «самых важных вопросов» не оказалось, конечно, ни приказа о массовых расстрелах советских военнопленных, ни приказа о поголовном уничтожении комиссаров Красной Армии, ни приказа о разрушении Ленинграда. О таких изуверствах Геринг ничего не знал!

Руденко замечает по поводу этой новой тактики Геринга, столь расходящейся с его бравадой:

— Вам докладывали только «важные вещи». А об уничтожении городов, убийстве миллионов людей вам не докладывали, все это проходило по так называемым «служебным инстанциям».

С этими словами обвинитель от СССР начинает предъявлять подлинные документы, устанавливающие не только бесспорную

осведомленность, но и руководящую роль Геринга в подготовке преступных приказов германского командования.

Напоминая Герингу о миллионах замученных людей, обвинитель спрашивает:

— Неужели вы не читали сводок иностранной прессы, не слушали иностранного радио, сообщавших об этих преступлениях?

И Геринг под смех всего зала отвечает, что хотя он и имел право на это, но в действительности в течение всей войны не читал иностранной прессы: «не хотел слушать этой пропаганды».

— Только в последние четыре дня войны я впервые стал слушать иностранные радиопередачи, — уточняет он.

Ответ достойный патологического лжеца, каким в течение всей своей жизни и был Геринг!

На судейский стол ложится печально знаменитый «Протокол Ванзее».

20 января 1942 года в Берлине, на Тросс-Ванзее, № 56—58, состоялось совещание, в котором участвовали представители различных ведомств гитлеровской Германии и где были разработаны меры по «окончательному разрешению» еврейского вопроса. Геринга на этом совещании представлял статс-секретарь Нейман. В «Протоколе» недвусмысленно записано, что «рейхсмаршал назначил Гейдриха уполномоченным по подготовке окончательного решения еврейского вопроса в Европе».

Нет, не удастся Герингу доказать, что он ничего не знал о миллионах казненных людей: расстрелянных, повешенных, заживо сожженных, затравленных собаками, забитых сапогами, задушенных газом. Как пепел Клааса, стучат в сердце человечества худенькие кулачки пяти-, шестилетних детей, которых гнали в газовые камеры и которые, пытаясь спастись, показывали на эти свои жалкие кулачки, шелестя бескровными губами:

— Мы еще сильные, мы можем работать... Смотрите, мы еще можем работать!..

То же самое твердили и беспомощные старики и женщины, которых перед казнью подвергали бессовестному ограблению: отнимали часы и кольца, выламывали золотые зубы и коронки. Все это надо было где-то хранить, как-то реализовать. И СС заключило соглашение с Рейхсбанком, который принимал на себя все дальнейшие заботы о награбленных ценностях.

Так рейхсбанк стал соучастником чудовищного преступления. Геринг внимательно и даже с каким-то наигранным состраданием наблюдал, как извивается «маленький Функ» под давлением

бесспорных документов, уличающих его, президента имперского банка, в беспримерной сделке с эсэсовцами. Но лицо Геринга одновременно выражало и глубокое возмущение. Подумать только, до чего дошли эти «шакалы Гиммлера»! Оказывается, в Рейхсбанке был даже открыт специальный кодированный «счет Мельмера», на который поступали сотни килограммов золотых зубов, коронок и часов.

Однако выразительная мимическая игра Геринга терпит крах. Обвинитель неожиданно предъявляет документ, неоспоримо устанавливающий, что в эсэсовско-банковской комбинации именно ему, Герингу, принадлежала роль главного мародера. Это меморандум от 31 марта 1944 года под несколько туманным заглавием «Использование драгоценностей и подобных вещей, добытых официальными учреждениями в пользу империи». В меморандуме черным по белому записано:

«Рейхсмаршал великой Германской империи, уполномоченный по четырехлетнему плану, сообщил Рейхсбанку в письме от 19 марта 1944 года... что значительное количество золота, серебряных предметов, драгоценностей и т. д., находящихся в главном управлении по опеке над Востоком, должно быть доставлено в рейхсбанк согласно приказу, данному имперским министром Функом и графом Шверин фон Крозигом».

Тут же упоминается и «счет Мельмера».

Теперь уже не сострадание к Функу, а дикая ярость пойманного зверя светится в бегающих глазах Геринга. Он готов уничтожить этого «маленького Функа», которого совсем еще недавно намеревался защищать.

Геринг окончательно сбрасывает с себя маску. Куда делась вся его похвальба, вся эта актерская игра в «благодетеля» других подсудимых. Еще не подозревая о неожиданной эволюции во взглядах рейхсмаршала, Розенберг просит его сказать что-нибудь о конфискациях на восточных оккупированных территориях, сказать так, чтобы облегчить участь его, Розенберга. Геринг буквально сцепился с ним.

— Я сказал, что ему придется сделать это самому. Мне приходится думать о себе в такие времена, — коротко заметил он Джильберту.

«Конфискации на Востоке!» Уж какие там «конфискации». Не кто иной, как Герман Геринг, разработал целую систему организованного грабежа оккупированных территорий.

К трибуне подходит другой советский обвинитель, Лев Романович Шейнин. Этот невысокий плечистый шатен с темными, живыми глазами успешно продолжает работу, начатую Р. А. Руденко. Огромный изыскательский труд, помноженный на

многолетний опыт следователя и талант литератора, позволяют ему несколькими уверенными мазками окончательно дорисовать подлинный портрет «рейхсмаршала великой Германской империи».

В сентябре 1945 года в городе Иене, в Тюрингии, советскими военными властями был найден весьма любопытный документ. Содержание его настолько разительно, что одного этого документа достаточно было бы, чтобы Герман Геринг обрел себе место в истории как беспримерный хищник.

6 августа 1942 года в 4 часа дня в зале министерства авиации он проводил совещание рейхскомиссаров оккупированных стран и областей. В произнесенной там речи Геринг с восторгом констатировал:

— В настоящее время Германия владеет от Атлантики до Волги и Кавказа самыми плодородными землями, какие только имелись в Европе. Страна за страной, одна богаче и плодороднее другой, завоеваны нашими войсками.

И, как будто усомнившись, достаточно ли гитлеровские наместники уразумели свои задачи, Геринг восклицает, обращаясь к ним:

— Боже мой! Вы посланы туда не для того, чтобы работать на благосостояние вверенных вам народов, а для того, чтобы выкачать все возможное... Этого я ожидаю от вас.

Участники совещания недоумевают: их ли надо учить, как грабить. А рейхсмаршал тем временем переходит уже от поучений к угрозам:

— Мы будем вынуждены встретиться с вами в другом месте...

В характере этого «другого места» никто не сомневался.

— Вы должны быть как легавые собаки! — уже кричит Геринг. — Там, где имеется еще кое-что, в чем может нуждаться немецкий народ, все должно быть молниеносно извлечено из складов и доставлено сюда... Я намереваюсь грабить, и именно эффективно!..

Слушая, как Шейнин цитирует эту его речь, Геринг сидел, будто придавленный тяжелым грузом. Никакой экспансии, никаких наигранных возмущений. Прорывало его лишь в тех случаях, когда советский обвинитель преднамеренно опускал в цитатах слово «рейхсмаршал» и заменял его фамилией подсудимого. Геринг буквально багровел от злости и с места шипел:

— Рейхсмаршал!.. Рейхсмаршал!..

«Посредственные люди не могут этого понять»

Года два назад в западной печати промелькнуло сообщение о том, что германский промышленник Флик (которого тоже судили в Нюрнберге, но скоро выпустили на свободу) нанес визит фрау Эмми Геринг. Им было что и кого вспомнить. В свое время супруг Эмми не мало дал заработать старому Флику.

Но и теперь в свои восемьдесят два года Флик остался человеком дела. Сентименты — не его область. Едва успев поцеловать даме ручку, он сообщает о цели визита. Ему стало известно, что милая Эмми ведет (и кажется, не безуспешно) в западногерманских судах процесс о возвращении ей имущества Германа Геринга, в том числе большого количества картин. По старой дружбе Флик надеялся, что ему будет предоставлено право первого отбора.

Старая лиса чуяла богатую поживу.

* * *

Герман Геринг не терял зря времени на своих многочисленных постах. Он сам был первой «легавой собакой». Ни в кого и ни во что у него не было такой веры, какую он питал к деньгам. Люди могут подвести, предать, продать. Геринг хорошо знал это по опыту собственной жизни. А золото — всегда золото. Геринг был уверен, что даже в самой безнадежной ситуации оно способно восстановить прочность положения. Он знал цену демагогии и цену золота.

Существует предание, будто Талейран чуть не помешался от радости, получив у Наполеона портфель министра иностранных дел. Он мало думал о связанных с этим постом почете и славе. Его волновало совсем иное. Едучи в карете и позабыв, что рядом с ним сидят другие люди, Талейран, как помешанный, твердил: «Место за нами! Нужно составить на нем громадное состояние, громадное состояние!»

История не установила подобного случая в жизни Геринга. Но это ничуть не меняет сути дела. Хотя в отличие от Талейрана Геринг придавал огромное значение внешним признакам власти, почету и славе, он был в достаточной мере реалистом, чтобы вслед за Талейраном повторять: «Прежде всего не быть бедным!»

Существовал в Германии такой папиросный король Филипп

Реетсма. Утаил он от казны крупные налоговые суммы. Нависла над ним большая угроза. Но папиросный король успел преподнести «на память» Герингу семь миллионов двести пятьдесят тысяч марок, и скандальное дело удалось замять.

Геринг «спасал» даже евреев, помогал некоторым из них получить право выезда из страны, а в знак благодарности хватал своими загребущими руками всю их собственность, оставляемую в Германии.

Но это была стадия лишь, так сказать, «первоначального накопления» Геринга. Настоящий грабеж начался с момента создания концерна «Герман Геринг верке». В него насильственно включались многие конфискованные предприятия Германии. В Австрии этот концерн захватил фирму «Альпине-Монтан», контролировавшую рудные месторождения в Штирии, в Чехословакии — заводы Шкода.

Каждый новый шаг германских войск по чужим территориям приносил Герингу новые богатства.

Особое пристрастие Герман Геринг питал к произведениям искусства, в частности к живописи. Тут, пожалуй, ярче всего проявилось «нравственное начало» второго человека «третьей империи».

Геринг знал о существовании крупнейших картинных галерей мира — парижского Лувра, Третьяковской галереи в Москве, Британского музея в Лондоне. И он твердо решил, что должен составить себе коллекцию, не уступающую этим мировым сокровищницам искусства. Каждая из них комплектовалась десятилетиями, а то и столетиями. Геринг же собирался возвеличить свой Каринхалл за несколько лет.

Он не особенно следил за покупными ценами на картины. У него была своя, особая, не известная другим коллекционерам манера приобретать их. Специальные уполномоченные Геринга шныряли по всем городам оккупированной Европы и тащили в Каринхалл картины, принадлежавшие некогда жертвам гестапо.

А как поступал Геринг, если приглянувшуюся ему картину нельзя было конфисковать? В таких случаях он «покорнейше просил» ее собственника произвести «обмен» на другие картины. При этом рейхсмаршал проявлял поразительную щедрость — вместо одной или двух, как на грех, понравившихся ему картин давал пять — десять. Конечно, приобретались Ван-Дейк, Рубенс или старинный фламандский гобелен, а в «обмен» давалась современная немецкая живопись, конфискованная у жертв гестапо.

Особенно поживился Геринг на ограблении частных французских собраний (Ротшильда, Селигмана и др.). Как

доносил один из чиновников немецкой военной администрации в Париже, «специальный поезд фельдмаршала Геринга состоял из двадцати пяти вагонов, наполненных самыми ценными произведениями искусства».

Уже под самый конец войны Герингу приглянулась скульптура из Монте-Касино. Она была передана ему.

В одном из писем к Розенбергу Геринг с гордостью сообщает, что у него «теперь, наверное, самое лучшее собрание ценностей если не во всей Европе, то, по крайней мере, в Германии».

В Нюрнберге «ненасытный Герман» пытался как-то оправдать свою алчность. Он говорил Гансу Фриче:

— Вы знаете, единственное темное пятно в моем поведении... страсть к коллекционированию... Я хотел иметь все, что было красивым... Посредственные люди не могут этого понять.

Увы, таких «посредственных» в судебном зале было слишком много. И самое странное — Геринг это понимал — такими «посредственными» были судьи, прокуроры, многие свидетели.

А скамья подсудимых?

Здесь никто и не пытался «понять» незадачливого коллекционера. Мнение этого «узкого круга» было общим: после того как суд установил, что Геринг еще и самый банальный вор, ему уже не на что надеяться. Шпеер, улыбаясь, заметил:

— Фортуна окончательно отвернулась от него.

Функ процедил сквозь зубы:

— Как позорно!

Риббентроп, обращаясь к Кальтенбруннеру, развел руками:

— Я теперь не знаю, кому доверять!

Этот лицемер и ханжа, как видно, еще не подозревал в то время, что через несколько дней придет и его черед отчитываться за такую же грабительскую деятельность «особого батальона Риббентропа».

И конечно, Шахт не мог не воспользоваться сложившейся вокруг Геринга ситуацией. Он тоже высказался:

— Я считаю Геринга прирожденным преступником. Я едва могу на него смотреть... Воровство в определенном смысле еще хуже, чем убийство. Оно раскрывает характер... Можно понять человека, совершившего преступление в состоянии аффекта... но воровство, это так низко, так низко!..

Произнося эту тираду, Шахт был так «скромен», так «скромен», что умолчал при сем о собственных воровских проделках. Нет, не о тех грандиозных мошеннических операциях, которые он совершал во имя рейха, а о столь же банальных акциях, в результате которых разбухал его собственный карман.

Но об этом позже.

Финал

Допрошены все подсудимые. Предъявлены тысячи документальных доказательств. Дали показания десятки свидетелей. Сделали свое дело кинематографические ленты, эти неподкупные свидетели преступного былого. Произнесли речи адвокаты и обвинители. Сказали последнее слово подсудимые.

Процесс близится к концу.

Геринг — в своей камере. Целый месяц ему предстоит ждать приговора. Пока судьи совещаются, он может в последний раз предаться воспоминаниям, окинуть взором всю свою жизнь, перебрать в памяти все подробности процесса.

Этот процесс убедил весь мир в том, что Герман Геринг действительно был черной душой нацистского заговора. Каинова печать провокатора и убийцы, грабителя и вора ни на ком из подсудимых не горела так ярко, как на нем.

Геринг и сам не мог не понимать этого, хотя часто расходился с обвинителями и судьями в оценке фактов и событий. Он говорит об «окончательном разрешении» еврейского вопроса, а обвинители называют это уничтожением невинных людей. Он толкует об «особом обращении» с военнопленными, а обвинители квалифицируют это как массовые убийства. Он клянется, что ничем не угрожал Чехословакии, но ему напомнили его же собственные слова, адресованные некогда чехословацкому президенту: «Было бы чрезвычайно неприятно подвергать бомбардировке прекрасный город Прагу...»

А эти бесчисленные документы о грабеже оккупированных территорий, о самых банальных кражах картин? Фу, как все плохо! Особенно когда судьи напоминают показания свидетеля Кернера, который утверждал, что он, Геринг, — «последний крупный деятель периода Ренессанса», «последний великий человек эпохи Возрождения». Надо же было этому Кернеру так грубо льстить!..

С первых дней суда Геринг пытался представить себя человеком, для которого клятва в верности и дружбе — закон жизни.

— Я считаю, — говорил он на процессе, — что нужно быть верным в силу присяги не только в хорошие времена. Намного труднее оставаться верным в тяжелое время.

Но как раз последнее оказалось для Геринга просто невозможным. В тяжелые апрельские дни 1945 года, когда обреченный Гитлер сидел в бункере имперской канцелярии, его «верный паладин» тайком бежал от него. Более того, он пытался

лишить Гитлера власти, захватить ее в свои руки. А едва оказавшись в плену у американцев, Геринг торопится сообщить об «узколобости фюрера», награждает его и другими нелестными эпитетами.

Шпеер в Нюрнберге объяснил все это в весьма несложных выражениях:

— Почему, вы думаете, не было Геринга в Берлине рядом с его возлюбленным фюрером? Потому, что там стало очень опасно... То же самое произошло с Гиммлером. Но никто из них не подумал пощадить народ от этого безумия. Они все оказались трусами в час кризиса...

Трусость? Да, и с таким клеймом пришлось примириться Герингу. Когда-то он считался «храбрым летчиком», но велика ли храбрость бомбить незащищенные мирные города! В 1923 году ему довелось участвовать в мюнхенском путче, однако сразу после провала этого путча он спешит за границу, предоставляя своим друзьям сидеть в тюрьме. Потом Геринг ратовал за войну, а сам отсиживался в глубоком тылу, в Каринхалле, подсчитывая стоимость награбленных картин. Наконец, оказавшись на скамье подсудимых, похвалялся, что обвинителям нелегко будет справиться с ним, и опять оскандалился: обещал всю ответственность взять на себя, но, как только дело дошло до этого, постарался свалить ее на других.

— А ты? Ты не взял на себя ни малейшей ответственности ни за что. Ты только произносишь напыщенные речи. Позор!

Так подытожил фон Папен поведение Геринга на процессе. От соседей по скамье подсудимых Геринг не мог скрыть своей нервозности. Под перекрестным допросом он дрожал как осиновый лист, не выпускал из рук куска картона, на котором сам для себя написал красным карандашом команды: с одной стороны — «Говорить медленнее, делать паузы», с другой — «Спокойно, держаться на уровне».

Но «уровень» катастрофически падал с каждым новым вопросом обвинителя, с каждым новым обличительным документом. Это был «уровень» лжеца и провокатора, ханжи и лицемера.

Хорошо известна характеристика, которую Карл Маркс дал в свое время Тьеру: «Мастер мелких государственных плутней, артист в вероломстве и предательстве, набивший руку в банальных подвохах, низких уловках и гнусном коварстве... Всегда готовый произвести революцию, как только слетит с занимаемого места, и затопить ее в крови, как только захватит власть в свои руки; напичканный классовыми предрассудками вместо идей, вместо сердца наделенный тщеславием, такой же

грязный в частной жизни, как и в жизни общественной, он даже... разыгрывая роль французского Суллы, не может удержаться, чтобы не подчеркнуть мерзости своих деяний своим жалким важничаньем».

Как много общего в этой бессмертной характеристике Тьера с личностью Германа Геринга, хотя, конечно, Марксовы эпитеты могли бы отразить лишь некоторые стороны многообразной преступной карьеры нациста № 2.

Разоблачая преступления душителя Парижской коммуны, Маркс пишет: «Чтобы найти что-либо похожее на поведение Тьера и его палачей, надо вернуться к временам Суллы и римских триумвиратов».

Чтобы найти что-либо похожее на поведение Геринга, возвращаться некуда.

1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции объявлялся приговор Международного трибунала.

Большая его часть была оглашена в присутствии всех подсудимых. Затем председательствующий объявил перерыв, и их вывели. После перерыва вводили каждого в отдельности, и он стоя выслушивал формулу своей виновности и меру определенного ему наказания.

Первым появился Герман Геринг. В зале напряженная тишина. Лорд юстиции Лоуренс спокойно и твердо произносит:

— Герман Вильгельм Геринг, Международный военный трибунал признает вас виновным по всем четырем разделам Обвинительного заключения и приговаривает...

В этот момент Геринг сам вдруг начинает что-то говорить, размахивает руками. Лорд Лоуренс пытался продолжать, но Геринг жестикулирует еще отчаяннее, снимает наушники и дает знак, что ничего не слышит. Оказывается, испортилась система переводов. По залу забегали техники. Неисправность тут же была устранена, и Геринг явственно услышал:

— ...приговаривает к смертной казни через повешение.

Несколько мгновений он оставался недвижимым.

Это был тот самый приговор, который давно казался ему неизбежным. Геринг готовил себя к нему все эти месяцы, неотступно думал о нем в бесконечные дни и ночи. И все же, когда приговор прозвучал, он показался почему-то невероятным, невозможным, нереальным. Само слово «смерть», такое привычное в повседневном обиходе деловых будней Геринга, давно уже примелькавшееся и почти стершееся от частого употребления, — само это слово наполнилось вдруг новым, немыслимо страшным содержанием, мгновенно вырвавшим его из жизни и унесшим в какую-то ужасающую пустоту.

Геринг пошатнулся, однако устоял на ногах. Как бы очнувшись от кошмарного сна, он резко повернулся, и конвойные отвели его в камеру.

Через некоторое время туда вошел Джильберт. И вот его тогдашние впечатления:

«Лицо Геринга было бледно. Глаза лихорадочно блестели. „Смерть!“ — сказал он, опустившись на койку, и протянул руку за книгой. Рука дрожала, несмотря на все его старания казаться безразличным... Он часто и тяжело дышал».

Куда девались многочисленные хвастливые заявления о готовности именно к такому приговору, о том, что на процессе он защищает «не свою голову, а свое лицо». Впервые бывший рейхсмаршал явственно ощутил веревочную петлю на собственной шее, этот справедливый финал преступной жизни, и скомороший грим быстро сошел с его лица.

Защитник Геринга доктор Штамер направил в Контрольный совет по Германии ходатайство о помиловании. На случай отклонения этого ходатайства Геринг лично послал заявление с просьбой заменить ему повешение расстрелом. Однако обе эти просьбы были отклонены.

* * *

15 октября 1946 года вечером начальник тюрьмы полковник Эндрюс обходил камеры и объявлял осужденным результаты рассмотрения их ходатайств. Через несколько часов должен был состояться последний акт справедливого возмездия.

Все делегации Международного трибунала уже покинули Нюрнберг. Но я по случаю оказался в тот вечер во Дворце юстиции — приехал в командировку из Лейпцига. Шагаю по опустевшему коридору и вдруг встречаюсь с Эндрюсом. Он страшно взволнован. Спрашиваю его:

— Что случилось?

— Большое несчастье, — на ходу бросает он.

Оказывается, Геринг покончил самоубийством. И конечно, полковник Эндрюс, который так старался, чтобы не повторилась история Роберта Лея, был крайне удручен случившимся.

Позже я узнал некоторые подробности самоубийства.

В 22 часа стоявший на посту американский солдат заглянул через «глазок» в камеру Геринга. Геринг лежал на топчане с открытыми глазами. Как и требует предписание, руки он держал на одеяле.

Через некоторое время часовой опять прильнул к «глазку» и

на этот раз обнаружил, что Геринг конвульсивно подергивается, руки дрожат и судорожно сжимают одеяло. Лицо искажено гримасой. Из камеры ясно доносится хрип.

Часовой и дежурный офицер вбегают в камеру, однако поздно. Холодный свет лампы освещает уже синеющего Геринга. Врач Пфлюкер наклоняется над ним, пытается прощупать пульс, но пульса уже нет.

— Мертв, — заключает Пфлюкер...

Геринг проглотил ампулу цианистого калия. Остатки ее обнаружили в полости рта.

Кто же передал ему яд?

Об этом много говорилось в те дни, высказывались десятки догадок. Австрийский журналист Блейбтрей поспешил сделать сенсационное сообщение о том, что это дело его рук: пробравшись якобы рано утром в пустой еще судебный зал, он тайно прикрепил кусочком жевательной резинки ампулу цианистого калия к скамье подсудимых. Однако через несколько лет эту версию опроверг бывший генерал войск СС Бах-Зелевский. Позавидовав, видимо, рекламе расторопного журналиста, Бах-Зелевский объявил, что это он при встрече с Герингом в тюремном коридоре сумел передать ему кусочек туалетного мыла, в котором была запрятана ампула.

Точно установить обстоятельства, при которых Геринг получил яд, не удалось. Возможностей для этого у него было более чем достаточно. Геринг ежедневно общался со многими адвокатами, они передавали ему различные бумаги и, конечно, без затруднений могли дать заодно и ампулу с цианистым калием. В последние дни перед казнью с осужденным свободно общалась его жена. Она могла сделать то же самое.

Бесспорно лишь одно: Герман Геринг расстался с жизнью 15 октября 1946 года в 22 часа 45 минут. Ушел в небытие мелкий позер и чудовищный злодей, крупнейший вожак преступного германского фашизма.

III. Иоахим фон Риббентроп под судебным микроскопом

Виноторговец приходит на Вильгельмштрассе

Блеклым и облинявшим выглядел на скамье подсудимых бывший рейхсминистр иностранных дел Иоахим Риббентроп. Вид у него удрученный, соответствующий той метаморфозе, которая произошла в его положении.

Трудно назвать кого-нибудь другого из подсудимых, чье имя чаще мелькало бы в предвоенные годы на страницах мировой печати. И журналисты посвятили немало восторженных строк элегантной фигуре Риббентропа, его светским манерам, умению одеваться. Тогда он старательно обслуживался парикмахерами, массажистами, портными. Теперь все это позади. И господин рейхсминистр, который не научился сам следить за своей внешностью, как-то сразу постарел, опустился. Нередко он является в зал суда небритым, непричесанным. Да и в камере у него страшный беспорядок. Бюрократ по натуре, он развел там целую канцелярию, и бумаги валяются кругом в самом хаотическом состоянии...

Достаточно было несколько дней понаблюдать за Риббентропом во время суда, чтобы заметить, что ведет он себя совсем не так, как, скажем, уже известный нам Геринг. Этот держится скромно, даже заискивающе. Он чем-то напоминает ученика, который очень плохо занимался, оставлен на второй год и теперь старается замолить свои грехи.

Когда в зал входят судьи, Риббентроп каким-то образом умудряется опередить всех: и своих соседей по скамье подсудимых, и защитников, и обвинителей — и первым вскакивает с места. На вопросы отвечает с готовностью, будто давно осознал, что коль уж судьба обошлась с ним так круто, превратив министра иностранных дел в подсудимого, то его единственная забота — раскрыть будущим поколениям немецкого народа опасные заблуждения Гитлера, приведшего Германию к ужасной трагедии.

Сидит Риббентроп чаще всего скрестив руки: это его любимая поза. Перед началом судебных заседаний и в перерывах оживленно переговаривается с Герингом и Кейтелем. Но едва суд возобновляет свою работу, как он весь превращается в слух. На лице скорбная маска. Риббентроп старается казаться подавленным огромностью жертв и испытаний, которые выпали на долю человечества. Он держится с таким видом, будто сам из миллионов потерпевших и явился в нюрнбергский Дворец

юстиции, чтобы предъявить свой счет.

На разные случаи у Риббентропа заготовлены различные выражения лица. Стоит, например, обвинителю прервать излияния рейхсминистра и напомнить ему об огромной личной вине, как он сразу же надевает личину безвинно оклеветанного человека...

Слушая ответы Риббентропа на вопросы своего адвоката, я удивлялся блестящей его памяти. Гитлеровский дипломат с завидной точностью воспроизводил эпизоды тридцатилетней давности, легко оперировал многочисленными датами. Однако, как только адвоката сменял обвинитель, память Риббентропа заметно ослабевала.

На обычных уголовных процессах часто случается так, что подсудимый говорит с голоса своего защитника. На процессе в Нюрнберге защитник, конечно, не мог играть и не играл такой роли. Его задача сводилась в основном к собиранию доказательств в защиту подсудимого, к юридической квалификации действий последнего. Интерпретацию же этих доказательств, как правило, давал сам обвиняемый. Применившись к такому «разделению труда», адвокаты довольно слаженно действовали со своими подзащитными. Лишь изредка возникали серьезные эксцессы, когда защита фактически отказывалась выполнять свои обязанности.

В этой связи любопытна история с защитой Риббентропа. Его интересы на первых порах представлял известный немецкий юрист доктор Заутер, который, однако, очень скоро отказался от своего клиента. При случае я спросил у Заутера, чем это вызвано и не сожалеет ли он, передав своего подзащитного другому адвокату. Заутер улыбнулся:

— Знаете, господин майор, я просто счастлив, что развязался с ним. Я старался исполнить свой профессиональный долг, и думалось, что встречу в этом отношении понимание со стороны подзащитного. Но поверьте, мне страшно надоел этот «государственный деятель». Он нерешителен, истеричен, склонен к панике... Просит вызвать какого-нибудь свидетеля. Я предпринимаю необходимые меры. Вопрос решается положительно, и свидетель вот-вот должен прибыть в Нюрнберг. Но тут вдруг Риббентроп отказывается от своей просьбы и набрасывается на меня, устраивает истерику за то, что я так опрометчиво пошел на вызов этого свидетеля... Или, скажем, согласовываю с ним позицию защиты по тому или иному эпизоду, в частности по поводу его выступления на одном из правительственных заседаний. Он долго и подробно раскрывает мне смысл этого выступления. А на следующий день, когда я

сообщаю ему о своем плане защиты с учетом этого выступления, Риббентроп меняется в лице: «Откуда вы взяли, что я выступал там? Разве вам не ясно, что такое выступление подрывает всякое доверие ко мне?» Нет, такого человека защищать невозможно...

К этому следует добавить, что Заутер никогда не чувствовал себя единственным защитником и консультантом рейхсминистра. Целыми часами Риббентроп беседовал с тюремным врачом, с офицерами стражи и даже с парикмахером Виткампом, делился с ними впечатлениями о процессе, просил советов. Тюремный врач пошутил по этому поводу, что, будь он всего лишь охранником, Риббентроп все равно обратился бы к нему за советами.

Да, действительно, с того дня, как Риббентроп покинул роскошный министерский кабинет и лишился своих многочисленных советников, он почувствовал себя весьма растерянно в этом мире, клокочущем грозными событиями и внезапно сменяющимися ситуациями. Необходимая в такой обстановке быстрая реакция, способность принимать самостоятельные решения у гитлеровского «сверхдипломата» отсутствовали почти начисто. Его обуревал лишь страх за свою судьбу.

В первые дни мая 1945 года страх погнал Риббентропа в Гамбург. Там он снимает комнату на пятом этаже ничем не примечательного дома и на глазах у английского военного управления ведет жизнь безобидного обывателя. Пока контрразведчики разных стран ищут гитлеровского министра иностранных дел, пока его портреты с описанием особых примет тщательно изучаются во всех сыскных отделениях, Риббентроп в своем двубортном костюме, в черной шляпе и в темных защитных очках свободно гуляет по городу. После неприятной беседы с Деницем, наотрез отказавшимся использовать его в новом правительстве, и в особенности после того, как само это «правительство» было целиком арестовано, бывший рейхсминистр пытается «переквалифицироваться». Благо у него есть еще профессия — коммерсант, специализировавшийся на продаже шампанских вин.

Риббентроп не случайно прибыл в Гамбург: здесь обитал его бывший компаньон. 13 июня 1945 года они встречаются.

— У меня есть завещательное распоряжение фюрера, — шепчет Риббентроп. — Вы должны укрыть меня. Дело идет о будущности Германии.

Компаньон, судя по всему, не умилился при этой встрече. Что же касается сына гамбургского коммерсанта, то он немедленно сообщил оккупационным властям о появлении господина Риббентропа.

Назавтра ранним утром трое британских военных и один бельгийский солдат решительно постучались в квартиру, где скрывался Риббентроп. В дверях показалась молодая привлекательная женщина в легком капоте. Она встретила незваных гостей криком испуга, но те, не теряя ни минуты, устремились в комнаты. Пробуждение бывшего рейхсминистра было не из приятных.

— Как вас зовут? — спросил руководивший арестом лейтенант Адамс.

— Вы хорошо знаете, кто я, — ответил Риббентроп и чопорно раскланялся.

Господин Риббентроп, очевидно, предполагал скрываться долгое время. Во всяком случае, в его чемодане солдаты обнаружили несколько сот тысяч марок, аккуратно перевязанных в пачки.

На первом же допросе арестованный признался, что рассчитывал оставаться невидимкой до тех пор, пока не «улягутся страсти».

— Я знаю, — заявил он, — что мы находимся в списках военных преступников, и понимаю, что при существующем положении может быть только один приговор: смертная казнь.

— И вы решили подождать изменения обстановки?

— Да...

На всякий случай Риббентроп заготовил не только деньги, но и три письма: одно — фельдмаршалу Монтгомери, второе — министру иностранных дел Великобритании Идену, третье — Уинстону Черчиллю.

Но арест спутал все карты. С этого момента для Риббентропа «будущность Германии» теряет всякий смысл. Его перевозят в Лансбург, оттуда — в лагерь интернированных и, наконец, в Нюрнберг.

На скамье подсудимых Иоахима фон Риббентропа посадили в первом ряду, третьим после Геринга и Гесса. Он не был в числе организаторов нацистской партии, но доля его ответственности тоже огромна.

19 июня 1940 года, когда нацистский Берлин с ликованием праздновал первые «победы фюрера», имя Риббентропа было у всех на устах. Именно о нем Гитлер сказал тогда на заседании рейхстага:

— Я не мог закончить это чествование без того, чтобы в заключение не поблагодарить человека, который в течение многих лет осуществлял мои директивы, работая верно, неутомимо, самоотверженно. Имя члена нацистской партии фон Риббентропа как министра иностранных дел будет вечно связано

с политическим расцветом германской нации.

«Сверхдипломат» — так в течение многих лет величала Риббентропа буржуазная пресса. Но я слушал его показания в суде, слушал многочисленных свидетелей, вызванных по его делу, наблюдал отношение к нему других подсудимых, и передо мной возник совсем иной образ гитлеровского министра иностранных дел.

Суммируя итоги показаний Риббентропа, Геринг заявил доктору Джильберту:

— Какое жалкое зрелище! Знай я это раньше, больше вникал бы в нашу внешнюю политику. Не зря я так пытался помешать ему стать министром иностранных дел...

Еще более резкую характеристику дал Риббентропу Ганс Франк:

— Он грубый, невоспитанный и невежественный. По-немецки-то говорит неправильно, куда уж ему разбираться в международных делах. Я не понимаю, как Риббентроп мог рекламировать свое шампанское, не говоря уже о национал-социализме... Преступлением было делать такого человека министром иностранных дел в стране с семидесятимиллионным населением...

— Преступный дилетантизм! — так оценил деятельность Риббентропа на Вильгельмштрассе его сосед по скамье подсудимых фон Папен. — Преступный дилетантизм, благодаря которому этот человек проиграл империю в карты.

Не упускал случая съязвить, подчеркнуть невежество Риббентропа и Зейсс-Инкварт во время допроса «сверхдипломата». Когда дело коснулось позиции Болгарии в первой мировой войне, он с улыбкой заметил доктору Джильберту:

— Ничего пока не говорите, но я думаю, что наш министр иностранных дел даже не подозревает, что болгарский вопрос относится к Трианонскому договору.

Можно было бы значительно приумножить подобные высказывания бывших членов германского правительства. Но и без того уже ясно, какой репутацией пользовался «сверхдипломат» среди недавних своих коллег.

Да и Гитлер, как видно, разочаровался в нем. Перед самоубийством он составляет завещание, назначает своего преемника и новый состав правительства, однако Риббентропа, того самого, имя которого «будет вечно связано с политическим расцветом германской нации», в списке министров нет. Гитлер заменил его Зейсс-Инквартом.

В чем же дело? То Риббентропа славословили, перед ним

заискивали, с его именем связывали наиболее значительные победы германской дипломатии. А потом вдруг все с редким единодушием согласились, что он лишь «совокупность тщеславия, тупости, дилетантизма и вообще невежественный в международных делах человек».

Кем же в действительности был Иоахим фон Риббентроп?

В Международном трибунале ему пришлось давать показания вслед за Герингом. Явно желая опровергнуть мнение о том, что он просто «выскочка и карьерист», Риббентроп стал похваляться знатностью происхождения.

Ту же самую тенденцию нетрудно проследить и в его мемуарах, написанных в Нюрнбергской тюрьме. Сообщив место и дату своего рождения (город Везель, 30 апреля 1893 года), он пустился в утомительные рассуждения о том, что все его предки в течение столетий были либо юристами, либо солдатами, один из них даже подписал Вестфальский мирный договор.

Пространно повествует Риббентроп и о своих первых шагах в жизни. Ой как хочется ему убедить и суд и потомков, что всею своей жизнью был подготовлен к тому, чтобы взять на себя тяжкое бремя руководства иностранными делами Германии.

Еще совсем молодым человеком Иоахим Риббентроп едет в Швейцарию, затем перебирается в Лондон, где изучает английский язык. В 1910 году он в Канаде. А первая мировая война застает его в США. Милитаристское прошлое сразу же дает себя знать, и Риббентроп спешит в Германию, поступает на военную службу. В 1919 году в качестве адъютанта генерала Секта он выезжает с германской мирной делегацией в Версаль и вскоре затем выходит в отставку в скромном чине обер-лейтенанта.

Новые времена — новые песни. Вчерашний адъютант Секта счел за лучшее заняться коммерцией. Иоахим фон Риббентроп становится собственником крупной экспортно-импортной виноторговой фирмы, вступает в брак с Анной Хенкель, дочерью владельца другой всемирно известной фирмы по торговле шампанским. Молодой преуспевающий виноторговец богатеет с каждым годом и благодаря своим коммерческим связям со многими странами, особенно с Англией, приобретает знакомства в некоторых видных политических салонах.

Именно в это время у него зарождается мечта о дипломатическом поприще. Риббентропу кажется, что частые встречи с иностранными коммерческими контрагентами обогатили его солидным опытом международных сношений. Тщеславный по натуре, он жаждет украсить родословную Риббентропов собственной блистательной карьерой. Но

веймарский режим почему-то не замечает его дипломатических талантов. А вот национал-социалисты, которые рвутся к власти, относятся к нему более чем дружески. Однополчанин граф Гельдорф знакомит Риббентропа с Эрнстом Ремом, а потом эти два видных национал-социалиста устраивают ему встречу с самим Гитлером. Риббентроп убеждает Гитлера в том, что он имеет контакты с многими политическими деятелями Англии и Франции. Тот приходит к мысли, что этот человек может ему пригодиться. Гитлер не очень склонен в случае прихода к власти сохранять на Вильгельмштрассе дипломатов старой школы. Он намерен начать эру новой дипломатии, «решительной и без предрассудков».

В 1933 году происходит более тесное сближение виноторговца с главарем нацистов: Риббентроп предоставляет для деловых встреч Гитлера свой дом в Далеме. С этого момента и началась политическая карьера будущего рейхсминистра. Сразу же после прихода Гитлера к власти появляется на свет так называемое «Бюро Риббентропа», — по существу, специальная внешнеполитическая организация фашистской партии.

Многие нацистские бонзы, имевшие «заслуги» перед нацистским режимом в течение долгих лет борьбы за власть, смотрели на новоявленного дипломата как на выскочку. Но это лишь еще больше подхлестывало его, будоражило честолюбивые мечты, подогревало активность.

Иоахим фон Риббентроп был очень тщеславен. Его приверженность к пышным церемониям достигла своего апогея, когда он занял министерский кабинет на Вильгельмштрассе. Риббентроп появлялся в министерстве с таким видом, будто спустился с небес на грешную землю. При возвращении же его из заграничных поездок весь штат министерства выстраивался шпалерами на аэродроме или вокзале. Особые правила были разработаны на случай, если господин рейхсминистр путешествовал с супругой. В этом случае встречать его должны были не только сотрудники, но и жены их, невзирая ни на какие капризы погоды. Малейшее уклонение от установленного ритуала рассматривалось как неуважение к «высокой государственной особе», со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Болезненное тщеславие Риббентропа нередко оборачивалось скандалами. Однажды, например, он запретил публикацию согласованного коммюнике о переговорах между Гитлером и Муссолини из-за того только, что в заключительном параграфе этого документа, где перечислялись участники переговоров, фамилия министра иностранных дел была поставлена после Кейтеля. Еще более непристойная сцена разыгралась между

Риббентропом и Герингом в момент подписания пакта о создании «оси Рим — Берлин — Токио». Кроме правительственных делегаций трех стран в зале собрались тогда десятки представителей печати и кинохроники. Ярким ослепительным светом горели юпитеры. И тут вдруг на глазах у всех рейхсминистр попытался потеснить рейхсмаршала. Этот, по выражению Геринга, «высокомерный павлин Риббентроп» потребовал от «второго человека рейха» занять место позади него.

— Вы только подумайте, каков нахал! — задыхался от злобы Геринг, вспоминая этот случай уже много лет спустя во время одной из своих бесед с доктором Джильбертом. — И знаете, что я сказал ему в тот раз? Ни больше ни меньше как следующее: «Нет, герр Риббентроп, я буду сидеть, а вы будете стоять позади меня...»

* * *

Стремясь сохранить за собой благосклонность Гитлера, Риббентроп превзошел, пожалуй, даже Геринга. Он имел при фюрере своего человека, который систематически доносил, о чем тот ведет разговоры в «тесном кругу». На основании такого рода информаций Риббентроп делал выводы о ближайших намерениях Гитлера и, напустив на себя чрезвычайную важность, появлялся в апартаментах нацистского владыки с тем, чтобы преподнести ему его же мысли как свои собственные. Говорили, что Гитлер неоднократно попадался на эту удочку и превозносил «феноменальную интуицию» и «незаурядную дальновидность» министра иностранных дел.

В начале войны в распоряжение Риббентропа был предоставлен специальный поезд, в котором он повсюду сопровождал Гитлера. Поезд состоял из салон-вагона для самого Риббентропа, двух вагонов-ресторанов и не менее восьми спальных вагонов, в которых размещались многочисленные советники, специалисты-консультанты, помощники, секретари и охрана, отвечавшая за личную безопасность рейхсминистра. Все это напоминало бродячий цирк, который разбивал свои палатки то здесь, то там по мере надобности или по капризу Риббентропа. Отсутствие достаточного образования и знаний ставили министра в унизительную зависимость от огромного штата чиновников, которые должны были все время находиться под рукой.

Иоахим фон Риббентроп ревниво следил за политическим барометром. Ему было хорошо известно, что Гитлер стремится в ходе войны уничтожить десятки миллионов русских, украинцев, поляков, французов, чтобы навсегда ослабить эти народы,

подвергнуть массовому ограблению побежденные страны, уничтожить в Европе всех евреев. Поэтому, когда началась война, на первый план выдвинулись такие люди, как Кейтель и Кальтенбруннер. Генералы и гестапо — вот силы, которые двигали нацистскую империю к заветной цели фюрера. И в этой гонке к мировому господству Риббентроп вовсе не хотел отставать.

В угоду фюреру Иоахим фон Риббентроп еще в 1933 году облачился в эсэсовский мундир и был даже немного обижен тем, что получил тогда незначительный ранг штандартенфюрера. Но вскоре Гиммлер оценил молодого эсэсовца и уже в 1935 году повысил его до бригаденфюрера, в 1936 году — до группенфюрера, а в 1940 году Риббентроп стал обергруппенфюрером. Затем по просьбе самого Риббентропа его зачислили в дивизию СС «Тотенкопф» («Мертвая голова»), в связи с чем Генрих Гиммлер лично вручил ему символические знаки этой дивизии — кольцо и кинжал. Для других такого рода побрякушки не представляли никакой ценности, но Риббентроп буквально охотился за ними.

В прежние времена в международной практике существовал обычай преподносить иностранным послам и другим дипломатам роскошные подарки. Уклонение от таких преподношений считалось нарушением правил вежливости. Но с годами этот обычай претерпел изменения: дорогостоящие подарки уступили место орденам, медалям, шелковым лентам.

Патологически честолюбивый Риббентроп не упускал случая украсить свою грудь новым знаком внимания любого правительства. Ему, конечно, было далеко до Геринга: мундир рейхсмаршала походил на витрину ювелирного магазина. Но и Риббентроп в полном параде сверкал всеми цветами радуги. Тем не менее аппетит его не утолялся, а, наоборот, все больше усиливался. И если в какой-нибудь столице забывали предложить ему награду, гитлеровский министр иностранных дел всегда находил способ напомнить об этом.

Советский обвинитель предъявил Международному трибуналу весьма любопытный документ: записи беседы начальника протокольного отдела германского МИДа фон Дернберга с румынским диктатором Антонеску. Фон Дернберг долго уговаривал Антонеску пожаловать Риббентропу орден «Карл I». Но Антонеску знал честолюбивую страсть рейхсминистра и заломил большую цену. Он пожелал, чтобы Риббентроп публично заявил о готовности Германии разрешить так называемый трансильванский вопрос в интересах Румынии. Кто-кто, а Дернберг хорошо понимал, как трудно это сделать

Риббентропу, который незадолго перед тем, будучи в Будапеште, заверил венгерских правителей, что Трансильванию получит Венгрия. Положение создалось щекотливое. Однако германский министр иностранных дел не захотел поступиться румынской наградой. В ответ на притязания Антонеску он заявил: пусть сначала пожалует орден, а уж потом он, Риббентроп, сделает «все возможное». Коса нашла на камень. Антонеску согласился «проавансировать господина рейхсминистра», но при одном условии: публикация о награждении его появится только после того, как Риббентроп выступит с требуемым от него заявлением. На том и сторговались. Антонеску передал Дернбергу орден для его шефа, но без вручения соответствующей наградной грамоты к нему. И уж, конечно, никому из представителей «договаривающихся сторон» не пришло тогда в голову спросить мнение народа Трансильвании, судьба которого оказалась разменной монетой в этой бесстыдной сделке.

Риббентроп не очень кручинился по поводу того, что в наше время дипломатов перестали одаривать роскошными подарками из-за границы. Ему хватало тех, которые он получал от нацистского режима. Начальник имперской канцелярии статс-секретарь Ламмерс на допросе сообщил, что однажды Гитлер преподнес своему министру иностранных дел дар в миллион марок. А личный переводчик фюрера и рейхсминистра Шмидт подтвердил, что если до назначения на министерский пост Риббентроп имел всего лишь один дом в Берлине, то затем в короткое время он стал владельцем пяти больших имений и нескольких дворцов. В Зонненбурге близ Аахена господин рейхсминистр разводил лошадей. В районе Китиболя он охотился на серн. Роскошные замки Фушль в Австрии и Пусте-поле в Словакии тоже использовались для охоты. Как бы мимоходом Шмидт заметил, что бывший владелец замка Фушль господин фон Ремитц оказался в концлагере и умер там.

Что ж, у каждого были свои методы приобретения собственности. Риббентроп, как видно, недаром носил регалии обергруппенфюрера СС...

Впрочем, у него оставались и иные источники доходов. Еще перед своим приходом на Вильгельмштрассе он договорился с Гитлером, что будет продолжать заниматься виноторговлей. За это Иоахим фон Риббентроп великодушно согласился исполнять обязанности рейхсминистра «бесплатно».

Но вернемся к «Бюро Риббентропа», сыгравшему значительную роль в подготовке кадров нацистских дипломатов «нового типа», к числу которых принадлежал в первую очередь сам рейхсминистр.

Постепенно это «Бюро» вытесняло из сферы руководства внешней политикой германское министерство иностранных дел. Позиция самого Риббентропа была усилена тем, что Гитлер весной 1934 года назначил его специальным уполномоченным по разоружению. Создалась пикантная ситуация: заботу о разоружении поручили человеку, призванному дипломатическими средствами расчистить пути для развязывания агрессии.

Любезность времени

Анатоль Франс как-то сказал, имея в виду искусство: «Никому не дано создавать шедевров, но некоторые произведения становятся шедеврами благодаря любезности времени». Вот это-то «любезность времени», получившая историческое воплощение в зловещем слове «Мюнхен», и явилась, пожалуй, одним из важнейших факторов, который независимо от личных качеств Риббентропа играл значительную роль в его дипломатических успехах вплоть до нападения на СССР. Лишь в июне 1941 года этот фактор исчерпал себя полностью.

Время оказалось на редкость благосклонным к Риббентропу. Идея «сильной Германии» созрела в Лондоне задолго до появления там этого гитлеровского эмиссара. Ему осталось лишь сорвать готовый плод и поднести его фюреру: сначала в виде морского соглашения 1935 года, по которому Германии вопреки Версальскому договору разрешалось строить большой флот, а потом и в виде Мюнхена.

Характерно, что почин в этих «дипломатических победах» гитлеровской Германии был сделан не министерством иностранных дел, а «Бюро Риббентропа». Конечно, Гитлер понимал, что морское соглашение 1935 года лишь один из таймов большой «игры в мяч», которая завязалась между Германией и Англией. Но тайм был выигран Берлином. И как бы в вознаграждение за это Риббентроп получил назначение на пост официального германского посла в Лондоне.

С первых же минут пребывания на английской земле вновь испеченный посол повел себя далеко не лучшим образом, и Геринг постарался скомпрометировать его перед Гитлером. Фюреру было доложено, что Риббентроп, только приехав в Лондон, тут же стал давать неуместные советы английским дипломатам, а потом оскандалился перед королем Англии... Явившись на первую официальную аудиенцию, он приветствовал короля привычным возгласом «хайль Гитлер», что справедливо было расценено как оскорбление его величества.

Но время опять сработало на Риббентропа. В республиканской Испании разразилась гражданская война. Мятеж Франко, инспирированный и открыто поддержанный Берлином и Римом, вызвал бурную реакцию во всем мире. Народы многих стран настойчиво требовали положить конец вооруженному вмешательству фашистских держав в испанские дела.

Под напором общественного мнения в Лондоне создается комитет по невмешательству. Риббентропу представляется новая

возможность проявить свои интриганские способности, чтобы постепенно превратить этот международный орган в удобную ширму для новых агрессивных актов против Испанской республики. Гитлеровский посол ведет себя откровенно нагло. Являясь на заседание, он даже ни с кем не здоровается, а молча и как бы не замечая окружающих, с надменной миной на лице проходит прямо к своему месту за столом.

Нацистам это очень нравится. В Берлине Риббентропу снова курят фимиам. Многие склонны считать, что именно он парализовал работу комитета по невмешательству. Но нужно ли доказывать, что тут опять немалую роль сыграла все та же «любезность времени»: у Риббентропа нашлись весьма влиятельные помощники из реакционных правящих кругов Англии и Франции. Это они руководствовались девизом: «Лучше, чтобы Испанией правили германские фашисты, чем испанские коммунисты».

Мутные волны политических интриг, разбушевавшиеся вокруг Пиренеев, все выше поднимают популярность Риббентропа в третьем рейхе. Он становится «незаменимым дипломатом».

В октябре 1936 года в Берлин прибывает итальянский министр иностранных дел Чиано, предстоят переговоры и подписание пакта о создании «оси Берлин — Рим». На Вильгельмштрассе сидит Нейрат, но для ведения этих переговоров из Лондона срочно вызывается Риббентроп. И именно он подписывает соглашение.

В конце 1936 года форсируются переговоры о присоединении к «оси Берлин — Рим» третьего партнера — Японии. И опять для ведения переговоров и подписания соглашения вызывают из Лондона того же Риббентропа. Опять он ведет переговоры и подписывает новое соглашение от имени германского правительства.

Создается впечатление, что из посольского особняка в Лондоне осуществляется руководство всей внешней политикой Германии.

Наступил 1938 год. Уже ремилитаризована Рейнская область. Создан вермахт. Новый военно-морской флот Германии бороздит океаны. Гитлер решает нанести удар по Австрии — осуществить аншлюс. Мир опять встревожен. Геринг нервничает: сумеет ли Риббентроп убедить Англию не вмешиваться в «Австрийскую операцию»?

Риббентроп сумел. Смертный приговор независимости Австрии был приведен в исполнение при полной поддержке Лондона.

Во время допроса в Нюрнбергском суде бывший гитлеровский

посол в Лондоне не без удовольствия вспоминал дела тех дней. Он вовремя и безошибочно сообщил Гитлеру, что и Чемберлен, и Галифакс с большой терпимостью отнеслись к нацистским планам. Даже когда в Лондон поступило сообщение о вступлении гитлеровских войск в Вену, английские лидеры продолжали беседы с немецким послом «в чрезвычайно дружественных тонах». Настолько дружественных, что Риббентроп пригласил британского министра иностранных дел посетить Германию. И тот принял это приглашение, попросив «приготовить все для охоты». «Охота» оказалась необычной. На этот раз «дичью» должна была стать Чехословакия.

Но прежде чем приступить к «охоте», Риббентроп покинул Лондон. Его неоценимые услуги, его дипломатические успехи завершились в начале 1938 года назначением на пост министра иностранных дел. «Чехословацкую операцию» Риббентроп проводил уже облеченный полномочиями имперского министра.

А теперь попробуем разобраться, какой же талант потребовался от нового хозяина Вильгельмштрассе для того, чтобы сплести сеть, в которую попала Чехословакия.

Невольно вспоминаются тогдашние вздохи одной французской газеты: «И не стыдно Жоржу Боннэ, который сидит в кресле великого Талейрана, что он так позорно был обманут в Мюнхене». Но хорошо известно, что легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым. И надо сказать, что ни в чем другом нюрнбергские подсудимые не были так едины, как в том, что Гитлер не силой завоевал Чехословакию, а получил ее в дар от Лондона и Парижа.

Да, нацистская Германия независимо от намерений других западных держав еще задолго до мюнхенской сделки разработала так называемый «план Грюн» («Зеленый план»), предусматривавший все детали вооруженного захвата Чехословакии. Но состоялся Мюнхен. «Подарок» Гитлеру был сделан. И этот чисто военный план порабощения Чехословакии не понадобился.

Такой поворот событий в значительной мере осложнил положение обвинителей западных держав при допросе Риббентропа. Очень туго пришлось даже такому опытному юристу, как сэр Дэвид Максуэлл Файф.

Мне хорошо запомнился один из дней в конце апреля 1946 года, когда я, возвращаясь от генерального секретаря трибунала, заметил необычайное оживление возле дверей, ведущих в зал суда. Я уже намеревался войти туда, но меня остановил адвокат Серватиус (тот самый Серватиус, который много лет спустя защищал в Иерусалиме Эйхмана и забрасывал грязью

нюрнбергский приговор). Он завел речь о вызове каких-то свидетелей, которые были нужны ему, но которых не очень торопится вызвать генеральный секретариат. Серватиус очень хорошо говорил по-русски, и наша беседа грозила затянуться. От этого избавил меня какой-то английский журналист.

— Не теряйте зря времени, майор, — бросил он на ходу. — Начинается спектакль и большой экзамен для сэра Дэвида!

Я поспешил в зал суда. Места для прессы были заполнены до отказа. Все понимали, что английскому обвинителю при всей его опытности трудно будет пройти мюнхенские пороги.

Поединок между ним и бывшим министром иностранных дел гитлеровской Германии сразу принял острый характер. Файф всячески отрывал Риббентропа от мюнхенской почвы, вынуждая его говорить о «плане Грюн», в подготовке к осуществлению которого министерству иностранных дел отводилась важная роль. Но Риббентроп в меру своих способностей пытался оторвать Файфа от «плана Грюн» и свести весь чехословацкий вопрос к Мюнхену.

Геринг, саркастически улыбаясь, перегнулся через барьер и тронул за плечо адвоката доктора Зейдля. Это было верным признаком, что он уловил возможность учинить очередную провокацию. В таких случаях Герман Геринг, как правило, обращался не к своему защитнику доктору Штамеру (зачем ставить его в неловкое положение!), а именно к Зейдлю. Этот, в прошлом активный нацист, очень падкий на дурно пахнущие сенсации, в подобных ситуациях действовал безотказно. На сей раз, выслушав Геринга, Зейдль приблизился к адвокату Риббентропа доктору Хорну. Совещались они недолго. Хори тут же поднялся и заявил суду, что нет никакой надобности выяснять роль его подзащитного в осуществлении «плана Грюн» хотя бы уже потому, что сами западные державы санкционировали то, в чем сейчас сэр Дэвид пытается обвинить Риббентропа.

Это заявление заметно вдохновило Риббентропа и вооружило его для дальнейшей борьбы с Файфом.

Файф спрашивает:

— Вы прекрасно знали о «плане Грюн», не правда ли? О том, что военные планы предусматривали покорение всей Чехословакии, не так ли?

Риббентроп конечно знал об этом плане и принимал участие в подготовке к осуществлению его, но теперь он только пожимает плечами: к чему, мол, распространяться о том, чего не произошло. И совсем уж недвусмысленно заявляет, что само британское правительство решило данный вопрос в Мюнхене «так, как этого хотел я с позиций немецкой дипломатии».

Вслед за тем подсудимый с эпическим спокойствием принялся рассказывать, как Чемберлен и Даладье подталкивали Чехословакию к гитлеровской плахе.

— Дело обстояло так: господин Чемберлен сказал фюреру, что он согласен с тем, что должно что-то произойти, и он со своей стороны готов передать немецкий меморандум о расчленении Чехословакии британскому кабинету... Он сказал еще, что посоветует британскому кабинету, то есть своим коллегам-министрам, чтобы Праге было рекомендовано принять этот меморандум...

Риббентроп сообщает о беседах, которые Гитлер и он вели еще до Мюнхена с английским и французским послами в Берлине и в ходе которых эти официальные представители Лондона и Парижа верноподданнически уверяли фюрера, что «со стороны Англии и Франции существует намерение как можно скорее разрешить чехословацкую проблему в духе немецких пожеланий».

Слушая Риббентропа, я следил за Файфом и видел, как этот обычно спокойный и уверенный в себе юрист явно нервничал. Не раз он уличал подсудимых во лжи. Уличал и Риббентропа, когда речь шла о других эпизодах обвинения. Файф умел это делать лучше многих других обвинителей. Он ставил подсудимому серию вопросов, по видимости не предвещавших ничего страшного, но где-то среди них таился центральный вопрос, который непременно замкнет цепь, и подсудимый окажется припертым к стене. Увы, когда в зале суда речь шла о Мюнхене, этого не случилось. Файфу не помогали ни высокий профессионализм, ни блестящие способности полемиста.

Пройдет много лет, и кое-кому понадобится поднять на щит мюнхенских миротворцев. Я уже упоминал раньше, что по случаю двадцатилетия мюнхенского соглашения реакционная английская пресса подняла страшную шумиху и решила поразить мир грандиозной сенсацией. Оказывается, «ведущие актеры мюнхенской драмы были искренни... они действительно считали, что обеспечили мир в Европе». Со страниц «Санди экспресс» член английского парламента Беверли Бакстер вопрошает: «Должны ли мы все еще стыдиться Мюнхена?»

Читая такое, невольно обращаешься к истории. Рассказывают, что после окончания франко-прусской войны 1870—1871 годов к графу Мольтке пришли правоверные прусские историки. Пришли затем, чтобы сообщить ему о своем намерении написать историю победоносной войны против Франции. Разумеется, господа историки очень хотели, чтобы «его превосходительство» помог им своими советами и указаниями создать историю, достойную прусского воинства. Но старый Мольтке выразил лишь крайнее

удивление и даже возмутился: «Позвольте, господа, какие тут могут быть советы, какие указания? Пишите правду, только правду... Но не всю правду».

Достопочтенный член британского парламента Беверли Бакстер, как, впрочем, и многие другие буржуазные историки второй мировой войны, пошел дальше этого совета и написал «всю неправду». Лейтмотив статьи Бакстера состоит в том, что Мюнхен якобы явился поражением для гитлеровских генералов. «В наши дни, — уверяет Бакстер, — мы часто слышим фразу: такой-то и такой-то пошел на Мюнхен... Но что же в то время говорили и писали немецкие генералы? Мы узнаем из захваченных дневников, что они рассматривали Мюнхен как полную для себя катастрофу... Они писали, что Чемберлен обошел фюрера и блицкриг, только ожидавший сигнала, был отсрочен».

Нюрнбергский процесс внес полную ясность в данный вопрос. Может быть, единственная услуга, оказанная Риббентропом истории состоит как раз в том, что он рассказал на этом процессе относительно Мюнхена.

Риббентроп никак не согласен с теми, кто пытался и пытается еще представить Мюнхен как катастрофу для Гитлера. Он решительно опроверг это в своих показаниях перед лицом Международного трибунала, а еще определеннее высказался в собственных мемуарах, написанных в тюремной камере и уже после его смерти изданных отдельной книгой в Англии. Вот небольшая выдержка из этих мемуаров:

«В ходе допроса после моего ареста мистер Киркпатрик спросил меня: „Был ли фюрер очень недоволен, что Мюнхен привел к соглашению, так как это не позволило ему начать войну, и верно ли, будто Гитлер сказал в Мюнхене, будучи недоволен решением, что в следующий раз он спустит Чемберлена со своих лестниц вместе с его компромиссами?“

Я могу сказать, что все это абсолютная неправда. Фюрер был очень доволен Мюнхеном. Я никогда не слышал от него ничего иного. Он позвонил мне по телефону немедленно после того, как премьер-министр уехал, и сообщил о своей радости по поводу подписания дополнительного протокола. Я поздравил Гитлера... В тот же день на вокзале Гитлер еще раз выразил свое удовольствие в связи с мюнхенским соглашением.

Всякие иные версии по поводу точки зрения Гитлера или моей являются полной фикцией».

Это тот редкий случай, когда германский рейхсминистр иностранных дел говорил правду.

Тень «гиганта»

Конечно, не всегда успехи Риббентропа, столь высоко оцененные Гитлером, объяснялись только «любезностью времени». Он, как и Розенберг, считал давно и безнадежно устаревшей известную формулу Бисмарка: «Политика — это искусство возможного». «Искусство делать невозможное возможным» — в этом видели Гитлер и его подручные основу нацистской политики.

Такая концепция начисто порывала с прежними представлениями о дипломатии и ее методах. Даже своим не очень большим умом Риббентроп понял это. Как только он ознакомился с программой нацистской партии и был посвящен в планы гитлеровского заговора против мира, для него стало совершенно очевидно, что задачи имперских дипломатов весьма целенаправленны.

Существует большой генеральный штаб. На него возложено главное — подготовка и осуществление планов нападения на другие страны. Но прежде чем эти планы начнут претворяться в практические дела, необходимо создать благоприятную внешнеполитическую обстановку. Короче говоря, он, Риббентроп, должен поставить дипломатический аппарат Германии целиком на службу вермахту. Весь смысл своей деятельности новый имперский министр иностранных дел видел в том, чтобы средствами внешней политики расчищать путь агрессии. Зато и сама дипломатия «третьей империи» получала в руки веский козырь — возможность всегда и везде оперировать аргументом силы.

В самом начале своих показаний на Нюрнбергском процессе Иоахим фон Риббентроп заявил:

— Мне было сразу ясно, что я должен буду работать в тени гиганта, что я обязан наложить на себя определенные ограничения, что я не в состоянии проводить внешнюю политику таким образом, каким ее проводит министр иностранных дел, ответственный перед парламентом.

Хотя под гигантом понимался в данном случае Гитлер, в действительности им являлся большой генеральный штаб нацистской Германии.

Блестящий демагог барон Сонино, бывший некогда итальянским министром иностранных дел, приказал выгравировать над камином в своем кабинете следующее изречение: «Другим — можно, тебе — нельзя». Риббентроп знал это изречение, но перефразировал его по-своему: «Другим —

нельзя, тебе — можно». Именно таким девизом руководствовался он, как министр иностранных дел «третьей империи». И это стало возможным лишь потому, что каждый его шаг в дипломатической области подкреплялся военной силой. Агрессивные заговоры и политические убийства, шантаж и угрозы, шпионаж и пятые колонны, бесстыдные сделки с квислингами и самые беспардонные ультиматумы законным правительствам соседних стран — вот что составляло арсенал гитлеровского дипломата.

Наступила эра солдафонской дипломатии, многие черты которой унаследовали ныне дипломаты стран Атлантического договора, особенно США и ФРГ.

Допрос Риббентропа длился несколько дней. Он, как и все, увиливал, старался уйти от ответственности. Но в отличие от Германа Геринга где-то в глубине души у него еще теплилась надежда избежать виселицы. Поэтому Риббентроп не позволял себе на суде никаких эксцессов. В ряде случаев, понимая всю бесполезность голого отрицания фактов, он признавал свою вину. И тогда весь его вид как бы говорил суду: смотрите, я совсем не такой фанатик, как Геринг, со мной можно иметь дело. Геринг же при этом буквально неистовствовал, довольно громко называл бывшего имперского министра тряпкой и ничтожеством. Однажды он сказал соседям по скамье подсудимых, что Риббентропа считала упрямым и опасным дураком даже собственная теща. Она будто бы не раз заявляла:

— Самый глупый из моих зятьев стал самым знаменитым.

Подсудимые живо реагировали на эту остроту, а Риббентроп страшно обозлился на Геринга и два дня не разговаривал с ним.

Но «готовность сотрудничать» с трибуналом была только уловкой Риббентропа. Он был отнюдь не искреннее других.

Я уже имел случай отметить, что по англо-американской системе судебного процесса, принятой в Нюрнберге, никто из обвиняемых не мог заблаговременно ознакомиться со всеми материалами дела. Не зная в точности, какими конкретно доказательствами их виновности располагают прокуроры, они чаще всего пытались на всякий случай отрицать свою вину, пока не предъявлялся тот или иной документ, разоблачающий лжеца. Так было и с Риббентропом.

Когда возник вопрос, направляло ли германское министерство иностранных дел деятельность чехословацких нацистов генлейновцев, он стал категорически отрицать это, осторожно посматривая на обвинителя, не проглотит ли тот его ложь. Но обвинитель спокойно вынул какой-то документ и передал Риббентропу. То была секретная директива германского посла в Праге, из которой с полной очевидностью явствует, что от

имперского министра иностранных дел шли прямые директивы генлейновцам, как вести подрывную работу против пражского правительства.

Риббентроп чрезвычайно расстроился. Расстроился и ужаснулся: боже, подумать только, зачем понадобилось оставлять такие следы! В секретной записи, предъявленной обвинителем, прямо указывалось, что «для дальнейшей совместной работы Конраду Генлейну было дано указание поддерживать по возможности тесный контакт с господином рейхсминистром...»

Каждый шаг господина рейхсминистра фиксировался на бумаге! Только уверенность, глубокая уверенность в безнаказанности, в том, что «третья империя» будет вечной, могла породить такую неосмотрительность. И вот изволь теперь расплачиваться за это. Обвинители преподносят Риббентропу один сюрприз за другим.

23 августа 1938 года он вместе с Гитлером совершал морскую прогулку на одном из самых комфортабельных германских пассажирских кораблей «Патриа». У них в гостях были тогда профашистские руководители Венгрии Хорти, Имреди, Канья. Риббентроп давно и хорошо усвоил мнение руководителей имперского генштаба о том, что для успешного выполнения «плана Грюн» недурно было бы привлечь Венгрию. И во время прогулки он старательно ведет обработку венгерских гостей. Хорти, конечно, тоже не прочь отхватить кусок Чехословакии, но боится Югославии. Риббентроп успокаивает его: Югославия, находясь в клещах между «державами оси», и не посмеет напасть на Венгрию.

Вся эта беседа на «Патриа» тоже оказалась зафиксированной...

21 января 1939 года Иоахим фон Риббентроп встречался с министром иностранных дел Чехословакии Хвалковским и решительно требовал от него сокращения чешской армии. Несколько позднее произошла встреча Гитлера и Риббентропа с Тиссо, одним из руководителей тогдашней Словакии. Напоминая об этих двух встречах, советский обвинитель просит Риббентропа припомнить, какова была их цель и к чему свелись результаты. Подсудимый не знает, располагает ли обвинение какими-либо конкретными документами по данному вопросу, и прибегает к своей обычной уловке: закатывает кверху глаза, делая вид, будто силится вспомнить, о чем тогда шла речь. Увы, память «подводит». Обвинитель приходит ему на помощь и зачитывает выдержки из стенограммы.

Я обвожу взглядом скамью подсудимых. Геринг впился глазами в Риббентропа. Он не очень сочувствует своему соседу,

как, впрочем, и тот лишь несколько дней назад при подобной же ситуации отнюдь не сочувствовал Герингу. Нейрат переговаривается с Папеном. Саркастические их улыбки выдают единодушие в оценке происходящего: «Поделом этому выскочке!»

А обвинитель между тем зачитывает из стенограммы выдержку за выдержкой. Оказывается, Риббентроп не просто убеждал Тиссо отделить Словакию и объявить ее независимым государством. Он торопил Тиссо! «Министр иностранных дел империи подчеркнул... что в данном случае решение должно быть вопросом часов, а не дней». Риббентроп и Гитлер пугали своего собеседника: если, мол, словаки не выступят против Праги, то Германия оставит их «на милость Венгрии». Риббентроп, как это значится в записи, «показал Гитлеру донесение», которое он якобы только что получил. В «донесении» сообщалось о выдвижении венгерских войск к словацкой границе. «Еще немного промедления, и Словакию сожрет Хорти». Тогда уже «господин рейхсминистр, при всей своей симпатии к словакам... решительно ничего не сумеет сделать».

Риббентроп был настолько предупредителен в отношении словаков, что самолично составил для них проект закона о «независимости» Словакии и даже перевел его на словацкий язык. В ночь на 14 марта он вежливо выпроводил своих гостей домой, предоставив в их распоряжение немецкий самолет. А днем того же числа Братислава объявила Словакию «независимым» государством.

Это был один из многих случаев в дипломатической практике Риббентропа, когда он угрожал не военной силой самой Германии, а возможным нападением третьей страны, действовавшей по его же указке.

Вечером 14 марта Риббентроп пригласил в Берлин президента Чехословакии Гаху и министра иностранных дел Хвалковского. Лишь после полуночи (в 1 час 15 минут 15 марта) их провели в имперскую канцелярию. Там они были встречены Гитлером и Риббентропом.

Для истории сохранились два источника, раскрывающие суть этой встречи. Один из них — мемуары Риббентропа. В них сплошь розовые тона, всячески подчеркивается терпимость, сердечность и готовность «обеих договаривающихся сторон» прийти к соглашению о четвертовании Чехословакии. Гаха будто бы был счастлив тем, что наконец-то «фюрер держит судьбу Чехословакии в своих руках». Да и Хвалковский, по словам Риббентропа, безоговорочно принял точку зрения фюрера. «Перед подписанием соглашения, — уверяет Риббентроп, — Гаха позвонил в Прагу для того, чтобы получить согласие

правительства. Не было никаких протестов со стороны чехов, и Гаха дал приказ обеспечить дружественный прием германским войскам».

Прочитал я эти мемуары, изданные в Англии без всяких комментариев, и невольно подумал: как же все-таки важно, что состоялся Нюрнбергский процесс. Он будто ярким прожектором осветил все тайники империалистической дипломатии. Теперь не так-то легко фальсифицировать историю подготовки второй мировой войны.

Мысленно я вновь вернулся в зашторенный зал нюрнбергского Дворца юстиции.

Выясняя подлинную картину той ужасной ночи, когда единым росчерком пера была уничтожена Чехословакия, обвинитель предъявляет Риббентропу очередной документ. Подсудимый уже понимает, что это, вероятно, официальная запись еще какой-нибудь беседы. Он больше уже не разыгрывает ни удивления, ни возмущения.

Риббентроп не ошибся. Перед ним действительно подробная, во всех деталях, запись его и Гитлера беседы с Гахой и Хвалковским в ночь на 15 марта 1939 года. Нацистские заправилы были безжалостны. Они буквально терроризировали президента и министра иностранных дел суверенного государства: бегали за ними вокруг стола, совали им ручки и угрожали, что если Гаха и Хвалковский не подпишут предложенный им текст, то Прага завтра же будет лежать в развалинах.

В 4 часа 30 минут утра Гаха, поддерживаемый только впрыскиваниями, решился наконец поставить свою подпись под документом, гласившим: «Президент Чехословацкого государства вручает с полным доверием судьбу чешского народа и чешской страны в руки фюрера Германской империи».

История захвата Чехословакии, пожалуй, лучше всего раскрывает стиль дипломатии Риббентропа. На переговоры с Гахой и Хвалковским он не забыл пригласить начальника ОКБ Кейтеля и командующего люфтваффе Геринга. При таких «ассистентах» мудрено ли было заставить и без того капитулянтски настроенного президента Чехословакии с головой выдать свою страну гитлеровской Германии.

В памяти моей сохранилась, между прочим, и такая деталь. Когда в зале суда был оглашен текст, подписанный Гахой, советский обвинитель обратился к Риббентропу с завершающим вопросом:

— Согласны ли вы со мной, что этого документа вам удалось добиться при помощи самого недопустимого давления и под

угрозой агрессии?

— В такой формулировке — нет, — смиренно ответил Риббентроп.

— Какой же еще больший дипломатический нажим можно было оказать на главу суверенного государства?

И здесь германский министр иностранных дел превзошел самого себя.

— Например, война, — брякнул он после недолгого раздумья.

Зал вполне оценил «находчивость» Риббентропа и разразился громким смехом.

Дипломатия шантажа и угроз

Итак, Риббентроп действовал по раз навсегда установленной схеме: пока германский генеральный штаб разрабатывал план нападения на ту или иную страну, министерство иностранных дел должно было убаюкивать общественное мнение широковещательными заявлениями об уважении Германией суверенитета и территориальной неприкосновенности этой страны. Такого рода заверения становились тем более громогласными, чем меньше времени оставалось до дня нападения. Затем перед самым нападением германский генштаб требовал от Риббентропа «создать инцидент», в свете которого германская агрессия выглядела бы как «вынужденная» мера. И тут уж имперский министр не гнушался никакими средствами.

На суде Риббентропу предъявляют тексты его речей в Варшаве, где он торжественно заверял Польшу в мирных намерениях Германии, и секретные документы совещаний у Гитлера, где откровенно ставилась задача захвата Польши.

Перечитывая свои речи, Риббентроп обворожительно улыбается. Конечно же он не хотел войны с Польшей, всегда стремился к дружбе с этой страной. И мыслей о войне не было. Он никогда не считал, что Данциг стоит войны.

Совсем иное впечатление производят на бывшего рейхсминистра протоколы совещаний у Гитлера. Обворожительная улыбка исчезает с лица Риббентропа. Он хмурится и молчит.

А обвинитель уже предъявляет еще один документ. Это дневник графа Чиано, министра иностранных дел фашистской Италии. Чиано, как и его тесть Муссолини, ушел в небытие, но дневников своих не унес с собой. Среди прочих любопытных записей в них сохранился рассказ о том, как Риббентроп принимал своего итальянского друга в замке Фушль 11 августа 1938 года. «...Риббентроп сообщил мне перед тем, как сесть за стол, о решении начать игру с огнем. Он сказал об этом точно так же, как если бы он говорил о самом маловажном вопросе административного характера».

Далее в дневнике воспроизводится такой диалог:

« — Чего вы хотите, коридор или Данциг? — спрашивает Чиано.

— Сейчас больше ничего, — отвечает Риббентроп и, сверкнув на своего собеседника холодными как лед глазами, добавляет: — Мы хотим войны...»

Министры затеяли между собой спор, вмешаются ли Англия и

Франция, если Германия нападет на Польшу. Риббентроп доказывал Чиано, что Запад отнесется к этой акции с полной лояльностью — ведь, захватив Польшу, Германия выйдет прямо на русскую границу. Чиано выражал по этому поводу сомнения. Во всяком случае, в дневнике он записал:

«Они были убеждены, что Франция и Великобритания невозмутимо будут смотреть на уничтожение Польши. Об этом Риббентроп даже хотел держать со мной пари на одном из мрачных обедов, который мы вкушали в австрийском замке в Зальцбурге: если англичане и французы останутся нейтральными, то я должен подарить ему итальянскую картину, в случае же их вступления в войну он обещал мне коллекцию старинного оружия».

Риббентроп и впрямь был уверен, что «польская комбинация» сойдет по мюнхенскому образцу. Доказательств тому очень много. Но самыми интересными среди них являются, на мой взгляд, показания свидетеля Шмидта.

Этот рослый, импозантный, со вкусом одетый немец был личным переводчиком у Гитлера и Риббентропа. Занимая место у свидетельского пульта, он смотрит на скамью подсудимых и встречается взглядом со своим бывшим шефом. В глазах Риббентропа мольба. Повышенное внимание проявляют к Шмидту и другие подсудимые, особенно Нейрат, у которого он тоже служил в свое время. А еще раньше Шмидту довелось работать с германскими канцлерами Мюллером и Брюнингом, с министром иностранных дел Штреземаном.

Придворный переводчик дает присягу говорить трибуналу только правду. И хотя Риббентроп имел уже возможность убедиться, чего стоит эта клятва, когда ее приносят гитлеровцы, на этот раз его бросает в жар. Уж слишком много Шмидт знает о нем такого, что никак не хотелось бы обнародовать на суде.

30 августа 1939 года, когда Европа доживала последние мирные часы, в Берлин был приглашен для переговоров чрезвычайный уполномоченный польского правительства. Срок его явки Гитлер намеренно установил такой, чтобы он непременно «опоздал».

Вермахт уже изготовился к прыжку на Польшу. Отданы последние распоряжения в соответствии с «планом Вейс». Но Берлин и Лондон все еще продолжают комедию переговоров, в результате которых обе стороны стремятся создать себе дипломатическое алиби, перевалить друг на друга ответственность за развязывание новой мировой войны.

В 24 часа 30 августа английский посол в Германии Гендерсон встречается с Риббентропом. Шмидт присутствовал при этом и

дает суду следующие показания:

— Германский министр иностранных дел с бледным лицом, с жесткими губами и пылающими глазами опустился против Гендерсона у маленького стола для переговоров. С подчеркнутой твердостью поздоровался, вынул из портфеля обширный документ и стал читать...

Это были условия, на которых Германия согласилась бы «мирно урегулировать конфликт» с Польшей. Риббентроп намеренно быстро читал их, настолько быстро, что невозможно было не только записать, но даже запомнить прочитанное. Передать же Гендерсону текст меморандума рейхсминистр категорически отказался.

Это удивило даже видавшего виды Шмидта. Непонимающими глазами он смотрит на Риббентропа: не оговорился ли тот? Или, может быть, ослышался сам переводчик?! Не то и не другое. Риббентроп еще раз повторяет, обращаясь к Гендерсону: «Я не могу дать вам этот документ».

— После этого я посмотрел на сэра Невилля Гендерсона, — показывает Шмидт. — Я, естественно, ожидал, что он предложит мне перевести этот документ, но Гендерсон не потребовал... Если бы мне было предложено перевести, я делал бы это совсем медленно, почти диктуя текст, предоставив возможность английскому послу записать не только общие положения, изложенные в документе, но и все детали германских предложений... Однако Гендерсон не реагировал на мое выражение лица. Беседа скоро закончилась, и события пошли своим чередом...

Ровно через двадцать четыре часа после этой встречи Германия напала на Польшу. А еще три дня спустя германо-польская война стала перерастать в мировую — в нее вступили Англия и Франция.

— Утром третьего сентября, — продолжает Шмидт, — между двумя и тремя часами из английского посольства позвонили в имперскую канцелярию... Английский посол получил инструкции от своего правительства, в соответствии с которыми он должен был точно в девять часов утра сделать министру иностранных дел очень важное сообщение... Риббентроп ответил, что сам он не может иметь беседу в такое время, но уполномочивает сотрудника министерства иностранных дел, в данном случае меня, принять вместо него это сообщение английского правительства...

Совершенно очевидно, что Риббентроп ни во что не ставил свои последние переговоры с Гендерсоном и заинтересован был лишь в том, чтобы прикрыть дипломатическим фиговым листком

уже завершенную германским генеральным штабом подготовку к нападению на Польшу. Умственных ресурсов Риббентропа вполне хватило на то, чтобы понять, что и Гендерсон с добросовестностью чиновника стремится только создать впечатление, будто Великобритания хочет избежать войны. Именно поэтому рейхсминистр с такой легкостью отказался встретиться с послом государства, объявляющего состояние войны с Германией, а посол с не меньшей легкостью согласился вести переговоры с... переводчиком. По этим же причинам тремя днями раньше Риббентроп отказался передать Гендерсону текст германских предложений, а Гендерсон и глазом не моргнул, чтобы Шмидт перевел ему этот текст.

Хорошо известно, что преступник-рецидивист опаснее человека, впервые совершившего преступление. В то же время рецидивиста разыскать легче, если он скрылся. Легче потому, скажут вам криминалисты, что рецидивист, как правило, имеет свой «преступный почерк» — характерные только для него приемы совершения преступлений повторяются. Эта повторяемость приемов нередко и помогает напасть на след.

Риббентроп уподобился рецидивисту: приемы его вероломной дипломатии время от времени повторялись.

Вспомним опять 13 марта 1939 года. Через несколько часов Чехословакия как самостоятельное государство перестанет существовать. В этих условиях нетрудно было предположить, что оставшиеся в Праге министры захотят связаться с германским послом и через него — с Риббентропом. На сей случай Риббентроп телеграфирует своему послу в Праге: «Я должен попросить вас и других членов посольства принять меры к тому, чтобы чешское правительство не могло связаться с нами в течение ближайших нескольких дней». Речь, конечно, шла именно о тех неполных двух днях, в течение которых в Берлине насиловали Гаха, заставляя его собственной рукой подписать смертный приговор Чехословакии.

Прошло полгода. Наступили дни польского кризиса. И опять тактика Риббентропа сводится к тому, чтобы лишить польского посла возможности в критические часы, предшествовавшие нападению Германии на Польшу, прибыть к нему для переговоров.

3 сентября 1939 года английский посол требует у имперского министра иностранных дел аудиенции. Риббентроп отлично понимает, что речь пойдет о вступлении в войну Англии и Франции. Но и на этот раз он точно следует своей методе — в решающие минуты уходить от переговоров, чтобы исключить какую бы то ни было задержку, когда германский генеральный

штаб в ней не заинтересован. Принять посла Риббентроп поручает переводчику.

Минули еще два года. Наступила памятная для нас суббота 21 июня... Берлин. Унтер-ден-Линден. Советское посольство. Из Москвы утром пришла срочная телеграмма, предписывавшая незамедлительно передать германскому правительству важное заявление.

Сотрудник посольства В. Бережков пытается через чиновников германского МИДа условиться о встрече нашего посла с Риббентропом. Увы, господина рейхсминистра «нет в Берлине». Иоахим фон Риббентроп дал указание именно таким образом отвечать на настойчивые звонки из советского посольства.

В. Бережков вспоминает:

«Из Москвы в этот день несколько раз звонили по телефону. Нас торопили с выполнением поручения. Поставив перед собой настольные часы, я решил педантично, через каждые 30 минут, звонить на Вильгельмштрассе».

Но тщетно. Риббентроп оставался верен себе: до поры, до времени он избегал контактов и переговоров, которые могли повредить германскому генеральному штабу. Потом положение резко изменилось.

«Внезапно, — продолжает Бережков, — раздался телефонный звонок. Какой-то незнакомый лающий голос сообщил, что рейхсминистр Иоахим фон Риббентроп ждет советских представителей в своем кабинете в министерстве иностранных дел на Вильгельмштрассе... Я сказал, что понадобится время, чтобы известить посла и подготовить машину.

— Личный автомобиль рейхсминистра находится у подъезда советского посольства. Министр надеется, что советские представители прибудут незамедлительно...»

Было три часа ночи. Германская армия уже атаковала советскую границу. Фашистские самолеты внезапно обрушили тонны бомб на крепко уснувшие города. Теперь можно было обратиться и к Гаагским конвенциям. Правда, эти конвенции требуют объявлять состояние войны до того, как заговорят пушки. Но с точки зрения Риббентропа, это не более чем анахронизм. Он сообщил советскому послу не о том, что через час Германия начнет войну, а о том, что час назад она уже начала боевые действия, и постарался представить их как «чисто оборонительное мероприятие».

...Риббентроп сидит на скамье подсудимых и с тревогой наблюдает, как из таких отдельных штрихов его «дипломатической» деятельности складывается зловещий портрет

военного преступника.

Советские обвинители предъявили огромное количество документов, полностью опровергших версию об «оборонительных мероприятиях» и изобличивших Иоахима фон Риббентропа в развязывании агрессии.

Вот папки германского МИДа, в которых подшиты доклады посла в Москве графа фон Шуленбурга и военного атташе генерала Кестринга. Когда обвинитель приступил к чтению этих документов, лицо Риббентропа стало землистым. Как бы ему хотелось, чтобы Шуленбург и Кестринг сообщали тогда о военных приготовлениях Советского Союза, о концентрации советских войск на западной границе. Но германский посол в Москве наблюдал в то время совсем иное.

На стол выкладываются донесения Шуленбурга от 4 и 6 июня 1941 года. В одном из них посол заверяет: «Русское правительство стремится сделать все для того, чтобы предотвратить конфликт с Германией». В другом подчеркивается: «Россия будет сражаться лишь в случае нападения на нее Германии».

Еще один документ — меморандум Шуленбурга, советника посольства Гильгера и военного атташе генерала Кестринга. Это трио в осторожной, но категорической форме предупреждало свое правительство об опасностях, которые ждут Германию, если она нападет на Советский Союз.

Гитлер и Риббентроп вызвали графа Шуленбурга в Берлин. 28 апреля 1941 года посол получил аудиенцию у самого фюрера. Но она была более чем короткой. Гитлер отделался несколькими общими фразами, и Шуленбург понял, что его меморандум отклоняется. Не дав послу договорить, Гитлер распрощался с ним, бросив «под занавес»:

— Я не собираюсь воевать с Россией.

Фюрер явно не доверял графу Шуленбургу, хотя тот выступал против советско-германской войны отнюдь не потому, что был нашим другом, а только потому, что, живя в Москве, лучше других знал огромный экономический потенциал Советского государства, его растущую обороноспособность и высокие моральные качества народа.

Документы, зачитанные на суде, в частности исходившие от Шуленбурга, полностью подорвали защитительные позиции Риббентропа.

Германские дипломаты, аккредитованные в СССР, всерьез были обеспокоены назревавшими событиями. Не раз в разговорах между собой они возвращались к наполеоновскому походу на Москву, к его трагическим для Франции последствиям, вспоминали маркиза Коленкура. Он тоже был послом в России и

оказался единственным человеком из ближайшего окружения Наполеона, который решился предупредить императора о больших опасностях, ожидающих Францию в случае развязывания войны с русскими.

Коленкур, как известно, оставил мемуары, где самым интересным является, конечно, пересказ его бесед с Наполеоном, происходивших как в период подготовки похода на Россию, так и во время этого похода, вплоть до позорного бегства разбитой французской армии во главе со своим повелителем. Этот томик воспоминаний французского дипломата побывал на столах гитлеровских генштабистов при разработке ими «плана Барбаросса». Но самоуверенные гитлеровские генералы лишь посмеялись над ним и с пренебрежением отбросили прочь. А вот в германском посольстве в Москве в роковую весну 1941 года нашлись трезвые люди, подметившие в мемуарах Коленкура много такого, к чему следовало прислушаться. Тогдашний советник посольства Гильгер писал позднее:

«При чтении воспоминаний Коленкура особое впечатление на меня произвело то место, где автор описывает, как он упорно пытался убедить Наполеона встать на его точку зрения в отношении России и говорил о необходимости поддержания хороших франко-русских отношений. Это место книги так живо напомнило мне точку зрения Шуленбурга, которую он выражал всякий раз, когда ему представлялась возможность говорить с Гитлером о Советском Союзе, что я решил использовать это совпадение и разыграть посла.

Однажды, когда посол зашел ко мне, я сказал, что недавно получил конфиденциальное письмо от приятеля из Берлина и в нем имеется очень интересное сообщение о содержании последнего разговора посла с Гитлером. Граф Шуленбург выразил удивление, поскольку он имел основания полагать, что этот разговор известен в Берлине лишь очень немногим.

— Как бы там ни было, — ответил я, — вот текст.

С этими словами я стал читать отрывок из книги Коленкура, которую тщательно спрятал от Шуленбурга, вложив ее в папку для документов. Читая, я не прибавил и не убавил ни одного слова в тексте Коленкура, только заменил имена действующих лиц: Наполеона на Гитлера, а Коленкура на Шуленбурга, Посол проявил неподдельное изумление.

— Хотя это, по-видимому, не та запись, которую я сделал для себя после встречи с Гитлером, — воскликнул он, — тем не менее текст почти слово в слово совпадает!.. Пожалуйста, покажите мне, откуда это письмо.

...Я протянул послу томик мемуаров Коленкура... Совпадение

было действительно поразительным. Мы оба сочли это за очень дурное предзнаменование».

Но Риббентроп не верил в предзнаменования, и тогда еще никакие сомнения не одолевали его. Избалованный «любезностью времени», он готов был воспринять всерьез иронические слова Анатоля Франса, будто «способность сомневаться — способность чудовищная, аморальная, противная государству и религии».

* * *

В ночь на 22 июня 1941 года граф фон Шуленбург был поднят с постели ровно в три часа. Ему передали только что полученную шифровку от Риббентропа.

Через несколько минут из Леонтьевского переулка на улицу Горького выехал черный «мерседес», Германский посол направился к Народному комиссару иностранных дел СССР, чтобы открыть ящик Пандоры.

Граф хорошо знал широко распространенный в дипломатическом мире афоризм: «посол — это честный человек, которого посылают за границу лгать для блага своей родины». За долгие годы своей дипломатической карьеры фон Шуленбург лгал, разумеется, не меньше, чем другие буржуазные дипломаты. Но, прибегая ко лжи как методу дипломатии, он все-таки был убежден, что делает это на пользу своей страны. А вот в тот раз, следуя на большой скорости по пустынным улицам Москвы, посол вовсе не был уверен, что ложь его обернется благом для Германии.

Тем не менее старый службист «выполнил свой долг до конца». Встретившись в Кремле с советскими руководителями, он в точности передал им то, что предписывалось Риббентропом:

«Концентрация советских войск у германской границы достигла таких размеров, каких уже не может терпеть германское правительство. Поэтому оно решило принять соответствующие контрмеры».

Этими «контрмерами» была война. Самая разбойничья из всех войн, которые вела дотоле гитлеровская Германия. В момент, когда Шуленбург делал это заявление, бомбы уже рвались над советскими городами, убивая и калеча тысячи людей.

Шуленбург был очень краток. Риббентроп запретил ему вступать в какие бы то ни было разговоры. Роль истолкователя событий той ночи он взял на себя. Утром 22 июня рейхсминистр выступил на обширной пресс-конференции в Берлине и призвал представителей мировой печати рассматривать военные действия

Германии против СССР как чисто оборонительный акт, как войну «превентивного характера».

Иоахим фон Риббентроп в свое время скрепил своей подписью советско-германский договор о ненападении. Но Германия тем не менее напала на Советский Союз, и виноторговец с Вильгельмштрассе оказался в числе наиболее активных соучастников преднамеренного, преступного попрания этого договора. Риббентроп постарался сделать все для того, чтобы в час победы никто не посмел сказать, что в нее не внес своего вклада господин рейхсминистр. А когда сладкие мечты о победе улетучились как дым и после кровавого пира наступило нюрнбергское похмелье, он пытается внушить судьям, что узнал о подготовке войны против СССР лишь за несколько дней до ее начала.

Однако обвинители помогают Риббентропу «вспомнить», что еще в январе 1941 года он совместно с Кейтелем и Иодлем (обязательные «ассистенты» почти всех его дипломатических переговоров!) уговаривает в Бухаресте Антонеску пропустить германские войска в Румынию для того, чтобы они могли осуществить фланговый удар по войскам СССР. Весной 1941 года Риббентроп опять встречается с Антонеску и теперь уже предлагает ему принять участие в агрессивном походе против Советского Союза. За это Румынии были обещаны Бессарабия и Буковина, а также советское Приднестровье и Одесса.

Риббентроп утверждает, что даже в мае 1941 года ничего не знал о готовящемся нападении на СССР. А обвинитель зачитывает его письмо от 20 апреля Альфреду Розенбергу, назначенному на пост имперского комиссара восточных оккупированных территорий. В этом послании рейхсминистр сообщает фамилию своего чиновника, направленного в восточный штаб в качестве представителя МИДа...

После нападения Германии на СССР наступил новый, гораздо более трудный этап в дипломатической карьере Риббентропа. В известном смысле началом этого этапа можно считать переговоры с Японией. В них рейхсминистр не мог рассчитывать на «любезность времени» или на устрашающую силу вермахта. Японию следовало не понуждать, а убеждать.

Еще 29 марта 1941 года Риббентроп встречался в Берлине с японским министром иностранных дел Мацуока. Стремясь скорее столкнуть Японию с СССР, он произнес тогда напыщенную речь, напомнил своему собеседнику слова известного японского милитариста, впервые прозвучавшие при подготовке нападения на Россию в 1904 году: «Откройте огонь, и вы объедините нацию». Мацуока проявил большую учтивость, но был осторожен по части

обязательств.

Сразу же вслед за вероломным вторжением немецко-фашистских войск на советскую землю Германия усиливает дипломатический нажим на своего дальневосточного партнера. Риббентроп опять подстрекает Японию «нанести удар в спину СССР». 10 июля 1941 года с Вильгельмштрассе направляется телеграмма Отту — германскому послу в Токио:

«Примите все меры для того, чтобы настоять на скорейшем вступлении Японии в войну против России... Наша цель остается прежней: пожать руку Японии на Транссибирской железной дороге еще до начала зимы».

Однако восточный агрессор имел собственные планы, Япония усиленно готовилась к нанесению удара по тихоокеанским владениям Англии и США и предпочитала не втягиваться пока в опасную для нее войну против Советского Союза. Японский генеральный штаб имел уже горький опыт боев в Сибири и на Халхин-Голе. При всем своем авантюризме японские милитаристы хорошо понимали, что для одновременного нападения и на тихоокеанские владения могущественнейших западных держав, и на Советский Союз у Японии не хватит сил. В Токио решили делать ставку на один из этих двух вариантов. И конечно, выбрали более перспективный — тихоокеанский.

В течение 1941—1943 годов Риббентроп с упорством маньяка продолжает склонять японцев к нападению на СССР. Но усилия его тщетны. Япония в то время уже распылила свои силы по многим фронтам. Военное положение Германии с каждым месяцем становилось все хуже и хуже: за поражением под Москвой последовал разгром немецких войск на Волге, потом проигрывается Курская битва...

Гитлеровским «сверхдипломатом» овладевает растерянность. Он полностью утрачивает чувство реальности. Только этим можно объяснить, что в беседе с японским послом Осима Риббентроп напоминает о пакте «Рим — Берлин — Токио». Лидер ультраагрессивной фашистской внешней политики, всегда считавший международные договоры клочком бумаги, теперь вдруг вспомнил старую дипломатическую формулу: «Договоры должны выполняться». Вспомнил то, чем и он сам, и его японский союзник всегда пренебрегали. И уж совсем смешон был Риббентроп, когда слезливо стал убеждать Осима, что «нельзя же перенапрягать силы Германии».

Мобилизуя весь арсенал японской вежливости, посол сообщает Риббентропу мнение Токио:

«Японское правительство полностью понимает опасность, которая угрожает со стороны России, и полностью понимает

желание своего германского союзника, чтобы Япония со своей стороны также вступила в войну против России. Однако, учитывая нынешнее военное положение, для японского правительства невозможно вступить в войну. С другой стороны, Япония никогда не будет игнорировать русский вопрос».

Риббентроп злится, теряет самообладание. 18 апреля 1943 года он снова встречается с Осима и пытается убедить его в том, что Россия «никогда не будет так слаба, как сейчас». Надо же было сказать такое, когда под мощными ударами Советской Армии германские войска откатывались назад, оставляя сотни километров захваченной территории!..

А результат? Он оказался плачевным для Риббентропа. «Японская операция» — первая крупная дипломатическая акция, которую нацистский «сверхдипломат» пытался провести, лишившись возможности прибегнуть к излюбленным своим методам — шантажа и угроз, провалилась.

В поисках выхода

Чем дальше, тем с большей очевидностью поступки Риббентропа свидетельствовали о безнадежности положения Германии и о том, что его дипломатия утратила всякую связь с реальной действительностью. Позолота стерлась. Мундир Дипломата уныло болтался теперь на плечах обанкротившегося виноторговца.

Давая показания на Нюрнбергском процессе, Риббентроп лепечет что-то насчет своих усилий, направленных на прекращение войны. Он и впрямь предпринял некоторые шаги. Его эмиссары помчались в Мадрид, Берн, Лиссабон, Стокгольм, имея главной своей целью — склонить западные державы на сепаратные мирные переговоры.

Эти поползновения нашли благоприятный отклик в некоторых реакционных кругах, но тем не менее тоже сорвались. Даже самые отъявленные реакционеры не могли не учитывать великой силы народных масс, поднявшихся на освободительную войну против гитлеризма.

Тогда Риббентроп предложил новый маневр. «Я сказал фюреру, — пишет он в своих мемуарах, — что готов вместе с семьей лететь в Москву, чтобы убедить Сталина в наших хороших намерениях и в нашей искренности. Он может, если желает, задержать мою семью в качестве заложника».

В дни, предшествовавшие 22 июня 1941 года, Риббентроп и слушать не хотел советника германского посольства в Москве Гильгера, который вместе с послом графом Шуленбургом предупреждал его об опасности авантюры, затеваемой против СССР. Но весной 1945 года рейхсминистр вспомнил о Гильгере. Вот что пишет Гильгер в своих мемуарах:

«Еще в конце марта 1945 года он серьезно предложил мне отправиться в Стокгольм и попытаться установить контакт с советской дипломатической миссией с целью выяснения возможности сепаратного мира. Только с большим трудом мне удалось отговорить его от этого дикого плана».

Однако в начале апреля Риббентроп опять вызвал Гильгера. Лежа в постели, рейхсминистр бормочет:

— Гильгер, я кое-что хочу у вас спросить и прошу, чтобы вы мне откровенно ответили. Как по-вашему, согласится Москва когда-нибудь снова вступить с нами в переговоры?

— Не знаю, стоит ли мне отвечать на этот вопрос, — сомневается Гильгер, — ведь, если я скажу то, что действительно думаю, вам это совсем не понравится. Вы можете рассердиться.

Риббентроп нетерпеливо прерывает его:

— Я всегда хотел от вас полной откровенности.

— Что ж, — согласился Гильгер, — раз вы настаиваете, вот мой ответ: до тех пор, пока Германией управляет нынешнее правительство, нет и малейшей надежды, что Москва когда-нибудь станет вести переговоры...

Министру иностранных дел, по свидетельству самого же Гильгера, казалось, было не под силу проглотить такую горькую пилюлю. «Лицо его покраснело, глаза выкатились». Собеседник заметил, что Риббентропа «душили слова, которые он хотел произнести». Но в этот момент приоткрылась дверь, и показалась его жена:

— Вставай, Иоахим, — крикнула она, — ступай в убежище! Массированный воздушный налет на Берлин...

* * *

В последние дни «третьей империи» Риббентроп мечется из стороны в сторону. Между двумя очередными встречами с Гильгером назначает аудиенцию шведскому графу Бернадотту. Стремясь использовать его в качестве посредника для переговоров с Западом, рейхсминистр полагает полезным «пугнуть шведов».

Бернадотт вспоминает: «Он уверял, что если рейх проиграет войну, то не пройдет и шести месяцев, как русские бомбардировщики будут бомбить Стокгольм, расстреляют шведскую королевскую семью, в том числе меня».

А попутно в ход пускается и лесть. Риббентроп клянется, что Гитлер «был всегда самым дружественным образом настроен по отношению к Швеции, и единственное существо на свете, к которому он испытывает глубокое уважение, — это шведский король».

Каков уровень? Каковы аргументы? Какая богатая выдумка! Поистине комментарии излишни.

* * *

Наступает май 1945 года. Крах Германии совсем близок. Покончили самоубийством Гитлер и Геббельс. Не меньше оснований имел для этого и Риббентроп. Но бывший хозяин Вильгельмштрассе не торопится на тот свет.

Много лет Риббентроп поклонялся своему идолу, а тот

ответил ему черной неблагодарностью. Читатель уже знает, что в новом составе правительства, которое должно было сформироваться после смерти Гитлера, фамилия Риббентропа не фигурировала: фюрер отставил его. Оскорбленный «сверхдипломат» причитает по этому поводу: не он ли даже 27 апреля телеграфировал Гитлеру и просил разрешения вернуться в столицу, чтобы умереть рядом с ним!.. Единственное утешение Риббентроп ищет в том, что это не сам Гитлер заменил его Зейсс-Инквартом; тут не обошлось без Бормана и Геббельса. Эти мерзавцы, безусловно, использовали умопомрачение фюрера и заставили последнего подписать такое завещание.

Но как бы то ни было обида на Гитлера не проходила очень долго. Даже в Нюрнбергской тюрьме, беседуя с доктором Келли, Риббентроп жаловался:

— Мне очень горько. Я отдал ему все... Я всегда стоял за него... Должен был выдерживать его характер. А в результате он выбросил меня...

Впрочем, выбросить Риббентропа оказалось не так-то просто. Он цепок и сразу не сдается. Он еще надеется зацепиться за власть и поспешает во Фленсбург, где преемник Гитлера гросс-адмирал Дениц формирует новое правительство.

Дениц тоже лелеял мечты сговориться с Западом и подыскивал для этого соответствующего министра иностранных дел. Но он отлично понимал, что Риббентроп, с именем которого связано вступление Германии в войну, не подходит для такой цели. С подчеркнутой учтивостью гросс-адмирал осведомился у самого же Риббентропа, кого бы он мог рекомендовать ему на пост министра иностранных дел.

Риббентроп обещал подумать. На следующий день они встретились вновь, и отставленный Гитлером «сверхдипломат» сообщил новому фюреру, что не видит другой кандидатуры, кроме... себя. Деницу пришлось недвусмысленно показать ему на дверь. К тому времени он уже назначил министром иностранных дел бывшего министра финансов Шверина фон Крозига.

* * *

Я уже упоминал, что при аресте в Гамбурге у Риббентропа было найдено письмо, адресованное Черчиллю. Он наивно полагал, что старый политический зубр поверит его крокодиловым слезам. После того, что произошло в мире за годы войны, Риббентроп пишет английскому премьеру, что и сам он, и Гитлер всегда стремились к сближению с Англией. Больше того,

Риббентроп считал Англию своей «второй родиной».

Чтение этого письма в Нюрнберге вызвало смех и искреннее недоумение. Казалось просто немыслимым, чтобы в 1945 году, уже после окончания войны, после того, как стали известными злодеяния преступной шайки Гитлера, мог найтись человек, который пытался бы убеждать Черчилля, что «Гитлер великий идеалист». Но именно этими и подобными им выражениями пестрело письмо Риббентропа.

А заканчивалось оно словами: «Вручаю свою судьбу в Ваши руки».

Как видно, не один Геринг представлял себя Бонапартом, схваченным на «Белерофоне». Риббентроп тянулся туда же. Впрочем, если бы «гамбургский герой» хоть немного был сведущ в истории, он вспомнил бы, что Британская империя никогда не обнаруживала сентиментальности в обращении со своими врагами. Что же касается сэра Уинстона Черчилля, то он уж совсем не мог быть причислен к лику мягкотелых либералов.

Известно, что, получив письмо Риббентропа, Черчилль немедленно сообщил его содержание в Москву. Пусть там знают, что британскому премьеру нечего скрывать от своего доблестного союзника!

Паническое состояние полностью лишило Риббентропа способности реалистически оценивать обстановку и людей. Это состояние, охватившее его в дни краха «третьего рейха», не прошло и за многие месяцы Нюрнбергского процесса.

Риббентропа неожиданно обуяло желание вызвать на суд побольше свидетелей. Он ходатайствовал о вызове своей жены, личной секретарши, ряда государственных деятелей Англии, с которыми имел дело на посту министра. В частности, им было заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля Уинстона Черчилля. По мысли подсудимого, Черчилль должен был вспомнить и рассказать суду об одном своем пикантном разговоре с ним; признаться всенародно, что он, Черчилль, расхваливал тогда германского рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Не более и не менее!

Логика Риббентропа была проста: если такого мнения о Гитлере был сам Черчилль, кто же посмеет упрекать в сотрудничестве с фюрером его, Риббентропа? Но выступавший с заключением по этому ходатайству сэр Дэвид Максуэлл Файф, не входя в рассмотрение существа вопроса, сказал лишь, что в бытность подсудимого германским послом в Лондоне Черчилль являлся «джентльменом, не занимавшим никакого официального положения». А под конец добавил:

— Обвинение имеет честь считать, что связь этих разговоров

с вопросами, разбираемыми на данном процессе, не только не является очевидной, но и вообще отсутствует.

Риббентроп тотчас подозвал к себе доктора Хорна и что-то шепнул ему на ухо. Адвокат немедленно попросил слова и с видом человека, наносящего неотразимый удар, заявил:

— Сэр Дэвид, я хочу обратить ваше внимание на то, что премьер-министр Уинстон Черчилль в то время был руководителем оппозиции его величества в парламенте и получал за это соответствующее материальное вознаграждение.

Английский обвинитель спокойно подошел к пульту и стал поглаживать себя по тому месту, где спина теряет свое благородное название. Это не сулило Хорну ничего хорошего. Уже давно было замечено, что Файф поступает так, когда собирается нокаутировать противника. И нокаут последовал.

— Господин адвокат, — сказал обвинитель, — думаю, что вы не стали бы ссылаться на эти обстоятельства, если бы не пали жертвой неправильной информации...

Вслед за таким вступлением Файф весьма популярно объяснил Риббентропу и Хорну, что в Англии из двух партий — консервативной и лейбористской — одна бывает у власти, а другая — в оппозиции. Когда Риббентроп являлся послом в Англии, у власти находилась консервативная партия, а главой правительства был Чемберлен. Черчилль, тоже консерватор, никаких постов не занимал. Как член консервативной партии, как рядовой член парламента от этой партии, он не мог быть и в оппозиции, а тем более выступать в качестве ее лидера в парламенте. И чтобы уж окончательно удовлетворить любознательность бывшего министра иностранных дел Германской империи, Файф сообщил, что «тогда лидером оппозиции был мистер Эттли».

Но суть, конечно, не в этом очевидном примере невежества Риббентропа. То ли еще случалось в жизни господина рейхсминистра! Куда поразительнее была уверенность подсудимого в том, что Черчилль поторопится в Нюрнберг и, прибыв туда, больше всего будет озабочен спасением бывшего германского посла в Лондоне.

В составленном самим Риббентропом списке свидетелей, которых он пожелал вызвать в нюрнбергский Дворец юстиции с Британских островов, значились также герцог Виндзорский, герцог Баклауф, лорд и леди Астор, лорд Бивербрук, лорд Дерби, лорд Кемсли, лорд Лондондерри, лорд Саймон, лорд Ванситарт и многие другие. Нет необходимости говорить здесь о каждом из них. Для примера остановимся на одном лишь Ванситарте, тогдашнем постоянном заместителе министра иностранных дел

Англии.

Бывший советский посол в Лондоне И. М. Майский отмечает, что этот человек являлся одним из тех немногих английских политиков, которые, руководствуясь трезвым политическим расчетом, выступали за установление дружественных отношений с Советским Союзом. Во время войны только Риббентроп не заметил, что Ванситарт был лидером германофобского движения в Англии и в своих выступлениях доходил до открытого шовинизма. Всему миру известно, что именно Ванситарт говорил о необходимости не только наказания немецких военных преступников, но и о признании виновным в чудовищных преступлениях всего германского народа.

Конечно же, Ванситарт не поехал в Нюрнберг, но он любезно согласился письменно ответить на вопросы, интересующие суд и лично господина Риббентропа. Сформулировав свои вопросы Ванситарту, Риббентроп сопроводил их письменным напоминанием о встречах и беседах с ним. Ванситарт ответил незамедлительно. И вот во что вылилась эта более чем странная переписка.

Вопрос. Верно ли, что на основании этих бесед у свидетеля сложилось впечатление о настойчивом и искреннем стремлении Риббентропа к установлению длительной германо-английской дружбы?

Ответ. Я всегда стремился выполнять свои дипломатические обязанности не только добросовестно, но и соблюдая установившиеся правила показной вежливости. Поэтому я выслушивал много государственных деятелей и послов. Верить же всем им не входило в мои функции и не соответствовало моему нраву.

Вопрос. Верно ли, что фон Риббентроп тогда пытался убедить свидетеля в необходимости развития этих дружественных отношений в союз между Германией и Англией?

Ответ. Я еще меньше помню о предложении довести это якобы существовавшее дружелюбие до «союза».

Вопрос. Верно ли то, что сам Адольф Гитлер в личной беседе со свидетелем в Берлине в 1936 году высказывался в том же духе?

Ответ. Я действительно имел беседу с Гитлером во время Олимпийских игр. Точнее было бы сказать, что я слушал его монолог. Я не слушал внимательно, так как было интереснее наблюдать за этим человеком, чем слушать его болтовню, которая, вероятно, следовала обычной формуле. Я не помню подробностей.

Вопрос. Верно ли, что, по мнению свидетеля, фон Риббентроп посвятил этой задаче (установлению длительной англо-

германской дружбы. — А. П.) много лет своей жизни и что согласно его неоднократным заявлениям видел в выполнении этой задачи цель своей жизни?

Ответ. Нет. Я думаю, что не в этом заключалась цель жизни Риббентропа...

Мне рассказывали потом, что в тот день, когда ответы Ванситарта были оглашены на судебном заседании, подсудимые отобедали очень весело. В тюремной столовой — единственном месте, где каждый из них имел возможность в полный голос выражать свои мнения, — Риббентроп был осыпан насмешками.

А как же он сам реагировал на ответы Ванситарта? Лишь в последнем своем слове Риббентроп слезливо пожаловался на «черствость и недоброжелательность» достопочтенного лорда:

— Свыше двадцати лет моей жизни я посвятил устранению вражды между Англией и Германией, достигнув лишь того результата, что иностранные государственные деятели, знавшие о моих усилиях, заявляют сегодня в своих письменных показаниях, что они мне не верили.

На фоне многих подобных огорчений, пережитых Риббентропом в дни процесса, особенно ярко выделялись редкие приятные минуты. А они были! Вот пришел доктор Хорн. Он держит в руках «New York Gerald Tribune». Адвокат повернулся спиной к Риббентропу так, чтобы тот мог свободно читать последние новости. Риббентроп читает, и лицо его светлеет. Он даже подталкивает Геринга. И тот тоже углубляется в чтение, не скрывая своей радости. Редкое единодушие!

Это случилось 6 июня 1946 года, когда в печати появилось сообщение о выступлении с антисоветской речью Джеймса Бирнса — государственного секретаря США. Тогда же в британской палате общин его поддержал Бевин.

Риббентроп сразу как-то преобразился. В перерывах он выступал в роли комментатора мыслей Бирнса и Бевина. А по вечерам, встречаясь в своей камере с доктором Джильбертом, злорадно вопрошал:

— Разве Америке безразлично, если Россия сожрет всю Европу?

Риббентроп сумел разглядеть в речи государственного секретаря такую трещину, в которую легко мог провалиться весь Нюрнбергский процесс. Даже его небольшого ума вполне хватило, чтобы понять, что империалистической Америке «не безразлично», в каком направлении пойдет развитие послевоенной Европы. Но чего он так и не мог постичь, так это действительно полного безразличия Америки к тому, как обойдется нюрнбергская Фемида с самим Риббентропом. Без

таких, как он, легко можно было обойтись, даже проводя в Европе ту же политику, которую проводил он.

Утопающий хватается за соломинку

Иоахим фон Риббентроп не мог бы пожаловаться на недостаточное внимание суда к его персоне. Скрупулезно и во всех деталях трибунал исследовал вехи его жизни. Не был забыт ни один медвежий уголок его карьеры.

Риббентроп тщеславен. Однако здесь, в Нюрнберге, он не стал бы настаивать, чтобы трибунал тратил время на изучение той его деятельности, которая больше вытекала из высокого эсэсовского звания, чем из положения министра иностранных дел.

Риббентроп никак не хотел признавать свою осведомленность в существовании «лагерей смерти». Но оказывается, для того чтобы попасть в собственные имения — Зоненбург и Фушль, он обязательно должен был проехать через зону таких лагерей. Ему это показали на карте, и он не стал спорить.

— А разве это не был приют для престарелых евреев? — наивно осведомился бывший рейхсминистр, хотя каждый рядовой эсэсовец знал, что оттуда заключенные выходят «на волю» только через трубы крематория.

Еще менее хотелось Риббентропу признаваться в том, что он способствовал «комплектованию» подобных лагерей жертвами. От него на суде многократно следовали заявления, что он не антисемит, что многие из его «лучших друзей были евреями». Больше того, Риббентроп заявил суду, будто в беседах с Гитлером он пытался доказать, что антисемитизм не имеет под собой почвы. Рейхсминистр, оказывается, убеждал Гитлера, что Британия вступила в войну против Германии «не под давлением еврейских элементов», а в силу «стремления британских империалистов сохранить равновесие в Европе».

— Разговаривая с Гитлером, — замечает Риббентроп, — я напомнил ему, что в наполеоновскую эру, когда евреи еще не имели никакого влияния в Англии, англичане тем не менее воевали с французским императором...

Увы, обвинители не умилились, выслушав эти показания, и положили на судейский стол массу документов, изобличающих Риббентропа в активном осуществлении гитлеровского расистского плана.

Вот официальная запись совещания Гитлера и Риббентропа с венгерским регентом Хорти от 17 апреля 1943 года. Гитлер и Риббентроп требуют, чтобы Хорти «довел до конца» антиеврейские мероприятия в Венгрии. Запись фиксирует: «На вопрос Хорти о том, что же он должен сделать с евреями теперь,

когда уже лишил их почти всех возможностей добывания средств к жизни, не может же он убить их всех, имперский министр иностранных дел заявил, что евреи должны быть истреблены или сосланы в концентрационные лагеря — другого варианта не существует».

Подобными методами господин рейхсминистр пытается разрешить не только еврейскую, но и многие другие «проблемы». Он выговаривает итальянскому послу за недостаточную жестокость в борьбе с партизанами и настойчиво советует поголовно «уничтожать банды, включая мужчин, женщин, детей, чье существование угрожает жизни немцев и итальянцев».

Не колеблется Риббентроп и в том случае, когда возникает вопрос, следует ли подходить ограничительно к линчеванию сбитых англо-американских летчиков или линчевать их всех. Он категорически настаивает на последнем.

Риббентроп надеялся, что обвинители будут интересоваться лишь его дипломатической деятельностью. Но прокуроры союзных держав считали, что уголовно-политический портрет Риббентропа окажется незавершенным, если не раскрыть суду некоторые другие, чисто эсэсовские дела господина министра.

Месяц за месяцем длился Нюрнбергский процесс. Скрупулезно исследовались все доказательства.

Настала заключительная стадия: подсудимые получили право на свое последнее слово.

Риббентропа, как и других, не ограничивали временем. Говорил он долго, но ничего нового сказать не смог. Снова и снова настаивал на своем миролюбии, своем стремлении упрочить мир на земле: не моя, мол, вина, а моя беда, если люди не понимали меня или понимали превратно.

Риббентроп хотел жить и, как утопающий, хватался за соломинку. Произнося свое последнее слово, верил, что оно может стать в некотором смысле первым словом.

— При создании Устава этого трибунала, — заявил бывший рейхсминистр, — державы, подписавшие Лондонское соглашение, очевидно, придерживались другой точки зрения в отношении международного права и политики, чем сегодня... Сегодня для Европы и мира осталась лишь одна проблема: овладеет ли Азия Европой или западные державы смогут ликвидировать влияние Советов на Эльбе, на Адриатическом побережье и в районе Дарданелл. Другими словами, Великобритания и США сегодня практически стоят перед той же дилеммой, что и Германия...

Осенью 1946 года эти слова Риббентропа уже находили кое-где сочувственный отклик. Политический климат в мире действительно изменился. И все же Риббентроп просчитался. Он

не понял, что в Нюрнберге происходит не просто судебный процесс, а Суд Народов, за ходом которого бдительно следит мировое общественное мнение, ограничивающее возможности политических маневров реакции.

1 октября 1946 года Риббентропу объявили, что трибунал признал его виновным по всем разделам обвинительного заключения. Второй день подвел черту: председательствующий провозгласил, что за многолетнюю преступную деятельность против мира и спокойствия народов, за соучастие в совершении чудовищных преступлений против человечества бывший министр иностранных дел «третьей империи» приговаривается к смертной казни через повешение.

Бледный, со сжатыми губами, выслушал Риббентроп этот приговор. Видимо, в тот момент перед его глазами, как в отблеске молнии, пролетела вся жизнь. Еще и еще раз он мог пожалеть, что променял спокойное существование виноторговца на такую бурную, чреватую роковыми неожиданностями деятельность гитлеровского министра иностранных дел.

После объявления приговора Риббентропу оставалось жить ровно тринадцать дней, но он не знал этого. Время от времени к нему в камеру по-прежнему заходил доктор Джильберт. Стал захаживать и пастор. Этот новый посетитель, конечно, не радовал.

Риббентроп написал ходатайство о помиловании и одновременно сообщил доктору Джильберту, что готов написать в назидание потомству несколько томов об ошибках и просчетах нацистского режима. Риббентроп убеждал Джильберта, насколько важно для США сделать «исторический жест» и ходатайствовать о смягчении ему, Риббентропу, наказания или хотя бы об отсрочке исполнения приговора на время, необходимое ему для написания задуманного труда.

И вскоре сверкнул луч надежды: Риббентропу сказали, что с ним хочет встретиться «один американец». Этот американец пересек всю Азию и Европу. Он приехал из Токио, где в то время уже шел судебный процесс над главными японскими военными преступниками.

Это был Кеннингем — американский адвокат на Токийском процессе. В Нюрнберг он приехал с единственной целью — заполучить доказательство того, что между японским правительством и правительством третьего рейха «не было никакого сотрудничества» в проведении агрессивной политики. Понимая психологическое состояние «свидетеля», Кеннингем не стал утруждать Риббентропа и дал ему на подпись уже готовый текст показаний. Риббентроп поторопился подписать это

адвокатское сочинение, полагая, что его услуга представителю страны звездно-полосатого флага будет должным образом оценена. Однако уже на следующий день он мог убедиться, что оказался в роли мавра, который сделал свое дело и может уйти. «Свидетель» не пережил своих показаний даже на сутки.

В ночь на 16 октября последний раз лязгнул замок в камере бывшего германского министра иностранных дел. Его повели по тюремному коридору. Это был путь на эшафот. За несколько часов до того Риббентропу сообщили, что ходатайство о помиловании отклонено.

Говорят, что человек умирает так, как он жил. Риббентроп перед казнью находился в состоянии полной прострации. Он не шел по тюремному коридору, его тащили.

Когда-то Риббентроп без содрогания читал сводки гестапо, где описывались казни патриотов, боровшихся против фашизма. Это были люди больших и благородных идей. Идеи давали им силу, воодушевляли их даже на пороге смерти. Сам же Риббентроп — беспринципный политикан и интриган — уходил из жизни, как и прожил ее.

IV. Вильгельм Кейтель и Альфред Иодль

Полковник делает карьеру

Вслед за Риббентропом пришел черед Кейтеля. Перед Международным трибуналом предстал человек, занимавший в гитлеровской военной иерархии первое место. Среди военных не было лица, которое стояло бы ближе к Гитлеру.

Читатель, вероятно, помнит, как Функ жаловался, пытался уверить трибунал, будто его и близко не подпускали к высоким правительственным сферам, как слезливо он жаловался на то, что только подходил к двери, за которой вершилась большая политика, и всякий раз эту дверь захлопывали перед самым его носом. Кейтель не имел оснований для подобных жалоб: перед ним двери в высшие сферы третьего рейха были всегда распахнуты. Он был очень популярен в нацистской Германии, и этим предопределялась его популярность на Нюрнбергском процессе. Ни о ком столько не говорилось на заседаниях Международного трибунала, сколько о Геринге и Кейтеле. Никто так прочно не связал свое имя с многочисленными позорными документами гитлеровского правительства, как Кейтель.

У этого матерого военного преступника был достойный двойник генерал Альфред Иодль. В первые дни процесса меня не удивляло, что на скамье подсудимых фельдмаршал Кейтель сидит в первом ряду, а Иодль где-то на задворках второго ряда. Как-никак имя Кейтеля непрерывно мелькало в газетах, а о Иодле я раньше почти не слыхал. Многим генерал Иодль казался лишь тенью фельдмаршала. Кейтель был начальником штаба ОКВ (верховного командования вооруженных сил Германии), а Иодль возглавлял штаб оперативного руководства ОКВ и номинально подчинялся Кейтелю. Но если бы на Нюрнбергском процессе по мере раскрытия существа дела, по мере того как выявлялась подлинная роль каждого подсудимого в планировании и осуществлении нацистских злодеяний, можно было бы соответственно производить перемещения на скамье подсудимых, я без всякого сомнения оказал бы честь Иодлю и посадил его рядом с Кейтелем.

Вильгельм Кейтель, отпрыск старой юнкерской семьи, насчитывающей многие поколения земельных магнатов и военных, сам вступил на военную стезю в 1901 году в качестве кандидата на офицерскую должность в одном из артполков. В конце первой мировой войны он занимал относительно скромный пост начальника штаба морского корпуса во Фландрии и вплоть до прихода нацистов к власти продвижение его по служебной лестнице осуществлялось довольно медленно. В среде высшего

германского командования не являлось секретом, что Кейтель не отличается полководческим талантом. Но этот недостаток с лихвой восполнялся прочными пронацистскими настроениями, и с 1933 года мало кому известный начальник отделения из организационного отдела военного ведомства пошел в гору. В 1938 году он уже начальник штаба верховного командования вооруженных сил, в 1939 году — генерал пехоты, а после западной кампании 1940 года — фельдмаршал.

В Нюрнберге мне пришлось увидеть и услышать многих германских военачальников. Я слушал фельдмаршалов Рундштедта, Манштейна, Браухича. Там же я узнал и о Бломберге, Фриче, Беке. У каждого из них уже до второй мировой войны была определенная и подчас довольно высокая репутация стратегов. Тем не менее в 1938 году, когда производилась реорганизация управления вооруженными силами Германии, Гитлер в поисках кандидата на пост начальника штаба ОКВ без колебаний остановил свой выбор на Вильгельме Кейтеле. И дело здесь вовсе не в том, что нацистский диктатор давно уже уверовал, будто сам он является гениальным стратегом, а потому, мол, для поста начальника штаба ОКВ вполне достаточно умственных ресурсов Кейтеля. Помимо этого действовали еще два весьма важных обстоятельства.

Гитлер считал, что первое и последнее слово в большой политике может и должен произносить только он. Всякое возражение, всякая критика «великих предначертаний» фюрера рассматривались им как подрыв нацистских устоев. А господа генералы, о которых я только что говорил, почему-то не всегда воспринимают указания фюрера как истину в последней инстанции. Не то чтобы ими не разделялись установки Гитлера на подготовку большой войны. Гитлер хорошо знал, что никто не настроен так реваншистски, как именно эти генералы. Только невежды не подозревали, что все речи Гитлера, в которых он развивал мысль об агрессивной стратегии, были вдохновлены высшим германским генералитетом. Все это так. Но Гитлера раздражали излишние сомнения и осторожность некоторых из этих старых господ. До него, возможно, дошли слова Бека: «Плохо не то, что мы делаем, а то, как мы делаем».

Наряду с этим Гитлер почувствовал и нечто другое, что уже совсем плохо настраивало его в отношении Бека, Фрича и других генералов «старой школы». Они, конечно, жаждали войны не меньше, а даже больше, чем сам Гитлер. В этом смысле веймарский режим не представлялся им самым подходящим. Нацистская партия, которая открыто говорила о реванше как важнейшей части своей программы, казалась гораздо лучшим

союзником германского генералитета. И старые милитаристские зубры поначалу уверовали, что, оказав нацистам поддержку при захвате власти, им удастся сделать Гитлера «ручным фюрером» и стать хозяевами положения. Но как раз такая позиция меньше всего устраивала, тщеславную до мозга костей натуру Гитлера.

И не только Гитлера. Безмерно честолюбивый Геринг был глубоко убежден в том, что никто, кроме него, не способен достойно возглавить вермахт. Он и предпринял для этого известные уже читателю шаги, в результате которых Бломберг и Фрич потеряли свои посты. Следующим шагом должно было стать назначение Германа Геринга на пост военного руководителя Германии. Должно было стать, но не стало. Гитлер предпочитал держать «верного паладина» чуть поодаль от слишком уж влиятельного поста. Соглашаясь с Герингом относительно того, что надо реорганизовать управление вооруженными силами и убрать чересчур возомнивших о себе кайзеровских генералов, Гитлер предпочел назначить на пост верховного главнокомандующего не Геринга, а... самого себя, что он и сделал 4 февраля 1938 года.

Оставалось лишь подобрать подходящего начальника штаба ОКБ. На этом посту Гитлер хотел видеть не просто военного специалиста, а человека, безгранично и безоговорочно верящего в полководческий гений фюрера, а потому сознающего необходимость быть только его тенью и мыслящего теми же нацистскими идеологическими категориями, что и сам Гитлер.

Именно таким являлся Вильгельм Кейтель.

Полковник Кейтель слыл в среде германского командования ярым нацистом. Многолетней, хотя и бесцветной, службой он доказал свою исключительную лояльность и, более того, неограниченную покорность Гитлеру. Даже в Нюрнберге на допросе 3 августа 1945 года Кейтель заявил:

— В глубине души я был верным сторонником Адольфа Гитлера, и мои политические убеждения были национал-социалистскими. С тех пор как фюрер оказал мне доверие, личный контакт, который мы с ним поддерживали, помог мне обратиться в сторону национал-социализма. И по сегодня я остаюсь убежденным сторонником Адольфа Гитлера, однако это совсем не значит, что я разделяю все пункты программы и политику партии.

Национал-социалистская убежденность Кейтеля решила дело, и он оказался начальником штаба ОКВ.

Кейтель отлично знал, что поставлен во главе учреждения, основная и, в сущности, единственная задача которого заключается в подготовке большой войны. И коль судьба уж так

высоко вознесла его, он считал, что должен сделать все возможное и даже невозможное, чтобы оправдать доверие фюрера.

«Лакейтель» или Мольтке?

С первых же судебных заседаний, когда речь зашла о роли Кейтеля в преступлениях, я пытался представить себе, какова была подлинная власть, подлинное его влияние в военной группе. Сам Кейтель всячески стремился убедить суд в том, что, хотя он и занимал после Гитлера самое высокое положение в военной иерархии нацистской Германии, истинная его власть как начальника ОКВ была весьма ограничена. Ему очень хотелось предстать перед Международным трибуналом всего лишь начальником военной канцелярии Гитлера.

Попытки представить Кейтеля малозначащим чиновником, не имевшим влияния на военную политику, делались и после Нюрнбергского процесса в определенного толка западногерманской литературе. С другой стороны, те из германских генералов, о которых говорят, что каждый из них выигрывает одно сражение, а все вместе они проигрывают войну, готовы были всячески преувеличивать власть Кейтеля, представлять его наряду с Гитлером фактическим и полновластным руководителем вермахта. А так как Кейтель, по их глубокому убеждению, не имел никаких стратегических талантов, то проще всего было объявить, что именно он мешал германским генералам вести победоносную войну и способствовал военному поражению Германии. Мол, не германский генералитет, а только Гитлер и Кейтель подлинные виновники краха «третьей империи».

Кейтеля это, конечно, совсем не устраивало. Не устраивали его и настойчивые доводы Руденко о том, что, располагая военными знаниями и опытом, он, Кейтель, «имел возможность оказывать существенное влияние на Гитлера при решении военно-стратегических и других вопросов, касающихся вооруженных сил».

Бывший начальник штаба ОКВ проводил на процессе свою линию, смысл которой сводился к тому, что хотя он и был военным профессионалом, но Гитлер в силу своей гениальности вовсе не нуждался в его, Кейтеля, советах.

— Нет, господин обвинитель, — вкрадчиво отвечал он Руденко, — очень трудно обычному кадровому офицеру и неспециалисту представить себе, в каком огромном количестве Гитлер сам изучал труды генеральных штабов, военную литературу... и как велики были его знания в военной области, вызывавшие удивление.

Не знаю, взглянул ли Кейтель, сказав это, на скамью

подсудимых, видел ли сардоническую улыбку на лицах Иодля, Геринга, Редера. Но отступать было некуда, и он упорно продолжал настаивать на своем:

— Я разрешу себе, господин обвинитель, заявить здесь (и все остальные офицеры вооруженных сил могут подтвердить это), что Гитлер был осведомлен об организации, вооружении, руководстве, снаряжении всех армий и, что удивительнее всего, о флотах всех стран... Во время войны, когда мне часто приходилось бывать в главной ставке, он ночи напролет штудировал великие труды Шлиффена, Мольтке и Клаузевица, из которых черпал свои знания. У нас сложилось представление, что он гений.

Я наблюдал Кейтеля в течение всего процесса и неоднократно убеждался, насколько хорошо усвоил он, что на скамье подсудимых чрезмерная популярность его имени совершенно ему ни к чему. Но ведь, как назло, оно звучало в нюрнбергском Дворце каждый день и почти каждый час: «Кейтель приказал», «Кейтель распорядился», «Кейтель требовал»... Он оказался в фокусе событий второй мировой войны, ибо находился постоянно в непосредственном окружении Гитлера, повсюду сопутствовал ему и, в сущности, был его вторым «я». Недаром откровенное подхалимство и заискивание перед фюрером принесло фельдмаршалу малопочетное прозвище «Лакейтель».

Кейтель понимал опасность такой ситуации и потому все настойчивее проводил свою линию защиты. Отвечая на очередной вопрос главного советского обвинителя, незадачливый начальник штаба ОКВ заявил:

— Хочу, господин обвинитель, закончить свою мысль тем, что не я, откровенно говоря, поучал Гитлера, а он меня.

На скамье подсудимых и эта реплика Кейтеля была встречена улыбками. Некоторые подсудимые считали, что он прибедняется не в меру, что есть все-таки определенная граница в выборе средств и способов защиты, которую не стоит переступать. Впрочем, такая же точно мысль мелькнула и у самого Кейтеля, когда через несколько дней ему довелось лицезреть, какие рекорды лжи ставит его сосед по скамье подсудимых Эрнст Кальтенбруннер. Поистине, со стороны виднее!

Во время одного из перерывов Джильберт спросил Геринга, что он думает по поводу показаний Кейтеля. Рейхсмаршал, конечно, не поддержал нелепую ложь относительно Гитлера, но с готовностью согласился с другим утверждением Кейтеля:

— Я уже говорил суду, доктор, что у Кейтеля не было командных функций.

Читатель, несомненно, помнит, что Геринг иногда не прочь

был «взять на себя» ответственность за деятельность того или иного подсудимого. Но как только зашла речь о Кейтеле, он прикусил язык. В этом случае хорохориться не приходилось.

К какому же выводу можно прийти, задумываясь о подлинном положении Кейтеля в гитлеровской ставке? Можно смело сказать, что после ознакомления с материалами обвинения Кейтеля никто из судей не придерживался мнения, что он был ключевой фигурой в германском верховном командовании. Напротив, в ходе процесса стало совершенно очевидно, что главной «кухней» гитлеровской военной стратегии был штаб оперативного руководства ОКБ, а там хозяйничал не столько Кейтель, сколько Иодль. Гитлер понимал, что его «Лакейтель» не Мольтке и не Шарнгорст. На него не возлагалось решение оперативных вопросов. Для этого у Гитлера и существовал Иодль, о котором я еще расскажу.

А чем же занимался Кейтель? Если представить себе такую государственную организацию, при которой параллельно существуют генеральный штаб и военное министерство, то Кейтель выступал в роли военного министра, а Иодль в роли начальника генерального штаба. Все это, конечно, лишь условно, ибо функции Кейтеля и Иодля перекрещивались и взаимно дополнялись. Лично мне эти две фигуры представляются этаким двуликим Янусом.

В ОКВ существовали управление вооруженных сил, управления вооружения, разведки и контрразведки. Их деятельностью и руководил Кейтель. Однако не в этом состояла его главная задача. Альфой и омегой гитлеровской военной стратегии являлось нападение на другие страны без объявления войны, но с обязательной разработкой различного рода провокаций, которые должны были служить предлогом для агрессии и ее дымовой завесой. Вот тут-то Кейтель и раскрыл свои недюжинные способности.

Он отлично сознавал, что особые цели нацистской агрессии несомненно наложат свой отпечаток на методы вооруженной борьбы. Цели агрессии заключались в поголовном уничтожении одних («расово неполноценных») народов, в биологическом ослаблении других, в массовой германизации всех захватываемых территорий, в тотальном их ограблении. Целые страны подлежали опустошению и превращению в пустыню.

Такие чудовищные цели не могли быть достигнуты чисто военными средствами. Для их осуществления надо было заблаговременно предусмотреть целую систему военных преступлений. Отныне военные преступления становились одной из существенных составных частей оперативно-стратегических

планов, их следовало поставить в теснейшую связь с оперативными планами, так сказать, синхронизировать военные действия с военными преступлениями. Впереди были — вечный оккупационный режим на захваченных землях, ничем не ограниченное подавление там всякого сопротивления, массовое истребление гражданского населения и военнопленных, освенцимы и майданеки.

В новой ситуации от человека, представляющего вермахт, требовалась прежде всего неразборчивость в средствах. Фельдмаршал Кейтель обладал этим качеством в полной мере.

Только оказавшись на скамье подсудимых, он вынужден был как-то объяснить свои преступные действия и свел все к «фанатической приверженности приказу». Однако Международный трибунал доказал, что Кейтель не слепо выполнял приказы Гитлера, а всей душой одобрял их, считал необходимыми.

Мастер военных провокаций

Кейтель видел, как трудно приходилось Герингу и Риббентропу, когда речь шла об агрессии против ряда стран. И он сделал для себя практические выводы. Пусть Геринг и Риббентроп ссылаются на всякие там пакты и договоры, вспоминают Мюнхен. Ему, Кейтелю, об этом рассуждать не пристало. Он не политик, а военный человек, и ему, пусть поверят судьи, вообще непонятно слово «агрессия».

— Как солдат, господа судьи, я должен сказать, что понятие «агрессивная война» для меня ничего не говорит. Мы употребляли другие термины: «наступательная операция», «оборонительная операция», «отступление», «отход». Согласно моим личным солдатским представлениям термин «агрессивная война» является чисто политическим понятием, а не военно-солдатским.

А раз так, то как вообще можно военному человеку предъявлять обвинение в агрессии?

Эта линия защиты вызвала интерес на скамье подсудимых: что ни говори, свежая мысль. И Дениц и Редер переговариваются с Иодлем — не принять ли это на вооружение. Но не успели они прийти к определенному решению, как адвокат Кейтеля доктор Нельте задал своему подзащитному вопрос, из которого и его подзащитный и другие подсудимые поняли, что «свежая мысль» не возымела действия не только на суд, но и на адвоката:

— Фельдмаршал Кейтель, вы ведь, в конце концов, не только солдат, но также и личность, которая вела собственную жизнь. В этом смысле вы разве не думали над тем, что планировавшиеся операции являлись несправедливыми?

По форме такой вопрос был к лицу скорее прокурору, нежели адвокату. Но нет, доктор Нельте защищал своего клиента очень энергично и, я бы сказал, более солидно, чем многие другие адвокаты. Просто Нельте сразу же сообразил: версия Кейтеля способна убедить судей лишь в том, что тот хочет надеть на себя маску крайней политической наивности. Кто же поверит, будто старый волк германского милитаризма никак не разберется, что такое агрессия?

Увы, Кейтель не понял предостережения и, к явному раздражению адвоката, ответил ему так:

— Мне кажется, господин адвокат, что во время моей военной карьеры я придерживался лишь традиционных воззрений, в область которых не входил этот вопрос. Конечно, у меня были мои собственные мнения, моя собственная жизнь, однако что касается моих профессиональных обязанностей как

солдата и офицера, то собственная жизнь, в сущности, забывается благодаря функциям солдата и офицера.

Но довольно скоро Кейтелю пришлось убедиться, что его «свежая мысль» действительно не подействовала на судей. Они почему-то остались в глубоком убеждении, что «функции солдата и офицера» никак не мешали Кейтелю разбираться, что такое агрессор и что такое жертва агрессии. Уразумев это, Кейтель счел за благо прибегнуть к самому банальному плагиату. В ход пошли уже обветшалые аргументы Геринга и Риббентропа. Фельдмаршал вдруг ухватился за Версальский договор. Он считал, что об этом договоре наиболее уместно говорить с советским обвинителем: как-никак именно страна, которую представляет Руденко, в свое время квалифицировала Версальский договор как грабительский. Так вот Кейтель хочет сообщить советскому обвинителю, что цель германской внешней политики, которую почему-то называют агрессивной, как раз и заключалась в том, чтобы устранить несправедливость сего договора в отношении Германии. Но Руденко одним вопросом отбивает у Кейтеля интерес к версальской теме:

— Вы здесь, подсудимый, говорили о Версальском договоре. Я вас спрашиваю: разве Вена, Прага, Белград, Крым до Версальского договора принадлежали Германии?

После этого Кейтель забыл о Версале. Но у советского обвинителя мертвая хватка. От него так просто не вырвешься.

Вот он допрашивает Иодля. Предъявляется весьма любопытный документ, свидетельствующий, что после победы над Советским Союзом, в которой ни Кейтель, ни Иодль не сомневались, германское верховное командование намеревалось направить экспедиционный корпус через Закавказье в направлении Персидского залива, Ирака, Сирии. Иодль разводит руками: помилуй бог, это ведь только «офицеры генерального штаба, будучи оптимистически настроенными под влиянием первых побед... выражали подобные мысли». А что касается подлинных решений, то их «принимали старшие, более спокойные люди». Не станут же обвинители принимать всерьез теоретические упражнения желторотых юнцов из генштаба. «Старшие, более спокойные люди», такие, как Кейтель и Иодль, не могли замышлять подобных авантюр.

К величайшему огорчению этих господ, обвинение, однако, решило доказать, что как раз самыми опасными для мира были именно те, кто называл себя «старшими, более спокойными людьми». И начали обвинители с того, что раскрыли деятельность Кейтеля как мастера военных провокаций.

Собственно говоря, Кейтель и начальником штаба ОКВ стал в

результате провокации. Но это была провокация не против какой-нибудь страны, а против собственного шефа военного министра Бломберга. В свое время Кейтель, стремясь породниться с Бломбергом, женил сына на его дочери. Но времена меняются, соответственно должны меняться и люди. Кейтель был совсем не прочь занять место своего родственника. Радетельный свояк, немало сделавший для того, чтобы продвигать Кейтеля по служебной лестнице, ни сном ни духом не ведал, что тот услужливо передал Герингу материалы, компрометирующие «дорогого шефа» в истории с Эрикой Грун.

Вскоре после назначения на пост начальника штаба ОКВ Кейтелю представился случай еще раз обратить на себя благосклонное внимание фюрера. Кейтель понимал, что Гитлеру не нужно, чтобы он ночами корпел над составлением стратегических планов. Всякому свое. Кейтель не стратег, Кейтель умелый организатор того, что скрывается под таким неприятным теперь для него словом «агрессия».

Кейтеля спрашивают, приходилось ли ему участвовать в ведении дипломатических переговоров с иностранными государственными деятелями. И он скромно отвечает:

— Во время визитов государственных деятелей я присутствовал на приемах.

Что же это за «приемы»?

12 февраля 1938 года. Оберзальцберг. На приеме у Гитлера австрийский канцлер Шушнинг. Цель встречи — заставить Шушнинга подписать смертный приговор Австрии. Гитлер требует от собеседника предоставить важнейшие посты в австрийском правительственном аппарате нацистам, допустить в Австрии полную свободу нацистской пропаганды и террора. Шушнинг понимает, что это смертный приговор лишь с самой незначительной отсрочкой исполнения. Австрийский канцлер делает попытку сопротивляться:

— Я не могу подписать такое соглашение.

Гитлер повышает голос:

— Вы должны!..

Шушнинг повторяет свое. Гитлер в ярости:

— Мне достаточно издать один приказ — и в течение одной ночи с границей будет покончено...

С этими словами Гитлер встает, большими шагами идет к двери и распахивает ее.

— Кейтель!

На пороге появляется запыхавшийся начальник штаба ОКВ в сопровождении генералов Рейхенау и Шперля.

Зачем потребовался Гитлеру такой великолепный эскорт?

Когда Кейтеля спрашивают об этом в Нюрнберге, он пытается убедить суд в том, что до сих пор никак не может понять, зачем фюрер «пригласил» его. Но еще несколько вопросов обвинителей, оглашение показаний участников этой встречи, и фельдмаршал сникает:

— В течение дня мне стало ясно, что присутствие трех представителей армии являлось по крайней мере военной демонстрацией.

Кейтель признает, что его появление в кабинете Гитлера произвело «уничтожающее впечатление» на Шушнинга, который тут же подписал «соглашение».

Но это еще не был захват Австрии. Требовалось произвести некоторые действия, чтобы окончательно сломить австрийское правительство и заставить его принять аншлюс. И Кейтель старается. По его указанию распускаются ложные слухи, будто германское командование отменило отпуска для военнослужащих 7-й армии и концентрирует на германо-австрийской границе подвижной железнодорожный состав. Для распространения этих слухов широко используются вся агентурная сеть в Австрии и таможенные чиновники.

12 марта 1938 года Австрия капитулировала.

Наступают чехословацкие события. В генеральном штабе уже разработан «план Грюн». Но Гитлер, пользуясь поддержкой мюнхенцев, решил захватить страну без единого выстрела. С чехословацким правительством поступают на австрийский манер. Гитлер вызывает президента Гаху в Берлин. Здесь ему подготовлена достойная встреча. Регламент разработан до деталей. Начальник штаба ОКВ убедил фюрера, что если Шушнинга пугали только вторжением германских войск, то Гахе надо кое-что продемонстрировать наглядно. Спланирован захват вооруженными силами двух чехословацких городов.

14 марта 1938 года престарелый Гаха едет в Берлин. И в тот же день Кейтель отдает приказ о захвате Моравской Остравы и Витковице.

— Да, но ведь президент Гаха ехал в Берлин, чтобы вести переговоры с Гитлером? — спрашивает Руденко.

Кейтель молчит.

— Это ведь вероломство! — точно квалифицирует советский обвинитель поведение Кейтеля.

Кейтель опять угрюмо отмалчивается.

Его заставляют вспомнить еще об одном эпизоде, связанном с Чехословакией. Читателю уже известно, что нацисты, создавая повод для вторжения, решили убить своего посла в Праге. Кейтеля спрашивают об этом. Он не может оспаривать самого

факта, но прикидывается плохо осведомленным.

— Говорили только, что может иметь место убийство какого-то посланника или что-то вроде этого. Мне кажется, Гитлер ответил на это, что в тысяча девятьсот четырнадцатом году война так же была вызвана убийством посла в Сараево. Такие случаи ведь могут произойти...

Экая наивность! Кейтель, в руках которого концентрировалась вся подготовка агрессии против Чехословакии, никак не может разобраться, о каком убийстве шла тогда речь.

К лету 1939 года Австрия и Чехословакия перестали существовать как независимые государства и германский генеральный штаб разработал уже «план Вейс» — нападение на Польшу. Кейтель делает все, чтобы обеспечить успешное осуществление и этой акции. Он озабочен подготовкой новой провокации. Начальник штаба ОКВ выступает в качестве одного из режиссеров гнусной инсценировки «нападения» поляков на германскую радиостанцию в немецком городе Глейвиц. Читатель уже знает, что «нападение» это осуществлялось несколькими заключенными из немецких концлагерей, переодетыми в польскую форму. Произошло оно 31 августа 1939 года. А 1 сентября германские войска вторглись в Польшу. И в тот же день во всех немецких газетах появилось сенсационное сообщение:

«Германское информационное бюро. Бреславль. 31 августа. Сегодня, около 8 часов вечера, поляки напали и захватили радиостанцию в Глейвице. Силой ворвавшись внутрь здания, поляки успели прочитать на польском и частично на немецком языках воззвание, обращенное к населению. Полиция была вынуждена применить оружие. Со стороны захватчиков есть убитые».

Дальше все пошло как по нотам. Нацисты зашумели на весь мир, что одновременно с нападением на радиостанцию польские войска в ряде мест перешли германскую границу, ввиду чего вермахт должен был предпринять ответные меры.

И вот в Нюрнберге Кейтеля спрашивают о глейвицкой провокации. Он прикидывается, будто ничего не знал о ней. Тогда вызывается на допрос один из сотрудников штаба ОКВ — заместитель начальника германской военной разведки генерал Лахузен.

— То дело, — говорит Лахузен, — по которому я сейчас даю свидетельские показания, является одним из наиболее таинственных дел. Это было в середине августа. Как отдел контрразведки номер один, так и мой отдел контрразведки номер два получили распоряжение доставить польские мундиры и

снаряжение, а также удостоверения личности и тому подобное для операции «Гиммлер»... Канарис поставил нас в известность о том, что эти мундиры были выданы людям из концентрационных лагерей...

Слово за слово, и Кейтель, без указания которого ни один немецкий солдат не мог двинуться на Польшу, человек, который вместе с Гитлером утвердил «план Вейс», уже не может отрицать своей причастности к глейвицкой провокации.

— Адмирал Канарис сказал мне тогда, что ему нужно несколько польских мундиров... Мы решили, что эти мундиры предназначались для какой-то секретной операции...

Жребий брошен

С каждой новой провокацией на мундире Кейтеля появляются новые ордена, он повышается в чине.

Разгромлены Норвегия, Бельгия, Голландия, Франция. Кейтель — фельдмаршал.

1941 год. Гитлеровская Германия хозяйничает почти во всей Европе. Грудь Кейтеля украшается еще несколькими наградами. Он получает от Гитлера все увеличивающиеся по своим размерам «дотации». Потомственный помещик округляет свои владения — ему преподносят в подарок большое поместье.

Кейтель вовсе не устал от славы. Его не тяготят лавры. Но при всей своей политической и военной близорукости он постепенно постигает, что дальнейшее расширение программы экспансии, наряду с возможными новыми успехами, таит в себе и неожиданности, которые могут поставить под угрозу все уже достигнутое Германией и лично им (что не менее важно!). При всем авантюризме, свойственном германским милитаристам, Кейтель предпочел бы закрепиться на занятых позициях, во всяком случае, не делать ничего, что угрожало бы их потерей. Но как на грех, еще в конце лета 1940 года Гитлер сообщил ему о своем решении напасть на Советский Союз и приказал готовиться к «новой операции».

На процессе в Нюрнберге Кейтель заявил:

— Когда мне стало ясно, что речь идет о серьезных намерениях, я был крайне поражен и считал их большим несчастьем. Я серьезно обдумывал, что можно сделать, чтобы, приведя Гитлеру все соображения военного порядка, воздействовать на него. Как кратко рассказал здесь министр иностранных дел, я лично написал служебную записку, в которой изложил свои мысли, и независимо от соответствующих специалистов генерального штаба и штаба оперативного руководства собирался представить ее на рассмотрение Гитлеру...

Как это ни курьезно, но, по словам Кейтеля, в его записке содержалось напоминание фюреру о существовании между Германией и Советским Союзом договора о ненападении. Мастер чудовищных провокаций, человек, достаточно понаторевший в организации разбойничьих нападений на соседние страны (с которыми у Германии тоже были договоры о ненападении), вдруг стал размахивать оливковой ветвью мира.

Известно, что война против Советского Союза была краеугольным камнем внешней политики гитлеровской Германии. И тем не менее как только эта война была поставлена

Гитлером в порядок дня, Кейтеля взяла оторопь. В месяцы, предшествовавшие нападению на СССР, Кейтель часто вел разговоры с другими видными генералами, и здесь, в Нюрнберге, он вспоминает, что некоторые из них были не в восторге от этой идеи.

Затевалась война, в которую легко вползти, но из которой, бог ее знает, каким выползешь. Ведь и некоторые дипломаты выступали против этой войны, в частности германский посол в Москве Шуленбург, германский военный атташе в СССР Кэстринг. А им ведь многое видно лучше.

При всей своей ограниченности Кейтель не прибегает к банальным утверждениям о том, что Германия якобы не была готова ко второй мировой войне. Он уже видел, чем кончились такие попытки других подсудимых и их свидетелей, тщетно стремившихся доказать, что Германия вообще не помышляла об агрессии, да и не могла воевать, дескать, потому что не была к этому готова. Кейтель мог вспомнить «блестящие результаты» таких попыток хотя бы при допросе фельдмаршала Мильха.

Обвинитель допрашивает Мильха. Вот выдержка из стенограммы этого допроса:

«Обвинитель. Итак, вы пришли сюда сказать, насколько я понял ваше показание, что режим, составной частью которого вы были, ввергнул Германию в войну, к которой она совершенно не была подготовлена. Правильно я вас понял?

Мильх. Я не могу вспомнить, чтобы эти высказывания делались публично, но мне кажется, что для всех сидящих здесь на скамье подсудимых война явилась большой неожиданностью.

Обвинитель. Вы хотели бы верить в это?

Мильх. Да, я верю в это.

Обвинитель. Ах, вы верите... А сколько времени потребовалось для германских вооруженных сил, чтобы захватить Польшу?

Мильх. Завоевать Польшу? Кажется, восемнадцать дней.

Обвинитель. Восемнадцать дней. Сколько времени у вас заняло изгнание Англии с континента, включая трагедию Дюнкерка?

Мильх. Кажется, шесть недель.

Обвинитель. Сколько времени у вас занял захват Голландии и Бельгии?

Мильх. Несколько дней.

Обвинитель. Сколько времени потребовалось для того, чтобы пройти Францию и взять Париж?

Мильх. Всего около двух месяцев.

Обвинитель. Сколько времени потребовалось для того, чтобы

пройти Данию и захватить Норвегию?

Мильх. Также немного времени. Данию совсем за короткое время, так как она быстро сложила оружие, а для Норвегии потребовалось несколько недель.

Обвинитель. И вы, давая эти показания, хотите убедить трибунал в том, что Германия не была подготовлена к войне, что вы не знали о ходе такой подготовки? И вы даете эти показания, как офицер?

Мильх. Простите, я не понял вас».

Да, войны, о которых говорил Мильх, были великолепными, их можно было начинать с полной уверенностью в молниеносной победе. Но война против восточного колосса — совсем другое. Это сознавал Кейтель, сознавали при всем своем авантюризме и некоторые другие гитлеровцы.

В связи с вопросом обвинителя о судьбе названной выше памятной записки на имя Гитлера Кейтель показал:

— Оставшись с Гитлером наедине после одного из докладов в Бергофе об обстановке, я передал ему памятную записку. Он мне тогда, кажется, сказал, что ознакомится, забрал ее, но так и не вызывал меня, чтобы заслушать объяснение.

Больше по этому поводу Кейтель на процессе не распространялся. Таким образом, должно было создаться впечатление, что на этом и закончилась его дискуссия с Гитлером о нападении на Советский Союз.

Но Кейтель явно о чем-то умолчал. О чем именно, стало известно много позднее. Уже когда кончился процесс, когда судьи Международного трибунала удалились на совещание для вынесения приговора, доктор Нельте встретился со своим подзащитным. Это было 25 сентября 1946 года, за пять дней до оглашения приговора. Адвокат просил Кейтеля написать свои воспоминания о войне. Отношения между Кейтелем и Нельте характеризовались отнюдь не только тем, что один был подсудимым, а другой адвокатом. Познакомились они задолго до Нюрнберга и даже состояли в родственной связи. Кейтель отнесся к просьбе с пониманием. В тюремной камере, за неделю до приговора, он пишет воспоминания и затем передает их доктору Нельте.

Там-то мы и встречаемся с новыми подробностями в отношении записки, переданной Гитлеру в Бергофе. Кейтель вспоминает, что в течение нескольких дней он безрезультатно ждал ответа. Потом напомнил фюреру о своем представлении, и после этого, в августе 1940 года, состоялась беседа. Кейтель утверждает, что она «носила поучающий характер». Во время этой беседы Гитлер сказал ему: «Россия находится лишь в стадии

создания своей военно-промышленной базы, но далеко еще не готова в этом отношении». Смысл высказываний Гитлера состоял в том, что Россия в общем-то слабое государство, и пока можно быть вполне уверенным в успехе затеваемого нападения.

Кейтель внимательно и подобострастно слушал своего фюрера, но не мог отделаться от личных впечатлений об этой стране. Он слушал Гитлера, а память уносила его к не столь далекому 1931 году. В том году Кейтель пересек советскую границу, поездил по советской земле и, пользуясь духом добрых отношений между Веймарской республикой и СССР, внимательно всматривался в жизнь незнакомого государства. Беседуя с Гитлером через девять лет после этой поездки, он невольно вспоминает о своих тогдашних наблюдениях: «Неслыханные просторы, наличие всевозможного сырья как предпосылка развития независимой экономики. Непоколебимая вера народа в восстановление и в пятилетний план... Необычайно напряженный темп строительства... Западная часть России напоминает гигантскую строительную площадку... Каждое предприятие имеет свой пятилетний план, который оно стремится выполнить в соревновании. Деньги при этом не играют никакой роли... Красная Армия является любимицей Коммунистической партии».

Чем больше Гитлер твердит о внутренней слабости России, тем отчетливее всплывает перед мысленным взором Кейтеля все виденное в этой загадочной стране. Но вот, фюрер неожиданно переходит к другой теме, более близкой Кейтелю. Начинается разговор о советском генералитете. Гитлер подчеркивает, что лично он придает большое значение расправам над советскими маршалами и генералами. Бывший начальник штаба ОКВ дословно приводит реплику Гитлера:

— Первоклассный состав высших Советских военачальников истреблен Сталиным в тысяча девятьсот тридцать седьмом году. Таким образом, необходимые умы в подрастающей смене еще пока отсутствуют.

Эти слова Гитлера глубоко запали в душу Кейтеля. Не хуже Гитлера он понимал, что означает для боеспособности армии талантливое военное руководство. Не хуже его знал, что представляли собой Тухачевский, Якир и многие другие из славной плеяды советских полководцев, уничтоженных ежовско-бериевской бандой. Кейтель представил себе Красную Армию без них и, может быть, впервые после того, как печать сообщила о трагической участи советских маршалов, подумал о том, какие действительно благоприятные перспективы открываются в битве на Востоке.

Германское командование уже давно с тревогой наблюдало,

как настойчиво советские военачальники укрепляют боеспособность Красной Армии, ориентируясь на то, что в связи с победой фашизма в Германии именно со стороны последней надо ожидать нападения. Не прошли бесследно многократные выступления маршала Тухачевского, в которых он с присущим ему талантом предупреждал весь личный состав Вооруженных Сил СССР о планах германского милитаризма. Немецких генштабистов, исподволь уже разрабатывавших планы нападения на Россию, раздражали эти выступления.

В 1936 году в СССР были проведены большие маневры, на которых отрабатывались меры и способы активного отражения внезапного вражеского нападения. Маршал Тухачевский сам командовал на этих манёврах войсками, имитировавшими противника.

Кейтель не мог в душе не согласиться с Гитлером относительно того, что преждевременная гибель этого дальновидного советского полководца, равно как и многих других, ему подобных, — дело серьезное. Надо форсировать события, пока в России не появятся «новые большие умы».

Беседа с Гитлером была длительной и для Кейтеля впечатляющей. А если учесть, что сомнения начальника штаба ОКВ вовсе не затрагивали вопроса о том, нужно ли напасть на Советский Союз, а касались лишь того, что надо ли нападать в 1941 году или лучше это сделать попозже, то нетрудно представить, насколько просто было собеседникам прийти к единому мнению.

9 января 1941 года на совещании высшего нацистского генералитета, посвященном подготовке нападения на СССР, Кейтель вновь услышал от Гитлера:

— У них нет хороших полководцев.

Гитлер выражал непоколебимую уверенность в победе над Советским Союзом. А начальник штаба ОКВ снова сомневался — на этот раз уже... по поводу своих недавних сомнений. Ведь если придет победа, если окажутся правы Гитлер, Иодль и молодые генералы, которые полностью их поддерживают, каково тогда будет Кейтелю? И в конечном счете он весь отдается подготовке к нападению на Советский Союз.

Но, оказавшись на скамье подсудимых, Кейтель и Иодль опять вдруг разошлись в суждениях относительно войны на Востоке. Начальник штаба оперативного руководства утверждал, что эта война была превентивной, а начальник штаба ОКВ был убежден, что в такую версию никто не поверит. Ведь тогда непонятным становится, почему он, Кейтель, на первых порах выступал против этой войны, почему Геринг требовал отложить

нападение на СССР до окончания войны с Англией и почему Геринга поддерживал Редер.

Иодль приводит данные о якобы опасном сосредоточении советских войск на германской границе, что должно было свидетельствовать о готовящемся нападении Красной Армии на Германию. Под нажимом обвинителей Кейтелю приходится опровергнуть это. По поводу цифровых выкладок Иодля он заявил на процессе:

— Во всяком случае, я должен сказать, что получал очень мало сведений от службы информации ОКВ и ее начальника адмирала Канариса и не мог предоставить их командованию сухопутных сил... Советская территория была хорошо ограждена от германского наблюдения.

За завесой «Зеелеве»

Основная установка при подготовке войны против СССР заключалась в том, чтобы нападение было осуществлено в условиях стратегической внезапности. Для успеха гигантской операции надо было в течение почти целого года, вплоть до момента нападения, сохранить все связанное с ней в абсолютной тайне.

Удалось ли это германскому генштабу?

Уже начав писать свою книгу, я решил сопоставить некоторые советские и немецкие источники. Прежде всего внимательно просмотрел газеты за период с ноября 1940 по июнь 1941 года. Это было время, когда нацисты не уставали вести антианглийскую пропаганду и открыто говорили о подготовке к вторжению на Британские острова. Такой план нападения на Англию («план Зеелеве») действительно был разработан. Но уже 17 сентября 1940 года в связи с решением о подготовке нападения на Советский Союз Гитлер распорядился отодвинуть начальный день по «плану Зеелеве» на неопределенное время. 12 октября того же года последовал приказ об окончательном прекращении работ по подготовке вторжения в Англию.

В Нюрнберге Кейтель и Иодль, конечно, признали, что с сентября 1940 года «план Зеелеве» продолжал существовать лишь как одна из форм грандиозной военной провокации. В напряженные месяцы подготовки нападения на СССР Кейтель принял такое решение: о «плане Зеелеве» надо говорить даже громче, чем раньше, только следует иметь в виду одну серьезную поправку — прежде этим планом занимались офицеры оперативного отдела генерального штаба, а теперь он передается другому отделу, который использует его для дезинформации той страны, на какую в действительности готовится нападение.

15 февраля 1941 года за подписью Кейтеля появилась специальная секретная директива о дезинформации противника. В ней говорилось: «Цель дезинформации заключается в том, чтобы скрыть подготовку к операции „Барбаросса“. Эта главная цель должна лечь в основу всех мероприятий по обману противника».

Началось всяческое раздувание пропагандистской кампании против Англии. Не было ни одной речи, в которой бы Гитлер, Розенберг, Геринг и Риббентроп не разоблачали «английскую плутократию», не обещали быстро и решительно покончить с ней. Уже был утвержден «план Барбаросса», уже шло накопление германских сил на Востоке, уже Гитлеру доложено о степени

готовности к нападению на СССР, а Геббельс и Фриче все еще надрывно кричали о предстоящем вторжении в Англию. Но чем больше они вопили, тем меньше бомбил Британские острова Геринг. Налеты на Англию настолько уменьшаются, что обозреватель газеты «Дейли телеграф энд морнинг пост» в конце января 1941 года пришел к выводу: такое затишье почти наверняка связано с германскими приготовлениями к какому-либо новому большому наступлению, «Германия накапливает резервы опытных летчиков».

К новому большому наступлению? Верно. Но против кого? Конечно, против Англии, упорно твердит Берлин.

В феврале 1941 года германский официальный бюллетень «Динст аус дейчланд» писал: «В Берлине считают возможности вторжения настолько разнообразными, что англичанам будет весьма трудно ложными демонстрациями отвлечь внимание Германии от этой акции. В германских кругах указывают на ошибку Людендорфа, которому во время решающих боев на Западе не хватило людских и материальных резервов для нанесения удара на главном направлении. Это случилось потому, что он рассредоточил силы на отдаленных театрах. Германия, как заявляют в военных кругах, не допустит повторения подобной ошибки».

Это сообщение без всяких комментариев было полностью перепечатано в советской печати 23 февраля 1941 года. А Гитлер, выступая в тот же день с речью в Мюнхене по случаю годовщины основания нацистской партии, постарался усилить завесу тумана. Он снова и снова обрушивается на Англию, угрожает ей скорым вторжением:

— С марта и апреля англичане должны будут подготовиться к совершенно другим вещам. Тогда они узнают, проспали ли мы зиму и кто лучше использовал время.

Эта часть речи Гитлера тоже была опубликована в советской печати.

Между тем с каждым днем все больше и больше немецких войск перебрасывалось на Восток, и это уже невозможно стало скрывать. Кейтелю пришлось издать новый приказ, который гласил, что «стратегическое развертывание сил для операции „Барбаросса“ должно быть представлено в свете величайшего в истории войн дезинформационного маневра, с целью отвлечения внимания от последних приготовлений к вторжению в Англию...»

«Необходимо, — подчеркивал Кейтель, — как можно дольше держать в заблуждении относительно действительных планов даже те войска, которые предназначены для действия непосредственно на Востоке».

По приказу Кейтеля и Иодля распускались слухи о каком-то десантном корпусе, который лишь временно находится на Востоке и, конечно, готовится к высадке в Англии. Для отвода глаз русской разведки Кейтель и Иодль распорядились прикомандировать к войскам, концентрируемым на Востоке, переводчиков... английского языка.

Настает весна 1941 года. Уже близок «день Х» — роковой день нападения на Советский Союз. Но чем ближе он, тем изощреннее дезинформация. Кейтель приказывает печатать в массовом количестве и распространять в войсках, сосредоточенных на Востоке, топографические материалы по Англии. Срочно организовано «оцепление» определенных районов на побережье Ла-Манша, Па-де-Кале и в Норвегии — там якобы «размещены» немецкие ракетные батареи.

Тайна близкого нападения на СССР оберегается тщательно.

В этой связи вспоминается один весьма любопытный эпизод. На процессе в Нюрнберге допрашивали высокопоставленного чиновника министерства пропаганды Ширмейстера. Он рассказал, как Геббельс поддерживал усилия Кейтеля и Иодля по дезинформации. Весной 1941 года гитлеровский министр пропаганды созвал совещание своих подручных и повел с ними такой разговор:

— Господа, я знаю, некоторые из вас считают, что мы вступим в войну с Россией. Я должен вам сегодня сказать, что мы выступим против Англии. Мы стоим накануне вторжения. Пожалуйста, согласуйте свою работу с этим. Вы, доктор Гласмейер, организуйте новое выступление против Англии.

В свою очередь Кейтель 2 марта 1941 года созвал обширную пресс-конференцию, на которой выступал представитель германского верховного командования Бате. Из подробного изложения его заявления в нашей печати видно, как он старался доказать, что германское командование никогда уже не совершит ошибки Вильгельма II, предпринявшего войну на два фронта. Бате назвал войну на два фронта «полной трагизма», говорил о «гнете» такой войны. Он напомнил о сражении на Марне, когда все, казалось бы, складывалось в пользу Германии, но «наступление русских в Восточной Пруссии сорвало успех». Он говорил, что из-за войны на два фронта германское командование «все в большей степени лишалось... свободы действий».

Бате возвысился прямо до патетики, заявив, что «в военной истории русских сильно недооценили. Никогда в полном объеме не было признано то, что сделал русский солдат, русская миллионная армия для англичан и французов в 1916 году... Брусилов своим наступлением создал для нас смертельную

опасность на восточном фронте».

Когда сейчас, через двадцать пять лет, мне довелось прочитать в наших газетах отчет об этой пресс-конференции, я испытал чувство горечи. Ведь печатание таких материалов без всяких комментариев, безусловно, настраивало советских людей на мирный лад. И как дорого обошлось нам это обманчивое спокойствие!

6 июня 1941 года в германском генеральном штабе было проведено одно из заключительных обсуждений предстоящей кампании. Кейтель представил на утверждение календарный план наступательных операций против СССР. Совсем мало осталось мирных дней. Наши военные разведчики непрерывно шлют в Москву тревожные донесения. А в печати вдруг 13 июня появляется хорошо известное теперь сообщение ТАСС о вполне добропорядочном отношении гитлеровской Германии к советско-германскому договору о ненападении.

Это сообщение было явным дипломатическим зондажем, рассчитанным на ответную реакцию германского правительства.

Как же оно реагировало? Просто оставило заявление ТАСС без всякого ответа. Больше, очевидно, не было необходимости продолжать маневры по дезинформации. Кейтель, пожалуй, мог бы только подкрепить «сообщения иностранной печати», на которые ссылалось ТАСС, еще одним фактом: 14 июня 1941 года в имперской канцелярии в Берлине состоялось совещание по «плану Барбаросса», где докладывались данные о последних приготовлениях к нападению.

22 июня германские войска по всему фронту перешли в наступление. Кейтель не успевает переставлять флажки на карте. Он уже создает саперную часть для разрушения Кремля. Вот-вот падет Москва.

В те дни начальник штаба ОКВ бурно демонстрировал свою преданность Гитлеру. Он как бы вымаливал прощение за минувшие колебания. Блестящая возможность выставить на показ перед фюрером свою глубокую уверенность в победе над Россией представилась ему 16 июля 1941 года. В этот день гитлеровская клика вновь собралась на совещание, где обсуждался вопрос о присоединении к Германии советских территорий. Кейтель был активным участником обсуждения. Теперь же, в Нюрнберге, сидя на скамье подсудимых, он только поеживается и делает вид, что начисто забыл о том июльском совещании. Но Руденко напоминает:

— Вы ведь помните, подсудимый Кейтель, что уже тогда, шестнадцатого июля, ставился вопрос о присоединении к Германии Крыма, Прибалтики, Волжских районов, Украины,

Белоруссии и других территорий?

Кейтель опускает глаза. Нет, он не помнит, был ли вообще на этом совещании. Да, кажется, был, только не с самого начала, где-то задержался и пришел, когда уже говорилось не о том, что интересует господина обвинителя.

— Обсуждался вопрос о кадрах, об определенных лицах, которые должны быть назначены...

Кейтель не замечает, что подобная ссылка разоблачает его. Значит, он знал не только о том, что планировалась аннексия указанных территорий, но и то, что для них уже 16 июля 1941 года назначались губернаторы.

Шедевры Гиммлера и ложь Иодля

И Кейтель и Иодль прекрасно понимали, сколь тяжким являлось обвинение в подготовке и развертывании агрессивных войн. Тем не менее было бы ошибочным полагать, что пуще всего эти люди боялись обвинения в агрессии. Как-никак, а развязывание войны — это сложнейший процесс, в котором участвует весь государственный аппарат, и, в сущности, в Нюрнберге не было ни одного подсудимого, который не обвинялся бы в этом. К тому же вон какое кадило раздули адвокаты: никто, мол, еще не доказал, что агрессия является преступлением.

Кейтеля и Иодля гораздо больше беспокоило другое обвинение. То, о котором уже не скажешь, что оно спорно. То, вокруг которого не напустишь тумана.

Речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Здесь все гораздо яснее и проще. По этому поводу нет резолюций Лиги Наций, которые защита может отвести, заявив, что они так и остались нератифицированными. И не сошлешься на пакт Бриана — Келлога, который одни называют «видением мира во всем мире», а другие окрестили идиллически — «международным поцелуем». Зато существуют международные конвенции, напоминающие уголовные кодексы и устанавливающие, какие действия воюющего государства являются нарушением международного права, то есть международным преступлением...

Едва обвинитель перешел к разделу военных преступлений, Кейтель почувствовал себя так, будто он на утлом челне оказался в бушующем океане.

Знал ли Кейтель, что такое международное право, что такое Гаагские и Женевские конвенции? Конечно знал. И не скрывал этого от суда, как, впрочем, не скрывали и другие подсудимые. Кейтель даже пытался объяснить суду, что теперь, собственно, любое военное столкновение сопровождается нарушениями законов и обычаев войны. В современные армии призываются многие миллионы людей — поди уследи за каждым из них, чтобы ни один в состоянии запальчивости не убил военнопленного или, польстившись на чужое добро, не ограбил мирного жителя. К тому же общепризнанно, что в корне изменились условия вооруженной борьбы; и они, эти новые условия-де, сами по себе препятствуют соблюдению законов и обычаев войны. Конвенции запрещают убивать или ранить мирных граждан. А попробуйте этого добиться, когда появилась бомбардировочная авиация,

дальнобойная артиллерия. Авиация переносит ныне военные действия через головы воюющих армий, бомбит заводы и фабрики, нередко расположенные в густонаселенных городах. Разве можно в этих условиях избежать уничтожения гражданского населения? И кто сказал, что для государства, воюющего в условиях тотальной войны, солдат опаснее, чем, скажем, сталевар, готовящий броню для танка?..

Вот с таким «теоретическим» багажом выступили руководители германского вермахта перед лицом обвинений в тягчайших военных преступлениях. Ссылались они и на то, что в войнах, предшествовавших гитлеровской агрессии, также нарушались установленные законы и обычаи.

А между тем Кейтель мог бы похвастать тем, что руководимый им штаб ОКБ привнес в практику нарушений законов и обычаев ведения войны нечто принципиально новое. Он придал этим нарушениям государственно-организованный характер. Как уже говорилось, Кейтель не особенно вмешивался в процесс планирования операций — для этого существовали Иодль, Варлимонт и другие. Свою задачу он видел прежде всего в том, чтобы разработать такую систему методов ведения войны, которая обеспечила бы достижение преступных военно-политических целей агрессии. Здесь уже никто не мог превзойти Кейтеля.

Тот, кто стал служить Гитлеру, не мог не следовать основным его идеям и принципам. Кейтель хорошо знал, что Гитлер потребовал «развить технику истребления людей». Ему же, Гитлеру, принадлежало страшное слово «обезлюживание». Кейтель не был теоретиком ни в военном, ни в политическом плане, но этого и не требовалось для того, чтобы понять, что система «обезлюживания» вытекает из расовой доктрины германского фашизма. Кейтелю не раз приходилось присутствовать на секретнейших совещаниях, где Гитлер раскрывал свою программу: одни народы — польский, чешский, еврейский — вовсе уничтожить, другие — подорвать биологически. Начальник штаба ОКВ хорошо знал о так называемом «плане Ост», согласно которому предстояло истребить физически тридцать миллионов советских граждан. Гитлер не скрывал своих намерений превратить в германские колонии ряд стран Европы, в том числе, конечно, и Советский Союз.

Уразумев все это, Кейтель берет на себя разработку серии невиданных в истории войн кровавых приказов. Иодль планирует стратегические операции, он — военные преступления.

Уже в марте 1941 года штаб ОКВ разрабатывал приказ о

массовом уничтожении советских военнопленных. 12 мая этот чудовищный документ был дополнен приказом о комиссарах, предписывавшим поголовное уничтожение политработников Советской Армии.

Даже рядовому германскому солдату было очевидно, что от него требуют преступлений, за которые, возможно, придется отвечать. Кейтель отдает себе полный отчет в этом и 13 мая 1941 года предусмотрительно подписывает новый приказ, запрещающий привлекать к ответственности военнослужащих вермахта за любые, даже преступные нарушения законов и обычаев войны.

Каким образом можно оправдать подобные приказы? Не только туповатый Кейтель, но даже и изощренный Иодль не сумел ответить на этот вопрос.

* * *

В зале Нюрнбергского процесса демонстрируется фильм о нацистских зверствах.

Нет, нет, об этом вермахт, конечно, ничего не знал! Ко всем этим акциям Кейтель и Иодль никакого отношения не имели...

Не то чтобы Кейтель и Иодль отрицали самые факты. Они не спорят: возможно, существовали освенцимы и майданеки, где находили свою смерть миллионы людей. Но поверьте, господа судьи, военные не только не были об этом информированы, но и догадываться о подобных вещах не могли.

Иодль заявил на процессе:

— Сохранение в тайне уничтожения евреев и событий, имевших место в концлагерях, было шедевром засекречивания и обмана со стороны Гиммлера, который демонстрировал перед нами, солдатами, фотографии и рассказывал о садах и садовых культурах, произраставших в Дахау, в гетто Варшавы, в Терезиенштадте. Эти рассказы создавали у нас, солдат, впечатление, что все гетто и концлагеря являются глубоко гуманными учреждениями...

Хочу повторить: бывший начальник штаба оперативного руководства, каков бы ни был его нравственный облик, бесспорно являлся умным человеком. Тем более поразили меня эти его слова. Как можно говорить подобное в Международном трибунале, где обвинители располагали буквально тоннами документальных доказательств, раскрывавших тот неоспоримый факт, что Гиммлер меньше всего был озабочен созданием шедевров засекречивания для... Кейтеля и Иодля!

Вечером после того, как в зале суда демонстрировался документальный фильм о нацистских зверствах, доктор Джильберт нанес очередной визит Кейтелю. Начальник штаба ОКВ ужинал в своей камере.

— Это ужасно, доктор! — сказал Кейтель. — Когда я вижу подобные вещи, мне стыдно, что я немец.

И Кейтель стал с жаром объяснять Джильберту, что германский генералитет здесь ни при чем. Нет, Кейтель не спорил, что фильм документально точен. И вообще, что бы ни говорили об СС и гестапо, все правда. Это ведь дьявольские учреждения. Если уж хотите знать, то он, Кейтель, не имеет никаких претензий ни к следователю, ни к прокурорам, ни к судьям. Он давно уже отвык от такого нормального суда, от такой объективности. Но при всем том здесь, в Нюрнберге, в одном отношении с ним поступили крайне несправедливо: посадили рядом с Кальтенбруннером, этим исчадием ада, этим олицетворением Освенцима и Дахау! Кейтель просит поверить ему, что в тот момент, когда он демонстративно отвернулся от впервые появившегося на скамье подсудимых Кальтенбруннера и отказался подать ему руку, это не был театральный жест. Это естественная реакция человека благородных традиций, не желающего пачкать свою репутацию даже прикосновением к палачу...

Так ломали комедию руководители германского вермахта. Однако не долго. Обвинители довольно легко вывели их на чистую воду.

«План Ост» предусматривал уничтожение тридцати миллионов советских граждан, не говоря уже об истреблении всего еврейского народа. Кто же конкретно должен был осуществлять эту программу смерти? Такой вопрос в деталях обсуждался в ходе переговоров между ОКВ и главным управлением имперской безопасности, то есть как раз теми учреждениями, главы которых оказались рядом на нюрнбергской скамье подсудимых. Переговоры от имени ОКВ вел генерал-квартирмейстер Вагнер, а от РСХА — его тогдашний глава Гейдрих, которого потом сменил Кальтенбруннер.

Уж как не по себе стало Кейтелю и Иодлю, когда Международный трибунал занялся выяснением всех деталей этого соглашения, заключенного буквально за две недели до нападения на СССР. Соглашение предусматривало, что армейское командование, будучи проинформированным о создании эйнзатцгрупп и эйнзатцкоманд, прикомандируемых к армиям и корпусам, обязуется сотрудничать с ними в деле массового уничтожения советского населения. Тогда Кейтель, очевидно, не

опасался «запачкать свою репутацию» содружеством с палачами.

А вот еще одна неприятность: в суде допрашивается видный чиновник СС Олендорф. Как уже известно читателю, он возглавлял эйнзатцгруппу «Д» на юге Украины, которая успела уничтожить 90000 советских людей. Олендорф заявил, что командование вермахта самым лояльным образом сотрудничало с ним. На этой почве совместной деятельности у него, Олендорфа, сложилась дружба с командующим 11-й армией фельдмаршалом Манштейном. Олендорф счел нужным сообщить, что он очень уважительно относится к фельдмаршалу и, в частности, со всем вниманием учел его просьбу: не производить массовые расстрелы ближе чем в двухстах километрах от ставки 11-й армии. Олендорф считался с такими странностями командующего, который в то же самое время не отказывался принимать от эйнзатцгруппы сотни пар часов и одаривать ими своих офицеров. Манштейн предоставил Олендорфу солдат для казней, а Олендорф исправно преподносил Манштейну часы и другие ценности, снятые с казненных. И бывший фельдмаршал, по существу, сам признал это в своих показаниях. Один мародер стоил другого.

Кейтель мог твердить о «свиньях из СС». Иодль мог по-прежнему распространяться по поводу Гиммлеровских «шедевров засекречивания». Но оба руководителя вермахта были пойманы за руку. И за этим первым ощутимым ударом по нацистским военным главарям с нарастающей силой следовали другие.

Кейтелю предъявляют приказ под зловещим названием «Мрак и туман», стоивший жизни сотням тысяч людей. Для того чтобы устрашить население оккупированных территорий, приказ предписывал тайным образом вывозить мужчин и женщин в Германию, где они подвергались самому бесчеловечному обращению и в конечном итоге уничтожались в лагерях смерти. Спросите Кейтеля, какое отношение имеет этот варварский документ к доктрине тотальной войны, к тому, что «массовые жертвы на войне становятся неизбежными вследствие прогресса военной техники»? Он не сумеет ответить. Так почему же Кейтель — человек старых благородных традиций — поставил свою подпись под столь жестоким приговором сотням тысяч невинных людей?

Кейтель признает, что он понимал всю преступность этого приказа. Он даже будто бы тормозил издание его.

— Однако все мои старания были безуспешны, — добавляет Кейтель. — Мне даже угрожали...

Так вот оно, оказывается, в чем дело: Кейтель действовал под угрозой! А что это была за угроза? Может быть, тоже смерть,

концлагерь или по крайней мере отстранение от должности. Да ничего подобного.

— Мне угрожали, — говорит Кейтель, — что в таком случае составление этого приказа будет поручено министру юстиции.

Поистине страшная угроза. Кейтель рискует потерять доверие фюрера. А сохранить его так просто — надо лишь поставить подпись под приказом «Nacht und Nebel („Мрак и туман“). И, не долго раздумывая, он ставит.

Убиты сотни тысяч людей! Ну и что? Зато у Кейтеля остаются по-прежнему добрые отношения с фюрером.

Так думал Кейтель тогда. Но как тяжко все это обернулось для него в Нюрнберге.

* * *

Октябрь 1939 года. Только что отгремели заллы вермахта на истерзанной польской земле. Кейтель ведет беседу с Гитлером. Он высказывает фюреру свои соображения по поводу того, какой должна быть оккупационная политика в Польше.

И опять, увы, в распоряжении Международного трибунала стенографические записи. А в них есть такие слова:

«Нельзя допустить, чтобы польская интеллигенция стала руководящим классом; жизненный уровень в этой стране должен быть низким. Мы хотим изъять оттуда рабочую силу».

Кейтель говорит с Гитлером о массовых расправах над польской интеллигенцией, о расстрелах наиболее видных ее представителей. Надо интеллектуально обезглавить польский народ.

Подсудимый не может отрицать достоверность этой записи, хотя и стремится всячески выпутаться из пренеприятного положения. Он ссылается на то, что все это мысли Гитлера, а не его и что вермахт ничего не знал о них. Но тут же Кейтелю наносится очередной удар: обвинитель спрашивает, встречался ли он в то время с адмиралом Канарисом? Да, конечно, встречался. Вслед за тем обвинитель сообщает, что в его распоряжении имеется запись одной из бесед Кейтеля с Канарисом. Оказывается, Канарис сообщил тогда начальнику штаба ОКБ о массовых расстрелах поляков, об уничтожении представителей польской интеллигенции. Разумеется, сообщил бесстрастно, не испытывая малейших угрызений совести. Но, будучи человеком достаточно умным и просвещенным по части международного права, главарь немецкой военной разведки высказал в тот раз опасение, что «мир когда-нибудь заставит

вермахт, перед чьими глазами прошли эти события, понести ответственность за них».

И вот советский обвинитель предъявляет Кейтелю «Распоряжение о применении военной подсудности в районе „Барбаросса“ и об особых мероприятиях войск». Это распоряжение, подписанное начальником штаба ОКБ за полтора месяца до нападения на СССР, предусматривает самые варварские способы расправы с советским гражданским населением. А вот еще одно свидетельство заботы Кейтеля о том, чтобы гитлеровская программа выполнялась самым скрупулезным образом. Руденко оглашает приказ ОКБ от 16 сентября 1941 года, в котором уже прямо говорится, что «человеческая жизнь на Востоке ничего не значит». Кейтель, который так пытался уверить суд в том, что «вермахт здесь ни при чем», требует в этом приказе:

«Искуплением за жизнь немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна служить смертная казнь 50—100 коммунистов. Способ казни должен увеличивать степень устрашающего воздействия».

Может быть, Кейтель не помнит этого приказа или совсем отрекается от него? Отнюдь нет! Кейтель лишь спорит о цифрах. Вот выдержка из стенограммы судебного заседания:

«Кейтель. Я этот приказ подписал, однако те цифры, которые там указаны, являются личными изменениями в приказе, именно личными изменениями Гитлера.

Руденко. А какие цифры вы представили Гитлеру?

Кейтель. Пять — десять человек. Это — та цифра, которую я указал в оригинале.

Руденко. Значит, у вас расхождение с Гитлером было только в числе, а не по существу?

Кейтель. Смысл был таков, что для достижения устрашающего воздействия за жизнь одного немецкого солдата необходимо было потребовать несколько человеческих жизней...»

* * *

Так постепенно, под давлением бесспорных документальных доказательств рушилась избранная Кейтелем защитная позиция. Рушилась в целом позиция защитников германского милитаризма, пытавшихся свалить всю ответственность за совершенные зверства на новые условия, связанные с развитием военной техники.

Потерпела крах и другая «линия защиты». До поры до

времени можно было говорить о том, что «во всем виноваты СС и гестапо», а «вермахт здесь ни при чем». Но когда документы, разоблачающие ОКВ и лично Кейтеля, стали сыпаться как из рога изобилия, Кейтель все чаще начал прибегать к стандартным и примитивным ссылкам на то, что он действовал как подчиненный, исполняя приказ начальника. Он утверждал, что в национал-социалистской Германии самым высшим принципом был принцип фюрерства, принцип беспрекословного повиновения приказу. Это не ново. Еще Иммануил Кант установил принцип высшего долга. Кейтель утверждает, что повиновение, бездумное повиновение стало национальной чертой немцев. Разве мир еще не убедился, что для немцев не имеет значения, служит ли их труд достойной цели?

Смысл этих рассуждений Кейтеля в том, чтобы убедить суд, будто он, как и все прочие немцы, служил своему сюзерену Адольфу Гитлеру. Он не спорил и готов был признать, что, возможно, хорошо служил плохому делу, но служил. Беспрекословно выполнял приказы, даже в тех случаях, когда суть предписания не совпадала с его, Кейтеля, убеждениями. Приказ есть приказ — таков высший кодекс чести потомственного офицера. Как жаль, что нельзя вызвать в качестве эксперта кенигсбергского философа!

— Я не сделал ничего, помимо оформления письменного распоряжения Гитлера, — отвечает Кейтель на вопрос советского обвинителя о директиве ОКВ, предусматривавшей фактическое уничтожение Югославии как государства.

— Это был приказ, который дал мне Гитлер. Гитлер дал этот приказ мне, и я поставил свою подпись, — упрямо твердит бывший фельдмаршал, касаясь приказа, предоставлявшего немецким офицерам право расстреливать «заподозренных» советских граждан без суда и следствия.

— Я лишь передавал данные мне фюрером поручения, — снова повторяет он, когда Р. А. Руденко изобличает его как соучастника Геринга в издании директив о разграблении экономики оккупированных районов СССР.

А может быть, все же Кейтелю приходилось принимать какие-то решения самостоятельно, без санкции Гитлера? Кейтель трет себе лоб. Он «честно» пытается вспомнить, но, увы, тщетно.

Тогда на помощь опять приходят обвинители. Прежде всего они напоминают, что нацистские сатрапы на местах, когда у них возникало сомнение в выборе тех или иных средств расправы, неизменно обращались к нему, Кейтелю. А он на их запросы накладывал свои резолюции. Их было много, но так уж устроен почитатель Иммануила Канта, что моментально забывал о

собственноручных резолюциях, как только высыхали чернила. В суде Кейтелю воспроизвели некоторые из них, и он совсем сник. Как и Геринг, бывший начальник штаба ОКВ начал говорить о «минутном возбуждении», в условиях которого писались многие резолюции. Но ни Геринг, ни Кейтель не могли привести ни одного случая, когда бы в состоянии «минутного возбуждения» они сделали доброе дело.

Резолюции, вышедшие из-под пера Кейтеля, могли быть начертаны лишь человеком, на все сто процентов уверенным в том, что военная судьба его не подведет. Если уж им суждено стать когда-нибудь достоянием гласности, то разве только в музее воинской славы. Там будет увековечена решительность и исключительная энергия, которую проявил Вильгельм Кейтель для достижения победы.

Но увы, военная судьба Кейтеля сложилась не совсем так, как ему хотелось. Вместо музея воинской славы он вкупе со своими резолюциями оказался в музее вечного позора.

...На советско-германском фронте в составе советских войск ведет борьбу с германским фашизмом французская эскадрилья «Нормандия — Неман». Французские летчики самоотверженно сражаются, понимая, что это и есть борьба за свободу и независимость их родины. Кейтель не может «достать» этих французских парней. Но он знает, что их отцы и матери, их родственники проживают на оккупированной территории, и он накладывает одну из своих знаменитых резолюций: провести тщательное расследование «относительно родственников тех французов, которые сражаются на стороне русских». Тот самый Кейтель, который в Нюрнберге заговорил о «грязных свиньях из СС», предписывает командующему во Франции координировать свои действия по преследованию семей антифашистов совместно с СС и полицейскими властями. Английский обвинитель сэр Дэвид Максуэл Файф зачитывает Кейтелю этот приказ и спрашивает:

— Можете ли вы, подсудимый, представить себе больший ужас, чем принятие жестоких мер против матери молодого человека, который сражается вместе с союзниками за свою родину? Можете ли вы себе представить что-либо ужаснее, чем это?

Кейтель некоторое время молчит, а потом говорит:

— Я могу себе представить большую трагедию. Я потерял собственных сыновей на поле боя.

Обвинитель пресекает эту попытку Кейтеля уйти от ответственности:

— Вы предпочитаете говорить о другом вопросе. Гибель

сыновей на войне это ужасная трагедия. Принятие жестоких мер против матери, сын которой хочет сражаться на стороне союзников его родины, — мера чудовищная. Первое — это трагедия, второе — это предел всякой жестокости.

Обвинитель передает Кейтелю для ознакомления еще один документ. Кейтель смотрит на подпись в конце его. Она принадлежит Тербовену — германскому наместнику в Норвегии.

Неужели и этому он писал что-нибудь такое, что оказалось достойным внимания в Нюрнберге? Да, писал. Тербовен сообщает в Берлин о том, что получил телеграмму от Кейтеля, «требующую издания декрета, согласно которому члены соответствующей группы, а если необходимо, и родственники должны нести ответственность за диверсионные акты, совершенные в данном районе». И Тербовен докладывает, что, по его мнению, лучшей и, по существу, единственной формой ответственности для заподозренных и их родственников должна быть смертная казнь.

Обвинитель обращает внимание подсудимого на его резолюцию: «Да. Это лучше. Кейтель». Тербовен получил то, что ему было нужно, — согласие начальника штаба ОКБ на расстрелы без суда. И не только патриотов, ведших партизанскую борьбу, но и их родственников.

Перед лицом неопровержимых доказательств Кейтель признает:

— Эту пометку сделал я.

Он не любил слова «резолюция». Ему больше нравилось совсем безобидное слово «пометка»...

Кейтель хорошо знал, что международное право требует гуманного отношения к военнопленным, что оно запрещает их убийство, издевательства над ними. Но 8 сентября 1941 года Кейтель подписал новый приказ о массовом уничтожении советских военнопленных. Гигантский размах преступлений, предусмотренный этим приказом, пугает даже начальника германской разведки адмирала Канариса. Адмирал опасается, как бы противник в порядке ответной акции не применил таких же мер в отношении германских военнопленных. Канарис пишет Кейтелю, что начиная с XVIII века общие принципы международного права об обращении с военнопленными «устанавливались постепенно на той основе, что пребывание в военном плену не является ни местью, ни наказанием, но исключительно превентивным заключением, единственной целью которого является воспрепятствовать данному военнопленному принимать дальнейшее участие в военных действиях. Этот принцип развивался в соответствии с точкой зрения, разделявшейся всеми армиями, о том, что убивать беззащитных

людей или наносить им вред противоречит военной традиции... Приложенные к сему распоряжения об обращении с советскими военнопленными базируются на совершенно противоположной точке зрения».

Кейтель и на этом документе сделал соответствующую «пометку»:

«Возражения возникают из идеи о рыцарском ведении войны. Это означает разрушение идеологии. Поэтому я одобряю и поддерживаю эти меры».

Воспроизведя в суде цитированные выше документы, Р. А. Руденко обращается к Кейтелю:

— Я спрашиваю вас в связи с этой резолюцией, вы, подсудимый Кейтель, именуемый фельдмаршалом, неоднократно здесь, перед трибуналом, называвший себя солдатом, вы своей кровавой резолюцией в сентябре тысяча девятьсот сорок первого года подтвердили и санкционировали убийство безоружных солдат, попавших к вам в плен? Это правильно?

Кейтель долго молчит. В данном случае он даже не может сослаться на «высший долг», на приказ Гитлера. Ему не остается ничего кроме как заявить:

— Я подписал оба приказа и тем самым несу ответственность в связи с занимаемой мною должностью. Я беру на себя эту ответственность.

Снова, в который уже раз, спадают воображаемые рыцарские доспехи и вместо героя «Песни о Нибелунгах», которого пытался строить из себя бывший фельдмаршал, перед судьями оказывается жалкий человек. Он охотно променял офицерскую честь на золотой значок нацистской партии.

Рядовой солдат иногда может сослаться на то, что он не сознавал преступности своих действий, выполняя приказ начальника. Но какое право имели делать подобные заявления Кейтель или Иодль?! Разве они, находясь на вершине военной иерархии, не в состоянии были постичь сущность приказов Гитлера?

Обвинители решили напомнить им статью 47 германского военно-уголовного кодекса 1940 года, карающую исполнителя как соучастника преступления, если он сознавал преступный характер приказа или превысил данный ему приказ.

Затем последовало еще одно напоминание: главари гитлеровской Германии, когда им было выгодно, сами решительно отвергали попытки оправдать любые действия ссылками на «выполнение приказа». Они не прибегали к этому в 1940 году, когда их авиация, пользуясь подавляющим превосходством в воздухе, подвергает разбойничьим

бомбардировкам мирные города Европы. Геринг и Кейтель с явным удовлетворением потирали в то время руки, читая сводки об уничтожении десятков городов и многих тысяч человек гражданского населения. Варшава и Белград, Роттердам и Лондон познали преступные действия гитлеровских военно-воздушных сил. Буквально был сметен с лица земли английский город Ковентри, и нацистские военные преступники пустили гулять по свету новое жуткое слово «ковентрировать».

Но настал 1944 год. Люфтваффе потеряла господство в воздухе. Вопреки заверениям Геринга (не допустить появления в германском небе вражеской авиации), сотни американских и английских самолетов днем и ночью бомбят города Германии. Кейтель и Геринг бессильны что-либо противопоставить этим тотальным налетам. И тогда на выручку поспешил Геббельс. 28 мая 1944 года в газете «Фелькишер беобахтер» он выступил со статьей и обрушил свой гнев на американских летчиков, бомбардировавших немецкие города. Имея в виду дикую расправу, учиненную над участниками этих бомбардировок, оказавшимися в плену, Геббельс писал:

«Летчики не могут ссылаться на то, что они, будучи солдатами, подчинялись приказу. Ни один военный закон не предусматривает безнаказанность солдата за гнусное преступление, совершенное им под предлогом выполнения приказа начальника, в случае, если этот приказ находится в полнейшем противоречии со всеми нормами гуманности и всеми международными обычаями войны».

По мере того как обвинители приводят эти аргументы, Кейтель, видимо, все больше осознает тщетность попыток опереться на постулат о «высшем долге». Да, пожалуй, и кенигсбергский философ вряд ли был бы доволен таким интерпретатором своего учения, как Кейтель, ибо кантовский «категорический императив» требовал от каждого человека таких норм поведения, которых тот сам готов придерживаться. В этом и заключалась кантовская максима. Кейтель же был далек от этой максимы. Еще дальше от нее находился Геббельс.

И вот наносится завершающий удар: один из обвинителей вновь возвращает Кейтеля к событиям 1944 года.

Заговор против Гитлера потерпел поражение. Заговорщики, среди которых немало генералов, перед так называемым «народным судом». Некоторые из них пытаются спасти свою жизнь, ссылаясь на то, что действовали по приказу вышестоящих военных начальников. Главный гитлеровский судья Фрейслер неистовствует, бьет кулаками по столу (это все зафиксировано в специально заснятом фильме) и, обращаясь к подсудимым,

кричит:

— Кто дал вам право прятаться за приказ, чтобы избавить себя от ответственности за чудовищные преступления, за заговор против главы государства? Никакой приказ не оправдывает тягчайших преступлений.

И ведь именно Гитлер утвердил приговор суда, который отверг ссылки на приказ как средство оправдания.

Да, совсем плохо стало Кейтелю после этого напоминания. Не помогли разглагольствования о том, что слепое подчинение приказу это «национальная черта» немцев, неистребимая, хоть и огорчительная, сторона их характера. Ведь еще Иоганн Вольфганг Гете с негодованием обвинял немецкого филистера в том, что «он искренне подчиняется любому безумному негодяю, который обращается к его самым низменным инстинктам, который поощряет его пороки и поучает его понимать национализм как разобщение и жестокость».

Кейтель наконец осознал, что ставка на «приказ свыше» бита по всем линиям. Никто не верит, будто человек, занимавший столь большой государственный пост, действительно был связан «приказом свыше».

И тогда Кейтель с Иодлем пускаются в новую авантюру. Придумывает ее, разумеется, Иодль. Он первым заявляет Нюрнбергскому трибуналу: конечно, они с Кейтелем понимали, что Гитлер вынуждает их выполнять самые бесчеловечные, самые преступные приказы, и потому прибегли к закамуфлированной форме саботажа. В чем он состоял? А вот в чем: подписывая такие приказы вместе с Гитлером, и Кейтель и Иодль считали будто бы необходимым дать понять командующим на местах, что лично они не будут настаивать на исполнении их. Для этого в текст вписывались условные фразы вроде таких: «Согласно тщательно взвешенному желанию фюрера» или «Прилагаемые директивы соответствуют мнению фюрера».

Версия была не из сильных. Тем не менее доктор Нельте с готовностью ухватился за нее. В своей защитительной речи он заявил:

— Получатели такого письма знали из формулировки, что речь снова идет о приказе фюрера, от которого нельзя уклониться, но делали вывод, что надо выполнять этот приказ по возможности мягко.

Однако ни адвокат, ни его подзащитные не смогли доказать, что «условные фразы» хоть в какой-то мере тормозили или смягчали действие преступных и жестоких приказов.

Палач в роли гуманиста

Некоторое время назад мне попалась книга «Роковые решения». Это воспоминания группы германских генералов о второй мировой войне.

В наши дни, когда солдаты бундесвера высаживаются для учений в Англии и во Франции, когда делаются попытки создать объединенные ядерные силы НАТО, определенным кругам на Западе чрезвычайно важно изгладить из памяти народов преступления гитлеровского вермахта и его военачальников.

Этой цели и служат опусы, подобные «Роковым решениям».

Особенно много говорится в них о том, что если вермахт и допустил кое-какие нарушения военной этики на Востоке, то уже на Западе-то, мол, война велась со всей галантностью рыцарских времен. Однако факты, предъявленные нюрнбергскими обвинителями Кейтелю и Иодлю, начисто опровергают такого рода утверждения. Вот один из них.

Гитлеровский концлагерь Саган. Среди заключенных группа пленных английских летчиков. Условия в лагере ужасные. Каждый день смерть, смерть, смерть. Летчики отваживаются на побег. Решено прорыть тоннели с территории лагеря за ограду, минуя сторожевые посты. В течение короткого времени прорыто 99 тоннелей. Это был титанический труд, который удалось завершить к марту 1944 года. Бежало 80 английских летчиков.

Об исчезновении военнопленных командование лагеря сообщило в Берлин. Имперская уголовная полиция объявила всеобщую тревогу. Розыск проводился во всех уголках Германии и завершился тем, что бежавшие английские офицеры, за исключением трех, были задержаны. Большинство их схвачено в Силезии. Некоторые сумели достичь Киля и Страсбурга. В кандалах, под сильной охраной англичан доставили в Герлицкую тюрьму.

Кейтель срочно созвал совещание. Он готовился принять самые крутые меры, настолько крутые, что некоторые из его подчиненных, опасаясь будущей ответственности, выразили сомнение, стоит ли им впутываться в столь опасную историю. Кейтель настаивал:

— Господа, все эти побеги должны прекратиться. Мы должны показать пример. Мы примем самые строгие меры. Я могу лишь сказать вам, что лица, совершившие побег, будут расстреляны. Вероятно, большинство из них уже мертво.

Присутствовавший на совещании генерал фон Гревенитц выступил с возражением:

— Но это невозможно. Побег не является позорным поступком. Это специально предусмотрено Женевской конвенцией.

Кейтель не нуждался в подобных разъяснениях. Он и сам хорошо знал, что международное право рассматривает военный плен лишь как предохранительную меру, имеющую своей целью воспрепятствовать дальнейшему участию плененного в боях, не допускает применения к нему уголовного наказания за побег. Напротив, во всем мире любая попытка военнопленного вернуться в ряды своей армии всегда рассматривалась как исполнение высокого патриотического долга. Однако возражение Гревенитца вывело Кейтеля из себя.

— Они будут расстреляны! — кричал начальник штаба ОКВ. — И вы опубликуете объявления об этом в тех лагерях, где содержатся военнопленные, поставив их в известность, что такая акция была предпринята в качестве устрашающего примера для других военнопленных, которые захотели бы совершить побег.

А когда Кейтелю еще раз осторожно напомнили о Женевской конвенции, он совсем потерял самообладание и произнес те самые слова, которые затем преследовали его в течение всего Нюрнбергского процесса:

— Мне наплевать! Мы обсуждали этот вопрос в присутствии фюрера, и приказ не может быть изменен.

Кейтель пытался предстать перед своими подчиненными по-прежнему уверенным во всех своих действиях и, безусловно, лояльным слугой фюрера. Но в действительности в 1944 году уже и его начал точить червь сомнения, и гитлеровский фельдмаршал решил на всякий случай поменьше оставлять следов своей преступной деятельности. Свидетельством тому служит такой эпизод. Генерал Вестгоф, прежде чем вывешивать в лагерях объявление о расстреле любого военнопленного, намеревающегося бежать, попытался заручиться письменной резолюцией начальника штаба ОКВ. Однако Кейтель к концу войны стал более осторожен, чтобы не сказать труслив. На докладной Вестгофа он написал: «Я не сказал определенно „расстрел“, я сказал передать полиции или гестапо».

Поразительное лицемерие! Как будто Кейтель не знал, что и без того давно уже действует так называемый «Приказ-пуля» («Кугельбефель»). Согласно этому приказу задержанные при попытке к бегству военнопленные подлежат передаче гестапо, которое в свою очередь имеет предписание об их расстреле. Правда, «Кугельбефель» касался лишь советских военнопленных. Новым же своим распоряжением Кейтель распространял эту меру и на военнопленных западных стран.

История с расстрелом английских летчиков вызвала большой резонанс в Нюрнберге. Волнение охватило и скамью подсудимых, особенно военную ее часть. Кейтель и Иодль, Геринг и Дениц, так много твердившие на процессе о благородных военных традициях, прекрасно поняли, какой удар нанесла их демагогии преступная расправа над беззащитными пленниками.

Английский обвинитель Робертс спрашивает Иодля:

— Согласитесь ли вы со мной (я не употребляю слишком сильного выражения), что расстрел этих летчиков являлся типичным убийством?

И Иодль, позабыв о чувстве солидарности со своим шефом, заявляет:

— Я вполне с вами согласен. Я считаю это явным убийством.

Кейтель бросает на Иодля взгляд, полный ненависти, хотя понимает, конечно, что другую квалификацию его поведению дать трудно.

А тут еще неожиданно вмешивается Геринг. Бывший кайзеровский ас никак не желал, чтобы его имя ассоциировалось с хладнокровным убийством пленных летчиков. Казалось бы, после всех тех тягчайших преступлений, которые совершены самим Герингом, какое значение может иметь убийство еще нескольких десятков человек? Но старый актер, вошедший в роль с первого же дня процесса, с большей легкостью готов принять обвинение в уничтожении миллионов русских, евреев, поляков, чехов, чем признаться в убийстве летчиков-англичан, своих «товарищей по оружию».

Давая показания о совещании у Гитлера, где решалась судьба этих несчастных, Кейтель проговорился, что в числе присутствовавших там находился Геринг. Бывшего аса это вовсе не устраивало. Во время перерыва он вцепился в Кейтеля, как стервятник. Потом рассказывали, что Герингу удалось «дожать» Кейтеля. Тот обещал выступить с опровержением и действительно выступил. Но сделал это с тупой прямолинейностью.

— После моего допроса, — заявил бывший фельдмаршал, — я имел возможность побеседовать с рейхсмаршалом Герингом. Он сказал: «Вы ведь должны помнить, что меня там (на совещании у Гитлера. — А. П.) не было». И я тогда вспомнил, что он прав.

Впрочем, не исключено, что Кейтель схитрил. Опровергая в такой форме свои прежние показания, он, возможно, хотел дать понять суду, что подвергся давлению со стороны Геринга.

А вот еще один пример кейтелевской «гуманности».

Идет допрос свидетеля Мориса Лампа. (До сих пор у меня перед глазами изможденное лицо и полный муки взгляд этого бывшего узника Маутхаузена. Когда он давал свои показания, в

зале стояла настороженная тишина. Защита не решилась задавать вопросы.) Ламп рассказывает, как 6 сентября 1944 года в лагерь смерти прибыл транспорт с сорока семью английскими, американскими и голландскими офицерами. Это тоже были летчики, подбитые в бою, спустившиеся с парашютами и взятые в плен. Их поместили в бункер, лагерную тюрьму. Потом комендант лагеря объявил всем один приговор: смерть. Кто-то из американских офицеров попросил при этом, чтобы его казнили, как подобает казнить солдата. От коменданта лагеря последовал ответ:

— Вас забьют до смерти. Удары хлыстом, только удары...

Сорок семь полураздетых пленников босиком повели к каменоломне. Их казнь осталась в памяти у всех, кому удалось выйти из Маутхаузена. Это была картина Дантова ада.

Внизу у лестницы на плечи несчастных накладывали камни, которые они должны были нести наверх. При первом подъеме вес камней составлял от 25 до 35 килограммов. Подъем сопровождался ударами хлыстов... При втором, третьем, четвертом подъемах вес камней увеличивался и удары хлыста дополнялись ударами сапога, резиновых дубинок. В истязаемых бросали даже камни.

— Это длилось двое суток, — рассказывал Ламп. — Вечером, когда я шел в свою бригаду, дорога, ведущая в лагерь, была дорогой крови. Двадцать один труп лежал на ней. Двадцать шесть человек умерли на следующее утро.

«Операция Густав»

В течение судебного процесса, как уже знает читатель, многие подсудимые вступали между собой в ссоры, доходившие порой до взаимного разоблачения. Кейтель и Иодль в этом смысле составили, кажется, исключение. Только однажды было замечено, что Иодль, который неизменно обедал с Кейтелем за одним столом (его называли «стол командования»), демонстративно отказался сидеть рядом со своим бывшим шефом.

Как выяснилось позже, демонстрация Иодля объяснялась разоблачениями в суде действий Кейтеля в связи с так называемым «делом Жиро». Под конец войны до Кейтеля дошли какие-то смутные слухи о том, что французский генерал Вейган, служивший правительству Виши, собирается покинуть Францию. Возможно, и впрямь этот предатель интересов Франции, немало послуживший Берлину и тому же Кейтелю, решил, что в обстановке приближающегося поражения Германии лучше сбежать. Однако никаких доказательств готовившегося побега еще не было. Кейтелю только померещилось, что Вейган может вдруг оказаться в Северной Африке и примкнуть к движению Сопротивления.

Высказав эти свои опасения Канарису и его заместителю генералу Лахузену, Кейтель дает указание устранить Вейгана.

А тут новая неприятность; из лагеря военнопленных в Кенигштейне неожиданно бежит шестидесятилетний Жиро. Кто бы мог подумать, что в таком возрасте генерал решится спуститься на веревке с сорокапятиметровой высоты!..

Во время допроса Лахузена обвинитель спрашивает, что скрывается за выражением «операция Густав»? И Лахузен отвечает:

— «Густав» был шифром, который употреблял начальник штаба ОКВ в качестве условного обозначения, когда разговор касался генерала Жиро... В сущности, этот приказ сводился к тому, что Жиро следует устранить таким же образом, как и Вейгана.

Обвинитель. Когда вы говорите «устранить», что вы под этим подразумеваете?

Лахузен. Я подразумеваю то же самое, что имелось в виду в отношении генерала Вейгана. То есть его нужно было убить...

На процессе вскрылось, какую изобретательность проявил Кейтель, разрабатывая план поимки и убийства Жиро. И это было чрезвычайно неприятно бывшему фельдмаршалу. Человек, не

испытывавший никаких сомнений в том, что массовое уничтожение военнопленных вполне оправдано «условиями войны», почувствовал себя очень неловко, когда суд заинтересовался историей «устранения» Вейгана и Жиро. Как-никак Кейтеля обвиняли в убийстве (причем без всякого «приказа свыше») людей из той же профессиональной среды, что и он сам. Здесь уже не сошлешься на рыцарские традиции.

Вечером после допроса Лахузена в камеру Кейтеля зашел Джильберт и застал его в сильном расстройстве.

— Это «дело Жиро»... — бормочет Кейтель. — Конечно, я знал, что оно всплывет... Но что я могу по этому поводу сказать? Я не сомневался, что вся эта история вызовет и у вас, доктор, большие сомнения, как у благородного человека и офицера. Да, эта история очень затрагивает мою честь... Я могу спорить против обвинения в агрессии, могу сослаться на то, что в данном случае лишь исполнял свой долг, так сказать, исполнял приказ. Но эта история с убийством — не знаю, как я в нее попал...

А на следующий день Кейтель впервые столкнулся с открытым осуждением его действий соседями по скамье подсудимых: опустел «стол командования», за которым в течение многих месяцев вместе с Кейтелем сидели Геринг, Иодль, Редер, Дениц. Никому из них раньше и в голову не приходило подвергать остракизму друг друга, если вдруг в суде выяснялось, что один повинен в уничтожении нескольких миллионов людей в концлагерях (Геринг), другой — в потоплении пассажирских судов в море (Дениц), третий — в отдаче приказа о четвертовании пленных партизан (Иодль). Лишь после того как стала известна роль Кейтеля в убийстве французских генералов Жиро и Вейгана, все они отвернулись от него.

Джильберт осторожно завел об этом разговор с Иодлем.

— Есть вещи, которые несовместимы с честью офицера, — сказал Иодль.

— Как, например, убийство, — подсказал Джильберт.

Иодль некоторое время молчал, затем тихо ответил:

— Конечно, это несовместимо с честью офицера. Кейтель мне рассказывал, что Жиро находился под наблюдением... Но ни слова об убийстве. Знаете, такие вещи в военной истории случались, однако я бы никогда не подумал, что один из наших собственных генералов...

Не закончив фразы, Иодль опускает глаза.

— Я замечаю, — продолжает Джильберт, — что вы больше не сидите за «столом командования».

— Ах, вы это заметили доктор? — оживляется Иодль. — Да, это так. Но я не хочу бить лежачего, Особенно после того, как мы

сели в одну лодку...

Нет необходимости придавать серьезное значение этим словам Иодля. На каком основании он вдруг решил удивляться тому, что «один из генералов» вермахта мог быть замешан в грязной истории с Жиро? Как будто все прочие многочисленные провокации Кейтеля и самого Иодля против целых народов, в результате чего погибли миллионы людей, были в большей мере совместимы с пресловутой «офицерской честью».

Важнее другое: хотя Кейтель и Иодль «сели в одну лодку», положение их к моменту завершения судебного разбирательства было различно. Кейтель во многом признался, а признаваясь, тупо ссылался на приказ. Но и в тех случаях, когда он отрицал свою вину, поразительная наивность его аргументации лишь убеждала всех в виновности Кейтеля.

Иодль повел себя умнее. Он оказался изощреннее, изворотливее Кейтеля.

«Одиссей» XX века

Иодля защищал профессор международного права Экснер — один из немногих адвокатов в фиолетовой мантии. Мне казалось странным, что этот старый ученый, как любил именовать себя Экснер, избрал в качестве подзащитного начальника штаба оперативного руководства, по существу, руководителя личного штаба Гитлера.

Сам Экснер тоже, видимо, чувствует необходимость дать суду объяснения по этому поводу. Но какой горькой, чтобы не сказать чудовищной, иронией обернулись они в ходе процесса!

Свою защитительную речь Экснер начал довольно эффектно:

— Я познакомился с Иодлем двадцать лет тому назад в доме его дяди — философа Фридриха Иодля — в Вене. Там у нас состоялась беседа относительно воспитания кадровых офицеров. То, что мне тогда говорил молодой капитан, было так серьезно, чисто и так далеко от всего того, что называют милитаризмом, что я навсегда запомнил наш разговор. С того времени я не встречался с ним, до тех пор пока совершенно неожиданно этой осенью не получил приглашения защищать его здесь, на суде. Моей первой мыслью было: «Этому храброму солдату надо помочь». Но я колебался, так как не являюсь профессиональным защитником. Когда я, однако, увидел его в здании суда в первый раз, он мне сказал слова, которые рассеяли все мои колебания. Он сказал: «Будьте уверены, господин профессор, если бы я чувствовал хоть каплю вины, я бы не ваял вас себе в защитники». Господа судьи, я думаю, так может говорить только джентльмен, но не преступник!..

«Джентльмен» Альфред Иодль в годы первой мировой войны служил в артиллерии, а потом стал генштабистом. Он слыл очень способным офицером генерального штаба и вскоре выдвинулся там на ключевые позиции. Занимая специально созданный для него пост начальника штаба оперативного руководства ОКВ, неутомимый генерал-полковник руководил разработкой всех операций вермахта.

Язвительный, острый на язык, достаточно образованный в своей сфере, чтобы не лезть за словом в карман, он избрал совсем иной метод защиты, чем Кейтель, Прежде всего решил, что обвинители не получат от него ни одного признания. Иодль был глубоко уверен в том, что Кейтель делает ошибку, признаваясь, хотя бы и с оговорками, в некоторых из своих преступлений.

Я уже говорил, что на весах нюрнбергского правосудия вина Иодля в принципе была не только не меньше, а в определенном

смысле даже больше, чем вина Кейтеля. Умный враг всегда опаснее. В Иодле народы мира должны были видеть главного закоперщика военных авантюр гитлеровской Германии. Это в его мозгу рождались планы разбойничьих нападений на другие страны. Это он готовил агрессии против Австрии и Чехословакии, против Греции, Югославии. Это ему прежде всего народы СССР «обязаны» появлением на свет «плана Барбаросса».

И все-таки своими показаниями на процессе Иодль стремился создать впечатление, будто он всего лишь стратег, будто не имеет никакого отношения к тягчайшим преступлениям нацизма. Более того, он якобы, где только было возможно, стремился их прекратить.

Неплохо зная военную историю, он очень часто обращался к ней, чтобы доказать, что многие провокации (Иодль называет их военными хитростями), к которым прибегала военная верхушка нацистского рейха, уже были известны в прежние времена. Когда заходила речь о провокационных маневрах, организованных ОКВ против Австрии, Кейтель ссылался на приказ Гитлера, а Иодль — на историю.

— Мне кажется, — заявлял он, — что подобные маневры отнюдь не идут вразрез с нормами права. Вообще в игорном доме истории как в политике, так и в войне всегда пускают в ход крапленые карты.

Старый профессор, друг философа Фридриха Иодля, доктор Экснер поспешил поддержать своего подзащитного. Обращаясь к суду, адвокат просил верить ему, что «такие хитрости» обычны с тех пор, как греки построили своего троянского коня. Одиссей, автор этой идеи, потому и восхвалялся античными поэтами как «многоумный», а не был заклеймен ими как «преступник».

— Я, — продолжал доктор Экснер, — не вижу в поведении Иодля также ничего аморального... В отношениях между государствами действуют другие моральные принципы, чем в воспитательных институтах для христианских девиц.

Единственное достоинство приведенных сентенций Иодля и его адвоката состоит, пожалуй, в том, что они вовсе не нуждаются в комментариях.

Иодля спросили о провокациях в отношении Чехословакии. И он с откровенным цинизмом назвал их просто «инцидентами», «соображениями генерального штаба», которым сам Иодль не придал бы никакого значения, если бы к ним прибегли, скажем, французы.

Что угодно, только не признавать своей вины. Я замечал, сидя в зале суда, как бывший начальник штаба оперативного руководства ОКБ кривился от злости, когда его шеф оказывался

вынужденным делать те или иные признания. Иодль был уверен: признания не лучший способ защиты. Конечно, в руках обвинителей много документов за подписью Иодля. Но он всегда был хитрее, предусмотрительнее Кейтеля и редко делал на бумагах такие прямолинейные, не допускающие толкования резолюции, какие позволял себе фельдмаршал.

Иодлю предъявляют обвинение в том, что по приказу генерального штаба расстреливались взятые в плен партизаны. Обвинитель приводит выдержки из этого приказа. Там, в частности, говорится, что «всякое сопротивление будет пресекаться не путем судебного преследования виновных, а при помощи распространения такого террора, который единственно будет в состоянии искоренить всякое стремление к сопротивлению». Потом оглашается еще один приказ, подписанный Иодлем, где он требует «усиления мер по борьбе с бандами», то есть с партизанами. «Необходимо с этой целью, — предписывает Иодль, — использовать службу безопасности и тайную полевую жандармерию». Приказом декретируются «коллективные меры против всего сельского населения, в том числе поджоги населенных пунктов».

Если бы предъявили такой документ Кейтелю, он, видимо, промолчал бы или сослался на то, что действовал как подчиненный. Ответы Кейтеля в подобных случаях угадывались наперед. Они были стереотипны:

— Я подписал этот приказ, так как мне было дано соответствующее указание.

Или:

— Я это подписал, и я это признаю здесь.

Или, наконец:

— Я не могу вам сказать больше того, что я подписал этот приказ и что тем самым я взял на себя определенную долю ответственности.

Иодль ведет себя иначе. Он старается найти любой повод, чтобы затеять дискуссию, и притом обнаруживает порой неплохое знание международного права (очевидно, за время процесса его натаскал в этом отношении адвокат — профессор Экснер).

Огласив приказ о расправах над пленными партизанами, обвинитель обращается к Иодлю с вопросом:

— Это ужасный приказ, подсудимый, не правда ли?

— Нет, господин обвинитель, — отвечает Иодль, — это вовсе не ужасный приказ. Ведь нормами международного права предусмотрено, что население занятых областей должно выполнять предписания оккупационных властей, а всякий бунт, всякое сопротивление войскам, оккупировавшим эту страну,

запрещается и носит название партизанской войны. Средства борьбы с этой партизанской войной не указаны в нормах международного права. Здесь в силе принцип: «Око за око, зуб за зуб». И это даже не немецкий принцип.

Как ни отвратительна, как ни цинична такая тирада Иодля, она свидетельствовала о том, что он в курсе не только международно-правовых норм, но и того, что называется доктриной международного права. Дело в том, что в буржуазной правовой науке длительное время шел спор: разрешает ли Гаагская конвенция партизанское движение на оккупированной территории? И как раз немецкая школа международного права, отражая агрессивные вожделения пруссачества, стояла на позиции непризнания законности партизанского движения. Вот Иодль и решил использовать этот спор, чтобы затеять дискуссию на процессе.

Однако и с хитроумным Иодлем случались курьезы. Только что он пытался обосновать расправы с захваченными партизанами, убеждал, что партизаны должны рассматриваться как бунтовщики, подлежащие расстрелу. Позиция чисто полицейская, но все-таки позиция. И вдруг — крутой поворот: обвинитель перешел к другим вопросам. Иодль изобличается в том, что он систематически визировал приказы, нарушающие международное право. Новые обвинения вытеснили из головы подсудимого прежнюю его аргументацию. Защищаясь, Иодль старается вспомнить примеры уважительного, с его стороны, отношения к законам и обычаям войны. Память у него хорошая. Недаром Кейтель во время допросов частенько говаривал:

— Не помню, спросите Иодля, у него память лучше...

Иодль вспомнил, что после расстрела британских летчиков он «твердо решил покончить с явными и демонстративными нарушениями международного права». С этой целью летом 1944 года был разработан документ под заглавием «Памятка о борьбе с бандами» (так именовались партизаны), где предписывалось рассматривать партизан как обычных солдат и предоставлять им при захвате режим военного плена.

— Я не представил этой «Памятки» ни фельдмаршалу Кейтелю, ни фюреру, — похвалялся Иодль, — так как эта «Памятка» противоречила всем приказам, которые были изданы до того времени.

Иодль мобилизует всю свою изворотливость, тужась доказать, что в нацистской Германии именно он, и только он, заботился о человеческих понятиях права:

— С первого мая тысяча девятьсот сорок четвертого года... управление Канариса было упразднено, а отдел разведки с

группой референтов по вопросам международного права перешел в мое подчинение. Я принял тогда решение не допускать более нарушений международного права с нашей стороны. Начиная с этого дня до окончания войны я так и действовал. В этой инструкции (сиречь «Памятка о борьбе с бандами». — А. П.) я заявил о том, что все банды и их сообщников, даже тех, которые были в гражданской одежде, следует рассматривать как регулярные войска и как военнопленных.

Иодль очень надеялся, что в Нюрнберге этот документ принесет ему большие дивиденты. Как-никак «Памятка» действительно появилась на свет за его подписью. Но многим ли рисковал германский генштаб, издавая ее?

Общеизвестно, что наиболее мощным партизанское движение было на советских оккупированных территориях. К лету же 1944 года, как признал и сам Иодль, «русские партизанские районы находились уже перед фронтом». Другими словами, к тому времени советская территория была полностью освобождена от немецких захватчиков и партизанские отряды в подавляющем своем большинстве влились в регулярную армию. Реально (и это Иодль тоже признал) в «Памятке» речь шла «о бандах, существовавших в то время во Франции и Югославии». Но летом 1944 года во Франции под напором союзных войск вторжения германские дивизии только и делали, что отступали. Аналогичное положение вскоре сложилось и в Югославии, откуда агрессоры были изгнаны совместными усилиями Советской и югославской Народно-освободительной армий. Таким образом, изданная Иодлем «Памятка» уже не имела практического значения. В сущности, она ничего не отменяла и не изменяла, а потому и не могла сыграть никакой роли в положении Иодля на процессе. Вспомнив о ней, Иодль лишь еще раз продемонстрировал свою изворотливость и предусмотрительность. Даже в самых сложных условиях начальник штаба оперативного руководства ОКВ не забывал на всякий случай заметать следы. Вот этим он и отличался от более прямолинейного Кейтеля. Тому бы и в голову не пришла подобная затея.

Нам уже известен приказ Кейтеля от 12 мая 1941 года о поголовном расстреле пленных комиссаров и политработников Красной Армии. Политработники и комиссары были военнослужащими, ничем не отличающимися от других. Они, естественно, носили форму и в случае захвата подлежали режиму военного плена. Но Кейтелю, как он сам изволил выразиться, было «наплевать» на все это.

Иодль тоже не проявлял милосердия к этой категории

советских военнослужащих. Он даже напомнил, что Германия имела свой опасный опыт деятельности комиссаров в период Баварской республики. Однако береженого бог бережет. Ссылаясь на то, что русские в отместку могут применить аналогичные меры по отношению к германским летчикам, Иодль предлагал тогда обойти требование Гитлера и воздержаться от издания такого приказа. Ему представлялось более целесообразным просто расстреливать комиссаров и объявлять это репрессалией, то есть ответными действиями за нарушение международного права, якобы совершенного русскими. Волки-то в любом случае оказываются сыты. А в архивах, между тем, сохранилась собственноручная резолюция Иодля, которую защита, конечно, пробовала трактовать как подтверждение его отрицательного отношения к приказу об уничтожении комиссаров.

Эти заранее подготовленные алиби и неплохая осведомленность в сфере международного права, безусловно, помогали Иодлю вести свою особую линию защиты.

Вряд ли кто в наше время решится оправдывать практику заложничества. Заложник — это человек, который ни в чем не повинен, но должен быть казнен либо за действия, которые совершены другими лицами, либо для того, чтобы своей смертью устрашить других, не склонившихся перед оккупантами. Зверская эта практика осуждена во всем цивилизованном мире.

Когда Кейтелю предъявляли приказы ОКВ о расстреле заложников, он молчал, мучительно долго молчал, а потом преподнес свой обычный стереотип:

— Приказ есть приказ.

А Иодль? Как он реагировал на это обвинение? То ли сам, то ли по подсказке многоопытного профессора Экснера он затеял дискуссию по поводу того, запрещает ли безоговорочно международное право взятие и расстрел заложников. Не могу не привести здесь краткую выдержку из стенограммы:

Робертс (английский обвинитель). Раз вы затронули этот вопрос, я утверждаю, что нигде в международном праве вы не найдете положения, которое бы оправдало расстрел заложников в качестве законной меры.

Иодль. Однако совершенно точно, что нигде в категорической форме не говорится и о запрете убийства заложников.

Как это ни странно, но в данном случае оба — и обвинитель, и подсудимый — были правы. Робертс — по существу, Иодль — формально. Здесь не место вдаваться в юридический анализ, но скажу, однако, что минимально добросовестное толкование четвертой Гаагской конвенции приводит к единственному выводу о незаконности заложничества[11].

А вот еще пример того, как Иодль использовал любую возможность, любую недоговоренность в международном праве, чтобы оправдать свои тягчайшие преступления.

18 октября 1942 года ОКВ издает за подписями Гитлера и Кейтеля приказ о немедленном расстреле без суда и следствия участников коммандос.

Коммандос — это отряды смельчаков, которые сбрасывались англичанами с самолетов или высаживались с кораблей для выполнения особых, обычно диверсионных заданий на оккупированных территориях. Они носили военную форму и уже по одному этому должны были рассматриваться как солдаты. Тем не менее Кейтель подписал приказ об их расстреле.

А Иодль? Какова была его позиция? Он и на этот случай кое-что припас для своего обеления. Оказывается, перед изданием приказа о расстреле участников отрядов коммандос, штаб Иодля представил Кейтелю записку, в которой высказывалась мысль о необходимости решить предварительно некоторые вопросы:

«1. Имеем ли мы сами намерение сбрасывать на парашютах диверсионные отряды в районах войск противника, находящихся за линией фронта, или также в районах глубокого тыла?

2. Кто будет сбрасывать на парашютах большее число диверсионных отрядов — противник или мы?»

Иодль пытался убедить суд в том, что он и на сей раз был в оппозиции, потому что стремился руководствоваться международным правом. Но разве принцип «кто будет сбрасывать больше?» — высший критерий для оценки законности репрессивных мер?

Утопающий, говорят, хватается за соломинку. И в самый последний момент Иодль обнаруживает такую спасительную соломинку в уже цитированном документе. Настаивая на том, что он был против издания приказа о немедленном расстреле коммандос без суда и следствия, бывший начальник штаба оперативного руководства ОКВ ссылается на следующие слова, содержащиеся в его записке:

«Придаем ли мы значение предварительному аресту отдельных членов этих отрядов с целью их допроса разведкой вместо их немедленного умерщвления?»

Иодль, оказывается, напоминал: боже упаси, не забудьте допросить пленного, заставьте его дать показания, а потом уже можете казнить.

И это говорится в оправдание!

* * *

19 февраля 1945 года. Советская Армия приближается к Берлину. Гитлеровцы звереют с каждым днем. В ставке у Гитлера происходит совещание. Рассматривается вопрос: следует ли Германии открыто отказаться от Женевской конвенции. Вопрос сам по себе довольно странный. Кому неизвестно, что германское командование на протяжении всей войны отбрасывало прочь любые конвенции, стеснявшие его действия.

Судя по протоколу, под Женевской конвенцией участники совещания понимали все международное право. Дениц и Иодль говорили о войне на море, о возможности торпедирования торговых кораблей без предупреждения и оглядывались почему-то на Женевскую конвенцию, хотя в ней, как известно, речь шла только о режиме пленных и раненых. Но дело не в этом. Обратим внимание на тогдашнюю позицию Иодля.

Читатель помнит, что он заявил трибуналу о своей решимости после убийства британских летчиков не допускать больше нарушений международного права. И 19 февраля 1945 года Иодль действительно возражал против открытого отказа от ограничений международного права. Начальник штаба оперативного руководства объяснял Гитлеру, что Германия в прошлом была непредусмотрительна. Он ссылался при этом на 1914 год: «Мы торжественно объявляли войну всем государствам... таким образом, возложили на свои плечи всю ответственность за войну перед всем внешним миром». Иодль был убежден, что всегда нужно находить какие-то предлоги, чтобы, напав на то или иное государство, приписать инициативу нападения жертве агрессии. Высказав это свое кредо, он сделал вывод: «В той же степени сейчас (то есть в 1945 году. — А. П.) было бы неверным отказаться от обязательств, налагаемых международным правом, которые мы приняли на себя, и, таким образом, вновь выступить перед внешним миром в качестве виновных». И чтоб уж ни у кого из присутствовавших на совещании не осталось никаких неясностей в отношении его, Иодля, точки зрения, он уточнил: «Соблюдение принятых на себя обязательств ни в коей мере не требует, чтобы мы налагали на себя ограничения, которые мешали бы нам вести войну».

Итак, «нарушайте Женевскую конвенцию, но не говорите миру о том, что так поступаете». Этими словами Дениц как бы суммировал все сказанное Иодлем, и хитроумный генерал-полковник подтверждает, что гросс-адмирал правильно понял его.

Вот так на практике выглядела «борьба» Иодля за соблюдение норм международного права.

* * *

Я уже говорил о поведении на Нюрнбергском процессе Риббентропа, о его вызывавших чувство омерзения заискиваниях то перед одним, то перед другим из обвинителей. Этот «великий мастер реальной политики» почему-то уверовал, что если он станет вести себя именно так в эти десять месяцев процесса, то умиленные обвинители будут готовы позабыть все его преступные деяния на протяжении последних десяти лет.

Иодль рассудил иначе. Несмотря на все уловки защиты, несмотря на искусно создаваемое алиби, он все-таки понимал, что решение его судьбы меньше всего зависит от того, как он станет отвечать на вопросы обвинителей и судей, будет ли вести себя с внешним достоинством или униженно. Он предпочел первое и при любом подходящем случае применял «наступательную тактику». Линия поведения Иодля во многом напоминала поведение Шахта. Точно так же, как Шахт ловко использовал в интересах своей защиты мюнхенские мотивы в политике Англии и Франции, Иодль сумел использовать некоторые не вполне благопристойные моменты в боевой деятельности англо-американских вооруженных сил.

Английский прокурор Робертс предъявляет Иодлю обвинение в варварской, без всякого предупреждения бомбардировке Белграда. Но, задавая этот вопрос, он не учел того, на что давно обратил внимание Иодль. Англичанин не заметил осторожности, проявленной главным американским обвинителем Джексоном при допросе Геринга. Тот в течение нескольких дней потрошил подсудимого № 1, однако ни разу не коснулся тотальных воздушных бомбардировок, осуществлявшихся люфтваффе.

Я помню, как поразило меня это обстоятельство. После окончания допроса Геринга я спросил у американского обвинителя, почему среди множества обвинений, предъявленных им бывшему рейхсмаршалу, не фигурировало обвинение в бомбардировке германской авиацией мирных городов? И Джексон ответил:

— Видите ли, как-то неудобно, находясь здесь, в Нюрнберге, где не осталось почти ни одного целого здания, кроме того, в котором мы заседаем, обвинять немцев в бомбардировках.

Да, хорошо известно, что на последнем этапе войны англо-американская авиация без всякой военной необходимости бомбила многие германские города, в результате чего погибло несколько сот тысяч человек гражданского населения. Достаточно вспомнить бомбардировку Дрездена, во время которой было убито много тысяч граждан. Джексон исходил из того, что

возлагать на весы Фемиды даже тяжкие преступления нацистов можно только «чистыми руками».

Английский обвинитель Робертс не учел этого и задал Иодлю вопрос:

— Как вы думаете, сколько гражданского населения, сколько тысяч людей погибло во время бомбардировки Белграда без предупреждения?

И Иодль не замедлил с ответом:

— Я не могу этого сказать, но не больше чем десятая часть того числа, которое было уничтожено в Дрездене, когда вы уже выиграли войну.

Еще раз Иодлю удалось воспользоваться аналогичным просчетом английского обвинителя, когда тот извлек на свет белый документ под названием «Продолжение войны против Англии». Автор этого документа Иодль писал: «Если политические мероприятия окажутся безрезультатными, то волю Англии к сопротивлению придется сломить силой». И в числе других мер для этого бывший начальник штаба оперативного руководства ОКВ предлагал «террористические налеты на основные английские населенные пункты».

Огласив документ, обвинитель Робертс спрашивает Иодля:

— Здесь говорится о террористических налетах на основные английские населенные пункты. Вы хотели бы сказать что-нибудь в оправдание этой фразы?

— Да, — отвечает Иодль, — я признаю тот факт, что здесь выразил ту мысль, которую впоследствии англо-американская авиация осуществила с таким совершенством.

Такие внешне эффектные ответы на некоторые вопросы английского обвинителя позволили Иодлю, правда ненадолго, отвлечь внимание от того факта, что разрушение мирных городов производилось германской авиацией задолго до налетов союзной авиации. Это были хотя и редкие, но удачные для Иодля минуты процесса.

Иодль «весьма сожалеет»

Но вот английского обвинителя сменяет заместитель главного советского обвинителя Ю. В. Покровский. Он предъявляет Международному трибуналу документ ОКВ, в котором предписывается «сровнять Ленинград а землей, полностью разрушить его с воздуха и земли». Документ подписан Гитлером и Иодлем.

Кейтель, если бы этот документ подписал он, ответил бы обвинителю, что, конечно, не одобряет такого варварского акта, но приказ фюрера есть приказ в последней инстанции. Иодль тоже остается верен своей тактике. Он ищет объяснения. Ищет и находит его.

Воодушевленный собственными ответами Робертсу (которые, кстати, очень понравились Герингу), он собирается нанести удар и советскому обвинителю. Начинается поединок.

Я наблюдаю за Иодлем. В его глазах блеск. Время от времени он многозначительно посматривает на скамью подсудимых. Юрий Владимирович Покровский спокоен, хотя понимает, что Иодль просто так не сдастся. И вот подсудимый начинает разъяснять ему, будто план разрушения Ленинграда возник не сам по себе, будто немцы такого и в мыслях не имели бы, если б не одно обстоятельство, увы, вынудившее их к подобной мере. Иодль хотел бы напомнить господину советскому обвинителю печальные для немцев события, когда они вошли в Киев. Германские войска, заняв столицу Украины, разместили свои штабы и службы в центре города. И вдруг все эти дома (Иодль подчеркнул, именно те дома, в которых разместилось командование) взлетели на воздух. «Большевистские фанатики», отступая из Киева, оказывается, минировали многие здания, и город, таким образом, стал ловушкой.

После этого между Покровским и Иодлем возник спор по поводу даты захвата немцами Киева. Я слушал их полемику, и мне не совсем было ясно, к чему она.

Иодль сообщил, что в первые дни сентября германское верховное командование получило сведения от фельдмаршала фон Лееба о взрывах в Киеве. Покровский тут же уличил Иодля в искажении факта: Киев был захвачен немцами позднее, а потому в Берлине не могли получить в начале сентября такое донесение от фон Лееба. Иодль настаивает:

— Насколько я помню, Киев был занят в конце августа. Мне кажется, это было двадцать пятого августа или около этого.

Покровский. Не припомните ли вы, когда Гитлер в первый раз

сказал о том, что намерен стереть Ленинград с лица земли?

Иодль. Извините, господин обвинитель, я все время ошибался, называя эту дату. Приказ фюрера датирован седьмым октября. Очевидно, ваши данные правильны. Я ошибся на один месяц. Мы заняли Киев действительно в конце сентября. Сведения от Леeба поступили к нам в первых числах октября. Я ошибся. Весьма сожалею.

Можно было подумать, что Покровский только и стремился уличить Иодля в незнании даты захвата Киева. Но это, конечно, не так.

Иодль готов согласиться с тем, что приказ об уничтожении Ленинграда был подписан им 7 октября 1941 года. Как-никак 7 октября это позже, чем дата захвата Киева, и это позволяет сделать ссылку на события в Киеве. Подсудимый сам охотно цитирует этот документ. Действительно, там имеется ссылка на речение фюрера о том, что «капитуляция Ленинграда, а позже и Москвы не должна быть принята даже в том случае, если бы она была предложена противником». До того как города будут взяты, «они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами».

Одно лишь слово подводит Иодля. Приказ о разрушении Москвы и Ленинграда начинается так: «Фюрер *снова* решил, что капитуляция...» «Снова!» А что же было раньше, и когда это было?

Советский обвинитель помогает Иодлю освежить память. Он предъявляет документ № Л-221 — протокол совещания у Гитлера от 16 июля 1941 года. Читатель уже знает, что это как раз то самое совещание, на котором шла распродажа советских территорий. В протоколе указывается, что на Ленинградскую область «претендуют финны». А дальше черным по белому записано указание Гитлера «сровнять Ленинград с землей» и только после этого «отдать его финнам».

Покровский передал протокол Иодлю. Тот внимательно всматривается в текст. Обвинитель спрашивает, нашел ли подсудимый цитированное место и убедился ли в том, что это было задолго до того, как стали известны события на Крещатике.

Иодль. Да, это было за три месяца до того дня.

Покровский. Это было значительно раньше того дня, когда произошли какие-либо пожары и взрывы в Киеве, не так ли?

Иодль. Совершенно правильно.

Такое признание свидетельствовало о полном поражении Иодля. Его, как мелкого мошенника, поймали за руку. И может быть, именно в тот момент он вспомнил старую истину, что лжецу нужна очень хорошая память, даже лучше, чем та, какой славился сам Иодль. После этого скандала бывший начальник

штаба оперативного руководства ОКБ, видимо, стал склоняться к тому, что в линии поведения, избранной Кейтелем, есть и свои достоинства. Во всяком случае, Иодль понял: в только что закончившемся поединке с советским обвинителем он положен на обе лопатки. Не в первый и далеко не в последний раз.

Много свидетелей прошло перед Международным трибуналом. На некоторых из них подсудимые полагались всецело. Но я уже рассказывал о любопытных ситуациях, которые складывались иногда в результате чрезмерных усилий таких свидетелей помочь своим друзьям на скамье подсудимых. Читатель помнит конфузы с Мильхом, Боденшатцом. Нечто аналогичное случилось и с одним из свидетелей, вознамерившихся обелить Иодля.

Им был генерал танковых войск фон Форман. Некогда он вместе с Иодлем служил в штабе сухопутных сил. Желая, видимо, помочь своему бывшему сослуживцу, фон Форман показал, что еще до захвата Гитлером власти Иодль в товарищеских беседах весьма критически отзывался о фюрере, «часто употреблял по отношению к Гитлеру такие выражения, как „шарлатан“, „преступник“. Свидетель выразил надежду, что суд учтет „антигитлеровские настроения“ Иодля.

Доктор Экснер, оглашая некоторые места из показаний Формана, намеренно опустил ту часть, где Иодль дает далеко не лестные оценки Гитлеру. Однако советский обвинитель разгадал маневр адвоката. В ходе допроса Ю. В. Покровский напомнил Иодлю как раз эту часть показаний Формана и спросил: подтверждает ли тот все сказанное свидетелем?

— Я убежден, что он перепутал две вещи, — пытается увернуться Иодль. — Я, правда, говорил очень часто, что считаю фюрера шарлатаном. Но у меня не было никакой причины считать его преступником. Слово «преступник» я употреблял очень часто, но не по адресу Гитлера, а по адресу Рема. Того я неоднократно называл преступником, таково было мое мнение.

— Значит, вы считали, что преступником был Рем, а шарлатаном фюрер, это правильно? — продолжает допрос обвинитель.

Иодль. Да, в такой форме это правильно. Так я считал в то время.

Обвинитель. Чем же объяснить, что вы согласились занимать руководящие посты в военной машине германского рейха, после того как к власти пришел человек, которого вы сами назвали шарлатаном?

Иодль. Тем, что с течением времени я убедился в том, что Гитлер не шарлатан, а гигантская личность...

Итак, Иодль называл Гитлера шарлатаном в 1933 году. Затем, как известно, последовал разгром демократии в Германии, создание концлагерей, массовые казни немецких патриотов, разработка агрессивных планов, разбойничьи нападения на многие страны, чудовищный террор на оккупированных территориях. Именно эти обстоятельства, очевидно, и побудили Иодля изменить свое первоначальное мнение и считать, что перед ним действительно «гигантская личность». Впрочем, все это весьма логично: как раз такой «шарлатан» и такая «гигантская личность» нужны были прусским милитаристам. Да, прав Джефри Нокс, который, будучи председателем Международной комиссии в Сааре, сказал:

— Мы должны прежде всего понять, что нацистская партия до тех пор, пока ее не подобрали руководители прусской военщины, была всего лишь жалкой шайкой сводников и бродяг, не имевшей ни малейшего значения.

Нокс утрирует, но совершенно очевидно, что, не будь Людендорфа, Бломберга, Кейтеля, Иодля и им подобных, Германия осталась бы Германией, а мир был бы избавлен от Гитлера. Иодль называл Гитлера шарлатаном, но, как только этот удачливый шарлатан пришел к власти, он поторопился впрячься с ним в одну упряжку.

Мы еще увидим, как Иодль снова «прозреет» и вновь назовет своего фюрера преступником. Оба они, и Кейтель и Иодль, будут чрезвычайно раздражены, что здесь, на процессе, их якобы вынуждают отвечать не только за свои действия, но и за преступления Гитлера.

«Он обманул нас! Он оставил нас одних!»

8 августа 1945 года Кейтель, давая показания следователю и стараясь представить себя идейным человеком, говорил о своей приверженности Гитлеру. Но на процессе он изменил курс и уже почем зря ругал своего фюрера. Кейтель осуждал, в частности, как бесчестный шаг самоубийство Гитлера.

— Если Гитлер хотел быть главнокомандующим, — заявил бывший фельдмаршал Джильберту, — то он должен был бы им оставаться до конца. Он отдавал нам приказы. Он говорил: «Я беру ответственность на себя!» А теперь, когда настало время, чтобы отвечать за все это, он нас оставил одних...

А дальше следовали уже причитания:

— Это несправедливо... Он обманул нас! Он говорил нам неправду. Таково мое убеждение, и никто не может разубедить меня в этом. Он обманным образом заставлял нас воевать.

Какая чудовищная смесь лицемерия и истерики! Гитлер обманул легковерного Кейтеля! Того самого Кейтеля, который своими приказами требовал уничтожить сотни тысяч людей и в ответ на протесты своих же подчиненных писал: «Мне наплевать».

Различными методами осуществляли свою защиту Кейтель и Иодль. Но в одном они сошлись. Оба пытались убедить суд, что многолетнее сотрудничество с Гитлером было для них цепью трагических противоречий, рискованных попыток смягчить нрав фюрера и уменьшить тяжелые последствия многих его приказов.

Почему же тогда эти благородные зигфриды не ушли в отставку? Доктор Нельте сообщил суду, будто Кейтель пять раз пытался покинуть свой пост, а один раз даже принял решение покончить жизнь самоубийством. Но весь ход процесса в Нюрнберге неопровержимо доказал, что у Кейтеля даже и мысли такой не возникало.

Много позже я прочел в сочинениях известного западногерманского историка Герлица, будто Кейтель не решался уйти в отставку лишь потому, мол, что опасался, как бы руководство вермахтом не захватили эсэсовцы. Экая низкопробная ложь! Надо отдать справедливость Кейтелю — сам он до такой ахинеи в Нюрнберге не договорился. И не мог договориться. Как-никак именно по его поручению генерал Вагнер подписал от имени ОКБ соглашение с СС о сотрудничестве в массовом истреблении советского населения...

Иодль тоже хотел создать впечатление, что вступал в решительные схватки с Гитлером по поводу тех или иных приказов. Нет, он не согласен, что с Гитлером нельзя было

спорить, что ему не полагалось противоречить:

— Я много, много раз в самой резкой форме противоречил ему.

Но, как на грех, каждый раз оказывается, что споры между Иодлем и Гитлером касались главным образом вопросов оперативно-стратегического характера.

В августе 1942 года Иодль решился выступить перед Гитлером в защиту генерал-полковника Гальдера. Сам Иодль признал, что и в данном случае «дело касалось оперативной проблемы». Он ничего не добился, лишь привел Гитлера в бешенство, и, о ужас! — «с этого дня Гитлер больше никогда уже до самого конца войны не ел с нами вместе». Более того, подсудимый утверждает:

— Начиная с этого дня на каждом докладе об обстановке стал присутствовать офицер СС. С этого дня появились восемь стенографов, которые записывали каждое произносившееся слово. Фюрер вообще не стал подавать мне руки. Он со мной больше не здоровался или же едва здоровался. Он попросил фельдмаршала Кейтеля сказать мне, что больше не может со мной работать и что я буду заменен генералом Паулюсом, как только тот возьмет Сталинград.

Вот ведь до чего дошло! Но долго ли длилась такая немилость? Долго ли находился начальник личного штаба Гитлера под таким дамокловым мечом? Иодль неохотно отвечает:

— Такое положение продолжалось до тридцатого января тысяча девятьсот сорок третьего года.

Что это за сакраментальная дата? Ах, это же десятая годовщина прихода Гитлера к власти. 30 января считалось в нацистской Германии праздником. В этот день Гитлер награждал наиболее близких из своих подручных. И в числе их оказался и Иодль, тот самый Иодль, которого Гитлер якобы боялся и готов был отрешить от должности. 30 января 1943 года фюрер жалует генерал-полковника Иодля высшей партийной наградой (запомним: партийной, а не военной!) — золотым нацистским значком.

Плохо, очень плохо выглядел Иодль в тот момент, когда должен был стыдливо признать это. Как-то сразу поблекли все его прежние аргументы в свою защиту. А некоторые выглядели теперь просто смешными.

Много было допрошено в Нюрнберге разных гитлеровских генералов. И все они, даже те, которые выгораживали Кейтеля и Иодля, не отрицали факта, что именно эти два лица до последнего дня были самыми близкими Гитлеру военными людьми. Когда 20 июля 1944 года в бункере имперской

канцелярии раздался взрыв, Иодль оказался одним из первых, кто неистово поздравлял чудом уцелевшего Гитлера. И вдруг в Нюрнберге тот же самый Иодль пытается доказывать, что он всегда чувствовал себя чужим в ставке Гитлера. Почему?

— Потому, что это была не военная главная ставка, а гражданская ставка, где мы, солдаты, являлись только гостями. А ведь не так-то легко находиться пять с половиной лет в гостях...

Я слушал эти «откровения» Иодля, слушал Кейтеля, и у меня возникал вопрос: «Когда, на каком этапе им стало ясно, что для Германии война проиграна, когда оба „тевтонских рыцаря“ действительно перестали верить в победу?»

— Война была проиграна после Сталинграда, — заявил в своих показаниях Иодль.

А Кейтель, оказывается, пришел к печальным выводам еще раньше. Для него уже после поражения под Москвой стало ясно, что эту войну нельзя выиграть «чисто военными средствами».

Как же вслед за тем повели себя эти германские стратеги? Попытались ли они убедить Гитлера (с которым, как заявил Иодль, «можно было спорить») принять меры к прекращению кровопролития, к спасению миллионов людей от напрасной гибели? Нет, таких попыток с их стороны не было. И Кейтель и Иодль вместе с Гитлером продолжали азартную игру. Они, как и прежде, вероломно обманывали своих соотечественников и обрекали на неимоверные страдания другие народы. Это Розенберг, Штрейхер, Геринг могли еще верить в чудо (недаром ведь толстый Герман пригоршнями глотал таблетки героина — перед глазами наркомана часто вставали картины фантастических побед). Но Иодль и Кейтель были достаточно трезвы и в меру подготовлены для того, чтобы задолго предвидеть страшную и неотвратимую катастрофу. Тем не менее они продолжали гнать сотни тысяч немцев в огонь уже проигранной войны.

Иодля спросили в Нюрнберге: зачем надо было бессмысленно затягивать кровавую бойню, воевать до последнего человека? Оказывается, эта мысль «тревожила» и самого Иодля. У него был уже готов ответ на вопрос. Гитлеровская камарилья (к которой, разумеется, Иодль себя не причислял) совершила тягчайшие военные преступления (о которых он узнал якобы главным образом на суде) и этим вызвала к себе ненависть всего мира.

— Конечно, — рассуждал Иодль, — нет ничего удивительного, что Гитлер и Геббельс, имея все это на своей совести, настаивали на продолжении военных действий. Сейчас я вижу все очень ясно. Они знали, что так или иначе их повесят, и решили уже тогда совершить самоубийство, если война будет

проиграна. При таких условиях легко настаивать на продолжении военных действий до полного разгрома.

В отношении Гитлера и Геббельса тут многое, пожалуй, верно. Ну а что же сам Иодль?

7 ноября 1943 года, когда Красная Армия, развивая наступление, вышвырнула нацистскую армию из Киева, в Мюнхене состоялось совещание гаулейтеров. Начальник штаба оперативного руководства ОКВ генерал-полковник Иодль выступил с речью. Перед ним сидели крупнейшие руководители нацистской партии на местах. Их собрали для того, чтобы, с одной стороны, проинформировать о военной обстановке, а с другой — проинструктировать, как бороться с теми «вредными элементами», которые ведут «подрывную работу» в тылу. Не любопытно ли, что в качестве инструктора избрали не Геринга, не Геббельса, не Кальтенбруннера, а именно Иодля.

Что же сказал он гаулейтерам? А вот что:

— В конце концов, господа гаулейтеры, ведь это в ваших районах, среди жителей этих районов сосредоточиваются и пытаются внедряться в наш народ пораженческие идеи, вражеская пропаганда, ложные слухи. По всей стране шествует злой дух подстрекательства. Все трусы пытаются найти выход, или, как они называют, политическое решение. Они говорят: «Мы должны вести переговоры, пока у нас что-то еще осталось». И все эти лозунги используются для того, чтобы осудить естественное стремление народа считать эту войну борьбой до конца. Капитуляция обозначает конец нации, конец Германии.

Стенограмма этой речи сослужила Иодлю дурную службу в Нюрнберге. Она еще и еще раз раскрыла его лживый, фарисейский характер, еще и еще раз изобличила Иодля как матерого военного преступника.

История подводит итог

Наконец суд завершил исследование доказательств по делу Кейтеля и Иодля. Теперь каждый из них, освободившись от необходимости готовить и осуществлять свою защиту, может сам подвести итоги, предаться воспоминаниям.

Любопытно, что почти все подсудимые стали вспоминать, а точнее, напоминать в Нюрнберге, сколь много они сделали для установления взаимопонимания с Западом. Геринг неоднократно высказывал сожаление, что ему не удалось договориться с Америкой. Он верит «западным демократиям», и потому сам сдался в плен американцам. Гесс еще в 1941 году показал свою приверженность Западу, полетев в Лондон. Риббентроп много распространялся о том, что самой заветной мечтой своей считал установление англо-германской дружбы, и, видя в Англии свою вторую родину, он адресует последнее письмо Уинстону Черчиллю. А Кальтенбруннер? Тот прямо сообщил на процессе о своих связях с американской разведкой.

Иодль решил, что и он должен напомнить Западу о собственных заслугах. Вот что рассказывал начальник гитлеровского штаба в Нюрнбергской тюрьме доктору Джильберту.

7 мая 1945 года в Реймсе он подписал акт о капитуляции с западными державами. Во время подписания этого акта Иодль предложил отозвать германские войска с Восточного фронта на Запад, с тем чтобы они сдались «не русским, а союзникам», и просил для организации этого маневра оставить четыре дня между подписанием перемирия и вступлением его в силу, «тогда войска отойдут организованно в английскую и американскую зоны».

По словам Иодля, ему дали на такую «операцию» сорок восемь часов. За это время полковник немецкого генерального штаба проехал на американском танке по передовой линии Восточного фронта и отдал частям приказ на отступление.

— Таким образом, — заключил Иодль, — я спас семьсот тысяч человек от захвата в плен русскими. Если бы у нас было четыре дня, я мог бы спасти больше.

Между прочим, мне самому пришлось столкнуться с этой тактикой Иодля и убедиться в «лояльности» наших американских союзников. Это было 8 мая 1945 года. Командир 9-й пластунской казачьей дивизии генерал Метальников срочно вызвал меня и еще двух офицеров к себе на КП. Он сообщил, что немецкое командование в Реймсе подписало акт о капитуляции и что

сегодня в 23.00 заканчиваются военные действия. Завтра утром, 9 мая, должны капитулировать войска, противостоящие нашей дивизии. Генерал назначил меня уполномоченным для приема капитуляции в районе 36-го стрелкового полка.

В тот же вечер я выехал на место. Мы договорились обо всем с командиром полка полковником Орловым и к утру закончили последние приготовления. Но в назначенное время представители войск противника не явились. И тут выяснилось, что в течение ночи немецкие части скрытно отошли на запад. Видимо, здесь тоже побывал посланец Иодля на американском танке.

* * *

Пришел черед для последних слов подсудимых.

Вильгельм Кейтель сразу обращает внимание суда на то, что он признал свою ответственность в границах своего «служебного положения». Относительно собственной причастности к преступлениям германского фашизма бывший фельдмаршал сказал:

— Я далек от того, чтобы умалять долю моего участия в случившемся.

Однако тут же Кейтель делает беспомощные попытки хоть как-нибудь смягчить свою вину.

«Человеческая жизнь в оккупированных областях ничего не стоит...» Признавая, что он так говорил и в таком духе инструктировал подчиненных, Кейтель называет эти слова «ужасными», но утверждает, что они являются лишь синтезом приказов Гитлера.

Но как бы то ни было, бывший начальник штаба ОКВ оказался одним из немногих подсудимых, признавших себя виновными. В последнем слове перед лицом трибунала он довольно четко сформулировал эту свою позицию, итог всех размышлений в Нюрнберге.

В свое время на вопрос защитника, отказался ли бы он от участия в дележе лавров в случае победы, бывший фельдмаршал ответил:

— Нет, я был бы, безусловно, горд этим.

Тогда последовал другой вопрос доктора Нельте:

— Как бы вы поступили, если бы еще раз попали в аналогичное положение?

— В таком случае, — заявил подсудимый, — я лучше избрал бы смерть, чем дал бы втянуть себя в сети таких преступных методов.

Тем не менее и в последнем слове Кейтель все время упирал на то, что был лишь послушным исполнителем приказов.

— Трагедия состоит в том, — сказал он, — что то лучшее, что я мог дать как солдат, — повиновение и верность — было использовано для целей, которые нельзя было распознать, и в том, что я не видел границы, которая существует для выполнения солдатского долга. В этом моя судьба.

Чтобы оценить степень лицемерия этого кажущегося искренним заявления, я мысленно представил себе, что случилось бы, если бы предположение, заключенное в первом вопросе адвоката, стало реальностью. Нетрудно было предугадать поведение Кейтеля — пожинателя победных лавров — его верноподданническую покорность Гитлеру, легкость, с какой он подписывал бы снова любые приказы, декретировал любые бесчинства и зверства. Совесть? Какая там совесть! Фюрер утверждал, что совесть — это химера, и от нее Кейтель давно избавился.

Нет, не трагедию видел бы Кейтель в «повиновении и верности» Гитлеру, как твердит теперь, а огромную свою заслугу, за которую он мог бы ждать от фюрера новых и новых милостей.

Но приключилась беда — осталась без дела команда подрывников, подготовленная для взрыва московского Кремля. Германия разбита. Вермахт разгромлен. Гитлер мертв. Кейтель на скамье подсудимых. Надо отвечать за содеянное. Кейтель оказался бессильным перед фронтальным наступлением неопровержимых доказательств. И он сдался, капитулировал так же, как капитулировал вермахт. При том, в отличие от Иодля, Кейтель отказался от фальшивой позы.

А Иодль?

Даже в своем последнем слове он прибег к отвратительным приемам лжи. Говорил так, будто не было второй мировой войны, не было Нюрнбергского процесса, не было тысяч и тысяч документальных доказательств, не было Освенцима и Дахау, Орадура и Лидице:

— Господин председатель, господа судьи! Моя непоколебимая вера заключается в том, что история более позднего времени выскажет объективное и справедливое суждение о высших военных руководителях и об их соратниках. Ибо они и вместе с ними вся германская армия стояли перед неразрешимой задачей, а именно: вести войну, к которой они не стремились, которой они не хотели, находясь под руководством верховного главнокомандующего, доверием которого они не пользовались и которому они сами не вполне доверяли...

Трудно определить, чего было больше в последнем слове

Иодля: ложной патетики или лицемерия. Иодль вдруг, видите ли, осознал, что война «решала, будет существовать или погибнет любимое отечество». Но «любимое отечество» могло существовать и без войны. Война нужна была для того, чтобы погибли другие отечества.

Иодль пытался уверить трибунал в том, что он и другие генералы «служили не аду и не преступнику, а своему народу, своему отечеству».

Снова ложь. Он сам называл Гитлера шарлатаном и преступником и все же служил ему. Нельзя одновременно служить и преступнику и народу!

«Для чего я родился?»

Читатель знает, что между судьями Нюрнбергского трибунала возникли разногласия по поводу кары некоторым подсудимым. Но эти разногласия никак не касались Кейтеля и Иодля. Чудовищны были их преступления, беспощадным оказался и приговор. Приказы сверху не могли рассматриваться как смягчающие вину обстоятельства для тех, кто сознательно, безжалостно, без всякой военной необходимости пролил реки человеческой крови.

И вот приговор оглашен: смерть через повешение. Кейтеля уводят. Уводят и Иодля, также осужденного к смерти.

Но когда ушли в небытие главные герои позорной и преступной драмы, казенный боннский историк Герлиц, уже известный читателю, решил подложить мину под Нюрнбергский процесс. По крайней мере, в той его части, которая была посвящена Кейтелю и Иодлю.

«Судьи в Нюрнберге, — пишет Герлиц, — пытались отыскать истину. Что касается обоих солдат, которых они предали проклятию, остается открытым вопрос, можно ли вообще масштабами земного суда измерить то, как они выполняли свой долг, или об этом, как о человеческом заблуждении, вынесет свой непостижимый приговор высший судия на небесах».

Вся книга Герлица — это крик души убежденного милитариста, это стремление спасти репутацию гитлеровского вермахта. Герлиц подробно говорит о «солдатском повиновении», которое Кейтель считал главной причиной своей «трагедии». И издатели книги вынесли эту проблему даже на суперобложку: «Судьба немецкого фельдмаршала служит примером для понимания смысла и границ солдатской верности своему долгу в тот век, который и сегодня пытается защищать дисциплину, порядок и право».

Так сегодня в Бонне пытаются сделать кейтелевское повиновение образцом для бундесвера, а его «непоколебимую верность» Гитлеру примером для офицеров, служащих ныне под началом вчерашних гитлеровцев.

Как хорошо, что Нюрнбергский процесс раскрыл перед всем миром истоки и истинный смысл этой верности, показал, что кейтелевское «повиновение» — это горы трупов невинных людей, пепел разрушенных городов, муки и смерть миллионов людей.

Книга Герлица вышла в 1963 году, то есть почти через двадцать лет после Нюрнберга. Но в 1946 году, когда происходил процесс, ни один, даже самый завзятый милитарист на Западе не

осмеливался подвергать сомнению справедливость приговора Кейтелю и Иодлю.

В камере Кейтеля была обнаружена записка, недатированная и, видимо, предназначенная для использования в последнем слове. Кейтель искал хоть какое-нибудь объяснение своему «послушанию». В записке говорилось: «Традиция и особенно склонность немцев сделали нас милитаристской нацией». О каких традициях говорит Кейтель, о каких склонностях? Какие традиции заставили Кейтеля выполнять жесточайшие приказы?

Генерал Пауль Винтер как-то напомнил Кейтелю старую цитату Мартвица: «Выберите неповиновение, если повиновение не приносит чести».

Этого Кейтель сделать не мог. Это бы значило отказаться от самого себя.

Что такое национал-социализм с его расовой теорией? Это программа агрессии, программа массовых убийств, уничтожения целых народов. В той же самой записке, обнаруженной в камере (о ней сообщается и в книге Герлица), Кейтель констатировал: «Мы, солдаты, признали также, что национал-социалистские идеи необыкновенно способствовали солдатскому воспитанию».

Можно сказать, круг замкнулся! В один из наиболее тяжких для Кейтеля дней процесса, когда оглашались показания Редера, бывший начальник штаба ОКВ вечером в своей камере писал защитнику доктору Нельте:

«Вы должны знать, что я пойму, если после всего того, что вы услышали обо мне, вы сложите с себя защиту такого запятнанного человека. Мне стыдно перед вами».

Так Кейтель еще двадцать лет назад безоговорочно ответил на вопрос, который в 1963 году вновь поставил в заглавии своей книги Герлиц: «Фельдмаршал Кейтель — преступник или офицер?» Конечно преступник, как бы ни стремились сегодня в Бонне обелить «старого немецкого фельдмаршала, погибшего от руки палача».

1 октября 1946 года доктор Джильберт в последний раз зашел в камеру Кейтеля. Осужденный стоял спиной к двери. Затем он зашагал по камере и остановился в дальнем углу. Глаза его были полны ужаса.

— Смерть через повешение... — проговорил он охрипшим голосом. — Я думал, что меня пощадят.

Ему предложили свидание с женой. Он отказался:

— Я не могу предстать перед ней.

А перед кем мог предстать бывший фельдмаршал Кейтель? Перед своими сыновьями, погибшими на войне, которую с таким рвением готовил их отец? Перед немецким народом, миллионы

сынов которого сложили свою голову для того, чтобы полковник Кейтель стал фельдмаршалом Кейтелем? Перед народами Европы? Но разве не Кейтель дал команду: «Германия, огонь!» И как радовался он, когда перед победоносным вермахтом падали сраженные блицкригом Польша, Норвегия, Греция, Бельгия, Голландия, Франция. Как ликовал, когда лилась кровь сотен тысяч советских людей. Как мечтал, что златоглавый Кремль станет его очередным КП, с которого можно будет подать команду «Огонь!» по Индии, по Ираку, по всему миру.

Записи Джильберта рассказывают и о том, каким образом воспринял приговор Иодль.

В своем последнем слове Иодль всячески куражился, во многом копируя Геринга со всем его арсеналом лицемерия и напускного геройства. Он, в частности, заявил:

— Я покину этот судебный зал с так же высоко поднятой головой, с какой я вошел в него несколько месяцев назад.

Но вот Джильберт в камере Иодля через несколько минут после оглашения приговора. Куда девалась актерская игра, куда девались ирония, наглая, самоуверенная и сардоническая улыбка блестящего генштабиста?

— Смерть через повешение! — вторит он Кейтелю. — Этого я не ожидал... Смертный приговор... Хорошо, кто-нибудь должен нести ответственность, но это... — губы его задрожали, голос прерывался. — Я не могу этого понять!

Однако и в этот драматический момент у Иодля все же хватило сил на еще одну лицемерную сцену. Человек, который требовал «четвертовать и медленно поджаривать на кострах» партизан, который хладнокровно за чашкой кофе читал донесения об уничтожении варшавского гетто, об убийстве тысяч детей, этот человек проявил вдруг сентиментальность.

На столике в камере он поставил фотографию. На ней изображены его мать и он сам годовалым ребенком.

— Для чего я родился? — спрашивает Иодль у зашедшего к нему немецкого парикмахера Виткампа, задумчиво рассматривая фотографию. — Почему я тогда же не умер? Сколь многого я мог бы избежать... Для чего я жил?

Когда мне рассказали об этой глубокомысленной тираде, рассчитанной, очевидно, на потомков, меня охватило желание отвезти Иодля в Освенцим и показать ему там груду детских ботиночек, платьиц, распашонок и даже кукол, с которыми несчастные малыши играли до последней минуты...

А Кейтель? Тот просил тюремного врача Пфлюкера передать органисту (в тюрьме был орган) его просьбу не играть больше песенку «Спи, дитя, спи, усни», потому что она вызывает

беспокойные воспоминания.

Воспоминания Кейтеля!.. Да, этому человеку было что вспомнить. Слово «пруссак» давно уже стало в военной истории синонимом грубой силы, звериной жестокости. Великие писатели Франции запечатлели гнусные «подвиги» пруссаков во времена франко-прусской войны. Пруссаки снова обнажили свой хищный оскал в дни героического боксерского восстания китайского народа. А сколько памятников зверства оставили пруссаки после первой мировой войны?

Зачем я привожу здесь эти общеизвестные истины? Затем лишь, чтобы с глубоким убеждением сказать: ни в ком из подсудимых не аккумулировались так отвратительные черты пруссачества, как в Кейтеле и Иодле.

Трудно угадать, какие картины приходили на память Кейтелю, когда в Нюрнбергской тюрьме органист играл «Спи, дитя, спи, усни». Может быть, в эти минуты он вспоминал погибших своих сыновей. А возможно, перед его мысленным взором возникала одна из многочисленных фотографий, демонстрировавшихся на суде: вооруженные немецкие солдаты ведут на расстрел большую колонну людей, и впереди этого скорбного шествия — мальчишка лет пяти, с глазами, полными ужаса, и поднятыми вверх руками. Очевидно, совсем недавно он каждый вечер засыпал под убаюкивающие звуки колыбельной песенки «Спи, дитя, спи, усни». А вот теперь его и тех, кто напевал ему эту песенку, вооруженные дяди злыми окриками подгоняют в могилу.

Мало ли что мог вспомнить Кейтель. Вся его «служивая жизнь», вплоть до последних дней войны, была преисполнена жестокости.

Последние дни войны... Уже и Гитлера нет в живых. Но Кейтель продолжает гнать в мясорубку новые и новые тысячи немцев, совсем еще детей. Вот он мчится на машине по сокращенной до предела линии фронта. Навстречу попадается отступающая часть. Кейтель отлично знает, что война проиграна, Берлин взят советскими войсками, любое сопротивление не только бесполезно, не только бессмысленно, но и преступно. Каждая человеческая жизнь, загубленная в эти часы перед полной катастрофой третьего рейха, новое преступление германского командования. Но Кейтель останавливается посреди дороги, набрасывается на офицеров отступающих подразделений, грозит им всевозможными карами, если солдаты вновь не будут брошены в огонь. Кейтель сталкивается лицом к лицу с мальчишками, которых только несколько дней назад забрали от матерей. Оби застыли на дороге и со страхом наблюдают за тем,

как этот «старый господин в монокле» распекает тех, кому они обязаны беспрекословно подчиняться. Ах как бы юнцам хотелось, чтобы фельдмаршал, посмотрев внимательно в их сторону, вдруг крикнул:

— А вы здесь что делаете, мальчишки? Вон по домам!

Но нет, фельдмаршал Кейтель погнал и этих немецких детей в огонь, на смерть.

Я не думаю, чтобы тюремный органист мог вызвать у Кейтеля жалость к загубленным и искалеченным им жизням десятков и сотен тысяч детей. Звуки и слова песенки «Спи, дитя, спи, усни», скорее всего, порождали у него не сожаление, а новые приступы животного страха. И он не выдерживает, просит органиста прекратить игру.

А в это время в соседней камере Иодль упорно всматривается в фотографию. Новый, на этот раз последний приступ лицемерия.

16 октября 1946 года по приговору Суда Человечества Вильгельм Кейтель и Альфред Иодль были повешены.

То был приговор не только Кейтелю и Иодлю. Это — исторический приговор пруссачеству, германскому милитаризму.

V. Зловещая карьера венского адвоката

Недоумения исчезают

Когда я впервые вошел в зал, где происходил Нюрнбергский процесс, и оглядел скамью подсудимых, у меня как-то сразу возник вопрос: неужели же этими двумя десятками людей ограничивается круг главных военных преступников гитлеровской Германии? На скамье подсудимых сидел Юлиус Штрейхер, но отсутствовал Шверин фон Крозиг. Несмотря на всю омерзительность Штрейхера и его дел, я, вероятно, не мог бы согласиться с тем, что в нацистской иерархии он занимал такое же важное место, как министр финансов. Я видел на скамье Фриче, но не видел гитлеровских фельдмаршалов Кессельринга и Рундштедта. И хотя Фриче, один из организаторов нацистской человеконенавистнической пропаганды, бесспорно, заслуживал суда и наказания, тем не менее на первом судебном процессе главных немецких военных преступников я предпочел бы видеть этих фельдмаршалов. Ведь без них Гитлер не мог бы ни прийти к власти, ни подготовить вермахт к войне, ни взорвать границы многих соседних государств и повергнуть в прах цветущие города Европы.

Помнится, я обратился с возникшим у меня вопросом к А. Н. Трайнину. Все-таки он участвовал от имени Советского правительства в выработке соглашения о суде над главными военными преступниками. И я получил разъяснение, которое называется у нас, юристов, аутентичным. Союзные власти решили, что на первом судебном процессе главных немецких военных преступников скамья подсудимых должна представлять все звенья механизма нацистского государства. Сюда надо было посадить и самых главных лидеров гитлеровской Германии (Геринг, Гесс), и главных руководителей нацистской дипломатии (Риббентроп, Нейрат), и высшее командование агрессивного вермахта (Кейтель, Иодль, Дениц, Редер), и верхушку нацистских идеологов (Розенберг, Штрейхер), и тех, кто возглавлял экономическую подготовку агрессивной войны (Шахт, Функ, Шпеер), и тех, кому принадлежит незавидная репутация основоположников зверского режима на оккупированных территориях (Франк, Зейсс-Инкварт).

Но позвольте, мог спросить человек, вошедший в зал суда в первые дни процесса, а где же представители карательных органов «третьей империи»? Где те, кто верховодили такими зловещими учреждениями, как СС, СД, гестапо? Где они?

Гиммлера нет. К сожалению, английские офицеры, к которым советские солдаты доставили подозрительного человека,

оказавшегося Генрихом Гиммлером, видимо сами того не желая, дали ему возможность отравиться.

В опубликованном списке преданных суду Международного трибунала значился Эрнст Кальтенбруннер, правая рука Гиммлера. Но его тоже нет.

Со смертью Гиммлера Кальтенбруннер, естественно, выдвигался на первое место, если говорить о представительстве карательных органов «третьей империи» на нюрнбергской скамье подсудимых. Ведь именно он после Гейдриха стал начальником главного управления имперской безопасности, ему непосредственно подчинялись и гестапо, и СД, и полиция безопасности, и уголовная полиция.

Ни для кого не являлось секретом, что Кальтенбруннер арестован. Тогда почему же не ведут его в зал суда? Неужели и он последовал примеру своего шефа? Неужели опять оплошность какого-нибудь офицера охраны?

Нет, дело совсем не в этом. Все оказалось гораздо проще: бывшего главаря гестапо хватил легкий мозговой удар, и пришлось временно заменить ему скамью подсудимых койкой в тюремной больнице и тележкой паралитика. Жестокий и надменный у власти, он оказался жалким трусом в поражении, неспособным выдерживать даже трудности тюремной жизни. Едва порог камеры переступал наблюдавший его врач Келли, как Кальтенбруннер бросался к нему со слезами, сотрясаемый рыданиями, обуреваемый страхом.

Странно было видеть этого верзилу шести футов росту, костистого, с тяжелой, будто приставной квадратной челюстью, ищущим утешения и сострадания у тюремного врача. Ведь сам он немногим более полугода назад не замечал слез, которые лились из миллионов глаз, не слышал стонов и рыданий, надрывавших миллионы человеческих сердец!

Да, совсем недавно Эрнст Кальтенбруннер был могущественным сатрапом, по слову и жесту которого лишались жизни огромные массы людей. Незадолго до самоубийства, 30 апреля 1945 года, Гитлер облек его новыми полномочиями — назначил главнокомандующим войсками Альпийского укрепленного района с центром в Альтаусзее. Этот укрепленный район так и не был создан. Фюрер, намеревавшийся отсидеться там в ожидании более благоприятной ситуации, предпочел в конце концов самолично умертвить себя. Но Кальтенбруннер не последовал за фюрером. Напротив, он твердо решил сделать все возможное и даже невозможное, чтобы как можно дольше продержаться в этом изменчивом мире.

Первым делом в сельской гостинице «Ам зее» был устроен

госпиталь для раненых эсэсовцев. Задача состояла в том, чтобы «затеряться» среди них, пока подоспеют войска союзников. Успех замысла должны были обеспечить личный врач обергруппенфюрера, пролезший в медперсонал госпиталя, и последующая пластическая операция. В предвидении великих перемен обергруппенфюрер обзавелся новым именем и тщательно забинтовался, скрывая свою внешность.

Однако вскоре выяснилось, что оставаться в госпитале небезопасно, и, подгоняемый паническим страхом, Кальтенбруннер ночью бежал в горы. К полудню, окончательно выбившись из сил, он набрел на лесную избушку, которая и оказалась для него последним по собственной воле выбранным пристанищем. Здесь беглец был схвачен солдатами американского дозора. Предполагают, что встречей с ними Кальтенбруннер обязан в первую голову одному из своих приближенных, заплечных дел мастеру капитану Скорценни, который такой ценой спас собственную шкуру.

Так на высокогорных тропах Альп, в заснеженной лесной избушке начальник гестапо сделал завершающий шаг, приведший его уже прямиком в Нюрнберг, все дороги и тропы которого были помечены для него одним путевым знаком — к виселице.

Инквизитор обещает «сказать всю правду»

10 декабря Эрнст Кальтенбруннер занял наконец свое место на скамье подсудимых, слева от Кейтеля.

Я уже рассказывал, какой прием оказали ему недавние единомышленники и соратники, как они вдруг решили поразить суд своим откровенным презрением к обер-палачу, демонстративно повернувшись к нему спинами.

Разумеется, Кальтенбруннер не был настолько глуп, чтобы не понять зловещего смысла этого приема. Подавленность его перешла в полную депрессию. В последующие дни Кальтенбруннер, однако, оправился от первого испуга и перешел к тактике, которой держался уже до конца процесса.

Для начала этот матерый волк решил выступить с общей декларацией. Пусть не думают судьи, что он не понимает сложности своего положения.

— Во-первых, — сказал Кальтенбруннер, — я хотел бы заявить суду, что полностью осознаю всю тяжесть предъявленного мне обвинения. Я знаю, что на меня обрушилась ненависть всего мира. Так как Гиммлера, Гейдриха, Поля и других нет в живых, я должен здесь, перед лицом всего мира и суда, давать ответ за все их деяния. Я полностью сознаю, что обязан здесь сказать всю правду, чтобы весь мир и суд были в состоянии правильно и до конца понять события, имевшие место в Германской империи, правильно оценить их и вынести затем справедливый приговор...

Такое заявление произвело впечатление. После того как суд уже выслушал показания Геринга, Риббентропа, Кейтеля, всячески пытавшихся извратить историческую правду, отрицавших совершенно очевидные факты, прибегавших для этого к самым недостойным приемам, позиция Кальтенбруннера обещала внести нечто новое в ход процесса. Обещала, но не внесла...

Прошли долгие, напряженные месяцы Нюрнбергского процесса. Допрошены все подсудимые и свидетели, предъявлены бесчисленные документы. Затем, как и в любом суде, подсудимые получили право на последнее слово. Вот и Кальтенбруннеру подставили микрофон, и тот, кто хотел «сказать всю правду», чтобы мог быть вынесен «справедливый приговор», заявил:

— Обвинители возлагают на меня ответственность за концентрационные лагеря, за уничтожение евреев, за действия эйнзатцгрупп и так далее. Все это не соответствует ни предъявленным доказательствам, ни истине...

Нещадно эксплуатируя терпение судей и обвинителей

Кальтенбруннер стал «разваливать» весь фундамент обвинения:

— Вопреки общераспространенному мнению, я решительно и категорически заявляю, что не знал о деятельности Гиммлера... В вопросе о евреях я также долго заблуждался... Я никогда не попустительствовал их биологическому уничтожению...

Кальтенбруннер просит судей Международного трибунала поверить ему, что, как только он узнал «о злоупотреблениях в гестапо» (о большем и подозревать не мог!), немедленно попытался покинуть свой пост и отправиться на фронт, но его просьбу об этом Гитлер отклонил. Начальник имперского управления безопасности не хочет казаться уж слишком наивным и отрицать самые преступления. Он прибегает к другому приему:

— Сегодня, после разгрома империи, я вижу, что меня обманывали.

Кальтенбруннер вовсе не оспаривает того, что миллионы людей уничтожены нацистами, но сам-то он проклинает эту политику и, находясь здесь, на этом историческом процессе, мечтает лишь о лучшем будущем для людей.

— Я от души приветствую ту идею, — заключает бывший шеф гестапо, — что истребление народов должно быть заклеймено международным соглашением как преступление и должно строжайшим образом наказываться!

Слушая его, можно было подумать, будто кто-то когда-то разрешал уничтожать миллионы людей, будто убийство даже одного человека не является тяжким преступлением по любому, в том числе германскому, уголовному кодексу.

И совсем уж под конец Кальтенбруннер еще раз пролил слезу: его сегодня так жестоко обвиняют здесь лишь потому, «что нужно найти замену отсутствующему Гиммлеру и другим лицам, полной противоположностью которых» он являлся.

Что же оставалось думать, прослушав первые заявления доктора Кальтенбруннера и его последнее слово? Сам Кальтенбруннер хотел, чтобы судьи поверили в его душевную чистоту, в благородство его побуждений, одним словом, в его алиби. Здесь много говорилось о преступлениях СС и гестапо. Но как можно допустить, чтобы человек, выросший в доме адвоката и сам посвятивший себя этой гуманной профессии, мог иметь что-либо общее с такими отвратительными преступлениями. Гуго Кальтенбруннер, отец Эрнста Кальтенбруннера, один из уважаемых венских адвокатов, положил (и не без успеха!) много сил на воспитание своего сына в духе уважения к законам и правам гражданина.

Таков был портрет начальника главного управления имперской безопасности, нарисованный им самим. Но подлинный

портрет шефа гестапо выглядел совсем иначе. Он оказался начисто лишенным тех привлекательных черт, о которых так распространялся в Нюрнберге венский адвокат и берлинский палач. У судей Международного трибунала на основании многочисленных доказательств сложилось свое мнение о докторе Кальтенбруннере. И так уж не повезло этому «доктору права»: их мнение решительно расходилось с собственным его мнением о себе. Настолько расходилось, что Международный трибунал счел за лучшее освободить человечество от «палача с юридическим дипломом», как однажды охарактеризовал Кальтенбруннера Шахт.

Я уже писал о том, что Кальтенбруннер был, пожалуй, самым «трудным» подсудимым в Нюрнберге. И вовсе не потому, что доказать его вину было сложнее, чем, скажем, вину Геринга или Кейтеля. Отнюдь нет. Обвинителям не пришлось затратить слишком много труда, чтобы исчерпывающими, точными и в высшей степени убедительными доказательствами обосновать обвинение доктора Кальтенбруннера. Это было очевидно для всех, в том числе и для самого подсудимого. Что угодно можно сказать об Эрнсте Кальтенбруннере, кроме того, что он банально глуп. Кальтенбруннер понимал, что обвинители позаботились о нем очень хорошо. Как шефу гестапо, ему было даже как-то странно наблюдать за такой скрупулезностью в сборе доказательств. Непривычной показалась и вся обстановка нормального суда, состязательного публичного процесса.

Положение Кальтенбруннера в определенном смысле было сложнее положения таких подсудимых, как Геринг или Риббентроп, Гесс или Шахт. Те обвинялись прежде всего в преступлениях против мира, в агрессии. Перед ними открылись какие-то возможности для полемики (например, по поводу того, являлась ли агрессивная война преступлением в то время, когда она развязывалась). И подсудимые, и их защитники могли напустить здесь такого тумана, в котором, по их мнению, обвинители и судьи совсем могли заплутаться. У тех было немало поводов уцепиться за Мюнхен, за политику западных держав и таким образом попытаться создать конструкцию смешанной ответственности.

А Эрнст Кальтенбруннер? С его именем самым теснейшим образом связаны Освенцим и Майданек, Треблинка и Дахау. Здесь возможности для дискуссий весьма ограничены. Здесь надо сказать либо «да», либо «нет». Третьего, как говорится, не дано. И доктор Кальтенбруннер, который ничего так не хотел, как пережить Нюрнбергский процесс, сделал выбор. Он твердо решил, что признание своей вины лишь ускорит развязку, единственную

и неотвратимую в данных обстоятельствах. Только полное отрицание ее может создать хоть какие-нибудь шансы на спасение.

Став на этот путь, Кальтенбруннер нещадно эксплуатировал свой опыт буржуазного адвоката. Началась борьба. Но нельзя сказать, что в ней диапазон средств защиты был слишком широк.

Международный трибунал не очень интересовался подробностями родословной Кальтенбруннера. Тем не менее подсудимый старался побольше рассказать о своей жизни в Австрии — жизни обыкновенного буржуа, о своем воспитании в семье профессионального «поборника права и законности», о своей адвокатской деятельности в Вене.

А обвинители? Не то чтобы они совсем забыли о венском периоде жизни Кальтенбруннера. Но ими были выбраны из этой жизни лишь те эпизоды, которые наиболее ярко рисовали портрет будущего шефа гестапо и от которых сам Кальтенбруннер охотно отказался бы «в интересах ускорения процесса». Обвинители коротко (тоже, разумеется, в интересах ускорения процесса) напомнили, что еще в 1934 году доктор Кальтенбруннер угодил в тюрьму за активное участие в нацистском заговоре против австрийского правительства Дольфуса, а в 1935 году он, как один из руководителей австрийской СС, был лишен права заниматься юридической практикой.

Звезда венского адвоката стремительно понеслась к зениту лишь после 12 марта 1938 года. Когда Гитлеру удалось срубить голову Австрийской республике, доктор Кальтенбруннер был назначен государственным секретарем по вопросам безопасности в национал-социалистском кабинете Зейсс-Инкварта. Через несколько часов после аннексии Австрии он уже приветствовал на Венском аэродроме Генриха Гиммлера и сердечно заверил последнего, что австрийская «СС ждет его дальнейших приказов».

В благодарность за заслуги на посту руководителя австрийской СС фюрер возвел доктора Эрнста Кальтенбруннера в ранг бригаденфюрера, а затем и группенфюрера.

«Он не любил свое полицейское поприще»

Январь 1943 года стал самой заметной вехой в карьере Кальтенбруннера. Чехословацкие патриоты убили Гейдриха, и Гитлер назначил своего земляка на пост высшего полицейского чиновника третьего рейха, вверив ему главное управление имперской безопасности.

Когда обвинители дошли до этого назначения, подсудимый поспешил «просветить» судей Международного трибунала насчет того, какую действительно роль играл он на новом месте. Дело в том, оказывается, что в составе РСХА (главного управления имперской безопасности) находились и гестапо, и СД, и уголовная полиция, и внешняя разведка. Кальтенбруннер уверяет, будто он согласился принять пост начальника этого зловещего учреждения при одном непременном условии: если лично будет заниматься лишь службой иностранной информации, то есть разведкой (слово шпионаж бывший адвокат не любил). Кальтенбруннер просит господ судей поверить ему, что, вступая в новую должность, он без всяких обиняков заявил Гиммлеру о нежелании брать на себя функций «исполнительной власти» (гестапо, полиции, СД):

— Я не мог, господа судьи, разделять с Гиммлером и Гейдрихом ответственность за то, что они натворили в империи. Мое имя, моя честь и моя семья являлись для меня слишком священными...

Итак, служба информации, и только служба информации — вот скромный удел Эрнста Кальтенбруннера. А пост начальника главного управления имперской безопасности — это всего лишь пустой номинал.

Но Кальтенбруннер не очень-то обольщается в отношении того, что судьи с ходу клюнут на эту его версию. Надо чем-то подкрепить ее. Опыт адвоката подсказывает ему необходимость выставить свидетелей. Один из них, видный чиновник доктор Нейбахер, в своих показаниях «вспоминает», что Кальтенбруннер говорил однажды, будто он трижды отказывался принять под свое начало РСХА, но в конце концов вынужден был сделать это, так как последовал приказ.

— Кальтенбруннер сказал мне, — заявил Нейбахер, — что не любит свое полицейское поприще, ничего не понимает в этом деле, не чувствует к нему никакого призвания и в действительности интересуется лишь вопросами внешней политики.

И хотя лорд Лоуренс заметил при этом: «То, что

Кальтенбруннеру не нравилось его официальное положение, не может играть никакой роли», сам подсудимый и его адвокат продолжали гнуть свою линию. Следующий из свидетелей, вызванных по их просьбе, ближайший сотрудник начальника РСХА Вильям Хеттль доверительно сообщил трибуналу почти то же самое, что и Нейбахер:

— Кальтенбруннер не имел специальной подготовки в полицейских делах и не питал к ним интереса. Главное свое внимание и весь свой интерес он сосредоточил на службе заграничной информации.

Но как бы то ни было, Кальтенбруннер принял пост начальника РСХА. Более того, в первых же своих показаниях суду он признался, что знал, чего «натворили» в империи Гиммлер и Гейдрих.

Кальтенбруннера резонно спросили, как же он, для которого имя, честь и семья были «слишком священными», решился возглавить такое кошмарное учреждение, каким являлось РСХА, и почему не подал в отставку, когда воочию убедился в его злодеяниях? На это последовал ответ, так часто повторявшийся затем с очень незначительными вариациями и Франком, и Розенбергом, и Шахтом. Великий инквизитор, обрядившись в тогу праведника, стал убеждать трибунал:

— Самый важный вопрос, который необходимо было, с моей точки зрения, решить, — это вопрос о том, улучшит ли дело моя отставка... или же я, находясь на этом посту, должен сделать все, чтобы в действительности изменить те условия, которые стали здесь известными... С моей точки зрения, я мог воздействовать на Гитлера, Гиммлера и других лиц и потому совместил со своей совестью обязанности начальника РСХА. Я считал своим долгом лично выступить против несправедливости.

«Можете улыбаться, можете негодовать, — всем своим видом показывал Кальтенбруннер, — но только забота о жертвах гитлеровского произвола понудила меня остаться на посту шефа гестапо».

В зале действительно улыбались. Глядя на Кальтенбруннера и слушая его, многие, наверное, вспомнили великую праведницу Марию Египетскую, которой собственным телом пришлось рассчитываться с гнусным лодочником-перевозчиком: кто же вправе усомниться в том, что она если и впала в великий грех, то для того лишь, чтобы успешнее творить праведные и святые дела в будущем.

Продолжая свою линию на отращивание ангельских крыльев, Кальтенбруннер рассказал суду, как решительно он боролся против гитлеровского приказа «Кугельбефель», предписавшего

расстрел военнопленных:

— Я заявил Гиммлеру, что этот приказ фюрера является новым подтверждением нарушения самых элементарных принципов Женевской конвенции. Я просил Гиммлера сделать соответствующее представление фюреру. Я даже подготовил для Гиммлера проект письма на имя фюрера с ходатайством об отмене этого приказа.

Слушая Кальтенбруннера, нельзя было не поражаться. Создавалось впечатление, что процесс начался именно с его показаний. Кальтенбруннер вел себя так, будто ему еще не пришлось присутствовать при допросах Геринга, Риббентропа, Кейтеля, многих свидетелей. А между тем на его глазах обвинители уже не раз разоблачали неуклюжие попытки этих господ лгать, извращать очевидные факты.

Кальтенбруннер слышал генерала Боденшатца, показания которого своей неприкрытой ложью вызвали дружный смех зала и досаду на лице самого Геринга. Кальтенбруннер лицезрел дурацкие кривляния фельдмаршала Мильха, вознамерившегося вдруг доказать, будто Германия не могла желать войны, так как она, мол, и готова к ней не была. Кальтенбруннер, наконец, не мог не обратить внимания на хохот в зале по поводу наиболее выдающихся шедевров лжи Кейтеля и Риббентропа. Он и сам едва сдерживал себя от того, чтобы не расхохотаться, когда в зале суда зачитывали ответы Ванситарта на опросный лист Риббентропа. В душе Кальтенбруннер, конечно, радовался этим «успехам» своих соседей: он не забыл той жестокой сцены, которую они разыграли 10 декабря, когда шеф гестапо впервые появился на скамье подсудимых.

Да, Кальтенбруннер имел все возможности усвоить тот несложный факт, что если уж и прибегать ко лжи как к методу защиты, то не надо злоупотреблять этим средством. В смысле тактическом положение Кальтенбруннера было более выгодным, чем, скажем, положение того же Геринга или Риббентропа. Допросы их должны были научить кое-чему начальника РСХА.

Кальтенбруннер часто бравировал на суде тем, что, в отличие от других подсудимых, он-то был юристом. Потомственным юристом! Если поверить ему, то основные противоречия между ним и Гиммлером как раз и возникли на той почве, что он, Кальтенбруннер, мыслил и действовал юридически, то есть на почве законов, а узкий полицейский ум Гиммлера ненавидел законность, не терпел даже упоминания о праве. Кальтенбруннер похвалялся тем, что он был первым юристом, занявшим ответственный пост начальника РСХА. Увы, и это не пошло впрок.

Началось всесокрушающее и безжалостное наступление

документов и свидетелей; и длилось оно до тех пор, пока лжец не оказался загнанным в угол. Тем не менее было бы несправедливым сказать, что обвинители заставили его капитулировать. Кальтенбруннер в течение всего процесса продолжал вести безуспешные арьергардные бои, точь-в-точь, как вели их его же эсэсовцы в последние дни «третьей империи» (хотя и бессмысленно, но отстреливавшиеся).

С каждым днем процесса, с каждым новым ударом обвинителей Кальтенбруннер выглядел все более омерзительно, а методы защиты, к которым он прибегал, все чаще и чаще вызывали возмущение в зале суда.

Вот обвинитель от США Гаррис зачитывает показания Германа Пистера. Кто он такой, этот Пистер? Может быть, Кальтенбруннер его не помнит или попросту не знает? Нет, Кальтенбруннер его и знает, и отлично помнит, потому что такой лагерь, как Бухенвальд, затеряться в памяти не может, а Герман Пистер был комендантом этого лагеря. Но ведь Герман Пистер — верный человек, который если и не лизал сапоги начальнику РСХА, то потому лишь, что это считал излишним сам начальник... А Вилли Лиценберг, начальник отдела имперского управления безопасности? Этот уж и вовсе работал бок о бок с Кальтенбруннером и не раз, прямо-таки с ловкостью опытного камердинера, отворял перед ним двери служебных кабинетов.

Кальтенбруннеру хочется верить в то, что эти люди не подведут и будут умнее Боденшатца или Мильха. Но, на беду, они оказались намного умнее, чем подозревал их шеф. Первые же слова их показаний, зачитанных Гаррисем, рассеяли все иллюзии Кальтенбруннера, который, как и все сатрапы, плохо знал душу своих подручных.

Они, как и их шеф, всецело прониклись единственным стремлением — выжить, во что бы то ни стало выжить. И конечно, не считали, что ложные показания в пользу Кальтенбруннера будут самым остроумным способом для собственного спасения.

Кальтенбруннер утверждает, будто никакого отношения не имел к приказам «о превентивном заключении» в концлагеря без суда и следствия. Но Герман Пистер торопится сообщить суду, что эти приказы подписывались именно Кальтенбруннером. А так как они поступали из РСХА прямехонько в его, Пистера, руки, то он даже может напомнить шефу, что для такого рода приказов существовали специальные красные бланки.

Показания коменданта Бухенвальда спешит подтвердить и Вилли Лиценберг. Он просит суд поверить ему, что «все приказы и ордера на превентивное заключение... имели подпись Гейдриха или Кальтенбруннера».

А кто такой Адольф Путгер? Нет, этого Кальтенбруннер не знает и не помнит. Но гораздо хуже то, что Адольф Путгер — надсмотрщик лагеря Маутхаузен — знает Кальтенбруннера. И не только по его письменным приказам о казни заключенных, но и по личным встречам: генерал СС и полиции Кальтенбруннер несколько раз посещал лагерь. Вот каким он запомнился надсмотрщику Путгеру: примерно сорока лет, рост от одного метра семидесяти шести сантиметров до одного метра восьмидесяти сантиметров, на лице несколько глубоких шрамов от рапиры — метки дуэльных потех немецких буршей.

Да, сомнения нет — это портрет Кальтенбруннера. И хозяину, разумеется, не пристало узнавать свое изображение в последнюю очередь.

Значительное количество изобличительных документов обвинители предъявляли бывшему начальнику РСХА еще в период предварительного следствия. Но было немало и таких, которые предъявлялись уже во время суда, неожиданно для Кальтенбруннера, и требовали от него немедленного ответа, без подготовки. Вот это-то и вызывало «праведный» гнев «доктора права».

— Господин обвинитель! — восклицал он. — Зачем это? Оно меня все равно не сломит, а если нужна правда, то я уже поклялся помочь установить ее.

Но это лишь пустые декларации. На деле же Кальтенбруннер продолжал гнуть свою линию хитроватого и все-таки примитивного юриста-провинциала, который твердо усвоил одно: что бы ни говорил обвинитель, отрицать. Отрицать в целом, отрицать по мелочам, симулировать провалы памяти, придираться к неточностям, имеющим пятистепенное значение, изображать оскорбленную добродетель, когда речь идет о преступлениях, от которых стынет кровь в жилах.

Вот американский обвинитель полковник Эймен заговорил о трагедии варшавского гетто. Но помилуйте, какое отношение это имеет к доктору Кальтенбруннеру? Доктор признает, что трагедия была, однако во всем здесь повинен Гиммлер.

Полковник Эймен парирует. Он ссылается на показания Карла Калеске, адъютанта начальника полиции и СС в Варшаве генерала Штрупа. Адъютант показал, что его шеф получал приказы «по операции в гетто» непосредственно от Кальтенбруннера.

Какой это Карл Калеске? Кальтенбруннер знать такого не знает и фамилии такой никогда не слышал. Штруп ему известен, но от знакомства со всеми его адъютантами увольте, пожалуйста.

Полковник Эймен задумывается, неторопливо перебирает

бумаги в своей папке и затем очень медленно, будто сожалея, говорит:

— Если бы здесь был Штруп, то он, по-видимому, мог бы сказать правду относительно всего, что касается варшавского гетто. Не так ли?

При этих словах Кальтенбруннер сразу заерзал на месте, опасливо посмотрел на дверь, откуда вводят свидетелей. Он почувствовал подвох. Ведь совсем недавно приключилась пренеприятная история с Паулюсом, который, как по мановению волшебной палочки, появился в этом же зале через две-три минуты после того, как Руденко назвал его фамилию. Голос подсудимого, совсем еще недавно такой бодрый и решительный, становится вялым, беспомощным. С неуклюжим притворством Кальтенбруннер заявляет, что был бы рад увидеть сейчас Штрупа; из слов господина обвинителя можно предположить, что он находится здесь...

Нет, на сей раз чуда не произошло. Вопрос полковника Эймена был всего лишь хорошо рассчитанным тактическим ходом. Но зато в руках у обвинителя имелись письменные показания генерала Штрупа, и он зачитал их вслух, бросая из-под очков взгляд на подсудимого:

«Оберштурмбанфюрер доктор Хан был в то время начальником полиции безопасности Варшавы. Приказы не передавались Хану мною, они поступали от Кальтенбруннера из Берлина. В июне или в июле того же года я вместе с Ханом посетил управление Кальтенбруннера, и Кальтенбруннер сообщил мне, что хотя мы и должны работать совместно, но все основные приказы для полиции безопасности должны исходить от него...»

Подсудимый хорошо знал, о каких приказах идет речь. Он помнил, что именно по его приказам проводились акции по уничтожению тысяч людей в варшавском гетто.

Но Кальтенбруннер причастен не только к кровавым делам в варшавском гетто. Он ведь следил за уничтожением евреев во всей Польше.

Новый удар Кальтенбруннеру наносит уже советский обвинитель Лев Николаевич Смирнов. Как только он упоминает фамилию Крюгера — главного полицейского начальника оккупированной Польши, — подсудимый торопится сообщить трибуналу, что этот Крюгер подчинялся непосредственно Гиммлеру; начальник РСХА ничего общего с ним не имел, всегда считал его «свиньей и преступником», а потому даже «выступал за устранение Крюгера от занимаемой должности в генерал-губернаторстве».

Но Л. Н. Смирнов все-таки «припас для лжеца один любопытный документ. Это — дневник Франка, где подробнейшим образом описывалось одно из совещаний в Варшаве, обсуждавшее вопрос о судьбе уцелевших еще в Польше евреев. И как на грех, указано, что участниками этого совещания были и Кальтенбруннер и Крюгер. Причем записи не оставляют сомнений в том, что последний обращался к начальнику РСХА как к своему прямому шефу.

Кальтенбруннер пытается уйти от этого документа. Он не хочет признать, что именно его Крюгер просил представить Гиммлеру отчет о мероприятиях против евреев. Как черт от ладана бежит Кальтенбруннер от Крюгера.

Чтобы читатель лучше представил себе поведение подсудимого, пожалуй, стоит еще раз привести здесь выдержку из стенограммы процесса:

«Смирнов. Минуточку. Но почему все-таки Крюгер действовал через вас?

Кальтенбруннер. Как статс-секретарь, по линии полиции безопасности в генерал-губернаторстве он подчинялся непосредственно Гиммлеру.

Смирнов. Я вас прошу ответить коротко — просил ли вас Крюгер представить отчет Гиммлеру или нет? Это все, о чем я вас спрашиваю.

Кальтенбруннер. Насколько я знаю, на этом совещании присутствовало много чиновников администрации, и каждого, кто был близок к фюреру или Гиммлеру, кто-нибудь о чем-нибудь просил.

Смирнов. Я вас прошу ответить на вопрос: «да» или «нет»...

Кальтенбруннер. Этого я не знаю.

Смирнов. Не знаете? Тогда я вам задам другой вопрос...

Председатель (обращаясь к подсудимому). Что вы ответили на последний вопрос? Я вас (обращаясь к обвинителю) попрошу повторить последний вопрос... Задайте ему вопрос и добейтесь, чтобы он на него ответил».

Легко сказать «добейтесь»! Доктор Кальтенбруннер обнаруживал блестящие способности петлять вокруг да около, когда это выгодно ему.

Бывший начальник РСХА, как мог, отбивался от вопросов Смирнова. Он угадывал, что самое страшное еще впереди. Ведь в уничтожении миллионов людей первостепенную роль играли гитлеровские концлагеря, а Кальтенбруннер а обвиняют в том, что он не только знал о разработанной во всех деталях программе массовых убийств, но и являлся одним из главных ее исполнителей. Кальтенбруннеру известно: у обвинителей

имеются показания свидетелей о том, что он посещал лагеря уничтожения и лично наблюдал за тем, как производилось там умерщвление людей. Однако не так-то просто заставить его самого признаться в этом.

— Враки все это, — ничуть не смущаясь заявляет Кальтенбруннер. Пару раз будто бы Гиммлер действительно рекомендовал ему съездить в концлагеря. — Но я никогда не принимал участия в таких инспекционных поездках, — упирается шеф гестапо. — Мне доподлинно было известно, что для меня, как и для других лиц, которых Гиммлер приглашал посетить лагерь, выстраивались «потемкинские деревни».

Если на приведенный монолог «ангела во плоти» Кальтенбруннера, которого палач Гиммлер норовил ввести в заблуждение, зал не ответил гомерическим хохотом, то этому может быть только одно объяснение: когда речь идет о нацистских концлагерях, смеяться невозможно.

11 апреля 1946 года о массовых убийствах в концлагерях с Кальтенбруннером заговорил Джильберт.

— О, — встрепенулся Кальтенбруннер, — я могу доказать, что ничего общего с этим не имею. Ни приказов я не давал, ни чужих приказов по этому поводу не исполнял. Вы даже не представляете себе, доктор, насколько все это было секретно даже от меня.

— Откровенно говоря, — заметил Джильберт, — я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь мог поверить вам в том, что вы, начальник РСХА, не имели ничего общего с концлагерями и ничего не знали о программе массовых убийств.

— Это все результат газетной пропаганды! — негодует Кальтенбруннер. — Вам я могу сказать, что, когда прочитал газетную передовую «Эксперт по газовым камерам захвачен» и американский лейтенант объяснил мне, что это значит, я просто поразился. Как смеют они так говорить обо мне?! Заверяю вас, что с тысяча девятьсот сорок третьего года я отвечал только за деятельность внешней разведки. Англичане даже хотели меня убить именно за эту мою деятельность, а вовсе не потому, что считали меня связанным со зверствами.

Нет, Кальтенбруннер решительно не желал оставлять роль страдальца и праведника, одолеваемого злым роком. Но ничего из этого не получалось. По мере того как суду предъявлялись все новые доказательства, сентиментальные украшения опадали с Кальтенбруннера сами собой, и перед теми, кто имел возможность наблюдать его, предстал мечущийся во все стороны, до смерти перепуганный человечек, жаждущий прежде всего спасти свое телесное «я».

При всем том доктор Кальтенбруннер был отменно вежлив в обращении с судьями и обвинителями, полагая таким образом внушить им, что в его лице они как-никак имеют дело с «коллегой». Заметив, например, что весь английский персонал Международного трибунала, обращаясь к председательствующему, неизменно называет его «милорд», Кальтенбруннер тоже стал придерживаться этого этикета, хотя старому аристократу Джефри Лоуренсу такое обращение к нему отпетого палача было явно не по душе.

Неожиданные превращения доктора Кауфмана

Неприятности каждого подсудимого начинались обычно с того момента, когда к допросу приступал обвинитель. Допрос же защиты был, пожалуй, самой приятной стадией процесса: подытожив его, можно было сказать, что подсудимый ни в чем или почти ни в чем не виновен. Но у Кальтенбруннера неприятности начались уже с допроса адвоката.

Я уже говорил, что основная линия поведения Кальтенбруннера состояла в том, чтобы начисто отрицать не только свою причастность к истязаниям и убийствам в концлагерях, но и даже сколько-нибудь значительную осведомленность в таких делах. А адвокат Кауфман начал допрос своего подзащитного именно с этого: знал ли он о существовании Освенцима, знал ли он, что в этом лагере производилось уничтожение ни в чем не повинных людей, которых поставлял туда Эйхман? Причем Кауфман требовал предельно лаконичных ответов — «да» или «нет», вследствие чего положение Кальтенбруннера, несомненно, осложнялось: он лишался возможности петлять, пользоваться хитроумными маневрами.

Что Эйхман одна из самых мрачных фигур гестапо, один из непосредственных и главных исполнителей программы массового истребления евреев, было хорошо известно в Нюрнберге, и потому любая связь с этим человеком не очень украшала подсудимого. Кальтенбруннер, во всяком случае, не торопится афишировать свои отношения с ним. Он был бы, конечно, рад, если бы удалось убедить судей в том, что ни в период своей деятельности в Австрии, ни потом, в Берлине, ничего общего с «этим Эйхманом» не имел и вообще мало о нем знает. Но как назло, именно адвокат сталкивал их вместе.

— Я спрашиваю вас, — настаивал доктор Кауфман, — когда вы познакомились с Эйхманом?

Постепенно выясняется, что у Кальтенбруннера нет никаких оснований отрекаться от этой одиозной персоны, что они земляки и старые приятели. Отец Эйхмана работал директором электростроительной компании, а отец Кальтенбруннера — ее юрисконсультом. В школе Эйхман учился вместе с братьями Кальтенбруннера.

Любознательность адвоката не знала границ. Следующим вопросом он уже ставит своего подзащитного на грань нокаута:

— Когда вы узнали, что Освенцим является лагерем

уничтожения и каково было ваше отношение к этому?

Едва оправившись от изумления, Кальтенбруннер начинает бормотать что-то невнятное о Гиммлере, Гейдрихе, но адвокат резко обрывает своего подзащитного:

— Давайте прямой ответ на вопрос. Каково было ваше отношение к этому факту, когда вы о нем узнали? Отвечайте ясно и кратко.

Такое поведение адвоката было не очень привычным. Возможно, Кауфман рассчитывал на то, что Кальтенбруннер имеет какую-нибудь выгодную для себя версию ответа. Возможно. Но явно чувствовалось, что подзащитный не в восторге от его вопросов.

Стараясь любой ценой уйти от цепкой хватки защитника, который неожиданно обернулся дотошным прокурором, Кальтенбруннер вновь ударился в словесную эквилибристику. Однако доктор Кауфман опять настиг его:

— Мы все еще не знаем, что вы действительно сделали, когда узнали об Освенциме. Что вы тогда сделали, я вас последний раз спрашиваю?

Ситуация, надо сказать, прямо-таки пикантная. Куда ни шло, терпеть такое от обвинителей... Но надо же дожить, чтобы собственный адвокат хватал за горло!

Я вспоминаю, с каким нескрываемым любопытством наблюдали подсудимые за тем, как потрошит своего подзащитного адвокат Кауфман. Геринг укоризненно качал головой. При этом трудно было понять, что именно он осуждает — то ли глупую позицию Кальтенбруннера, то ли поведение адвоката.

А вот доктор Зейдль вполне определенно возмущался странной позицией защитника. Едва объявили перерыв, как он поспешил к Кауфману и минут десять весьма экспансивно разговаривал с ним.

Честно говоря, меня самого несколько удивила тактика защиты. Во всяком случае, последний вопрос Кауфмана — это не адвокатский вопрос. Боже, сколько злости было в глазах Кальтенбруннера, когда он смотрел на своего адвоката! Лицо его очень ясно выражало одну мысль: «Жаль, что этот доктор Кауфман не попался мне раньше, в гестапо».

Джильберт рассказывал нам, что во время завтрака Кальтенбруннер коротко бросил ему:

— Я видел, как полковник Эймен смеялся, схватившись за бока. Вы можете сказать ему, что я поздравляю его с победой надо мной. Это он нашел мне такого глупого защитника...

О позиции доктора Кауфмана я еще буду говорить дальше.

Здесь же, справедливости ради, ограничусь лишь одним замечанием: Кальтенбруннер сам выбрал своим защитником доктора Кауфмана. Полковник Эймен никакого отношения к этому не имел.

Тени Освенцима и Маутхаузена

Против Кальтенбруннера выступили в едином строю свидетели и документы. Документы — все из архивов, а свидетели — разные. Иные из них — бывшие сослуживцы и друзья Кальтенбруннера — не прочь были помочь ему, но тем не менее тоже топили его, опасаясь за собственную шкуру.

Вот Рудольф Гесс, бывший начальник лагеря в Освенциме. В свое время он пытался скрыться, но был пойман и заключен в тюрьму. С неприкрытым цинизмом профессионального убийцы Гесс рассказывает суду о преимуществах «своего» лагеря в сравнении с таким «отсталым» комбинатом смерти, как Треблинка. В Треблинке, например, чтобы уничтожить две тысячи человек одновременно, нужно было десять газовых камер, а в Освенциме для этого количества достаточно было одной. В Треблинке обреченные знали, что они умрут.

— А у нас, — деловито поясняет Гесс, — жертвы думали, что их подвергнут санитарной обработке.

Несравненно лучше была разработана в Освенциме и сама технология отбора жертв. Заключенных, прибывавших эшелонами, прежде всего направляли к врачу, который тут же на месте принимал решение: пригодных к работе отсылал в лагерь, остальных — на фабрики истребления.

С виду Гесс отнюдь не звероподобен. На его лице нет явных признаков кретинизма. Но когда в тюремную камеру к нему зашел Джильберт, он поспешил предвосхитить его вопрос:

— Вы хотите знать, нормальный ли я человек?

Еще бы, убийца трех миллионов человек имеет право на такое предположение!

— А что вы сами по этому поводу думаете? — поинтересовался Джильберт.

— Я абсолютно нормален. Даже отправляя на тот свет миллионы людей, вел вполне нормальную семейную жизнь.

Джильберт пытается выяснить, думал ли когда-нибудь Гесс, что люди, которых он уничтожал, были в чем-то повинны и потому заслуживали такой судьбы? Его собеседник отрицательно покачал головой:

— Мы, эсэсовцы, никогда не задумывались над такими вопросами. И кроме того, считалось общепринятым и бесспорным, что евреи должны отвечать за все.

Джильберт захотел уточнить, почему же это считалось общепринятым.

— Почему? — удивился Гесс. — Да мы ведь никогда ничего

другого не слышали... Все наше военное и идеологическое воспитание убеждало нас в том, что мы должны защищать Германию от евреев...

Было бы несправедливостью в отношении Кальтенбруннера сказать, что только его одного охватил животный страх при появлении Рудольфа Гесса за свидетельским пультом. Этот свидетель заставил содрогнуться всех, кто сидел на скамье подсудимых. То была каинова печать на лбу каждого из них, паспорт всему нацистскому режиму, живое воплощение человеконенавистнического лозунга Гитлера: «Надо развить обезлюживание».

Можно смело заявить: ни один документ и никто другой из свидетелей не нанес такого удара по скамье подсудимых, какой нанес своими показаниями Рудольф Гесс. Вот уж когда представлялась возможность до конца познать, что такое «потемкинские деревни» по-нацистски.

Слушая Гесса, я невольно подумал, сколько раз перевернулся бы в гробу граф Григорий Потемкин, если бы узнал, с чем ассоциируются его наивные попытки обмануть матушку Екатерину!

Напрасно доктор Кальтенбруннер силился убедить суд, якобы сам он ни сном ни духом не ведал, что творилось в лагерях типа Освенцим. Обвинители не замедлили потребовать от Гесса уточнений: кто же отдавал приказы об арестах и водворении миллионов людей в концлагеря, о их наказании и массовых казнях? Хладнокровный убийца ответил без колебаний:

— Сначала Гейдрих, а затем все приказы о превентивном заключении, о ссылке, наказаниях и особых казнях подписывал Кальтенбруннер либо начальник гестапо в качестве заместителя Кальтенбруннера.

Таким образом, бывший комендант Освенцима полностью подтвердил показания бывшего коменданта Бухенвальда. И легко можно было заметить, как съежился при этом его некогда могущественный суверен Кальтенбруннер. Он усиленно стал растирать виски, пряча свое костлявое лошадиное лицо в потных ладонях.

Я писал эти строки как раз в тот момент, когда в Бонне было объявлено, что с мая 1965 года по ФРГ прекращается «за давностью» всякое судебное преследование нацистских военных преступников. Как юрист, я знаю, что это такое — давность. Уголовные кодексы всех стран мира включают в себя это понятие. Но кому же из юристов не известно, что срок давности предусмотрен для обычных уголовных преступлений таких, как кража, хулиганство, ограбление, нанесение телесных

повреждений, бытовое убийство. Не представляет исключения из этого общего правила и уголовный кодекс ФРГ, на 67 параграф которого сослалось боннское правительство, собираясь амнистировать нацистских военных преступников.

Но ведь ни один юрист в мире не осмелится утверждать, что чудовищные преступления Кальтенбруннера, Гесса и им подобных можно подвести под разряд обычных преступлений и распространить на них общеуголовную давность. Гесса поймали, а могли и не поймать, как не поймали Эйхмана в течение пятнадцати лет, как не пойманы еще до сих пор тысячи других тяжких военных преступников. Гесс признал в Нюрнберге, что под его руководством было уничтожено около трех миллионов человек. Я помню приглушенный стон в зале после такого признания. Это, наверное, столько, сколько уголовные преступники во всех странах мира не убили за многовековую историю человечества!

Перед Международным трибуналом прошли палачи и поменьше калибром. Из них мне запомнился, в частности, эсэсовец Олендорф, начальник эйнзатцгруппы «Д». Этот заявил, что на юге Украины, в районе Николаева, он успел убить только... девяносто тысяч человек.

Кто же из юристов осмелится утверждать, что составители уголовных кодексов, в том числе и германского уголовного кодекса, принятого в 1871 году, могли, хотя бы мысленно, представить себе возможность таких преступлений? Какой из парламентов, вводивших эти кодексы в действие, предполагал, что включенные в них положения о давности могут быть применены в отношении убийц миллионов людей? Не обязательно быть правоведом, чтобы понять, что давность применима только в отношении таких преступлений, которые предусмотрены самим уголовным кодексом.

Если бы обыкновенная мерка уголовных кодексов подходила для оценки действий гессов и олендорфов, юристам не потребовалось бы разрабатывать совершенно новые уголовные законы, в которых речь идет, увы, не о воровстве, не о хулиганстве, не о нанесении телесных повреждений и не о единичных убийствах, называемых бытовыми. Не нужно было бы вводить в уголовно-правовой лексикон слово «геноцид», этот неологизм, родившийся в огне освенцимских топок. Не пришлось бы, чтобы измерить масштабы гитлеровских преступлений, пускать в обращение и еще одно доселе неизвестное в юриспруденции понятие — «преступления против человечества».

Именно потому, что гитлеровские преступления не умещаются в рамки обычного уголовного кодекса, оказалось

необходимым разработать особую юрисдикцию в Уставе Международного трибунала. Каким же нужно обладать феноменальным неуважением к правовым нормам, чтобы теперь ставить все с ног на голову и применять к нацистским преступникам общеуголовную давность!

Но вернемся в нюрнбергский Дворец юстиции. Рудольф Гесс был далеко не единственным из свидетелей, который своими показаниями способствовал разрушению весьма шаткой конструкции защиты Кальтенбруннера. Кроме Освенцима существовали и другие комбинаты смерти. Был и печально знаменитый Маутхаузен. И там подвизался в качестве коменданта некто Цирайс.

В последние дни войны Цирайса убили. Но что такое? Кальтенбруннеру явно послышалась его фамилия. Это уже отдавало мистикой. Однако никакой мистификации обвинитель Эймен не допустил, оглашая в суде показания палача из Маутхаузена. Кальтенбруннер напрасно торопил своего защитника опротестовать эти показания, сообщить суду, что Цирайса нет в живых. Протестовать не пришлось. Эймен сам объявил, что комендант Маутхаузена уже получил свое. Но обвинитель должен огорчить доктора Кальтенбруннера и сообщить суду, что, будучи смертельно раненным, Цирайс успел дать весьма ценные показания. Когда его спросили, чьими указаниями он руководствовался, заталкивая тысячи людей в газовые камеры, последовал ответ:

— Это делалось по приказу главного управления имперской безопасности, по приказам Гиммлера или Гейдриха, а также обергруппенфюрера СС Мюллера или доктора Кальтенбруннера. Последний являлся начальником полиции безопасности.

Так разваливались «кальтенбруннеровские деревни», и вместо них перед взором тех, кто находился в нюрнбергском зале суда, возникали длинные серые бараки лагерей смерти, дымящие трубы лагерных крематориев.

Предсмертная исповедь Цирайса была дополнена еще одним немым свидетелем. Полковник Эймен, памятуя настойчивые просьбы Кальтенбруннера поверить ему, что он никогда не бывал в лагерях смерти, предъявил фотографию. На ней — лагерь Маутхаузен, и там стоят рядом Цирайс, Гиммлер, Кальтенбруннер.

Не успел подсудимый оправиться от этого удара, как в зале суда появляется свидетель Алоис Хельригель. Сколько ни всматривается Кальтенбруннер, он не может его узнать. О чем собираются допрашивать этого человека? Какая новая опасность таится в нем?

После первых же вопросов выясняется, что Хельригель австриец, до войны жил в Граце. Кальтенбруннер не в состоянии вспомнить этого «земляка». И тем не менее они встречались именно в Австрии. А местом встречи был все тот же Маутхаузен.

Этот свидетель, так же как и Путгер, с которым Кальтенбруннера уже успели познакомить обвинители, тоже выполнял в Маутхаузене обязанности надсмотрщика. И показания его лишь дополняют то, что суд уже слышал от Путгера. Алоис Хельригель спокойно повествует:

— Осенью тысяча девятьсот сорок второго года Эрнст Кальтенбруннер посетил Маутхаузен. Я был тогда на посту и видел его дважды. Он вошел в помещение, где находилась газовая камера, вместе с Цирайсом, комендантом лагеря, как раз в тот момент, когда отравляли газом заключенных.

Казалось бы, довольно. И судьям, и всем присутствовавшим ясно, сколь низкопробно лжет доктор Кальтенбруннер. Все имели возможность убедиться, что «потемкинские деревни» строились не для него, а он сам пытался строить их для судей Международного трибунала. Но обвинители, как видно, задались целью вывернуть лжеца наизнанку. Тут же после показаний Хельригеля оглашаются показания истопника маутхаузенской кремационной печи Иоганна Кендута. Этот истопник отлично помнит, как в один из своих наездов в Маутхаузен «Кальтенбруннер со смехом вошел в газовую камеру. Затем привезли людей из барака, и были продемонстрированы все три вида казни — отравление газом, повешение и расстрел в затылок». Под конец Иоганн Кендут добавляет: «После этого мы должны были оттащить трупы».

Кальтенбруннер вскочил с места. Он начисто отвергает эти показания. Он напоминает и суду, и обвинителю, что трудно ожидать объективности от человека, который сам был узником концлагеря, сам перенес все лишения лагерной жизни. В любом суде мира показания свидетеля, заинтересованного в исходе дела, не считаются объективными и доказательными.

На какое-то мгновение мне показалось, что полковник Эймен в смятении. Но нет. Он явно предвидел демарш подсудимого и подчеркнуто спокойным тоном, без всякого нажима уточняет позицию Кальтенбруннера в отношении Цирайса. Тот, как известно, был не узником Маутхаузена, а тюремщиком, и, стало быть, подсудимый не может заподозрить его в необъективности.

Кальтенбруннер предчувствует новый подвох, однако отступать уже поздно. Против свидетельств по этому поводу Цирайса он не возражает. И тут вдруг выясняется, что они точь-в-точь совпадают с показаниями Кендута.

«Около пятнадцати заключенных из категории имевших взыскания, — вспоминает Цирайс, — были отобраны унтершарфюрером Винклером для того, чтобы показать доктору Кальтенбруннеру три способа умерщвления: выстрелом в шею, через повешение и умерщвление газом. Среди предназначенных к экзекуции были женщины — им отрезали волосы, затем убивали выстрелом в шею... Носильщики трупов присутствовали при казни и должны были отнести тела в крематорий. После казни доктор Кальтенбруннер отправился в крематорий, а позднее — в каменоломни».

Я видел, как исказилось лицо Кальтенбруннера, как он сник, пораженный почти дословным совпадением показаний узника Маутхаузена и его коменданта. Но тут же, тревожно оглянувшись, он выпрямляется: надо играть роль оскорбленной добродетели, а фигура, согбенная под тяжестью улик, плохо служит этой цели.

Однако полковник Эймен не обращал внимания на примитивные уловки Кальтенбруннера. Да и на скамье подсудимых его глупая тактика вызывала совсем неблагоприятную для него реакцию. Кейтель, взглянув на Кальтенбруннера, что-то шепнул Герингу, а тот лишь махнул рукой, и выражение его лица как бы говорило: «Ну что вы хотите от этой полицейской дубины». Ширах тихо посмеивался, тоже переговариваясь с соседями. Но вдруг рейхслейтер встрепенулся. Ему послышалась собственная фамилия. Это еще что такое?

Оказывается, виной всему было излишнее любопытство обвинителя. Как бы мимоходом он спросил свидетеля Алоиса Хельригеля, не приходилось ли тому встречать в Маутхаузене еще кого-нибудь из подсудимых? И лагерный надсмотрщик спокойно ответствовал, что в числе высокопоставленных визитеров был и гаулейтер Вены фон Ширах.

Эймен. Помните ли вы его внешность настолько, чтобы опознать?

Хельригель. Я полагаю, что в последнее время он, вероятно, изменился, но думаю, что все-таки узнаю его.

Эймен. Когда вы его там видели?

Хельригель. Это было осенью тысяча девятьсот сорок второго года...

Эймен. Взгляните на скамью подсудимых и скажите, можете ли вы узнать там Шираха?

Хельригель. Да.

Эймен. Где он находится?

Хельригель. Он сидит во втором ряду, третий с левой стороны...

Тут уж и Бальдур фон Ширах перестал ухмыляться. Как

ветром сдуло с его лица ироническое выражение. Зато нетрудно было заметить, с каким злорадством посмотрел на него Кальтенбруннер.

А Хельригель между тем продолжал. Он сообщил, что, будучи в Маутхаузене, Ширах наблюдал казнь, жертвы которой именовались «парашютистами». «Парашютистами» потому, что сначала их избивали, топтали ногами, а затем приказывали сбрасываться с обрыва, высота которого достигала сорока метров.

Явно взволнованный столь неожиданным поворотом дела, Ширах в перерыве подозвал своего защитника доктора Заутера. Состоялось небольшое совещание, после чего адвокат «взялся» за Хельригеля. Началось обычное по своим приемам «ниспровержение» свидетеля.

Сначала доктор Заутер решил доказать судьям, что перед ними явный эсэсовец, еще «довоенной формации». А трибунал и без того не обольщался, не принимал Хельригеля за антифашиста.

Убедившись, что таким приемом ничего добиться нельзя, Заутер стал искать «противоречия» в показаниях свидетеля. Выяснив у Шираха некоторые подробности визита в Маутхаузен, адвокат спрашивает Хельригеля:

— Был ли тогда Ширах в Маутхаузене один или еще с кем-нибудь?

Свидетель отвечает:

— Ширах был в сопровождении других лиц. Было их примерно десять человек, и среди них я узнал Шираха и гаулейтера Ниберейтера.

Тут-то Заутер и «поймал» свидетеля, заявив суду, что Шираха сопровождали «не десять, а двадцать человек».

Однако маутхаузенский надсмотрщик не был лишен чувства юмора и заметил по этому поводу:

— Видите ли, я тогда не считал их... не знал, что это мне понадобится.

Надо было слышать, каким взрывом смеха разразился при этом зал! А в перерыве, все еще смеясь над случившимся, судья Биркетт рассказал мне английский анекдот.

В некоем суде слушается дело об убийстве. Судья, обращаясь к свидетелю, спрашивает:

— Свидетель, вы были на месте происшествия?

— Да, ваша честь.

— И видели труп?

— Разумеется, ваша честь.

— Не помните ли, что около трупа лежал пистолет?

— Да, ваша честь, это был кольт.

— Свидетель, я понимаю, что времени с тех пор прошло много, но, может быть, вы все-таки помните, на каком примерно расстоянии от трупа лежал пистолет?

— Один метр семьдесят шесть сантиметров, ваша честь.

— Свидетель, это же было шесть лет назад. Как же это вы могли запомнить все с такой точностью?

— Видите ли, ваша честь, когда я увидел труп, а рядом с ним пистолет, то сразу сообразил, что будет суд и какой-нибудь болван непременно спросит меня об этом. Потому-то я и измерил расстояние от трупа до пистолета...

Мы долго еще смеялись над потешным этим анекдотом и незадачливым адвокатом Шираха.

* * *

Свидетели по делу Кальтенбруннера, как я уже говорил, были разные: и узники, и тюремщики, и высокопоставленные чиновники нацистского аппарата. Я мог бы вспомнить еще многих из них, и каждое новое имя — это новый рассказ о чудовищных злодеяниях великого инквизитора Кальтенбруннера, в сравнении с которым средневековые палачи выглядели жалкими подмастерьями.

Я мог бы еще раз назвать здесь узника Маутхаузена испанского фоторепортера Франсуа Буа, показания которого сопровождались демонстрацией леденящих кровь фотографий, где чаще других посетителей Маутхаузена мелькали две фигуры: рейхсфюрера СС Гиммлера и доктора Кальтенбруннера с золотым партийным значком на груди — личным подарком фюрера «за особые услуги». Мне хорошо запомнились очень точные слова Буа о том, что Кальтенбруннер, еще будучи начальником полиции и СС Австрии, посещал Маутхаузен достаточно часто «для того, чтобы решить, как лучше организовать такие же лагеря во всей Германии и в оккупированных странах».

Я мог бы, наверное, по памяти воспроизвести от начала до конца жуткий рассказ этого же свидетеля о пленных русских офицерах, которым выдали однажды новую одежду, постелили на койки белоснежные простыни, сунули в зубы по папиросе, а затем, запечатлев все это на пленку (должно быть, для Красного Креста!), отвели в газовую камеру. Комедия гуманного обращения с военнопленными в нацистском лагере продолжалась не более нескольких минут!

Я мог бы, наконец, пересказать потрясающие показания судьи СС, сотрудника имперского управления уголовной полиции

Моргена о том, как в Освенциме с ведома и санкции Кальтенбруннера умерщвлялись тысячи людей. И, вспомнив это, добавить, что Морген не из тех, кого подсудимый вправе заподозрить в предвзятости или мстительности.

Но сколько бы новых имен я ни назвал, сколько бы ни привел новых фактов, это никак не изменило бы общую картину поведения Кальтенбруннера на процессе. Несмотря ни на что, он не выходил из роли и с феноменальным упорством, с феноменальной тупостью твердил «нет».

Эта нелепая тактика вызывала у всех наблюдавших ее только два вида реакции: возмущение и смех. Даже бывшие «коллеги» Кальтенбруннера, сидевшие рядом с ним на скамье подсудимых, и те не могли понять этого абсурдного упорства.

Как-то во время перерыва Фриче довольно-таки откровенно выразил свое изумление:

— Он пытается показать себя человеком, который не причинит вреда даже мухе. Я удивлен, что адвокат разрешает ему проводить такую линию.

А Яльмара Шахта вздорная тактика Кальтенбруннера не только шокировала, но и приводила в беспокойство:

— О, эти отрицания всего и ложь! Это действительно заставляет нас чувствовать себя неудобно, потому что бросает тень на нас всех.

Дениц же по-солдафонски прямо объявил однажды Герингу:

— Ему должно быть стыдно за себя.

Разумеется, адмирал имел в виду не столько злодеяния шефа СС и гестапо, сколько убогую, безмозглую его линию ангельского самообеления на процессе.

Оправившийся вскоре после своего фиаско при допросе свидетеля Хельригеля, доктор Заутер осведомился у подзащитного, не желает ли тот задать какие-нибудь вопросы Кальтенбруннеру. Ширах ответил с нескрываемой досадой:

— Не беспокойтесь, господин адвокат. Он не может сам себе помочь, так чем же поможет нам или кому-нибудь другому...

Вот как оценили тактику поведения Кальтенбруннера даже сами подсудимые.

Безумный страх перед смертью совершенно ослепил бывшего начальника РСХА, извлекши на поверхность лишь то, что было подлинной его сутью, — жалкую душу палача, надменного в дни власти, постыдно трусливого при первом жестоком испытании.

Гиммлер против Кальтенбруннера

Я уже привык к тому, что германские генералы, вызванные защитой в трибунал, чаще всего выгораживали, вернее, пытались выгородить Геринга, Кейтеля, Иодля, Редера, Деница. Правда, позже, когда допрос переходил в руки обвинителей, эти «свидетели» под давлением бесспорных доказательств вынуждены были менять ориентацию и, начав за здравие, кончали за упокой. Так было с Мильхом, Боденшатцем и другими.

Но вот к свидетельской трибуне идет человек небольшого роста в партикулярном платье. Он опасливо озирается на скамью подсудимых. Вид у него весьма респектабельный, лицо, я бы сказал, даже приятное. Если бы мне пришлось только по наружности определять его профессию, скорее всего, я склонился бы к мысли, что это — гелертер средней руки, приват-доцент института. Многие на скамье подсудимых с большим, очень большим интересом следили за этим человеком.

— Посмотрите на Кальтенбруннера, — шепнул мне американский капитан Прайсмен, сидевший рядом со мной.

Лошадиная физиономия Кальтенбруннера, казалось, еще больше вытянулась, нижняя челюсть отвисла. Нетрудно было заметить, что он взволнован.

Да, это был очень интересный свидетель — и никакой, конечно, не гелертер, не доцент, а шеф шпионов — начальник шестого управления РСХА. Имя его Шелленберг, возраст — на вид лет тридцать пять. Рассказать ему, разумеется, было о чем. И Кальтенбруннер легко мог догадаться, что коль скоро он вызван не защитой, а обвинением, то одно уже это не сулит ничего хорошего.

И все-таки поначалу у Кальтенбруннера, видимо, теплилась какая-то надежда. Я говорю об этом уверенно потому, что позднее, когда заблуждаться уже было невозможно, он явно обмяк и, стиснув голову руками, устало прикрыл глаза.

Что же, собственно, подогревало на первых порах надежды Кальтенбруннера?

При допросе Шелленберга полковник Эймен сосредоточился на сверхсекретном соглашении ОКВ (генерал-квартирмейстер сухопутных войск Вагнер) с РСХА (Гейдрих). Соглашение это было заключено незадолго до нападения на СССР, и говорилось в нем о закреплении за каждой армией так называемых эйнзатцгрупп, прямой задачей которых являлся террор, массовое уничтожение людей на оккупированных советских территориях. Речь шла о прямом союзе вермахта и СС.

Шелленберг спокойно рассказывал о ходе переговоров, в которых он участвовал лично, о существе соглашения и первоначально, пожалуй, даже не подозревал, какой удар он наносит таким подсудимым, как Кейтель, Иодль, и, в то же время, какой бальзам льет на душу начальника РСХА. Кальтенбруннер явно получал компенсацию за неприятную сцену, разыгравшуюся на скамье подсудимых 10 декабря, когда тот же Кейтель демонстративно повернулся к нему спиной. Шелленберг своими показаниями девальвировал ценность этой ханжеской сцены, смысл которой состоял в том, чтобы продемонстрировать непричастность немецких генералов и вермахта в целом к зверствам СС и гестапо.

Допрашивая Шелленберга, полковник Эймен не пошел дальше вопроса о соглашении между ОКВ и СС. Я очень сожалел, что он так ограничил свою задачу. Но, видимо, у американского следствия на этот счет были определенные соображения.

Рамки допроса несколько неожиданно расширил адвокат Кауфман. Намерения его были достаточно ясны: выудить у Шелленберга подтверждение версии, будто Кальтенбруннер, занимая пост начальника РСХА, фактически был всего-навсего разведчиком.

— Скажите, — обратился Кауфман к свидетелю, — намекал ли вам когда-нибудь мой подзащитный, что по личной договоренности с Гиммлером он освобожден от исполнительной власти, что ему поручена лишь служба информации?

— Нет, — категорически ответил Шелленберг, — я об этом никогда не слышал, и то, что мне фактически стало известно, свидетельствует об обратном.

Адвокат неосторожно стал тянуть свидетеля за язык, потребовал уточнить, что конкретно он имеет в виду. И Шелленберг охотно удовлетворил любопытство доктора Кауфмана. В конце войны в РСХА возник вопрос, как быть с концлагерями, к которым приближались войска союзников: эвакуировать ли их в глубь Германии и продолжать процесс уничтожения узников или не эвакуировать, а сдавать союзникам.

— Мне, — показывает Шелленберг, — с большим трудом удалось добиться разрешения рейхсфюрера СС не эвакуировать концлагеря. Но Кальтенбруннер, поддерживая непосредственный контакт с Гитлером, обошел этот приказ Гиммлера и, таким образом, нарушил слово в международном масштабе.

От Шелленберга потребовали разъяснения, что он имеет в виду, ссылаясь на какое-то «слово в международном масштабе». Суть дела, оказывается, вот в чем: Гиммлер, тогда уже вступивший в контакт с западными державами, пообещал им, что

концлагеря не будут эвакуированы. Это его обещание Шелленберг и рассматривает как «слово в международном масштабе».

Ну а зачем понадобилось свидетелю так чернить своего непосредственного начальника Кальтенбруннера? Ведь даже обвинитель не понуждал его к этому.

Ларчик, с первого взгляда такой таинственный, такой загадочный, открывался довольно просто.

Между Гиммлером и Кальтенбруннером в течение всех лет их «сотрудничества» все более и более развивалось соперничество. В руководстве карательных органов нацистской Германии действовали, в сущности, две враждующие партии — берлинская и австрийская. Если Гиммлер олицетворял берлинскую группу, то Кальтенбруннер, земляк Гитлера, стоял во главе австрийской. Мы уже знаем, что Эрнст Кальтенбруннер начал свою карьеру в среде австрийских национал-социалистов, что 13 марта 1938 года по личному указанию Гитлера он был включен в состав правительства Зейсс-Инкварта, а в конце 1942 года, когда убили Гейдриха, фюрер перевел его из Вены в Берлин и назначил заместителем Гиммлера. Гиммлер не был в восторге от этого назначения, ибо видел в Кальтенбруннере приставленного к нему агента Гитлера. Этот соглядатай стал особенно несносен в последние месяцы войны, когда Гиммлер за спиной Гитлера начал предпринимать некоторые меры по установлению контактов с западными державами. В начале 1945 года рейхсфюрер СС откровенно признался ближайшему своему подручному Шелленбергу, что не может принять одного важного иностранца, поскольку это отдало бы его «на милость Кальтенбруннера». А в марте того же года Гиммлер поручает начальнику шестого отдела встретиться с прибывшим в Германию швейцарским президентом Мюзи и при его посредстве установить связь с американцами.

Кстати, совершенно аналогичные задания выполняли в это же время в Швейцарии и верные люди Кальтенбруннера. Только они действовали через президента Красного Креста — Буркхардта.

И, как ни враждебны были обе клики, надо прямо сказать, что в этих переговорах они с абсолютным единодушием пускали в ход один козырь: жизнь и судьбу заключенных в обмен на уступки западных союзников при капитуляции Германии, включавшие, разумеется, и сохранение жизни эсэсовской элите.

Каждый из главарей этих двух группировок зорко следил за соперником и старался опередить его в сделке с реакционными кругами Запада. И как только одному казалось, что другой близок к цели, делалось все, чтобы подложить под него мину.

Шелленберг порекомендовал Гиммлеру не разрушать заводы

фау при концлагерях на юге Германии и передать их целехонькими наступающим американским войскам. Гиммлер согласился с ним, рассчитывая таким образом упрочить свои позиции в переговорах с американцами. Но стоило только пронюхать об этой затее Кальтенбруннеру, и она пошла прахом. Для начальника РСХА не имело никакого значения, что в результате его соперничества с Гиммлером погибнет еще несколько десятков тысяч людей. Он добился от Гитлера приказа об эвакуации заводов и лагерей внутрь Германии, что на практике сулило заключенным лишь одно — газовые камеры. Кальтенбруннер не мог допустить, чтобы Гиммлер опередил его в переговорах с Западом.

Вопрос же о том, что, ведя такие переговоры, они продают «обожаемого фюрера», мало волновал «высокие» враждующие стороны. Как Гиммлер, так и Кальтенбруннер давно уже решили, что спасение собственных жизней гораздо важнее каких-то обветшалых заклинаний о присяге, о верности и т. п. Впрочем, фюрер сам поучал: совесть — это химера, избавиться от которой чем скорее, тем лучше. А раз так, то нечего стесняться, если заодно с совестью, о которой Гиммлер и Кальтенбруннер знали только понаслышке, приходится избавляться и от Гитлера. В этом рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и обергруппенфюрер Эрнст Кальтенбруннер полностью сходились, проявляя в то же время обоюдную готовность прикончить друг друга. И право же, лишь грандиозным лицемерием были утверждения Кальтенбруннера на суде, будто вражда между ним и Гиммлером проистекала из того, что он, Кальтенбруннер, юрист и потому-де, стоял на позициях законности, а Гиммлер измывался над правосудием.

Для Кальтенбруннера, конечно, не был неожиданностью тот ушат грязи, которым обдал его гиммлеровский холуй Шелленберг. У «великого инквизитора» тоже нашлось, что сказать об этом человеке.

— Шелленберг, — проникновенно объясняет суду Кальтенбруннер, — был ближайшим другом Гиммлера, посредничал между Гиммлером и шведским графом Бернадоттом. Он в последнюю минуту через господина Мюзи установил связи в Швейцарии, с помощью которых небольшое количество заключенных евреев было выпущено из концлагерей. Делалось это для того, чтобы заручиться добрым именем за границей.

Через организацию раввинов Северной Америки Шелленберг добивался опубликования в крупных американских газетах статей о Гиммлере, где тот был бы представлен в лучшем свете. И бывший начальник РСХА уверяет, что со своей стороны он сделал все возможное, чтобы раскрыть Гитлеру глаза на «эти

махинации».

Кальтенбруннер делает вид, что его возмущала сепаратистская тактика Генриха Гиммлера. Но сам-то он тоже рыскал по всей Европе в поисках контактов с американцами. Не кто иной, как Хеттль, показал на суде, что Кальтенбруннер говорил с ним «о своей готовности поехать в... Швейцарию и лично начать переговоры с американским уполномоченным». Правда, Хеттль пытался убедить суд, что начальник РСХА решился на это только для того, «чтобы предотвратить тем самым дальнейшее бессмысленное кровопролитие». Однако мы дальше увидим, как эти слова поразительно не согласуются с последними действиями шефа гестапо.

Хеттль сказал много хорошего в адрес своего поверженного повелителя. И Кальтенбруннер как-то успокоился. Ему явно казалось, что Хеттлю удалось нейтрализовать свидетельства Шелленберга. Стремясь развить этот мнимый успех, подсудимый сам стал убеждать судей в том, что он так много раз и с таким риском для себя пытался ускорить капитуляцию. Он ведь сразу после разгрома Паулюса на Волге твердо уверовал в то, что «война, безусловно, проиграна для Германии».

Скамья подсудимых обычным образом реагировала на это словоблудие. Геринг презрительно посмотрел на Кальтенбруннера и опять махнул рукой. Франк что-то нашептывал Розенбергу, кивая на новоявленного миротворца. А вечером, уже находясь в камере, тот же Франк заявил Джильберту:

— Он говорит, что был убежден в проигрыше войны Германией. Но это не мешало ему преследовать тысячи немцев за пораженческие настроения, бросать их в концлагеря...

Во время допроса Кальтенбруннера сильно, должно быть, икалось небезызвестному американскому резиденту в Европе Аллену Даллесу. Имя его многократно называлось в суде и самим подсудимым, и свидетелями. Ведь именно с ним Кальтенбруннер вел переговоры, добиваясь сепаратного соглашения о прекращении войны на Западе. Излишне напоминать читателю, что наши тогдашние союзники держали это в глубокой тайне от Советского Союза.

В Нюрнберге бывший шеф гестапо всячески рекламировал свои связи с американцами во время войны. Он уверовал в то, что теперь это может благотворно сказаться на его репутации и его судьбе.

— Да, — твердил Кальтенбруннер, — было предпринято очень много поездок Хеттлем и другими лицами... Сошлюсь на один свой разговор с графом Потоцким: я просил его связаться с

разведывательными кругами и передавать информацию англичанам и американцам в Швейцарии.

Но обвинители и судьи хорошо понимали, что скрывалось за этими «откровениями» Кальтенбруннера, безошибочно угадывали, чего он добивается. Судебный процесс шел своим чередом.

Оглашаются показания шведского графа Бернадотта. И снова «великий инквизитор» слышит ненавистную ему фамилию Шелленберга. Оказывается, Шелленберг предупреждал шведа, что «Кальтенбруннер имеет большое влияние на Гитлера, очень опасный человек и связываться с ним нельзя ни в коем случае».

Потом вдруг прозвучало еще более страшное для подсудимого имя: Курт Бехер. Только этого еще не хватало! Может быть, начинаются слуховые галлюцинации?

Увы, обвинитель действительно назвал Курта Бехера и с разрешения судьи тут же стал читать его показания:

«Я, Курт Бехер, полковник СС, заявляю под клятвой следующее. Между серединой сентября и серединой октября 1944 года Гиммлер издал приказ, которым запрещалась ликвидация евреев. По моему мнению, после этого дня Кальтенбруннер и Поль несут полную ответственность за дальнейшие убийства заключенных... Во время моего посещения концентрационного лагеря в Маутхаузене 27 апреля 1945 года, в 9 часов утра комендант лагеря полковник СС Цирайс сообщил мне под строжайшим секретом, что Кальтенбруннер дал ему приказ умерщвлять в лагере по крайней мере тысячу человек ежедневно».

Пока обвинитель читал этот документ, я, не отрывая глаз, следил за выражением лица Кальтенбруннера. Он очень нервничал — беспокойно поглядывал в сторону судей, закусывал нижнюю губу, усиленно растирал квадратный подбородок. Эти показания вконец разрушали версию, будто начальник РСХА, вопреки стараниям Гиммлера, стремился в конце войны спасти узников концлагерей. Более того, по утверждению Курта Бехера, выходило, что их ангелом-спасителем являлся Гиммлер.

Но как ни отчаянно было положение Кальтенбруннера, сдаваться он и не думал. Бывший венский адвокат мобилизовал последние резервы крючкотворства в поисках выхода и, кажется, нашел его.

Да, да, пусть не удивляется суд, но как раз эти показания радуют его, Кальтенбруннера. Ведь приказ Гиммлера, о котором говорил Бехер, является результатом усилий Кальтенбруннера.

Такой поворот дела был настолько неожиданным, что даже доктор Кауфман задал своему подзащитному вопрос:

— Не хотите ли вы утверждать, что преследование евреев прекратилось благодаря вашему вмешательству?

И Кальтенбруннер отвечает без обиняков:

— Я твердо убежден в том, что эти преследования прекратились главным образом благодаря моим действиям... Я не думаю, чтобы нашелся хотя бы еще один человек, который бы прожужжал на сей счет все уши Гиммлеру; с такой откровенностью, с таким самоотречением беседовал по этому вопросу с Гитлером...

Но ведь Бехер уличал Кальтенбруннера и в том, что он отдал Цирайсу приказ об уничтожении не менее тысячи заключенных в сутки. Надо было как-то дезавуировать и это. И Кальтенбруннер с ликующим видом заявляет, что теперь, когда суд узнал (с его слов, конечно!), «как в действительности обстояло дело», настало время сказать о самом полковнике Бехере. Это человек, через которого Гиммлер проводил свои самые грязные комбинации. В частности, Курт Бехер по поручению Гиммлера вел переговоры с представителями западных держав об обмене узников концлагерей на грузовые автомашины. А чтобы там, на Западе, не опасались возможности использования этих автомашин против собственных армий, Бехер предлагал оборудовать их специальными устройствами для эксплуатации на снежных просторах России. На «живой товар» из концлагерей Бехер пытался выменять и дефицитное промышленное сырье.

Давая эти показания, бывший шеф гестапо пылал «благородным» негодованием. Его, видите ли, всегда глубоко возмущали эти коммерческие операции Гиммлера и Бехера, наносившие «урон престижу рейха за границей».

Я внимательно слушал Кальтенбруннера и все время ловил себя на одной мысли: на что рассчитывает этот человек? Неужели он всерьез полагает, что достаточно сказать правду о Гиммлере, чтобы суд принял это как его собственное алиби?

Кальтенбруннер посылает в нокаут Кальтенбруннера

А каковы же подлинные факты, освобожденные от тех одежд, в которые норовили обрядить их приспешники Гиммлера, и от тех, что усердно напяливали на них Кальтенбруннер и иже с ним?

Апрель 1945 года. Бои идут под Берлином. Гитлеру осталось жить считанные дни. Разбегаются, как крысы с погибающего корабля, его приспешники. Покинув имперскую канцелярию, бежал на юг Геринг; у него свой план спасения: он хочет раньше других капитулировать перед Западом. Уже отращивает бороду Роберт Лей, готовясь стать почтенным бюргером Эрнстом Достельмайером. Уже наводит справки Иоахим Риббентроп, разыскивая своих бывших компаньонов по торговле шампанскими винами.

Войска союзников сжимают кольцо. Они торжественно предупреждают начальников концлагерей, чтобы те, хоть в последний момент, учли всю меру своей ответственности перед человечеством и покончили с кровавыми преступлениями.

А чем же был озабочен в эти дни Кальтенбруннер?

Сначала послушаем его самого. Прежде всего, уверяет он, его занимали переговоры с президентом Красного Креста относительно освобождения евреев и других заключенных концлагерей. Протекали они успешно. Настолько успешно, что 19 апреля в три часа утра Кальтенбруннер сам выехал из Берлина через Прагу в Линц «с тем, чтобы встретиться в Инсбруке с представителями Буркхардта». Прямым результатом этой поездки явилось освобождение многих сотен заключенных.

Так представляет дело сам начальник РСХА. А обвинители все-таки упорно держатся иного мнения о последних его усилиях. И снова на стол трибунала ложатся свидетельские показания — в этот раз господина Бертуса Гердеса.

К ним обращается и защитник Кальтенбруннера. Осторожно, без всякой адвокатской активности он цитирует их и спрашивает подзащитного, все ли тут изложено правильно. Судя по выражению лица и интонации вопроса, доктор Кауфман заранее уверен, что Кальтенбруннер ничего убедительного исторгнуть из себя не сможет.

Бертус Гердес — бывший гауштабсамтлейтер при гаулейтере Мюнхена Гислере. Из документа, предъявленного суду, явствует, что в середине апреля 1945 года Гердесу позвонил его шеф и попросил находиться на месте. В томительном ожидании он

провел весь остаток дня, весь вечер, а ночью Гислер сообщил, что получена директива от Кальтенбруннера, предлагающая немедленно разработать план ликвидации концлагеря в Дахау и двух еврейских трудовых лагерей в Ландсберге и Мюльдорфе. Лагеря в Ландсберге и Мюльдорфе рекомендовалось ликвидировать с помощью германского воздушного флота, который, однако, должен был сойти за авиацию союзников. Эта кровавая авантюра имела закодированное название: «Вольке А-1» («Облако А-1»).

Когда она должна была уже фактически проводиться в жизнь, Гердеса, по его собственному выражению, «буквально осаждали курьеры от Кальтенбруннера». Это были главным образом офицеры СС, и все они угрожали «самыми страшными карами, в том числе казнью», если он, Гердес, проявит малодушие, уклонится от выполнения «жестких мер», предписанных Кальтенбруннером. И все-таки Гердес предпочел нарушить волю начальства.

Почему? Что это с ним вдруг произошло?

Свидетель утверждает, что совесть не позволила ему реализовать ужасную директиву, которую Кальтенбруннер дополнил затем приказом «волькебрандт» — о ликвидации ядом всех заключенных лагеря Дахау, кроме арийцев из западных стран.

Но откуда это у палача Гердеса вдруг появилась совесть? Раньше-то он не жаловался на ее тиранию! Верно, раньше такого не случалось, а тут вдруг случилось. Ведь был апрель 1945 года. Со дня на день могли нагрянуть союзники. И хотя рука Кальтенбруннера была еще достаточно длинной, чтобы отправить к праотцам какого-то гауштабсамтлейтера, Гердес все же сообразил, что она час от часу становится короче, а русские и американцы час от часу приближаются. Он изловчился, сославшись на нехватку бензина и бомб для самолетов, на трудности с доставкой яда.

«Тогда, — по свидетельству того же Гердеса, — Кальтенбруннер дал в письменном виде инструкцию в Дахау перевезти всех западноевропейских заключенных в Швейцарию, а остальных отправить пешком в Тироль, где должна была состояться окончательная их ликвидация...»

Слушая эти показания, бывший начальник РСХА напрягся до предела. Он весь подался вперед. Стиснутые руки побелели. В какое-то мгновение мне показалось, что Кальтенбруннер уже готов если не к признаниям, то к полупризнаниям. Но я жестоко ошибся. Едва судья Лоуренс дал ему слово для ответа, как он тотчас принялся все отрицать. И не просто отрицать, а с

«психологическими мотивировками»:

— Я не мог вынашивать в своем сердце таких безумных приказов, если в то же самое время в другом месте отдавал приказы противоположного содержания.

Где же правда? Неужели Кальтенбруннер действительно отдавал какие-то приказы «противоположного содержания»?

Да, отдавал. Но как раз в этом и состояла мерзостная, шитая белыми нитками хитрость «великого инквизитора». Одной рукой он приказывал уничтожить сотни тысяч людей, другой — спасти несколько тысяч.

Надо было видеть, как приосанился Кальтенбруннер, когда Кауфман стал читать показания сотрудников Красного Креста — профессора Буркхардта, доктора Бахмана, доктора Майера. Они подтверждали, что в апреле сорок пятого года заключили с Кальтенбруннером соглашение, на основании которого сотни французов, бельгийцев, голландцев были переправлены на родину, что Кальтенбруннер разрешил им посещение еврейского лагеря Терезиенштадт, а прочие такие же лагеря позволил снабдить медикаментами и продовольствием.

Подсудимый обводит торжествующим взглядом и обвинителей, и судей. Ему кажется: он уже убедил суд и всех присутствующих в зале, что в последние дни третьего рейха жил и действовал с чистой совестью и чистыми руками. Кому-кому, а руководителям Красного Креста суд не может не верить!

И суд, конечно, верит им, но не верит самому Кальтенбруннеру. Разве из этих свидетельских показаний следует, что он и вправду, пусть даже в самые последние дни войны, жил и действовал с чистой совестью и чистыми руками?

Увы, рано возликовал Кальтенбруннер. Выслушивая показания сотрудников Красного Креста, обвинители уже были готовы к завершающему удару.

В каждом нацисте парадоксально сочетались чудовищный преступник с не менее чудовищным бюрократом. Кальтенбруннер не оказался исключением. Буквально до самого последнего часа он хранил копии документов, на которых запечатлена его подпись. У него уже не было ни секретарей, ни стенографисток. Но, мотаясь по всей Германии, он таскал свою канцелярию в карманах. И вот в этой-то карманной канцелярии французским следователем Анри Моннере был найден документ, который обвинитель Гаррис предлагает вниманию суда:

«Радиограмма группенфюреру и генерал-майору СС Фогелейну в ставку фюрера. Информируйте рейхсфюрера СС и доложите фюреру, что все мероприятия, направленные против евреев, а также заключенных в концентрационных и политических

лагерях в протекторате, проводятся под моим личным наблюдением. Кальтенбруннер».

Да, это было неотразимое доказательство. Так Кальтенбруннер-бюрократ послал в нокаут Кальтенбруннера-палача.

Последователь генерала Меласа

Я уже говорил, что довольно часто и в дни Нюрнбергского процесса, и после него мне приходилось выслушивать недоуменные вопросы: почему так затянулся процесс? Ведь вина гитлеровских сатрапов была настолько очевидна, разоблачительных документов было такое обилие, что, в сущности, у подсудимых не оставалось выбора: на все пункты обвинения они должны были отвечать одним-единственным словом «да».

Не скрою, мне и самому поначалу казалось, что дело пойдет именно так. Но получилось иначе. В действительности процесс представлял собой сплошной поединок между обвинением и защитой, которая использовала всякую возможность подвергнуть сомнению любой разоблачительный документ, дать ему иное, менее убийственное для подсудимых толкование.

Надо, конечно, иметь в виду, что при всем цинизме нацистского правительства в официальных бумагах нельзя было встретить таких недвусмысленных определений, как агрессия (говорилось: решение территориальных споров!) или расстрел военнопленных (говорилось: особое обращение!). Подсудимые и защитники не только цепко хватались за такие двусмыслицы, но и сами всеми силами норовили создавать их. Школа, методы буржуазной защиты, диапазон ее крючкотворства оказались настолько широкими, что давали возможность для попыток извратить истину даже на таком судебном процессе.

По наглости приемов защиты Кальтенбруннер был, бесспорно, на первом месте, равно как его защитник доктор Кауфман занимал в этом смысле одно из последних мест. Собственно, наглость была характерна для всех подсудимых, но, пожалуй, ни у одного из них она не сочеталась с такой чудовищной глупостью, как у Кальтенбруннера.

По этому поводу мне невольно вспоминается интересное наблюдение Евгения Викторовича Тарле. Анализируя характер австрийского главнокомандующего Меласа, который дважды встречался на поле боя с Наполеоном и оба раза был бит, Тарле писал, что, видимо, одной из причин этих поражений был способ мышления Меласа. Трагедия весьма недалекого генерала Меласа заключалась в том, что, готовясь к очередной баталии, он представлял себе, будто против него воюет такой же Мелас. Наполеон же, даже в предвидении встречи с Меласом, вел себя так, словно ему предстоит битва с таким же Наполеоном.

Кальтенбруннер явно уподобился Меласу. Он неизменно

исходил из того, что его противник находится на одном с ним уровне интеллектуального развития. Нелепая его уверенность, что обвинители и судьи молча проглотят любой вздор, прослеживалась изо дня в день. Как ни парадоксально, Кальтенбруннер даже в этом умудрился превзойти себя. Воистину, уж если кто может превзойти глупость, так только она сама!

Речь зашла о приказе Гитлера относительно казни бойцов коммандос. Приказ этот был преступным, ибо плененные бойцы коммандос, одетые в военную форму своей армии, имели право на статус военнопленных.

Знал ли об этом приказе Кальтенбруннер? Да, говорит он, знал. И даже протестовал, добиваясь его отмены.

Кальтенбруннер запускает такую утку, рядом с которой гигантская птица Руxx из «Тысячи и одной ночи» выглядит жалким воробышком. Да будет известно почтенному суду, что произошло в ставке фюрера в феврале сорок пятого года:

— Я совершенно открыто заявил, что... не буду выполнять ни одного приказа Гитлера подобного содержания... Перед лицом этого властного и всемогущего человека, равного которому не было в империи, я не мог сделать большего.

Осчастливив человечество столь фантастическим признанием, Кальтенбруннер гордо вскинул голову и поглядел в сторону судей. Смотреть в сторону подсудимых он не решился.

А что они?

А ничего: подсудимые уже привыкли к этим дурацким вывертам бывшего шефа гестапо. Возможно, их даже забавляла безграничная глупость Кальтенбруннера. Ведь ни один из них не решился бы плести подобную ахинею.

Я вспоминаю, как Джексон, возмущенный попытками Шахта прикинуться противником гитлеровской программы агрессии, бросил ему:

— Так почему же вы, доктор Шахт, не встали и не заявили Гитлеру, что не будете выполнять его приказы о финансировании программы вооружения?

Шахт при этом кротко улыбнулся, выдержал паузу и мягко, почти вкрадчиво сказал:

— Господин обвинитель, если бы я тогда ответил так, как вы мне советуете, то мы не имели бы возможности вести теперь здесь этот приятный диалог. Вместо диалога был бы монолог. Я бы тихо лежал в гробу, а пастор читал молитву.

В данном случае Шахт не лгал, как не лгал и Геринг, отвечая на аналогичный вопрос доктора Келли в тюремной камере. Келли спросил бывшего рейхсмаршала:

— Ведь верно, что вас в Германии называли «йесменом»?

Геринг тогда тоже улыбнулся и многозначительно вздохнул: да, его так называли, потому что он всегда говорил своему обожаемому фюреру только «йес» («да»). Но, чуть помедлив, бывший рейхсмаршал не без юмора заметил собеседнику:

— Я хотел бы, доктор, попросить вас, чтобы вы назвали мне в Германии хотя бы одного «ноумена» (человека, говорившего «нет». — А. П.), который не лежал бы в земле на глубине трех метров.

Хотел того Геринг или не хотел, но этим своим ответом он, как и Шахт, дал страшную аттестацию нацистскому режиму. Факт остается фактом: ни «верный паладин» фюрера, ни его «финансовый чародей», ни кто-либо другой из подсудимых, кроме бывшего шефа гестапо, не решился утверждать, что открыто выступал против приказов Гитлера. Такие заявления могли поощряться только глупостью в масштабах, освоенных доктором Кальтенбруннером.

Впрочем, как уже говорилось, положение у Кальтенбруннера было в определенном смысле более сложным, чем у других подсудимых. Риббентроп, к примеру, мог ссылаться на Мюнхен, генералы — на приказ, Шахт — на участие в заговоре. Все это создавало если не алиби, то хоть бы его призрак. А на что мог ссылаться бывший начальник главного управления имперской безопасности?

Конечно, и у него оставался самый честный путь — полное признание. Но как раз этот-то путь и не устраивал доктора Кальтенбруннера, ибо он был кратчайшим путем к виселице, требовал мужества и твердости, то есть таких качеств, которые более всего оказались чужды сановному убийце, шефу гестапо.

Что же оставалось в итоге? Только звериная изворотливость, петляние в лабиринте судебных доказательств. И Кальтенбруннер петлял. Он цеплялся за малейшую описку, малейшую обмолвку. Он отрицал свое знакомство с заведомо известными ему людьми, если только обвинитель допускал какую-то мизерную неточность, называя их имена. Но особенно он изощрялся по части толкования нацистских терминов — в родной стихии гитлеровской канцелярщины доктор Кальтенбруннер чувствовал себя как рыба в воде. И однажды у него получилось даже что-то отдаленно похожее на удачу.

Обвинитель полковник Эймен предъявил письменные показания Иозефа Шпациля, в которых речь шла об «особом обращении», и при этом всплыли два новых слова: «Вальзертраум» и «Винтерштубе». Хорошо было известно, что на нацистском жаргоне термин «особое обращение» означает

расстрел, уничтожение. По первому впечатлению получилось, что «Вальзертраум» и «Винтерштубе» — названия еще двух лагерей смерти. Но почему же лицо Кальтенбруннера явно просветлело, почему глаза его утратили свой неизменно тревожный и вместе с тем злобный блеск?

Оказывается, «Вальзертраум» и «Винтерштубе» — это фешенебельные отели для альпинистов в Вальзертале и Годесберге. Там в годы войны содержались видные политические деятели некоторых оккупированных стран. И Кальтенбруннер с жаром принялся объяснять, что лица, угодившие туда, получали продукты по тройной дипломатической норме, то есть в девять раз больше, чем рядовые немцы, что каждому из них ежедневно полагалась бутылка вина, каждый имел свободную переписку с семьей и пользовался многими другими благами. Свои пояснения он закончил почти торжествующе: теперь, мол, трибунал может наконец достаточно ясно представить себе, что означали трагические слова «особое обращение», когда они исходили лично от Кальтенбруннера. Да, ему, конечно, известно, что приказы Гитлера и Гиммлера об «особом обращении» означают расстрел без суда и следствия. Но он-то сам никакого отношения к этим приказам никогда не имел. Он если и пользовался таким термином, то лишь в том смысле, какой был уместен в отношении обитателей «Вальзертраума» и «Винтерштубе». Если господа судьи сомневаются в справедливости его утверждений о тамошнем режиме, то они могут обратиться хотя бы к Франсуа Понсэ — он как раз там находился во время войны.

Таким образом, показания Иозефа Шпациля, предъявленные обвинением, неожиданно сыграли на руку Кальтенбруннеру. Никакого существенного влияния на дальнейший ход процесса это, разумеется, не оказало, но какой-то минимальный повод для проволочки подсудимый получил. Он буквально норовил схватить судей за горло:

— Я хочу просить вас о том, чтобы вы не отклонялись от этого документа и чтобы в протоколах было записано, что эти два заведения были предназначены мною для лиц, с которыми особенно хорошо обращались. Лучше, чем с немцами. Это очень важно для меня.

Повторяю, все эти заклинания Кальтенбруннера никого не могли сбить с толку, потому что десятки и сотни других документов изобличили его как ревностного исполнителя приказов об «особом обращении» в их истинном, а не юмористическом смысле. Тот же полковник Эймен предъявил трибуналу письмо Кальтенбруннера бургомистру Вены бригаденфюреру СС Блашке. В письме сообщалось, что на пути к

Вене находится транспорт с двенадцатью тысячами евреев, из которых на различных работах может быть использовано не более трех тысяч шестисот человек. А куда предназначаются остальные, «нетрудоспособные»? Какая участь уготована им? Автор письма предупредительно уведомляет своего адресата, что все они, в том числе «женщины и дети... содержатся в готовности для применения к ним „особого обращения“.

Что в письме шла речь об «особом обращении», ничего общего не имеющем с тем, которого удостоился господин Понсэ, было совершенно очевидно. И Кальтенбруннер начисто отрекся от авторских прав на это письмо.

— Позвольте, — возразил Эймен, — но здесь стоит ваша подпись.

— Нет! — отговаривается Кальтенбруннер. — Здесь стоит действительно какая-то подпись чернилами или факсимиле, но это не моя подпись.

Начинается длительная процедура сопоставления подписей, и в конце концов Кальтенбруннер «уступает»: подпись действительно его, но не собственноручная, а факсимиле, которым мог воспользоваться любой чиновник четвертого отдела. Тогда обвинитель обращает внимание подсудимого на то, что в предъявленном письме перед подписью автора той же рукой написано еще нечто и это «нечто» исключает факсимиле. Кальтенбруннеру снова показывают документ, он смотрит на это «нечто», и цвет лица его принимает то багровый, то синюшный оттенок. Перед подписью тем же почерком выведено слово «твой».

Обвинитель обращается к Кальтенбруннеру:

— Не правда ли, подсудимый, было бы нелепо предположить, что факсимиле воспроизводит и такое интимное обращение к адресату, как «твой»? Не так ли?

Психологически это был очень точный удар, и только Кальтенбруннер мог, ничтоже сумняшеся, пытаться парировать его. Он пустился в длинные и совершенно абсурдные разглагольствования о том, что все, мол, знали о дружеских отношениях между ним и Блашке, а потому какой-нибудь чиновник вполне мог сам добавить это злополучное словцо «твой».

Зал, естественно, отреагировал на столь могучий всплеск интеллекта доктора Кальтенбруннер а дружным смехом. Но подсудимый как ни в чем не бывало продолжал отпираться. И обычно очень корректный полковник Эймен не выдержал. Он заявил без обиняков:

— Подсудимый, сейчас вы лжете, так же, как лгали относительно всех вопросов, по которым давали показания.

Слова эти были сказаны с такой резкостью, с такой убежденностью, что даже Кальтенбруннер, этот фигляр на ролях попранной добродетели, не решился возражать.

Только в таком виде они безопасны

К концу допроса Кальтенбруннер мог уже сделать для себя совершенно определенный вывод: поединок между обвинением и его защитой проигран последней с катастрофическим счетом. Не понимать этого было нельзя, тем более тому, кто сам когда-то подвизался в юриспруденции.

Но впереди была еще заключительная стадия процесса — защитительная речь адвоката и последнее слово подсудимого. Верный себе до конца «великий инквизитор» все же на что-то надеется.

Он, конечно, понимает, что будь его адвокат самим Цицероном, ему не удастся выступить столь эффектно, как, скажем, доктору Диксу, адвокату Шахта. Ей-ей, Кальтенбруннер решительно уверен, что доктор Шахт сделал куда больше для Гитлера, чем он, начальник РСХА. Но ведь как эта хитрая бестия Дикс подал суду своего подзащитного, с каким искусством он сервировал это блюдо!

И самое неприятное состояло в том, что Дикс сразу же противопоставил Шахта Кальтенбруннеру: первого величал самоотверженным борцом против гитлеризма, а второго называл палачом и тюремщиком, от которого претерпел и его подзащитный. Одним словом, Дикс немало сделал для того, чтобы, спасая «экономического диктатора» нацистской Германии, разоблачить шефа гестапо.

Кальтенбруннер, сам в прошлом адвокат, мог бы сделать жесткий выговор Кауфману и Диксу. Он мог бы напомнить ему по крайней мере два из так называемых «вечных вопросов адвокатуры». Ну, скажем, может ли и обязан ли адвокат признать своего подзащитного виновным, если сам подзащитный отрицает свою вину? Можно ли и тактично ли на групповом процессе, защищая одного подсудимого, взваливать ответственность на другого? В большинстве своем адвокаты всегда придерживались мнения, что надо избегать таких методов защиты. А вот доктор Дикс не посчитался с этим и, защищая своего Шахта, ничтоже сумняшеся, топил Кальтенбруннера.

Этим, конечно, осложнялось положение Кауфмана, которому и без того по всем статьям труднее было произнести речь в защиту Кальтенбруннера.

К тому же Кальтенбруннер не очень верил в то, что его защитник полон энтузиазма для такой речи. Во всяком случае на предшествовавших ей стадиях процесса Кауфман был очень осторожен в выборе выражений при оценке поведения своего

подзащитного, в постановке вопросов свидетелям, в манере обращения с обвинителями.

Да, Кальтенбруннер не строил себе иллюзий насчет своего защитника. Как-то он сказал Джильберту:

— Вы знаете, доктор, мой адвокат уж очень совестливый человек. И вы, вероятно, заметили, что взбучка, которую он дал мне во время допроса, в общем-то была еще большей, чем этого можно было ожидать от обвинителя. Право же, я больше боялся прямого допроса адвоката, чем перекрестного.

Конечно, Кальтенбруннер здесь перебарщивал. В общем-то доктор Кауфман все-таки защищал его. Но в чисто профессиональном плане завидовать Кауфману было нельзя. Коль скоро я уже коснулся «вечных вопросов адвокатуры», то должен сказать, что один из них встал и перед Кауфманом. Это был, по существу, все тот же вопрос: может ли адвокат радикально расходиться со своим клиентом в оценке виновности последнего? Допустимо ли, если подсудимый категорически отрицает свою вину, встать и заявить в защитительной речи, что адвокат считает вину подзащитного доказанной, но при этом находит те или иные смягчающие ее обстоятельства? Или, скажем, признать вину доказанной лишь в определенных пределах и оспорить отдельные эпизоды обвинения? По этому поводу существуют разные точки зрения. Одни утверждают, что адвокат вправе, в интересах своего подзащитного, отойти от его позиции, если считает ее нереалистической, если убежден, что голословное отрицание вины подсудимым способно принести ему лишь дополнительный вред. Другие полагают совершенно недопустимым какое бы то ни было признание адвокатом вины подсудимого, если последний ее отрицает, ибо в таком случае адвокат, в сущности, превращается во второго обвинителя.

Судя по всему, у доктора Кауфмана решение этой проблемы протекало очень мучительно. Он отдавал себе ясный отчет в том, что выступление на Нюрнбергском процессе гарантирует ему популярность не только в пределах своей страны, но и далеко за ее рубежами. Однако доктор Кауфман понимал, видимо, и другое: популярность популярности рознь. Он все-таки защищает человека, имя которого стало символом самых чудовищных преступлений, против которого обращена ненависть народов всего мира. Как профессионал, Кауфман не мог не чувствовать, что у него, собственно, нет никакой основы для защиты. И в конце концов им была выработана для себя твердая линия поведения: ни в коей мере не солидаризироваться с поведением своего клиента, не надо выглядеть смешным и глупым. Смешным выглядел сам Кальтенбруннер. И пусть эта роль, если она ему так

нравится, останется его личной и нераздельной привилегией. Кальтенбруннеру, собственно, и терять нечего: так или иначе эта роль будет последней в его жизни. Сам же доктор Кауфман должен думать о будущем.

И вот он приступил к своей защитительной речи.

Какой она будет? Какие доводы выставит адвокат в защиту человека, на руках которого кровь миллионов людей, палача с юридическим дипломом? Предугадать это было очень трудно.

Доктор Кауфман начал издалека. Настолько издалека, что, закрыв глаза, я вполне смог представить себе, что нахожусь в университетской аудитории на лекции какого-нибудь крупного ученого — историка или литературоведа. Кауфман охарактеризовал эпоху Ренессанса, потом заговорил о субъективизме, затем перешел к рассмотрению эпохи Французской революции и пытался разобраться в истоках либерализма. Даже терпеливый лорд Лоуренс, который был так строг в соблюдении гарантий защиты, стал проявлять признаки недоумения. Постепенно его очки сползали все ниже, к самому кончику носа. Председательствующий тактично осведомляется, когда же защитник перейдет от Ренессанса к Освенциму? И доктор Кауфман постепенно спускается с заоблачных высей на грешную землю. Заявив, что главное для него — разобраться в психологии своего клиента, опираясь на «духовное историческое развитие Европы», он обращается к Прудону, к его небезызвестному постулату: «Каждый крупный политический вопрос всегда заключает в себе также и теологический вопрос». Однако совершенно очевидно, что ни блестящие экскурсы в область истории Ренессанса, ни теология ничего, кроме лестного представления об эрудиции доктора Кауфмана, дать не могли. К Кальтенбруннеру все это имело примерно такое же отношение, как небесная механика к гнусным проповедям Гитлера или Штрейхера.

Но вот наконец адвокат называет имя своего подзащитного. И тут же, едва это имя упомянуто, торопится объяснить: многое из того, что он скажет, он должен сказать.

— Я понимаю, — заявляет доктор Кауфман, — что перед лицом моря крови и слез мне не следовало бы останавливаться на душевных особенностях и характере этого человека, но я его защитник...

Адвокат сетует, что процесс организован чересчур поспешно: «земной человек, с его раздвоенностью между... справедливостью и местью» не обладает еще сегодня, когда величайшая из войн только завершилась, тем спокойствием, которое необходимо для безукоризненно объективных суждений. Однако сразу же вслед за

этим он уже вполне уверенно и откровенно оставляет излюбленные позиции своего подзащитного, всячески норовившего представить себя только разведчиком. Доктор Кауфман говорит, что бывший начальник РСХА «мог бы рассчитывать на снисходительное решение вопроса о его ответственности... только в том случае, если бы смог доказать, что он действительно отмежевался от четвертого управления (гестапо), которое вполне заслуживает названия дьявольского управления, и если бы он никоим образом не был причастен к идеям и методам, приведшим в конце концов к данному процессу». А поскольку ничего подобного не случилось, поскольку все доказательства Кальтенбруннера оказались несостоятельными, адвокат признает себя обезоруженным:

— Я не могу отрицать фактов — он не отмежевался от четвертого управления. В этом отношении не было предпринято ничего определенного. Даже его собственные показания говорят против него.

Тем не менее доктор Кауфман не мог забыть, что, независимо от своих истинных убеждений, ему не пристало дублировать прокурора. Отдавая дань профессиональному долгу, он, конечно, попытался отыскать и смягчающие вину обстоятельства. Так обычно поступает всякий рассудительный адвокат в безнадежном деле, когда вина клиента исчерпывающе доказана.

Кауфман напоминает, что его подзащитный выступал против суда Линча над сбитыми американскими летчиками, что все изуверские приказы о казнях, концентрационных лагерях, «особом обращении» с узниками этих лагерей были изданы задолго до прихода Кальтенбруннера на пост начальника РСХА, что главным злодеем все-таки был Гиммлер.

— Кальтенбруннер хотел бы родиться вновь! — с пафосом воскликнул защитник. — Я знаю, что тогда бы он своей кровью стал защищать свободу...

Такая защитительная речь доктора Кауфмана его подзащитному понравиться не могла. Особенно покоробили Кальтенбруннера слова адвоката о непреложной обязанности каждого человека сопротивляться исполнению приказа, который имеет целью насаждение зла и очевидно оскорбляет здоровое чувство гуманности. Нетрудно было заметить, как нервничал нацистский обер-палач, когда его адвокат начал развивать эту опасную для него мысль:

— Доктор Кальтенбруннер не станет оспаривать, что тот, кто стоит во главе управления, имеющего огромное значение для всего народа, обязан при упомянутых предпосылках пожертвовать даже своей жизнью...

После такого рода сентенций Кауфману оставалось только одно — признать сполна вину своего подзащитного. И он признал ее ясно и недвусмысленно:

— Кальтенбруннер виновен, но размер его вины меньше, чем это кажется обвинению. Сейчас он, как последний представитель зловещей силы из самых мрачных и тяжелых времен империи, будет ожидать вашего приговора.

Оговорку насчет истинных размеров вины Кальтенбруннера адвокат произнес так быстро и невнятно, что многие даже не заметили ее. Те же, кто сразу обратил на нее внимание, восприняли это как традиционный ход. Защитник вынужден хоть для видимости подвергнуть сомнению вину подзащитного по самому высокому счету, предъявленному обвинением. И никто, конечно, не удивился, когда, закончив свою речь, доктор Кауфман непроизвольно вздохнул. Вздохнул с явным облегчением.

Теперь оставалось прослушать последнее слово подсудимого.

Окончательно убедившись, что не только обвинители, но и собственный защитник не верит ему, Кальтенбруннер делает некоторые уступки: да, теперь, после разгрома империи, он видит, что совершил незакономерные действия. Но, добавляет он, если это и так, то все объясняется не злым намерением, а лишь неправильным пониманием чувства долга. И кроме того, «если принять во внимание, что все приказы, которые имеют кардинальное значение, были изданы до того, как я занял мою должность, то следует сделать вывод, что мною руководила судьба».

Выслушивая все это, невозможно было еще раз не подивиться абсурдности избранной и до конца проведенной Кальтенбруннером тактики безоглядного отрицания и передергиваний. Ведь никто и не объявлял его автором этих приказов. Речь шла лишь о том, что он был инициативным и ревностным их исполнителем! Впрочем, сам-то он отлично понимал, в чем его обвиняют. Настолько понимал, что не счел возможным уклониться от рассмотрения совета своего адвоката — предпочесть самоубийство свершению таких чудовищных преступлений, которые предписывались ему как начальнику РСХА. Это, конечно, прозвучало очень рыцарски. Но Кальтенбруннер не стал заходить слишком далеко, и мысль Кауфмана о самопожертвовании не удержалась в его сознании лишней секунды. Максимум, о чем мог думать Кальтенбруннер, это о симуляции какой-нибудь хвори.

— Я должен был в тот период, — причитал он в своем последнем слове, — симулируя болезнь, уйти в отставку или приложить все силы и бороться за то, чтобы было прекращено

варварство, которое не имело до сих пор прецедента.

Увы, ни того, ни другого он не сделал. Для этого он должен бы перестать быть Эрнстом Кальтенбруннером, отречься от самого себя, а это еще никому не удавалось.

И все же Кальтенбруннер считает, что если уж и судить его, то именно за то, что не догадался захворать и вовремя уйти в отставку.

— Только это является моей виной.

Но мнение доктора Кальтенбруннера о том, как и за что следует его судить, едва ли представляло интерес для кого-нибудь, помимо самого Кальтенбруннера. Трибунал видел в нем «великого инквизитора», рядом с которым Игнатий Лойола выглядел посредственным подмастерьем. Трибунал судил его как изувера-убийцу, против которого свидетельствовали миллионы людей — сожженных, удушенных газами, расстрелянных, заживо погребенных, сброшенных в пропасть! Трибунал судил постановщика тягчайших трагедий Маутхаузена, Освенцима, Бухенвальда, Треблинки! Трибунал, уполномоченный человечеством, судил того, кто страшными пытками в гестаповских застенках попрал само представление о человеческом суде.

И 1 октября 1946 года Эрнст Кальтенбруннер был приговорен к смертной казни через повешение, а 16 октября в два часа пополуночи он ушел в справедливое небытие. Когда мне показали фотографию повешенного шефа гестапо, стоявший рядом немецкий корреспондент заметил:

— Nur so sind sie unschodlich[12].

VI. Яльмар Шахт уходит от расплаты

«Он обманывал мир, германию и меня лично»

Доктор Дикс с нетерпением ожидал того момента, когда он сможет наконец занять место за историческим пультом и произнести защитительную речь по делу Яльмара Горацио Грили Шахта. В душе многие адвокаты завидовали Диксу — он защищал человека, жизнь и деятельность которого давали, с их точки зрения, хороший материал для саморекламы. К судьбе его подзащитного было приковано внимание всех деловых людей Германии, да и не только Германии. Мир большого бизнеса отнюдь не склонен был отдать Яльмара Шахта в жертву нюрнбергской Фемиде.

Дикс отлично понимал все это и старался в полную меру своих возможностей.

Забегая несколько вперед, скажем, что энергичные усилия доктора Дикса и его яркое судебное красноречие, использованные в защите Шахта, не были забыты. Он стал одним из наиболее преуспевающих адвокатов в Западной Германии и, что самое любопытное, сумел внушить новому режиму в Бонне, что как юрист может с одинаковой страстностью и талантом и защищать, и обвинять, одинаково успешно добиваться и оправдания, и осуждения. Все дело лишь в том, кого защищать и кого обвинять. Через несколько лет после Нюрнбергского процесса доктор Дикс выступал уже с громовой речью в качестве государственного обвинителя боннского правительства на судебном процессе против Коммунистической партии Западной Германии...

Но вернемся в Нюрнберг.

Итак, долгожданный момент настал: доктор Дикс поднялся с места, повернулся к скамье подсудимых, окинул ее небрежным взглядом и, найдя своего клиента, молча и сосредоточенно стал всматриваться в его лицо. Эта артистическая пауза и весь скорбный вид адвоката как бы говорили: «Я хочу, чтобы все присутствующие здесь вместе со мной почувствовали всю глубину трагедии, переживаемой этим человеком, всю вопиющую несправедливость, которая в отношении его допущена».

Свою речь доктор Дикс начал патетически:

— Господин председатель, господа судьи! Исключительный характер дела Шахта становится совершенно очевидным уже при одном взгляде на скамью подсудимых, а также из истории его ареста и защиты. Здесь сидят рядом Кальтенбруннер и Шахт... Это на редкость гротескная картина — главный тюремщик и его

узник на одной скамье подсудимых. Уже одно это с самого начала судебного процесса должно было заставить призадуматься всех его участников: судей, обвинителей и защитников...

Доктор Дикс неторопливо поведал Международному трибуналу, что по приказу Гитлера в 1944 году Шахт был заключен в концентрационный лагерь, что ему предъявлялось тогда обвинение в измене гитлеровскому режиму.

— Летом тысяча девятьсот сорок четвертого года, — сказал Дикс, — на меня была возложена задача защищать Шахта перед народным судом Адольфа Гитлера; летом тысяча девятьсот сорок пятого года меня просили осуществить его защиту в Международном военном трибунале. Такое положение само по себе в корне противоречиво... Невольно вспоминаешь о судьбе Сенеки. Нерон, прототип Гитлера, предал Сенеку суду за революционные интриги, а после смерти Нерона Сенека был обвинен как соучастник в незаконном правлении и злодействах, совершенных Нероном, то есть в заговоре с Нероном...

И тут же на всякий случай адвокат решил напомнить судьям Международного трибунала, что Сенека уже в четвертом столетии нашей эры был объявлен святым.

Я слушал речь Дикса и с интересом наблюдал за скамьей подсудимых. По жестикуляции Геринга, переговаривавшегося то с Гессом и Риббентропом, то с Деницем и Редером, и по тому внешне уловимому пониманию, которое он встречал у своих соседей, нетрудно было определить, что остальные подсудимые отнюдь не восхищены адвокатским красноречием.

Но доктор Дикс меньше всего интересовался мнением германского правительства, сидевшего на скамье подсудимых, правительства, власть которого уже вся в прошлом и будущее которого совершенно безнадежно. Адвокат искал сочувствия у тех, кто сегодня вершит судьбу его подзащитного и потому, обращаясь к судьям, закончил свою речь следующими словами:

— Кто бы ни был признан виновным и несущим уголовную ответственность за войну и те зверства, ту бесчеловечность, которые были совершены в это время, Шахт может после такого точного установления обстоятельств дела бросить в лицо каждому виновному слова, которые Вильгельм Телль бросил в лицо герцогу Иоганну Швабскому — Паррициде — убийце императора: «Я воздеваю к небу мои чистые руки, проклинаю тебя и твое деяние».

Яльмар Шахт был горд своим адвокатом. Но наступили уже завершающие дни Нюрнбергского процесса, и, несмотря на все красноречие доктора Дикса, бывший президент германского имперского банка проявлял трудно скрываемую нервозность. В

беседах с самим Диксом, а также с доктором Джильбертом и теми немногими из подсудимых, кого Шахт считал «джентльменами среди бандитов» (Папеном, Нейратом), он все чаще и все настойчивее выражал свое возмущение тем, что его усадили на одну скамью «с этими выродками». Шахт демонстративно не разговаривал с Герингом, этим «убийцей и вором». Он с презрением отворачивается от «палача с юридическим дипломом» Кальтенбруннера. Он не желал иметь никаких дел с «выскочкой и карьеристом» Риббентропом. Похожий в профиль на голодного коршуна, худой и бледный, доктор Шахт в стоячем дедовском накрахмаленном воротничке с подчеркнутой брезгливостью старался не прикасаться к Штрейхеру — этому полусумасшедшему издателю погромного листка «Штюрмер», человеку, имя которого ассоциируется с убийством шести миллионов евреев.

Что он имеет общего со всей этой сворой убийц и грабителей!

Шахт был одним из немногих подсудимых, которые открыто выступали на процессе с разоблачениями гитлеровского режима. Это ему принадлежат слова:

— Гитлер обещал бороться с политической ложью, а сам с помощью Геббельса постоянно ею пользовался; он обещал соблюдать веймарскую конституцию и нарушил ее; он создал гестапо и уничтожил свободу личности; он подавлял насильно свободный обмен мнениями и информацией и держал преступников на государственной службе. Он делал все, чтобы нарушать собственные обещания. Он обманывал мир, Германию и меня лично.

И в Нюрнберге, и позднее, оказавшись уже на свободе, Шахт пытался убедить всех, что перевод его из гитлеровского концлагеря на скамью подсудимых в Международном трибунале — акт величайшего заблуждения и несправедливости. В мемуарах он довольно пространно описывает свое участие в антигитлеровском путче 20 июля 1944 года и утверждает при этом:

«В моих собственных глазах я был виновен с точки зрения закона. Я совершил высшую измену. Я действовал в целях свержения, даже смерти тирана и вместе с другими принял активное участие, чтобы добиться этой цели».

Так почему же Руденко и Джексон не приняли этого во внимание? Почему и американский и советский обвинители в Международном трибунале были столь неумолимы в своем стремлении доказать, что Шахту нет никаких оснований стыдиться своих соседей по скамье подсудимых. Больше того, оба прокурора утверждали, что без Шахта не было бы не только «вора

и убийцы» Германа Геринга и палача Кальтенбруннера, но не вознесся бы на вершину государственной власти и сам Гитлер.

Шахт слушал выступления обвинителей и с негодованием отмечал, что они без всякого сочувствия относятся к тому, что сам он оказался жертвой гитлеровского режима. Более того, по некоторым репликам Джексона можно было понять, что Шахту не следует ожидать от Международного трибунала чего-либо иного по сравнению с тем, что ждет Геринга или Кальтенбруннера.

Тем не менее по поводу судьбы Яльмара Шахта как в самом начале процесса, так и в ходе его возникало немало разногласий. Даже в совещательной комнате судьи Международного трибунала, которые были едины в своем мнении по большинству вопросов, серьезно разошлись в оценке этого человека.

Шахт занимал особое положение на скамье подсудимых. Это была, пожалуй, наиболее своеобразная фигура. Мало кто сомневался насчет бесславного конца Геринга или Риббентропа, Кальтенбруннера или Франка. Чудовищная их преступность была столь очевидной, что казалось излишним устраивать судебную процедуру. Каждый шаг их политической карьеры от зарождения нацизма до краха «третьей империи» отмечен омерзительными злодеяниями.

Другое дело Шахт. И суть здесь вовсе не в тех парадоксах, на которые делал акцент доктор Дикс, хотя и они, конечно, придавали этой фигуре определенный колорит. Гораздо важнее была необычность обвинения, предъявленного «финансовому чародею».

В чем обвиняли Геринга, Риббентропа? В том, что они лично и непосредственно в течение многих лет плели сеть заговора с целью ввергнуть Германию и всю Европу в страшную войну. Что вменялось в вину Герингу и Кейтелю, Деницу и Редеру, Франку и Кальтенбруннеру? Прежде всего чудовищные нарушения законов и обычаев войны, в результате чего появились Освенцим и Бухенвальд, Бабий Яр и Треблинка, Орадур и Лидице.

А Шахт в чем повинен? Ведь лично и непосредственно он не участвовал в составлении планов агрессии, в издании приказов об убийствах и грабежах во время войны. Если свести к нескольким словам сущность обвинений против него, то она заключалась в следующем: возглавляя имперский банк и министерство экономики Германии, будучи лично и непосредственно связан с крупнейшими монополиями страны и зная об агрессивной программе нацистской партии, о ее заговоре против мира, Шахт при финансовой поддержке этих монополий создал условия для прихода Гитлера к власти, а затем с их же помощью осуществил ряд мер по быстрейшему перевооружению вермахта как орудия

агрессии.

Но разве перевооружение армии является международным преступлением? Так или иначе в перевооружении обычно участвуют крупнейшие капиталистические фирмы. Значит, и руководители этих фирм должны нести ответственность за то, как и в каких целях будет использовано произведенное ими оружие.

Кстати говоря, Шахт хорошо знал, что с ним в одной тюрьме находятся не только Геринг и Риббентроп. От него не скрывали, что тут же содержатся и многие тузы германской военной промышленности, такие, как Крупп, Флик, Ильгнер, Шницлер. Советский Союз решительно требовал их осуждения. Полностью поддерживали эту позицию и обвинители других стран, представленных в Международном трибунале.

Характеризуя зловещую роль руководителей крупнейших монополий в гитлеровском государстве, главный американский обвинитель заявил на процессе, что все эти круппы и флики, ильгнеры и шницлеры «отдали свое имя, престиж и финансовую поддержку, чтобы привести к власти нацистскую партию... с откровенной программой возобновления войны», а затем «как только началась война, за которую они были непосредственно ответственны, привели германскую промышленность к нарушению договоров и международного права».

Мысль обвинителей, таким образом, была предельно ясна: за развязывание агрессивной войны должны понести заслуженную кару наряду с политиками и военными также и те, без чьей помощи оказались бы бессильны и политики, и военные, а именно — фабриканты и банкиры. Вот это-то совершенно новое в истории международного права обвинение и было направлено своим острием против Яльмара Шахта. Как нетрудно догадаться, оно пугало далеко не одного Шахта и не только германских «пушечных королей». Кто-кто, а Шахт-то хорошо знал, какие тесные связи существовали между германскими монополистами и монополистами других стран, в особенности США. Он отлично понимал, что от приговора по его делу зависела не только его судьба. В том, чтобы Шахт не был разоблачен до конца и осужден по заслугам, были заинтересованы и американские монополии.

Но по заранее согласованному плану, предусматривавшему, в частности, распределение подсудимых между обвинителями, Яльмар Шахт «достался» как раз прокурорам США. В этом, как мы увидим дальше, была некая ирония истории. Лишь по некоторым вопросам Шахта допрашивал в Нюрнберге представитель советского обвинения Г. Н. Александров.

«Отдайте вашу должность Гитлеру»

С первых дней своей карьеры, начавшейся еще в начале XX века, Шахт твердо решил, что он будет служить тому классу, который господствует в экономике, тем группам людей, которым принадлежат в мире все богатства и которые подчинили себе все достояние человеческого труда в его разнообразных проявлениях. За многие десятилетия он усвоил, что политики приходят и уходят, время от времени все меняется — гогенцоллерны, эберты, шейдеманы, брюнинги и штреземаны, на смену империи приходит республика, республику сменяет диктатура. Неизменным остается лишь тот, невидимый простым глазом дирижер, по воле которого зачастую происходят эти волшебные превращения, — его величество капитал.

Изменяя поочередно многим режимам, Шахт остается верным лишь интересам капитала, интересам крупнейших германских монополий. Именно эти интересы диктовали в начале тридцатых годов целесообразность прихода к государственной власти в Германии Адольфа Гитлера и его банды. Только они обусловили активность доктора Шахта в расчистке пути вчерашнему ефрейтору на пост рейхсканцлера.

В свою очередь Яльмар Шахт пришелся по вкусу Адольфу Гитлеру. На ответственном экономическом посту ему особенно нужен был человек, имеющий связи с Западом и пользующийся там кредитом. Этим требованиям Шахт отвечал, как никто другой. Недаром он сам любил называть себя космополитом.

О космополитизме Шахта свидетельствовал, кажется, каждый шаг его прошлого. В своих показаниях на Нюрнбергском процессе он сообщил:

— Семья моих родителей в течение столетий проживала в Шлезвиг-Гольштинии, принадлежавшей до тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года Дании. Мои родители были еще датскими подданными. После того как Шлезвиг-Гольштиния перешла к Германии, мой отец эмигрировал в Америку, куда до этого отправились трое его братьев. Отец стал американским гражданином, и мои старшие братья родились за океаном... Я воспитывался в Гамбурге, учился в немецких университетах и в Париже. После того как я получил степень доктора, два года работал в экономических организациях, затем стал заниматься банковским делом. Тринадцать лет провел в Дрезденском банке, затем стал руководителем собственного банка... В тысяча девятьсот двадцать третьем году я расстался с частной деятельностью, перейдя на государственную службу в качестве

имперского комиссара по валюте. Вскоре после этого стал президентом рейхсбанка... У меня и сейчас еще имеется много родственников в Дании и Америке... Я до сих пор нахожусь в дружеских с ними отношениях.

Вот эти-то черты биографии Шахта и прельстили Гитлера. Он знал Шахта не только как ловкого финансиста, но и как человека, к которому внимательно прислушиваются на Брейтерштрассе в сердце Рура — Дюссельдорфе, на нью-йоркской Уолл-стрит и в лондонском Сити.

Ну а что же прельстило в Гитлере Шахта? Почему он — человек с обостренным политическим нюхом — всей душой потянулся к нацистскому главарю? Почему пустился во все тяжкие, лишь бы привести Гитлера к власти, а затем популяризировать его правительство в «международных салонах»?

Годы, когда решался вопрос быть или не быть Гитлеру «фюрером германской империи», несли на себе печать жестокого экономического кризиса, поставившего под угрозу не только высокие прибыли монополий, но и самую их власть в стране. Только решительный перевод всей экономики на военные рельсы, на путь подготовки войны и жестокое подавление рабочего движения могли спасти господство его величества капитала.

Шахт долго присматривался к Гитлеру, к его партии и ее программе. И чем больше постигал их суть, тем сильнее убеждался в том, что Гитлер — это как раз и есть тот лидер, который нужен для спасения страны от надвигающегося «хаоса».

По собственной инициативе Шахт предпринимает серию встреч с нацистским вожаком. Вспоминая об одной из них, «финансовый чародей» показал на процессе в Нюрнберге:

— В социальном отношении Гитлер высказал целый ряд хороших мыслей, которые сводились, в частности, к тому, что необходимо избежать классовой борьбы, забастовок, локаутов. Он требовал не устранения частного хозяйства, а оказания влияния на руководство частным хозяйством. И нам казалось, что эти мысли весьма разумны и вполне приемлемы.

Нет необходимости, конечно, объяснять, кого имел в виду Шахт, употребляя местоимение «нам».

Ну а в чисто личном плане его очень устраивало то, что Гитлер «в области экономики и финансовой политики проявил почти что невежество». Это, разумеется, сулило Шахту в будущем правительственном кабинете монопольное положение при решении любых экономических вопросов.

Всем своим поведением перед лицом Международного трибунала Яльмар Шахт стремился представить себя ярым

противником фашизма. Мы еще не раз на ряде острых судебных эпизодов будем иметь возможность убедиться в его лицемерии. Но при всем том, изучая личность Шахта, наблюдая его десять месяцев в зале суда, слушая его показания, я почти не сомневался в искренности Шахта, когда он отворачивался от Кальтенбруннера и не здоровался с «нюрнбергским мясником» Штрейхером. Слишком различны были эти люди по своему происхождению и воспитанию, чтобы их могло что-то объединять в чисто личном, интимном плане. Думается, Шахту подчас и впрямь противны были изуверские, открыто погромные кликушества Штрейхера. Но не так примитивен был Шахт, чтобы в то же время не понимать, что своей деятельностью Штрейхер готовит почву для ограбления сотен тысяч, а потом и миллионов людей и что и из этого мутного источника потечет в сейфы имперского банка чистое золото, столь необходимое для перевооружения вермахта. Вот почему «финансовый чародей» решил примириться с тем, что «не только деньги, но и люди не пахнут».

Вместе с тем Шахт, эта, по меткому определению одного из обвинителей, «накрахмаленная респектабельность», хорошо усвоил и другое неписаное правило буржуазной политики: услугами палачей пользуются, но их не приглашают к своему столу. Именно так он и строил свои отношения с людьми типа Штрейхера или Кальтенбруннера.

Что и говорить, в представлении Шахта фашизм всегда имел свои теневые стороны. Открытый союз с ним на виду общественного мнения был связан с определенными издержками. Это Шахт отлично знал, лобызаясь с Гитлером, равно как он знал и то, что политика не имеет сердца, а имеет только голову. Ум же подсказывал: Гитлер и его свора куда более полезны для подлинных властителей страны, чем все эти парламентские резонеры из буржуазных партий. Впрочем, только ли в Германии оценили «высокие достоинства» фюрера? В частных беседах с другими подсудимыми, с адвокатами, с американским персоналом Нюрнбергской тюрьмы Яльмар Шахт нередко выражал негодование по поводу того, что американцы и англичане ставят ему в вину многолетнюю связь с Гитлером, как будто не из США и Англии приходили в свое время самые панегирические отзывы о Гитлере. Через своего защитника доктора Дикса подсудимый решил однажды напомнить суду, что в 1934 году лорд Ротермир поместил в «Дейли Мейл» статью, где, между прочим, имелись такие слова: «Выдающаяся личность нашего времени — Адольф Гитлер... стоит в ряду тех великих вождей человечества, которые редко появляются в истории». А

разве видный американский политик Самнер Уоллес не утверждал в своей книге «Время для решения», что «экономические круги в каждой отдельной западноевропейской стране и Новом свете приветствовали гитлеризм».

Но кто-кто, а Шахт-то сознает: после того как в Нюрнберге во всей своей ужасной наготе раскрылась кровавая история гитлеризма, из этих старых цитат нельзя создать надежную линию защиты. Он делал все, чтобы отмежеваться от Гитлера. И на процессе, и в мемуарах Яльмар Шахт утверждал, что во время выборов 1932 года им якобы не было произнесено «ни единого слова ни письменно, ни устно в пользу национал-социалистской партии».

Слушая такое, Геринг прямо выходил из себя. Он ненавидел Шахта и в то же время невольно завидовал ему: надо же уметь врать так безмятежно и с таким величавым видом! А Шахт действительно лгал с большим искусством, сохраняя при этом вид глубоко оскорбленного человека, голубиная чистота души которого не выдерживает даже малейших намеков на причастность к нацистским преступлениям.

Но, поступая так, он явно недооценил подлинно титанического труда, затраченного офицерами союзных армий для розыска и изучения германских правительственных архивов. Да и обвинители в Нюрнберге оказались на редкость невосприимчивыми к эмоциям. Юристы с большим опытом и знаниями, они предпочитали неотразимые факты психологическим этюдам доктора Шахта. И, опираясь на эти факты, Г. Н. Александров и Р. Джексон доставили подсудимому немало неприятных минут.

Как на грех, в руки обвинения попал секретный протокол совещания в Гарцбурге, на котором с личным участием и помощью Шахта было заключено соглашение между Гитлером и влиятельным представителем тяжелой промышленности Альфредом Гугенбергом об оказании помощи нацистам в захвате власти. Предъявление суду одного уже этого документа разрушало легенду Шахта. А обвинители располагали не только им.

Вот на свет извлекаются дневники Геббельса. Во второй половине 1932 года, когда нацисты дважды подряд потерпели сокрушительные поражения на выборах в рейхстаг, Геббельс записал, что из-за нарастания кризисных явлений в партии «фюрер помышляет о самоубийстве».

Напомнив Шахту эту ситуацию, обвинители решили установить личное отношение подсудимого к событиям тех дней. Дело в том, что Шахт неоднократно при цитировании на суде его

официальных высказываний в период пребывания в составе гитлеровского правительства возражал с деланным недоумением:

— Помилуй бог, разве это противоречит тому, что в душе я был антифашистом и на деле боролся против Гитлера. Я ведь вынужден был маскироваться.

Чтоб уже до конца раскрыть лицо лжеца, обвинитель сопоставляет с дневниковыми записями Геббельса письмо самого Яльмара Шахта Адольфу Гитлеру. Оно написано во второй половине 1932 года, то есть тогда, когда Гитлер еще не был у власти, а только рвался к ней и, потерпев поражение на выборах, был близок к самоубийству. Тогда доктору Шахту совсем незачем было маскироваться. Так что же он писал Гитлеру в этот трудный для нацистов период? А вот что:

«В эти дни Вам могут помочь несколько слов самой искренней симпатии. Ваше движение руководствуется такой внутренней правдой и необходимостью, что победа в той или иной форме надолго не сможет от Вас ускользнуть... Куда бы моя деятельность ни привела меня в ближайшем будущем, даже если Вы меня когда-нибудь увидите в крепости, Вы всегда можете надеяться на меня как на надежного помощника».

После оглашения этого документа Шахт при всей своей находчивости казался растерянным. А удары продолжали сыпаться один за другим. Зачитывается новая выдержка из дневника Геббельса, датированная ноябрем 1932 года. И тут уже прямо говорится о самом Шахте: «В беседе с доктором Шахтом я убедился, что он полностью отражает нашу точку зрения. Он — один из немногих, кто полностью согласен с позицией фюрера».

Трудность положения бывшего экономического диктатора «третьей империи» заключалась, однако, не только в том, что ему было необходимо отражать мощные фронтальные атаки прокуроров. Он нередко получал неожиданные удары ножом в спину и со стороны своих коллег по скамье подсудимых. В этом был порой свой юмор.

Одно время Шахт выражал возмущение тем, что в тюрьме несколько изменился режим и для подсудимых ограничили возможность общаться между собой. Он не сожалел, что ввиду этого изменения реже будет видеть «разбойника Геринга» или «подлеца Риббентропа». Но его огорчала перспектива реже видеться с «симпатичными джентльменами» Папеном и Нейратом.

— Вы не имеете права лишать меня возможности беседовать с ними, — говорил Шахт начальнику тюрьмы полковнику Эндрюсу.

Самое любопытное состояло, однако, в том, что указанный «джентльмен» фон Папен как-то не оценил этих дружеских чувств

соседа по скамье подсудимых. В своих показаниях Международному трибуналу он сообщил нечто такое, что очень мало вязалось с попытками Шахта представить себя противником прихода Гитлера к власти. Ему хорошо запомнились энергичные усилия Шахта, направленные на то, чтобы свалить с поста канцлера «джентльмена» Папена и поставить на его место гангстера Адольфа Гитлера.

Папен заявил на суде, что в решающие дни 1932 года Шахт вдруг явился к нему на квартиру и после некоторой не очень замысловатой мотивировочной части без обиняков сказал:

— Отдайте вашу должность Гитлеру, это единственный человек, который может спасти Германию.

В тот же самый период, а именно 12 ноября 1932 года, Шахт вместе с банкиром Шредером составляет от имени руководителей крупнейших монополий письмо президенту Гинденбургу, в котором тоже в весьма решительных тонах сформулировано требование о передаче власти Гитлеру. Кроме Шахта и Шредера письмо это подписали Крупп, Тиссен, Рейнгардт и другие крупные промышленники. И Шахт спешит сообщить Гитлеру о том, что у него «нет сомнений, что развитие событий может иметь только один исход — ваше канцлерство». Это свое послание он заканчивает следующими многозначительными словами:

«Кажется, наша попытка заполучить ряд подписей руководителей тяжелой промышленности не является напрасной, а я верю, что тяжелая промышленность по праву носит свое имя „тяжелая промышленность“, ибо она много значит!»

Все с большей тревогой слушает подсудимый, как обвинители цитируют такого рода документы, отнюдь не укрепляющие в глазах Международного трибунала столь желательную для него репутацию антигитлеровца. И конечно, он завидует политикам прошлого. Ведь тогда и речи не шло о том, чтобы кто-нибудь, кроме самого народа, расплачивался за войну своей кровью и благосостоянием. Случая не было такого, чтобы кто-нибудь совал свой нос в правительственные архивы, выяснял виновников агрессии и затем тащил их на плаху. Только перед богом и историей отвечали они в былые, хорошие времена. А вот здесь, в Нюрнберге, считают, что бог и история недостаточно современные инстанции и что существует более радикальный, а главное, более конкретный, более короткий способ — человеческий суд за бесчеловечные преступления.

Огорчала Шахта и та метаморфоза, которая произошла с людьми, среди которых он жил, работал и преуспевал. Кажется, все серьезные были люди — люди большого дела, ворочавшие миллиардами и тасовавшие целые правительства с той же

легкостью и ловкостью, с какой шулер тасует колоду карт. Сколько доверительных разговоров вел он с ними, и у него никогда не было оснований упрекать их в нелояльности, а тем более в болтливости. Что же случилось с ними теперь — в Нюрнберге? Почему они сразу так обмякли и почему так ужасно обострилась у них память, когда их стали спрашивать о Шахте, его роли в создании гитлеровского режима? Ведь до мельчайших деталей все вдруг вспомнили!

Яльмар Шахт, конечно, не верит тому, что эти «джентльмены» перевоспитались, что у них проснулась совесть. От этой химеры они, слава богу, давно избавились. Суть в ином: вчерашние его друзья и единомышленники сегодня впервые реально встретились с грозным гневом народов, впервые явственно увидели финал своей преступной деятельности — веревочную петлю — и сочли несправедливым лезть в нее без доктора Шахта.

К сожалению, как показали послевоенные годы, этот испуг был преувеличен. Шок, как известно, не всегда кончается смертью. Но в этом шоковом состоянии как сами сатрапы Гитлера, так и те, кто привел их к власти, на многое раскрыли глаза народам.

Большую неприятность Шахту доставил, в частности, Георг фон Шницлер — один из наиболее влиятельных членов правления «ИГ Фарбениндустри». Он дал под присягой показания о секретном совещании у Геринга в конце февраля 1933 года. И на беду подсудимого, из всех участников этого совещания в памяти Шницлера лучше всех остальных запечатлелся как раз он, доктор Шахт. Шницлер отнюдь не забыл, что там были и Крупп фон Болен, и доктор Альберт Феглер, и Штейн. Но Шахт запомнился больше, ибо именно он «вел себя как хозяин», и по его предложению в течение нескольких минут было собрано свыше трех миллионов марок в избирательный фонд Гитлера.

Так Шахт дал старт Адольфу Гитлеру. И через две недели его неистовые усилия увенчались успехом: 5 марта, при помощи террора и подкупов, Гитлер победил на выборах. А 17 марта того же года был отмечен и доктор Яльмар Горацио Грили Шахт: его назначили президентом имперского банка.

«Только послушайте, как он лжет!..»

Эти слова с раздражением были произнесены Германом Герингом 1 мая 1946 года, когда Шахта допрашивал адвокат доктор Дикс. На все вопросы Дикса его подзащитный отвечал с эпическим спокойствием и нарочитой уверенностью. Вряд ли надо говорить, что этот диалог был заранее согласован между ними.

Джексон и Александров — американский и советский обвинители, которым после адвоката предстояло провести перекрестный допрос подсудимого, — спокойно дожидались своей очереди. Лишь время от времени, когда адвокат или его подзащитный проявляли уж слишком оскорбительное отношение к исторической правде, они начинали листать лежавшие перед ними документы или просили кого-либо из аппарата обвинения поднести новые.

Шахт приступил к даче показаний по поводу его роли в осуществлении гитлеровской программы вооружения. Массой бесспорных документов подтверждено уже, что он был в гитлеровском правительстве решающим звеном, обеспечившим реализацию в короткие сроки гигантской программы вооружения. А это явилось главной предпосылкой для развертывания нацистами целой серии агрессивных войн.

Но подсудимый пытается начисто опровергнуть предъявленные обвинения. Если бы на минуту поверить всему, что говорил Шахт, то его не только судить не за что, а монумент ему воздвигнуть надо за самоотверженную борьбу против гитлеровского режима. Талейрана называли не просто лжецом, а отцом лжи. То было в начале XIX столетия. Через сто лет с полным основанием этот титул заработал доктор Шахт.

Прежде всего «финансовый чародей» поведал трибуналу причину своего вступления в гитлеровское правительство. Пусть не думают, что он не понимал всей деликатности положения. Но для него совершенно очевидно было и другое: если от этого и проигрывал кто-нибудь, то только Гитлер, а выигрывало все человечество.

— Гитлер своей политикой террора не давал возможности для образования какой-либо политической оппозиции, без которой не может жить ни одно правительство, — поясняет Шахт. — Была только одна-единственная группа людей, которая имела возможность критиковать, создать фактическую оппозицию и предотвратить проведение вредных и ошибочных мероприятий. И это как раз было само правительство. С сознанием этого я и

вступил в него... Торможение и исправление неправильных мероприятий можно было производить только будучи членом правительства.

Трудно передать, что в этот момент происходило на скамье подсудимых, где сидело как раз то германское правительство, в которое Шахт вступил якобы для того, чтобы «тормозить» его деятельность. Подсудимые ерзали на своих местах, жестикулировали, переговаривались друг с другом. Особенно бурно реагировал первый ряд. И конечно, не потому, что Шахт особенно «тормозил» то, над чем в поте лица трудился каждый из них. Как раз в этом-то ни Геринг, ни Гесс, ни кто другой из подсудимых упрекнуть Шахта не могли. То, что «финансовый чародей» врет — врет нагло и с поистине олимпийским спокойствием, — тоже само по себе никого не удивляло: ложь давно была возведена в Германии в метод государственного управления. По-настоящему всех возмущала только попытка Шахта отделиться от своих коллег, представить себя тем, чем он никогда не был, — противником Гитлера с первого дня его правления.

Буря на скамье подсудимых была заметна простым глазом. Шахт, конечно, тоже не мог не чувствовать ее, но все это мало его трогало. Он твердо вел свою линию. Должность президента Рейхсбанка Гитлер предложил ему, оказывается, лишь для того, чтобы осуществить программу ликвидации безработицы. (Много лет спустя этот тезис был развит в мемуарах Шахта. Там он заявляет: «Эта задача проникла в мое сердце и заняла в нем первое место».) Вот только ради того, чтобы предоставить работу шести с половиной миллионам германских безработных, Шахт и согласился финансировать строительство автострад, новых военных заводов.

Как раз тух-то и не выдержал Геринг:

— Только послушайте, как он лжет! — довольно громко воскликнул бывший рейхсмаршал, обращаясь к другим подсудимым.

С Герингом немедленно солидаризировался Редер:

— Кто ему, Шахту, поверит!

Уж кому-кому, а Редеру-то больше других известно об усилиях президента Рейхсбанка по перевооружению вермахта.

Скамья подсудимых оказалась для Геринга слишком узкой аудиторией. Он стал перегибаться через барьер и переговариваться с защитниками. Как потом выяснилось, Геринг сказал одному из них:

— Шахт лжет! Я сам присутствовал, когда Гитлер заявил, что нам нужно еще много денег для вооружения, а Шахт поддержал

фюрера: «Да, нам нужна большая армия, военно-морской флот и воздушные силы!»

Дал волю своим чувствам и Ганс Франк. Во время перерыва он намеренно громко, так, чтобы слышал «финансовый чародей», сказал:

— Господи, если бы Гитлер выиграл войну, то Шахт бегал бы вокруг него и кричал громко: «Хайль Гитлер!»

Наконец пришел черед обвинителей. У пульта — Роберт Джексон. Началась схватка. Нельзя сказать, что это была игра в одни ворота. Шахт не легкий противник. За его спиной огромный опыт прожженного политического дельца, исключительно способного финансиста и экономиста. Однако обвинители не пожалели времени на то, чтобы по-настоящему разобраться в сложных и порой намеренно запутанных экономических и финансовых вопросах. Это в конечном счете и решило исход трудного поединка.

Когда Джексон начал цитировать некоторые речи Шахта, вовсе не свидетельствовавшие о том, что перед Международным трибуналом сидит борец против гитлеризма, пожалуй, все подсудимые проявляли искренний интерес и даже сочувствие к усилиям обвинителя. В свое время они громко аплодировали Шахту, наблюдая, как он ловко манипулирует имперскими финансами. «Это настоящий немец», — с восторгом говорил о нем Геринг. Но теперь, в Нюрнберге, когда Шахт предпочел облачиться в тогу «борца против нацизма», поносил мертвых и живых лидеров «третьей империи», тот же Геринг, да и другие подсудимые готовы были аплодировать Джексону, который потрошил Шахта.

В тот же вечер доктор Джильберт совершал обычный обход своих пациентов. Камера за камерой открывалась перед ним, и подсудимые получали возможность побеседовать с тюремным психиатром. Много любопытного услышал от них Джильберт.

— Вы знаете, доктор, — сказал ему Бальдур фон Ширах, — когда Шахт говорит о том, каким противником национал-социализма он был, я только улыбаюсь и припоминаю отдельные сцены. Я вспоминаю, например, прием, устроенный в имперской канцелярии, на котором в числе других присутствовали моя жена и жена Шахта. И вы знаете, что украшало тогда платье фрау Шахт? Огромная бриллиантовая свастика... Это было так не к месту! Даже самые ярые нацисты не позволили бы своим женам явиться на прием с таким украшением. Нас всех это очень позабавило, и мы решили, что Шахт захотел в глазах фюрера прослыть сверхнацистом. Затем его жена подошла к Гитлеру и попросила его автограф. Совершенно очевидно, что это Шахт

послал ее к фюреру, чтобы привлечь его внимание к новой демонстрации своей преданности нацизму...

Но Гитлер и без того благоволил к Шахту. Мы уже говорили, какие надежды связывал он с назначением этого человека на пост президента имперского банка. Шахт был своим человеком не только для германских монополистов, но и для делового мира Нью-Йорка. Именно он, по идее Гитлера, должен был «ввести нацистов в салоны», добиться для них повсеместного доверия и кредита, морального и финансового.

Сумма иностранной задолженности Германии на 28 февраля 1933 года, по официальным немецким данным, составляла 18967 миллионов марок, а вместе с иностранным капиталом, вложенным в германскую промышленность, — 23,3 миллиарда марок. Каждый год Германия должна была выплачивать 1 миллиард марок в погашение процентов по иностранным займам.

Шахт решает добиться не только прекращения уплаты этого огромного долга, но, более того, получения новых займов. Он ловко использует для этого свое положение члена правления банка международных расчетов и еще более ловко — антисоветские чувства западной финансовой олигархии.

Уже в мае 1933 года, когда нацисты только что пришли к власти, Шахт выезжает в Америку. Цель поездки — дальнейшее расширение связей между лидерами нацистской Германии и правящими кругами США. Шахт встречается с президентом, с министрами, с финансовыми тузами Уолл-стрита. С неподдельным энтузиазмом и без всякого чувства стыда он заверяет своих собеседников, что «нет более демократического правительства в мире, чем правительство Гитлера», что фашистский режим «является лучшей формой демократии». И Америка раскошеливается. Нацистская Германия действительно получает от нее новые займы.

Июнь 1933 года. Шахт — член германской делегации на международной экономической конференции в Лондоне. Он объединяет свои усилия с Альфредом Розенбергом. Оба они принимают участие в разработке так называемого «меморандума Гугенберга», при помощи которого пугают Европу «опасностью большевизма» и таким путем выторговывают возможность перевооружиться Германии. Тогда же в Лондоне Шахт встречается с директором английского банка Монтегю Норманом. В результате подписывается соглашение, по которому Германия получает взаймы от Англии почти миллиард фунтов стерлингов.

Одновременно «финансовый чародей», пользуясь благосклонностью западных банков, сначала сокращает, а потом и вовсе прекращает платежи по старым займам.

В августе 1934 года Шахт назначается имперским министром экономики. 21 мая 1935 года, учитывая большие успехи Шахта на постах президента имперского банка и министра экономики, Гитлер возводит его в ранг генерального уполномоченного по вопросам военной экономики. Специальным декретом Шахту были предоставлены неограниченные полномочия. Ему подчинен теперь ряд других министерств и вменено в обязанность «поставить все экономические силы на службу войне».

С чисто немецким педантизмом Шахт разрабатывал до мельчайших подробностей систему эксплуатации германской экономики в военное время, начиная с использования промышленных предприятий, сырьевых ресурсов, рабочей силы и кончая распределением восьмидесяти миллионов продуктовых карточек. Под его руководством разрабатываются экономические планы производства двухсот важнейших видов военных материалов.

Шахт не жалеет средств на строительство военных заводов. Доля национального дохода, ассигнованного на военные приготовления, повышается с шести процентов в 1933 году до тридцати четырех в 1938 году. И генеральный уполномоченный по вопросам военной экономики лучше всех знает, что делается это за счет усиливающейся эксплуатации трудящихся.

3 мая 1935 года в секретном меморандуме Гитлеру Шахт писал, что успешное и быстрое осуществление программы вооружения «является основной проблемой немецкой политики, и потому все остальное должно быть подчинено только этой цели». Для покрытия расходов на финансирование вооружений предпринимается усиленный выпуск бумажных денег. Ничтоже сумняшеся, Шахт бросает «в общий котел» на перевооружение вермахта даже находящиеся в Рейхсбанке вклады иностранцев, и притом похваляется: «Таким образом, вооружение частично финансируется за счет вкладов наших политических противников».

Шахт устанавливает систему специальных лицензий, регулирующих импорт: валюта должна использоваться только для ввоза стратегического сырья. Импорт тоже подчиняется задачам подготовки войны.

Экономический диктатор третьего рейха выжимал все, что только можно было выжать из германской экономики для финансирования гигантской программы вооружений. И тем не менее средств явно не хватало. Но Шахт — человек железной последовательности. Для него важна цель, а в выборе средств он не очень щепетилен. Это перед лицом Международного трибунала он рекламировал себя как противника антисемитизма,

а в свое время черпал деньги даже и из этого мутного источника. Шахт, конечно, не выкрикивал вместе с Штрейхером на площадях германских городов антисемитские лозунги, но скрупулезно подсчитывал «доходы» имперского банка от «аризации» еврейской собственности и хвалил Геринга за удачную мысль наложить на еврейское население штраф в миллиард марок.

Еще и еще раз Шахт клянется, что он не антисемит. Многие годы сам вступал в крупные сделки с еврейскими банкирами и на собственном опыте убежден, что «евреи обманывают не больше, чем христиане». Все это, может быть, и так. Но факты остаются фактами: когда в первые годы нацистского правления обнаружилась возможность пополнить сейфы Рейхсбанка за счет ограбления евреев, Шахт не проявил колебаний. Больше того, как человек огромных масштабов, он не мог примириться с ремесленным подходом к этому делу. Надо «аризировать» еврейскую собственность не только внутри Германии, но попытаться залезть в карман и к зарубежным родственникам немецких евреев. Тем более что в этих карманах можно найти круглую сумму в валюте, столь необходимой Шахту для выполнения программы вооружений. Шахт предлагает созвать в Лондоне международное совещание и продиктовать там условия, на которых германское правительство согласно выпустить за пределы страны еврейское население. В основе этих условий лежала самая бессовестная торговая сделка: хочешь покинуть «третью империю» — гони иностранную валюту!

И как сообщал тогда Геринг имперскому совету обороны, в результате такого рода манипуляций «убежденного противника антисемитизма» критическое положение казны, вызванное перевооружением, было облегчено. На «аризации» Шахт заработал несколько миллиардов марок.

25 сентября 1935 года Яльмар Шахт встречается со специальным представителем президента Рузвельта С. Фуллером. Речь идет опять о политике форсированного вооружения Германии.

Фуллер замечает:

— Вы не можете продолжать до бесконечности делать оружие, если оно не будет находить применение.

Ответ Шахта был столь же краток, сколь и многозначителен:

— Совершенно верно.

Шахт хорошо знал, что целью внешней политики нацистской Германии являлась война. А изощрялся он в поисках средств для финансирования вооружений потому, что был твердо убежден: победоносные агрессивные войны в конечном счете станут гигантским источником дополнительных доходов и для

германских монополий и для правительства «третьей империи». Такая установка была его стратегической линией и в вопросах финансов, и в вопросах всей экономики. Вот почему Шахт так смело шел по пути денежной и кредитной эмиссий. Он считал, что победная война все вернет с лихвой. Надежда на это окрыляла его при осуществлении самых рискованных финансовых операций, вплоть до так называемой «МЕФО». Под таким непонятным поначалу словом скрывалось грандиозное мошенничество, в котором участвовал весь государственный аппарат.

Система «МЕФО» действовала следующим образом. Счета многочисленных фирм, изготовлявших вооружение и боеприпасы акцептовались компанией с ограниченной ответственностью «Металлургише Форшунгсгезельшафт» (откуда и происходит сокращение «МЕФО»). Эта компания фактически не располагала никакими капиталами и была попросту фиктивной организацией. Счета за вооружение она оплачивала только долгосрочными векселями, получившими название «МЕФО-вексель». Но ее фальшивки принимались к оплате всеми германскими банками, так как они гарантировались государством в лице Рейхсбанка. Секретность всей этой авантюры обеспечивалась тем, что данные о «МЕФО-векселях» никогда не фигурировали ни в публиковавшихся отчетах Рейхсбанка, ни в цифрах бюджета.

Система «МЕФО» просуществовала до 1 апреля 1938 года. К этому времени было выдано долгосрочных векселей на двенадцать миллиардов рейхсмарок. Такая масса ценных бумаг, находившихся в обращении, но не имевших реального покрытия, грозила страшной финансовой катастрофой. Достаточно было частным банкам в силу каких-либо причин представить «МЕФО-векселя» к оплате, и рейхсбанк оказался бы банкротом. Однако Шахт не терял присутствия духа.

При нормальных обстоятельствах срок оплаты государством векселей «МЕФО» истекал в 1942 году. А к этому времени «финансовый чародей», хорошо осведомленный об агрессивных планах гитлеровского правительства, рассчитывал пополнить оскудевшую германскую казну за счет ограбления других стран.

Означало ли это обман векселеполучателей? Да, конечно. Но Шахт исходил из того, что общие, широко понимаемые интересы монополий требовали форсирования войны, а ради этого отдельные капиталисты могли принести временные жертвы.

В конце ноября 1938 года Шахт с гордостью заявил:

— Быть может, в мирное время ни один эмиссионный банк не проводил бы такой смелой политики, как Рейхсбанк после захвата нацистами власти. Однако при помощи этой кредитной

политики Германия создала непревзойденную военную машину, а эта военная машина, в свою очередь, сделала возможным достижение целей нашей политики.

Заслуги Шахта в вооружении «третьей империи» были соответствующим образом отмечены. «Militarwoche-Blatt» еще в январе 1937 года писала:

«Вооруженные силы Германии сегодня с благодарностью произносят имя доктора Шахта, как одного из тех, кто совершил незабываемые подвиги для развития германских вооруженных сил в соответствии с указаниями фюрера и рейхсканцлера. Вооруженные силы обязаны величайшим способностям и мастерству доктора Шахта тем, что, несмотря на финансовые трудности, они в соответствии с планом сумели из армии численностью 100000 человек вырасти до нынешних размеров».

И тогда же Гитлер наградил «финансового чародея» золотым значком нацистской партии. А тот в свою очередь не остался в долгу: 21 апреля 1937 года Шахт произнес речь по случаю дня рождения Гитлера, призывая немцев «с любовью и уважением вспомнить человека, которому германский народ более четырех лет тому назад вручил свою судьбу и который завоевал душу германского народа».

На Нюрнбергском процессе все это вспомнили Шахту. Но и он своими показаниями причинял подчас немало неприятностей обвинителям и судьям, представлявшим западные державы. Шахт не забыл тех услуг, какие были оказаны ему некоторыми из их соотечественников в осуществлении перевооружения Германии.

Шахт сердит. Шахт обижен на правительства этих стран, допустившие под давлением ряда обстоятельств арест его и предание суду. Время от времени в состоянии раздражения Шахт раскрывает подлинную сущность политики западных держав в отношении гитлеровской Германии.

— Я должен сказать, — заявляет он, — что когда началось вооружение Германии, то другие страны не предприняли ничего против этого. Нарушение Версальского договора Германией было воспринято совершенно спокойно: ограничились лишь нотой протеста, но не сделали ни малейшего шага, чтобы снова поставить вопрос о разоружении... В Германию были посланы военные миссии, чтобы наблюдать за процессом вооружения, посещались военные заводы Германии. Делалось все, но только не для того, чтобы воспрепятствовать вооружению.

Затем подсудимый пустился в воспоминания о встречах с видными представителями Запада, которые выражали полное удовлетворение ходом событий в Германии. Его излияния по этому поводу прерывает главный американский обвинитель

Джексон:

— Господа судьи, я не могу понять, каким образом тот факт, что видные иностранцы могли быть обмануты режимом, который подсудимый старался рекламировать... может оправдать действия самого подсудимого или помочь ему...

Здесь немало правды. Яльмар Шахт действительно очень старательно рекламировал Гитлера. И не только рекламировал, но и помог ему захватить власть. Что же касается «видных иностранцев», которые, как выразился Джексон, «были обмануты режимом», то справедливость требует сказать: никто так страстно не хотел быть «обманутым» в Мюнхене, как Чемберлен, Боннэ и их заокеанские режиссеры.

Не случайно экономический диктатор гитлеровской Германии проявил такую раздражительность, когда американский обвинитель занялся выяснением его роли в расчленении и разграблении Чехословакии. Шахта возмущает сама мысль о том, что англичане и американцы пытаются выдать себя за защитников этой страны, ее национальных богатств, интересов ее народа. Уж он-то хорошо помнит, как западные державы за несколько дней до Мюнхена предъявили ноты Чехословакии с требованием капитулировать перед Гитлером.

И поэтому, когда Джексон с полным основанием напомнил, как Шахт сразу же после захвата Чехословакии Гитлером конфисковал все ценности чехословацкого банка, тот с неменьшим основанием парировал удар:

— Но простите, пожалуйста, Гитлер же не взял эту страну силой. Союзники просто подарили ему эту страну.

А закончился их диалог так:

Шахт. Я не могу ответить на ваш вопрос, так как я уже сказал, что имел место не захват, а подарок. Если мне делается такой подарок, как этот, то я с благодарностью принимаю его.

Джексон. Даже если это не принадлежит тому, кто его делает?

Шахт. Да. А судить о благовидности этого я предоставляю тем, кто делает такой подарок.

Вряд ли здесь нужны комментарии. Незачем распространяться о предельном политическом цинизме Шахта. Гораздо важнее выяснить природу щедрости тех, кто отваливал Гитлеру подобные «подарки».

Если отбросить одиозное и назойливое желание Шахта использовать трибуну Нюрнбергского процесса для своей реабилитации, для того, чтобы доказать, будто он был антигитлеровцем, то надо признать, что этот прожженный делец был недалек от истины в объяснении политики Запада. Шахт

отнюдь не голословно утверждал, что Веймарская республика кое-кого на Западе не устраивала. И в самом деле, ведь она заключила Раппальский договор с Советской Россией. Не потому ли на все просьбы и предложения Веймара Запад отвечал «нет».

— Но когда к власти пришел Гитлер, — заявил Яльмар Шахт, — все изменилось. Возьмите всю Австрию, ремилитаризуйте Рейнскую область, возьмите Судеты, возьмите полностью Чехословакию, возьмите все — мы не скажем ни слова. До заключения Мюнхенского пакта Гитлер не осмеливался даже мечтать о включении Судетской области в империю. Единственно, о чем он думал, — это об автономии для Судет. А затем эти глупцы, Даладье и Чемберлен, все преподнесли ему на золотом блюде. Почему они не оказали Веймарской республике хотя бы одну десятую такой поддержки.

Шахт, конечно, разыгрывал из себя простачка, задавая такие вопросы. Ответ на них он знал отлично. Шахт не мог не понимать, что вся мюнхенская политика Запада в том и заключалась, чтобы вскормить Гитлера и его режим, разжечь у нацистов аппетит, а затем натравить их против Советского Союза.

Шахт и Геринг: кто победит в борьбе за власть?

Наблюдая развитие карьеры Шахта со стороны, можно было заключить, что на безоблачном небе его деятельности нет ни тучки. Все казалось абсолютно благополучным. Тем не менее уже в начале 1937 года стали назревать серьезные события. А 16 ноября того же года произошел взрыв — Гитлер освободил Шахта от постов министра экономики и генерального уполномоченного по вопросам военной экономики.

Почему? За что? Шахт спешит сообщить Нюрнбергскому трибуналу, что причиной явились все усиливающиеся противоречия между его политикой и политикой Гитлера и Геринга. Гитлер-де обвинял Шахта в том, что его экономическая политика была слишком консервативной и мало способствовала решительной программе перевооружения, а Шахт якобы выступал за сокращение этой программы. С каждым днем конфликт обострялся, Гитлер с нарастающей резкостью обвинял Шахта в срыве нацистских планов, и 16 ноября 1937 года экономический диктатор Германии был лишен своих широких полномочий.

Так говорил Шахт.

Однако Международный трибунал и здесь располагал обширными доказательствами, начисто опровергавшими фальсификаторские его потуги.

Существовали ли в действительности расхождения между Шахтом, с одной стороны, Гитлером и Герингом — с другой, в 1937 году? Да, существовали. Носили ли эти противоречия сколько-нибудь принципиальный характер? Конечно нет.

Так в чем же дело?

В действительности Шахт и в 1937 году не возражал против все усиливающихся темпов вооружения. С Гитлером и Герингом он расходился в мнении лишь относительно методов финансирования намеченной программы. Шахт считал, что до тех пор, пока Германия не готова будет нанести решающий удар, основную ставку по-прежнему надо делать на внешнюю торговлю, как наиболее верный источник покрытия валютных расходов по оплате стратегического сырья. Геринг же, при поддержке Гитлера, настаивал на проведении политики автаркии, то есть на том, чтобы Германия сама обеспечивала себя всем необходимым.

Шахт великолепно понимал, как много он сделал для Гитлера, поэтому не любовался почестями, но и не скрывал своего удовлетворения в тех случаях, когда в очередной раз

секретарь услужливо подсовывал ему переводы статей из зарубежной печати, где его называли «экономическим диктатором Германии». В правительстве Гитлера, состоявшем из типичных партийных заправил, «финансовому гению» Шахту легче всего было занять такое положение. До поры до времени Шахт и впрямь чувствовал себя таким диктатором. Продолжалось это, пока Герман Геринг вдруг не обнаружил в себе талант крупного экономиста. Вот здесь-то и началась сначала тихая, невидимая, а потом все более обострявшаяся борьба между этими людьми, каждый из которых был уверен, что именно он должен командовать экономикой страны.

Оказавшись на посту чрезвычайного уполномоченного по осуществлению четырехлетнего плана, Геринг стал активно вмешиваться в ту экономическую сферу, которая считалась святая святых Шахта, начал издавать приказ за приказом, которые сводили на нет роль и власть генерального уполномоченного по военной экономике. С каждым месяцем личный конфликт между этими двумя могущественными министрами обострялся. 5 августа 1937 года Шахт написал Герингу письмо, содержавшее критику в его адрес. 22 августа 1937 года Герман Геринг ответил ему тоже письмом на 24 страницах. В этом пространном послании рейхсмаршал выложил Шахту все. В частности, он писал: «У меня создалось впечатление... что вы все более отрицательно относитесь к моей деятельности в области четырехлетнего плана. Это объясняет тот факт, что наше сотрудничество постепенно стало менее тесным».

В ходе суда обвинитель спросил Геринга: имели ли возникшие между ним и Шахтом разногласия отношение к программе перевооружения?

И Геринг ответил:

— Я полагаю, что Шахт, будучи настоящим немцем, был готов приложить все усилия к вооружению Германии... Расхождения с ним имелись только в отношении методов.

Кульминационным пунктом разногласий между двумя «уполномоченными» явился новый обмен письмами в ноябре 1937 года. И тогда же у них состоялся разговор, как бы подытоживший грызню за власть. По поводу этого разговора Шахт на допросе у следователя 16 октября 1945 года заявил:

— Последний разговор, который я имел с Герингом на эту тему, произошел... после того, как Гитлер в течение двух месяцев пытался помирить нас и побудить к тому, чтобы я в дальнейшем сотрудничал с ним и продолжал оставаться на посту министра экономики. В конце этого разговора Геринг сказал: «Но я должен иметь право давать вам приказания» Тогда я ответил: «Нет, не

мне, а моему преемнику». Я никогда не принимал никаких приказов от Геринга и никогда не сделал бы этого, потому что он был профаном в экономике...

Так сам Шахт, не говоря уже о Геринге, подтвердил бесспорный факт, что отставка его с постов министра экономики и генерального уполномоченного по военной экономике совсем не означала разрыв с Гитлером в связи с намеченными планами агрессии. Просто слишком велика была неприязнь Шахта и Геринга друг к другу, чтобы эти два человека могли дружно шагать в одной упряжке.

Как-то во время допроса Шахт дал волю своим чувствам:

— Гитлера я назвал аморальным человеком, а Геринга я могу рассматривать лишь как аморальную и преступную личность... Он был самым эгоцентричным созданием, какое себе можно только представить. Захват политической власти для него был только средством личного обогащения и личного благосостояния. Успех других вселял в него чувство зависти. Его жадности не было границ. Его страсть к драгоценностям, к золоту и украшениям была уму непостижима. У него не было товарищей. Лишь пока кто-либо был ему полезен, он оставался ему другом, но и то только с виду.

Так сам Шахт помог окончательно выяснить свои отношения с Герингом и при этом невольно еще раз развенчал собственные попытки изобразить свою отставку как оппозицию нацистской политике. Оппозицией здесь и не пахло Это был просто эпизод в борьбе за неограниченную власть над экономикой «третьей империи».

Ну а как же отнеслась к возникшему конфликту между Шахтом и Герингом гитлеровская военщина? Кто-кто, а германские генералы всегда подходили к оценке министров с одним мерилом: который из них лучше и щедрее откликается на нужды вооруженных сил, умеет сделать больше для форсированного развития вермахта?

На сей раз военные круги без колебаний стали на сторону Шахта. Об этом недвусмысленно говорилось в направленном Гитлеру меморандуме военно-экономического штаба от 19 декабря 1936 года:

«В случае войны контроль над военной экономикой в гражданской области может быть осуществлен только тем лицом, которое в мирное время проводило подготовку к войне... Вот почему военно-экономический штаб считает, что подчинение генерального уполномоченного по вопросам военной экономики доктора Шахта премьер-министру генерал-полковнику Герингу противоречило бы этому принципу».

Но даже заступничество Бломберга и других генералов оказалось неспособным сломить «нациста № 2». Схватка между Герингом и Шахтом, каждый из которых претендовал на положение экономического диктатора Германии, закончилась победой Геринга. Шахт был вынужден отступить. А когда кончилась война, и кончилась не так, как этого хотелось и Шахту, и Герингу, то Шахт решил использовать всю эту грызню за власть для того, чтобы представить себя противником войны, противником нацизма.

Как же в действительности повел себя Шахт после своей отставки с постов министра экономики и генерального уполномоченного по военной экономике? По существу, не лучше и не хуже прежнего. Оставаясь президентом Рейхсбанка, он продолжал активно участвовать в подготовке германской экономики к войне. Без рейхсбанка никак нельзя было реализовать программу вооружения Германии, а значит, и осуществить намеченную серию агрессивных войн.

Если бы Шахт хотел как-то проявить перед миром свое отрицательное отношение к гитлеровской политике захватов, то 1937 год являлся для этого наилучшим временем. Германия стояла на пороге аншлюса и Мюнхена. Но в том-то и суть, что Шахт был очень далек от таких поползновений. Это только на суде в Нюрнберге, отвечая на вопросы своего адвоката доктора Дикса, он осмелился заявить, что начал саботировать деятельность нацистского правительства с 1936—1937 годов.

А как все выглядело на деле?

Едва германские войска вступили в Вену, там оказался и доктор Шахт. У каждого свои заботы. Гитлер прилетел, чтобы обрадовать австрийцев сообщением, что они уже не австрийцы и им следует забыть (чем скорее, тем лучше!), что когда-то существовало государство с таким анахроническим названием, как Австрия. Гиммлеру надо было «очищать» Вену от тех ее жителей, которые упрямо продолжали считать себя австрийцами, не прельщаясь званием имперских немцев. А что же стал делать по прибытии в Вену доктор Шахт? Ведь это было уже после его скандала с Германом Герингом, после отставки с поста министра экономики.

Прежде всего Яльмар Шахт поспешил в Австрийский государственный банк, чтобы наложить свою тяжелую руку на наличность австрийской казны. И четыреста миллионов шиллингов золотом перекочевали в Берлин — в сейфы имперского банка.

Да и все дальнейшее поведение доктора Шахта свидетельствовало о чем угодно, только не о его оппозиции к

гитлеровскому режиму. Собрав в просторном зале австрийских банковских служащих, он обратился к ним с прочувствованной речью. Конечно, если бы хоть на одну секунду Шахт мог себе представить тогда, что эта его речь будет впоследствии обильно цитироваться обвинителями на специальном судебном процессе, он, несомненно, воздержался бы от тех эмоциональных выражений своей симпатии и верности Гитлеру, которыми она так изобиловала. Но в то время суд ему еще и не мерещился...

Роберт Джексон задает Шахту вопрос: был ли рейхсбанк до 1933 года политическим учреждением? Шахт отвечает отрицательно. Тогда дотошный обвинитель просит подсудимого послушать цитату из его собственной речи в австрийском банке:

— «Рейхсбанк никогда не будет ничем иным, как национал-социалистским учреждением, или я перестану быть его руководителем».

Шахт, вынужденный подтвердить правильность этой цитаты, подумал, как видно, о том, насколько все-таки был прав Морис Перигор Талейран, полагавший, что единственный орган, которым государь должен меньше всего пользоваться, это язык. Совет знаменитого французского дипломата вполне пригоден был бы и для президента имперского банка. Увы, Шахт вспомнил о нем слишком поздно. Он все более и более убеждался в этом по мере того, как обвинитель оглашал новые и новые перлы из его речи. Бог ты мой, чего там только нет! Шахт убеждал австрийских чиновников, что «Адольф Гитлер создал единство воли и мысли немцев». Шахт предупреждал их: «Совершенно невозможно, чтобы хотя бы одно-единственное лицо, которое не всем сердцем за Адольфа Гитлера, смогло в будущем сотрудничать с нами». А в финале он превзошел уже все границы в безудержном славословии Гитлеру:

— Теперь я прошу вас встать, — скомандовал Шахт. — Мы присягаем в нашей преданности великой семье Рейхсбанка, великому германскому обществу. Мы присягаем в верности нашей воспрянувшей, мощной, великой Германской империи. И все эти сердечные чувства мы выражаем в преданности человеку, который осуществил все эти преобразования. Я прошу вас поднять руки и повторять вслед за мной: «Клянусь, что буду преданным и буду повиноваться фюреру Германской империи и германского народа Адольфу Гитлеру и буду выполнять свои обязанности добросовестно и самоотверженно...» Вы приняли эту присягу. Будь проклят тот, кто нарушит ее. Нашему фюреру трижды «Зиг хайль!».

Так доктор Шахт «саботировал» деятельность правительства Гитлера в 1936—1938 годах.

После Австрии настал черед Чехословакии. Шахт и в этот период не остается безучастным созерцателем событий. 29 ноября 1938 года он произносит речь, в которой выражает удовлетворение тем, что Гитлер в Мюнхене сумел использовать в качестве одного из аргументов германские вооруженные силы. А как только представилась возможность, «финансовый чародей» немедленно ограбил и чехословацкий банк.

В Нюрнберге пришлось держать ответ за все это. Скамья подсудимых с большим вниманием наблюдала, как трудно приходится Шахту под напором предъявленных доказательств. Одни ему сочувствовали, другие завидовали, третьи злорадствовали. Не каждый из соседей Шахта мог бы похвастать такими эпизодами из своей биографии, как уход с поста министра или открытый скандал с Герингом. Здесь, на суде, все это представлялось выгодным. Но соседи-то знали, что за «оппозиционными» шагами господина Шахта не было ничего, кроме ожесточенной борьбы за власть, ту самую власть, которой наделил их гитлеровский режим, одинаково милый сердцу и Германа Геринга, и Яльмара Шахта.

Буквально взрыв возмущения вызвало на скамье подсудимых заявление Шахта о том, что если бы он мог, то сам убил бы Гитлера. При этих словах, как я уже писал, произошла мимическая сценка: Герман Геринг, взглянув на Шахта, осуждающе покачал головой, затем закрыл лицо руками, делая вид, что он страшно переживает, что ему стыдно слышать, как бывший министр «третьей империи» признается в государственной измене. Как будто сам Геринг на последнем этапе войны не изменил своему «обожаемому фюреру».

Такого рода сцены меньше всего, разумеется, выражали истинные чувства бывших гитлеровских сатрапов. Все они давно потеряли самое элементарное представление о чести, о верности, о правде. Возмущаясь наглостью Шахта, в душе каждый из них завидовал этой хитрой лисе, которая сумела все-таки служить Гитлеру так, чтобы на случай краха «третьей империи» сохранить контршансы, позволяющие отмежеваться от «обожаемого фюрера».

Двойная игра

Да, по части политической маскировки всем этим герингам и Риббентропам было очень далеко до Шахта. Не та школа, не то воспитание. Им всем только казалось, что они видят Шахта насквозь. А вот Шахт действительно знал цену каждому из них и заглядывал куда дальше их.

Шахт вел опасную и азартную игру. Он сделал все, чтобы привести к власти Гитлера. Он помог Гитлеру создать мощные вооруженные силы. Шахт хорошо знал гитлеровские завоевательные планы, потому и примкнул к нему. Только на основе этих планов и был заключен союз рурских монополий с нацистами.

Что война — великолепный бизнес, Шахт знал лучше чем кто-либо другой. Но в то же время он — крупный экономист и финансист, политический делец с большим опытом — легко улавливал, что в основе гитлеровской завоевательной программы лежит авантюристический расчет. Правда, Шахт и сам, как мы видели, не прочь был проявить авантюризм в той сфере, где подвизался — в финансах и экономике. И все-таки его одолевало порой беспокойство. Переоценка своих сил «третьей империей» была настолько очевидной, что при мало-мальски неудачном стечении обстоятельств (а война есть война!) все планы Гитлера могли обернуться для Германии катастрофой.

Одним словом, Шахт хотел бы верить в победу, ибо тогда это будет и его победа. Но судьба капризна. Он хотел победы Германии и в первой мировой войне. А чем дело кончилось? Версальским договором, низводившим Германию до положения третьестепенной державы. Тогда только пытались судить гогенцоллернов. А теперь?

Правда, пессимизм доктора Шахта был сильно поколеблен Мюнхеном и молниеносными военными кампаниями 1939—1940 годов. Совершалось невероятное. Правящие круги Англии, Франции и США, ослепленные ненавистью к СССР, готовы были преподнести Гитлеру победу на блюде, предавая собственные государственные интересы. Порой могло казаться, что действительно старая формула Бисмарка: «Политика — искусство возможного» — отжила свое время, что прав этот напыщенный и претенциозный Альфред Розенберг, заявивший как-то, что в XX веке задача политики «сделать невозможное возможным!»

Однако у доктора Шахта была достаточно крепкая голова. Она не закружилась от первых грандиозных успехов Гитлера. Впереди ведь была война против СССР. Шахт ненавидел эту

страну, был бы счастлив, если бы она оказалась уничтоженной. Но ему никак не удавалось постичь, на чем держится это государство, из которого извлечен стержень — основа всего, чего достигла цивилизация, — частная собственность, частная инициатива. И как все непонятное, это пугало Шахта. Что произойдет с бронированными гитлеровскими колоннами на бескрайних просторах России? Каков действительный экономический и военный потенциал СССР? Каково подлинное настроение его граждан? Вот те вопросы, которые всегда являлись для него предметом глубоких раздумий и источником сомнений.

Шахт твердо помнил основное коммерческое правило: надо всегда надежно застраховаться. Ведь для того и существуют на свете страховые компании. Жаль вот только, что их устав не все позволяет гарантировать. От банкротства, например, не застрахуешься, даже уплатив самые высокие проценты. Впрочем, политика не точная копия бизнеса. Почему не попытаться обезопасить себя здесь и от банкротства. Тем более когда твердо сознаешь, что связал свою судьбу с явной и опасной авантюрой...

Мне невольно вспоминается сейчас лицо Шахта. Выражение его всегда было каким-то двойственным, как все нутро и вся жизнь этого человека. Вот он смотрит вам прямо в глаза, этакий добрый, добрый дедушка. Мягкие, несколько стушеванные временем черты. Даже в линии рта и округлости подбородка ничего жесткого. Седые волосы зачесаны наверх и мягко ложатся широкой волной. За стеклами очков искрятся улыбкой острые и хваткие глаза, как бы вбирающие в себя мельчайшие детали.

Старик как старик. Но не торопитесь с выводами. Вот он повернулся к вам в профиль, и, пораженные метаморфозой, вы вновь изучаете его. Перед вами — другой человек. Черты лица стали острее, резче, жестче. Куда делась так понравившаяся вам округлость линий. Как изменился рисунок рта, теперь плотно сжатого, тонкие губы в углах резко изогнуты вниз. Кажется, что сквозь телесную оболочку проступает подлинная суть доктора Шахта — жестокость, себялюбие, непреклонная воля. Есть в нем что-то напоминающее голову злой хищной птицы.

...Итак, Шахт решил застраховаться. С этой целью он пускается в опасную игру, впрок заготавливает себе свидетелей и покровителей. «Финансовый чародей» часто встречается с представителями западных держав и начинает сперва двусмысленные разговоры, а затем постепенно переходит к таким, за которые в гитлеровской Германии можно серьезно поплатиться.

Джордж С. Мессершмидт, генеральный консул США в Берлине с 1930 по 1934 год, вспоминает:

— Доктор Шахт всегда пытался вести двойную игру. Однажды он сказал мне (и я знаю это же говорилось им другим американским, а также английским представителям в Берлине), что у него почти ни в чем нет согласия с нацистами. Сразу же после прихода нацистской партии к власти Шахт утверждал, что, если нацисты не будут остановлены, они приведут Германию и весь мир к гибели. Я точно помню, как он подчеркивал, что нацисты неминуемо вовлекут Европу в пучину войны...

И это говорилось Шахтом именно в тот период, когда сам он открывал Гитлеру зеленую улицу к верховной власти, делал все, чтобы профинансировать авантюристические планы только что созданного нацистского правительства! Такому двоедушию могли бы позавидовать и Талейран, и Фуше.

Не обошел Шахт своим вниманием и американского посла Додда. Этот либерально настроенный профессор был в Берлине первым представителем правительства Рузвельта. Он хорошо знал немецкую историю, немецкий язык. Находясь в Берлине, отнюдь не гнушался встречами с заправилами третьего рейха. Видимо, они интересовали его не только как посла, но и как ученого-историка. К Додду заезжали Геринг, Гесс, Нейрат, Розенберг, и сам он делал им ответные визиты. Но, пожалуй, никто из них не сходился с американским послом так близко, как доктор Шахт. Определяющую роль здесь играли и родственные связи Шахта с Америкой, и его отношения с американскими деловыми кругами. К тому же в глазах либерала Додда доктор Шахт выглядел не так одиозно, как оголтелые нацисты Геринг и Гесс, Розенберг и Франк.

Очень скоро Шахту удалось внушить американскому послу мысль о своей оппозиционности гитлеровскому режиму. Это видно из многих записей в посольском дневнике. Лишь иногда Шахт несколько переигрывал, и у Додда наступало как бы прозрение, появлялись сомнения в искренности своего приятного собеседника. Но и в этих случаях он отдавал должное смелости Шахта, хотя тот ничем, собственно, не рисковал, так как был абсолютно уверен, что американский посол не продаст его Гиммлеру.

Вот одна из характерных записей Додда о Шахте, датированная 21 июня 1935 года:

«...В Германии, да, пожалуй, и во всей Европе, вряд ли найдется такой умный человек, как этот „экономический диктатор“. Положение его весьма затруднительное, а порой просто опасное. Когда я увиделся с ним в начале июня 1934 года, первым, что он сказал, было: „Я еще жив“. Фраза эта показалась мне довольно рискованной».

Самое любопытное здесь то, что сам Шахт в своих пространных показаниях на Нюрнбергском процессе ни разу не говорил, будто уже в 1935 году у него имелись какие-то разногласия с Гитлером или Герингом. Более того, он прямо заявил, что до 1936—1937 годов находился в самых лояльных отношениях со всей нацистской верхушкой. В чем же дело? А только в том, что разногласий-то между ними, по сути, не было никогда. Просто Шахт, как говорят военные, обеспечивал себя с тыла на случай отхода. Он и в 1933 году понимал, с какой бандой связал свою судьбу и, наверное, уже тогда решил, что ему, как респектабельному политику, следует начать страховаться как можно раньше:

Шахт упорно и последовательно продолжал эту линию. Даже получив отставку с поста министра экономики, он поспешил известить о случившемся Додда. Шахт не ошибся по поводу того, какое впечатление произведет это на американского посла. В посольском дневнике зафиксировано, что Додд «спросил конфиденциально Шахта, не примет ли он пост президента одного из американских банков»? «Финансовый чародей» не колебался.

— Да, — последовал его ответ, — и я был бы в восторге часто видеться с президентом Рузвельтом...

«Бедняга Шахт, — комментирует Додд, — самый способный финансист в Европе, но он кажется таким беспомощным и под большой угрозой, если станет известно о его намерении бежать в Соединенные Штаты».

Конечно, банкир Шахт, как и капитал, которому он отдал всю свою жизнь, по природе своей космополитичен. В принципе нетрудно было бы представить себе, что Шахт вдруг изменил местожительство и связал свою дальнейшую судьбу с американским капиталом. Но это лишь в принципе. Практически же ни в 1937 году, ни в последующие годы, вплоть до окончания войны, так вопрос не стоял. Разумеется, Шахт был бы доволен, если бы ему показали в те дни запись Додда. Ведь это означало, что он играет роль хорошо и сумел внушить американскому послу мысль о своей оппозиционности гитлеровскому режиму!

Впрочем, сам-то Додд вскоре убедился, что до того времени, когда Шахту может потребоваться американская виза, очень еще далеко. 21 декабря 1938 года посол снова встречается с Шахтом, и то, что сказал ему в этот раз президент имперского банка, вовсе не свидетельствовало о сборах в далекий вояж. Собеседники разговорились о судьбах многих стран и их народов, о тех условиях, которые необходимы для того, чтобы обеспечить мир на земле. Шахт определил эти условия довольно лаконично:

— Если Соединенные Штаты... предоставят Германии свободу рук в Европе, всеобщий мир будет обеспечен.

Свобода рук для нацистской Германии в Европе — вот о чем мечтал «противник» Гитлера доктор Шахт. Под этим подразумевалось, конечно, санкционирование Западом агрессивной политики Гитлера, захват им ряда малых стран, нападение на Советский Союз. Додд заключает свою мысль следующими многозначительными словами:

«Хотя Шахту и не нравится гитлеровская диктатура, он, как и большинство высокопоставленных немцев, жаждет аннексий мирным путем или же посредством войны, но при условии, что Соединенные Штаты будут стоять в стороне. Хотя я и восхищаюсь Шахтом за некоторые его смелые действия, я теперь опасаюсь, что, если он эмигрирует в Соединенные Штаты, вряд ли из него получится хороший американец».

Додду, конечно, не следовало опасаться. И не только потому, что Шахт отнюдь не хуже многих «хороших американцев», разместившихся на Уолл-стрите. Просто Шахт никуда не собирался. У него, разумеется, были колебания насчет тех или иных шагов Гитлера. Он бы в ряде случаев поступил не так, как это сделал Гитлер, и особенно Геринг. Но в целом Шахт твердо стоял на почве гитлеровской политики агрессии. Иначе зачем бы он с такой энергией и умением осуществил финансирование германского вооружения.

Шахт знал, что впереди большие события, и выжидал. Выжидал и страховался.

Снова отставка

Гитлеровская Германия вооружалась лихорадочно. Военные заводы работали с полной нагрузкой, всюду строились аэродромы. Был принят такой темп вооружений, который обеспечивал возможность подготовить страну к большой захватнической войне б течение пяти лет.

В этот период политический авантюризм Гитлера в значительной мере покоился на финансовом авантюризме Шахта. Но разница между Гитлером и Шахтом заключалась, в частности, в том, что первый действовал, закусив удила, а второго все больше одолевало беспокойство в связи с катастрофическим ухудшением финансового положения империи.

К концу 1938 года в Рейхсбанке уже не было свободных денег. Министр финансов фон Крозиг с тревогой сообщил Гитлеру, что если к 31 декабря 1932 года консолидированный текущий государственный долг составлял 12,5 миллиарда рейхсмарок, то на 30 июня 1938 года он возрос уже до 35,8 миллиарда рейхсмарок. Тем не менее в том же 1938 году были сделаны новые огромные вложения в программу вооружений — около 11 миллиардов марок.

7 января 1939 года Шахт представляет Гитлеру меморандум, в котором излагает свои опасения по поводу надвигающейся инфляции. Он предлагает ряд мер по ограничению прав других государственных органов в расходовании средств, добивается установления жесткого финансового контроля Рейхсбанка над всеми расходами. Происходит бурный разговор с фюрером, после которого президент имперского банка подает в отставку.

На Нюрнбергском процессе Шахт пытался представить и эту отставку как еще одно проявление своей «оппозиции» гитлеровскому режиму. А через много лет после процесса он стал расценивать ее даже как доказательство «оппозиционности» Гитлеру германских монополий, якобы стремившихся сорвать планы развязывания войны.

Но в действительности, разумеется, отставка Шахта ничего общего не имела ни с тем, ни с другим. О подлинных ее причинах достаточно ясно сказал Международному трибуналу преемник Шахта Эмиль Пуль:

— Когда Шахт увидел, что опасная ситуация, санкционированная им, становится все более неразрешимой (надвигалась инфляция. — А. П.), он все сильнее стремился выпутаться из создавшегося положения.

На подлинные причины ухода Шахта с поста президента

имперского банка проливают свет и показания фон Крозига:

— Я спросил Шахта, финансировать ли империю до конца месяца сотней или двумя сотнями миллионов? Это была совершенно обычная процедура, которой мы пользовались в течение долгих лет. Но в тот раз Шахт сказал, что он не хочет финансировать хотя бы одним пфеннигом, чтобы Гитлеру стало ясно, что империя обанкротилась.

Крозигу был задан обвинителем вопрос:

— Говорил ли вам когда-нибудь Шахт о своем намерении уйти в отставку, потому что он понял: развитие программы вооружений является подготовкой к войне, а не к обороне?

Ответ гласил:

— Нет, он никогда не говорил этого.

Еще более категорично высказался Геринг. Следователь попросил его уточнить:

— Был ли Шахт смещен с поста президента рейхсбанка Гитлером за то, что он отказался принимать участие в программе перевооружения?

И Геринг ответил:

— Это не имело никакого отношения к программе перевооружения.

О второй отставке Шахта можно бы, пожалуй, и не распространяться здесь так много, если бы она не помогала лучше раскрыть истинное лицо этого человека. В данном случае он как бы поворачивается к нам под новым углом и обнаруживает еще одну черту своего характера.

Шахт мог сделать и действительно делал все возможное и невозможное, дабы помочь Гитлеру подготовиться к войне. Он был готов пожать плоды победы. Но когда запущенная им с авантюристической смелостью финансовая машина оказалась почти на краю пропасти и оставались только две возможности — либо проскочить над этой бездной по рельсам успешной войны (в чем уверенности не было), либо провалиться в нее и навсегда прослыть в деловом мире безнадежным банкротом, — Шахт не колебался и без сожаления передал руль управления Рейхсбанком Эмилю Пулю. Яльмар Шахт всегда связывал свое солидное имя только с преуспевающими фирмами или людьми.

Отставка Шахта с поста президента Рейхсбанка была очередным звеном в его политике самостраховки. На случай провала он умывал руки. На случай возможного успеха сохранял за собой пост имперского министра без портфеля. Шахт не сомневался, что, когда придет время делить пирог (если только Гитлеру удастся испечь его), он сумеет получить свой кусок, и притом постарается отхватить побольше!

Но и Гитлер сделал для себя выводы. После отставки Шахта он начал понимать всю катастрофичность финансового положения империи. В этих условиях был один разумный выход — сократить расходы на вооружение, сбалансировать бюджет. Однако такой выход означал отступление от всей той линии твердо решенной политики, без которой не было бы ни фашизма, ни самого Гитлера. Поэтому Гитлер пошел по иному пути — стал ускорять развязывание войны, надеясь с ее помощью, за счет ограбления других стран и народов поправить положение империи, в том числе и финансовое.

Все это, видимо, отлично понимали иностранные дипломаты, внимательно изучавшие обстановку в Германии. 6 апреля 1939 года советник английского посольства в Берлине Форбс доносил в Лондон:

«Ни в коем случае нельзя исключать того, что Гитлер прибегнет к войне, чтобы положить конец тому несносному положению, в которое он поставил себя своей экономической политикой».

Да и посол Великобритании Гендерсон в письме Галифаксу от 6 мая того же года ставил отнюдь не риторические вопросы:

«Сможет ли она (то есть фашистская Германия. — А. П.) пережить еще одну зиму без краха? А если нет, то не предпочтет ли Гитлер войну экономической катастрофе?»

Доктор Шахт перед выбором

Итак, дело явно шло к войне. Шахт занял позицию выжидания.

Все, что требовалось от него по изысканию средств для финансирования вооружений, было уже сделано. Вермахт в запланированных размерах создан. И если раньше Гитлер не уступал требованиям Геринга о смещении Шахта, то в 1939 году он довольно легко принял отставку последнего. Теперь решающее слово было не за тем, кто финансировал вооружения, а за вермахтом и его генералами.

Гитлер отлично сознавал значение связей Шахта с западноевропейскими и американскими финансовыми кругами. Благодаря этим связям Германия получила немало кредитов. Все это так. Но Гитлер понимал и другое: кредиты не давались из одной лишь симпатии к Шахту или к нему самому. От Германии ждали реальных действий — нападения на Советский Союз. Именно в этом заключалась политика Мюнхена. В тесном кругу своих подручных Гитлер сказал однажды:

— Мне придется играть в мяч с капитализмом и сдерживать «версальские державы» при помощи призрака большевизма, заставляя их верить, что Германия — последний оплот против красного потопа. Для нас это единственный способ пережить критический период, разделаться с Версалем и снова вооружиться.

Вот в этой-то игре в мяч с Западом большую помощь Гитлеру как раз и оказал Яльмар Шахт. Но никакая игра не может длиться до бесконечности. Пришел срок реализовать обещания о «походе на Восток», об уничтожении Советского государства.

При всей своей авантюристичности Гитлер не мог не сознавать, что нельзя ставить только что созданный вермахт перед риском схватки с самым сильным государством Европы. Война с Советским Союзом в 1939 году, когда Германия еще не покорила «версальские державы», была чревата слишком большими опасностями. Поэтому Гитлер и германские генералы все более склонялись к тому, чтобы до «похода на Восток» осуществить агрессию на Западе.

Догадывался ли, знал ли об этом доктор Шахт? Разумеется. Он был в курсе всех основных направлений внешней политики Германии. Устраивал ли его «западный вариант» развязывания войны? Нет конечно! Шахту были очень близки интересы капиталистического Запада. Он был слишком тесно связан с монополиями США и Англии, с такими крупными германскими

фирмами, как Тиссен, которые тоже всегда делали ставку только на «восточный вариант». Шахт считал новый курс в германской военной стратегии ошибочным, а потому еще больше укрепился в своем решении временно отойти в сторону, занять положение наблюдателя.

Гитлер же, в свою очередь, сжигая мосты на Запад, отдавал себе ясный отчет в том, что отныне ему нужно проводить политику Шахта другими руками. И это тоже в какой-то мере объясняет, почему в 1939 году политический диктатор Германии так легко разошелся с ее «экономическим диктатором».

Но Шахт только отошел, а не ушел. Он остался в составе правительства. И справедливость требует признать, что, даже занимая выжидательную позицию, не упускал случая оказаться полезным Гитлеру. Ведь тогда еще нельзя было с точностью определить, как разовьются события.

До сентября 1939 года Шахт пробует свои силы на дипломатическом поприще. В марте он прикатил в Швейцарию, чтобы встретиться со своими английскими друзьями и попытаться склонить их на союз с Гитлером. Контрагенты хорошо понимали, что нужно каждому. Дело явно шло к войне, и одной из сторон в ней несомненно должна была стать Германия. Но куда двинется вермахт? Шахт приехал на встречу с доверенным лицом английского правительства, чтобы авторитетно разъяснить ему: Польше не миновать германского удара, но Гитлер хочет «не только Польшу, он хочет также и Украину». Яснее не скажешь! Это можно было понимать только в одном смысле: если вы, англичане, пойдете на сделку с Гитлером совсем, как несколько месяцев назад в Мюнхене, то Германия двинется в большой «Дранг нах Остен».

Чтобы установить «взаимопонимание» с Англией (разумеется, в антисоветских целях), Шахт неоднократно курсирует между Берлином и Цюрихом, использует свои связи с Банком международных расчетов. Затем неутомимый министр предпринимает ряд попыток установить контакт с руководящими кругами США. Тут он делает ставку на президента одного из ведущих банков Нью-Йорка Леона Фрейзера, имеющего личные связи с Рузвельтом. Шахт просит у Фрейзера помощи для получения официального приглашения в США.

Приглашения такого не последовало, но домогательства Шахта имели тем не менее определенный успех. В марте 1940 года, когда в Европе уже бушевала война, в Берлин приехал заместитель государственного секретаря США Самнер Уэллес. Он встречался с Гитлером, Герингом, Риббентропом. И никто не удивился, что эмиссар Вашингтона нашел также необходимым

специально встретиться с министром без портфеля. Он по-прежнему видит в Шахте весьма влиятельного человека и именно ему он поверяет следующие слова: «США не заинтересованы в разгроме Германии».

Летом 1940 года вермахт повергает в прах новые страны. Разгромлены Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия. За каких-нибудь пять-шесть недель у ног победителя преданная своими политиками и генералами Франция. Шахт ходит гоголем по залам имперской канцелярии: в этих потрясающих успехах немалая толика и его трудов. Шахт ликует по поводу победы над Францией и демонстративно показывает это всем. Он лезет из кожи вон, лишь бы убедить Гитлера в своей лояльности. Он хочет выглядеть перед своим фюрером, как в достопамятные дни февраля 1933 года. Он готов забыть о ссоре с Герингом — война есть война и надо объединять усилия. Ведь еще в начале года Шахт предлагал свои услуги для ведения переговоров с США о прекращении американской помощи Англии...

Обвинение предъявляет Международному трибуналу документ за документом, чтобы показать, что господин министр без портфеля не напрасно получал свое жалованье. Первоначально идут бумаги. Потом вдруг в зале гаснет свет, и на развернутом с утра киноэкране появляются расцвеченные яркими плакатами и транспарантами улицы Берлина. Оркестры играют бравурные марши. Нацистская столица встречает Адольфа Гитлера, прибывшего из Парижа, где он заставил наконец этих «отвратительных французов» подписать капитуляцию.

Бесстрастный объектив фиксирует рядом с Гитлером всю его компанию — Геринга, Гиммлера, Геббельса... Среди «верных паладинов» фюрера оказался и министр без портфеля. Бурно проявляя свой восторг, он поздравляет Гитлера с окончанием очередного акта агрессии.

Кино сыграло с Шахтом злую шутку. В день демонстрации на процессе этого документального фильма «финансовый чародей» был явно удручен. Не в пример Герингу, который, поворачиваясь то влево, то назад, спешил обратить внимание господ подсудимых на приятные для него кадры...

Лето 1941 года. Позади ряд успешных и по-прежнему молниеносно проведенных операций, в результате которых почти вся Европа оказалась у ног завоевателя.

22 июня Германия напала на Советский Союз, и Шахт опять старается быть полезным Гитлеру. В октябре он пишет письмо министру экономики и президенту имперского банка Вальтеру Функу, верноподданнически выражая свои мысли о наиболее эффективных формах эксплуатации оккупированных территорий.

Однако первые успехи германской армии в войне против Советского Союза не вскружили Шахту голову. Он считал, что на полях России вряд ли повторится французская кампания.

Конец 1941 года дал новую пищу пессимизму Шахта. Советская Армия отбросила противника на сотни километров от Москвы. Это была первая ласточка победы над фашизмом, первый серьезный удар, имевший не только чисто военное, но и огромное морально-политическое значение.

В то же время Яльмар Шахт с тревогой наблюдал за растущей дружбой советского народа с народами Америки и Англии. Он отлично понимал, какие опасности для нацистской Германии таит в себе создание антигитлеровской коалиции в лице СССР, США и Великобритании.

И наконец, совсем вывели его из равновесия траурные флаги на улицах Берлина зимой 1943 года. Великая битва на Волге закончилась для «третьей империи» сокрушительным поражением.

После этого Шахт окончательно утвердился в мысли, что дело Гитлера, которому он отдал столько сил, проиграно. Пришло время быть не с Гитлером, а против него. Чем быстрее развиваются события на восточном фронте, тем повелительнее становится требование искать новый путь. И имперский министр без портфеля решает покинуть корабль, который уже начинает захлестывать волна.

В тот период никто еще из состава гитлеровского правительства не был настроен так пессимистически, как Шахт. В особом мнении представителя Советского Союза в Международном трибунале правильно отмечалось, что «Шахт, поняв ранее, чем многие другие немцы, неизбежность краха гитлеровского режима, покидает Гитлера».

В 1943 году еще раз проявились качества Шахта как умного и опытного политика, хорошо сознававшего, что и в делах международных, как и во всех иных случаях, плетью обуха не перешибешь, нужна гибкость. Петляющая юркая лиса может порой успешно избежать, казалось бы, неотвратимой гибели. А смертельно раненный тигр, тупо идущий прямо на охотника, уже приготовившего для него второй заряд, ничего не достигает своим предсмертным рычанием.

В 1938 году Шахт привел к присяге на верность Гитлеру служащих Австрийского государственного банка и, как мы уже знаем, заявил при этом: «Будь проклят тот, кто нарушит ее. Нашему фюреру трижды „Зиг хайль!“. А вот теперь он сам плюет на эту присягу и хочет крикнуть: „Будь проклят фюрер, который завел Германию в такой тупик!“

Хочет, но пока еще не может. То, что он сделал, став на путь тайной борьбы с Гитлером, используя при этом связь с противником, на языке уголовного права называется государственной изменой.

Именно изменником и называли его подсудимые в Нюрнберге, когда Шахт распространялся о своем участии в заговоре. Но тот в душе смеется над ними. Пусть эти выродки — Геринг и Риббентроп, Кальтенбруннер и Франк — называют его, как хотят. Им ли, пигмеям, понять настоящего политика, человека с большим горизонтом. Талейрана тоже считали изменником, когда он в 1807 году предал Наполеона, вступив в тайные связи с Александром. Но разве не нашлись люди, которые тотчас же стали оправдывать его. Вот что писал о Талейране один из современных ему немецких публицистов:

«Я никогда не мог понять, почему люди всех времен так не понимали этого человека! Что они порицали его, это хорошо, но слабо, добродетельно, но не разумно; эти порицания делают честь человечеству, но не людям. Талейрана упрекают за то, что он последовательно предавал все партии, все правительства. Это правда: он от Людовика XVI перешел к республике, от нее — к директории, от последней — к консульству, от консульства — к Наполеону, от него — к Бурбонам, от них — к Орлеанам и, может быть, до своей смерти от Луи-Филиппа снова перейдет к республике. Но он вовсе не предавал их всех, он только покидал их, когда они умирали. Он сидел у одра болезни каждого времени, каждого правительства, всегда щупал их пульс и прежде всех замечал, когда их сердце прекращало свое биение. Тогда он спешил от покойника к наследнику, другие же продолжали еще короткое время служить трупу. Разве это измена?»

То же самое в определенной мере было свойственно Шахту. Но если с Веймарской республикой он расставался без всякого сожаления, зная, что на смену ей уже подготовил «сильного человека», «сильную власть», то с Гитлером дело обстояло несколько иначе. Здесь Шахт и те, кто стояли у него за спиной, не склонны были спешить, хотя история и давала мало времени для раздумья. Нужно было хорошенько подготовить смену скомпрометированному ефрейтору. Ведь шла война с Востоком, наступал Советский Союз. Внутри Германии все более активно действовали в подполье антифашистские организации во главе с набиравшей новые силы Коммунистической партией Германии. А Шахт и другие заговорщики свою задачу видели в том, чтобы, убрав Гитлера, спасти капитализм в Германии, спасти господство монополий, не допустить никаких случайностей и не упустить власть.

Яркий свет на характер антигитлеровского заговора немецкой монополистической буржуазии и помещичье-юнкерских кругов пролил на Нюрнбергском процессе допрос свидетеля Гизевиуса — видного немецкого полицейского чиновника и в то же время тайного агента американской разведки. Изыскивая пути для того, чтобы, сбросив Гитлера, сохранить за собой власть, заговорщики установили связь с американскими разведывательными органами в Швейцарии, которые тогда возглавлял Аллен Даллес. Отдельные патриотические элементы, участвовавшие в заговоре, вроде полковника Штауффенберга, не могли изменить его основной направленности. Это был заговор хищников против хищника, сговор германских реакционеров с реакционными кругами США и Англии.

Но, оказавшись на скамье подсудимых, Шахт пытался обратить в свою пользу даже показания Гизевиуса. Ему так хотелось добиться признания Международным трибуналом того факта, что именно он был одной из решающих фигур заговора и стал таковой еще до войны.

На скамье подсудимых эта попытка Шахта, естественно, вызвала раздражение. И не потому, разумеется, что Шахт стремился спасти свою жизнь. Его вчерашним коллегам обидно было, что никто из них не подумал хоть в последние месяцы существования империи создать себе такое, как он, алиби. Эта лиса умудрялась так служить Гитлеру, что в случае победы всегда можно было доказать, будто последняя не могла бы быть достигнута без титанических усилий доктора Шахта, а при поражении все выходило наоборот: никто столько не сделал для уничтожения тирании, как доктор Шахт. Эта дьявольская, с двойным дном тактика Шахта вызывала зависть, а из зависти рождалась ненависть.

В перерыве Бальдур фон Ширах стал объяснять своим коллегам, каким образом Шахт построил бы свою защитительную речь, если бы Гитлер победил и пришлось бы отвечать за участие в заговоре. Тогда он наверняка заявил бы:

— Как вы смеете утверждать, что я состоял в заговоре против Гитлера, в то время, как хорошо известно, что я всегда был одним из его самых верных союзников. Только потому, что Гизевиус вам сказал это? Да он же сам был предателем, пошел на службу врагу во время войны. Разве вы не видели в документальных фильмах, как сердечно я приветствовал Гитлера в Анхальт-Бангофе после его возвращения из Парижа в тысяча девятьсот сороковом году? Разве вы можете забыть, что именно я собрал необходимые средства, чтобы помочь фюреру победить на выборах тысяча девятьсот тридцать третьего года? А кто приложил подлинно

титанические усилия, чтобы обеспечить финансирование наших вооружений? Не стройте себе иллюзий, без меня вы не выиграли бы войну. А разве вы можете забыть мои речи в связи с аншлюсом и в Праге? Разве вы можете при этих условиях сомневаться в моей верности фюреру?..

Все слушавшие эту импровизацию Шираха смеялись. Только Шахт по-прежнему был невозмутим. Пусть смеются, лишь бы Гизевиус говорил то, чего ожидает от него Шахт.

Но Гизевиус говорил не всегда то и не всегда так, как хотелось бы Шахту. Вот он сообщает, что один ИЗ заговорщиков, а именно генерал Гальдер, еще до войны встречался с Шахтом и вел переговоры по поводу путча. Однако тут же оговаривается:

— Я хочу подчеркнуть, что в отношении Шахта не только я, но и мои друзья не раз задумывались. Шахт всегда оставался для нас вопросом, загадкой.

«Загадка» Шахт слушал и сардонически улыбался. Какая же загадка? Никакой загадки, в сущности, не было. Просто политический барометр еще не показывал, что пора пустить механизм заговора в действие. Тогда, в 1938 году, на полный ход был запущен другой механизм под лаконичным названием «Мюнхен». И то был заговор, но не против Гитлера, а с помощью Гитлера против Советского Союза. Привести же в действие заговор против фюрера потребовалось только тогда, когда с треском провалился блестящий мюнхенский план и солдаты с Востока уже настойчиво стучались в берлинские ворота.

Вот на этом этапе Шахт действительно примкнул к заговору. Но и здесь на всякий случай так обставил свое участие в нем, что, спокойно проводив на гиммлеровскую плаху неудачливых путчистов, сам отсиделся в лагере до тех пор, пока не закончилась война.

В Нюрнберге он, конечно, утверждал, что непосредственно участвовал в организации покушения на Гитлера. Однако Гизевиус, отвечая на вопрос обвинителя, должен был признать, что Шахт даже не знал конкретно, когда намечалось покушение на Гитлера.

Доктор Дикс решительно пренебрег этой «деталью». Он предпочел нырнуть в глубины истории. Адвокат ставит Шахту вопрос:

— Известны ли вам из истории случаи, когда сановники какого-либо государства пытались свергнуть главу государства, которому присягали на верность?

— Я думаю, что в истории любой страны имеются такие примеры, — кротко отвечает Шахт.

Подсудимый проявляет полную готовность тут же пуститься в

далекий экскурс, но председательствующий сразу прерывает его. И Шахту и его защитнику делается напоминание, что трибунал легко обойдется без исторических примеров.

Тем не менее доктор Дикс вернулся к этому в своей защитительной речи, преследуя, видимо, две цели: во-первых, показать, что панегирики в адрес Гитлера и гитлеровского режима, произнесенные некогда Шахтом, являлись, по существу, формой маскировки заговорщика; а во-вторых, добиться моральной реабилитации своего подзащитного в той среде немцев, которая упорно не хотела принимать во внимание никаких оправданий для крупного правительственного чиновника, если он во время войны вступил в сделку с противником, и потому назвала бывшего министра без портфеля изменником.

— История учит нас, — начал адвокат, — что как раз заговорщик, если он принадлежит к избранным лицам и осуждает главу государства, с внешней стороны всегда старается показать свое подобострастие.

В этой связи доктор Дикс сослался на весьма эффектную пьесу Ноймана. В ней раскрывается история убийства русского императора Павла его первым министром графом Паленом. Царь до самого последнего момента верил в демонстративно подчеркнутую преданность графа. И неспроста. Сохранился документ, адресованный Паленом русскому послу в Берлине, незадолго до покушения. В нем граф Пален все время величает Павла «нашим светлейшим императором».

Эту свою историческую справку адвокат закончил словами:

— Характерно, что пьеса Ноймана называется «Патриот». Известные проповедники морали, которых сегодня очень много и которые требуют стальной крепости для сохранения принципов, не должны забывать, что сталь имеет два свойства: не только твердость, но и гибкость.

Затрудняюсь сказать, убедили ли слова Дикса кого-либо из немцев. Но западные судьи сочувственно отнеслись к защитительному доводу Шахта и его адвоката, основанному на участии «финансового чародея» в заговоре 20 июля 1944 года. В результате в приговоре Международного трибунала было указано на то, что гитлеровская клика относилась к Шахту «с нескрываемой враждебностью», на арест Шахта, который якобы «в той же мере основывался на враждебности Гитлера к Шахту, выросшей из подозрений в его причастности к покушению».

Шахт еще и еще раз мог убедиться, что последние сцены в драме третьего рейха он провел куда лучше, чем его соседи по нюрнбергской скамье.

Почему разошлись судьи?

Любой объективный человек, который был в зале суда, когда там шло рассмотрение дела Шахта, ни минуты не мог бы сомневаться в том, что этого подсудимого ожидает тяжелое возмездие. Но по мере того как процесс шел к концу, начали появляться новые признаки: многие стали угадывать, что Шахту при решении его судьбы может быть преподнесен любой сюрприз.

Видимо, и сам он начал обретать веру в благополучный исход. Это легко прослеживалось по его настроению и поведению.

Как-то во время перерыва между заседаниями суда американский офицер охраны заметил, что подсудимый Шпеер, в прошлом архитектор, что-то увлеченно чертит.

— Что вы там рисуете? — строго спросил американец.

— Ах, вы об этом чертеже? — отреагировал Шпеер. — Видите ли, Шахт заказал мне проект виллы, которую он собирается построить после окончания процесса.

Кивком головы доктор Шахт подтвердил, что он действительно сделал Шпееру такой «заказ».

А спустя еще несколько дней в зале суда состоялся весьма характерный диалог между Шахтом и главным американским обвинителем Джексоном. В который уже раз представляя себя противником нацизма, Шахт сослался на свой уход с поста президента имперского банка и заявил, что, будучи министром без портфеля, он практически не нес никаких обязанностей, эта должность была чисто номинальной. Джексон уместно напомнил Шахту, что, даже занимая этот «номинальный пост», Шахт продолжал получать от Гитлера пятьдесят тысяч марок в год.

— А как же иначе, господин обвинитель? — нагло отозвался подсудимый. — Я надеюсь, что и после окончания процесса получу свою пенсию. В противном случае на что же я буду жить?

Тут последовала язвительная реплика американского обвинителя:

— Я думаю, что расходы на ваше содержание после процесса будут невелики, доктор.

После этого обмена «любезностями» в судебном протоколе — ремарка: «В зале смех». Стенографистка, конечно, не указала, да, по-видимому, и не смогла бы указать, почему и над чем смеялась публика. Автору этих строк памятна обстановка, в которой протекал допрос Шахта. Публика в зале была весьма разношерстной. Там находились и многоопытные юристы, и весьма состоятельные американские туристы, и влиятельные журналисты от Херста и Маккормика. Не так-то легко было

определить, над чем смеялись эти люди — над неуместной самоуверенностью Шахта или наивным оптимизмом обвинителя.

Но очень скоро стало ясно, что для такой самоуверенности Шахта имелись некоторые основания. Он почувствовал, что кроме доктора Дикса у него есть еще и другие защитники, причем куда более могущественные, чем его адвокат. Было время, когда Шахт помог им пополнить свои сейфы. Теперь они должны прийти на помощь ему.

Всю свою жизнь «финансовый чародей» провел в спешке, в суматохе. Впервые у него так много свободного времени. Долгие зимние вечера в отдельной камере Нюрнбергской тюрьмы настраивали на воспоминания, на анализ. И как ни суди, а многие из тех, кто так влиятелен ныне в заокеанской державе, немало обязаны Шахту.

Разве не он содействовал Моргану и Диллону при рождении «плана Дауэса», на котором американские банкиры заработали сотни миллионов долларов. Разве не Шахт дал американским промышленникам крупно заработать на вооружении германской армии. Наконец, не один ведь Шахт ратовал за установление власти Гитлера. Когда он приезжал в Соединенные Штаты, ему не стоило большого труда убедить нью-йоркскую биржу и вашингтонских чиновников в том, что только передача власти в руки Гитлера обеспечит «порядок в Европе» и «крестовый поход против СССР». Шахт добивался предоставления Германии новых американских займов. Он знал, и знал хорошо, что «деловые люди» Нью-Йорка не могут безразлично относиться к тому, кто сидит в немецком седле. В германскую промышленность были вложены огромные американские капиталы, и не одному только богу известно, как Форд и «Дженерал моторс» через свои филиальные заводы в третьем рейхе помогли создать моторизованные части гитлеровской армии, а Морган — герингoвскую авиацию.

А можно ли забыть, что в 1942—1943 годах Шахт неоднократно встречается с американскими банкирами в Базеле, предлагая им мир на Западе. Американские толстосумы с сочувствием отнеслись тогда к его предложениям, и все развивалось вполне удовлетворительно, пока нацистские завоеватели «не сели на мель сталинградского несчастья».

Неутомимый в своей службе интересам США, Шахт и после этого предлагал, чтобы германская промышленность стала совместной собственностью американских и немецких монополий, а в компенсацию за это вермахту была бы предоставлена возможность продолжать войну против СССР, прекратив боевые действия на Западе. Американские друзья снова

одобряли его план. Аллен Даллес делал даже попытки поставить Шахта у кормила государственной власти Германии. Однако под ударами Советской Армии сначала зашаталась, потом надломилась, а затем и вовсе рухнула та сцена, на которой собирался выступать Шахт.

Яльмар Шахт все это помнит, но не понимает: неужели американцы заинтересованы в том, чтобы он дал здесь, в Нюрнберге, «чистосердечные» показания? И с какой стати разрешают они людям в судейских мантиях копаться в святая святых — в делах банков и концернов! Неужели же американский обвинитель Джексон только затем и направлен в Нюрнберг, чтобы вывернуть наизнанку связи «ИГ Фарбениндустри» с американским концерном «Стандарт ойл» и вообще раскрыть перед простыми смертными великую тайну, в которой рождается война?

Шахт внимательно следил в ходе процесса за американской прессой и время от времени находил там ответ на некоторые из терзавших его вопросов. Но главное заключалось не в этом. Главное для Шахта состояло в другом: по прессе он установил, что пришли наконец в действие пружины механизма, способного выгородить его. Однако на всякий случай Шахт решил публично напомнить американским судьям (кто их знает, догадаются ли сами!) об одном векселе, полученном перед самой войной:

— Поверенный в делах США мистер Керк, прежде чем покинуть свой пост в Берлине, прощаясь со мной, заявил, что после войны ко мне отнесутся, как к человеку, совершенно не запятнавшему себя.

А затем в один из майских вечеров 1946 года уже в своей камере, беседуя с Джильбертом, Шахт прямо заявил:

— Заверяю вас, что если я не буду оправдан, то это станет вечным позором для трибунала и международного правосудия.

И вот 1 октября 1946 года Международный трибунал оглашает свой приговор. Шахт, Папен и Фриче оправданы. Председательствующий лорд Лоуренс предлагает коменданту суда немедленно освободить их.

Вся скамья подсудимых повернулась налево, где кучкой сидели эти трое счастливцев. Перед зачтением приговора остальным подсудимым был объявлен перерыв. Фон Папен ликовал и, как он сам признался, был удивлен:

— В душе я надеялся, но в действительности не ожидал этого.

Затем Папен сделал последний театральный жест — вынул из кармана апельсин, который сохранил от завтрака, и попросил Джильберта передать его фон Нейрату. Фриче передал свой апельсин Ширахy. Доктор Яльмар Горацио Грили Шахт сам съел

свой апельсин.

Оправдательный приговор этим трем гитлеровцам вызвал глубокое возмущение в самых широких кругах общественности. Наиболее поразительным являлось оправдание Шахта. Советский судья генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко не согласился с приговором в этой части и заявил свое особое мнение.

Дальнейший ход событий нашел отражение в мемуарах Ганса Фриче. Когда оправданные военные преступники собирались уже покинуть тюрьму, пришел доктор Дикс и сообщил, что здание суда окружено германской полицией и все они, несомненно, будут арестованы, как только американцы освободят их.

«Нам посоветовали, — свидетельствует Фриче, — не оставлять здания и выжидать дальнейшего развития событий. Полковник Эндрюс предложил нам переночевать в здании, но потребовал подписать документ о том, что мы по собственной воле решили временно остаться в тюрьме. На следующий день около полуночи два американских грузовика въехали в тюремный двор. Шахт сел в одну из машин, я в другую».

Обе эти машины под покровом темноты проскочили через тюремные ворота и на большой скорости разъехались в разные стороны. Тем не менее вскоре Шахт был обнаружен и арестован. То же самое случилось потом и с Папеном.

В чем же дело? Почему все-таки эти люди, которых преследует как преступников отечественная полиция, оказались оправданными в Международном трибунале? Ведь даже судьи, представлявшие там США, Англию и Францию, записали в приговоре:

«Совершенно ясно, что Шахт был центральной фигурой в германской программе перевооружения и что предпринятые им шаги, в особенности в первые дни нацистского режима, дали возможность нацистской Германии быстро стать великой державой».

Сам Шахт мог бы добавить к этому, что за его спиной стояли воротилы Рура. Они-то понимали, какие огромные прибыли сулило им вооружение вермахта и какие широкие возможности грабежа других стран открывала перед ними большая война, подготовлявшаяся нацистами. То, что не удалось достичь в ходе обычной конкурентной борьбы на европейских рынках, нацисты обещали добыть при помощи штыков.

Шахт мог бы поведать, с какой энергией включились рурские монополии в программу подготовки войны. Мог бы вспомнить, как сам он или его представители неизменно участвовали во всех важнейших совещаниях крупных промышленников с Гитлером и Герингом, как эти толстосумы аплодировали в 1936 году словам

Гитлера о том, что «немецкая экономика должна стать за четыре года готовой к войне».

Шахту не надо было бы особенно напрягать память, чтобы припомнить многочисленные соглашения между германским верховным командованием и крупнейшими монополиями о содействии последних в осуществлении разведывательной работы за рубежом; о специальных органах, созданных «ИГ Фарбениндустри» и другими концернами для осуществления экономического шпионажа в странах, против которых готовилась агрессия.

Шахт, который до 1943 года был членом гитлеровского правительства, мог бы рассказать, каким образом это правительство, осуществив целую серию агрессивных актов, щедро отблагодарило рурских магнатов. Он, конечно, не забыл, как долго и упорно соперничал на европейских рынках концерн «ИГ Фарбениндустри» с австрийским химическим трестом «Пульверфабрик» и как все просто решилось после того, как Австрия была захвачена вермахтом (австрийский трест просто был поглощен германским химическим спрутом).

А заводы Шкода? Разве мало они доставляли неприятностей Круппу, конкурируя с ним на мировых рынках? И тоже как все просто решилось, когда нацистский сапог вступил в Прагу.

У Шахта хорошая память. Он с легкостью вспомнил бы множество таких примеров, когда хищные рурские волки, следуя в обозе гитлеровских войск, захватывали сотни заводов и фабрик в Европе. И как аплодировали в Руре, когда 22 июня 1941 года вермахт широко раскрыл ворота для грабежа советских территорий, как возрадовались грабители на Рейне, ознакомившись с директивой о том, что «в конечном итоге, ныне оккупируемые восточные территории будут эксплуатироваться с колониальных позиций и колониальными методами».

Ведь именно это Шахт обещал господам из Рура, призывая их в 1932 году раскошелиться в пользу Гитлера. И вот настал момент — Гитлер решил оплатить векселя. Лихорадочно создавались новые монополистические объединения. Появились «Континенталь Ойл Акциенгезельшафт» — для выкачивания советской нефти, «Берг-унд-хюттенверке Ост» — для эксплуатации и демонтажа советской горнодобывающей и металлургической промышленности.

Сотни эшелонов с советским сырьем, готовой продукцией и оборудованием двигались с востока на запад. И с запада на восток следовали «управляющие» на захваченные советские заводы. Химический концерн «ИГ, Фарбениндустри» поторопился назначить своих «управляющих» на предприятия по производству

синтетического каучука не только в Ярославль и Воронеж, но и Ереван и Сумгаит, Казань и даже Челябинск, Новосибирск, Актюбинск. Недаром в деловой переписке этого концерна о нашей стране говорилось уже в прошедшем времени: «бывший Советский Союз».

А рабский труд! Сколько миллионов даровых рук получили германские монополии благодаря нацистам. Разве не были предъявлены в Нюрнберге «соглашения» между рурскими концернами и Гиммлером о строительстве заводов на территории Освенцима и других лагерей смерти. Разве мало сотен тысяч людей погибло на этих заводах с каторжным режимом труда. Шахт сделал вид, что его передернуло, когда обвинители предъявили документ, свидетельствующий о том, как концерн «ИГ Фарбениндустри» наживался и на прямых убийствах миллионов людей в лагерях, сбывая эсэсовцам яд «Циклон-Б». Шахт скорчил совсем уж возмущенную мину, когда советский обвинитель Лев Николаевич Смирнов предъявил переписку германской фирмы «Топф и сыновья», услужливо предлагавшей эсэсовскому руководству свои «наиболее усовершенствованные» кремационные установки для концлагерей в Освенциме и Треблинке.

Вчерашний «экономический диктатор» Германии отлично понимал, что все это отдаленные, но вполне естественные для господ из Рура последствия той политики, которую он проводил в течение ряда лет. И право же было поразительно, когда вдруг у западных судей Международного трибунала возникли сомнения в виновности Шахта. Право же было противоестественным предполагать, будто Шахт не знал, что вся его политика вооружения нацистского вермахта имела какую-либо иную цель, кроме войны, агрессивной войны, грабительской.

Тем не менее именно этот довод выставили западные судьи в оправдание Шахта при вынесении приговора ему. Признав, что Шахт был «центральной фигурой в германской программе перевооружения», они тут же сделали оговорку:

«Но перевооружение, как таковое, не является преступным актом в соответствии с Уставом. Для того чтобы оно явилось преступлением против мира, как оно предусматривается статьей 6 Устава, должно быть доказано, что Шахт проводил это перевооружение как часть нацистского плана для ведения агрессивной войны».

Иначе говоря, в приговоре утверждалось, будто Шахт вооружил вермахт, не зная, что Гитлер собирается использовать его для войны. Он, оказывается, «принимал участие в программе перевооружения лишь потому, что хотел создать сильную и

независимую Германию».

Однако мы уже видели, что многочисленные материалы обвинения, тщательно исследованные Международным военным трибуналом, не давали решительно никаких оснований для таких выводов. Больше того, и без суда было предельно ясно, что агрессивные планы Гитлера являлись не большим «секретом», чем библия нацизма «Майн кампф», изданная в Германии шестимиллионным тиражом.

Еще 19 сентября 1934 года Шахт в беседе с американским послом в Берлине Доддом признавал, что «партия Гитлера полна решимости начать войну, народ тоже готов к войне и хочет ее».

А 27 мая 1936 года в присутствии Шахта на заседании совета министров Геринг заявил:

— Все мероприятия следует рассматривать с точки зрения обеспечения ведения войны.

Разве этого было недостаточно, чтобы понять, для чего нужно вооружение Гитлеру.

Впрочем, и сами западные судьи, видимо, находились под большим впечатлением документальных доказательств виновности Шахта. Иначе трудно объяснить появление в приговоре следующего утверждения:

«Шахт, будучи прекрасно осведомленным в германских финансах, находился в особенно выгодном положении для того, чтобы понять подлинный смысл сумасшедшего перевооружения, которое проводил Гитлер, и осознать, что принятая экономическая политика могла иметь своей целью только войну».

Но если все это так, то почему же он оправдан?

Суть здесь надо искать не в красноречии и афоризмах доктора Дикса, а в чем-то другом, более весомом.

Пока шел большой процесс в Нюрнберге, следственные власти союзников готовили материалы для новых процессов, в частности для процесса против руководителей германских монополий. Крупп, Флик, Шницлер и другие им подобные обвинялись в том, что помогли Гитлеру прийти к власти и снабдили его оружием, создали возможности для развязывания агрессивных войн, в ходе которых занимались безудержным грабежом оккупированных стран, творили военные преступления.

Шахта уже вызывали на допрос по этому делу. Он без труда понял и даже зафиксировал потом в своих мемуарах, что организаторы Нюрнбергского процесса имеют в виду «включить в целом германскую промышленность и финансовый мир в обвинительное заключение за то, что промышленники и финансисты снабжали Гитлера средствами ведения войны». Но ему странно, почему американцы занимаются таким несерьезным,

более того, небезопасным для себя делом. При очередном рандеву с доктором Джильбертом Шахт громко смеется, а затем в нескольких словах раскрывает, что его так развеселило:

— Если вы, американцы, хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли вооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение себе самим.

Доктор Джильберт не сразу понял Шахта. Тогда тот поспешил с разъяснениями:

— Например, ваша компания «Дженерал моторс» владела в Германии заводом «Оппель». А завод «Оппель» ничего, кроме военной продукции, не производил.

Шахт мог бы легко привести немало и других примеров. Он мог бы, скажем, напомнить о том, что Морган в течение всей войны финансировал производство самолетов «фокке-вульф», что американский концерн «Стандарт ойл оф Нью-Джерси» по картельным соглашениям с «ИГ Фарбениндустри» в течение всей войны снабжал нацистскую Германию авиационным бензином и смазочными маслами, столь необходимыми для вермахта. Шахту нетрудно было сделать точный расчет прибылей, полученных монополистами США по этим соглашениям.

Неужели американские обвинители хотят, чтобы он, Шахт, стал копаться в своей памяти и рассказал, как искренне сотрудничали бизнесмены Нью-Йорка и Дюссельдорфа не только до войны, но и во время ее?

Но напрасно так волновался Шахт. В американской печати все чаще стали появляться статьи, направленные против преследования немецких промышленников. Определенные круги на Западе обнаруживают явную заинтересованность и в судьбе самого Шахта. Та же американская печать будто по команде вдруг заговорила о том, что он — белая ворона на нюрнбергской скамье подсудимых.

Шахт был оправдан, и в своих мемуарах сам ответил на вопрос, почему это случилось:

«Если бы обвинителям удалось добиться моего осуждения на Нюрнбергском процессе, то было бы легко пригвоздить к позорному столбу много других лидеров германской промышленности».

Развивая свою мысль далее, мемуарист продолжает:

«Обвинение было очень разочаровано, когда я был оправдан, потому что это очень затруднило представление всего германского финансового и хозяйственного мира уголовно ответственным за войну».

И в самом деле, приговор в части, касавшейся Шахта, оказался сформулированным таким образом, что дал повод

вообще освободить руководителей германских монополий от ответственности за гитлеровскую агрессию. Международный процесс над ними не состоялся. И конечно, не потому, что он явился бы «дорогостоящим судебным разбирательством», как потом писал об этом Джексон. Американский обвинитель был куда более искренним в беседе с генеральным секретарем Национальной конфедерации американских адвокатов Мартином Поппером, сославшись на то, что общественность «требует полного раскрытия связей между этими нацистскими промышленниками и некоторыми нашими собственными хозяевами картелей». Вот, оказывается, почему Вашингтон сделал все для того, чтобы избавить от суда магнатов Рура.

Точка зрения на данный вопрос правящих кругов США окончательно выкристаллизовалась в конфиденциальном письме Бирнса американскому обвинителю в Нюрнберге генералу Тейлору. Бирнс писал:

«Соединенные Штаты не могут официально предстать в роли государства, не желающего организации такого процесса... Но если планы этого процесса провалятся то ли вследствие несогласия между остальными тремя правительствами, то ли вследствие того, что одно или более из трех правительств не согласится на условия и требования, которые необходимы с точки зрения интересов США, то тем лучше».

В конце концов было решено вместо международного процесса над руководителями германских монополий провести серию обособленных процессов силами только американских судей. И тотчас из Вашингтона последовала директива американским трибуналам: «Принять как прецедент приговор, по которому был оправдан Шахт».

Результатом этой директивы явилось оправдание всех руководителей крупнейших германских монополий по наиболее тяжкому пункту обвинения — участие в развертывании и ведении агрессивной войны. А за все иные военные преступления к ним были применены настолько незначительные меры наказания, что в скором времени они опять оказались на свободе и вновь вернулись к своему преступному ремеслу. От справедливого возмездия ушли очень опасные для дела мира преступники.

Что же касается самого Шахта, то ему и после Нюрнберга предстояло еще пережить неприятные дни. Как уже говорилось раньше, его арестовала немецкая полиция, затем судил немецкий суд и приговорил к восьми годам лишения свободы «за участие в создании и в деятельности национал-социалистского государства насилия, принесшего бедствия многим миллионам людей в Германии и во всем мире». Вскоре, однако, приговор был

пересмотрен, смягчен, а еще через некоторое время Шахт был объявлен невиновным и освобожден. Резкое изменение политического климата в Западной Германии явно шло на пользу таким, как он.

В пятидесятых годах Шахт становится завзятым коммивояжером германских монополий. Он посещает Индию, Индонезию, Пакистан, Иран, Ирак и Египет, прокладывая туда пути для германского экспорта и капиталовложений. Не забывает при этом и себя. На девятом десятке лет жизни этот прожженный финансист руководит крупной банковской фирмой в Дюссельдорфе «Шахт и К°», которую он основал, выйдя из заключения.

В 1959 году «финансовый чародей» лично заключает крупную сделку на строительство нефтепровода Генуя — Мюнхен с итальянским финансистом Энрико Маттеем. Конечно, он не принадлежит к западногерманской финансовой элите, но эта элита по-прежнему считает его своим доверенным лицом и видит в нем самого близкого ей по духу человека.

Только 1 апреля 1963 года агентство Франс Пресс сообщило из Дюссельдорфа: «Доктор Яльмар Шахт, бывший министр хозяйства и бывший президент рейхсбанка, в возрасте 86 лет удалился от дел. Принадлежавшие ему акции банка и руководство им он уступил своему компаньону, а сам поселился в Баварии».

Так закончилась карьера Яльмара Шахта. Этот человек, не любивший свет рампы, в течение многих десятков лет фактически являлся одним из режиссеров мировых событий и катастроф.

VII. О тех, кто опозорил имя солдата

В списке — 131

Наступили летние дни 1946 года. Уже рассмотрено дело Шахта. Уже вернулись последопроса и снова заняли свои места на скамье подсудимых Дениц и Редер, Ширах и Заукель, Зейсс-Инкварт и Шпеер, Нейрат и Папен, Иодль и Фриче. Обвинители и защитники произнесли свои речи.

В любом суде мира в этот процессуальный момент судьи удаляются на совещание для обсуждения и вынесения приговора. Но в Нюрнберге процесс продолжался.

Когда на скамье подсудимых не осталось уже ни одного человека, чье дело не было бы рассмотрено, на скамьях защиты имелись еще адвокаты, которые только готовились к судебному поединку. И среди них доктор Латерзнер. Он должен был защищать германский генеральный штаб.

Большая часть преступных организаций, преданных суду Международного трибунала, родилась в период нацистского движения. Это прежде всего сама нацистская партия, это — СА, СС, СД, гестапо. Все они своим происхождением и развитием обязаны национал-социализму. И только одна из преступных организаций предвосхитила гитлеризм, став его мощным союзником. То был германский генеральный штаб. Не Гитлер создал генштаб, а, скорее, генеральный штаб создал Гитлера. Политики германские приходили и уходили, войны выигрывались и проигрывались, менялись режимы, а генштаб германский оставался. Оставался затем, чтобы играть зловещую роль организатора разбойничьей агрессивной политики. И потому именно Ялтинская конференция глав правительств антигитлеровской коалиции провозгласила в качестве одной из важнейших задач: «Раз и навсегда уничтожить германский генеральный штаб, который неоднократно содействовал возрождению германского милитаризма».

На процессе в Нюрнберге обвинители правильно подчеркивали ту мысль, что для человечества судьба германского генштаба гораздо важнее, нежели судьба отдельных лиц, одетых в военную форму. Кейтель и Иодль, Редер и Дениц, Кессельринг и Манштейн уже сошли со сцены и никогда больше не поведут в бой германские легионы. Другое дело генштаб!

Обвинители требовали от Международного трибунала признать его преступной организацией и, таким образом, создать основание для наказания всех крупнейших руководителей вермахта. В списке, представленном обвинителями, значилась 131 фамилия фельдмаршалов и генералов, составлявших костяк

генштаба (в живых из них к моменту процесса оставалось 107 человек). После того как эта организация была бы признана преступной, судебные органы стран антигитлеровской коалиции могли сурово покарать любого из них (вплоть до применения смертной казни) за одну лишь принадлежность к генштабу.

Но это еще не все. Признание германского генерального штаба преступной организацией означало бы создание не только правового, но и серьезного морально-политического препятствия на пути восстановления его в будущем. Американский обвинитель Тэльфорд Тэйлор говорил:

— Если сбить с дерева отравленные плоды, то этим будет достигнуто немногое. Гораздо труднее выкорчевать такое дерево со всеми его корнями, однако только это в конечном счете приведет к добру.

Хорошие слова! Но западные судьи не вняли им.

Доктор Латерзнер ищет союзников

Как же случилось, что уже в 1946 году, когда даже самые крикливые антисоветские газеты не писали еще об «угрозе с Востока», кое-кто постарался не допустить признания германского генштаба преступной организацией, а сам генерал Тэйлор вскоре был уволен в отставку и превращен на своей родине в мишень для оголтелых нападок?

Адвокат доктор Латерзнер — в прошлом нацист и гитлеровский офицер — прежде всего решил представить защиту германского генерального штаба как интернациональную задачу мирового офицерского корпуса. Он аккуратно читал американские газеты и журналы, в частности «Арми энд нэви джорнэл», где прямо выражалось возмущение американских генералов тем, что Нюрнбергский трибунал решился поднять руку на лиц «почетной военной профессии». И Латерзнер заявил на процессе:

— Если сегодня перед лицом суда военные руководители Германии рассматриваются как преступная организация, то обвинение это относится не только к ним, как хотят здесь представить. В действительности оно направлено против любой другой армии или, по меньшей мере, против всех офицеров вообще.

Латерзнер пытается представить дело генерального штаба, как попытку нюрнбергских обвинителей организовать самое обыкновенное убийство своих противников:

— Для того чтобы найти пример рассматриваемому случаю, придется уйти на две тысячи лет в глубь истории. Римляне задушили в тюрьме своего врага Егурту и до тех пор преследовали Ганнибала своей местью, пока не отравили его чашей с ядом в доме его друга...

Адвокат всячески пытался возвести китайскую стену между делом Геринга, Риббентропа и делом германского генерального штаба. По многим признакам, только одним из которых была фултонская речь Черчилля, он мог уже догадаться, что в своей защите сумеет опереться на поддержку определенных кругов Запада.

Еще до рассмотрения судом доказательств преступной деятельности генштаба Латерзнер с трудно скрываемым удовольствием наблюдал за тем, как проходило дело гитлеровского преемника Деница. Гросс-адмирала обвиняли в том, что по его приказам были пиратски потоплены сотни торговых кораблей, а людей, пытавшихся спастись при этом,

расстреливали пулеметным огнем. Гитлеровский гросс-адмирал, припертый к стене неоспоримыми доказательствами, явно тонул. Но именно в этот момент ему был брошен заранее припасенный спасательный круг.

Когда в Нюрнберге только что начинался процесс над главными военными преступниками, к туманным берегам Великобритании подошел корабль, на борту которого находился подтянутый моложавый мужчина в офицерской форме. Это был Кранцбюллер, бывший судья в гитлеровском флоте, а теперь адвокат гросс-адмирала Деница. В отличие от своих коллег, носивших адвокатские мантии, Кранцбюллер в течение всего процесса ходил в форме германского морского офицера. Он даже отказался от гонорара, положенного всем адвокатам, гордо сославшись на то, что получает вознаграждение от германского флота, подразделения которого в те дни сохранялись в британской зоне оккупации.

Прибыв в Лондон, Кранцбюллер направился прямо в здание Британского адмиралтейства.

В долголетней истории этого кастового учреждения, вероятно, не было случая, чтобы иностранцу, а тем более вчерашнему врагу было разрешено беспрепятственно рыться в военных архивах. И с какой целью? Чтобы найти документы, которые, пусть даже ценой компрометации британского флота, спасли бы престиж германского флота, пиратствовавшего под девизом: «Боже, покарай Британию!»

Адвокат Кранцбюллер вернулся из Лондона с видом победителя. Он положил на стол трибунала добытые в Англии «доказательства». Смысл предъявленных им секретных документов Британского адмиралтейства заключался в том, что во время войны и английский флот был далеко не безупречен в обращении с нормами международного права.

Но этим не кончилось. Присутствовавшим на процессе нетрудно было заметить, что находившиеся в зале суда морские офицеры США не раз во время перерывов переговаривались с Кранцбюллером. А Дениц со своего места на скамье подсудимых внимательно следил за собеседниками. Вскоре тайна раскрылась. Адъютант находившегося на процессе американского адмирала сообщил через Кранцбюллера его подзащитному: морские офицеры США готовы засвидетельствовать, что германский военно-морской флот, которым командовал Дениц, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и если в ходе боевых действий имели место какие-то отступления от требований международного права, то германский флот допускал их не в большей мере, чем американский. Кранцбюллеру

порекомендовали запросить на этот счет от имени Деница командующего американским флотом на Тихом океане адмирала Нимица. Адвокат не преминул, конечно, воспользоваться этим любезным советом, и американский адмирал отозвался незамедлительно. Он прислал Нюрнбергскому трибуналу весьма успокоительные для Деница показания. Он утверждал, что американские подводные лодки на Тихом океане действовали точь-в-точь, как германские в Атлантике, и что по этому поводу имелся специальный приказ от 7 декабря 1941 года «О ведении неограниченной подводной войны против Японии».

— Это замечательный документ! — с восторгом отозвался Дениц, прочитав показания Нимица.

Надо ли говорить, что дело Деница вдохнуло надежду в милитаристов и окрылило доктора Латерзнера.

Что сказал бы в Нюрнберге адвокат Гитлера

Настал день, когда Международный трибунал приступил к рассмотрению обвинений в отношении германского генерального штаба. В зале суда заметно возросло число американских военных. На гостевой галерее в окружении генералов сидел военный министр США Паттерсон. Американская реакционная печать рвала и метала. Военщина Соединенных Штатов обрушилась на обвинителей Нюрнбергского процесса за то, что они «не питают никакого уважения к военной профессии, а также к тем, кто должен готовиться к войне».

Ссылаясь на обвинительное заключение, требовавшее признания генштаба преступной организацией, американский журнал «Джорнел оф криминал лоу энд криминолоджи» писал в те дни:

«На основании такой теории права когда-нибудь могли бы быть подвергнуты заключению или казнены питомцы Вест-Пойнта[13], а также других военных колледжей и школ... и, само собой разумеется, чины генштаба и отдела мобилизационных планов, если бы США когда-нибудь, от чего боже упаси, проиграли бы войну...»

Обстановка как нельзя более благоприятствовала доктору Латерзнеру. Он вызвал в суд в качестве «свидетелей» многих гитлеровских генералов, как раз тех, кто значился в списке генерального штаба и подлежал бы суду и эффективному наказанию, если бы последний был признан преступной организацией. Перед судом предстали Браухич, Манштейн, Кессельринг, Рундштедт и другие.

Затем последовала речь адвоката, которой рукоплескала вся империалистическая военная клика. Латерзнер решил убедить суд в том, что германский генеральный штаб никогда не имел ничего общего с гитлеровской политикой агрессии.

— Кто становится солдатом, — цитировал он Карлейля, — тот телом и душой принадлежит своему командиру. Он не должен решать, справедливо или несправедливо дело, за которое он идет в бой. Его враги выбраны не им, а для него. Его долгом является повиноваться, а не спрашивать.

Эти слова, по мнению защитника, лучше всего должны были характеризовать положение германских генералов. Они были лишь подчиненными, и их глубокое несчастье заключалось в том, что руководителем у них оказался такой неудачник, как Гитлер.

Он все делал сам, он и виновен во всем. Это Гитлер и его камарилья составляли агрессивные планы, а генералам оставалось лишь исполнять их.

— Образ Гитлера, — усердствовал адвокат, — воистину можно сравнить с Люцифером. Люцифер, с колоссальной быстротой взлетая ввысь, оставляет светящийся след, достигает предельной высоты и затем низвергается в бездну; точно то же произошло с Гитлером. Кто слышал когда-либо, чтобы Люцифер нуждался во время своих безумных взлетов в помощниках, советчиках, в тех, кто подгонял бы его? Разве он, напротив, не увлекает за собой благодаря своей стремительности всех остальных, достигая высот и затем низвергаясь вместе с ними в пропасть? Разве можно себе представить, чтобы человек такого рода, подготавливая план, посвящал бы в него других, собирал вокруг себя заговорщиков и при этом искал бы совета и помощи для своего взлета?

То, что говорил Латерзнер двадцать лет назад, стало теперь официальной линией пропаганды в боннской Германии.

Но представим себе на минуту ситуацию, при которой Гитлер оказался бы на скамье подсудимых в Нюрнберге рядом с другими главными немецкими преступниками и так же, как они, имел бы адвоката. Положение такого адвоката было бы, конечно, еще более незавидным. Ведь никогда в истории судебных процессов не раскрывалась столь огромная по своим масштабам и изуверству преступная деятельность одного человека, как на Нюрнбергском процессе. Гитлер предвидел финал и потому так трусливо ушел от ответственности перед судом народов. Все это так. Тем не менее нетрудно представить себе, как адвокат сатаны начал бы свою защиту. Он, наверное, попытался бы опровергнуть, что Гитлер один виновен во всем. Не имея никакой возможности помочь своему подзащитному по существу, этот адвокат располагал бы несметным количеством доказательств того, что не столько Гитлер нашел генералов, сколько генералы нашли его, что ефрейтор, как это и полагается низшему чину, в действительности не делал ни одного шага в военной области без генералов.

Позвольте, напомнил бы адвокат трибуналу, ведь еще в сентябре 1923 года при рождении национал-социалистской партии рядом с Гитлером на параде боевых союзов шел Людендорф. А вспомните ноябрь 1923 года, Мюнхенский путч. Опять же во главе нескольких тысяч нацистов движутся рядом Гитлер и Людендорф.

Декабрь 1932 года — январь 1933 года. В Германии идет напряженная политическая борьба. Решается вопрос — быть или

не быть нацистам у власти. И снова германский генералитет накладывает свою печать на ход событий. В Фюрстенберге на военном плацу Гитлер встречается с командующим рейхсвера генералом фон Шлейхером и находит в нем рассудительного союзника, Шлейхер обещает употребить все влияние, чтобы провести «народного трибуна» в рейхсканцлеры. Гитлер так доволен этой беседой, что обращается к генералу со словами:

— Нужно на перекрестке прибить доску: «Здесь произошла достопамятная беседа Адольфа Гитлера с генералом фон Шлейхером».

После этой беседы Гитлер, полный надежд, устремился в Берлин. Он верит, что станет канцлером.

— Мы ищем канцлера, — сказал фон Шлейхер Папену в критические дни, предшествовавшие фашистскому перевороту.

«Мы» — это и есть германская военщина, возглавлявшаяся тогда Шлейхером. Он так и заявил в те дни, что надо создать правительство на базе «объединения рейхсвера с НСДАП».

Генштаб ищет спасения… У Лиги Наций

По делу германского генерального штаба в Нюрнберге было допрошено много фельдмаршалов и генералов.

Еще в довоенное время я слышал о Браухиче. И вот мне предстояло теперь увидеть Браухича в зале суда в роли свидетеля по делу германского генерального штаба.

Бывший главком сухопутных сил не превзошел других германских фельдмаршалов в их стремлении представить себя чуть ли не пацифистами. Браухич просил суд верить ему, что германский генштаб всегда был настроен миролюбиво, что вооруженные силы Германии «существовали на основе принципа „если хочешь мира — готовься к войне“, что „немецкий солдат, какой бы чин он ни имел, был воспитан в духе защиты своей родины, никогда не думал о захватнических войнах или о распространении германского господства на другие народы“. Браухич убеждал судей, что германские генералы в политику не вмешивались, ею не интересовались и жили как бы в башне из слоновой кости. Если что-то и волновало генералов, так это то, чтобы Гитлеру не удалось вовлечь их в войну.

Браухич лишь начал эту примитивную линию защиты германского генштаба. Продолжили же ее новые свидетели защиты.

Вот к свидетельскому пульту в сопровождении конвоиров подходит фельдмаршал Манштейн, Этот и вовсе решил, что его пригласили сюда прочесть лекцию для безусых ефрейторов, а не дать показания Международному трибуналу, у судей которого на памяти вся история и первой, и особенно второй мировых войн. Чего только не наговорил он! Оказывается, германские генералы всегда опасались «нападения соседних стран».

— Мы в конце концов, — заявил Манштейн, — должны были всегда считаться с такой возможностью, так как наши соседи имели притязания на германские территории.

И дальше он совсем уж заврался, убеждая трибунал, будто Германия всегда надеялась, что если на нее произойдет нападение, то вмешается Лига Наций.

— Таким образом, — причитал Манштейн, — практически мы полагались на Лигу Наций.

Вряд ли есть необходимость комментировать и серьезно опровергать весь этот бред, всю эту беспардонную и беспомощную ложь. В столь примитивной форме высказывались не многие.

Тем не менее я бы сказал, что господствующим мотивом в показаниях германского генералитета являлось утверждение,

будто решительно все войны, имевшие место с 1939 по 1945 год, были вынужденными, оборонительными, превентивными.

Германию обвиняют в нападении на Польшу? Извините, поляки сами напали на германский город Глейвиц и захватили там радиостанцию. Это они начали войну, и Германии не оставалось ничего, кроме как, обороняясь, наступать. И вообще генералам не полагается рассуждать, какая идет война — агрессивная или неагрессивная. В такой ситуации им куда более кстати было вспомнить слова Наполеона: «Учтите, господа, что на войне послушание ценится выше, чем храбрость».

Нападение на Норвегию? Но разве не ясно, что боевые действия германского флота на севере Европы имели своей целью предотвратить захват Норвегии Англией.

Вторжение в Бельгию и Голландию? Так хорошо же известно, что в генеральных штабах Англии и Франции давно созрел план использования территории этих стран в качестве плацдарма для нападения на Германию. Если бы немецкие войска не вторглись туда, то и Бельгия и Голландия были бы захвачены противником.

Свидетели в фельдмаршальских и генеральских мундирах лгали бессовестно и цинично. И были наказаны.

Вот обвинитель предъявляет официальную запись совещания у Гитлера 23 мая 1939 года. Гитлер прямо заявил там:

— Перед нами остается только одно решение — напасть на Польшу при первой же благоприятной возможности.

Может быть, на этом совещании не было никого из генштаба? Нет, к записи приложен список присутствовавших, и в нем значатся фамилии Браухича, Мильха, Боденшатца, Варлимонта и других высокопоставленных генштабистов, как раз тех, кого обвинители включили в число «131».

Итак, Гитлер потребовал «напасть на Польшу». А как же поступил «генерал-миротворец» Браухич? Да очень просто. В середине июня 1939 года он издает директиву, адресованную командующим армиями и группами армий, в которой обязывает их продумать, каким образом лучше осуществить «сильные *неожиданные* удары». Браухич подчеркивает: «Мероприятия должны готовиться так, чтобы противник был захвачен *врасплох*».

Фельдмаршал отлично знал, что «врасплох» это уже не оборона. Это уже как раз обратное тому, в чем он безуспешно пытался убедить судей Международного трибунала. Но ведь тогда ему и не мерещился Нюрнберг.

А как те генералы, которым адресовалась директива Браухича? Конечно, и они внесли свою лепту, отнюдь не заблуждаясь в отношении характера подготовляемой войны. Например, генерал Бласковиц, командующий 3-й армейской

группой (его имя тоже в числе тех, кто, по мнению обвинителей, олицетворял германский генштаб), 14 июня 1939 года издал приказ, где, между прочим, имелись и такие строки:

«Главнокомандующий армией приказал разработать план боевых операций против Польши, принимая при этом во внимание требования политического руководства — начать войну *неожиданным* ударом и достичь быстрых успехов».

Удар наносит Паулюс

«Превентивный» мотив особенно громко звучал в показаниях свидетелей защиты, когда речь заходила о нападении на Советский Союз. Здесь-то уж совсем все ясно. Советское командование сосредоточило огромные массы войск на демаркационной линии и вот-вот готовилось отдать приказ о нападении на Германию. Опять-таки германские войска лишь упредили удар противника.

Но и на этот раз фальсификаторы истории были нещадно биты. И один из наиболее чувствительных ударов по их лживой версии нанес фельдмаршал Паулюс.

Читатель уже знает об обстоятельствах появления его в зале суда и помнит, каким образом реагировала на это защита. Как-никак в 1940—1941 годах Паулюс сам занимал пост заместителя начальника германского генерального штаба, и адвокат Иодля сразу же попытался настроить его на волну «превентивной войны».

Последовал вопрос:

— В феврале тысяча девятьсот сорок первого года наши военные транспорты стали направляться на восток. Скажите, какова была тогда численность русских войск вдоль русско-германской демаркационной линии и румыно-русской границы? Не докладывал ли Гальдер фюреру об угрожающей численности русских войск?

Но на эти и многие другие подобные же вопросы защита не смогла получить желаемых ответов. Историческая правда была на стороне обвинителей.

На вопрос главного обвинителя от СССР Р. А. Руденко: «Что известно свидетелю о подготовке гитлеровским правительством и немецким верховным главнокомандованием вооруженного нападения на СССР?» — Паулюс ответил:

— Третьего сентября тысяча девятьсот сорокового года я начал работать в главном штабе командования сухопутных войск в качестве оберквартирмейстера... Во время моего назначения я нашел... еще неготовый оперативный план, который касался нападения на Советский Союз... Начальник штаба сухопутных сил генерал-полковник Гальдер поручил мне дальнейшую разработку этого плана, начатого на основании директивы ОКВ... Разработка... была закончена в начале ноября и завершилась двумя военными играми, которыми я руководил по поручению главного штаба сухопутных войск. В этом принимали участие старшие офицеры генерального штаба.

Кто же эти старшие офицеры? Оказывается, среди них был и полковник Хойзингер, тот самый Хойзингер, который ныне играет столь видную роль в создании западногерманского бундесвера и призывает его к действиям «на широких просторах России». А в те далекие уже теперь годы, он, по свидетельству Паулюса, «принял на себя дальнейшую разработку „плана Барбаросса“.

Паулюса спросили: располагало ли гитлеровское военное командование какими-нибудь данными о подготовке со стороны Советского Союза нападения на Германию? Ответ последовал незамедлительно:

— Примечательным является то, что тогда ничего не было известно о каких-либо приготовлениях со стороны России.

Известно ничего не было, а тем не менее еще осенью 1940 года планировалось нападение на СССР. Планировалось, но не осуществилось. Генштаб решил отложить его на май 1941 года. Однако и в мае команды не последовало. Почему же? Ведь, если верить свидетелям защиты германского генштаба, русские вот-вот должны были осуществить нападение. Оказывается, в это время генштабу надо было мимоходом провести операцию по установлению «нового порядка» в Югославии.

И вот на стол трибунала ложится еще один «совершенно секретный» документ за № 444228/41, подписанный Кейтелем. Он содержит в себе следующие указания:

«1. Время начала операции „Барбаросса“, вследствие проведения операции на Балканах, переносится по меньшей мере на четыре недели.

2. Несмотря на перенос срока, приготовления и впредь должны маскироваться всеми возможными средствами и преподноситься войскам под видом мер для прикрытия тыла со стороны России...»

Паулюс комментирует этот документ и заодно рассказывает, как «был организован очень сложный обманный маневр», осуществлявшийся из Норвегии и с французского побережья. Создавалась «видимость операций, намеченных против Англии», с тем, чтобы «отвлечь внимание России».

Показания Паулюса разнесли впрах версию о превентивном характере войны против СССР. Мне трудна забыть смятение, которое охватило после этого защиту. Обычно защитники торопились к перекрестному допросу, если он давал хотя бы какие-то контршансы. Но в тот раз и адвокатов и скамью подсудимых охватила как бы прострация.

Однако порядок есть порядок. После того как с трибуны ушел советский обвинитель, председательствующий обращается к защите с предложением начинать перекрестный допрос. Доктор

Латерзнер медленно поднимается со своего места. На его лице никаких следов энтузиазма. Обращаясь к Лоуренсу, он заявляет:

— Господин председатель, я прошу дать мне возможность в качестве защитника генерального штаба поставить вопрос свидетелю завтра, во время утреннего заседания. Свидетель появился крайне неожиданно, во всяком случае для защиты...

Но и перерыв ничего не дал защите. Доктор Латерзнер не смог преодолеть показаний фельдмаршала Паулюса. Они прозвучали как удар гонга на ринге, возвещающий о совершенно бесспорном нокауте.

Еще о том, как врали «старейшие солдаты»

Обвинение в агрессии было не единственным против германского генерального штаба. В сущности, генштаб гитлеровской Германии являлся организующим центром по осуществлению всей чудовищной программы военных преступлений.

Но допрошенные в Нюрнберге гитлеровские фельдмаршалы категорически протестуют против этого «неслыханного и оскорбительного обвинения».

У пульта фельдмаршал Рундштедт. Я до сих пор помню выражение лица этого надменного пруссака, самого старого зубра германского генералитета. Запечатлелась в моей памяти и его поза, когда он, подняв костлявую руку и вытянув два пальца, дал клятву «говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды».

Адвокат Латерзнер задает Рундштедту вопрос:

— Вы знаете, господин фельдмаршал, что обвинение внесло предложение признать высшее военное руководство Германии преступным. Как самый старый офицер германской армии, можете ли вы выразить взгляды германского военного руководства на законы и обычаи войны, на международное право?

И «самый старый офицер германской армии», давший клятву говорить «только правду», заявляет трибуналу:

— Правила ведения войны и международное право в том виде, как они изложены в Женевской конвенции, в Гаагских правилах сухопутной войны, для нас, старейших офицеров, были строго обязательными. Неукоснительное выполнение этих положений всегда требовалось от войск, и их нарушение каралось самым суровым образом.

«Самого старого» понесло. Он стал доказывать трибуналу, будто германский генеральный штаб стремился «сделать во время войны все что возможно, чтобы облегчить судьбу жителей страны противника», генштаб якобы считал, что «война должна вестись рыцарски». А кончает Рундштедт совсем уже выспренными словами:

— Как старейший солдат германской армии, я заявляю: мы, обвиняемые военные руководители, воспитывались на старых солдатских рыцарских традициях, мы действовали согласно этим традициям и пытались воспитывать так же и младших офицеров.

Доктор Латерзнер и вся защита были очень довольны показаниями Рундштедта. А впереди еще фельдмаршал Манштейн. Этот тоже скажет нечто такое, во что судьи должны поверить.

И вот уже Манштейн а ведут к свидетельскому пульту. Он держится очень спокойно, я бы сказал, даже несколько самоуверенно. Манштейн понимает, что от успеха его показаний зависит не только собственная судьба — он выступает «свидетелем» защиты германского генерального штаба.

— Я сорок лет был солдатом, — с некоей торжественностью объявляет этот «свидетель». — Я происхожу из солдатской семьи, воспитан в солдатских понятиях.

Дальше Манштейн начал рисовать идиллическую картину приверженности германского генштаба к миру, стал распространяться об отвращении, которое он и его друзья по генштабу испытывали к войне:

— Наш идеал... мы видели не в ведении войны, как таковой, а в воспитании из нашей молодежи честных людей и достойных воинов... Утверждение, что мы, старые солдаты, вели в этой войне нашу молодежь на преступления, превышает все, что может вообразить дурной человек с богатой фантазией.

Старые германские фельдмаршалы не спорят против того, что, к сожалению, в ближайшем окружении Гитлера было несколько нацистски убежденных генералов, которые и должны нести ответственность. Но преступления этих выродков не могут запятнать германский генштаб в целом. Это был недвусмысленный намек на Кейтеля и Иодля. Но сам-то Иодль придерживался иного мнения и в беседе со своим адвокатом, покраснев от злости, заявил:

— Эти генералы, которые доносят на нас, лишь бы спасти свои шеи, должны ведь знать, что они такие же преступники, как и мы, и также заслуживают повешения. Пусть не думают, что им удастся откупиться при помощи доносов на нас и ссылки на то, что они были лишь исполнителями.

Я уже приводил раньше показания гестаповца Олендорфа, подтвердившего, что массовое уничтожение людей на оккупированных территориях производилось эсэсовцами в тесном союзе и при полной поддержке командования вермахта. А вот и армейский генерал Реттигер свидетельствует то же самое:

— Особые задачи соединений СД были хорошо известны и проводились с ведома высших военных властей.

Одновременно обвинитель оглашает показания генерала полиции Эрнста Роде:

— Группы СД, действовавшие совместно с отдельными армейскими группами, были полностью подчинены им как тактически, так и в других отношениях. Главнокомандующие подробно знали все о задачах и оперативных методах действий этих групп. Они оправдывали эти задачи и оперативные методы,

поскольку никогда не возражали против них... Часто об этих методах упоминалось в моем присутствии в ОКБ и ОКХ... Я твердо уверен в том, что энергичный, объединенный протест со стороны всех фельдмаршалов имел бы своим результатом изменение этих задач и методов. Если бы они утверждали, что в таком случае их заменили бы более жестокими главнокомандующими, это, по-моему, было бы глупой и трусливой уверткой.

По иронии судьбы, версию о том, что германское командование, германский генеральный штаб якобы не только не имели касательства к гитлеровским зверствам, но даже не знали о них, пришлось разоблачать многим виднейшим эсэсовцам и весьма высокопоставленным чинам гитлеровского генштаба. Читателям уже хорошо знакомы имена генералов войск СС Бах-Зелевского и начальника оперативного отдела генштаба Хойзингера.

Именно Бах-Зелевский был уполномочен Гитлером руководить всей антипартизанской борьбой на восточном фронте. И к неудовольствию доктора Латерзнера, стремившегося переложить всю ответственность за зверское обращение с партизанами на СС, Бах-Зелевский заявил, что «основные действия против партизан осуществлялись главным образом подразделениями вооруженных сил».

Не лучше получилось и с Хойзингером. Он еще не вышел тогда из состояния шока, вызванного поражением, и потому не решился лгать так беспардонно, как это он стал делать, когда испуг прошел и вдруг выяснилось, что в нем кто-то нуждается. Мне вспоминаются его показания в 1945 году, которые были оглашены в одном из заседаний Международного трибунала. Как и Бах-Зелевского, Хойзингера спросили, кто же предписывал и кто осуществлял операции против участников движения Сопротивления. И Хойзингер заявил:

— Директивы, касающиеся методов проведения операции против партизан, издавались ОКВ и ОКХ согласно приказам Гитлера и после консультаций с Гиммлером.

Далее он признает, что именно генштаб и руководимый им вермахт осуществляли тягчайшие преступления против мирного населения:

— Командование сухопутной армии было ответственно за передачу приказов, которые устанавливали основные принципы проведения карательных экспедиций против населения.

В своих показаниях Хойзингер обнаружил хорошее понимание тех целей, которые преследовали во время войны нацистская партия, а заодно с ней и генеральный штаб. Он констатировал:

— Моим личным мнением всегда было то, что обращение с гражданским населением и методы ведения антипартизанской войны в районах операций, одобренные высшими военными и политическими руководителями, способствовали проведению в жизнь планов систематического уничтожения славянства и еврейства.

Но может быть, Хойзингер внутренне осуждал эти меры, считал их принципиально недопустимыми? Нет, генерал Хойзингер рассматривал их только с практической точки зрения, которую он выразил в следующих словах:

— Я всегда считал эти жестокие методы военным безумием, поскольку они только затрудняли борьбу против врага.

Такую аттестацию германскому генштабу дал один из непосредственных его руководителей. Так же аттестовал себя и сам генштаб, поскольку из недр его исходили все наиболее преступные приказы, в совокупности своей составившие целый кодекс военных преступлений.

Издавая такие приказы, германский генштаб требовал от командующих армиями «проявления широкой инициативы». И те, конечно, проявляли ее. На Нюрнбергском процессе много раз говорилось о приказе генерала Рейхенау. Этот приказ был признан «образцовым» и направлен в качестве примера в другие армии.

В Нюрнберге фельдмаршал Манштейн постарался отмежеваться от него:

— Нет, нет я отклонил этот приказ.

Читатель, видимо, полагает, что, пользуясь материалами процесса, я уличу сейчас этого прусского фельдмаршала в том, что он распространял действие приказа Рейхенау на свою армию. Ничуть не бывало. В данном случае «старый солдат» не лгал.

Получив «образцовый» приказ Рейхенау, он был искренне оскорблен. Манштейн сам издавал приказы почище этого. Только в Нюрнберге ему хотелось создать несколько иное впечатление о своем отношении к требованиям Рейхенау, представить дело так, будто бы они не согласуются с его представлениями о воинских традициях. Но обвинитель прерывает излияния Манштейна. Рядом с приказом Рейхенау он кладет другой приказ и осведомляется:

— Не был ли этот документ издан вашим же штабом и подписан двадцатого ноября тысяча девятьсот сорок первого года?

— Мне надо его детально прочесть. Я не помню об этом приказе, — волнуясь, ответствует Манштейн.

И человек, который так много распинался о своих «рыцарских

традициях», о неприятии прусскими генералами нацистской идеологии, об их полном невмешательстве в политику, вдруг читает в своем собственном приказе:

«С 22 июня германский народ находится в состоянии смертельной борьбы против большевистской системы».

А дальше «аполитичный» Манштейн подчеркивает, что в этой борьбе нет и не может быть никаких ссылок на международное право. «Эта борьба ведется не только против советских вооруженных сил в традиционной форме, установленной законами и обычаями войны». И под конец фельдмаршал провозглашает лозунг: «Еврейско-большевистская система должна быть уничтожена раз и навсегда».

Припертый фактами, Манштейн пытается еще увернуться. Он не спорит о том, что подпись под приказом его, но просит поверить, что не помнит, каким образом появился такой приказ.

— И это не удивительно, господа судьи... Прошли годы, и я за это время подписал сотни, а может быть, даже тысячи приказов. Я не могу помнить каждую деталь.

Какие страшные слова, какой цинизм! «Я не могу помнить каждую деталь...» А из-за таких «деталей» погибли миллионы людей.

Манштейна сменяет еще один германский фельдмаршал — Альберт Кессельринг. Он глубоко возмущен, что обвинители не очень расположены принимать на веру его показания. Силясь выразить свое возмущение по этому поводу, Кессельринг выпаливает:

— Вы должны мне в конце концов верить, как старому солдату.

Но сэр Дэвид Максуэлл Файф, к которому были обращены эти слова, никак не хотел поддаваться эмоциям.

— Вы помните, фельдмаршал, приказы о партизанах в Италии, изданные в то время, когда вы были там командующим?

— Конечно.

Далее Файф спрашивает, знаком ли Кессельринг с приказом Кейтеля от 16 декабря 1942 года, предписывавшим массовые расправы с итальянскими патриотами, участниками движения Сопротивления? Кессельринг вынужден признать, что и этот приказ знаком ему. Но ведь это приказ Кейтеля. Все германские генералы виноваты, конечно, в том, что передавали такие приказы для исполнения своим подчиненным. Но сами они ничего подобного не предписывали, собственные их руки чище снега альпийских вершин.

Файфу хорошо известны эти ставшие уже стандартными методы защиты, и он спешит сообщить фельдмаршалу

Кессельрингу, что Кейтель будет нести ответственность за свой приказ, а Кессельринг за... свой. Обвинитель напоминает, что 17 июня 1944 года сам Альберт Кессельринг издал приказ, в котором черным по белому записал:

«Борьба против партизан должна проводиться всеми доступными нам средствами и с крайней жестокостью. Я буду защищать любого командира, который перейдет границы, применяя жестокие методы в отношении партизан. В этом отношении оправдывает себя старый принцип: лучше ошибиться в выборе методов, выполняя приказ, чем уклониться от его выполнения или не суметь выполнить его».

Так действовал фельдмаршал Кессельринг, один из руководителей вермахта.

Я мог бы привести еще много других документов, раскрывающих преступный характер гитлеровского генштаба. Мог бы сослаться на показания фельдмаршала Мильха, рассказавшего, как именно военные инстанции, германский генштаб совместно с гестапо организовали изуверские опыты над военнопленными и узниками концлагерей. Мог бы воспроизвести и показания генерала Шрейбера, раскрывшего подготовку гитлеровским генеральным штабом химической войны.

Но и без того, мне кажется, читателю ясна зловещая картина преступлений германского генштаба.

Генштаб раскалывается на отдельные кубики

Как уже говорилось в самом начале этой главы, решение Международного трибунала, объявляющее генштаб преступной организацией, означало бы практически, что свыше сотни гитлеровских фельдмаршалов и генералов, среди которых оказалось 78 командующих армейскими группами и армиями, 15 адмиралов и 11 командующих воздушными флотами, могли быть наказаны за один лишь факт принадлежности к генеральному штабу. Таким образом, реваншистские силы в Западной Германии были бы лишены того самого костяка, который потребовался им в процессе послевоенного восстановления германского милитаризма.

Именно это обстоятельство и вызвало такую бурную реакцию в милитаристских кругах Запада. В лице подлежавших наказанию нацистских генералов они уже тогда видели своих будущих союзников.

Доктор Латерзнер, конечно, понимал, что оспаривать преступления германского генштаба, по существу, можно, но безнадежно. Значит, надо искать какие-то другие пути. И адвокат, видимо, не без советов со стороны, выдвигает перед судом следующий главный аргумент:

— Если даже инкриминированные генеральному штабу обвинения признать установленными, то и тогда следует иметь в виду, что преступления были совершены его представителями *как отдельными личностями*, но не как членами преступного сообщества, каким в Нюрнберге хотят представить генштаб.

Латерзнер убеждает трибунал в том, что генштаб Германии — это просто механическая совокупность людей, которые в разное время занимали в нем различные должности, и потому, мол, нельзя признать такую организацию стойким объединением. Однако и этот довод оказался не более убедительным, чем все другие доводы защиты.

Нюрнбергский процесс сделал совершенно очевидным, что именно как организация генштаб выступил в поддержку Гитлера, когда тот шел к власти. Именно как организация он действовал, готовя агрессивные планы и реализуя их. Именно как организация издавал директивы о беспощадных мерах против целых народов. Именно как организация заключал преступные соглашения с СС и гестапо.

Да и сами высокопоставленные гитлеровские генералы

считали себя принадлежащими к генштабу, как сплоченной организации. В этом смысле любопытно, что, даже выступая в Нюрнберге в качестве свидетелей, они по привычке говорили не от собственного лица, а все время подчеркивая свою общность и сплоченность именно как касты. Отвечая на вопросы обвинителей, каждый из них выступал как бы от лица всего генералитета:

— Мы все считали себя лицами, которым вверено единство Германии, — говорил Манштейн.

— Гитлер достиг таких результатов, которых мы очень желали, — показывал Бломберг.

— Национал-социалистские идеи были идеями, заимствованными из старых прусских времен и... были нам давно известны и без национал-социалистов, — утверждал Рундштедт.

Обвинитель Тэйлор образно раскрыл, что означает на практике стремление выдать генштаб за некую арифметическую общность людей. Будучи призванным к ответственности за совершение преступлений как организация, знаменитый германский генеральный штаб раскалывается на сто тридцать отдельных кусочков, словно детские кубики, брошенные на пол. Но проходит время, и в нужный момент эти кусочки собираются вместе, мгновенно, будто по волшебству, возникает прежний рисунок.

Зловещий рисунок!

Доктор Латерзнер очень упорно проводил свою линию дробления генштаба на отдельные кубики. И для своей защитительной речи он припас один такой юридический вольт, который должен был дать возможность тем, кто этого хотел, не оспаривая самих доказательств обвинения, спасти репутацию германского генерального штаба, а вместе с тем уберечь от заслуженного наказания и сотню гитлеровских фельдмаршалов и генералов.

В решающий момент Латерзнер бросает на весы последний по счету, но первый по важности аргумент. Он великодушен. Он готов на минуту признать, что все, что говорили обвинители о германских фельдмаршалах и генералах, это святая правда. Но где же все эти лица теперь? Конечно же в тюрьме. Обвинители требуют признать германский генштаб преступной организацией для того, чтобы наказать его членов. Так не проще ли будет «четырем победоносным державам... на практике разрешить вопрос об индивидуальной виновности или невиновности этих 107 людей с помощью 107 отдельных судебных разбирательств?»[14].

Расчет здесь был верный. Фельдмаршалы и генералы

действительно находятся в тюрьмах, но, по счастливой случайности, в американских и английских. То была осень 1946 года. Уже Черчилль произнес речь в Фултоне. Уже стрелка барометра явно пошла вправо. Все говорило за то, что время работает на Рундштедта и Манштейна, Гудериана и Хойзингера. Надо во что бы то ни стало оттянуть решение их судьбы, дать улечься бушующим страстям. А там уже американская Фемида скажет свое слово.

К сожалению, Международный военный трибунал, вернее, его буржуазное большинство пошло на поводу у защиты, оказалось не в состоянии преодолеть все усиливавшееся давление новой международной обстановки. В результате трибунал отказался признать германский генштаб преступной организацией. В приговоре было записано:

«По этой теории[15] верховное военное руководство любой другой страны также является ассоциацией, а не тем, чем оно в действительности является — собранием военных, определенным числом лиц, которые в известный период времени занимали высокие военные посты».

Западные представители в Международном трибунале, к великому сожалению, не посчитались с протестом советского судьи и, целиком восприняв коварный совет доктора Латерзнера, указали в приговоре:

«Трибунал считает, что не следует принимать какого-либо решения о признании преступной организацией генерального штаба и верховного командования. Хотя количество лиц, которым предъявлено обвинение, больше, чем в имперском кабинете, оно все же настолько мало, что путем индивидуальных судов над этими офицерами можно будет достигнуть лучшего результата, чем путем вынесения трибуналом решения, требуемого обвинением».

Вряд ли следует говорить здесь подробно о том, что в условиях, создавшихся затем в Западной Германии, «отдельные индивидуальные суды» над гитлеровскими генералами превратились в фарс. Все гитлеровские генералы в конечном счете оказались на свободе, и значительная их часть использована для создания бундесвера.

И что же? Разве так уж напрасно прошло перед Международным военным трибуналом дело германского генерального штаба? Нет конечно. Уже самый факт суда над прусскими милитаристами имел огромное морально-политическое значение. Столкнувшись с массой бесспорных доказательств, Международный трибунал не мог не признать преступной роли германского генералитета в истории

гитлеровской агрессивной политики. В приговоре зафиксировано, что генералы и фельдмаршалы третьего рейха «ответственны в большой степени за несчастья и страдания, которые обрушились на миллионы мужчин, женщин и детей. Они опозорили почетную профессию воина. Без их военного руководства агрессивные устремления Гитлера и его нацистских сообщников были бы отвлеченными и бесплодными... Они, безусловно, представляли собой безжалостную военную касту. Современный германский милитаризм расцвел на короткое время при содействии своего последнего союзника, национал-социализма, так же и еще лучше, чем в истории прошлых поколений».

Находясь под давлением неопровержимых фактов, те же самые западные судьи, которые ухватились за совет Латерзнера, все же не могли не высказать в приговоре, что они сами думают о высших чинах разбитого вермахта:

«Многие из этих людей сделали насмешкой солдатскую клятву повиновения военным приказам. Когда это в интересах их защиты, они заявляют, что должны были повиноваться. Когда они сталкиваются с ужасными гитлеровскими преступлениями, которые, как это установлено, были общеизвестны для них, они заявляют, что не повиновались. Истина состоит в том, что они активно участвовали в совершении всех этих преступлений».

Но не прошло и полутора десятка лет, как один из этих людей, полномочный представитель вновь восстановленного германского генерального штаба, прикатил в Вашингтон с официальным визитом. Это был генерал Шпейдель. 8 августа 1960 года гостю было предоставлено слово на заседании Ассоциации армии США. Шпейдель, разумеется, не стал совершать исторические экскурсы. Он предпочитал не вспоминать о второй мировой войне. Он говорил совсем о другом:

— Разрешите мне начать с выражения благодарности из глубины моего сердца... Тот факт, что мы, немцы, заняли свое место в Европейском сообществе и взяли на себя наши обязанности в деле защиты этого сообщества вместе с нашими союзниками, объясняется в значительной степени моральной, духовной и материальной поддержкой, которую мы получили от вас — Соединенных Штатов. Без этой помощи мы никогда не смогли бы создать, организовать и обучить вооруженные силы Федеральной республики... Мы всегда будем благодарны за это и никогда не забудем об этом проявлении дружбы и величия с вашей стороны.

Но какое уж тут величие. Не величие, а позор должны были испытывать те, к кому была адресована речь Шпейделя. Это была новая насмешка германского милитаризма. Только теперь уже не

над солдатской клятвой своих соотечественников, а над солдатами Америки, проливавшими кровь, отдававшими свои жизни на полях сражений второй мировой войны.

Прочитав эту речь Шпейделя, я не мог не вспомнить слов главного советского обвинителя Р. А. Руденко. Роман Андреевич говорил о той особой опасности, которая таится в возможности восстановления германского милитаризма. Как бы заглядывая в ближайшее будущее, он напоминал:

— Всякому, кто сколько-нибудь следил за политическим развитием Европы после первой мировой войны, хорошо известно, что офицеры и генералы кайзера сразу же обнаруживали готовность повторить проигранную войну. Обвиняя в военном разгроме Германии кого угодно, только не себя, они создавали нелегальные организации, лелея мечту о реванше, и готовы были продать честь и шпагу любому политическому проходимцу, который не постесняется затеять новую мировую бойню.

Вряд ли надо искать другие слова, чтобы справедливо прокомментировать речь Шпейделя, а заодно и то внимание, которое оказали ему в Вашингтоне.

VIII. У последней черты

Исповедь ханжей и лицемеров

Маховой вал правосудия делал последние обороты. Многомесячный судебный процесс шел к концу.

Прежде чем удалиться в совещательную комнату, суд должен был прослушать последние слова подсудимых.

Когда разрабатывался Устав Международного трибунала, представители США и Англии считали это излишним. В отличие от порядка, предусмотренного континентальным европейским уголовным процессом, англо-американский процесс не знает такой стадии. Тем не менее по рекомендации советских и французских представителей в Лондоне было решено дать нюрнбергским подсудимым возможность сказать последнее слово.

Судебная практика показывает, что своим последним словом подсудимый редко вносит что-либо новое в результаты процесса. Это знает каждый более или менее опытный судья. Лишь иногда случаются неожиданности — подсудимый, который упрямо и упорно отрицал свою вину, вдруг в последнем слове полностью признается. Мотивы здесь бывают различные: и искреннее раскаяние, и стремление прибегнуть к признанию как последнему средству смягчить свою участь. Но психологически эта стадия процесса всегда интересна. Это как бы последняя исповедь человека. И, как всякая исповедь, она может быть искренней или лицемерной.

Именно поэтому все мы в Нюрнберге с нетерпением ожидали, что же скажут в своем последнем слове люди, которые в течение девяти месяцев почти начисто отрицали свою вину. Понимали ли многие из них, что это действительно будет их последнее слово? Понимали, конечно. И что же? Изменили ли они своей тактике? Отнюдь нет.

Все то же гигантское по своим масштабам ханжество, ставшее уже привычным. В своем последнем слове они лицемерили так же, как делали это на протяжении всех девяти месяцев суда. Это был маскарад. Маскарад бездарный, в котором бывшие властители «третьей империи» еще и еще раз делали потуги предстать перед миром в обличии государственных деятелей.

Подсудимые изворачивались, лгали, громоздили одну ложь на другую, и, чем больше они говорили, тем больше зал суда как бы заполнялся смрадом крематориев. Я внимательно слушал их и думал: «Как же жестоко был наказан немецкий народ, который в течение многих лет должен был считать этих людей своими вождями, идти по пути, проложенному ими и неизбежно ведшему к катастрофе, к позору».

Впрочем, и «вожди» в своем последнем слове не забыли о немецком народе. После того как они обрушили на него чудовищные лишения и страдания, им вдруг погрезилось, что он нуждается в их заступничестве перед Международным трибуналом. Геринг первым стал разглагольствовать о судьбе «простых немцев», убеждать суд в том, что здесь судят его и других «государственных деятелей» Германии, но «нельзя карать немецкий народ». С ложным пафосом, в расчете на «мраморные гробы», нацист № 2 воскликнул:

— Немецкий народ не виновен!

Как будто не было ясно, что на нюрнбергской скамье подсудимых сидел не немецкий народ, а всего лишь преступные его руководители, которых судили за злодеяния против многих народов, в том числе и немецкого.

Точно так же повел себя и Бальдур фон Ширах. Этот растлитель германской молодежи решил вдруг выступить в качестве ее защитника. В своем последнем слове он просил суд «не обвинять германскую молодежь», устранить «искаженное о ней представление».

Подсудимые явно стремились уйти от своей зловещей тени, расползшейся по всей Европе. Геринг опять нагло заявляет: «Я не хотел войны, не способствовал ее развязыванию». Риббентроп слезливо жалуется, что на него «возлагают ответственность за руководство внешней политикой, которой руководил другой», то есть Гитлер.

А Кальтенбруннер? Мы уже знаем, что сказал в своем последнем слове этот палач народов Европы, руки которого были по локоть в крови. Да, гестаповцы творили чудовищные преступления, но в этой шайке оголтелых преступников предводительствовал не он, а другой, то есть Гиммлер. Сам же Кальтенбруннер якобы всей душой стремился на фронт, чтобы не видеть всего этого позора.

Маленький Функ в последнем слове вдруг ударился в философию:

— Человеческая жизнь состоит из заблуждений и вины. Я также во многом заблуждался и во многом меня обманули. Я должен открыто признать, что... был слишком беспечным, легковерным и в этом вижу свою вину.

Только в этом, и больше ни в чем! Про сейфы рейхсбанка, набитые золотыми коронками, Функ счел за лучшее умолчать, промямлив лишь одну невнятную фразу: «Гиммлер обманул меня, обошел меня».

Как и на протяжении всего процесса, некоторые подсудимые, произнося последнее слово, заняли позу разоблачителей.

Разоблачали они кого угодно, но только не себя. Тот же Функ причитал:

— Здесь раскрылись кошмарные преступления... Эти преступления заставляют меня краснеть...

— Моя политическая ошибка заключалась в том, что я недостаточно скоро разглядел размах преступной натуры Гитлера, — выдавил из себя Шахт.

И нацистский работорговец Заукель тоже обвинял во всем лишь Гитлера и Гиммлера. Побивая все рекорды ханжества, он заявил:

— Господа судьи, бесчеловечные действия, выявленные на этом процессе, поразили меня в самое сердце... Я с глубоким смирением склоняю свою голову перед жертвами всех наций и перед теми несчастьями и страданиями, которые разразились над моим собственным народом.

А Кейтель? Что сказал этот человек? Какие последние слова нашел он, чтобы объяснить всю меру своих преступлений? Какой щит избрал для того, чтобы еще и еще раз попытаться проложить тропинку к жизни?

— Лучшее, что я мог дать, как солдат, — повиновение и верность — было использовано для целей, которые нельзя было распознать, — заявил бывший начальник штаба ОКВ. — Я не видел границы, которая существует для выполнения солдатского долга. В этом моя судьба.

Нашлись и такие среди подсудимых, кому даже перед разверзшейся могилой наиболее привлекательной казалась роль проповедников и наставников немецкого народа. С явно фальшивой патетикой в голосе Франк говорил:

— Я прошу наш народ не отчаиваться, не идти более ни шагу по гитлеровскому пути.

А Зейсс-Инкварт сказал нечто такое, что никак не вызывало возражений тогда и звучит особенно значительно сегодня:

— Германия в своих собственных интересах не должна желать войны. Она должна следить за тем, чтобы никто не вложил в ее руки оружие.

Но как поздно постиг это сам Зейсс-Инкварт! Только после того, как всю свою жизнь отдал преступному ремеслу разжигания войн, пролил реки крови поляков и голландцев, на шеях которых сидел в качестве гитлеровского наместника.

Своеобразное впечатление произвело на меня последнее слово бывшего рейхсминистра Шпеера:

— Гитлер и крах его системы, — начал он, — причинили германскому народу невероятные страдания... После этого процесса немецкий народ будет презирать Гитлера и проклинать

его как зачинщика всех несчастий.

Далее последовал монолог, посвященный выяснению роли техники в проведении политики:

— Многие из выявленных здесь феноменов установления диктатуры были бы невозможны без помощи техники... Гитлер использовал технику не только в целях господства над германским народом. Ему чуть не удалось, благодаря своему техническому преимуществу, подчинить себе Европу... Чем сильнее развита в мире техника, тем большую она таит опасность, тем больший вес имеют технические средства ведения войны...

Затем Шпеер стал рисовать ужасы будущей войны:

— Военная техника через пять — десять лет даст возможность проводить обстрел одного континента с другого при помощи ракет с абсолютной точностью попадания. Такая ракета, которая будет действовать силой расщепления атома и обслуживаться всего десятью лицами, может уничтожить в Нью-Йорке в течение нескольких секунд миллионы людей...

Слушая эти слова гитлеровского министра вооружений, я, в который уже раз, подумал о великом подвиге Советской Армии, разгромившей агрессивное гитлеровское государство!

А Шпеер продолжал свое:

— Как бывший министр высокоразвитой промышленности вооружения, я считаю своим последним долгом заявить: новая мировая война закончится уничтожением человеческой культуры и цивилизации... Настоящий процесс должен способствовать тому, чтобы в будущем предотвратить опустошительные войны и заложить основы для мирного существования народов...

Так говорил человек, помогавший Гитлеру осуществить программу ужасных преступлений против человечества, превращавший миллионы людей в рабов «тысячелетней империи». Он тоже опомнился лишь после того, как было замучено огромное число мужчин и женщин на каторжных работах по вооружению Германии, после душегубок и железных «шкафов пыток», когда началась уже агония гитлеровского рейха. Лишь в самый последний момент, можно сказать без пяти двенадцать, он, пытаясь спасти себе жизнь, дал задний ход. Судьба этого человека лишний раз показывает, к чему приводит даже удачливая на первых порах карьера «специалиста», поставившего свои знания и организаторские способности на службу империалистической агрессии, привязавшего себя к колеснице черных реакционных сил, мечтающих о покорении других народов, о мировом господстве.

Трое оправданы

Но вот закончились и последние слова подсудимых. Суд удалился в совещательную комнату. Был объявлен перерыв сроком около месяца.

Атмосфера во Дворце юстиции сразу как-то изменилась. Большая часть корреспондентов разъехалась. Эти перелетные птицы, не желая зря терять времени, ринулись в другие горячие точки планеты. А такие накаленные точки обнаруживались во многих местах. Фултонская речь Черчилля была той искрой, от которой по всей земле загуляло пламя «холодной войны».

В Западную Германию приехал Джеймс Бирнс, государственный секретарь США. В Штутгарте он произнес речь, которой могла бы аплодировать вся нюрнбергская скамья подсудимых. Немногие журналисты западных стран, которые оставались еще в Нюрнберге, заговорили о том, что фултонские мотивы непременно проникнут через закрытую дверь, отделяющую мир от нюрнбергских судей, и вторгнутся на страницы их приговора. По мере того как приближался финал процесса, все больше и больше скептиков появлялось в Нюрнберге.

Конечно, трудно было рассчитывать на то, что Международный трибунал вынесет всем подсудимым одинаковый приговор, хотя обвинители четырех держав требовали признания виновными именно всех. Ни у кого из обвинителей не возникало сомнений и в отношении меры наказания.

Американский главный обвинитель Р. Джексон завершил свою речь следующими словами:

— Они стоят перед этим судом подобно тому, как стоял запятнанный кровью Глостер[16] над телом убитого им короля. Он умолял вдову так же, как они умоляют вас: «Скажи, что я не убил». И королева ответила: «Тогда скажи ты, что они не были убиты. Но ведь они убиты, тобой убиты, гнусный раб!..» Если признать этих людей невиновными, значит, с тем же основанием можно сказать, что не было войны, не было убийств, не совершалось преступлений.

А Роман Андреевич Руденко, проанализировав все доказательства, представленные Международному трибуналу, сформулировал свой вывод так:

— Во имя подлинной любви к человечеству... во имя памяти миллионов невинных людей, загубленных бандой преступников, во имя счастья и мирного труда будущих поколений я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру

наказания — смертную казнь.

Столь же недвусмысленно выразил свое мнение и главный английский обвинитель Шоукросс. В конце обвинительной речи он поставил перед собой вопрос: все ли подсудимые заслужили смертную казнь? И ответил на него следующим образом:

— Возможно, что некоторые больше виноваты, чем другие, некоторые играли более деятельную и более непосредственную роль, чем другие, в этих ужасающих преступлениях. Но когда... последствия преступлений выражаются в смерти двадцати миллионов наших собратьев, опустошении целого материка, распространении по всему миру неописуемых трагедий и страданий, каким же смягчающим обстоятельством может явиться то, что некоторые из подсудимых были главными персонажами, а другие — более второстепенными? Какое имеет значение тот факт, что некоторые заслужили стократную смерть, тогда как другие заслужили миллион смертей?

С этой мыслью Шоукросса вполне солидаризировались все другие обвинители. Теперь только Международному военному трибуналу предстояло сказать последнее слово, определить судьбу каждого подсудимого.

30 сентября 1946 года суд закончил свою работу — приговор был написан и подписан всеми членами трибунала. В этот день я очень рано явился во Дворец юстиции и уже при входе в здание почувствовал необычность обстановки. У подъезда было значительно больше тяжелых полицейских машин. Все средства контроля усилены! Постовые тщательно просматривают содержимое портфелей, внимательно изучают пропуска, сличают их с паспортами. Этой процедуре подвергаются все без исключения: и представители прессы, и сотрудники трибунала, и адвокаты, и гости.

Среди гостей узнаю многих из тех, кто были на процессе лишь в первые его недели. Теперь они вновь вернулись. В зале опять вавилонское столпотворение — собрались представители почти всех стран мира.

Около половины десятого занимают свои места защитники. Затем появляются стенографы и переводчики. Происходит опробование системы перевода. В застекленных радиокабинах толпятся техники. Галерея прессы забита до отказа. В полной боевой готовности фотографы и кинооператоры.

Подсудимых вводят одного за другим с промежутком в полминуты-минуту. Они выглядят исключительно напряженными. Похоже на то, что на скамье сидят люди, совершенно незнакомые друг с другом.

Нюрнбергский процесс вступил в свою последнюю и

решающую фазу. В зале стоит напряженная тишина.

— Встать! Суд идет! — объявляет маршал суда.

Из совещательной комнаты выходят судьи. В руках председателя трибунала лорда юстиции Джеффри Лоуренса объемистая папка, а в ней — текст приговора.

Час за часом судьи, сменяя один другого, читают этот исторический документ. Ушел целый день, но оглашение приговора еще не закончено.

1 октября судьи продолжали чтение. Они добрались наконец до того, что называется формулами индивидуальной ответственности каждого из подсудимых.

Внимательно наблюдаю за подсудимыми. Вот оглашается формула в отношении Германа Геринга. Склонив голову, он плотнее прижимает пальцами к виску радионаушник. Его глаза прикрыты темными очками, губы — в еле заметной улыбке. Геринг по-прежнему стремится сохранить позу, но это ему плохо удается.

Сосед Геринга, Рудольф Гесс, держится совершенно безучастно, будто все происходящее вокруг не имеет к нему никакого касательства. На коленях у него — несколько листов бумаги, и он непрерывно что-то пишет. Гесс даже не надел наушников.

Кейтель сидит, судорожно выпрямившись. Кальтенбруннер непрерывно двигает челюстями, будто он с трудом что-то разжевывает. Розенберг как бы съежился в ожидании неизбежного удара. Фриче, едва судья называет его имя, рывком подымается с места. Франк горестно качает головой. Штрейхер скрестил руки и, пожалуй, впервые за все месяцы процесса не жует резинку. Беспокойно двигается взад и вперед Вальтер Функ; он опустил голову, плечи его подняты до самых ушей.

Шахту, Папену и Фриче Международный трибунал вынес оправдательный приговор. По мере того как зачитывалась формула их оправдания, в зале нарастал гул. Эта реакция зала показалась мне неоднородной, как неоднороден был зал суда, вмещавший в себя и представителей прогрессивной печати, и отъявленных реакционеров. Последние, несомненно, реагировали бы еще более бурно, если бы список оправданных не ограничивался только этими тремя.

Я не могу сказать, что такой приговор был для меня неожиданностью. На организационных заседаниях трибунала, которые не были публичными, многократные обсуждения вопросов, связанных с ответственностью Шахта, Папена и Фриче, достаточно ясно раскрывали позиции судей. Не раз во время этих заседаний советскому судье приходилось парировать

высказывания судей западных стран, недвусмысленно выражавших свое мнение, в конечном итоге воплотившееся в оправдательном вердикте этим трем.

Нет сомнения, буржуазные судьи в Нюрнберге не были свободны от влияния определенных округов Запада. Американский судья Биддл, например, в своих воспоминаниях рассказывает о встрече перед началом Нюрнбергского процесса с папой римским:

«Я оставался наедине с его Преосвященством 15 минут... Фрау фон Папен просила, чтобы он ходатайствовал за ее мужа, и папа просил меня сделать все, что в моих силах, для того, чтобы суд над Папеном был справедливым. Я уверил папу в том, что я это сделаю».

Но было бы неправильным переоценивать результаты такого рода нажимов извне. Все же в целом Международный трибунал вынес суровый и справедливый приговор. Неспроста потом иным буржуазным судьям пришлось прочувствовать на себе, какой неприятной оказалась реакция на этот приговор в некоторых влиятельных кругах Запада. Тот же Фрэнсис Биддл пишет в мемуарах, как отреагировал один из крупнейших реакционных американских издателей Роберт Маккормик, получив однажды приглашение на завтрак, устроенный в честь Биддла. Всемогущий газетно-журнальный владыка сообщил через своего секретаря об отказе участвовать в этом завтраке, так как он-де не хочет сидеть за одним столом с убийцей. Нет необходимости объяснять, что убийцей в глазах Маккормика являлся член Международного трибунала от США Фрэнсис Биддл...

Но вернемся в зал нюрнбергского Дворца юстиции.

Итак, трое оправданы. Коменданту суда приказано освободить их. Фриче и Папен прощаются со своими соседями, пожимают руки Герингу, Деницу и некоторым другим. Только Шахт проходит мимо Геринга, даже не посмотрев в его сторону.

Остальные подсудимые остались на скамье. После перерыва им предстоит прослушать свой приговор, который не обещает столь счастливой развязки.

Во Дворце юстиции царит большое оживление. Сегодняшнее утро самое сенсационное, и мировая печать торопится сообщить об этой сенсации всему миру. Пополз слух, что в одном из залов Дворца происходит пресс-конференция, «героями» которой являются оправданные. Я зашел туда. Зал был заполнен корреспондентами разных стран, преимущественно американскими и английскими. Вопросы следуют один за другим. Интервьюируемые с самодовольными физиономиями отвечают. Здесь они лгут так же, как лгали на скамье подсудимых.

Папена спрашивают, чем он думает заниматься теперь, посвятит ли остаток своих лет политике? Старый гитлеровский зубр отрицательно качает головой:

— Нет, моя политическая жизнь окончательно завершена.

Может быть, в этом ответе ложь соседствовала с какой-то долей искренности — слишком уж скандально закончилась его политическая карьера и после первой, и после второй мировых войн. Тюрьма, одиночная камера, клеймо тяжкого военного преступника плюс почти семь десятков прожитых лет — вряд ли все это настраивало на продолжение политической жизни.

Так, по крайней мере, казалось. Но прожженный политический интриган, матерый милитарист фон Папен, оказавшись в атмосфере шовинистического угара, отравляющего Западную Германию, не смог даже на склоне лет оставаться безвредным для мира и спокойствия народов. От своего заявления не возвращаться более к политической деятельности он отказался сразу же, как только очутился на свободе. Папен разъезжает по Западной Европе и ведет яростную пропаганду за восстановление «старого рейха». Папен наносит визиты в Анкару и Мадрид. В испанской столице он выступает с докладом на тему «Положение Западной Европы между США и Советским Союзом», и его с восторгом слушает вся камарилья Франко.

— Диалектический материализм, — шипит 84-летний Папен, — подорвет все западное общество, если народы западных стран не проснутся и не окажут энергичного сопротивления его губительному влиянию...

А Фриче? Этот ближайший подручный Геббельса тоже клялся на пресс-конференции больше не впутываться в политику. И поначалу он действительно стал работать коммивояжером парижской косметической фирмы «Банекру». Но вскоре заскучал на новом поприще, его опять потянуло в водоворот новых милитаристских политических страстей. Фриче пишет книгу за книгой, фашиствующие издатели печатают их, и они вливаются в общий мутный поток неонацистской литературы, вновь призывающей к войне и насилию. Отравленное ядом реваншизма перо Фриче остановила лишь смерть: в 1953 году он умер.

О послевоенной деятельности третьего из оправданных — Шахта — читатель уже знает.

Пресс-конференция во Дворце юстиции, проведенная тремя оправданными преступниками, была заснята многими фотокорреспондентами. На следующий день в фотолаборатории Дворца юстиции мне дали снимок, запечатлевший ее окончание... Что-то омерзительное было в этой фотографии. Люди в американской военной форме с восторгом трясли руку Шахту и

Папену, поздравляли их так, как поздравляют обычно родного человека, оправившегося после тяжелой и казавшейся безнадежной операции.

Рассматривая фотографию, я еще раз подумал, сколь исторически и юридически справедливым было «Особое мнение» советского судьи И. Т. Никитченко, который выразил свой протест против оправдания Шахта, Папена и Фриче.

Этот протест получил отклик во всем мире. В апартаменты нашей делегации сразу потянулись представители прогрессивной печати. Все они спешили высказать свою солидарность с позицией советского судьи. Многие просили у меня экземпляры «Особого мнения» для того, чтобы немедленно информировать о нем мировую общественность. А через два-три дня из различных стран в Нюрнберг стали поступать газеты с первыми комментариями по приговору в целом и «Особому мнению» советского судьи, в частности.

«Русские оговорки в связи с решением трибунала встретят много симпатий и понимания», — говорилось в передовой статье шведской газеты «Афтонтиднинген».

«Точка зрения, высказанная русским представителем в трибунале, вызывает в странах, подвергшихся немецкой оккупации, самую горячую симпатию», — отмечала норвежская «Арбейтер бладет».

Секретарь национальной гильдии юристов США Поппер писал в те дни, что оправдание Шахта может быть истолковано лишь в том смысле, что «нацистские промышленники и финансисты, субсидировавшие нацистскую партию и создавшие экономическую базу, без которой Гитлер был бы бессилен, не разделяют вины за агрессию и преступления против человечества... Подлинный смысл оправдания Шахта становится понятным, только если рассматривать его как часть всей политики США и Англии в отношении Германии».

«Особое мнение» советского судьи получило мощную поддержку самых широких слоев народа и в самой Германии. Сто тысяч человек вышли в Лейпциге на демонстрацию под лозунгами: «Смерть военным преступникам!», «Мы хотим длительного мира!», «Народный суд над Папеном, Шахтом и Фриче!», «Мы хотим спокойствия и мира!». Такие же демонстрации имели место и в Дрездене, и в Галле, и в Хемнице.

Последнее заседание трибунала

1 октября 1946 года. В 14 часов 50 минут суд приступает к своему последнему, 407-у заседанию.

Обстановка в зале резко изменилась.

Убраны прожекторы, которые время от времени включались для того, чтобы в зашторенном помещении могли производиться кино — и фотосъемки (на последнем заседании фотографирование запрещено). Только синеватый свет неоновых трубок без всякой тени ложился на стены, на лица обвинителей, защитников, сотрудников секретариата, многочисленных гостей.

Скамья подсудимых пуста. В зале тихо, как в операционной. То тал, то здесь кто-то кашляет, и этот кашель раздается как неожиданный залп.

Все ждут, когда трибунал начнет объявлять свой приговор каждому приговоренному в отдельности. Взоры прикованы к двум дверям — к той, откуда должны выйти судьи Международного трибунала, и к другой, через которую сейчас по одному будут входить подсудимые.

Вот вышли судьи. Чуть заметный кивок Лоуренса, и все опускаются на свои места.

Последний, резолютивный раздел приговора будет оглашать сам председательствующий. Привычным движением он поправляет очки, и в тот же миг бесшумно, как будто бы без прикосновения чьей-либо руки, откатывается на шарнирах дверь позади скамьи подсудимых. Из темного отверстия в освещенный зал вступает хорошо знакомая фигура Германа Геринга. По бокам от него — двое солдат.

Геринг беспокойным взглядом обводит напряженно притихший зал, обвинителей и задерживает его на судьях. Он бледен, еще больше осунулся. Месяц ожидания приговора не прошел даром! Маска бравады, которую так старательно сохранял бывший рейхсмаршал в течение всего процесса, исчезла с его лица. Ему подают наушники, хотя познания Геринга в английском языке были вполне достаточны, чтобы понять лаконичную, но выразительную формулу приговора: смерть через повешение.

Выслушав ее, Геринг бросает последний злобный взгляд на судей, в судебный зал. Сколько ненависти в его глазах. Он молча снимает наушники, поворачивается и покидает зал. За его спиной закрывается дверь, чтобы через несколько секунд снова открыться.

Появляется Гесс. Этот отказывается от предложенных ему наушников. Он и теперь выглядит каким-то фигляром. Трибунал

объявляет ему приговор: пожизненное заключение.

Вновь закрывается и вновь открывается дверь. На этот раз через нее входит Риббентроп. Лицо как зола. Глаза выражают испуг, они полузакрыты. Меня поразило, что в руках у него какая-то папка с бумагами. Она ему уже не пригодится.

— К смертной казни через повешение, — объявляет Лоуренс.

Ноги у Риббентропа становятся как будто ватными. Ему требуются усилия, чтобы повернуться обратно и скрыться в темноте прохода.

Вводят Кейтеля. Он идет выпрямившись, как свеча. Лицо непроницаемо.

— К смертной казни через повешение, — звучит в наушниках.

Розенберг вовсе теряет самообладание, когда слышит такой же приговор.

А вот вводят Франка. У этого палача, который обещал сделать «фарш из всех поляков», на лице умоляющее выражение. Он даже руки простер, как будто такой жест может изменить уже подписанный приговор: к смертной казни через повешение.

Вслед за Франком входит, а точнее, вбегает Юлиус Штрейхер. Широко расставив ноги и вытянув вперед голову, этот погромщик и растлитель душ тысяч и тысяч немцев производит впечатление человека, ожидающего удара. И он получает его, он слышит те же несколько слов, что и Франк.

За Штрейхером — Заукель. И ему воздается должное: смертная казнь.

Вводят Иодля. Услышав об уготованной для него петле, он резко снимает наушники, что-то злобно шипит и, тяжело ступая одеревенелыми ногами, удаляется.

А вот и Вальтер Функ. Этот помнит о золотых коронках, снятых с зубов освенцимских жертв и хранившихся в сейфах имперского банка, а потому не ожидает для себя ничего иного, кроме смертной казни. Но вдруг до него доносятся спасительные слова: «пожизненное заключение». Функ явно растерян. Похоже на то, что он рыдает и делает беспомощную попытку поклониться судьям...

Восемнадцать раз открывалась и закрывалась дверь позади скамьи подсудимых. Смотрю на часы. Серебряные стрелки на циферблате показывают 15 часов 40 минут. Процесс закончен. Судьи удаляются.

В коридорах Дворца юстиции нарастает страшный шум. Это многоязычная толпа журналистов ринулась к телеграфу и телефонам. Обгоняя один другого, чуть ли не сбивая друг друга с ног, они спешат передать в свои газеты и агентства последние итоги почти годичной деятельности Международного трибунала:

двенадцать подсудимых — Геринг, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Кальтенбруннер, Фрик, Франк, Штрейхер, Заукель, Иодль, Зейсс-Инкварт и заочно Мартин Борман — приговорены к смертной казни через повешение; трое — Гесс, Функ и Редер — к пожизненному заключению, двое — Ширах и Шпеер — к двадцати годам тюрьмы, Нейрат — к пятнадцати, Дениц — к десяти годам.

А тем временем доктор Джильберт внимательно наблюдал за поведением приговоренных, и результаты этих наблюдений нашли затем отражение в его дневнике.

Вот привели в камеру Геринга. Он сразу бросается на койку. Маска бравады окончательно спала с его лица. Казалось, только здесь ему впервые удалось постичь весь ужас слов: «Смертная казнь через повешение». Геринг смотрит в лицо Джильберту и истерично хрипит:

— Смерть...

Вслед за Герингом возвращается Риббентроп. Пугливо оглядываясь по сторонам, он начинает нервно вышагивать из конца в конец камеры, свой последний «лебенсраум» и тоже причитает:

— Смерть... смерть... Я так ненавидим, так ненавидим!..

Когда Джильберт вошел в камеру Кейтеля, тот обернулся и с ужасом воскликнул:

— Через повешение!.. Я думал, что от этого буду избавлен.

А почему? На каком основании смел так думать фельдмаршал Вильгельм Кейтель? Ведь сам-то он подписал десятки приказов о массовых убийствах, сам предлагал использовать «любые средства без ограничения» даже против женщин и детей, «если только это способствует успеху». На докладе одного из своих подчиненных о зверском уничтожении советских людей Кейтель собственноручно начертал: «Здесь идет речь об уничтожении целого мировоззрения, поэтому я одобряю эти мероприятия и покрываю их».

Ему ли было ожидать пощады от Суда Народов?

А поди ж ты, не один Кейтель заблуждался на сей счет. Как ни странно, одинаково с ним думал и американец Эйзенхауэр. Когда тому сообщили о судьбе, ожидающей Кейтеля, он заметил:

— Удивлен, что судьи так легко сочли возможным осудить военного человека. Я думал, что судьба военных составит специальную заботу трибунала.

В глазах американского генерала, человека, совсем еще недавно олицетворявшего своей персоной верховное командование союзных армий на Западе, судьи Международного трибунала выглядели бы куда респектабельнее, если бы они вместо смертного приговора отпустили Кейтеля и Иодля

восвояси, да еще одели бы на их головы венцы великомучеников.

А колумбийские сенаторы пошли дальше. Стремясь воссоединить в себе лицемерие Тартюфа, Иудушки Головлева и Иона Тротера, они ханжески выступили за помилование всех осужденных к смертной казни. Сенаторы уверяли, что «смягчение наказания будет встречено потомством с восхищением как величайший акт великодушия». Однако мировое общественное мнение ответило брезгливым презрением на эту колумбийскую слезу. Именно в приговоре Международного трибунала народы всех стран увидели величайшее воплощение гуманности.

Финал

9 и 10 октября 1946, года Контрольный Совет по Германии рассмотрел просьбы осужденных о помиловании и отклонил их. Теперь уже дело было за сержантом Вуддом, человеком, которому поручалось привести приговор в исполнение. Я видел его в Нюрнберге. Среднего роста, коренастый, с крупными чертами лица, он не скрывал большого своего удовлетворения от того, что выбор пал именно на него. И явно сожалел, что лишился возможности вздернуть Германа Геринга, который подобно Гитлеру, Геббельсу и Лею сам отправил себя на тот свет.

Исполнение приговора было осуществлено в ночь на 16 октября 1946 года. При этом присутствовали представители от каждой из четырех держав. Пресса была представлена всего восемью лицами — по два от СССР, США, Англии и Франции. Киносъемка и фотографирование во время исполнения приговора запрещались.

Из советских журналистов у эшафота находились корреспондент ТАСС Борис Владимирович Афанасьев, проделавший большую работу по освещению в нашей печати Нюрнбергского процесса, и фронтовой фотокорреспондент Виктор Антонович Темин.

Судьба свела меня с Борисом Владимировичем тотчас после свершения казни, и мы проговорили почти до рассвета. Под свежим впечатлением он рассказал мне массу небезынтересных деталей.

Ровно в 20 часов журналисты прибыли в здание суда и были размещены изолированно в тех комнатах, где обычно происходили переговоры подсудимых со своими адвокатами и в которых затем осужденные имели последнее свидание с родными. Со всех журналистов было взято обязательство — не покидать отведенных им помещений и ни с кем не общаться до окончания казни. Затем полковник Эндрюс пригласил их осмотреть тюрьму, но просил соблюдать при этом абсолютную тишину.

По узкой железной лестнице все спустились вниз. В тюремном коридоре — полумрак. Лишь у одиннадцати дверей горят яркие электрические лампы, и свет от них отбрасывается рефлекторами внутрь камер. Это — камеры приговоренных к смертной казни. Солдаты охраны неотступно следят за поведением осужденных.

Журналисты подходят к каждой из камер и поочередно заглядывают в «глазок».

Первая камера Кейтеля. Он спокойно и заботливо прибирает

свою койку. Разглаживает складки на одеяле.

Риббентроп, хорошо освещенный электрической лампой, разговаривает с пастором.

Иодль сидит за столом спиной к двери и что-то пишет. На столе перед ним — много каких-то бумаг и книги.

Геринг, кажется, спит. Фрик, укрывшись одеялом, читает. Кальтенбруннер тоже занят чтением. Штрейхер спит. Заукель нервно прохаживается по своей камере. Франк, сидя у стола, курит сигару. Розенберг спит. Зейсс-Инкварт спокойно готовится ко сну — умывается и чистит зубы.

В 21 час 30 минут раздается легкий звон гонга — сигнал официального отхода ко сну. Погасли последние лампы в камерах. Стало совсем темно.

Полковник Эндрюс повел журналистов через тюремный двор к небольшому каменному зданию в глубине сада, где должна совершаться казнь. Там подготовлены три эшафота, выкрашенных в темно-зеленый цвет. Двенадцать ступенек ведут наверх. Оттуда с чугунных блоков спускаются толстые веревки. У двух виселиц лежат какие-то ремни и черные колпаки, которые в последнюю минуту будут наброшены на головы казнимых. У третьей ничего этого нет. Полковник Эндрюс поясняет, что она «резервная».

К 23 часам журналистов вернули в отведенные им комнаты и предложили ждать. Ожидание длилось почти два часа. Только в 0 часов 55 минут они заняли свои места на расстоянии трех-четырех метров от эшафота.

Первым привели для исполнения приговора Риббентропа. Он был в состоянии полной прострации, с трудом произнес свое имя. Пастор прочитал краткую молитву, и тут же последовала казнь.

Сержант Вудд делал свое дело с поразительной четкостью, и в течение полутора часов покончил со всеми приговоренными к смерти главными нацистскими военными преступниками. Затем тела казненных были перевезены в Мюнхен, сожжены там в крематории, и прах их развеян по воздуху. А осужденные Международным военным трибуналом к длительному лишению свободы Рудольф Гесс, Вальтер Функ, Карл Дениц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Альберт Шпеер и Константин фон Нейрат проследовали в Шпандау.

Мрачная крепостная тюрьма Шпандау, рассчитанная по своим размерам на многие сотни людей, стала местом заключения семи главных нацистских военных преступников. Там была установлена четырехсторонняя администрация, поочередно каждый месяц сменяется караул — советский, американский, английский, французский.

С самого начала каждому осужденному был присвоен свой

номер. Рудольф Гесс стал номером седьмым, а Бальдур фон Ширах — первым. Гесса это очень огорчило. Так же, как Геринг на скамье подсудимых, он пытался играть роль фюрера в тюрьме. И вдруг такая несправедливость: ему — заместителю Гитлера по руководству нацистской партией — присвоили последний номер!

Я уже писал о том, что во время процесса Гесс не раз уводился со скамьи подсудимых из-за приступа болезни. Говорили, что у него рак желудка. И не скрою, наблюдая за ним в те минуты, когда он начинал корчиться от боли, я вовсе не был уверен, что это симуляция. Рак — страшная болезнь, не знающая ни географических, ни политических границ, а признающая лишь границы времени. Но вот прошел весь процесс, истекает второй десяток лет пребывания в тюрьме Шпандау, а Гесс все жив. Только после того как ему нанесли столь тяжкое оскорбление, присвоив седьмой номер, господин рейхсминистр почувствовал себя несколько хуже, чаще стал жаловаться на боли в желудке. Врачи делают ему впрыскивание. Гесс уверен, что они вводят морфий, хотя в действительности шприц наполняется обыкновенной стерильной водой. После каждой такой процедуры больной быстро засыпает.

Гитлеровских преступников, заключенных в тюрьму, не оставили без внимания их зарубежные друзья. Как сообщает в своей книге «Семеро в Шпандау» Джек Фишмэн, узники этой тюрьмы только в течение того месяца, когда охрану несут советские власти, лишены возможности вредить миру, заниматься политическими диверсиями. Фишмэн рассказывает о многочисленных их попытках возродить и активизировать в Германии неонацизм, воспроизводит, в частности, содержание письма, посланного из тюрьмы Деницем. Адресовано оно было жене, но предназначалось фактически единомышленникам гросс-адмирала в Бонне и подсказывало последним, как следует проводить ремилитаризацию страны.

Для диверсионно-пропагандистской деятельности заключенных под стражу приспешников Гитлера, а равно и для их реабилитации охотно предоставил свои страницы английский журнал «Нью Стейтсмен энд нейшн». В Англии нашлись сердобольные леди и джентльмены, которые стали засыпать журнал письмами с выражением своего участия в судьбе «узников Шпандау». В свое время одна такая леди, постеснявшись все-таки назваться, обратилась с открытым письмом к жене Нейрата, призналась публично в большой своей симпатии к ее мужу и оповестила мир, что английское правительство желает видеть его освобожденным как можно скорее. В другом, подобного рода, письме, адресованном жене Деница (того самого Деница, который

в течение всей войны был озабочен лишь тем, чтобы побольше потопить английских моряков, и немало преуспел в этом) безапелляционно утверждалось: «Ваш муж является одной из жертв современной неблагоприятной политической ситуации». И для того чтобы уже совсем стало ясно кредо этого журнала, взявшего на себя роль адвоката нацизма, сошлюсь здесь еще на одно из опубликованных им писем. В нем высказываются такие совершенно недвусмысленные требования: «Концепция германских военных преступлений должна быть изъята из исторических архивов. С тех пор как большевизм признается врагом западной цивилизации, с германской армии должно быть снято пятно, наложенное на ее честь...»

Не бездействуют и сами жены посаженных в тюрьму главных нацистских военных преступников. Эльза Гесс, например, издала книгу «Англия — Нюрнберг — Шпандау». В этой книге ее благоверный предается сладостным воспоминаниям о своем пребывании на Британских островах.

«Герцог Гамильтон... позаботился о том, чтобы я был переведен в хороший военный госпиталь (Гесс повредил ногу при высадке. — А. П.). Он находился в сельской местности, в получасе езды от города, в замечательных природных условиях Шотландии».

А дальше перечисляются великолепные виллы, где его, Гесса, содержали после госпиталя, и нарисована такая идиллическая картинка:

«Мой комендант, профессиональный артист в мирное время, играл для меня Моцарта. Я часто совершал большие прогулки, а иногда и автомобильные поездки».

Кто из английских томми, мужественно сражавшихся в Европе против нацистских полчищ, мог подозревать, что в это же самое время на их родине так ублажают заместителя Гитлера?

Прошли годы. Прошел Нюрнбергский процесс. Казнены главные нацистские военные преступники. По всем законам — человеческим и божеским — Гесс тоже должен был занять свое место на виселице. Именно этого требовал советский судья. Но судьи западных держав не вняли его голосу. И вот Гесс — в Шпандау, где ему опять не так уж плохо. 12 февраля 1950 года он писал своей жене:

«Звуки Парсифаля врывались ко мне через окно. Это играл Функ на фисгармонии... Там был Бах, замечательный концерт Моцарта и Шуберта. Изумительно. Милая музыка, как будто бы сам бог беседовал с нами».

Людоеды оказывается тоже любят музыку! Я уже писал, что однофамилец Рудольфа Гесса, комендант Освенцима, содержал в

лагере оркестр, составленный из лучших музыкантов Европы. В лагерных халатах эти несчастные ублажали своего истязателя и свору его подручных, когда они, закончив свой «трудовой» день, возвращались домой, обагренные еще отсветом всепожирающего огня крематориев. А известный палач Гейдрих? Он ведь тоже слыл в нацистской камарилье страстным музыкантом. А Эйхман? И этот любил музицировать в перерывах между загрузкой крематорских печей.

Какой жуткий гротеск, какая чудовищная несовместимость — музыка и нацизм!

Уже много лет спустя после Нюрнбергского процесса я прочел роман западногерманского писателя Генриха Бёлля «Где ты был, Адам». Там тоже изображен один такой «служитель муз» — эсэсовец Фильскайт. В отличие от коменданта Освенцима этот обожал хоровое пение и разработал особую систему отбора певцов. «Каждый новый заключенный препровождался к нему на пробу голоса. На учетной карточке Фильскайт отмечал певческие способности новичка баллом от нуля до десяти. Нуль он выставлял лишь немногим — они сразу же поступали в лагерный хор, а те, кому доставался балл десять, только день-другой оставались в живых». Певцы жили несколько дольше.

Стоит ли после этого удивляться, что и Рудольф Гесс, эта мрачнейшая фигура нацистского режима, оказался любителем музыки, млел от восторга, слушая Моцарта и Шуберта в исполнении Функа. Впрочем, теперь и это уже далеко позади: Функ покинул Шпандау в 1957 году, отбыв в заключении одиннадцать лет.

А еще раньше в 1954 году союзные власти помиловали 81-летнего Нейрата и тоже досрочно (но по отбытии большей части назначенного ему наказания) освободили его из-под стражи. Он получил тогда поздравительные телеграммы от президента ФРГ Хейса, от федерального канцлера Аденауэра, а через два года умер.

В 1958 году в возрасте 80 лет освобожден Редер. Его преемник на посту главнокомандующего гитлеровским флотом Дениц полностью отбыл срок наказания и вышел из тюрьмы в 1956 году.

В настоящее время огромная тюрьма Шпандау продолжает служить пристанищем лишь для трех осужденных — Гесса, Шпеера и Шираха. У последних двоих срок истекает в 1966 году. Гесс должен остаться там пожизненно. Но западногерманские реваншисты никак не хотят мириться с этим. Еще в 1954 году журнал «Национ Европа» поместил статью под названием «Горячий привет Рудольфу Гессу», в которой были, в частности,

такие слова:

«Тот факт, что... ни один европейский государственный деятель не потребовал освобождения Рудольфа Гесса, является свидетельством глубокого упадка Европы. Это в то же время доказательство того, насколько мало настоящих европейцев мы имеем... Мы молим бога о том, чтобы Гесс был освобожден. Он не нуждается в амнистии: единственно, что требуется — это осуществление правосудия. Рудольф Гесс уже более не принадлежит одной Германии, а всем нам, Европе».

Нужно ли искать лучшее доказательство возрождения фашизма в Западной Германии и той опасности, которую политика реванша несет миру. Однако Гесс продолжает сидеть в тюрьме. И это тоже своего рода доказательство — яркое свидетельство все возрастающей силы мирового общественного мнения, игнорировать которое не в состоянии ныне никакие враги мира и человечества. Все попытки современных неонацистов добиться освобождения Гесса остаются бесплодными.

Рядом с Гессом в Шпандау вот уже девятнадцать лет находится и Бальдур фон Ширах, бывший руководитель «Гитлерюгенд». О нем я уже писал, и, пожалуй, не было бы необходимости сейчас снова задерживать на нем внимание читателя, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что на пятом году пребывания в Шпандау Гесс едва не лишился и этого соседа. Ширах пытался покончить с собой. Но не торопитесь думать, что в нем заговорил голос совести. Причина была куда более тривиальная: просто жена его Генриэтта сообщила, что собирается разводиться с ним.

Бальдур фон Ширах и Альберт Шпеер попали в Шпандау относительно молодыми людьми. Тогда им не было еще и сорока. Теперь они приближаются к шестидесяти.

Правосудие оказалось достаточно милосердным к этим преступникам: их не казнили. Но имена Шираха и Шпеера, равно как и других осужденных в Нюрнберге, прокляты всем человечеством. Они давно стали синонимом чудовищного варварства и человеконенавистничества.

Прошли годы. Народы надеялись, что страшный урок второй мировой войны не пройдет бесследно, что человечество не допустит повторения трагедии. В пользу этого говорила не только последовательная и решительная политика СССР, каждый шаг которой свидетельствовал о стремлении Советского Союза не допустить возрождения германского милитаризма и фашизма. За это высказывались и выдающиеся государственные деятели Запада.

24 декабря 1943 года американский президент Франклин Делано Рузвельт заявил:

— После перемирия тысяча девятьсот восемнадцатого года мы думали и надеялись, что дух германского милитаризма искоренен. Под влиянием «набожного образа мыслей» мы потратили последующие пятнадцать лет на то, чтобы разоружиться, в то время как немцы подняли такой душераздирающий крик, что другие народы не только разрешили им вооружиться, но даже облегчили им эту задачу. Доброжелательные, но незадачливые попытки прежних лет оказались негодными. Я надеюсь, что мы их не повторим. Нет, я должен выразиться сильнее. Как президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами Соединенных Штатов, я намерен сделать все, что в пределах человеческих возможностей, чтобы избежать повторения этой трагической ошибки.

Рузвельт не дожил до Дня Победы. Без него началась борьба за то, чтобы «избежать повторения трагической ошибки». Известны этапы этой борьбы. Опять, как и после первой мировой войны, «немцы подняли душераздирающий крик». Такой крик, что Нью-Йорк, Париж и Лондон «не только разрешили им вооружиться, но даже облегчили им эту задачу». И Трумэн, и Эйзенхауэр, и Черчилль, и Эттли, и Даллес, и Макмиллан сделали все, что «в пределах человеческих возможностей», чтобы повторить трагическую ошибку, от которой предостерегал Франклин Рузвельт и которая уже стоила человечеству миллионов жизней.

Мир снова столкнулся с фактом возрождения германского милитаризма. Нет Кейтеля и Иодля, но германский бундесвер создан и вновь угрожает войной. Нет Гитлера и Гиммлера, но в Западной Германии нацистские организации расцвели пышным цветом.

Значит ли это, что Нюрнбергский процесс не сыграл своей роли в борьбе с агрессией, с германским милитаризмом и фашизмом? Значит ли, что его роль ограничилась лишь наказанием гитлеровской клики? Следует ли считать, что материалам этого процесса место теперь только в архиве?

Нет, конечно. Материалы Нюрнбергского процесса и сегодня остаются острейшим оружием в борьбе за мир, против агрессоров. Им чуждо еще понятие «архив».

Я уже говорил, что Нюрнбергский процесс должен был стать и действительно стал водоразделом в истории международного права. Приговор Международного трибунала покончил не только с наиболее тяжкими военными преступниками, но, что гораздо

важнее, — с вековой безнаказанностью агрессии и агрессоров.

В грозные октябрьские дни 1917 года на весь мир прозвучал знаменитый Декрет Советской власти о мире, где рукою В. И. Ленина были начертаны незабываемые слова о том, что агрессивная война является «величайшим преступлением против человечества». Эти слова буквально звенели у меня в ушах, когда я сидел в зале Нюрнбергского суда и слушал приговор, столь ярко воплотивший в себе ленинский принцип наказуемости агрессии.

Фридрих Энгельс заметил однажды, что «...буржуазии свойственно фальсифицировать всякий товар. Фальсифицировала она также и историю. Ведь лучше всего оплачивается то сочинение, в котором фальсификация истории наиболее соответствует интересам буржуазии».

Средствами такой фальсификации являлись зачастую разноцветные «книги» (синие, красные, голубые и т. п.), в которых буржуазные государственные деятели подбирали в выгодном для них ассортименте и порядке документы, призванные оправдать их политику и свалить ответственность за международные конфликты с больной головы на здоровую. В отличие от этих искусно препарированных «документальных доказательств» Нюрнбергский процесс стал авторитетнейшим источником истории второй мировой войны. Он извлек на свет белый все секретнейшие документы государства-агрессора, весь его архив, «рассекретил» перед лицом народов всего мира те приемы и способы, к которым прибегали германские милитаристы, готовя войну. И разве эти материалы не помогают сегодня распознать фальшь официальных коммюнике о заседаниях НАТО, СЕАТО и СЕНТО, в которых зловещие шаги по подготовке новой мировой войны выдаются за чисто «оборонительные мероприятия»?

Международный трибунал в Нюрнберге судил лишь главных немецких военных преступников. Имелось в виду, что гитлеровские военные преступники рангом ниже будут осуждены на других процессах. Но западные державы предпочли спасти их и сделать своими союзниками. Так у кормила бундесвера оказались Хойзингер, Ферч, Каммхубер, Шпейдель и другие гитлеровские генералы. А для того чтобы такие назначения не вызвали протеста со стороны мировой общественности, заправилы НАТО попытались отполировать репутацию этих верных слуг нацизма, представить их не только ничего общего не имевшими с гитлеровским террористическим режимом, но даже и ярыми противниками Гитлера. Может быть, империалистическая пропаганда и преуспела бы в этом, если бы на ее пути не стояла человеческая память, горы трупов, развалины городов, стоны Бабьего Яра и Майданека. Одним словом, все то, что в щемящей

тишине зала заседаний Международного трибунала превращалось в исторические обвинительные материалы.

Да, живучи материалы Нюрнбергского процесса! Это уже почувствовали на себе и Эрих Кох — палач Польши и Украины, и Оберлендер, тоже зверствовавший на временно оккупированных советских территориях, и Эйхман, на чьей совести шесть миллионов уничтоженных евреев. Эриха Коха и Адольфа Эйхмана по материалам Нюрнбергского процесса судили и приговорили к смертной казни. Военного преступника Оберлендера, пригревшегося было на посту министра в Бонне, под давлением разоблачительных документов Нюрнбергского процесса Аденауэр вынужден был уволить в отставку. Луч нюрнбергского прожектора давно уже засек и еще одного боннского министра — Ганса Глобке. В 1963 году верховный суд ГДР заочно осудил его как тягчайшего гитлеровского военного преступника, и под давлением неотразимых доказательств Бонн вынужден был дать Глобке отставку. А через некоторое время разоблачительные материалы, переданные прокуратурой ГДР в Бонн, вынудили нового канцлера ФРГ Эрхарда дать отставку гитлеровцу Крюгеру, тоже занявшему было министерский пост.

Живучесть материалов Нюрнбергского процесса испытал на себе и господин Вильгельм Френкель, генеральный прокурор ФРГ. На поверку оказалось, что в прошлом он также нацист, а в период господства Гитлера занимал высокое положение среди чиновников имперского суда в Лейпциге.

Так по прошествии почти двадцати лет Нюрнбергский процесс продолжает наносить удары по врагам мира и демократии. Обвинители, выступавшие там, и судьи Международного трибунала отнюдь не ставили своей целью разоблачение капитализма в целом. Этого не могло быть хотя бы уже потому, что из четырех держав, представленных в трибунале, три являлись капиталистическими. Но такова уж логика исторических событий, логика публичного судебного разбирательства: даже буржуазные судьи и прокуроры, свидетели и подсудимые, независимо от их взглядов и намерений, сталкиваясь с неопровержимыми и убийственными по своей доказательной силе фактами, вынуждены были делать такие заявления и признания, которые наносили сильнейшие морально-политические удары по всей системе капитализма.

Главный американский обвинитель Джексон в своей вступительной речи предостерегал:

— Я думаю, что если, организуя процесс, мы начнем входить в обсуждение вопроса о политических и экономических причинах этой войны, то он может причинить определенный вред как

Европе, так и Америке.

Джексона правильно поняли в зале суда — призрак Мюнхена стоял перед глазами обвинителей с Запада.

И в самом деле, патолого-анатомическое вскрытие политики гитлеровского государства на Нюрнбергском процессе еще и еще раз обнажило перед народами всей нашей планеты человеконенавистнический характер империализма и постоянных его спутников — агрессии и реакции. Никогда язвы капиталистического мира не выставлялись так открыто, как это имело место в Нюрнберге.

Я уже говорил, что первое сообщение из Лондона о создании Международного трибунала застало меня в действующей армии. Мне, советскому юристу, уже тогда представились значительными трудности, связанные с подготовкой и проведением процесса. Они стали для меня еще более очевидными, когда судьба распорядилась определить меня в Нюрнберг. Прежде всего это был международный судебный процесс. Таких история еще не знала. Надо было согласовать различные системы права — континентального европейского и англо-американского. Но что гораздо важнее, надо было найти общий язык представителям советской системы права, с одной стороны, и буржуазной — с другой, выработать общие политические и юридические принципы сотрудничества. Международному трибуналу предстояло впервые в истории применить на практике принцип уголовной ответственности за агрессию. Требовалось выдержать точный курс среди подводных рифов быстро меняющейся международной обстановки, не дать возможности злонамеренным элементам спровоцировать конфликт между советской и западными делегациями.

В конечном счете все эти сложные вопросы разрешились положительно. Можно смело сказать, что, хотя приговор Международного трибунала не лишен определенных недостатков, отмеченных в «Особом мнении» советского судьи, в целом Нюрнбергский процесс прошел под знаком единства четырех держав — СССР, США, Великобритании и Франции. Угрожавшая всему человечеству опасность объединила людей различных стран и континентов, различных социальных систем и взглядов не только на полях сражений, но и за столом Международного трибунала.

Вот почему Нюрнбергский процесс во всем мире рассматривали как Суд Народов, Суд всего человечества, призванный своей деятельностью укрепить международную безопасность и способствовать единству людей в борьбе за самое дорогое, что у них есть, — в борьбе за мир.

Нюрнбергский приговор — это дамоклов меч, который всегда будет висеть над головами тех, кто вновь попытался бы нарушить спокойствие народов и ввергнуть человечество в новую войну.

После того как был оглашен этот приговор и все покинули судебный зал, один французский журналист сфотографировал уже пустую скамью подсудимых. На следующий день он зашел ко мне и подарил экземпляр этой фотографии. Мы оба посмотрели на нее. И фотография будто заговорила:

— Помните уроки истории, господа! Не забывайте Нюрнберг!

notes

Примечания

1

В отношении Мартина Бормана дело рассматривалось заочно в соответствии со ст. 12 Устава трибунала.

2

Internal securiti office (Служба внутренней безопасности).

3

«Нюрнбергский дневник».

4

Процесс останавливается.

5

Весьма важные персоны.

6

Имеется в виду 20 июля 1944 года — день неудачного покушения на Гитлера.

7

Дэвид Максуэлл Файф — английский обвинитель на Нюрнбергском процессе.

Luftwaffe — военно-воздушные силы.

9

9 ноября 1923 г. — день мюнхенского путча Гитлера.

10

«Форвертс» — газета социал-демократической партии Германии.

11

В Женевской конвенции 1949 г. о защите гражданского населения во время войны учтен опыт Нюрнбергского процесса: в ней содержится прямое и ясно выраженное запрещение заложничества.

Только в таком виде они безопасны.

13

Военная академия США.

Имеется в виду 107 человек, оставшихся в живых к 1946 году из общего списка в 131 человек.

Имеется в виду обвинительное заключение.

16

Герцог Глостер — один из главных персонажей трагедий Шекспира «Генрих VI и „Ричард III“. Р. Джексон цитирует здесь диалог из трагедии „Ричард III“ между Глостером и вдовой короля Генриха VI.